А.М. Ремизов

сочинения

Алексей Ремизов



А. М. Ремизов. 1914 г.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



ОКАЗИОН

МОСКВА
•РУССКАЯ КНИГА•
2000

УДК 882
ББК 84Р
Р 38

Руководитель программы **Михаил Ненашев**

Издание подготовлено при содействии **Б. Б. Бунич-Ремизова,
Е. Д. Резникова, А. Д. Резникова**

Подготовка текста, послесловие, комментарии, приложения
Е. Р. Обатниной

Техническая подготовка тома **О. А. Линдеберг**

Ответственный редактор тома **А. М. Грачева**

Оформление **Г. Л. Шацкого**

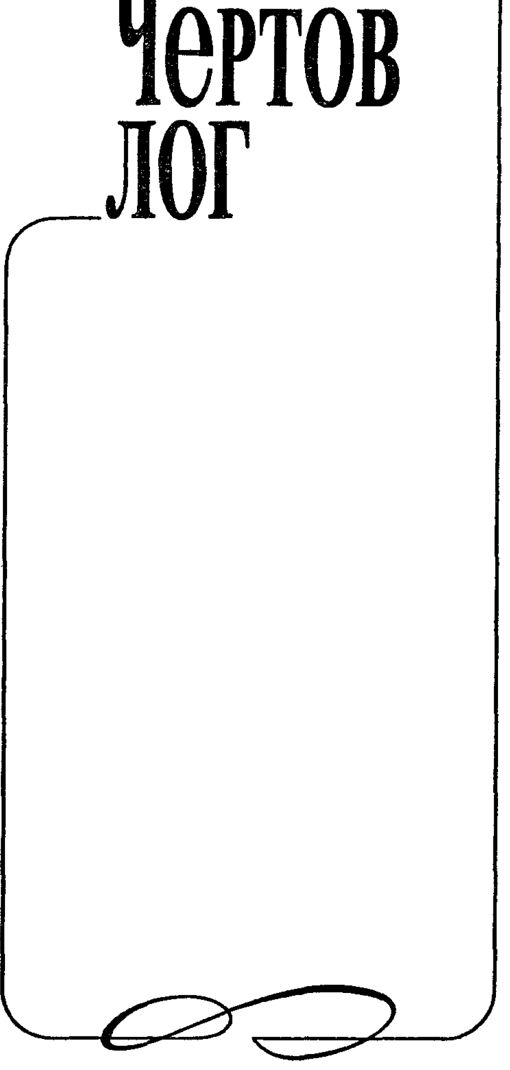
Ремизов А. М.

Р 38 Собрание сочинений: Т. 3. Оказион. — М.: Русская книга, 2000. — 672 с., 1 л. портр.

В 3-м томе Собрания сочинений А. М. Ремизова представлены произведения малой формы, созданные в России в 1896—1921 гг. Объединенные автором в циклы реалистические рассказы образуют целостную литературную автобиографию, в которой отразились хроника русской жизни и сейсмология народных умонастроений первых двух десятилетий XX в.

ISBN 5-268-00492-1 **УДК 882**
ISBN 5-268-00482-X **ББК 84Р**

Чертов лог



БЕБКА

Долгая зима ушла, как уходило много таких же скучных, вьюжных, черных зим, опоясанных жгучим, льдистым сиянием ненасытной стужи.

Выла вьюга, все засыпая белыми снегами далеко кругом, и, побледневшие, они лежали, погребая и лес, и реку, и глухую степь.

Дом, где я жил, чуть виднелся, и только клубы пугливого дыма говорили о жизни.

И внутри его было мертво и тихо, лишь изредка постукивал молоток да визжала дратва.

А теперь нетерпеливая весна далекого севера, заброшенного, одинокого...

Каждое утро, когда я читаю или пишу, дверь в мою комнату сначала вздрагивает, потом немного поддается вперед, и, наконец, приотворяется.

— Бубука пусти, пусти Бубука, Бу-бу-ка! — слышится детский настойчивый голос.

Входит маленький толстенький мальчик или в сером халатике, или в красной рубашечке и синих штанишках.

— Бубука, сделай мне пищик, — говорит мальчик, подходя к столу.

— Какой пищик? — не отрываясь от работы, спрашиваю Бебку.

— Как у парохода!

— Не умею я пищики делать.

— Так я тебе пищик покажу!

— Ну хорошо, только не теперь, после, Бебка, я сейчас занимаюсь.

— А ты надень пальто, шапку, застегнись и идем, а потом и занимайся.

Я ничего не отвечаю, стараюсь сосредоточиться, и строю серьезное лицо.

Бебка ползает по полу, собирает лоскутки цветной бумаги и что-то свертывает.

— Ты что делаешь, Бебка?

— Конфетку делаю маме, она съест ее; вчера мне дала много-много больших конфетов, а тебе не прислала!

— Отчего же не прислала?

— Я тебе сам принесу, когда приедет папа.

Бебка влезает на стул и долго глядит на цветы.

— У тебя, Бубука, цветов много?

— Много.

— И желтых?

— И желтых.

— Дай мне один цветок?

Я вынимаю из стакана цветы и подаю Бебке.

— Вот, бери все и поди погуляй, а после я и пищик тебе сделаю.

— Как у парохода?

— Лучше, чем у парохода, только иди и погуляй.

Бебка берет цветы и, роняя их, идет к двери. Я выпускаю его.

В открытое окно долго слышится детский голос, вроде песенки:

Бубука все цветы отдал.
Бубука все цветы отдал.

Снова принимаюсь за работу, но ничего не выходит, — мне видится Бебка: он роняет цветы и поет...

Проходит час, другой. Снова слышится голос Бебки, он быстро подбегает ко мне:

— Бубука, на тебе! — и вынимая изо рта конфету, подает мне.

Я делаю вид, что сосу.

— А теперь давай!

Он идет в соседнюю комнату, где работают сапожники; сердитый Иван Онуфрич и длинный Петр Андреич, — и там повторяется та же самая сцена.

— А теперь давай! — слышится настойчивый голос Бебки.

* * *

Стоят холода.

По утрам серебряный тонкий покров ложится на нежно-зеленую озимь, а волны коричневые с белыми, как груди чаек, и красные, как крапинки крови, гребнями мечутся под крики стального вихря, прилетевшего с тундры.

Бебка не показывается.

Я проходил по окраине города и в окне одного дома увидел его: он играл с ребятишками в своем сером халатике, в высоких с резинами калошах, надетых на чулки.

И сегодня, когда вихрь улетел, и солнце, играя и грея, собирало стада пушистых, грозовых облаков, снова вздрогнула дверь, и вошел Бебка.

— Ты где это пропадал?

— Пчелов ловил.

— А я тебя видел!

— Где ты видел?

— В лесу видел, да ты не узнал меня; ну-ка скажи мне, как меня зовут?

— Бубука!

— А еще как?

Бебка долго молчит, потом хватается ручонками за мою шею, лезет на колени и шепотом вместо на ухо говорит на нос:

— Козел бородатый.

* * *

Пароход идет!

Вижу из окна, как где-то далеко мелькает что-то, словно старая серая льдина.

Спешу на пристань.

Дорогой попадается Бебка; он в длинном пальто со штрипкой ниже талии, на голове пушистая синяя шапка блином, с пампушкой посередине.

— Бубука, пароход идет, возьми меня с собой!

Я беру его за руку, и мы бежим...

На пристани Бебка усаживается на перилы лестницы и ждет.

Наконец, пароход подплывает и долго пронзительно ревет.

— Ну, Бебка, поедем к людоедам?

— Сам поезжай, а я не поеду! — и Бебка таращит глазенки во все стороны, словно еще увидит что-то и очень нужное.

— Тогда пойдем домой, больше уж ничего не увидим.

Медленно взбираемся на берег, Бебка поминутно оглядывается, не уйдет ли пароход обратно.

По реке скользят лодки; чайки кричат.

— Как пройдет пароход,— говорит усталым голосом Бебка,— ты беги, Бубука, беги!

* * *

После обеда приходит Бебка и, молча, стоит около меня.

— Здравствуй, Сака-фара!

— Сам ты Шака-фара! — недовольно отвечает Бебка.

— Что ты губы-то распустил, ишь ты какие они длинные у тебя, словно у Агаги какой, побил тебя кто?

Бебка молчит.

— Ты не обедал?

Молчит.

— Чаю хочешь?

Молчит.

— Вот что, Бебка, пойдем-ка, да заснем, и я лягу с тобой, расскажу тебе страшную-страшную сказку!

Я беру его на руки и несу на кровать.

Сначала делаю ему «долгую-долгую» козу и сороку с «холодненькой водицей» и грею животик, но он не улыбнется, тогда закрываю глаза и начинаю храпеть.

— Бу-бу-ка! — тихо говорит Бебка.

— А! это ты, Бебка, а я думал, детосека пришел!

— Ска-зку! — еще тише говорил Бебка.

— Сказку! Ну, слушай!..

— «Когда-то давно-давно жили-были Чокыр и лиса, жили они дружно, приятелями, в лес ходили, на пароход ходили»...

Бебка зевнул и затаращил глазенки.

«Вместе спали после обеда и цветы собирали желтые, пищики делали»...

— Как у парохода? — сонно спрашивает Бебка; его личико розовеет, губки надуваются и оттопыриваются.

«И вот случилось раз, не стало у них хлеба, а есть хочется»...

Бебка спит; я тихонько слезаю с кровати.

Но скоро он просыпается, испугался, — мокрехонький, — и начинает плакать...

Уносят домой.

* * *

— Я тебе цветов желтых принес! — кричит Бебка.

Он растегивает штанишки и вытаскивает оттуда измятые одуванчики.

Я беру у него цветы и застегиваю штанишки.

— Ну, а теперь, пойди лучше к Ивану Онуфричу, я сейчас занимаюсь, Бебка!

— Тогда я к тебе никогда не приду! — ворчит и уходит.

Из соседней комнаты слышу такой разговор:

— Ты козла содрал, Рогатый?

— Содрал.

— Пищит?

— Сейчас запищит, слышишь? — и Длинный начинает пищать.

— Мама говорит, заяц у нас убежал с кашей.

— Я его встретил! — строго замечает сердитый сапожник.

— А козла?

— И козла.

Иван Онуфрич входит ко мне, ставит два стула, вешает на спинки нитки и начинает мотать.

Бебка ходит за ним и, если нитка путается, он терпеливо ждет, когда Иван Онуфриевич распутает узел.

Бебка работает!

Потом, когда сучат дратву, он, в длинном сапожном фартуке с молотком ходит по комнате. Он заглядывает на полки с книгами и постукивает по корешкам.

— Эти мне нравятся, оне хорошие, — говорит он, показывая на те книги, где наклеены разноцветные билетики, — а эти нехорошие, и почему книги не падают?

* * *

Хмурое, холодное утро.

Должно быть, по морю льды идут.

Река серая, грязноватая.

Дождь пошел мелкий осенний.

Я сижу у окна; тихо, только ветер протяжно долго гудит и стонет.

Вдруг вижу Бебку; он стоит на берегу с голыми до колен ногами и смотрит в даль реки.

— Здравствуй, Бебка! — кричу ему.

— Бубука! — отвечает его звонкий голосок, — пароход пришел?

— Не знаю, а пищик?

— Свистульки у меня нет, ты сделай мне, Бубука!

И Бебка бежит ко мне, начинаются разговоры о пищике, о желтых цветах, о козле.

* * *

Я собирался уезжать.

Догорал вечер,— малиновый, нежась, лежал на тихой реке.

Зацветал шиповник.

Принесли Бебку проститься, его уж укладывали спать.

— Простись же с Бубукой, он никогда не приедет к нам!

Бебка сонный вытянул губки и вдруг увидал на столе собранные в кучу пестрые речные камушки.

— Что это, Бубука?

— Это я ем, кушанье на дорогу.

— Отдай мне!

— Ну бери, тебе на память, Бебка.

Он сразу оживился, собрал все камушки в свою шапку и заторопился домой. Но когда хотел надеть шапку, камни посыпались, и он захныкал.

— Иди-ка, Бебка, спать, все камни принесу тебе, ну прощай, Бебка, прощай!

И Бебку унесли.

А я остался с камнями, да и те не мои.

МУЗЫКАНТ

Он хотел петь...

Когда случалось ему бывать в концертах, пальцы его принимались вслед за дирижером выплясывать в воздухе такт, а лицо строилось под пьесы — гримасничал, особенно губы: то оттопыривались, то прикусывались, то расходились чуть не до самых ушей, а голова тянулась и в ту и в другую сторону, помогая исполнению. Подымался на цыпочки, пристукивал каблуком, раскачивался — из кожи лез.

Нередко видали его у витрин музыкальных магазинов; там подолгу и сосредоточенно выстаивал он, высматривая: свежие обложки новых, только что полученных пьес, а потом нехотя отходил прочь и шел по улице, сгорбившись, неровной, подплясывающей походкой, чему-то улыбаясь, от чего-то хмурясь, себе на уме, — не просто покручивая летом тоненькой тросточкой, а зимою счищая пальцем напорошенный снег с подоконников и заборов.

Деньги водились у него туго, покупать ноты мог он только изредка, а потому приходилось ограничиваться подчеркиванием в каталогах тех пьес, которые хотелось ему иметь, и каталоги — а у него их был целый ворох — пестрели разноцветными крестиками, кружочками, точками, чертиками.

Что-то непобедимое тянуло его к музыке. Запоет ли под окнами шарманка, пройдут ли мимо солдаты с музыкой, так и подпрыгнет весь, — сердце ходуном ходит, битый час прослушает, а потом затоскует, будто то, что рвалось, прорывалось наружу и снова стискивалось и захлопывалось, разливалось теперь точащей жалобой, просьбой: выпустить.

А сам, уродливо состроенный, с тысячью недостатков людей-посмешищ, глубоко расходился с тем, что чувст-

вовал до боли близко, тут рядом с собой и перед собой и вплотную сзади себя.

И это сжимало. Стесняло до смехотворности. Особенно, когда входил в первый раз куда-нибудь в незнакомый дом или проходил по залам театра, где много народа могли его видеть. Тут всего было вдоволь: говоря, пропускал 'в словах целые слоги, — и слушатели прыскали от хохота, — наступал на ноги и на подол, — огрызались.

В детстве его дразнили, а после, когда уж вышел из этого возраста, нередко какой-нибудь прохожий так, зря, пускал ему вслед обидную остроту. Когда жена его брата была беременной, его мать как-то сказала ей:

— Не смотри ты на эту уродину, нехорошо!

И почему-то это замечание глубоко врезалось ему в память. Так мать сказала.

На одном месте подолгу он не мог сидеть, и менял город за городом.

И вот, несмотря на все свое стеснение, он каким-то манером всюду проникал в такие дома, где и рояли водились и музыка была.

Он хотел петь.

* * *

Шла весна.

Взрыхленные сырые улицы звенели под копытом и сухо лязгали под ненужными полозьями.

С крыш давно уж сошел снег, и по просыхающим желобам едва сочились последние мутные капли.

Переваливало к ночи, а небо все еще зеленелось, и только кое-где выглядывали крохотные звездочки, другие, не зимние.

Прохожие женщины в легких кофточках с воздушными шарфиками проносились такие красивые и нарядные.

С замиравшим сердцем подходил он к дому с роялью, где уж несколько месяцев давал уроки и прижился настолько, что сам напросился петь.

К счастью, уроков оказалось мало, — по какому-то случаю учителя позабыли задать, — и только одна запутанная арифметическая задача, которую второпях он сделал алгебраически.

— Все равно, сойдет! — решил про себя и тотчас почувствовал, как что-то огромное, звучащее, какой-то чугунный набор черных нотных значков навис над его мыслями и повторял на самое ухо: петь.

Ему предложили чаю. Но он отказался и прямо прошел в зал, где у раскрытого рояля горели приготовленные свечи и на пюпитре лежали его любимые ноты.

Заискивающим полусерьезным, полушутливым тоном он обратился к своей ученице, прося ему аккомпанировать.

Варя согласилась. А он уселся за рояль, перелистал ноты, повторил слова, в которых всегда при пении чувствовал себя нетвердым, выкурил папироску, выкурил другую, зевнул, потянулся...

Конечно, стесняться он не станет, незнакомых гостей нет; правда, пришел Борис Викторович, он уж настоящий; вон он говорит своим удивительным голосом: «Что-то сегодня голос у меня не звучит...» Да, но он ведь настоящий и потому все поймет, и притом же он какой-то невозмутимый, не замечает.

— Но отчего она не идет; сказала сейчас, а нет... позабыла, или нарочно... конечно, нарочно! — и, раздражаясь, он принялся, неумно и путаясь, подбирать мелодию.

Он хотел петь.

В столовой пьют чай, смеются, потом, должно быть, заслышав игру, вспоминают, шумят стульями.

В зал входит Варя и с ней Борис Викторович.

Варя делает серьезное лицо и усаживается за рояль.

Начинается интродукция, которую она повторяет несколько раз, потому что, как только дело доходит до пения, он петь не решается, он все откашливается, он все мычит какую-то свою неопределенную первую ноту.

Принимаются уговаривать. И только после упорных поднукиваний, после капризных нетерпеливых жестов Вари, пение начинается: пропустив высокую ноту, сдавленным голосом он берет, наконец, следующую, более низкую, но так тихо, совсем шепотом.

Борис Викторович, терпеливо прослушав несколько тактов и, видимо, желая помочь, начинает подпевать. И сильный его голос наполняет весь зал.

Запела и Варя. А он силится взять громче, берет громче — но все не так и, законфузясь, замолкает.

Становится страшно неловко; согнувшись, он закуривает папироску и, деланно улыбаясь и разевая рот, как можно шире, чтобы не выдать своего молчания, посматривает то на папироску, то на ноты.

Кажется, вот остановятся и заметят.

А этого не хочется, ведь он может петь, у него тоже есть голос, он знает наизусть всю пьесу.

— Уходи, — долбит кто-то на ухо, и он пускается напряженно подыскивать какой-нибудь предлог, чтобы выйти из залы.

И, пробормотав что-то ни к селу ни к городу, он на цыпочках выходит в столовую.

Ему предложили чаю.

Молча, уткнувшись в стакан, проливая, он пьет стакан за стаканом, потом, кроша и чавкая, долго и много ест, хотя есть совсем не хочется.

Он старается показать, что в сущности ему все равно: поет он вот сейчас или не поет.

А из залы, дразня, выплывают звуки, и они такие большие и так много открывают и скрывают в себе — звуки его любимой арии.

И как бы он все это исполнил! — он бы вот так..!

О нем забыли.

Кто был в столовой, давно уж перешли в зал.

Он один.

— Хорошо, — думает, — это хорошо; они не заметили... — и, жмурясь, припоминает, как иногда по деланной его улыбке Варя догадывается, в чем дело, и говорит: «Вам одному хочется петь?» — и улыбается, а глаза жалеют, как жалеют слепых щенят.

Да, он помнит все вечера... и те вечера, когда, неизвестно почему, его просили петь, но он упирался и все же начинал и на самом интересном месте останавливался...

Почему он останавливался?

Да, он помнит все вечера... и те вечера, когда, как казалось ему, он был в ударе, волновался, но приходили другие, подпевали, заглушали или ни с того, ни с чего настаивали, чтобы пел кто-нибудь другой...

Почему другой?

Пение расходилось, все предметы вокруг начинали звучать.

Он улыбался.

Стаканы, незаметно сомкнувшись, заплясали; хлеб из-под носа юркнул под стол.

Он приподнялся со стула и, мерно притоптывая каблуком, стал раскачиваться то в одну, то в другую сторону в такт музыке, а губы вытянулись и подчмокивали и руки завертелись, запрыгали.

И запылало все в нем ярко — музыкой...

Пели стены, пело окно, пела ночь... весна, звезды.

Он хотел петь.

СЕРЕБРЯНЫЕ ЛОЖКИ

Третьего дня Певцова выпустили из тюрьмы. Обегал весь город, туркался по хозяйкам, — просил сдать комнату на сколько там дней — вот только бы дождаться решения!

Ничего не выгорело. Уговорится, по рукам ударит, а как дойдет дело до паспорта, — крышка! — проваливай.

Гостиница — не дом. Живо вытурят. А в кармане медь. На меди далеко не проедешь!

Уж эти мне городишки, теплые да сытные с кулебякой, когда благополучно все, и трусливые, такие гадкие, когда беда стрясется. С голоду подохнешь на мостовой, под забором,— палец об палец никто не стукнет.

Решился идти к приятелю. Куда ни шло, может, и вспомнить, — дело на лад пойдет.

Приятеля застал дома.

Сейчас же за самовар уселись.

Певцов нашел большие перемены: сгорел дом, новый успели выстроить, Николай Алексеевич университет кончил, округлился, бабушка его занудилась.

Пили самовар за самоваром на открытой террасе, — терраса по-чудному устроена: над крышей площадка с перилами, — пили со вкусом до седьмого пота.

Мутные столбы пыли беззастенчиво носились там по городу, расстилались, заглядывали в самые непоказанные места; оттого и на зубах хрустело, и щекотало что-то в носу, мазалось, мешаясь с потом.

Вытягивая длинно жилистую шею и лихорадочно перекидывая из стороны в сторону тонущие глубоко глаза,

Певцов выкладывал с мельчайшими подробностями и повторениями день за днем из своего времяпрепровождения на «казенной даче».

Продолжительное молчание прикусывало язык, и слова захрясали в горле, а самая суть прыгала где-то перед носом, поддразнивала и все увертывалась.

Николай Алексеевич поминутно кивал своей огромной лысеющей головой в знак одобрения:

— Понимаю.

— А выпустили, — рассказывал Певцов, — при таких обстоятельствах, уму непостижимо. Полковник, который дело вел, чудодей был, страсть. Привезут, бывало, на допрос, заставит свою дочь в соседней комнате на рояли играть, а сам допрашивает. Или начнет рассказывать что-нибудь, как накануне в театре был, что видел. На чувствительных местах плакать примется. Поплачет, а потом подзовет дежурного, и опять тебя в тюрьму. На этот раз привезли меня с самого утра. Чем-чем только не пичкал, и обедом и вином угощал, а как завечерело, и говорит: хотите, — говорит, — со мной в летний театр идти? — Хочу, — говорю. Ну, и пошли. А как пришли в театр, народу тьма. — Акт посмотрим, а там в тюрьму, — сказал полковник и пошел к своему месту. И очутился я вдруг один среди тысячной толпы, совершенно один. Стоял, как одурелый, хватался то за одно, то за другое, уйма планов возникала в голове, уж не то что хотелось бежать, куда! — давно, казалось, убежал и стою, вернулся опять, поймали или не так, — вот поймают. Упал занавес, заиграла музыка. Вышел полковник. — Пойдемте, — говорит, — прогуляемся немного, потом на выставку, певичек послушаем, а там в тюрьму. — Гуляли. Народ расступается. Смотрит. И вся толпа, будто один глаз, смотрит. Обошли весь театр. На выставку. Тут я почувствовал, что всего меня трясти начинает, и ноги подкашивает. Певички поют. И сквозь туман и резкие голоса голос полковника... те же фразы, те же слова, что утром на допросе. Певички поют. Вдруг полковник схватывает меня за руку. — Идите, — шепчет, — идите отсюда, куда хотите. Я в толпу. Вижу, подходит губернатор. Спрашивает что-то полковника, указывает в мою сторону, полковник качает головой. Но меня уж нет. И я куда-то иду. Поют певички. Кто-то говорит: ты — шпион.

Певцов задохнулся.

Спокойно и безучастно носилась пыль, теплая, запыляя широкий горизонт и желтые поля и лес зеленый.

* * *

Все бы хорошо, живи, как у Христа за пазухой, одно горе — бабушка одолела.

Ни днем тебе, ни ночью нет от нее покоя.

Бурчит и так чешется.

Все не по ней: и почему жара стоит и дождик редко падает и почему мухи так жужжат и кусаются и почему поселился в доме чужой человек, неизвестный.

Встретила она Певцова подозрительным глазом: какой он такой; может, и фальшивые бумажки подделывает, путаник.

Сядут за стол, бабушка охает. Разговор один — о пожаре: случился пожар год назад, а до сих пор мучает бабушку.

— Господи, добра-то добра погорело. Задуванило во флигели, услыхал Коленька, да ко мне, а я дрыхну... Бабушка, — говорит, — вставайте! — да в охапку меня, как дите малое, и вынес. Сапожки-то Коленькины, новешенькие, из Питера привез, мундирчик и все мои платьишки, какие были, ровно языком слизнуло.

Николай Алексеевич сопит, уписывает.

Кончат обед, за чай примутся.

Тут держи ухо востро, — бабушка все замечает.

— Расходы пошли огромадные, обдерут они тебя, Коленька, приятели-то твои ненаглядные, как липку... Сахару вот тоже нынче много выходить стало.

И так до самого вечера пилит.

И только когда отдыхать ложилась, наступал тихий час.

Певцов выходил из дому, усаживался где-нибудь в саду и ждал ночи.

И ночь подплывала светлая, стрекоча, вздыхала по-летнему.

Туман подымался. Гул города догрохатывал свою последнюю сутолку.

Что-то тихое незримо жило в сени дремлющих листьев под созревающими яблоками, словно это осень пробуж-

дающаяся посылала ночи свои первые томные взоры и душистые.

И душа обращалась к ночи.

Ночь свободная, в звездах, в странном сиянии, она все приняла: и день с его заботами, с его работой, и вечер с его хмелем и голодом, приняла и низвергнула туда к земле, а сама стала вверх, манящая, в звездах, в странном сиянии.

И вдруг из ночи раздавался голос.

— Ты — шпион.

— Нет, неправда.

Но целый рой мыслей окружал сердце и жалил: опять выплывала «казенная дача», все дни и все ночи, все допросы, все уговаривания.

— А если однажды ты был уж готов...

— Нет, никогда.

— А если однажды ты подумал?

— Подумал... однажды...

— Ты шпион.

Певцов опускал глаза, робко подымался со скамейки и шел из сада, не оглядываясь, в дом.

Долго стучался.

Выходила бабушка заспанная в широкой кофте. Отпирала дверь.

— У! путаники, нет от вас покою мне.

Певцов на цыпочках входил в комнату, стлал пальто и заваливался.

— Знать, за грехи мои послал мне Господь наказание, — ворочалась бабушка.

* * *

В один прекрасный день дом перевернулся вверх дном.

Бабушка уехала.

То-то житье пошло.

По вечерам гости, — сиди хоть до утра, никто тебе слова не скажет.

И сидели до утра, засыпали пьяные, где кто попало, вповалку.

Не пальто, а бабушкина мягкая перина часто в ходу была для ночлега.

Водки выходило — не лезет, пей — вот как!

Все яйца, запасенные бабушкой на зиму, превратились в одну скорлупу, и скорлупа не убиралась, а сваливалась в угол.

Яблоки тоже поснимали и схряпали. Яблоки на закуску пошли.

С полудня начиналась жизнь. Дули чай, не обедали, а там приходил кто-нибудь, и пошла писать.

Певцов обвыкал.

Угарные дни задавили своим хмелем и тошнотой всякий непрошеный голос, и подымался в душе смутный образ какой-то другой жизни, не этой, от которой голова трещит.

Только бы вышло решение, а там пойдет по-другому.

И это другое казалось уж близким.

Впрочем, не раз все выворачивалось.

Следствие подходило к концу. Допрашивались для округления дела. И всякий раз, когда кто-нибудь отвечал уклончиво, полковник заявлял, что стоит ему призвать Певцова, как вопрос решится немедленно:

— Певцов скажет всю правду.

Редко Певцов выходил из дому, а когда выходил, редко не случалось истории: то знакомый руки не подаст, то перейдет на другую сторону, чтобы не встретиться.

— Сколько вы получаете из полиции? — спросил как-то один из привлекаемых по его делу.

— Шесть рублей, — ответил Певцов, не задумавшись.

Эту сумму он будет получать, когда его сошлют. Почему сказал? — сам не знает. Разве про это спрашивали?

И это подлило масла в огонь.

Пробовал кое с кем объясняться, не помогло — еще хуже запутало, а оттого, что, рассказывая, путался и терялся. А надобен был прямой ответ.

И тогда, после пьяной ночи, Певцов не засыпал, а красными, прожигающими словами, неумолимо допрашивал самого себя. И, не находя вины, выдумывал вину, выскабливал ее из мелочей, из ничтожества и надевал себе на шею огромный камень — вину, которую человек не может простить.

Это было бешенство поднявшегося греха, ненасытимое.

И лишь белый день сшибал его с ног и валил куда-нибудь в угол в груду окурков, скорлупы и плевков на темный сон.

От бабушки между тем получилось письмо. Писала она Коленьке, чтобы дом берег, глядел за имуществом, а главное за серебром — покойного отца наследство, да за приятелем поглядывал бы, мало ли что бывает...

Хохотали.

Вскоре Николай Алексеевич дом заложил. Деньги понадобились на свадьбу, — надумал жениться, да и ремонт подоспел.

Как-то на рассвете застучали молотками, и дом наполнился сиплыми и ахающими звуками отдираемого теса.

На стружках среди душистых опилок примостились приятели: надо было все передумать и приготовиться к свадьбе.

Толки о свадьбе заняли все время.

А для присмотра за домом наняли кухарку. Кухарка сошлась с плотниками.

Пошел дым коромыслом.

Так весь пост хороводились. Только после Успеньева дня Николай Алексеевич уехал в пригородное село венчаться, Певцова же не пустили, и он остался один.

Оставаться одному в доме не было никакой возможности. Такой кавардак воцарился, что постоялый двор.

Комнату нашел себе без всякого затруднения. Подействовали толки.

Уж эти мне городишки, запуганные и пришибленные, рады они всякой сволочи, лишь бы сохранить благополучие; жулик ты, вор, но из-за тебя не посадят в тюрьму, не отымут твоей рухляди, — и тебя всякий примет.

Что произошло, когда вернулась бабушка, одному Богу известно. Хватится одного — нет, хватится другого — недохватка.

Вспомнила о серебре, толкнулась в чулан, — замка и помина нет.

— Он, — кричала бабушка, — каторжник, допрежь некому, ограбил он меня, беспутный, ограбил окаянный... матернина-то анисовка, цвет-то какой был, все пожрал!

* * *

На новой квартире в темной комнате с единственным окном в пристройку шли дни ровные, чуть видные, серые, серели и туманились промозглым туманом гниющей осени.

Нет, не наступала другая жизнь; словно выглянув, она захрясла где-то и теперь, как запоздалая трава, бьется и топчется дождем и грязью.

Думал: вот придет решение, сошлют в другое место, а оказалось, такие дела так просто не делаются, ждать да пождать надо немало времени.

Думал: оставшись один, он возьмется за какую-нибудь работу и уйдет с головой. И тут обманулся: такой работы не оказалось.

А то, чем жил до тюрьмы, та полоса, по которой шел, выскользнула из-под ног, затерялась, и след простыл.

Или надо было во что бы то не стало найти потерянный конец, захватить его, уцепиться и тянуть вовсю без отдыха, без раздумья, без оглядки.

Или глухое молчание, — с часу на час все глуше — расплющивающее всякое «да», всякое «нет».

И Певцов пригибался.

Ни туда, ни сюда.

Быть может, и концов-то никаких нет, а так, спорт. Конец один.

Он чувствовал его, но имени не знал. Кто назовет его?

Певцов шел по скользкому дощатому тротуару под мелким тончайшей пыли дождем.

Измокшие, приевшиеся глазу дома дряхлели.

Он шел и думал о жизни такой осенней, такой дождливой, которой живет улица, и он живет, о жизни, такой ненужной, невозможной, которую надо вытравить до дна, выдернуть с корнем.

А взамен этой лжи, взаимной травли, злорадства и просто спорта, ты знаешь другую, ты в себе, в своем сердце назовешь ее? Имя ее ты скажешь?

— Вот придет решение, сошлют в другое место, там...

Певцов вздрогнул.

Что-то мокрое шлепнулось по его плечу.

Оглядывается: бабушка, бабушка тычет зонтиком:

— Подай мне мое серебро, подай, бессовестный. Не оставлю я так, найду я на тебя слад, похитил ты мои ложки...

Бабушка кричала. Певцов молча переминался.

Останавливались прохожие, глазели, хихикали:

— Ложки украл!

* * *

Мелкий тончайшей пыли дождь сетился за окном, монотонно и скучно постукивал, и стерег и подсматривал.

С зажженной свечой рылся Певцов в своей рухляди, перетряхивал ее, заглядывал в каждую дыру и складку — искал ложек.

Он отыщет их, должен отыскать...

НОВЫЙ ГОД

Снежный был день.

Снежинки летели молча, — конца не видать. Пришел вечер, принес темноту, и в темноте без пути шел снег, засыпая дороги и крыши и городьбу.

Пришел Васильев вечер — новый год.

Было тепло. Так в февральскую распутицу бывает тепло.

В запушенных окнах горели огоньки. Тиририкала где-то гармонья одноголосая.

На колокольне поверх жилья с оттяжкой звонили ко всенощной. Мешал ветер звонить, уносил звон в поле да в белый лес.

Винную лавку заперли. Сиделец с ключами пропал в снегах: больше не проси — ни вот столько не даст.

У покачнувшейся убогой избы копошились два лохматых взъерошенных тела, а из распахнутой двери белый валил пар.

— Сволочь, паскуда! — гудел запекшийся мужской голос.

— Не пущу, говорят, не пущу! — с воем в ответ визжала баба.

— Фекла, будет, слышишь...

— У, окаянный, разорвала бы тебе харю твою поганую, стерва ты занавозная.

— Заткни глотку, Фекла, слышь, не в комнатах...

— Рвань ты коричневая, полосатая! Не допущу я срамоты на себе: пялить бы тебе пугалы свои дурацкие, нет... барыни! напакостить мне на твоих барынь!

— Ну, не пойду, слышь, не пойду, — сдался было сапожник, да видно шило кольнуло куда, развернулся и ну колошматить: — лахудра ты, шлюха грачевская.

— Душат!!! черт! — взвизгнула баба — свинья резаная и, уродливые закувыркались круглые Кирилл да Фекла и молча давили друг друга, крепко обнявшись, — не разберешь.

Не звонит колокол ко всенощной, замолчала гармонья одноголосая, тихо на улице. В окнах огонек подергивается краснотой, сочась сквозь снега тихо на улицу. Не тявкает Лайка — пушистая, дремлет под пушистый снег; не спят одни вострые ушки да тоненький нос.

Налево пойдешь — много верст, — один снег; направо пойдешь — много верст, — один снег.

Кудрин, закутанный в огромную шубу, весь в снегу надорванно-молча пробирался среди снега. Чуть еще померкал день, как вышел он из своей комнаты, обошел город десятки раз, и теперь опять возвращался домой.

Васильев вечер — новый год или пустынность и глушь и без конца дорога пробудила в нем другие годы, другой город.

Да и так никогда — разве он мог? — никогда не забывал о них.

Там было не так: застроенность города, живые, движущиеся улицы, фонари, экипажи — и ни одной птицы; там было не так: суетня, сутолка и спешка на всех парах. А над всем одна мысль, и вся душа пронизана только этой одной мыслью. Подымалась она с зарей — зари там не видно, замирала с зарей — зари там не видно, и ночью будила и бунтовалась.

А имя ей — вольность.

В книжках, в театре, даже в опере он искал воплощение борьбы за нее. И если не находил, шел мимо.

Год за годом — сердце не улеглось, не остывала горячка.

Что только не приходило в голову? — и все это теснилось и прыгало по струне прямо в ту бесконечность: там, не потухая, горело вечным светом это одно слово, этот единственный звук.

Не было буден, не было ненужных, докучливых минут. Шибко и гордо бились минуты, час за часом, год за годом.

И та, которую он встретил, представлялась ему его вечной спутницей до последней минуты там... Так уж

пошло: в той бесконечности, где горит единственный звук — это одно слово, стоит столб, на столбе перекладина.

Эх, если бы тогда... какое счастье, веруя, умереть!

А кончилось ничем. Попал сюда. И ничего не сделано. Вот и все!

И опять вспомнилась она такой, как ее встретил: эти глаза, в которых читаешь обреченность и горят огоньки необузданной страсти и смеха...

Да... они шли с «Ревизора», — Кудрин вобрал в себя воздух, а с воздухом и всю память о ней, — шли вместе, и ему стало вдруг ясно, что он всю свою жизнь только и искал ее, только и думал о ней и говорил свои слова так, будто она их слышала. Ему показалось тогда, что и она в тот миг то же подумала. И они молчали. Может быть, ему только показалось тогда...

И клялись на всю жизнь: они пойдут вместе, они умрут вместе... никогда не забудут, не оставят друг друга.

— Она и умрет.

— Да... но...

Кудрин схватился за карман: в кармане на донышке в истрепанном синем конверте хранились несколько писем; три года назад, в первый год своей ссылки, он получил от нее эти письма...

— То-то, забыла, — протянулся из глуби сердца нехороший голос.

— Забыла, — беззвучно сказал Кудрин и передернулся.

В кулачок сморщилось тело.

И одиноко у него и холодно на душе. И забился бы в снег и плакал бы... И странно ему: он когда-то уж все это пережил. Да, гулял с нянькой, отстал и заблудился. А потом хватились... Нет, не все так: на нем теперь огромная неуклюжая шуба и позвать некого.

— Ай-ай-ай, какой ты! — смехом протягивается из глуби сердца нехороший голос, — какой ты — смешной!

Но ему уж нет дела, какой он: смешной или не смешной, ему все равно; и если бы сию минуту мир провалился или... пускай мир в тар-тарары летит — пускай! — ему ничего не надо.

— Ай-ай-ай, какие глупости! — смеется нехороший голос, и Кудрин начинает смеяться этим мелким, не своим, захватывающим дух смехом.

— Свобода! — заливается нехороший голос, — какая свобода! — и, трыкнув, острой слезинкой шпыняет сердце.

А он стоит на дороге — весь не больше горошины, тоньше соломинки, а шуба на нем гора-горой.

Беспомощно глядит вокруг, а позвать некого.

* * *

Домик, в котором жил Кудрин, стоял особняком прямо под ветром на берегу. Дурная о домике ходила слава; и красные занавески в окнах хозяйкиной половины настраивали на игривый лад. Впрочем, как водится, всякий считал нужным плюнуть и выругаться, а шепотом сказать что-нибудь такое, от чего слюнки текли. Такой уж подлец человек, большого с него и не спросится.

Зимой жутко: без огня вечером зря не шатайся, — то в баню волк затешется, а то и еще какой грех — и укокошат спьяну и надругаются, — за этим в карман не полезешь.

А ветер свистит, обсвистывает домик, выворачивает с реки белые широкие полосы-лыжи, подымает их столбом на страшную высь и, закалив там в поднебесном холоде, пускает гребнем на землю. И чешет белую землю, расчесывает ледяными зубьями до черной плеши, аж пар валит. А солнце, такое красное, когда на масленицу впервые оно выкатывается из тьмы дымов, словно из жаркой бани, — такое красное. И немо стынет до заполдня разверзшейся пастью.

Из домика все видно, не надо и на волю выходить.

А вот весной пройдет лед, встанет лес, зацветет берег, заалеет остров... не насмотришься. Медная ночь. Она все обнажит, прогонит всякую тень, и, Бог знает, кто только не скажется... Целые жизни выходят из леса, подымаются с полей, целые жизни плывут из реки, катят с гор и забредают сюда и пляшут у домика. Она перевертывает мир вверх тормашками, медная ночь.

А там за знойным летом осень.

Осень, — когда золотой лист летит, не держится на дереве и не найдешь в лесу ягоды, — одна ягода да и та горькая — рябина. Из полей перебираются змеи в лес, уходят в землю. Тешится Леший последние дни над со-

ломой, смеется; и ему черед провалиться сквозь землю и до весны уж не выскочить.

Пролетят гуси. Вон журавли.

Колесом дорога! колесом дорога! — закричат ребятишки.

Ну, кричи не кричи, — не услышат, не остановятся; они не остановятся — зимы не задержат.

Осень.

Ночь обтыкалась чистыми звездами. Постелился Белый путь. Занялись Девичьи зори — три сестры — недоступные, три сестры — проклятые, весь век им гореть зарей.

Ветер-баюн трясет ветвями — убаюкивает.

В домике свет зажигай!

И красные надуваются занавески в покосившихся окнах.

* * *

Дверь отворил наборщик Козел.

Кудрин сконфузился.

Поскорее протер очки. Сказал:

— Там такое творится, все глаза залепило, даже до... слез.

— А я давно поджидаю вас, — подмигивая единственным глазом, юркий и вертлявый, семенил Козел в валенках, — жду, а сам себе думаю: и куда это могло занести вас в такую скверную пору. Почта пришла, перечитал все газеты, мне, как сами знаете, Александр Иванович...

Поставили самовар. Приготовили все, что нужно, к вечеру.

Кудрин сел к столу за газеты.

Козел, не умолкая, тараторил.

Козла не любили. Целыми днями слоняясь из дома в дом, каждый раз заводил он одно и то же, рассказывал вечно одну историю: и о своей тюремной жизни, и о том, как болят у него глаза, и что поделывают остальные. Работы у Козла не было, подходящего к его ремеслу ничего не могло найтись — одна слава, что город, а любое село просторнее! Никаких книг и газет не издавалось, и речи об этом не могло быть.

Но Козел не мог примириться. Не пропуская ни одной газеты, он вечно критиковал их, разбирая по косточкам

все тонкости печатного дела. И было так, будто завтра же он начнет свое дело на удивление не только этой норе дьявольской, но и всему честному миру.

Жил он не один, а с женой. Жена его — портниха, как-никак, а без работы не сидела. Ну, а ему что делать? Дома болтаться, только мешать, вот и, знай, шатается.

— Я вам скажу, Александр Иванович, по истинной правде, все они, с позволения сказать, свиньи. И чем они заняты? Им бы только пьянствовать. Кирилл с женой чем свет за драку принимается. Иван шашни завел со здешней... Давиться хотел. К жене помогать девочка ходит, так рассказывала — сама видела. Подумайте, пошел в сарай, отстегнул там себе помочи, да на помочах... Хорошо еще, вовремя захватили. Тоже и компанию водят! Нечего сказать, хорошая компания! И я, как старший, я не могу сказать этого? Больно видеть, Александр Иванович, я в тюрьме двадцать два месяца высидел, глаза лишился...

Правда, другие находились в лучших условиях. Слесаря, сапожники, они скорее могли найти себе заработок. Но то, что выпадало на их долю, было настолько мелко — притронуться пропадала охота. Все это какие-нибудь починки, которые под стать разве мальчишке, но никак не мастеру. И часто сидели, сложа руки. А сидеть, сложа руки. невозможно. Ну, и бывал грех. Козел принимал это к сердцу, раздражала его еще и та непочтительность, с которой относились к нему.

— А интеллигенты! — перекосился Козел, — Бирюков знать никого не хочет, его и дома никогда не застанешь, все в лесу, а вон Дальская... да нешто можно так: я, как рабочий человек, и потому, значит — толпа. Да какая же я толпа, сами посудите?! — и Козел петушком прошелся с одного конца комнаты на другую и обратно, — а раз я — толпа, значит, все: и дурак, и негодяй и скотина... Жене тоже за кофточку второй месяц не платит.

Кудрин бросил газету, уставился на Козла.

Ему хочется сказать, что все это неправда, что это просто нехорошая сплетня, и он стучит спичкой о коробочку, говорит глухо:

— А не скоро еще нам отсюда...

— Мне, как агитатору, — жеманится Козел, — сами знаете...

Закипел самовар.

Козел рассказывает газетные новости, которые только что прочитал Кудрин, и долдонит без конца.

Понемногу подходят другие.

* * *

Кудрин собирался чем-нибудь занять этот вечер, выделить его из других вечеров, таких однообразных с пересудами и переругиваниями.

Он прочтет им, он напомнит о их прошлой жизни, вызовет их лучшие воспоминания, введет в тот мир, где они раньше жили, и разбудит ту душу, которая их двигала.

Разве они не были правы? Разве их бунт не сама правда? Они хотели жить лучше. Кто же не хочет жить лучше? Они верили, добьются своего, победят старый мир. А на его место воздвигнут новый. И будет на земле — рай.

А, может быть, в этой борьбе за лучшую жизнь таится глухой бунт против того страшного закона, которым раз навсегда положено человеку здесь лишь мечтать, но никогда не увидеть этого рая.

Почему я должен только мечтать?

А если я его и не хочу совсем, или хочу вот чтобы сейчас, а после там, когда-то... да плевать мне на все.

А они глубоко верили! Не от одного же отчаяния обрекли себя на голод и тюрьму и смерть. Они не боясь ее, отдавались ей: пусть их телами она задушит этот мир и сама задохнется, а из их крови встанет новый — и бессмертный.

Кудрин читал.

Книга мало подходила к его мыслям. Но ему казалось, именно этими словами он и передаст всю свою душу.

Почему я должен пресмыкаться, а в награду за мое рабство только мечтать?

Кто положил закон? Зачем положен закон? И разве нет силы снести с земли эту твердыню и рассеять ее навсегда?

И если все это так, где же вольность? где искать ее?

Нет, — человеческой жертвой, человеческой мукой земля возьмет свою свободу.

Кудрин слышал свой голос, но этот голос был не его, а чей-то повелительный и грозный, — ее.

И он не может не повиноваться ей.

Он поползет на коленях и будет собирать прах от ее ног и будет просить ее, не смея сказать, просить этими глазами, и пусть она ударит его по глазам, пусть она еще и еще ударит его, только бы позволила идти за ней.

— Да, человеческой жертвой, человеческой мукой вы возьмете рай и не в мечте только, а здесь!

— Был у нас один сапожник Флотов, — насколько мог тихо сказал сапожник Иван Козлу, — колбасу любил до страсти. Так он, ты мне поверь, тоже говорит раз, будто рай действительно будет и самый настоящий вроде какой-то огромной повсеместной колбасной: и ешь и нюхай, сколько влезет

— В колбасных ловко пахнет! — обрывисто заметил Козел и, отвернувшись от Ивана, закрыл свой единственный глаз.

Кудрин продолжал.

Он уже ничего не понимал, сами собой выговаривались строчки, сами собой выкрикивались фразы.

— А еще был у нас такой Лаврун, — шептал Иван, — хоть что хочешь, сделать может. Вот мы и поспорили раз, а он и говорит: хотите, говорит, я сейчас нагишом в муравейник сяду и, не пикнув, высижу четверть часа. Ан, говорим, не сядешь! Ан, говорит, сяду! Лес, как тут, неподалеку. Вот и отправились. Нашли кочку. Спустил он с себя штаны да, не говоря худого слова, и плюхнулся. Так они его, поверь мне, как есть выели, сам я осматривал. А ему хоть бы что, оделся да и домой. Только после все почесывался.

— Конечно, — отозвался шорник Лупин, — муравей не бумажка...

— Ха-ха! — кто-то не удержавшись громко захохотал.

Кудрин читал.

И не видел ничего вокруг себя, не замечал, что творилось в комнате, — он видел ее, она одна стояла перед ним такая, как ее встретил...

Комната, между тем, набивалась публикой.

Это с хозяйской половины завсегдатые гости. Дверь не была заперта: какой-то один зашел полюбопытствовать,

а за ним другой, а за ним и третий. Сначала скромно и тихо. Но потом от тесноты ли, либо оттого, что некоторые были не в себе и хоть кричать не кричали, чтения вовсе не было слышно.

Комната дымилась: по полкам и потолку лез табачный дым и медленно спускался на пол грудой окурков.

Свободного местечка не было.

Чьи-то руки, будто отделенные от туловища, висели в увязающем воздухе, сливались друг с дружкой и разлипались, и какая-то нога, лебезя, все ходила кругом, да подковыривала.

И вот чей-то палец кривым толстым ногтем принялся водить по книге.

— Скажите, пожалуйста, как вас зовут?

Но Кудрин все еще бормотал что-то, отгоняя назойливый палец, как муху.

— Скажите, пожалуйста, как вас зовут? — и что-то шершавое погладило его руку.

Книга упала под стол.

— Я вас где-то встречал, — тянул тот же спотыкающийся голос.

— Вы г-н Кудрин, позвольте с вами познакомиться, я — Пундик!

Кудрин оторопел.

— Я ничего не понимаю, — сказал он Пундику.

— А я все понимаю, я — паспортист, и все это ерунда.

— Вот, вот видите, — загородил Пундика Козел, — вот она...

И отливаясь, долбили крики и разговоры.

— Вы, как хозяин, — тянул спотыкающийся голос, — эту ночь веселей... проведем.

— Это черт знает! — слесарь Гаврилов, обозленный, поднял кулак.

— Ура! — заорала комната, — ура!

— Дура-дура! — пересекались крики.

Должно быть, пробило полночь. Хлопало, пузырило, чокалось.

Несколько рук потянули Кудрина.

Полон стол был в бутылках. Натащили гости.

— Обязательно — как хозяин — с новым годом, — тыкали Кудрина.

— Александр Иванович, а Александр Иванович, — подчивал сапожник Кирилл, — а это мое приобретение. Фекла принесла, сам коптил, сам солил.

— Яичка-с, яичка-с, — латошил какой-то скользкий.

Кудрин не сопротивлялся.

— А колбасики, Александр Иванович, а Александр Иванович, сам коптил, сам солил.

В глазах зеленело, подкашивались ноги. Отшибало память.

— Может, нам продолжать чтение? — спросил растерянно Кудрин.

— Черт с ними, лучше уйти, — сказал Гаврилов.

— В сарай? — захохотал Лупин.

— «Во пиру была, во беседушке...» — завизжал вдруг пьяный старушечий голос.

Расступились.

Посередь комнаты не ходила, а сигала хозяйка-старуха, размахивая сулеей во все стороны.

И шла прямо на Кудрина, зацепила его незанятой костлявой рукой. Проливая водку, полезла целоваться.

Кудрин не сопротивлялся и, как ни противно, поцеловал пьяную старуху. Но старухе мало было, она хотела еще, еще раз, — и липкий, беззубый ее рот тыкался в его губы, старался прикусить и подержаться, а лягушачий ошпаренный язык норовил послаще всунуться...

Хохот перебивал все крики.

— Ай-да бабушка!

— Да она любую за пояс заткнет, ха-ха-ха!

— Ху-ху-ху!

— Саня, Саня, — куёвдилась старуха, — ух, хвостом пройдусь, сверлит, тело прыгает, ух! да — а, во пиру была...

— Александр Иванович, а Александр Иванович, — жужжал на ухо сапожник, — сам коптил, сам солил... варененькой... копчененькой.

— Я вас обидел, раз-дра-жил! — хватал за руку телеграфист, — я, можно сказать... мы пришли без позволения... чтение послушать... как какие-нибудь свиньи-нахалы и тому подобное.

— Ну что ж, что старуха, — я знал одну.

— Дохлая кобыла.

— Нет, не дохлая.

— 300 рухи — —.

— Ну и черт с тобой!

— Я стыда не знаю, — кричит осипший голос, — кой стати Богу молиться, я — старуха!? — и, пожимая плечом, хозяйка снова зацепила Кудрина и молодецки, будто в двадцать лет, чижиком закружилась с ним.

Он выделывает невероятные прыжки, подпрыгивает мячиком и одного хочет: удержаться и не упасть.

А может быть, он просто мячик, а все остальное — недоразумение? Очки запотели, ничего не разбирает. Только один рот ошпаренный, сжимающийся, как резинка, летает в глазах.

— Али скачет, али пляшет, али прыгает, — причитает старуха, приговаривает, — ух сейчас, ух пойду, пойдем Саня в баню — в баню.

И не вынесла нога: со всего размаха грохнулась старуха, а за ней и Кудрин. И сулея кокнулась: брызнув, полилась водка по полу.

— Я вас обидел, можно сказать, безобразный труп ужасный, я раз-дра-жил?

Несколько человек бросились на хозяйку. Откуда-то появилась веревка. Стали веревкой скручивать.

— Сволочь, целую бутылку, эка сволочь!

— Охо-хо — подлец — перепелястый черт — хо-хо, — стонала старуха.

Кудрин брыкнул кого-то каблуком и поднялся.

Очков на нем не было.

Накинув плащ,
С гитарой под полою...

И один какой-то голос взял вразрез всем голосам: и стало мутно и душно.

Затиририкала гармонья.

Старуха, со связанными ногами, ползла на цепких руках и плакала.

Ударились в пляс.

Ноги и руки бултыхались, егозя под самым потолком.

С Козла стащили куртку и штаны. И в одних валенках, скрестив руки, семенил он от печки до полки, залихватски заводя ногу за ногу, как заправский танцор.

Было так, будто плясала одна валенка с черной бородой, об одном глазе.

Глаз подмигивал.

А перед Козлом не плыла, а скакала Фекла, подбирая высокую юбку, и так скалила зубы, будто кусать сейчас кинется. Шерстяные вязаные паглинки на толстых ногах заполняли комнату; и непреодолимо тянуло поймать ногу и ущипнуть.

В кучке, у полки с книгами, разместившись поудобнее, тишком кусали кому-то пупок для отрезвления. Кто-то сопел и захлебывался.

Кудрина тащили к столу выпить.

— Вы, можно сказать, как хозяин...

— Я все понимаю, — я паспортист...

— Сам коптил, сам солил...

Он ведь привык с проститутками шляться
Пылкие ласки от них получать.
Он ведь не сделает пылкие ласки...

— Хочешь, я тебе всю рожу раскрою?

— Ну-ка — э-э!

Среди каши, топотни и визга какой-то длинный с рыжей бородой навалился грудью на гармонью, и гармонья хряснула.

А слесарь Гаврилов, развернувшись, стал бить рыжего по голове и по лицу. И слышал Кудрин, тоненько заревел рыжий, словно ребенок, тоненьким голоском, жалобно.

Тоненький голосок проник всю комнату.

Паспортист Пундик, проливая рюмку, жаловался, что он все понимает и нет для него ничего непонятного.

— И все ерунда.

Какая-то девица, с расстегнутым лифом, ударяя кулаком по столу, растроганно объясняла полицейскому писарю, что жить ей тут невозможно и что она уедет в Австралию.

— И пущусь я в путь, прямо — в Австралию.

Кирилл и Фекла, морща носы, упрекали друг друга.

И еще какие-то тела на кровати, ни на что не похожие, не то смеялись, не то рыдали.

Кудрину вдруг захотелось взять перечницу и поперчить каждого. Но перечницы, как ни шарил, не мог найти.

— Я вас обидел, я раз-дра-жил? — тянул телеграфист.

— Сволочь, целую бутылку, эка сволочь!

Пусть он поищет волос умиленья,
Пусть он поищет румяней лицо...

* * *

Знать, надоела гостям комната. Гонит хмель на улицу. На улице метель метет, оснежает окна, птицей заглядывает в трубы, обваливает кирпичи.

В комнате темь.

Но пропадает всякая надежда успокоиться.

За стеной пищит гармонья одноголосая, тяжелый каблук дробно выбивает по полу. Дверь отворяется: кто-то, шарахаясь, бродит по комнате, сбивает со стола бутылки, натыкается на стулья и тычет в Кудрина пальцами.

Все горит: и подушка, и кровать и воздух.

Хоть бы каплю холодной воды, один глоток...

—Попить! — просится Кудрин, как малое дитё, и вдруг холод сковывает все его тело, и душа уходит в пятки...

У него пять ног, он их ясно почувствовал... И онемевшей рукой пересчитывает; не может понять, откуда их столько? и онемевшей рукой пересчитывает.

— Что-что-что? — точит нехороший голос, точит, стучит маленьким красным язычком прямо под сердцем.

— Попить! — просится Кудрин, как малое дитё.

— Свинья! — отрыгнулось под кроватью чье-то мертвое тело и, широко зевнув, захрапело, поскрипывая зубами.

А он уж не может ни слова выговорить, он забыл слова, он никогда их не знал...

— Агу! Агу!

И лежит пластом и водит руками, ощупывается, пересчитывает свои целых пять ног.

— Агу! Агу!

А позвать некого.

За стеной пищит гармонья одноголосая.

Звонят в церкви к ранней обедне; далеко в поле относит колокол.

По хлевам скот договаривает свой ночной разговор по-человечьему, как всегда под новый год.

Пробуждается белый свет метельный, как метельной прошла ночь, встает новогодний день и торопится, чтобы прибавиться на куричий шаг.

Востроухая Лайка, проспавшись, лает на ветер.

КРЕПОСТЬ

Под воротами двуглазой облупленной башни с золотым кованым ключом на стальном шпице толкалась кучка сухопарых баб с поджатыми злющими губами.

Забрались бабы в крепость спозаранку, выстояли обедню в крепостной церкви, истово приложились к иконам и отправились ходить по тюрьмам, будто по пещерам.

Раз десять побывали они и в каменной старой и в новой кирпичной, раз десять заглянули в каждую камеру, все перетрогали, про все расспросили. Пора бы бабам домой уходить, обедать, а бабы не уходили, наступали на жандарма, — этот жандарм водил их по тюрьмам, терпеливо показывал всякую мелочь.

— И не пойдем — хорохорилась самая старая, — ты нам главного не показал.

— Ей Богу, все показал! — божился жандарм.

— Все, да не все, а еще божится! Ты темную показал? виселицу показал? мельницу ты показал-а?!

— Какую еще мельницу!

— Такую, нечего дурака-то валять, известно, мельница, — людей мололи.

Жандарм обиделся:

— Грех тебе, тетка, болтать зря.

— Грех в орех, а зерно в рот, не тебе меня учить, толстомордый.

— Ну проваливай, проваливай! — вступился часовой.

— Как бы не так, ты наперед покажи, а потом и лайся, клык!

Жандарм на минуту вспыхнул, потом вдруг ощерился.

— Покажи да покажи, — сказал он, постукивая сапог о сапог, — да что я тебе в самом деле покажу, хрен, что ли, с маслом?

— Тьфу, окаянный! — заплевались бабы.

— Хе, хе, хе, — подхватили другие жандармы; околачивались жандармы без дела у часовой будки; было воскресенье.

Ничего не сказали бабы, поплевали молча на жандарма, поплевали трижды таинственно, как на что-то нечистое, отчего отплеваться надо, чтобы не пристало ни к следу, ни к глазу, — и молча, еще злее пожимая сухие губы, пошли себе к берегу.

Темные, закутанные в теплых платках, хороня в узелках взятое на счастье покинутое тюремное добро, — сушеные цветочки, обрывки исписанной бумаги, камешки, — уносили они на волю каплю глаз, каплю мысли, каплю сердца и каплю души заключенных когда-то в этой крепости.

Сгорбленный мужичонка, вынырнувший откуда-то из-под снега, принял баб в лодку.

Закачалась лодка, покатила.

— Окаянный — окаянный! — ударял ветер под воротами двуглазой облупленной башни с золотым кованым ключом на стальном шпице.

Ехали бабы по черной полынье на ту сторону, грозили костлявыми пальцами, засыпались снегом.

Не показал им жандарм главного. Про что они теперь расскажут на другой стороне?

Видели они ванну, видели электрические лампочки, мастерскую, человеческий скелет, но главного...

— Окаянный — окаянный, — лизали волны крепостной вал, выли, взъерошенные ветром и вольными веслами.

По черному белая уверенно плыла-уплывала лодка.

— Ох, уж эти бабы, пристанут, как банный лист, нипочем не отвяжешься, — ворчал жандарм, поколачивая сапог о сапог.

* * *

Шел снег.

Белый белыми пушинками порошил дорожку вкруг крепости, порошил золотой кованый ключ, надворотный двуглавый орел, темные окна-глаза.

И похрустывал.

Меж двух отдаленных глухих башен, обращенных к озеру, от Королевской до Часовой и от Часовой до Королевской шагал, как на часах, запорошенный гость.

И похрустывал.

С утра весь день он ходил по тюрьмам в хвосте баб и, как бабы, все трогал и спрашивал и, как бабы, заглядывал в каждую пустую камеру.

А теперь тут один под стеной, — над ним белое небо и ветер и снег.

Волосы подымались от ужаса, и все мысли до единой ломались, как соломинки, кололи мозг, и сердце наливалось кровью, готовое лопнуть.

Каждый миг охватывали душу все новые и новые пожары, сжигали все, чем жил человек: его утро, его вечер и его ночь.

Пускай ветер подкосит его и ударит головой о стену и засыплет бесследно этим белым снегом.

У него нет больше дома и нет крова.

И не надо ни дома, ни крова.

Тянулась от сердца белоснежная дорога без конца, безнадежная, и другой дороги не было.

Вот уйдет белая студеная зима, повеселеют луга и поля, зацветет каждый холмик, каждый бугорок, и подымется над землей огромное солнце, согреет теплыми лучами, вспрыснет дождем мертвое и заснувшее.

Мертвое и засунувшее пробудится живым под солнцем.

Не надо этого солнца и этих лугов и этого поля, — каждый цветок напоен кровью, каждая пядь не дождем смочена, — кровью.

Зачем солнце, зачем цветы?

Голова кругом пошла.

И стелились дни, день за днем. Будто не год и не два и не двадцать лет, а вечность, как стала земля и жив человек, — и эта крепость стояла, и схороненные в ней под замком люди жили, и не знали дня, — придет ли день, когда раскроются двери.

Под замком люди жили, запертые в блестящие ящики, как в гроб, навсегда.

Бунтовалось сердце.

И били их, вязали по рукам и ногам, волоком волокли по винтовой железной лестнице сверху вниз и по асфальту

на двор и дальше по двору до ворот, где принимал их каменный застенок и поглощала сырая черная дыра навсегда.

Бунтовалось сердце.

И не раз те, кому приказано было караул держать, следили и подслушивали их последний сон и видели предсмертный час, наряжали перед казнью и видели, как минуту назад живой непреклонный и смелый висел под белым саваном высоко над землей, и не раз смотрели они в закатившиеся от мук глаза, и сколачивали ящик-гроб, рыли яму вон там, закапывали вон там...

Никогда никто не прочитал над ними молитву.

Никогда никто не закрыл им мертвые глаза.

Никогда никто не отдал им последнего целования.

На минуту остановился незнакомец, каменный вдруг, как стена, и твердый, как башня. И душа возмутилась.

Он пойдет, он отмстит за эти гробы, за эти виселицы, за хулу на жизнь, — жизнь смяли, связали по рукам и ногам, убивали медленно, подтачивали беспощадно одиночеством.

Он пойдет, отмстит, он найдет тех, кто приказывал и повелевал мучить и истязать.

За каждый час, за каждую минуту, за каждый кратчайший миг страданий, — а они возрастали год за годом, не год и не два и не двадцать лет, а вечность, как стала земля и жив человек, — он изобретет жесточайшие казни и отдаст им тех, кто приказывал и повелевал мучить.

И не будет конца казням.

Весь белый в снегу уверенно повернул незнакомец прочь от стены на другую дорогу.

Шел снег.

Белый белыми пушинками порошил дорожку, следы человечьи, обледенелый вал и черную перекладину для рыбацких снастей под черным навесом — этот крест на могиле.

Прошлогодняя сухая трава и высокие стебли замерзших цветов торчали из под снега, качаясь под ветром.

И тоска полыхала по снегу, по ветру, по траве, по цветам.

С ней плыла земля.

Безысходная подымалась она белым пламенем в снежном столбе и там за облаками перед лицом звезд вместе со смехом недосмеянным, плачем недоплаканным, словами невысказанными тосковала...

* * *

Было тихо и жутко в крепости по-вечернему.

Отошла вечерня.

Сменились часовые у двуглазой облупленной башни, заперли крепостные ворота.

Сумрак, сгущаясь, кутал пустынные здания, и пропал тесовый крест на фундаменте заложенной церкви против окон кирпичной тюрьмы.

Жандармские жены укладывали спать ребятишек. Ребятишки капризничали.

Звякали шпоры в казармах, и подымалась по лестнице жандармская шашка, шла пугать ребятишек.

Старый вахмистр, щетиня седые брови, прошел в дежурную, громыхая ненужными теперь тюремными ключами.

Много было посетителей, затормошили: все хотят знать, расспрашивают.

Старого ко сну клонит.

В белом комендантском доме засветились огни. Раскладывали зеленые столики. Ставили по две свечи.

Старый хозяин приглашал гостей. Улыбалось его мягкое масляное лицо, и маленькие глазки черные, как жгутики, прыгали от любезности.

Начиналась игра.

Узорные стрелки старинных часов на крепостной колокольне бесшумно шаг за шагом подвигались к ночи.

Ветер, застревая в резьбе, вырывался, толкал стрелки к полуночи и шипел от ярости.

Медлила полночь.

В угловой камере каменной старой тюрьмы, темной и глухой, как погреб, сновало что-то и ломалось в невыносимой тоске. Исполосованная стена не заглядывала в окно, и смотрело окно проломленным глазом.

В углу камеры висела иконка Воскресение Христово, как висела много лет, когда в первый раз привели в этот застенок и захлопнули дверь навсегда.

Икона наливалась тьмой.

И вдруг странный лик, дробя тьму странным светом, взглянул из угла.

И поднялось со всех углов и со всех стен все затаенное, все убитое и пропавшее, чему не было выхода, чего нельзя

было выпустить, — поднялось и пошло к этому странному свету.

Но свет мигал дьявольским глазом и не принимал этой тоски нестерпимой.

Надежды, которые замерли под черепом, желания, сожженные в сердце... они припадали к камню, к непреклонной стене, неутоленные, неутолимые до последнего дня.

Дьявол воскресал среди тьмы и скорби и отчаяния, воскресал на веки, как царь, в этом царстве муки и неутоленности.

В пустынных зданиях крепости мелькали огоньки.

Часовой на часах у двуглазой облупленной башни кутаясь в тулуп, творил молитву от навождения.

А по крепостному двору от церкви до манежа прохаживался кто-то в красном, как палач, подпоясанный веревкой, и в красной шапке, как палач, покручивал плетью.

Визжала плеть, плакала.

В белом комендантском доме нагорали свечи.

Шла игра.

Старый хозяин уверенно играл, обыгрывал гостей. Везло, как всегда. Вытягивая усатые губы и сопя, будто думая, уверенно резал комендант направо и налево.

И вдруг с тревогой опускал руки в карман и похолодевшими пальцами нащупывал теплую веревку, снятую с шеи казненного.

Мягкое, масляное лицо улыбалось, и маленькие глазки, черные, как жгутики, прыгали от любезности.

Уж пробила полночь. За рекой перекликивались петухи.

Спала крепость мертвецким сном.

А в тюрьмах ночь, и тоска, и неутоленность.

БЕЗ ПЯТИ МИНУТ БАРИН

Неделю назад Сенька Быстров, черномазый слесарь с завода, смеясь как ребенок, палил под пулями, и, слепые, они тупо топали, рвали на клочья, выламывали бревна, а сегодня фертом он сидел здесь в «Царьграде» и, комкая свежие шведские перчатки, пил кофей.

Так все обошлось по-хорошему: и цел, и невредим, хоть на рожон лезть, — не страшно.

В «Царьграде» было шумно и гвалко по-всегдашнему.

Машина заливалась песнями, а Сенька, глядя беспросветными, как оливы, темными глазами на своего зоркого спутника, наивно улыбался безусым детским ртом.

Песни располагали. И в замуравленных темью глазах проходила Сенькина жизнь.

Никогда он не думал так рассиживаться, и в голову не приходило, чтобы сделать что-нибудь такое важное, на что теперь готов был...

Вспомнилось ему детство: бывало, вечером к отцу приходили гости, и под пьяные крики, ругань, гармонью он читал книжку, вдруг прорывало — вступал в споры с отцом и гостями, не выдержав, лез в драку — и лупили его, как сидорову козу, лупили тумаками по шее, по мордам, под микитку, не хуже, чем в клоповке, куда хулиганом попал поначалу... Потом беспробудное пьянство с отцом на заводе. Потом целые месяцы, целые круги дней: все опротивело, тошно, — хотел порешить...

— Конечно, от бездействия больше, от скуки главное, — ухмыльнулся виновато Сенька, допил до донышка и опрокинул чашку.

Мялся. Трудно было это рассказать, а хотелось непременно и все. И пока половой прибирал стол и готовил новую порцию, Сенька рассказывал:

— ... вот вхожу я в вагон. Темно. Вынул я нож, говорю: кто строил вагон? — Мы строили вагон. — Кого в вагоне возят? — Нас. — Кого нас? — Рабочих. — А где свет? — Нету свету. — Почему нету?.. И стал я окна бить. Тут публика безусловно бросилась из вагона. Вхожу в другой вагон. Светло. Говорю: почему тут свет, а там нет света? Почему там нет света? Давай света! И стал я окна бить. Тут безусловно публика опять бросилась из вагона. Перебил я все окна. Окровенился. Входит кондуктор. — Ты, — говорит, — окна бил? — Я, — говорю, — окна бил. Кондуктор запер дверь. Я было к другой, а там опять кондуктор. Тут я трахнул раму, да — Господи благослови — головой вниз, прямо в сугроб. Закопался я в сугроб, лежу, ничего, только голову больно, ну, думаю, теперь не миновать в клоповку...

Половой принес порцию.

Сенька схватился за новую чашку.

— То ли еще было, всего не расскажешь. И, глядя на спутника, ухмыльнулся.

— Конечно, от бездействия больше, от скуки главное. Вы меня извините, это когда я в хулиганах состоял. Вот тоже раз идем мы из столовой. Работы не было. Идем тихо-смирно. А навстречу нам околодочный Жуков. Поравнялся Жуков и говорит: чего, вы, сукины дети, бежите? — Как, — говорю, — бежим, мы идем тихо-смирно. — Обыскать, — говорит, — их, мерзавцев. Ну обыскали. Я и говорю: братцы, — обидно мне стало, — изведу я этого Жукова, за что он в самом деле? А они говорят: дурак ты, дурак, что такое Жуков? — так дерьмо на лопате. Ты, — говорят, — кого уж почище, а то Жукова?! Отговорили. Купил я полбутылки казенки. Пошел к знакомому фельдшеру. — Дай, — говорю, — мне ядов разных, да пожестче. Дал он мне встряхнину. Знаете, яд есть такой крепкий. Взял я встряхнин, наклал в бутылку. Развел белого сургуча, залепил пробку. Потом взял копейку, приложил копейку к пробке, вот и орел вышел. Забрал я эту самую бутылку, идем с товарищем по базару, орем песни, ругаемся. Едет патруль. — Братцы, — говорю, — казаки, сделайте Божескую милость, отхлещите моего товарища поздоровее, никакого с ним сладу нет, забижает. Повскакали казаки с седел, да ну меня хлестать. А товарища и след простыл, удрал. Лупили меня, лупили, обыскивать стали. Ухватили бутылку. — Давай, — говорят, — водку! Уперся, не даю. — Ежели б, — говорю, — вы его отделали, тогда бы я вам отдал, а то чего же я так понапрасну. Ну, бутылку отняли. Сели в седла. Выбили пробку. Стали пить. А я завернул за угол, да и смотрю. Выпил один, — ничего. Выпил другой, — ничего. Выпил третий, — ничего. А как четвертый начал пить, первый с седла, — кувырк! — и свалился, а потом и второй, а потом и третий... тут пошел я домой, умылся. Наутро гляжу, четыре мундира на завод приволокли хулиганы... ихние.

Сенька мял свои свежие шведские перчатки, оживлялся.

«Царьград» оживлялся. Набиралась публика с черными ртами, горланила пустым пропойным горлом, и другие приходили без улыбок, а в глазах, словно ножички, и третьи приходили, ошаривали глазами.

Там за окнами по небу восходили белые звезды.

Конца никто не знал.

— Конечно, от бездействия больше, от скуки главное... — мерно стучал Сенькин голос.

ПРИДВОРНЫЙ ЮВЕЛИР

— Они сами не знают, чего хотят!

И тут он был прав, этот одинокий старикашка-ювелир, проживший сотню лет и похоронивший сердцем века.

Сгорбленный, совсем карлик, шутя и балагуря, он охаживал вокруг человеческих сердец, отыскивал своими пальчиками глубоко запрятанные живые и теплые тайники, раскрывал их легко и проворно, как свои шкатулки, наполненные жемчугами и редкими камнями, и упорно засматривал в самое нутро — душу и слов и помыслов, кишевших там, как в этих странных любимых камушках.

Он отлично знал, чего сам он хотел.

Желания его были крепки и тверды, как эти камни.

День и ночь, не расставаясь, он возился со своими камнями, перемывал их, перекладывал: то рассыплет по бархату и шелку, то прикинет к себе, к своему рубищу, и глаза его наливались кровью, маленькие становились с тарелки.

По вспыхивающим мельчайшим граням читал он вековечные тайны, и одно за другим выступали преступления, становились рядами, как солдаты, и он играл в них, как в солдатики.

И не было уж преступлений, было одно, и оно гнездилось во все времена и на всех концах.

Из всех времен и со всех концов собирались к нему драгоценности в убогую, изъеденную молью и плесенью конуру-мастерскую, ютившуюся в подвале на главной и самой людной улице.

Давно старику мечталось перебраться куда-нибудь в горы и там построить такую башню, чтобы с высоты незаметным для других наблюдать землю.

Но этой мечте не дано было осуществиться.

А время было любопытное, и было что посмотреть с нагорной высоты в окошко.

Не город, не деревня, — вся страна от моря и до моря охвачена была одним безумным желанием.

Все желания из самого тягостного и каторжного обихода скручивались и вырастали в какой-то грозный бич, и подымался он, тяжелый и слепой, летел от моря и до моря, крича на-крик единый крик:

— Воля!

— А вы знаете, что такое воля? — подмигивал старик.

Жизнь человеческая ценилась пустым плевком, который и плюнуть и растереть ничего не стоит.

Казнили людей, как блох. Подстерегали, ловили этих блох, и тут же прихлопывали на ногте.

В тюрьмы вводили с эшафотов и, как милость, давали жизнь, заключая навечно.

Никогда еще в мире подозрительность человека к человеку не вырастала до таких страшных размеров, и друзья, встречаясь и пожимая друг другу руки, на случай хоронили в кармане нож.

По темным углам творилась лютая измена.

И молча копали подкопы.

Всевозможные разрывные снаряды и усовершенствованные бомбы изготовлялись на широкий сбыт, как самый легкий и ходовой товар, и изо дня в день сбывались и оптом и в розницу, как спички.

По темным углам душили и вздергивали на веревочке приятель приятеля.

Повсюду в городах перемащивались забрызганные кровью мостовые: они, накаливаясь от зноя, пропитывали воздух невыносимым хмельным запахом — заразой.

Мирные улицы, хмелея, впадали в исступление и в исступленности уродовали и истязали детей и женщин.

И лошади бесились, нося, на подковах кровь.

В полях колосились червоные колосья и созревал хлеб, чтобы закровенившимся зерном отравить людей.

Тут и там по улицам встречали мертвецов, останавливали мертвецы знакомых, вмешивались, как живые, в будни.

И живые, как мертвецы, бросали дом и уходили на кладбища и там, вступая в царство мертвых, устраивались в гробах, как у себя дома.

Пророки проповедовали новое царство и продавали свое пророчество.

И верующие сходили с ума, и убивали себя, с горечью бросая земле свое последнее слово:

— Нет на земле правды!

А этот беспощадный бич взвивался и взвивался, летел от моря и до моря, гремя громом свой грозный гром:

— Воля!

— А вы знаете, что такое воля? — подмигивал старик.

* * *

Беспокойные тучи, куда вы?

Меня унесите, хочу жить, а здесь умираю.

С каждым часом погост вырастает, там думы мои засыпают.

Длинные тучи по лунному небу плывут — —

Стойте же, тучи! укажите мне землю, где тяжесть спадает, разрешите...

Уплыли молча, чуть слышно, длинные тучи — —

Светятся тихо слезные звезды.

Тени голых ветвей, как решетка.

* * *

Накануне великого дня, который обещал открыть новый день и перевернуть землю до ее основания, рано утром разбудили старика-ювелира, посадили в черную гербовую карету, в какой возили только важных сановников, и под конвоем, как драгоценность, повезли во дворец.

Через опущенные занавески окон старик чувствовал сотни вонзающихся острых глаз. И от этих глаз накаливались стекла, и дребезжало что-то в ногах, готовое вдребезги разнести карету.

Так как за последние дни совершилось много насилия всемогущими временщиками, в руки которых попадали города и жизнь и смерть целых поколений, то подобные кортежи провожались недобрым взглядом и не всегда кончались добром.

Но ювелир — простой человек: ему никто не давал права карать и миловать, ему только приказано было вычистить начисто золотую корону, в которой, по обычаю страны, появлялись короли в редкие дни объявлений государственных актов исключительной важности.

Кому же, как не ему, старому и испытанному, умевшему так мудро держать за зубами свой острый язык, доверить эту страшную, ослепляющую своим блеском корону?

Шутя и балагуря, поднялся ювелир по золотым лестницам и там, в отведенном ему зале, запертый под замком, взялся за работу.

Да, это был редкий случай увидеть вещи, о которых старик только мог догадываться.

Немало чудес совершилось у него на глазах, и не раз обезумевший народ сгонял с престола своих законных королей, как последних карманников, и всегда в таких случаях выплывала на свет корона, и он призывался подновлять и заделывать прорехи, но никогда еще из заваленных дворцовых кладовых не появлялось столь великолепного, столь сумасшедшего произведения нечеловеческих рук.

Подлинно, в завтрашнем дне таилось неслыханное.

С великой бережливостью, трясясь, как над святыней, которую всякую минуту, ревнуя, может попрать нелегкая, повынимал он камни из золотой, облепленной кусками грязи и глины короны и, чуть заметный в огромном зале, кутая сухие зябкие плечи в теплый женский платок, забегал пальчиками по сокровищам.

И играл ими, этими сказочными яхонтами, этими синими-синими, и алыми, и черными камнями, этими изумрудами, от взгляда которых пышет весною, перевертывал их, перебрасывал, вдыхал, как живое, брал, как живое, на ловкий язык, катал на чуткой ладони, строил рядами, сгребал в кучу и замирал, весь зеленый, и алый, и синий, и черный в смешанном первородном свете.

Тьмы и тьмы голов мелькнули перед ним, тьмы и тьмы рук протянулись к нему и вереницы одна за другой прошли и заполнили весь зал, унизали сверху донизу все стены, и там, под звездным куполом, повисли, и закачались безрукие, безногие твари... глаза...

Задыхался старик, рассыпал камни. Цеплялись камни, прилипали к его рухляди, катились, перекатывались по коврам, по парче, по мрамору, и гудели, как колокол.

Этот гул, этот блеск выворачивали его маленькие глаза, и они становились с тарелки, — они видели и первый и последний день.

Человек чистил, торопился, начищал камушки и, делая всевозможные сочетания и располагая их, как находил лучшим, вставлял в свою корону.

Он узнавал ее, свою древнюю, на которую посягнуть не решится ни одна сила в мире, но которая вечно тянет к себе и наслаивает трупы на трупы.

Вечером, когда стемнело и запертые раскрылись двери и зажглись люстры, встал старик с своего места и в короне, как царь, стоял посреди залы, и корона дала такой блеск, от которого дрогнули несокрушимые дворцовые стены.

И эта написанная завтрашняя воля, долженствующая перевернуть землю до ее основания, завтра же под этим блеском полетит к черту, и в три дуги согнутся рабьи спины и трижды на смерть поклянется подпольная глухая месть разбить трон и рассеять эти самоцветные камни адской короны.

— Они сами не знают чего хотят!

Он знал, чего он сам хотел.

Спускался старик по золотым лестницам, проходил среди подобострастных рядов, провожаемый льстивой улыбкой, под которой наглость брала города и дрожала мелкая душонка.

* * *

Час ночи прошел. И завтрашний просыпался свободный день.

Желания притупились, — не закручивались, и безумный бич не летел летом, не бил набатом, — он, заглушенный обещанием, гнал на улицы, собирал на площади, приковывая и старого и малого друг к другу.

И толпы, с перекошенными подозрительностью глазами, тысячу и один раз обманутые и обманувшиеся, тесно и угрюмо шли куда-то с подкатывающим к сердцу отчаянием.

Старик — придворный ювелир, — кутая сухие зябкие плечи в теплый женский платок, сидел в своей конуре, и глядел перед собой маленькими глазками, ставшими с тарелки.

В этих ужаснувшихся глазах кипел сам ужас, тоска и хохот.

А мимо окна шли и шмыгали тысячи ног неуверенно, как пьяные, и пьяные от отчаяния.

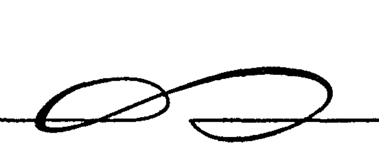
И, потирая руки, старик, как посаженный на кол, корчился весь при мысли о воле и, подняв однажды из глуби всю жизнь и взглянув прямо в глаза первому и последнему дню, он смеялся, брызжа в толпы проклятия и шутки.

Первородным светом светилась на его седой голове древняя корона.

И свободная занималась за окном заря над свободным городом и свободной страной, наливаясь кровью и тоской, как глаза старика, и разгоралась, чтобы кровавой и тоскующей завековать век.

Полнощное солнце

поэмы



СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ

ОМЕЛЬ И ЕН

От века темных, без значенья дней,
в хаосе бурь и плаве жизней,
в каком-то дьявольски-запутанном вращеньи
зачаточных светил и диком реве вихрей,
незримо друг для друга томились божества,
два голубя, —
Омель и Ен.

И даль безгранная, и тьмы бесформенных созданий,
и чары сновиденья, и тягота избытка власти,
тоска невысказанных слов,
и сил невылитых в созвучья —
такими адами, такими пытками
впивались в душу и рвали сердце,
что воле божества уж наступал конец,
и смерть была желанной...

В отчаяньи Ен бешено метнулся
в поток дымящихся металлов, —
и, одинокий вечно, одинокого в полете встретил.
То был Омель...
Весь облик полон неразгаданной сокрытой тайны;
глаза печальные, глаза темней времен грядущих;
движенья странные, коснувшиеся граней иного мира...
Тогда возжглось у Ена желанье жаркое,
и смерти час оледенелся.

Раскинулась от ветра и до ветра твердь синяя,
и звезды тихие затеплили в своих оконцах глазки,

и медленно всплыло над защетинившимся лесом
ухо ночи — кровавая луна,
и серебро свое разлило
по выбившимся из горы ключам,
по алчно заструившимся потокам,
по глади рек и речек зеркально-ясных.
А белый свет — сын огненного солнца,
зазолотившись, осыпал землю белыми цветами,
и взоры осенил у человека и птиц оголосил.

Ен видел все...
Радостью безмерной забилось сердце.
Он поднялся на маковку Брусяных гор
и там любовно почил в величьи.

Усмешкой горькой встретил Омель творенье Ена,
усмешкой, перелившей горечь в грусть гнетущую.
Он вздохом тяжким развернул болота топкие,
окрасил гибельною кровью мертвый мох,
забархатил, завил гнилые лишаи,
огни обманно вздул средь леса,
пустил змею, червей, уродов, гадов
и чащи наводнил своей мечтой —
созданием причудливым и легким,
как бред у замерзающих, но не земным...
И в гложущей тоске в туман и мрак забился.
Когда ж морозы лютые сковали воздух,
Ен рассветил полнеба,
и плещущим огнем своих очей
взглянул на землю.

ПОЛЕЗНИЦА

Она из золота красных лучей,
овеяна пыхом
полуденных ветров.
Ее бурное сердце рождает
кровавые знои
и жаждет и жаждет.

Рыжие дыбные косы —
растрепанный колос!
пламенны зарницы! —
звездные росы сметают,
греют студеность речную,
душную засуху стелют,
кроя пути и дорогу
каменным покровом —
упорной коляной корой.

Полднем таится во ржи,
наливая колос
янтарно-певучий —
веселую озимь.
Полднем таится,
и ждет изждалася —
Уф! захватило —
Много мелькнуло
цветистых головок,
— Постойте! куда вы?
И тихо померкла
говорливая тучка.

Она не знает, откуда зашла
и живет в этом мире?
Кто ей мать
и отец
в этом мире?
Она не знает, не помнит
рожденья,
но с зари до заката тоскует.
Затопила очи бездонною синью
васильков своих нежно-сулящих,
в васильках васильком
изо ржи
сторожить.
Ярая тишь наступающих гроз
ползла по огнистому небу —
там ветры, как псы,
языки разметали от жажды.
В испуге, цепляясь ручонками,
в колосья юркнуло детское тельце.

— Дорогой, ненаглядный! —
Она задыхалась, дрожала.
Обняла и щекочет — —
Кувыркался мальчик
в объятьях,
обливался кровью
и кричал на все поле
от боли.

Напрасно!
Нет утоленья, нет превращенья.
Так с зари до заката тоскует.
И рвет себе груди,
рвет их огненно-белое тело.

О, мрачный Омель!
Туманность, вечно вьющая непохожие жизни!

ИКЕТА

Кто в морозные лунные ночи
так жалобно стонет?
Кто осыпает с деревьев
иней жемчужный?
Кто упоением-негой
льет тихие песни?
И белые ночи белит
и смущает затишье?
Вы, женщины леса,
вы, пленницы Енова царства,
вы порожденье загадок Омеля,
с губами подвижниц,
верх сладострастья,
бездна томленья.

Чаруйте ж, ласкайте
кличами тысячеструнных напевов,
колышьте волнистые нивы
волос своих томных,
лелейте мраморность ликов
и сладкие груди!

Но отчего мне ясно сказалась в припеве
тоска безысходная,
горечь стесненных порывов,
звон опрокинутых свадебных чаш?

А Ты,
увитая дикою розой,
ясная,
Ты стоишь и немеешь...
И рыданье дрожит на устах,
и бродят потерянно влажно-озерные взоры?
Где плод человека?
Икета — плод человека и женщины леса.
Где твой ребенок?
Икета — плод человека и женщины леса.
Где твоя жатва?

Темно-грустящий припев.
Одиночество странных.

КУТЬЯ-ВОЙСЫ

В полночь они пробудились
от долгого сна и проклятья.
В полночь по свету помчались
с визгами, пением, свистом.
Их зеленые волосы в тучах рассыпались, —
вьются, мячкают месяц.
Кто-то дернул за колокол.
Рвутся глухо унылые звуки.
Собрались в хоровод, — взялись зá руки,
и, взлетев, полетели,
колыхая снежными грудями.

Хохот-рыдание.
Вой и стенание.
Радость победы.
Крики безумья.
Скорбь гробовая.
Песни царей...

Идите! — Спешите! —
Есть много забывших
круг своей жизни замкнуть.
Идите! Врывайтесь! Губите!
Вам власти мгновенье.
Полчища идут, метут.
Стая гнетет, разрушает.
В темнице рассвет голубой изнывает.
Крест золотой погребен,
смехом засыпан,
в косы замотан.
Одежда проклятия сорвана с белого тела
и брошена в прорубь.

БУБЫЛЯ

В тесном подполье глухом, как гроб, хоронит-
ся сгорбленный скорбью, навеки безмолвный
Бубыля.
Черви и плесень и всякие слизи кишат вкруг него
и мутятся и точат жилище.
Закрывайте плотнее двери, не говорите громко о
счастье, расточайте удачу, без оглядки живите!
Не ровен час... ты счастлив? — А он на пороге.
Слышишь, скользнуло? кто-то мышью загрызся.
Без кровинки, как сумерки, серый, водянистый
он наводит стеклянные очи и смотрит — —
Забудешь? Припомни! припомни!
Темные мысли — что не вернется, непоправимо —
как черви впиваются в сердце, тянут всю
душу, изводят... места мне нет...
Места мне нет.

КИКИМОРА

На петушке ворот, крутя курносым носом, с
гримасою крещенской маски, затейливо Кики-
мора уселась и чистит бережно свое копытце.

Га! прыснул тонкий голосок, ха! ищи! а шапка вон на жерди... Хи-хи!.. хи-хи! А тот как чебурахнулся, споткнувшися на гладком месте...
Влюбленным намяла я желудки — Га! хи-хи-хи! Я бабушке за ужином плюнула во щи, а Деду в бороду пчелу пустила. Аукнула-мяукнула Оде под поцелуи, а пьяницу завеяла кричащим сном и оголила...
Вся затряслась Кикимора, заколебалась, от хохота за тощие животики схватилась.
Тьфу! ты, проклятая! — Га! ха-ха-ха...
И только пятки тонкие сверкнули за поле в лес... Сплетать обманы, — причуды сеять, — и до умору хохотать.

ЗАКЛИНАНИЕ ВЕТРА

Что ты, глупый, гудишь, ветер,
что ты, буйный, мечешь листья,
пляшешь, стонешь, воешь, колешь...
Ветер, бабушка жива!

Волны в речке ты взбурляешь,
ивы долу пригнетаешь,
едкой пылью воздух точишь...
Ветер, бабушка жива!

Темный ветер, ты не слышишь:
не рыданье, не стенанье,
писки, визги, стрекотня...
Ветер, бабушка жива!

Успокойся, ветер горький,
утиши свой трепет звонкий,
ветер, страшно!.. заклинаю...
Ветер, бабушка жива!

ЗАКЛИНАНИЕ ВЕТРА

Ты скрипишь,
Ты гудишь,
Ты в окошко стучишь —
        Мы окно закрыли.
Ты в трубе,
Ты ворчишь —
        Печку затопили.
Не стучи, ты,
Не кличь —
        Разбудишь Наташу!
Крепко пальчики сложила,
Губки алые раскрыла,
        Тихо, тихо дышит.
Но придет твоя пора,
Позову тогда тебя.
Ты возьмешь ее на плечи,
Унесешься с ней далече.
Ветер, ты ей все скажи,
Все песчинки покажи.
А потом, когда вернешься,
Свечи мы засветим —
        Ветер!
        Ветер, ты уймешься!

ЛЕПЕСТОК

На мой стол упал лепесток.

Бежали тучи, ворчали последние темные молнии

Поблекший бледный лепесток...

Я рассматривал его, вспоминал цветы, но имя цветка, от которого он оторвался, я не знал.

— Если бы собрать твоих подруг, таких же унесенных ветром...

Лепесток свертывался, темнел.

— Завтра тебя не станет,— и я ласкал и тискал его и вдыхал угасающий запах.

И вдруг вспомнил.

Цепкая боль поползла по сердцу и уходила в кровь, в глубь крови.

— Зачем напоминать? Ты — последний, зачем напоминать!

И, целуя поблекший лепесток, я разорвал его.

ЧАЙКА

Я стоял на берегу шумящей реки.

Я глядел вдаль, где волны лизали тучи и, выныряя, пробирались по небу изголодавшимся стадом.

Посреди реки, против моих глаз, возвышалась облачная скала, живая, без конца, без начала.

Вверх и вниз шли по ней вереницы людей, закутанных в тяжелые саваны.

Люди восходили ясными с глубокого дна и серыми спускались в сырые волны.

И с каждым разом темнела река.

И с каждым разом вырезалась и подсекалась скала.

И вдруг колыхнулось бесшумное облако и с криком тысячи задавленных желаний разошлось.

И только откуда-то взявшаяся чайка пустилась в страшную даль.

Веще мелькали белые крылья.

Чайка летела... стала тающим хлопком мокрого снега, стала белой искоркой... пушинкой.

И тогда охватил меня страх: казалось, отлетал вместе с ней последний миг моей радости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Она приснилась мне, бесноватая декабрьская ночь.

Она мчалась мимо окна бесконечная, царапала стекла, засыпала дом, и гудела.

Собирались непокорные духи, шептались по углам, тушили свет.

О чем они шептали, белые, непокорные?

Их много, а я один.

Я бросился к окну.

А в окне свет. Боже мой! так много свету!

Зори, тысяча зорь обнялись по всем ветрам в трепете — дожде лепестков диких роз.

Это хлынули из берегов на землю алые моря, и наступил потоп безгрешной крови.

На острове, вчера невидном, теперь зеленом, стояла девушка озябшая — снежинка на вешней озими.

Задумчиво смотрела за лес, за зори.

Чуть дымная одежда легкая ласкалась к ее телу, а в взбитых овсяных косах роса играла.

Было тихо на земле, и там на небе неслышно вскипало золото и красные лились потоки.

И встрепенулась.

Упали ткани.

И пошла преображенная и яркая по синезарябившейся реке, как тигрица, как ангел.

И побежали с берегов туманы, защебетали птицы, и вспыхнули следы переливные, и потянуло запахом нескошенного луга...

Звеня бубенцами, мимо окна прошло белое стадо нежных барашков.

Глухо зазвучал за лесом олений рог.

А на берегу, плескаясь, стоял кудластый мальчонка Степка и, затаращив рубашонку на самые глаза, глядел на солнце.

Солнечно звонили к обедне.

ИУДА

О горе горькое дерзнувшим...
поднявшим руку
в недвижности послушной,
разбившим сердце
о камни граней,
и плод отведавшим запретный,
и падшим замертво
к подножью тайны.

О горе горькое...
Пусть лучше б матери остались без зачатья!

Не стать на страже
думы своевольной,
молчаньем разъярить грозу,
улыбкою ответить на обиду,
стереть закон порывом,
убить всей жизни домоганье,
оклеветать виденье ясное,
предать, любя...

Непопранной проходить только косность, —
хотящим
воздух препоны ставить.
Ступай на осмеянье!
Ступайте на позор!
Отточится душа белей кинжала,
пронзить веков твердыню
и в даль безвестности уйдет
властительно — чужой, великой,

и там займется пожаром молний,
повиснет в туче туманно-тяжкой
стоячего дыханья клевет-наветов.

О горе, горе!
Вечность казни.
Костры позоров.
Людская слава.

Паутинно-пурпурное небо небесных вечерен
теплую тишь овевало
звездами —
цветами.
По камушкам бисерно-розовым дороги
полночной
над морем луна выплывала
покорная —
ма́рная.
Тени деревьев, в шумах заснувших,
чернясь, насыщались, как траур нарядный
души одинокой.

В тринадцати один,
всех ближе к Первому,
для Первого толпой затертый,
понуро-сгорбленный,
таясь, как самый верный,
Иуда скованно снует свою тоску.
Тех голоса, как ржавые веревки,
назойливо свистят, скрипя
о колотящееся сердце
наполненной груди, где отзвуки
выбрасывают желанья
растерянно,
запуганно,
ревниво...
«И иже аще мене ради
погубить свою душу
обрящет ю»,

Обезображенная голова Пророка,
живая, привидением вставала.
Потупленные тьмою очи
струили тяжкую кровавую мольбу.

Крик проклятых свиней из Геркесина
звенел чугунным звоном
по упоенью — вздохам
нив ленящихся,
на торжищах гнусливых
и в пенье Плена.

Морские волны пенились,
рвались за ночь, за небо
пучинные,
безвзорные...
И белая стопа легка,
как пожелания,
ступала по груди клокочущей,
и след,
рябясь,
сиял...

Навзрыд рыдали
в смятенье стены Иаира,
и тление ползло, как ураган...
Но мертвый
только спал.

* * *

Грядет! Грядет!
Благословен Грядущий!
Осанна в вышних!

Как пыль, метется
тупая чернь,
бичами хлещет
сиянье тайны.

Бессмысленных голов киванье
и рук простертых приветанье —
маяк на море,
верста в дороге,
крест перекрестный.
Как царь ступает,
ногами топчет
кричащий камень.

Оно свершится:
предстанут сонмы
разяще-красных
мечей порфирных;
на горизонте синем
отверзутся ступени
пожаром страшным;
прорежут землю
набатом темным.
Оно свершится:
настанет царство
над царством золотое
неизреченной силы,
неслыханных желаний.

Грядет! Грядет!
Осанна в вышних!

Темь буден засыпает
по стоптанным дорогам,
Иисус в одежде смертных
бледнеющих предчувствий
бросает город.

Над городом мерцанье
скользящей молви;
и шепот страшный
людского гнева,
и рокотанье
грядущей смерти...

В лобзаньях тлена,
закушенный червями,
с очами ада,
сегодня Лазарь
в веселье жизни.

Стук Рима громче, —
глуше гнеты порабощенья.
Бурлящей смуты глас
и глас пророков.
Безлунных сумерок
безгрезная печаль.

* * *

Ночь напролет,
глаз не смыкая,
искал Иуда
над морем вещим
дум кипящих.
Весь содрогался
в огне мечтаний
и разрушался
под гнетом пенным
зловещаний.

— осудят на смерть —
— в Иерусалиме —
— осудят Бога, —
— как Адама —

Но голос где-то,
как взрыд прощальный,
судьбой рыдает:
«Един, един от вас»...

Поутру, возвращаясь в город,
взалкал Христос.
Смоковница пустая
не приютила.

Тогда от слова
зелень листьев,
шурша,
свернулась.
И чернота проклятья
изъела семя.

«Аще веру имате
и не усумнитесь
не токмо смоковничное сотворите».

Продажным строясь,
как предатель,
замкнуто-тупо,
лукавства полный,
и озираясь,
и выглядая,
весь в ликованье,
клубящемся под броней,
и в бронной вере,
нежданным другом
Искариот вступает
в жилище вражье.
И там, торгуясь,
в шпионской маске
Неоцененного ценою мерит...

* * *

О, Господи,
я предавал Тебя...
Пытал терпенье
в исканьях тщетных.
Хотел встать на судьбу пятою,
расшатать,
поправить что-то...
И столько раз,
любя и веря,

тяжелым словом
оскорбленье бросал за оскорбленьем
и наносил любви желанной
за раной рану.
И вдруг очнувшись,
топтал поруганное сердце.

* * *

Тринадцать тайно
в дом человека
сошлись на праздник
и возлежали.
И вечер вещий
веял вестью
грядущей муки.
И омовением Христос готовил
к раскрытью тайны.

«Аминь, аминь, глаголю вам
один от вас
предаст меня».

Иоанн, прижавшийся
к груди Христовой,
— Кто есть, о Господи, — глагола.
И, обмакнув кусок,
Христос Иуде подал...
«Еже твориши,
скоро сотвори».
И вышел вон
тогда Иуда
в смущенье странном
перед всезнаньем
и восхищенный
пред избраньем.

Ночь туманом зимним
черной каплей —

слезой холодной
дробила нежность аромата
цветов поблеклых.
Предпраздничная тишь
и выжиданье
стояли, затаив дыханье,
на стороже
часов бегущих.

«Отче! пришел час,
прославь сына Твоего,
да и Сын Твой
прославит Тебя»...

Оружием, толпа, бряцая,
залитая ворчливым светом
светильников дымящих,
ворами крадется
за стынущий Кедрон
к аллеям никлым,
впивающим страданье
неотвратимой Чаши...
С горящим взором ожиданья,
как к сыну мать,
алканье к звону,
к Христу подходит
Иуда верный.
И, припадая к устам любимым,
любви устами
путь открывает
к победе горней...

Равви! Равви!

Покорным зверем
и кровожадным
толпа свой круг
непроходимый кружит...

Поет бряцанье,
чад чернится,
тела смыкая,
следы ровняя
шагов спешащих.

Петух трикраты возвестил
зарю ненастья.
Раздумные пробрались облака
по сети серой
на трон разрушенный восхода.
И белый свет мелькнул
и стал рассеиваться
по небу,
по земле,
все тайные углы светя
и раздирая слипшиеся рты
сонливой совести.
Огни костров, старея, меркнут,
и Петр ушел от Каиафы,
в тенях презренья,
униженно-согбенный,
цепляющим раскаяньем
надрываясь.
Послушная толпа
избитого Христа
к Пилату повела.

* * *

Равви! Равви!

Один Иуда...
С тоскою страшной,
страшнее пытки.
Белый свет
точит,
точит
душу.

Рассвет не посулит,
рассвет лишь распахнет Ничто
на месте Рая.
О, этот свет точащий!

Все проглядел глаза,
искал узреть сиянье,
ночь рассвечал
и в тишине дрожащей,
впивая Песней Песнь,
внимал своей мечте.
Распято время.
Распластаны его движенья...
Бегите! бегите мгновенья!
Завесу распахните
— хоть на каплю, —
— хоть на песчинку —
Зажгите солнце новое!

Мозг свинцовым плавом
повис и давит череп.
Змеиными клубками
душат думы сердце,
Одни...

Распни! Распни!

Иуда задохнулся.
Под верным лезвием
гремящей правды...
— умрет —
— сгниет —
Христос Иуде равен —
в Нем человек посеян —
И человека предал человек.

Распни! Распни!

Дай ответ мне, Иегова!
Ты подымал меня
на облака Синая,

и Новую скрижаль
из молний высекал
и путь громами устилал
сквозь ады мук...
Вел — —

Иуда, как дитя больное.
Беспомощно заныли руки:
обмана просят.
Унизаны воспоминаньем,
гирляндами любви повиты,
любви низвергнутой,
ревнивой о любви...

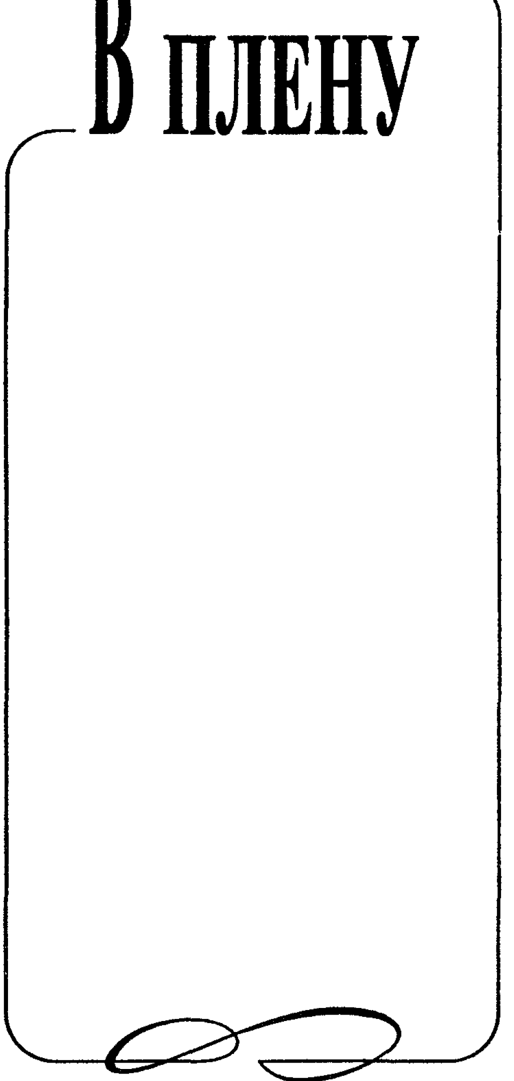
Я именем Твоим изгнал бесов...
— умрет —
— сгниет —

Тяжелыми комками
распалось сердце.
Непоправимое вползло,
загрызло...
Понурилась душа.
Безумье тихое
неслышно пригвоздило
к кресту позора.
Ползком прополз
к старейшинам Иуда.
И полумертвыми словами
в тоске кромешной
перед презренными презренный
раскаялся:
«Согрешил я,
предав кровь Невинного»...

И, бросив сребреники в храме,
бездомный,
разрушенный дотла,
в последнее убежище он постучался
к Тебе, о матерь покинутых,
Смерть.

Я слышу рыданье
поруганной веры.
Внимаю лобзанью
из верных верного
    Иуды.

В плену



Часть первая

В СЕКРЕТНОЙ

1

Звонит тюремный колокол. Всполыхнулось сердце, подняло на ноги. Я вскочил и одеваюсь.

Я не отдаю себе отчета: куда и зачем?

Я чувствую то же, что однажды в детстве. И я вспоминаю, как однажды ночью в наш дом привезли Иверскую — икону, я спал и вдруг меня разбудили...

Надзиратель выводит меня на тюремный двор.

Искристо-тихая морозная ночь. Сонными желтыми огнями горит тюрьма.

Я хожу по кругу. И не могу проснуться.

Однажды ночью в наш дом привезли Иверскую — икону. Тогда я был совсем маленький, спал с зайчиком. Я прикладывался к иконе и зайчик прикладывался. Потом игрушку куда-то закинули... И у меня нет больше игрушки.

Прищурившись, фонари следят за мною.

2

Бледно-оловянный свет — непробудные сумерки.

Или на воле снег идет или солнце больше не светит?

Надзиратель открывает форточку в моей двери.

Тихо в тюрьме. Где-то чуть слышно читают молитву: Отче наш.

Внизу против меня камера раскрыта. У двери стоит на коленях старик арестант, трясутся его старые руки.

Кто-то закашлял. Кто-то заплакал.

— Кто там плачет?

Да это ветер. Мой сторож-ветер.

Кончилась молитва. Захлопнули форточку. И глухо застучало по трубам. А мне все виделся старик арестант

у своей раскрытой двери — тряслись его руки. И я почувствовал, как где-то под одним кровом со мною словно зверь проснулся.

Зверь проснулся. Ни света ему, ни простора. Давят стены, задыхается сердце.

Ломает зверь когти — непокорный зверь.

А мимо двери по коридору, смеясь, звенят кандалы.

«Белые голуби — мои надежды и мои мечты — не покидайте меня! В одинокие часы моих ночей вы прилетали под мою кровлю. Сдружились со мною. Наворковали мне о счастье. Шелестом крыльев отгоните тоску, огонек раздуйте, засветите мне свет. Белые голуби — мои надежды и мои мечты — не покидайте меня!»

3

Камера — нора. Побуревшие, перегорелые от нечистот и насекомых нары. Серая в пятнах постель. Качающийся черный столик. Качающаяся черная табуретка с чуть заметным цепляющимся гвоздиком. Обгрызанная, истертая ложка в углу за образком. Узенькое продолговатое окно, густо замалеванное белилами. За двойною рамой снаружи железный щит.

Под потолком жестяная, липнущая от проливаемого керосина лампочка с косящим огоньком.

От нар и ложки за образком робкая, забитая тень.

С сыростью и испарениями весеннего вечера проникают ко мне через липкие стены долгие тюремные песни.

И летит, высоко уносится песня.

И кажется мне, она вылетает на кровлю, и падает там на белую грудь облаков и катится к черной ограде теплого неба, где родится весна, где роятся слезинки первых листочков и ткутся узорные ткани цветов.

«Песни, много в вас тайны. Когда вы несетесь, образы мчатся за вами. Я вижу тех, кого нет, и тех, кто далеко теперь, и тех, кто еще не жил на свете, но кого я желаю».

Песня волнуется, песня играет, песня горит.

«Песни, много в вас тайны. Как они близко, ваши спутники-образы! Я вижу живыми и тех, кого нет, и тех, кто далеко теперь, и тех, кто не жил на свете, но кого я желаю. Они мне протягивают руки и, как сон, убегают».

Кто-то окрикнул. И песня, как птичка, спорхнула.

Монотонно позвякивая шашками и стуча сапогами, ходят по коридору часовые, как мои тюремные дни, позвякивая шашками и стуча сапогами.

4

— Отчего темно так? — спросил я в первый день у моего дежурного.

— Темно,— дежурный мнется,— а потому темно, что тут днем ли, ночью — одна цена: такое уж строение.

Поправил дежурный лампочку и вышел.

А когда в полдень я спросил его:

— Отчего не светает?

Он посмотрел на меня как-то не то сурово, не то жалеючи:

— Эх, барин, много тут греха было! Днем ли, ночью — одна цена: темно... Гимназист один на третьи сутки повесился.

И опять ушел. И стало еще темнее.

А сегодня в мое окно пробрался солнечный луч: сначала один, потом другой, потом третий.

«Золотые лучи, вы с воли, вы грели подснежник, вы горели на храмах, вы играли на улицах, вы бродили в лесу и выгоняли из норок зверей, — все, к чему прикоснетесь, все оживает. Согрейте меня!»

Но и лучи меня покидают.

По-зимнему лампа горит.

А где-то близко у тюремных каменных стен распускается первая робкая травка. А где-то там за стеною, за полем, у моего дома, перед моим окном, бузина зацветает.

Я не знаю, живу или нет?

5

— Сегодня дочку похоронил! — сказал мне, забыв инструкции, исполнительный, обыкновенно отмалчивавшийся, надзиратель-подстарший.

Знать, сильно схватило, забыл он свои инструкции.

Молоденький такой солдатик, усы так чуть-чуть.

— Что такое? — спрашиваю растерянного солдатика.

— Мочи нет, хоть в Турцию бежать: жизнь каторжная!

Татарин один, уборщик коридора, пометет-пометет и остановится, станет, как вкопанный, замрет весь: два года просидел, еще год сидеть.

— Лошадь украл, и не нарочно, а так произошло!

Цыган-кандальник все песни поет под моей дверью. Поет цыган, кандалами пристукивает, а в голосе такая тоска...

— Сахарцу, барин, пришлите с Авдеевым.

Авдеев — арестант, прислуживающий в секретной.

Сахар посылается.

— Цыган весь ваш сахар проиграл, — докладывает вечером Авдеев.

А на следующий день старая песня:

— Сахарцу, барин, пришлите с Авдеевым.

Есть в тюрьме дети... Отец с собою в тюрьму взял свою пятилетнюю девочку.

Глазенки печально смотрят — не улыбнется она, а личико бледненькое, зеленоватое.

— Тя-тя! Тя-тя!

Отец возьмет девочку на руки и носит по коридору, занимает ее, — баюкает цепным звоном... И понесет он ее на вечную каторгу, понесет на руках, которыми зарезал чужого ребенка...

Все, что живет за моею дверью, идет ко мне, держит меня, сживается со мною, просит о помощи.

Но как помочь и чем помочь? Кто им поможет?

И в ответ только мыши скребутся, то ласково-тонко, словно понимают, то со злостью, словно готовы перегрызть тебе горло.

6

Пасхальная полночь.

Все камеры заперты.

Ожидание томительное, как перед приговором.

Изредка вырвется смех и куда-то забьется.

Из конца в конец одиноко и глухо ходят часовые...

Надсаживая грудь, кто-то закашлял.

И ударили в колокол.

Тюремный колокол зазвонил к заутрене.

Гул и звон и здесь и там, и близко и далеко, — гул и звон: Христос воскрес!

Глубокий вздох и тяжелый стон идут по стенам, и где-то в глубине тюрьмы вдруг рассекают камни: Христос воскрес!

Из глубины железных рам светится в тюрьму ясный взор. И чудятся легкие шаги...

Далеко за тюрьмою перезванивают к обедне.

Не спит тюрьма.

7

Мне приснилось, я сидел у окна. Выходило окно в беззвездную ночь.

За стеною возились какие-то дети.

И вся моя жизнь проходила предо мною с нехорошим искаженным лицом.

Бесшумно раскрылась дверь.

Вошел высокий седой старик.

И сливались наши глаза в мучительном взгляде. И кровь в моих жилах закипала. Закипала и стыла.

Старик перебирал губами, бормотал что-то.

А я от ужаса и тоски хотел биться о стену и грызть камень.

И, тихо звякнув, упал к моим ногам короткий нож.

Старик исчез.

Я поднял нож, прижал его к сердцу, холодный.

И ждал рассвета.

За стеною возились какие-то дети.

— Вставай, дежурный! Надзиратель, вставай! Пора по камерам, дежурный! — гремя ключами, прошел старший.

И ударил тюремный колокол.

8

Бесцельно хожу взад и вперед.

Мне холодно и темно. А там на свободе все в зелени. По ночам долетают стуки и крики взбурлившейся жизни.

Но часто мне кажется, выжгло солнце человеческий род, и только я спасся в тюрьме.

Бесцельно хожу взад и вперед.

Музыка! Где-то близко проходят солдаты.

И я долго гляжу в мертвые стекла.

Хлещутся звуки по сердцу... и глохнут бессильные...

И кажется мне, со всех концов запалили землю. Мечутся дикие красные стаи. Земля умирает.

Бесцельно хожу взад и вперед.

Все так же тихо. Мне холодно и темно. Мутно светит лампа.

И судорожно я думаю о звездах.

9

Тюремные часы уныло бьют.

Надвигается ночь.

От лампы по полу и по стене лежат неподвижные тени.

Прилипшая к стене муха умирает.

Ее лапки судорожно вытягиваются, тельце сжимается, а расплывчатое пятнышко тени — ее последней спутницы — дрожа, плывет.

Залетела ко мне в камеру муха, день, другой полетала и умирает.

И в предсмертный мушиный свой час вспоминается мухе: желтая и пыльная камера, когда там, за стеною высоко стоит солнце, окно будто замерзшее и в ясный день, скучные и вялые мокрицы по углам, где зеленеет струями плесень, сонные тараканы на панели стен, озабоченные прусаки, ленивые налитые кровью клопы, едва заметные злые, бледно-желтые клопиные шкурки, тонкие юркие хвостики мышек, зубы рыжей огромной крысы, гул, звон кандалов.

Продолговатая тень спустилась и застыла.

Муха умерла.

И мне почудилось, застыло время, застыли шорохи, словно жизни больше не стало.

10

Светлая летняя ночь.

Там созревают плоды, и зарницы, шныряя, колышат колосья.

Одинокие звездочки смотрят на землю.
Где-то за тюрьмою поют.
Собачонка тявкает тупо.
И песня уходит.
Как тихо, как мертвенно тихо!
Слышу время, время стучит, убегает — —
Ничего не хочу, ничего мне не надо. Слышу время, время стучит, убегает.

11

Я чувствовал себя, свое тело, сгорбившееся и отяжелевшее и душу с замирающими, как бы от испуга мыслями, с нарастающей тревогой, предчувствиями какого-то вечного гнета и все-таки никогда не потухающей надеждой, что кто-то непременно придет, подымается суетня, пропоет настораживающий замок и освободят.

Я вспоминал свое прошлое, всякий прожитый день до мелочей. И дни входили неясно, потом сгущались, росли, вырастали в какое-то чудовище, — в какого-то искалеченного ребенка, и немо тянули всю душу. Калека-ребенок простирал свои сухие руки...

И, глядя в лицо своих дней, я умолял простить меня, давал клятвы — лучше умереть, но не заставить стоять с этой сухою простертою рукой, лучше пусть измучаюсь и понесу всякую тяжесть!

И проходило все выраженное, вылившееся, окаменевшее в поступках, потом все бродившее и, наконец, то, о чем я боялся думать, и оно всплывало нежданно и назойливо лезло, спугивая весь копошащийся мир.

Я казнил себя за такие мысли, которые когда-то жили со мною неясно, укрытые другими спокойными мыслями.

Вспоминая встречи, я вспоминал все, что говорили, и о чем душа болела. Всю жизнь до травинки принял к себе в сердце. И я не видел существа, сердце которого не заплакало бы хоть однажды.

Все равно, ты ли заварил, к тебе ли пристали, ты ли убил, тебя ли избили, но сердце твое сжимается и на душе — холод.

И незаметно я затягивал всего себя, закручивал в водоворот бед, невзгод и мучений, метался, как зверь в

клетке, и, изнемогая от ходьбы, останавливался, да от безысходности, от своей беспомощности застывал на месте... И оставалось хватиться головою об стену, — и конец!

Но понемногу отходило сердце.

Вспоминалось, как в детстве, играя, отрывал лягушкам лапки, вспоминал желторотого выкидыша из разоренного гнезда, вспоминал рыбу с оборванным крючком... разорванного, полураздавленного червяка...

По тюремному двору ходил козел. Я встречал его на прогулках. Ходил козел по двору и, ровно понимая что-то, посматривал на меня.

И мне казалось, не только люди, но и звери и вещи понимают.

Избитая собака, и заморенная лощадь, и вся эта надорвавшаяся и измученная скотина... И горящие деревья, и желтеющие листья, и измятая трава, и истоптанные цветы, и ощипанные бутоны, и изъеденные побеги, — они понимают.

Чувствуя себя и все, что живет за дверью и за стеною, что совершается и что было в прошлом, я чувствовал каждый миг жизни и не проходило песчинки времени, чтобы настало забытье, даже в снах...

И я не знал, как оправдать и чем оправдать все совершившееся, все происходящее и все, что пройдет по земле.

«А если я был помазан на совершение?.. Я устранил от жизни насекомое, пускай это насекомое мучилось и однажды пролило слезу, а меня завтра повесят за него. Я помазан совершить то, что совершил, а другой был помазан свое совершить. Тем, что он мучился, когда я его прихлопнул, он искупил свое, а я искуплю завтра!»

Я ходил, не зная утомления, из угла в угол, но покоя мне не было.

12

Зашипели шашки конвойных, раздалась резкая команда. И выстроенные у тюремных ворот арестанты пошли, торопясь и звеня, торопясь и обгоняя друг друга по этапной дороге на волю!

И я увидел все, что было, и что таилось в завтрашнем дне. На минуту осветилась тьма и стало ясно, как в полдень. Будто ледяные руки обняли меня, и лед жег мне сердце, и я проклинал человека и, проклиная, падал перед ним.

На волю!

Часть вторая

ПО ЭТАПУ

1

В ВАГОНЕ

Открыты окна.

За вагоном летит солнце, блестящее и еще холодное, и лучи бьются о решетку.

Мелькают сонные поля высокого, желтого хлеба.

Вагон просыпается: сопят, кашляют, плюют, выходят и приходят, цепляясь за ноги.

— Осенью-то ехать и не доживешь! — говорит сморщенная старушонка, пережевывая корку.

— Чего не доживешь-то, тридцать годов хожу во все времена года, жив, цел и невредим! — отзывается старик, арестант Яшка.

Яшка важно пьет чай, вкусно присасывая сахар. Белая оправа очков приросла к его носу и переходит в длинную белую бороду, позеленевшую у губ.

— Молодому куда еще, а мне на седьмой-то десяток... Господи, всю-то разломило!

Заплакали дети, поднялись бабы, заорали.

А немного приутихли дети, опять послышался под стук колес голос Яшки: он роется в своем мешке и ухмыляется.

— Книги, вот эти, получил я от самого господина начальника. Проповедник был у нас англичанин, просвещал арестантов. Познание, говорит, усмирит чувство твое и освободит от него. Лучше бы, сукин кот, от тюрьмы освободил! А то кандалы в душе тяжеле ваших. Попробовала бы этакая пигалица наши-то поносить, дарма что англичанин.

— Одно развлечение, а то и слушать их нечего! — глухо отвечает сосед Яшки, высокий, сухощавый арестант с темным лицом подвижника.

— Да и без проповедников сами все знаем, еще покойный Державин сказал: в добре и зле будь велик! А то англичанин.

— Спи ты, чего поднялась! — скаля зубы, уговаривает конвойный молодую арестантку, подлаживаясь и заигрывая.

— И приятно, любо ходить мне, — продолжает Яшка, — и хожу. А сколько я этого народу на моем веку обманул. Родного брата надул...

Хихикают. Старуха стонет. Кто-то немилосердно чешется и зевает. Яшка повествует свои длинные, запутанные похождения.

Становится душно. Пепельно-желтый табачный дым широкой и густой полосой тянется от двери до двери. К арестантке пристают и задирают. Кто-то запел.

— Д-да,— слышится голос Яшки, — и живу так, приятно, хорошо мне, одно — устал, тело болит, да и вино уважаю.

И все слова и крики сливаются в каком-то тупом жужжанье.

Хочется туда, за эти поля — дальше отсюда. И с болью вспоминается другое...

Скоро станция. Конвойные собирают чайники, арестанты спорят и грызутся.

Поезд остановился.

Пассажиры и публика, прогуливаясь по платформе, трусливо и любопытно заглядывают в решетчатые окна.

2

ТАРАКАНИЙ ПАСТУХ

Шла третья неделя, а этап все задерживался.

Казалось, прятался тот день, когда войдет старший и объявит, и все подымутся, загудят, споря и собирая рухлядь со всевозможными тайниками для табаку и инструмента.

Шла третья неделя, как, неожиданно для себя, я очутился в общей и жил озираясь, со слипающимися глазами, словно все время засыпал, а кто-то непрерывно будил меня или сам я поминутно просыпался от чего-то непременно нужного, что прикасалось ко мне и напоминало о себе.

Мои карманы в первую же ночь были вырезаны, а вскоре как-то среди дня, когда от страшного утомления и напряженного бодрствования, не помня себя, повалился я на нары, и сон легко и приятно потянул меня в какую-то сонную пропасть, бездонную и темную, подметки у меня были срезаны.

Шум, драки, ругань — постоянные и назойливые, скрутили все мои мысли. И казалось, они забились куда-то, а там, на месте их зияла в душе пустота ровная, страшная и тихая.

Только что прошла поверка, о надзиратели обходили окна, постукивая молотками о решетки и рамы.

В камеру принесли огромную парашу, и камеру заперли на ночь. Полагалось спать, но камера все еще шумела и галдела о разного рода притеснениях, об угарной бане и шпионстве.

Не раз у решетчатой двери появлялась черная фигура надзирателя.

— Копытчики, черти, ложись спать! Чего разорались? — покрикивал суровый, раздраженный голос надзирателя.

И кое-где забирались под нары, стелились.

Так понемногу и неугомонные успокоились и, теснясь друг к другу и зевая, дремали.

Стало тише, только там и сям все еще вырывался скрипучий смех и сиплый визжащий оклик. Лизавета — подросток-арестант шнырял по нарам, и мелькало лицо его, избалованное, мягкое, с оттопыренной нижней губой и желтизной вокруг рта.

И становилось душно. Душны были мысли, бродившие под низким черепом гниющей и мутной камеры.

Ясная ночь засматривала в окна тысячезвездным ликом своим, такая вольная и такая широкая.

Я лежал бок о бок со своим неизменным ночным соседом бродягой — Тараканьим пастухом.

Тараканий пастух обыкновенно по целым дням молчаливо выслеживал тюремных насекомых и давил их, размазывая по полу и нарам. На прогулке, сгорбившись, ходил он одиноко, избегая других арестантов, и только, когда мелькал женский платок или высовывалась в ворота юбка, он выпрямлялся, ощеривался и долго, порывисто крутил носом.

Бродяга никак не мог устроиться, ёрзал и почесывался. Песочное лицо его с буграми и впадинами от какой-то болезни, в бесцветных редких волосах, напоминавшее спину плохо ощипанной вареной курицы, ощеривалось.

Вся тараканья история бродяги давно была всем известна: когда-то певчий у Василия Стаканыча, потом переплетчик, потом завсегдатай холодной, стал он, наконец, подзорным, захирел и теперь снова шел в ссылку.

— В такую ночь сердце живет,— вдруг проговорил Тараканий пастух хрипло, почти шепотом, — в такую вот ночь... — и, привстав, задумался.

Я отодвинулся немного и тоже поднялся.

— Такие ночи были светлые, теплые, — начал сосед, — а я, как собака какая, бродил по лесу. Все нутро иссосало у меня, поди, дня три и во рту ничего не было. Оглядывался, да осматривался: не пройдет ли кто? А тут лист хрустнет, птица вспорхнет — так и насторожишься весь, подкатит к сердцу. Думаешь, вот тебе тут и подвернется кто, а никого нет. Так вот и ходил, и лес кончился, заросль пошла. Только глядь, крыша блеснула. Обрадовался я, да бежать. Оглядел дом. Вижу, свету нет. Спят, думаю. Я — к окну, дернул,— поддалось. Полез я в окно да прямо в кухню. Стал шарить. Шарю, а вареным-то этим, кислотою, так в нос и пышет, сам едва стою, мутит. Целую миску щей вытащил из печки, и принялся уписывать. Насытился. Ну, думаю, возьму из вещей чего, да и уйду. Вижу, дверь в комнаты ведет. Отворил я дверь, пробираюсь, иду, сам не дыхаю, тишком, боюсь, кабы чего не сшибить. И вижу вдруг, в углу, на койке, женщина лежит, спит. Я к ней. Распласталась вся, бе-лая... Постоял я, постоял над ней. Крови-то у меня как загудут, дрожь всего засыпала. Нагнулся: вот бы, думаю, этакую... царевну! Да как чмок ее в губы. Вскочила она. «Петр, ты? — говорит,— пришел, не забыл, а я-то как стосковалась по тебе!» Смотрит на меня такими светлыми, светлыми глазами, да как обнимет, стиснула всего, целует. Креплюсь я, кабы не сказать чего. «Чего ты, говорит, молчишь все, ни словечка не вымолвишь?». «Не время», — отвечаю ей, и голоса уж своего не признаю...

Тараканий пастух разинул рот и словно дышать перестал.

— Ну, и все произошло,— очнувшись, продолжал Тараканий пастух,— думаю, домой пора, застигнет еще кто. «Куда, говорит ты, Петя, или уж разлюбил меня, все-то, ведь, я отдала тебе, не совладала с собою!» Так вцепилась, не оторвешься. Выскользнул я, да в окно. Да только ноги спустил, вижу человек... так прямо и прет на меня. Я было в сторону, а он за мной. Нагнал. Остановились мы. Стоим. Смотрим друг на друга. Глядел он, глядел на меня, страшный, будто мертвец какой. «Распутница, говорит, распутница!» И пошел. И пошел, больше не оглянулся. Гляжу ему вслед: все идет, и дом прошел. Окно-то открытым осталось, блестит. А она стоит в одной рубашке, глаза большие...

Тараканий пастух скорчился весь, голова и грудь его пригнулись к животу, а кашель глухой и тяжелый колотился и рвался и резал мягкое что-то и нежное больно.

Менялось дежурство. Тяжело стуча, прошли шаги нетвердые и сонные, и другие шаги со скрипом, перебивая их, приближались.

Вся камера спала, кто-то бормотал и скрипел зубами.

Тараканий пастух лежал ослабевший и беспомощно дышал.

Где-то далеко щелкали колотушки, а ясная ночь заглядывала в окна тысячезвездным ликом своим, такая вольная и такая широкая.

3

ЧЕРТИ

Прошел и обед и кипяток, а распоряжений никаких не было.

Со злости арестанты дрались и грызлись: у подследственного татарчонка оборвали ухо, старику кипятком ноги ошпарили, и, Бог знает, до чего бы еще дошли.

И только когда уж смерклось, вошел старший и объявил. И тех, кому идти следовало, перевели в другую камеру и заперли.

Одетые в дорогу, сидели арестанты на нарах и ждали.

Соскучившиеся и измученные лица их сливались с их серою одеждою.

Над дверью брюзжала лампочка.

Говорили о порционных и дорожных, жаловались, на все жаловались, как больные. Потом молчали, отыскивая, о чем бы еще поговорить, на дверь косились, оправлялись.

Скоро должен прийти надзиратель. Отопрет надзиратель камеру и поведут в контору, а там на вокзал.

Вдруг встрепенулись: в коридоре загремели ключами.

Конфузливо запахивая халат, вошел в камеру незнакомый высокий, худой арестант из секретной и, рассеянно, будто никого не замечая, сразу уселся на нары.

Большие глаза его, казалось, когда-то провалились, потом выскочили, измученные и перепуганные насмерть.

К новичку приступили с расспросами.

— Ты далеко? — кто-то спросил секретного.

— В Устьсысольск,— ответил секретный не то робко, не то нехотя.

— За что попал?

Но арестант молчал.

И только спустя некоторое время, глядя куда-то за стену и словно читая, начал он свою секретную повесть.

Все присмирели.

— История... рассказывать долго... — заговорил арестант, — служил я конторщиком в Пензе и уволился. Поступил в Туле на завод рабочим, запьянствовал. Правда, пил сильно. Летом ушел в деревню. Нашла тоска на меня, хожу по полю и все думаю. Раз так горько стало, лег на траву. И вдруг вижу, черт стоит по правую руку и Ангел-хранитель по левую. Прочитал я молитву, — черт скрылся, да... и опять. Встал я, молитвы читаю, а он за мною, ни на шаг не отпускает. Дома рассказал я о черте. «Иди, говорят, к священнику». Наутро пошел к священнику. Священник спал. Я ждать-пождать. «Не дождешься ты его!» — сказал работник. И пошел я на кладбище, лег в холодке на могилку. И пошли мысли у меня: как на свете жить, и зачем жить? Думал я, думал и забылся. Просыпаюсь, — легко мне, будто что слетело с меня. Осмотрелся: ни пиджака, ни шапки нет. Ну, думаю, пропал теперь: документы и все украли. А кругом ни души, тишина, солнце высоко поднялось. Постоял я, посмотрел и пошел, сам уже не знаю, куда. И тоска взяла меня, такая тоска. Вдруг черт... И идет за мною, так и идет.

Куда я — туда и он. По дороге канава... «Раздевайся, говорит, ложись!» Послушался я, снял с себя все, хочу лечь, только вижу на дне гроб, а в гробу скелет. Я и говорю: «Милый ты человек, может, богат ты был, а теперь ничего не можешь». А черт и говорит: «Эй! Это твой скелет: ты из мертвых воскрес!» И я увидел, как раскрылось небо, и ад представился. На самом верху Бог Саваоф, а с другой стороны стена высокая-превысокая... «Там праведники, а ты тут будешь, мучиться будешь!» — услышал я голос. Тут я упал на колени, смотрю на небо, и так хорошо мне. И не знаю, как очутился я в каморке без окон, темной, тесной, нежилой, видно. В щели засматривают мои товарищи и смеются... И все они черти. Прочитаю молитву — прогонятся, а потом опять выглядывают. Я как закричу на них — и явился Ангел, заплакал, взял меня за руку и повел. Иду я по лесу, думаю: и зачем это я к немцам нанялся по лесу голым ходить за сто рублей? Возьму расчет... голым ходить, да... А уж немцы идут, кричат по-своему... И все они черти. «Не хочу служить вам! — кричу на них, — отдайте мне семьдесят девять рублей, а остальные на братию жертвую. И где это видно, чтобы по лесу голым ходить за сто рублей?» А немцы ругать меня принялись, издеваться надо мною. И вижу я вдруг, смотрит солнце на меня, смотрит солнце и ласково так манит к себе. «Солнышко, — взмолился я, — куда мне идти». Уж так досадно мне стало на этих немцев. «Туда вон!» — говорит солнце и показывает будто дорогу. Бросил я немцев, иду, а солнышко говорит, говорит, и так хорошо, так хорошо мне... «Чего безобразишь, а? — кричат мне,— не видишь что ли, девки тут?» Очнулся я: стою на поле. Сенокос, полно людей, а я совсем голый. «Отдайте мне мои деньги!» — закричал им. А они как бросятся на меня, лупили, лупили да к уряднику поволокли, и там всю шкуру спустили. Потом в острог поволокли за бесписьменность. Нашла тоска на меня, такая тоска... Черти явились, всю камеру заняли. И куда ни глянешь, везде они, черти, да... черти.

Губы у арестанта странно, страдая, улыбались. Глаза выскочили: не отрываясь, глядел он на что-то смертельно страшное, ему только одному видимое.

Между рамами завизжал ветер. Хлопнула форточка.

Сидели все молча, и каждый думал о чем-то неясно-тоскливом, о какой-то ошибке непоправимой и об ушедшей жизни.

Сидели все молча, щипало сердце. И рвалось сердце наперекор кому-то, к какой-то другой жизни, на волю.

— Собирайся! — крикнул надзиратель и ключи зазвенели.

И гурьбою, подталкивая друг друга и оступаясь, повалили арестанты по коридору в контору.

Пришел старший, принес какую-то темную ржавую связку не то ключей, не то замков, бросил ее на стол, и под тихий ее стон и дрожанье прошла перекличка.

Раздал старший каждому по ломтю черного хлеба, вошли конвойные, нехотя взяли первую попавшуюся руку и руку соседа и сомкнули звенья — баранки. И большой и малый стали близнецами, и малый лез и корчился до большого.

— С Богом!

4
КАНДАЛЬНИКИ

Нас было немного, и попарно прикованные друг к другу, мы шли и пылили затекшими ногами.

Шли-плелись, беспокойно вертя невольною рукою, и от насильной близости к соседу что-то оттягивающей тяжестью нависало на плечи и гнуло спину.

Сияла теплая летняя ночь.

Теплые темные тучи расходились, и звездное золото, открываясь, разливалось по густо-синему небесному шелку.

Мы жадно вбирали дыхание какой-то страшной свободы, распахнувшейся далеко вокруг, до самых последних краев, где с тучами сходились поля и уходили кресты колоколен под звезды.

Но, грязные и заскорузлые, мы и тут не переставали чувствовать нарный тяжелый воздух.

Конвойные — забитые солдатики, худые и тонкоголосые, окружали беззащитную скованную по рукам голь, но шашки их не сверкали, а были ненужными и даже, казалось, тупыми, картонными.

До вокзала дорога — два-три часа.

То тут, то там вспыхивал тонкий змеистый огонек, и запах малины входил в ночь от крепкой махорки.

Стало теплее и уютнее: что-то домашнее оседало на душу и тихо ласкало. Будто уж выпустили на настоящую волю!

— Это так не полагается! — сказал было конвойный, сказал и забыл.

Нас было немного, и попарно прикованные друг к другу, мы шли, и, чувствуя куртку соседа и за волосатым арестантским сукном изможденное тело, каждый из нас чувствовал также, что вот сзади идут Аришка и Васька, нескованные и особенные.

Аришка то и дело забегает наперед, семеня около каждой пары.

Она заглядывает каждому в глаза. И зубы ее широкие и белые поддразнивают, а глаза светлые, детские и жалеют и смеются и просят и тоскуют. И вся она живет перед нами какая-то горячая и желанная. У всех она допытывается: «Куда ты и за что, куда и за что?» — И все охотно по нескольку раз повторяют одно и то же, и не замечают. Сама Ариша толкует, что идет она по афиристическому делу, идет только в роты, потому что малолетняя, а купца Сальникова, у которого в любовницах жила, в Сибирь сослали... вместе деньги подделывали, вместе и старуху покончили злющую.

Вся фигурка Аришки чистенькая и опрятная. И кажется она маленькой болтливою птичкой, перелетающей в этой грезящей ночи, а жизнь ее — мгновение...

Васька напуганный и шершавый мальчонка, напротив того, как поставили, так и идет молча, задумчиво. Изорванные рыжие сапожонки шмыгают, а ученическая курточка с бляхою на ремне висит, будто приставленная. Васька все поддергивается.

Так прошли мы за город с полем и огородами, и едва-едва уж мигал нам вдогонку тюремный фонарь, ненавистный и злой, как цепной пес.

В городе открылся шум. И конвойные подтянулись, хотя публики еще не было.

А идти стало тяжелее: камни задевали и резали ноги, зажглись ссадины, и обувь давила.

Феня-Феня-Феня-я,
Феня — ягода моя!

— раздирая гармонью и приплясывая, шла навстречу пьяная пара.

Женщина высоко обняла его шею и, навалясь всем телом, жмурилась и причитала, а он без картуза, красный, с слипающимися волосами на лбу, такой здоровый.

И с сохой и с бороной,
И с кобылой вороной!

— долетел последний, почему-то грустный голос замирающей гармоньи.

И это счастье, брызнувшее в лицо пойманным бродягам, взорвало глухое неясное желание и заострило и распалило несчастье.

Арестанты угрюмо молчали.

Поравнялись с домами. В окнах было уже слишком много света, и заливалась, пилила скрипка.

Незанятые женщины толпою сбегали с лестницы и что-то кричали и махали руками.

Яркий красный фонарь жутко освещал их лица.

Пахнуло чем-то парным и гнойным.

И они, такие красивые и богатые, казались родными и самыми близкими.

— Сволочи! — пронесся нам вдогонку отчаянно хохочущий голос, — сволочи!

Прокатился экипаж — один и другой. Извозчики трусили. Прохожие по-разному проходили — и грустя, чуть подвигаясь, и убито, махая руками и раскачиваясь, и бешено, но каждый шаг их сливался с твоим и, пропадая, казалось, отрывал от твоего сердца кусочек.

С шипом, дразня, мелькнул голубенький огонек битком набитого трамвая.

Фонари зажигали.

Из лавки выскочил мальчишка, сунул конвойному связку черствых баранок и шмыгнул обратно. В окне бородатый старик осенил себя большим крестом и строго пожевал губами. Старушонка-нищенка трясущейся рукою сунула мне в руку копейку, перекрестилась и горько заковыляла: сыночка вспомнила!

Улица, вырастая в волю, в жизнь, какою и мы когда-то жить хотели и жили изо дня в день, тянула всю душу.

«Не все ли равно? — думалось. — Да, не все равно!» — будто шептал кто-то с мостовых, и кричал из каждого камня высоких, согретых огнями зданий и мучил скованную руку.

И воля и нищета подымались перед глазами и сновали разгульные дни.

Наконец, мы добрались до вокзала. Вокзал белый, холодный и суетный. Новенькие блестящие паровозы, огромные закопченные трубы.

Отделенные конвоем от публики, мы расселись на самом краю платформы.

Аришка грызет сахар, и рожица ее осклабляется.

И отрезанные, другие, чужие тем, расхаживающим где-то тут рядом, мы, как свободные, как в своих углах, благодушно распивали чай стакан за стаканом.

— Васька, а Васька, как же это тебя угораздило? — лукаво подмигивая, обращается к мальчонке весь заостренный и насторожившийся беглый с Соколина.

— В Америку! — робко отвечает Васька.

Все арестанты хорошо знают, как и что с Васькой, рассказывал Васька про Америку тысячу раз, но все же прислушиваются. И непонятным остается, как это Васька идет с ними, живет с ними, ест с ними.

— Ах ты, постреленок, в Америку! Ишь куда хватил, шельмец! — поощряют Ваську.

— До Ельца добежал,— начинает Васька,— а там поймали и говорят: «Ты кто такой?» А я говорю: «Из приюта». А они говорят: «Как попал?» А я говорю: «В Америку». Потом... — тут Васька отломил кусок булки и, напихав полон рот, продолжал: — потом в остроге я говорю надзирателю: «Есть, дяденька, хочется!» А он: «Подождешь!» — говорит. А кандальники булку дали, чаем напоили, один, лысый, говорит: «Хочешь, я тебе яйцо испеку!..» «Я еще булку возьму!» — и снова тянется маленькая, грязная ручонка, и Васька сопит и уписывает.

— Да как же ты убёг-то?

— В Америку.

— И не забижал никто?

— Нет! — протягивает Васька и задумывается: «В Америку, — говорит начальник, — в Америку бежишь, сукин сын!..». «Я еще булку возьму!»

И смуглое личико Васьки сияет теплющимся светом, и истерзанное перепуганное его сердечко прыгает в надорванной грудке.

Вдруг с резким свистом и шумом, шипя и киша горячими стальными лапами, подлетел поезд и заколебался, перегибая длинный, пышный хвост.

И сразу что-то отсеклось, и крик смешался с равнодушием, и жгучая тоска приползла и лизнула сердце ледяным жалом, и что-то тянущееся, глухое и безысходное заглянуло прямо в глаза своим красным беспощадным глазом.

— По местам! — закричал конвойный.

5

В БОЛЬНИЦЕ

Я лежу в больничной камере. Камера Куб. сод. возд. 7 с. 11 ар.

Лампа горит.

Какая огромная и уродливая моя тень!

За тюрьмою на реке пароход пропел.

Пищит вентиляция, тикают часы в коридоре.

По двери крадутся тени...

Лампа туманится. Кто-то будто наклонился надо мною, пихает в нос вату и хрипит...

На потолке сгущается черное пятно.

Упадет пятно, и я сольюсь с ним.

— Кто там, кто стучится?

— Терпенье... терпенье... — отвечает протяжный стон. Жужжит муха.

— Да-да-да-да... — бойко поддакивают часы.

— Высший подвиг в терпенье...

— Затворите форточку! Дует. Летом холодно. Да затворите же форточку!

На желтых стенах грязные клопиные гнезда.

Здесь даровое угощение: здесь дают им есть, сколько влезет.

— Зачем вы душите меня? Что я вам сделал? Что надо от меня? Я всех, всех, всех раздавлю. Закраснеет огромное пятно, всю землю покроет!

— Ты в роты идешь, раздевайся, снимай чулки! — будто кричит над самым ухом надтреснутый солдатский голос и колкие усы касаются щек.

— В роты, роты... ты... ты! — тянет ветер, врываясь в форточку.

Кто-то снова наклоняется надо мною, пихает вату в нос.

К двери подходить, шлепая валенками, надзиратель.

— Не уйду, я никуда не уйду!

— Уйду, уйду! Высший подвиг в терпенье...— стонет кто-то с ветром.

Мигает лампа.

И огонь убегает из камеры.

6

КОРОБКА С КРАСНОЮ ПЕЧАТЬЮ

Мир тебе, коробка с красною печатью!

До последнего дня этапа ты сохранила гордость и неприступность, ты победно окончила долгий и трудный путь.

Что за вкусные сласти несла ты!

— Коробка с печатью! — гордо говорил я.

И начальственные головы благоговейно склонялись перед тобою, и пальцы их — щелчки — не смели коснуться тебя. А меня принимались тормошить и оглядывать.

Но щелкал замок. Мы одни с тобою.

Постукивая, где-то ходят. Дремлет сонный волчок.

И ты раскрываешься...

Папироса за папиросой, — дым на всю тюрьму!

А помнишь, раздетый донага, я стоял на каменном холодном полу. И оскорбляя и издеваясь, шарили меня. Ты же с зеленого сукна надменно взирала вокруг.

И потом, осторожно, обеими руками взял тебя сам старший, выпучил глаза и, как святыню, держа тебя перед собою, направился к камере. Сзади вели меня, гремели шашки.

— Их нет! — шепнул я.

И ты распахнулась и предстали передо мною бумага и карандаш.

Когда же мы вместе вышли на волю, ты тряслась от хохота всеми своими нитями над те миром, где так высоко чтут красную печать... *кондитера*.

Мир тебе.

Мне же так горько стало и страшно за мир, и землю, и душу человека.

Часть третья

В ЦАРСТВЕ ПОЛУНОЩНОГО СОЛНЦА

1

Стою на трапе.

Далеко над рекою раскинулась ночь, последняя летняя.

— И за что я люблю тебя, светлая ночь!

Вереницей идет и впивается в сердце тысячу раз повторенное.

Месяц широким густым ключом падает в реку. И взапуски бегут серебряные дрожащие струйки и, нагоняя друг друга, извиваются кованой лентой.

Там, впереди, для меня словно остров — там что-то заброшенное и утонувшее в снеге, а позади оторванное и застывшее.

Легкий ветер, чуть шелестя, доносит гулы. И чудится тоска в гулах голубеющей летней северной ночи.

— Налево, куда правишь, налево! — закричал командир.

— А-ах! — ответили с баржи.

— Налево, коли надо, прими чалку, а то отходи, поверни что ль еще!

— А-ах! — ответили с баржи.

Медленно и спокойно плывет река, только у колес парохода встают волны и, откатываясь бьются о берег.

Из трубы вылетают красные искры — крылатые красные рыбки — и расплываются.

Разгораются звезды.

— И за что я люблю тебя, тихая ночь?

— На правой, вперед! — кричит командир.

— Де-вять, де-сять... — отвечают с баржи.

И протяжно и гулко запел пароход.

Вздрогнул лес, вздрогнули берега и, громогласно ответив на зов, погрузились в сон.

Что-то страшное вошло в ночь и затеснило грудь.

Замелькали огоньки пристани.

2

Снегом заносит.

Рвется в белые окна метель и стучится.

А вчера еще жил василек, жали рожь.

В одну ночь!

Стынет седая река, плещутся судорожно волны.

Слушаешь вьюгу, молчишь, жмешься от холода.

Нет уж дороги. Снег. Погребают, поют над тобою.

Кличут метели, поют:

— Выходи-выходи! Будем петь, полетим на свободе! У вас нет тепла! У вас света нет! Здесь огонь! Жизнь горит! И пылая, белоснежные, мы вьемся без сна. Выходи — выходи! Будем петь и сгорим на белом огне. Все, кто летает, все собирайтесь, мы умчимся далеко, далеко-далеко. Никто не увидит. Никто не узнает. Снегом засыплем, ветром завеем, поцелуем задушим. Песню тебе пропоем!

— В нашем царстве...

— Мы белые — черные ночью. Будем петь и летать, не замолкнем. Серебром затканы наши одежды, горят самоцветы. Мы вольные, чистые, цепкие. Нагоним — мы хлещем и бьем, а встречая, мы раздираем. Срока нам нет. Скрыт от нас час. И с обреченных не снимем проклятья. Сердце будет биться безвыходно, безрадостно, безнадежно.

— В нашем царстве...

— Мы белые — черные ночью. Теплом не повеем. У нас острые зубы и цепкие когти. Уж близко время, великая тишь сойдет на землю, наступит горькая печаль и теснота. Уж близко время, великая тишь сойдет на землю и станет на земле одна могила — кровавый крест. Мы белым саваном пушистых крыльев земную кровь покроем!

— В нашем царстве...

— Мы другие, не черные и не белые — мы бессмертные. Полночь идет. И проклятое сердце жаром овеяно рвется и стонет. Мечемся, мечем печаль, мы свищем, горкуем,

не знаем дороги. А те, кому жизнь не красна, зовите нас горевать свое горе. Горе не заплачет.

— В нашем царстве...

— Чует, подкатывает сердце. Что ж! Мы разгоним невзгоду, призарим, мы запоем по заре в три звонких голоса, мы растеряем тоску по полю, по лесу. Солнце, звезды, месяц, запирайте небесным ключом змею! Мы облегчим тебе боль!

— В нашем царстве...

— Мы не белые, не черные, не бессмертные, мы из стали, каляные. Ничего не боимся, ни муки, ни пыток, мы сами пытаем. Нет непогоды на нас, никому нас не унять. Встретим и бросим на горе, встретим — разлучим, пустим по полю. Эх, вы люди, безлюдье безудалое!

— В нашем царстве...

— Мы крепки в огне, мы не дрогнем. Заведем хоровод, и летаем по полю-приволью. Смерть с нами. Вон она машет костлявой косовой рукою! Стук да постук, властница смерть! А нам своя воля гулять!

3

Зеленоватая ночь, туманная, в колеблющихся тучах.

Не слышно ни звуков, ни голоса. Но все живет, завеянное зеленоватым светом.

И кажется, пройдут века, и ничто не шелохнется, никто не подаст голоса.

Бесшумно подымаются мысли, идут и замирают, сливаясь с зеленоватым светом.

И то, чего минуту так сильно желал, отступает.

С отчаянием я вызываю пережитое. Но все замолкло и прячется.

Прямо через окно идет зеленоватый свет, идет и проникает в душу.

Не смерть, нет смерти в этой ночи, есть своя странная жизнь.

Уж не такая ли вечная жизнь?

Медленно впитывается зеленоватый свет, медленно обволакивает душу.

4

Здравствуй, Сорока!

Откуда прилетела!

Побелел твой передник... или примерз к тебе снег.

Что, Сорока, мерзнешь?

Под моим окном не тепло. Сорока, ты дрожишь? Спрячься под крышу, там дождешься тепла. Я ничего не могу тебе дать.

Ты давно тут живешь, после долгой зимы оживаешь и летишь, чуть пригреет весеннее солнце.

Сорока, скажи мне, Сорока, как ты выносишь морозы? Научи меня, как учишь детей своих... Сорока! я замерзаю.

5

В бледном тающем свете темная тень на крыльце.

В белом венчике ме́сяц плывет.

Частые звезды.

А вдоль леса сонная туча, как тяжелая самка, весенняя вестница.

Скрипят старые сосны.

И вдруг переклик петушиный...

И кажется, где-то уж солнце играет и прыгает сердце — глупый малый зверок.

6

Лебеди, белые лебеди!

Снова к нам, не забыли.

От нашего крика, от шелеста крыльев земля сбрасывает белую шубу.

Помните, вы улетали, и гнался за вами снежный буран.

Я провожал вас.

Лебеди, белые лебеди!

Дни проходили в молчании.

Хмурые тучи по сердцу ходили.

Лебеди, как высоко вы летите...

Если б и мне полететь!.

7
КЛАДБИЩЕ

Лучистое солнце неугомонно-порывисто дышит на пробуждающуюся землю.

Над головою, в густой теплой сини, вереницы птиц.

Под ногами ярко-зеленые нетронутые побеги первых травок.

А речное царство — голубое поле, изборожденное золотисто-отливными волнами, растет с часу на час и осаждает берег, берет острова, подходит к лесу и, врезаясь в глубь леса, плывет бурливо среди старых, поседевших елей по хрустящим мхам и медвежьему следу. К вечеру, на ало-пурпурной заре, река займет от края и до края всю полосу, зальется в пунцовый терем солнца, под его разноцветно-облачную кровлю.

Такая поднялась повсюду жизнь: и в темных покосившихся дряхлеющих избушках, и по дорогам — еще сырым и вязким, и по дворам, и в моем сердце...

Кто это музыку разлил под лазурным сводом, звучащую ширь глубокой грусти — кто это глядит влюбленно с каждой земной пяди?

Миновав серый частокол острога, поле ласковой озими, я спустился под гору и вышел к кладбищенской ограде.

Целый цветник крестов встретил меня, весело перемигиваясь.

И мшистые надгробные ящики, как старики, загораживаясь ладонями от солнца, защурились.

Поодаль, у свеже-желтой могилки, у одинокого тесового креста, копошился живой цветник детских глазенок, детских рубашечек, детских головок.

А на зеленой кровле белой церкви старая ворона, словно нянька, чистила лапкой свой затупелый клюв.

И высоко, выше церкви, выше колокольни шумели развесистые кедры.

Лес зеленых хвой разыгрывал на своих мягких травинках странные песни: и похоронные, и разгульные, и плакательные.

Я стою под пышными кедрами, прислушиваюсь к их переменчиво-шумящему голосу, залитому зардевшимся

лучом запыхавшегося солнца, в золоте капелек-струек которого рождались все новые и новые жизни.

Или это моя песня?

Падают кресты, последняя память мешается с песком и щебнем, а вековечно-зеленые кедры, не переставая, шумят и шумят, как эти дети, — кедры зеленые...

Отрывисто ударили на колокольне в малый колокол.

И мимо меня, спеша, прошла краснощекая женщина в ярко-кумачном платье, простоволосая, а на руках у нее покачивался белый тесовый гробик ребеночка с восковым личиком и полураскрытыми желающими губками.

— Христос воскрес! Христос воскрес! — выкрикивали тоненькими голосками ребятишки, вприпрыжку догоняя гробик.

На колокольне звонили отрывисто в малый колокол.

Шумели кедры.

И пробивался издалека гул внепрепонного половодья.

8

РАДУГА

В загустевшем матово-золотом воздухе с рассвета реяла сиреневая капелька-птичка, беззаботно переговаривая свою незатейливую песенку.

Толклись без устали неугомонные толкачики.

Беловатые балованные тучки, бродившие дремно по востоку, протянули полднем пуховые руки, схватились и, ластясь друг к дружке, поплыли.

И зарычали напряженно-немые сумрачные тучи протяжно и глухо.

И упали душистые дождевые капли. Западали быстро и шумно.

Это Весна шла, трубила в свой олений рог, — Весна шла в след разыгравшемуся нежному стаду барашков, Весна с лицом Белой ночи, в венке белых цветов лесных ягод, увитая с головы до ног пенящимся кружевом бледных мхов.

— Дождик, дождик, перестань! Мы поедем в Аристань: Богу молиться, кресту поклониться! — выкрикивали ребятишки, притопывая босыми ножками и вытягивая заго-

релые ручонки под улыбающиеся дождевые капли — весенние небесные цветы.

Я поднялся на высокий берег с крутым спуском к затихающей реке.

Греет омытое яркое солнце.

Сквозь тающую тучу врезается в реку широкая радуга — Бык-Корова, выгнанный на водопой после долгой зимы, пестрый Бык-Корова с небесных полей.

Внизу, подо мною, у дверей покачнувшейся старой-престарой избушки, промокшей под половодьем, стоит, прислонившись к косяку, белый Водяной, весь заросший луневою бородою, стоит Водяной в длинной белой рубахе, подпоясанной серебряными кольцами, и не спускает глаз с юрко-шныряющей черной лодки, где уселись два Лесных человека с вывороченными пятками.

— Белый! — звонко закричал Лесной человек, и над его вздрагивающей бронзовой спиною взвилась серебристая рыбища.

— Червей подложи! — взвизгнул другой и закурлыкал. В даль затопленного острова улетает быстрая лодка, тесно переполненная женщинами в белых, раздувающихся платках, а взмахивающие весла блестят-играют, точь-в-точь забрызганные крылья чаек.

Что это?... И жалобный крик-оклик, и взрывчатый хохот, и приплясывающая, топочущая воркотня-песня?

Это — Лесные женщины, одинокие, безутешные чайки ищут-летают, это — дети бегут наперегонки по мягко-зеленой тропке в опаловых росинках, это — дети ползут и летят под откос к тихой голубой реке, это — бабочки, жуки, муравьи, гусеницы, в цветистом наряде, с шумом, жужжаньем, стрекотней, с птичьим лепетом.

Чья-то шапка бултыхнулась в воду.

— Га! ха-ха... ха-ха-ха-ха... — загоготала Кикимора.

И! Какой гам, сколько взъерошенных головок! Сколько плеску, хрустальных брызг, мгновенных слезинок...
А вот и мохнатый Лешак с еловым лицом.

— Здорово! — ухмыляясь, сжимает мне руку своею смолистой рукою, — и ты пришел, то-то, а зимой и ввек

не заглянешь, то-то! — и ковыляет Лешак вниз к реке к Водяному.

Река — небо безбрежно-чистое — и плывет и покоится.

Уйдут забытые тучки, не успевшие рассыпать по земле свои дождинки-лепестки, спадет дневная теплынь, и река загустится, и скользящие лодки — остроносые черные рыбки — станут оставлять синеватый след, как бы движением своим снимая густые румяные сливки.

А край неба и восток покроются ало-пурпурной шелковистою тканью, и будут наливаться, рдеть, пока не дыхнет белая без сумрака ночь, и не зарябится голубой островок зеркальной воды, и тогда запад сольется с востоком в дымящемся густом пурпуре, и по всему небу раскинутся малиново-золотистые лучи, и червонно-золотое солнце глянет на свет Божий.

Взад и вперед юрко шныряет черная узкая лодка. Лесные человеки наклонились на борт и тащат из воды огромную удочку с поленом вместо поплавка.

Высунула Бабушка из низкого оконца суковатое прокопченное лицо, скалит от солнца длинные зубы.

— Бегай ты, башмаков издерешь, на неделю не хватит! — ворчит старая на рыжеватую девчушку с речными глазенками.

А смешливая внучка заливается, и не унять ее.

Один за другим, один за другим бежит детвора и машет ручонками, и кричит, и дерется.

И среди пестрой болтающей мелкоты я стою и греюсь, дышу — не отдышусь...

И чувствую, вот взовьются и у меня крылья, и я полечу высоко, к радуге — к Быку-Корове небесных полей.

9

БЕЛАЯ ГОСТЬЯ

Она к ночи пришла, бледная и голодная, белая гостья. Пристально взглянула в красный закат.

И спутники ее — стальные вихри пустились с визгом по реке и по полям. Взрывали реку, ломали лес, топтали траву.

Я слышал, как Весна, изнемогая, постучала ко мне в окно.

И тишина настала.

Вдруг вой прорезал небо.

Всю ночь метель кричала, бросая белым снегом.

Наутро выглянуло солнце.

Зима плясала быстро-быстро. А вместе с нею плясали оснеженные ели. Измученные волны обдавали берег серою пеной. Цветы черемухи смешались с снегом. И, свистам вторя, ржали кони на берегу, застигнутые снегом.

Где были птицы?

Петухи молчали.

Падает снег, падает тихо.

Не видно берегов, не видно озими. Смородина завяла.

Река стальная спит, ей льдины грезятся.

В тревоге птицы — нахохлились бедняжки.

И комары замерзли.

Падает снег, падает тихо.

«Птицы перелетные, цветы, доверчиво распахнувшие алые и белые грудки, бабочки нарядные, в недотрогах-платьицах, жуки, гусеницы, червяки в атласах, шелках, игрушечных панцирях, — зачем вы ожили, зачем прилетели к нам?»

Падает снег, падает тихо.

А где вы, дети?

И только кукушка, тоскуя со мною, кукует.

10

БЕЛАЯ НОЧЬ

Весь горизонт багровый, опу́шенный пурпурным покровом. Из-за реки — в ней нежный свет родится влюбленных зорь — кресты маячат зеленых елок.

Небо — жерло желтого, густого цвета.

Темь-скрытница летает где-то далеко за лесом, там тоскует.

Распаханы поля.

Взошла уж озимь. И словно в пряталки играют васильки.

Остров, затопленный широким половодьем, теперь нарядный, в цветистых мхах и иммортелях.

Тяжелый медный свет.

Застыло время.

И полночь с полднем шепчутся.

Весь горизонт багровый, пылают две зари, им страха нет.

На свет свечи летят, ширяются ночные мотыльки. Летят и тащат мне: золотисто-румяную тучку, голубую сеть вешнего воздуха, алмазный след росяных поцелуев, ворчливую радугу пены, лепет малютки, пропавшие думы замерзших...

«Скорее, живите! Вас зной иссушит, измочат дожди, снег поставит заставы!»

Рдеются, ширятся бесстрашные зори. Колеблется ненужная свеча. Летят ко мне на свет ночные мотыльки.

Запел петух.

Заря — огонь. Окно горит.

Белая ночь!

11

ИВАН-КУПАЛ

На разные лады поднялся хохот: тут и щекочут кого-то, и кто-то, запыхавшись, порывается говорить, и смехи-всхлипы, и серебряные капельки звенящих звуков, рвущихся из широко разинутых ротиков.

Впереди Степка, кругленький, в красной рубашечке.

Степка остановился и из его смеющихся губок сверкает единственный молочный зубок.

Степка кричит мне, — его пухлые ручонки крепко сжимают смятый, затасканный василек.

И затопотался — побежал.

А вприпрыжку за ним, тоненькая, черномазая Манька, в голубом платьице с пучком кашки, коротышка Настя, взлохмаченная, в красной кофточке, с золотыми одуванчиками, курносенькая Аленушка в сиреневой блузке, с блеклыми фиалками, визгунья Катька, загорелая до черноты, с земляникой, беленькая Таня с веткою дикой розы и Ванька и Колька...

Венки, — венки цветов!

А сзади бабушка Васильевна в табачном, исстиранном

платке, темная. Обыкновенно такая ворчунья, а нынче добрая. Беззубый рот к ушам разъехался, затихло ее вечное: «Тише, тише, скверный мальчишка, выдеру, смей ты у меня!» В руках у Васильевны веник наполовину из желтых цветков купальницы.

Точно огромный цветной веник, снуют дети, подвигаются по дороге к реке.

Но берег загораживает их, больше не видно. Только доносится до меня всплеск голосов.

В раскрытое окно влетают комары. Комары везде: под потолком, в углах, над головою. Комары поют однотонно тонко, бесконечную песню.

А небо и река — недвижные: отдыхают, должно быть. А солнце так высоко: не то за самым за седьмым небом, не то нырнуло от жары куда под вербы и сидит там, нежится в ласковой прохладе.

У крыльца, уткнувшись мордою в сено, спит — вздрагивает лошадь. Еще недавно дети гладили и подползали под нее и теребили хвост и холку.

Степка говорит: «Конь кусается!» А у коня и зубов-то нет...

В бледно-зеленом взбитом сене выглядывают примятые купальницы, точно желтые птички.

Дуновенье скошенного луга. Плеск освежающей бело-голубой волны.

Остроухая, шершавая собачонка Лайка проводила детей, зевнула и, свернувшись калачиком, задремала у бревен: день-то деньской набегаешься, да и под вечер тявкать опять же!

Ни души кругом, нынче все на речке. Нынче венки в воду закидывают, — Иванов день.

Вдруг бледное личико мелькнуло предо мною и пропало.

— Паранька, ты то? — окликнул я девочку.

И большие светлые глаза глянули на меня, грустящие не по-детски мучительно.

Прижавшись подбородком к подоконнику, застыла девочка в своей истертой плисовой кофточке и в валенках.

На ковылевой головке белый платок, а личико болезненно-белое.

— Что ж ты с детьми не пошла? И цветочка у тебя нет...

Паранька вскарабкалась на окно и, усевшись, заболтала ногой. И глядела куда-то, словно загадывала, глядела туда, за реку и лес.

А раньше ведь была такая веселая девочка.

— Я тебя, Паранька, с собою возьму, дай срок, кончу я срок, возьму тебя и унесу, ни одного человека там далеко-далеко, и никто не обидит там, найду я такое место на земле.

— Испугалась! — зашептала вдруг девочка сухо одними губами и вся сжалась, а руки крепко впились в подоконник, словно надвигалась последняя минута, и уж тысяча рук со всех сторон колотили ее в спину, и в грудь, и тысяча голосов с гиканьем, хохотом травили ее, и не было на земле места, где бы схорониться можно.

Какая-то птичка, вспорхнувшая на бревна, крутя тревожно головкою, одиноко кликала.

— Испугалась! — шептала Паранька и вдруг, как кошка, спрыгнула с подоконника и пропала из глаз.

На пороге стоял гость.

Мутные его, страдальческие глаза словно искали.

Поздоровавшись, Иван Степанович запахнулся и сел, и, пошарив в карманах, вытащил осколок кости, потом запустил руку поглубже, вытащил пузырек, открыл пробку, высыпал на ладонь горстку серовато-блестящего песку.

— Вот, — сказал он глухо, — амальгамный, должно быть. Ночь напролет рылся, в самую глубь нырял, жила россыпей.

Он глядел пытливо, и в глазах его таяла страшная тоска, а перепуг ширил зрачки.

— Непромытое, видно, — не глядя, ответил я.

Горько и презрительно гость скривил губы:

— Амальгамное, говорю, жила россыпей самородных, вот что! — и, взяв лоскуток бумаги, высыпал немного песку, — может, пуд какой схоронен непромытого твоего.

И глядел уж гордо и снисходительно.

Потом он взял ржавую, позеленевшую кость.

— А это мамонта клык допотопный. Да ты след-то видишь, видишь, пласт отщепился?

И принялся мне подробно рассказывать о своих поисках, как он по ночам в реке сидит, как по берегу роется.

— Сживут они меня: вчера вот белым подходило и комаром поет, страшно.

Я молча рассматривал золотой песок и кость мамонта.

— Они все знают, — продолжал Иван Степанович, — знают они и чувствуют. И сила их в том, что чувствуют. А мы что? И знаем немного, а того меньше чувствуем. Но дай срок, нырну я в самую глубь, найду я такое место в реке.

В алую реку за золотой, резной берег село томно-следящее, густо-затканное красными камнями солнце.

Потянулись и столпились по его следу, будто раздумывая, раздумные черные облака и красные тучки.

Где-то за рекою у вспыхнувшего огонька затявкала собачонка глухо и бестолково.

И нахмуренный дремный лес навострил свой несмыкаемый ночной глаз.

Скорбная луна, покинутая своим светом, медленно всплывала в белой ночи на крест колокольни.

Мы с Иваном Степановичем повернули за холм и пошли вдоль берега.

По реке плыли венки и веники наполовину из желтых цветков купальницы, плыли они в Студеное море, вещесчастливые.

А навстречу нам топотались-бежали дети. Разгоряченные личики их смеялись, а впереди детей, прижимая руку к груди и наклонив голову к земле, бежала затравленная Паранька.

Дети кричали:

— Крыса седая! Крыса седая!

И острый камушек скользнул по моей груди.

Бабушка Васильевна едва плелась, но была добрая, пожалуй, еще добрее: веник ее не утонул.

Мы шли своею дорогой к реке.

От детей стоял столбик пыли. И луна была куда выше

креста, с каждой минутой лик ее таял и от медного света обнимающихся зорь печалился.

— Вот тут, — шепнул Иван Степанович, — он вытащил из-под полы венок и, показав на темную вздрагивающую воду омута, бросил: — на тебя, на твое счастье!

И венок завертелся, запрыгал, потом глубоко скрылся и снова выплыл. Выплыл мой венок и канул.

А из кустов глянули на меня большие, светлые глаза, грустящие не по-детски мучительно, затравленной Параньки.

И там, где толпились, будто раздумывая, черные облака и красные тучки, взрывом немой нестерпимой обиды полыхали сухие зарницы.

И была тишь кругом предгромная.

12

СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ

Цепкий плаун колючими хищными лапами ложится на темно-зеленую, пышную грудь лишаев.

Суровый вереск бесстрастный, как старик, стоит в изголовье.

Сохнет олений мох, грустно вздыхая, когда вся в изумрудах ползет зеленица.

В медных шлемах, алея, стройно идут тучи войска кукушкина льна.

А кругом пухом северных птиц бледно-зеленые мхи.

Из трясины змеей выползает линнея, обнимает лесных великанов, и, пробираясь по старым стволам, отравляет побеги.

Дорогим ковром, бледно-пурпурный, будто забрызганный кровью, по болотам раскинулся мертвый мох, желанья будя подойти и уснуть навсегда...

Запах прели и гнили, как паутина, покрывает черты ядовитые, полные смерти.

Прощайте, метели, и ты, лес, и вы, вихри! Не увижу вас, не услышу вашего голоса. Я в плену у вас прожил один.

Бледный иней парчею лежал на цветах, осень шла по

реке, пенила синюю воду, и бросала по желтым дорогам красные листья. Не успели хлеба убрать, мчалась зима вся в пушистых снежинках.

Река куталась в лед зимовать. И белая крышка покрыла мой дом. Ночь дразнили метели, ночью тишина пугала. Никого не дозваться в зимнюю пору!

В белые ночи падал снег тихо. Лето пришло. Уж гнезда пустеют. Морошка и поляника поспели.

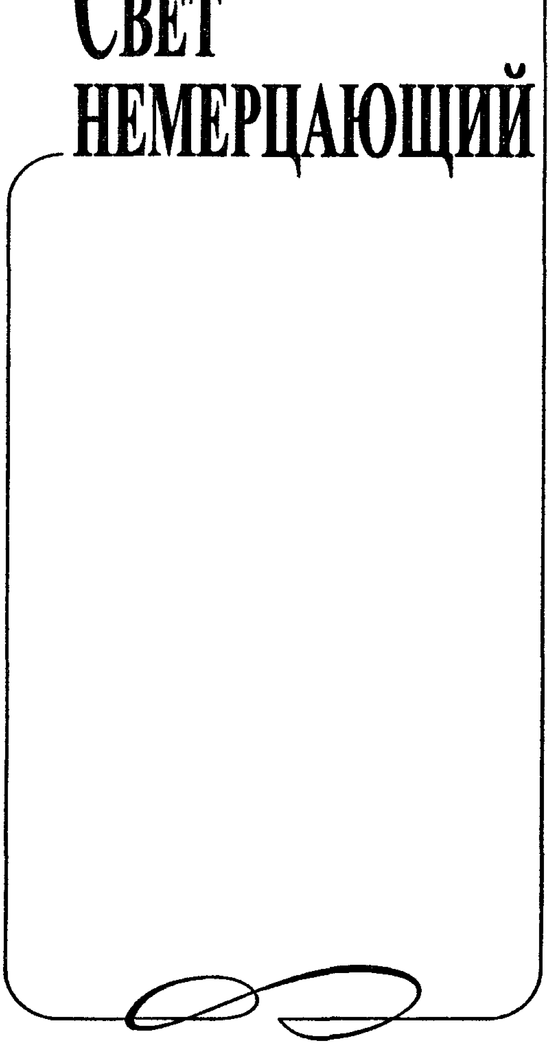
Скоро осень.

Прощайте, метели, и ты, лес, и вы, вихри!

Не увижу вас, не услышу вашего голоса. Я в плену у вас прожил один.

1896—1903 гг.

Свет немерцающий



ПТИЧКА

Я вам про птичку еще не рассказывал, какая это была птичка умная и чудесная... ласточка. Лапочки остались да перышко — на красной нитке приделал, на листке в особой книжке храню, там же и цветы у меня, такая книжка есть.

Расскажу все по порядку. Зиму живешь в Петербурге и ничего, а как весна покажется, так и начинается: куда бы проехать! И тут, как нарочно, все соберется, чтобы только никуда не пустить тебя, всякие мелочи загородят дороги все. И всегда так выйдет, смотришь, а там и опоздал, поздно уж, а туда не доберешься — дорого, хуже того, добраться-то доберешься, а назад не выберешься. Просидел я весь май и июнь в Петербурге, и даже слишком, и просто уж места себе не нахожу, и делать ничего не делается. С утра до позднего вечера граммофон орет, — двор у нас колодцем, гулко, — и такое выводит, тоска возьмет, и вот-вот сам собакой завоешь, ночью голуби, — на самом на верху живу, тут же и голуби, — да так заворкуют, проснешься, слушаешь, и кажется; так вот там у них, в зобу, что ли, где, и разорвет все. И вороны какие-то появились: сядет на подоконник, смотрит, и оставить на ночь за окном ничего нельзя, все стащат; я подкараулил, — на самой на заре, под утро таскают — умная птица, эти вороны, знает, когда можно. Старший дворник у нас, Григорий Кузьмич, душевный человек, с деньгами никогда не торопит, одно горе, музыкант большой, самому-то ему, известно, и невдомек, а мне очень чувствительно: в праздник, ну, в праздник всякому полагается, и в праздник и в простой, будний день, как отработается, по дому порядок проверит, и — за гармонью, а она у него басистая, ладов не пересчитаешь, да как начнет играть и уж без передышки зажаривает, — граммофон свое, а он свое. Вот дела какие! И вспомнил я, что мне один приятель зимой писал, как соблазнял он меня куда-то проехать на раздолье какое-то, а главное, когда угодно можно, и все, что угодно: и охотиться, и на лодке кататься, и верхом, и море совсем под боком — купанье хорошее, — вспомнил я, разыскал письмо, перечитал внимательно и решил ехать.

Местность, куда завлекал меня приятель мой, приморская с немецким названием, — посмотрел я на карте, правда, море близко, да не очень, ну, это все равно, до воды я не охотник, плавать умею и, если надо, нырнуть могу, с детства обучили, да на воде мне не по себе как-то: и почвы под ногами никакой, и все колеблется, совсем неудобно. И верхом я не мастер, сроду на коня не садился, и когда вижу, как городовые на конях мучатся, не завидую, разве что на картинках... скажу по правде, я когда-то очень мечтал таким на портрете себя увидеть, чтобы на коне и палец так, — показывает, а подо мною пушки и дым клубами. И охотник я неважный, разве в шутку сказать, охотник! — когда мчится мимо поезд, люблю постоять, дух захватывает, кричать хочется, а с американских гор кататься, да чтобы палили над ухом, нет, спасибо: и оглушает, и неприятно. Хорошо меня мой приятель знает: столько удовольствий ожидало меня после воркотни голубиной, ворон, граммофона и доброго нашего Григория Кузьмича.

Сообразил я все с делами, помешкал еще с недельку, и с Богом. До Риги хорошо доехал, не заметил, а там пересел и по узкоколейной потащился, и дотащился, и уж на лошадке повезли меня неизвестно куда, сначала полем, потом в гору, да опять в гору... смотрю по сторонам, рот разинул: как хорош вечер в поле!

День ушел на осмотр усадьбы. Хозяин-мельник, не бойкий в немецком, употреблял на подмогу руки, и они не только его речь дополняли, но скорее и были са́мой, са́мой красноречивой речью. И я тоже больше руками действовал.

У мельника всего оказалось вдоволь. Мельница, хоть и не работала, — стояла засуха, но, должно быть, хорошо работала, когда вода прибывала, машин стояло всяких немало, а пол и стены были мучные, белые, и когда мы вошли в соседнее помещение, где мельник сукно себе выкатывал, я совсем посерел.

Осмотрев мельницу и всякие к ней пристройки, мы повернули берегом к хлеву, и первые выскочили на нас свиньи, такие огромные, даже страшно, — мне свиньи всегда как-то страшно, Бог ее знает, что́ у ней там! Хорошие коровы водились у мельника — штук сорок

держал мельник коров, и все они у мельницы паслись на лугу, по дороге к кладбищу, тут же и овцы, — я насчитал дюжину и белых, и черных. Из хлева заглянули в конюшню, постояли в сарае у машин — около молотилок, косилок, сеялок, осмотрели зубья всякие, пилы и ножи, все было новенькое такое и блестело, как начищенное, зашли и в ригу, и тоже смотрели и все трогали, выпили ячменного сусла, прохладились и, не заходя в дом, садом прошли в клеть. В клети хранилось масло — такие окоренки! — окорока висели, на полке — хлеб, и тут же три новеньких тесовых гроба: яблоками от гробов пахло — яблоки в гробы от ребятишек складывали, чтобы повадки таскать не было, и около гробов, к стене приставленные, стояли три белых креста.

Мельник смотрел на меня так победительно, что мне со своим ничевом просто пригнуться захотелось: все это его, все это он сам завел, сам сделал, этими самыми руками, он осушил болото, прокопал пруд, пустил мельницу, обзавелся скотом... На левой руке не хватало большого пальца: в год женитьбы, лет десять назад, машиной отрезало.

— Жена целый день плакала! — мельник растопырил беспалую руку и держал ее перед собой.

Когда же из клети перешли в сад и взялись за пчел — пчелиные домики прямо под окнами чистых моих комнат, — понятных слов не хватило, ни слов, ни рук, и мельник заговорил по-своему. И в доме после пчел мельник говорил по-своему, и, должно быть, очень интересное — историю, должно быть, своего кирпичного дома, но я ничего не понял.

Дом разделялся на две половины. Две комнаты в сад к пчелам и пруду, за которым шла лугом дорога на кладбище — мои комнаты, и два хода: чистый в прихожую, черный — в кухню. Это одна половина, другая хозяйская. Прихожая с кухней отделяли чистые комнаты от хозяйских, а там было три комнаты: одна совсем маленькая, в ней ютились теперь хозяева с ребятишками, и две просторных, опять с какими-то машинами.

До последнего уголышка все показал мне мельник и оставил меня в моих комнатах. И до вечера я один сидел в своих чистых комнатах, вещи разбирал, к столу прилаживался.

Вечером опять появился мельник и не один, а со своей мельничихой, а за ними ребятишки. Мельник с вином, мельничиха с подносом — на подносе лежали лепешки и хлебцы всякие. Покивали мы друг другу, покланялись, из одной выпили: мельник пригубит и мне дает, отопью глоток, неловко, и ему назад; была одна рюмка, больше не полагается.

Мельничиха лепешками потчевала, — сладкие лепешки, дети на них так и засматривали. Трое их было у мельника: старший Андру, так его кликали, поменьше Мильда, так ее кликали, и совсем маленький, все за мать цеплялся просто Иван.

— Старший будет хозяином, младший пастором, — показывал мельник, — а эта — Мильда.

И какая чудесная, умная, смотрела эта Мильда, такая крепкая девочка с овсяными косками.

Сели, посидели, помолчали и опять стали друг другу кланяться: хозяевам на покой пора, доброй ночи желали мне, и мне с дороги отдохнуть не мешает, пожелал и я им доброго сна. Всякий на своем и по-своему говорил.

Мельник с вином, за мельником мельничиха с подносом, а за ними ребятишки — гуськом. И я опять остался один.

Мельник вернулся.

— Рано утром, — сказал он и так ясно и понятно, будто по-другому сказать и не мог никак, — рано утром прилетит птичка, постучит носиком в окно, вставать!

«Рано утром прилетит птичка, постучит носиком в окно, вставать!» — и мне чудно стало: ишь, какой мельник!

А ведь и правда, я проснулся от стука: маленькая птичка стучала ко мне в окно из сада, вот чудеса!

И уж я знал, когда подыматься, и нарочно другой раз до солнца глаза открою, чтобы мне мою птичку посмотреть, как будет будить меня: чуть станет солнце над лесом, и она уже летит... такая умная птичка! — подлетит, метнется, словно заглянет, сплю иль не сплю, и носиком в стекло — какая умная птичка! — постучит в стекло, посидит, поотдохнет и опять... какая умная птичка!

В воскресенье заложил мельник линейку, древнее что-то вроде нашей линейки, и повез меня осматривать землю — свои владения.

— Ваша, — говорил мельник, кнутом по сторонам показывая на лес и землю, — ваша, и это все ваша.

И хоть все было наше, но его оказалось не очень много: и земли немного, а лесу и того меньше, много было у барона, и когда проезжали мимо замка, мельник смотрел совсем сурово и совсем недобро.

— Барон ничего не позволяет, ни корчмы держать, ни заводить фабрику, а сам все делает плохо! — мельник говорил обрывисто, кнутом никуда не показывал.

Правда это или неправда, я не знаю, только одно я заметил, что мельник свое поле косил косилкой, а у барона косили косами. Возможно, что мельник был прав, и суровость его по правде.

От замка поехали так, по дороге землю смотреть.

Попадались сожженные мызы, груды камней лежали на месте домов: это было на другой год после нашего свободного года, и беды было везде немало.

— Человека стрелили, — подымал мельник кнут, — двадцать стрелили.

Дни проходили так: я вставал по птичьему стуку, пил чай, потом начинались передвижения по комнате, — то подсяду к окну, в поле смотрю, то к другому, в сад посмотрю, пчелу послушаю — все гудит, работает! — потом лягу на постель и лежу, из окна мне луг виден, — «во лузьях, во зеленых лузьях!» А после обеда, как станет спадать жара, отправлялся я через кладбище лесом к речке.

И всякий раз неизменно появлялась Мильда. Как моя птичка, чуть подымется солнце, и уж летит, так и Мильда, вечереет, иду по дороге, и она тут как тут. Она, как зверок, то забежит и начнет кувыркаться, то далеко уйдет за деревья и кричит, — и звонко надносится по лесу голос, как самая первая и голосистая птичка.

Мильда собирала землянику и рвала цветы. Землянику она давала мне в горстке, а цветы на дорогу положит или пустит на воду в речку и сейчас же спрячется, и я вижу, как зорко следит. И когда я догадывался и вытаскивал из воды цветы или подымал цветы с дороги, Мильда кричала от удовольствия, и звонко, еще звонче надносился ее голос по лесу.

Мильда ничего не понимала, что я говорил ей, и ни одного слова я не слыхал от нее. Мильда только смотрела, смеялась и кричала. И скоро я понял и ее глаз, и ее смех,

и ее крики, и я покорно нагибался с берега за цветами и к земле на дороге за цветами.

Вечером, когда зажигали огни, заходил ко мне в комнату мельник, садился к окну у двери, брал папироску, закуривал и молча курил. Я пил молоко и ходил перед мельником от окна к двери. Тут же неизменно была и Мильда, она тихонько забиралась в угол и из угла высматривала зверком, — следила.

А мельник все сидел, курил и о чем-то думал.

— Дождю довольно! — говорил мельник, и начинались поклоны: на покой пора.

Я выходил в сад. В саду, в домиках спали пчелы, на клети спал аист, и дом с мельником спал: снилась ему ясная погода и луга, — во лузьях, во зеленых лузьях расхаживал мельник.

Так я и жил, я привык к мельнику, привык к пчелам, привык к Мильде, привык к своей птичке: птичка меня разбудит, мельник меня накормит, Мильда дорогу покажет.

На Ильин день, когда я поднялся, уж на кладбище звонили к обедне. Птичка меня не разбудила!

«Как же так, птичка... на такой день! пенял я птичке и на себя пенял: проспал я птичку, не слыхал птичку, а она, поди, носиком как колотилась, беспокоилась, что не встаю, и колотилось ее маленькое сердце, с горошину такое, не больше, и как, поди, тревожно в окно засматривала: «Вставай ты, вставай!» — будила меня моя маленькая, умная птичка».

Подхожу к окну, так без мыслей всяких, смотрю, а на подоконнике — моя птичка, и уж нет моей птички, — одни ее лапки лежат и перышко.

Вот эти самые лапки и перышко!

День был пасмурный, печальный, а вечер пришел, еще тише. Мильда не кричала, не смеялась. Мильда была, как день, печальна: забежит далеко по дороге, упадет в траву и лежит ничком, будто обмирает, — больше не было птички!

И три дня мы так жили, вставал я без времени и спал плохо, долго не спится, а потом — как убитый. Уж подумывал, не попросить ли будильник. И вдруг, под утро, стучит. Открываю глаза — птичка! Бросился к ок-

ну — Мильда! — Мильда, как птичка, быстро пряталась за кусты.

«Милая моя птичка, умная и догадливая, — с этих пор, как птичка, час в час будила меня Мильда, — и я кланяюсь тебе и земле твоей и народу твоему!»

1913 г.

ЯБЛОНЬКА

Многое можно понять, чего сам никогда, даже и во сне, пожалуй, не сделал бы, но одного я себе не мог представить и не нашел уклонов в самой тьме сердца, чтобы понять, как это так маленьких детей истязают, т. е. не один раз шлепок там дадут ребенку, а изо дня в день больно изводят, и пусть от самого жгучего и нестерпимого, пусть остервеневшего сердца.

Я немало встречал детей и русских и нерусских — нет, этого я никогда не мог, я никак не могу принять! — и знал я людей, у них вся душа была истерзана и сердце надорвано, и свет уж им не мил был, просто им жить было нечем, и одни только дети, — да посмотрите, какое нежное светлое тельце и как они смотрят! — только дети и возвращали их к жизни, хоть на час, хоть на минуту.

Нюшка отца своего, настоящего, никогда не видала. Ей было три года, когда мать вышла замуж. И первый год Нюшке хорошо было в доме и она думала, что Александр и есть ее настоящий отец, но когда родилась у нее сестренка, Нюшка поняла и так, и из слов поняла, что ошиблась.

Жили они за Обуховым мостом, у Пахомовны-старухи комнату снимали. А как ребеночек родился, съехали на другой двор. Пахомовна Нюшку баловала: хорошая такая девчонка росла, внимательная, и хоть куда — яблонька молоденькая!

Начал Александр бить Нюшку, и за дело и без дела, и в праздник и в будни, одинаково. И уж Нюшка теряться стала: и так сделает — побьет, и этак сделает — опять дёрка. И мать стала бить.

Вернется Александр с завода, попадет ему на глаза

Нюшка, а ведь как не попасться, ты куда скроешься? — увидит, да так саданет кулаком под подбородок, инда кровь пойдет: известно, мужская да чужая рука тяжелая.

И не то, что Нюшка не родная ему, а то, что в гульбе родилась — мать там с каким-то путалась! — и ничего уж он знать не хочет, противна ему девчонка, и как увидит и как вспомнит — мать-то там до него с каким-то путалась! — как вспомнит, да на девчонку, бить.

А мать кричит:

— Давай, я лучше бить буду!

Думала отвадить этак, уберечь ребенка: свое дитё и побьет, да легонько. Ну, да как ни бей, ведь, сердце-то вот как ходит! — как ни бей, все больно будет. Вырвет девчонку от отца, да бить.

Так из рук в руки, от кулака под кулак, да вся избитая и ходит Нюшка, нянчит сестренку. Если бы с большим такое, тот нашел бы... а ведь она маленькая, затрясется вся...

— Давай, я лучше бить буду! — так и закричит мать.

Стояло в углу сломанное судно, на это судно усаживалась Нюшка: подберется вся, скорчится и сидит тихонько, будто ее и нет в доме.

— Проклятое, скотина! — вдруг вспоминал отец и смотрел, ой, смотрел, и не дай Бог на глаза попасться.

Случалось, что Александр выпивал, и тогда всем было плохо. Он накидывался сначала на Нюшку и лупил ее, чем придется, и ремнем, и веревкой, и так, пинками, — в кровь изобьет, да за мать.

Нет, он не мог простить матери, не мог забыть ей, что путалась, и эта девчонка... и ничего уж знать не хочет, все вспомнил! — и ненавистны ему и мать и дочь.

Когда жили у Пахомовны, тихо было и, даже выпивши, не задирал он мать и не поминал ей, а тут... и до матери добрался.

И как еще Бог спас, целы оставались.

А мать, избитая-то — куда ей девать обиду? — да на девчонку, и выместит: ведь, не будь ее, было бы все! — да на девчонку, да с размаха, как хватит.

А девчонка, Нюшка... отец и на нее и на мать, мать на нее... а ей-то? Если бы с большим такое, тот нашел бы... а ведь она маленькая, затрясется вся...

— У! убила-б тебя! — так и закричит мать.

С год Пахомовна ничего не слышала о своей яблоньке, и жива ли она, ничего не знала: забот у Пахомовны есть о чем, да и со стариком со своим мается — чего-чего, а горя довольно у всякого! — очень пьющий старик, запойный, и как найдет на него, так все и тащит, а не дай, кулаки сучит.

На Пасху, на неделе собралась Пахомовна в гости по знакомым наведаться, — слава Богу, со стариком у ней потише стало. Пришла Пахомовна к Машковым, глядит на свою Нюшку, а ее и узнать нельзя: и что такое сталось с девчонкой, не может в толк взять старуха — почернела вся, как чурка, и ободранная и исцарапанная.

— Давно ль вы ее приобщали? — спохватилась старуха. Да, так и есть: с тех самых пор, как от Пахомовны съехали, ни разу и в церковь не сводили девчонку, с год уж.

Время было до обеда, поздние обедни еще не кончились. Стала Пахомовна просить мать отпустить с ней в церковь девчонку. Мать сначала-то недовольна, — кто без Нюшки за ребенком посмотрит? — а потом согласилась.

И пошла Пахомовна в церковь, повела с собой Нюшку. И опять дорогой, как взглянет, и глазам не верит: и что такое сталось с девчонкой? Но сколько ни начинала заговаривать, молчит Нюшка, только смотрит, и так как-то смотрит, словно бы Пахомовна бить ее сейчас примется. Так ничего и не узнала старуха, привела Нюшку в церковь, приобщила, и опять домой.

«Вошли мы в квартиру, — рассказывала после Пахомовна, — и вижу я, девчонка так в угол и бросилась к судну, уселась смирнехонько, голову наклонила и сидит. Смотрю я и ничего понять не могу. Что же это, думаю, с девчонкой такое сделалось, как облезьянка ученая! А мать и говорит: «Это ее постоянное место, при отце она не смеет больше нигде находится!» Жалко мне стало девчонку, постояла я, посмотрела, простилась и пошла. Иду себе, и раздумалась: зачем же я Нюшку-то с собой не взяла, погостила б у меня! приобщила девчонку, а ей как в темнице! Иду, раздумываю, а ноги так и подкашиваются, и чем ближе к дому, тем труднее мне, невмоготу идти, — и повернула назад. Вхожу я в квартиру, а уж

девчонка вся-то избита: вся рука в крови и лицо расцарапано. Как увидела я, так у самой тут и заныло: «Не отпустите ли, говорю, ее погостить денька на два, а то очень мне одной скучно!» — матери говорю. А мать: «Ей сестру качать надо! — и не смотрит, а потом обернулась, — ну, да пускай идет!» Я к отцу: «А вы, папаша, отпускаете?» «А чтоб она сгинула, подохла скорей!» — и рукой махнул. А девчонка трясется вся, да глядит так, а сказать-то и не смеет, что, мол, «возьми меня, Пахомовна!»

И взяла Пахомовна девчонку, яблоньку свою, умыла и пригладила ее, свою яблоньку, — ведь и узнать было нельзя! — и так запугалась девчонка, всего боится, а тут и в себя пришла, успокоилась.

Три недели прожила Нюшка у Пахомовны, а дальше и не знает старуха, куда ее девать: держать у себя больше не может, старик опять за свое взялся, долго ли до греха! а отдать младенца на поругание духу не хватает.

Случай выручил Пахомовну. Нашлись добрые люди, взяли у нее ее Нюшку, — в хорошие руки попала девчонка. Приглянулась она им, а своих нет, не благословил Бог, да и как не приглянуться: оправилась у Пахомовны девчонка и опять хоть куда, как яблонька молоденькая. И повезли Нюшку в деревню жить.

Пропала бы девчонка, совсем заколотили бы ее, издрожалось бы все ее маленькое тельце, погасили бы дух в нем, горькое сердечко ее задохнулось бы от такой ранней, такой нашей горечи...

В деревне в усадьбе жила Нюшка, — как свою, полюбили ее, и она прижилась.

А Машковы ничего, Машковы живут нынче тихо и ладно, ну, когда выпивши разве, да и то, куда против прежнего. Растет у них дочка, Катюшка, отец-то очень девчонку любит! Машковы живут, слава Богу, не жалуются, а про Нюшку и словом не обмолвятся, ровно и нет ее и не было: или так, для него она проклятое, и вот сбыта с рук, не мозолит глаза, ну, и успокоился, а для матери, забыть-то не забыла она, а будто и схоронила свой грех, ведь заел он ее упреками... или не так?

Встречаю я как-то Пахомовну, на паровой конке от Скорбящей ехала: старик ли ее опять смутился, а может, и совсем поспокойнее стало.

— Ну, как, — говорю, — Пахомовна, что слышно о яблоньке? А Пахомовна пошарила в кармане, вытащила платок, узелок развязала и кусочек бумажки мне, свернутый лист почтовой, письмо подает прочитать, и вижу, сама так и засветилась, — от Нюшки письмо.

«Приезжай к нам, Пахомовна, у меня две яблоньки и земляники грядка. Когда приедете, я вас угощу».

1913 г.

АЛЕНУШКА

Родятся на свет такие дети, из тысячи заметишь: из глаз их, в их улыбке глядит сам свет Божий.

С ребятами трудно, надо все умеючи, но с такими... эти никогда не в тягость. Ну, закапризничает Аленушка на минутку, кажется, станет самым обыкновенным ребенком, каких не мало, за которым и смотреть надо и терпеливо переносить дела всякие зверька малого, но только на одну минуту, и уж снова смотрит, и опять эта улыбка — сам свет Божий играет на ней.

У Аленушки две коски, две белые коски с красненькой ленточкой, она маленькая с розовым носиком, шесть лет ей, шесть вёсен. Не знает она ни читать, ни писать, знает она только песни петь.

Однажды осенью в слякотный туманный петербургский день ко мне, в мою комнату вошла Аленушка.

— Здравствуй! Здравствуй, Аленушка!

— Здравствуй! — и Аленушка повела как-то носиком, почуяла! — да прямо к игрушкам.

Вся стена моя в игрушках. Правда, их не так много, много о них разговоров разных, много живет в них чувств и моих и тех, кто меня любит, вот и кажется много, и не настоящие они, игрушки, мало настоящих, покупных, они сами ко мне приходят, — я нахожу их или мне их находят, а то тетя Аня делает — тетя не моя, Димы, Олега, Разбойничка, Козы Козловны тетя, им она и делает, а мне заодно, очень страшные игрушки.

— Я это знаю чтó, — Аленушка показала на подкову: подкова на стене под игрушками, я повесил ее для счастья, и вот она первая, счастливая, бросилась в глаза Аленушке.

— Ну, скажи, Аленушка.

— Копыто! — Аленушка смотрела уверенно: конечно, копыто... но, заметив, должно быть, мою улыбку, почувствовала, что не так сказала, и поправилась, — копыто у коней на подковах! — сказала Аленушка и смеется.

Я снял со стены обезьянку, но этого мало, все снимай, все хочет Аленушка поглядеть поближе, а главное, потрогать. Я подал ей лягушку, слона, медведя, белку, куринаса — остроносого зверя серого с короткими лапками, и лютого зверя, лисицу, единоуха-зайца, доромидошку-трехпалого, черного длинного с черным долгим хвостом, скакуна, стракуна, змею-скоропею да белого зайца.

Все, всех забрала Аленушка, на диван разложила, — игрушки к ней льнули, как звери к Адаму, когда давал Адам имена зверям.

Аленушка давала всему свои имена, и все оживало. Голубая подушка сделалась крышей, вишневый платок мой — ночью.

И полегли звери спать, — заснули игрушки. К ним под платок просунула свою мордочку и Аленушка, тоже спать. Шла долгая темная ночь и, конечно, прошла.

Первая — Аленушка, первая поднялась Аленушка, подвинула стул к дивану, на стул поставила корзинку из-под бумаг. Тут проснулись и наши звери.

Корзинка сделалась клеткой, а под стулом стал дом. И пошли звери друг к дружке в гости ходить да разговаривать.

Белка — в клетке, смотрит белка на улицу через окошко, веселит дом. А дом лягушки-квакушки. В доме слон, куринас да медведь. Стучит в гости заяц с лисою. Приняли гостей, пошел разговор. Подглядывала в домик змея-скоропея.

— Лягушка-квакушка... — вела Аленушка игрушечный свой разговор, — лягушка молоденькая, умеет прыгать по деревам всё-таки. Слон... старый слоненок катает людей, живет в лесу, детей нет. Медведь на поле живет, может лисицу катать, жена — медведиха. Обезьянка умеет на деревах лазить, умеет чихать. Куринас-зверь никого не катает, не лазает, просто он ходит по лесам, грибы ест. Лютый зверь — горничная у лисы, служила прежде у

зайцев. Вермидошка — великан-зверь, мама зверей, у него зубки есть, руки есть, как у обезьянки. Белка-кухарка, варит орешки, пушистенькая. Скакун-прыгун по кустам в жаркой стране. Стракун-кузнечик, чик-чик...

Находились друг к другу звери, надоело по гостям ходить, настал у зверей вечер, задремали звери, заскучала Аленушка.

— Аленушка, а песенку? — трогаю, глажу ей коски.

И опять так весело смотрит, и опять засмеялась.

Ветер по морю гуляет
И корабель подгоняет...

Поет Аленушка свою песенку.

— Аленушка, когда ты смотришь, весь мир через тебя смотрит с пригорками, с елочками, с березками, а когда улыбаешься, сам праздник, ясный день горит в твоей улыбке, васильки там, кашка, колокольчики там, и кукует кукушка!

Мы сидим на диване, так — я, так — Аленушка, рядом. Аленушка рассказывает мне о какой-то Надежде Сергеевне, которую она знает, о каком-то Варельяне Сервестовиче, над которым долго бьется, выговаривая мудреное имя, и о каких-то детях, о Тане, Юре, Оле, Наде, Кильке, и о какой-то Лидии Васильевне, которая знает много сказок, а сама она, Аленушка, знает только одну.

— Какую?

— О Дедке Морозе, — говорит Аленушка, — «Тепло ли тебе, девица, тепло ли, красная?» «Тепло, дедушка!» — Аленушка смотрит, и видит, и светит.

— Аленушка, я очень люблю игрушки, я разговариваю с ними, как сейчас с тобою, и я их тебе все отдам, если хочешь. И самые любимые мои: лебедя, коня, петушка, красного слоника, мышку, все тебе дам, хочешь? Только одну, оставь мне одну, заветную, эту — оленя-золотые рога. Я, Аленушка, задумал большую думу и мне без оленя никак нельзя, он ночью рогами золотыми посветит дорогу, оставь мне оленя!

Ни оленя, ничего не взяла Аленушка, только посмотрела на игрушки.

Аленушке одна белка понравилась, белка-кухарка, и с белкой на минутку скрылась Аленушка. А когда вернулась, стала с белкой у окна и долго, молча, все ее тискала, потом разговаривала с ней, потом... хвостик у белки отпал.

Оторвала Аленушка хвост, любя, конечно.

Пришло время домой уходить, прощаться.

Стали мы прощаться. И уж как целовала Аленушка белку и хвост, а взять и ее не взяла, и хвост не взяла.

Пеструю ленточку из-под конфет подарил я Аленушке, поцеловал ее в лобик, поцеловал и коски ее, и ту и другую, с красненькой ленточкой.

1912 г.

МУРКА

У меня есть два маленьких приятеля: Иринушка и Кира, брат с сестрою.

Я застал их в страшном горе: собаку их Шумку съел волк. Из костромского их Теремка пришло это печальное известие.

— Шумку волки съели, — встретили меня оба в один голос и так же одинаково добавили: — один Шумкин хвост остался.

О хвосте, оставшемся после съеденной Шумки, конечно, из Теремка ничего не сообщалось, они это сами себе сочинили в утешение.

— Шумку волки съели! — повторяли они в один голос на все лады, и другого разговора не выходило, все только о Шумке.

Волк съел Шумку с месяц, и недели две назад, как пришло из Теремка известие, и за эти две недели дети не могли успокоиться, и все мысли их были заняты съеденной Шумкой, собакой простой, дворняжкой, привыкшей к своей конурке, да к костям, какие попадали ей из кухни на обед и ужин.

Детям Шумка представлялась чем-то особенным и ничуть не простым, во всяком случае была она вроде человека, как папа и мама, только что не говорила, говорить по-нашему не умела, а зато на папе и маме не покататься так было, как на Шумке.

А волк — волки — волк, взял да и съел Шумку, один хвост оставил.

«Ах, волк ты серый волчище, Ивана-царевича из беды выручал и от смерти спас, а тут такое устроил! Да если б хоть раз в жизни своей волчиной увидел ты Иринушку мою, носик ее (Иринушка — курнопятка у меня), и как она смотрит, да никогда бы ты и не захотел съесть ее Шумку. «Я твою Шумку трогать не буду, буду ходить по лесу, будет Шумка бояться меня, но уж тут я ни при чем, я волк!» — сказал бы ты, волк, недогадливый. Ну, что бы тебе хоть раз, раз один, посмотреть на Иринушку».

— Ну, вот что, — сказал я моим приятелям, — будет у вас вместо Шумки котенок, Муркой назовем, согласны?

— Согласны.

И я рассказал им о Мурке, какая она такая.

— Маленький, вот такой, котенок с длинною шесткой, а молочко так хлебает... усы напыжит и мордочкой покачивает, Мурка.

Я сказал им об этой Мурке потому, что как раз накануне был я у знакомого в гостях и тот предлагал мне котенка взять: два котенка у него, — кошка Мурка и кот Василий. Я тогда отказался, но теперь, желая чем-нибудь загладить волкову промашку и утешить Иринушку, решил взять котенка Мурку: пускай она место Шумки в Теремке живет, в Теремке с детьми ей хорошо будет.

И! как обрадовались, забыли и Шумку, хвост Шумкин, лютого серого волка — волков, и уж весь вечер только и проговорили, что о пушистом котенке, о моей Мурке.

— Завтра часа в три принесут вам Мурку! — простился я с приятелями моими.

И утешенные, с Муркою в думках, пошли они к себе в свою детскую: завтра будет у них Мурка.

Я известил знакомого, дал ему адрес и попросил завтра же к трем часам послать детям ту самую Мурку, от которой я отказался. И знакомый мой ответил мне, что все исполнит непременно: труда ему особенного не будет — от Покрова до Мясной улицы три шага, близко, и котенка не простудишь.

Я так был уверен, что он все исполнит.

«Ну, — думаю, — теперь уж мучают мою Мурку, но и любят, как, конечно, ни я, ни тот мой знакомый не

полюбили бы, и говорят с ней, разговаривают, как только могут одни дети говорить с животными, как-то и запанибрата и с уважением.

Через месяц встречаю их мать.

— Ну, что, — спрашиваю, — как Мурка?

— Какая Мурка? — и рассказала она мне, каких я ей дел наделал, каких хлопот с этой Муркой, оказывается, никто и не думал присылать им котенка, — а как дети-то ждали! С утра с самого на всякий звонок бегали к двери, не несут ли котенка, не идет ли Мурка? И за стол не усадишь, не едят ничего, все ждут, до ночи ждали...

Я к знакомому:

— Что же это, — говорю, — там ждали, а вы...

Оправдывается: отдавать будто ему тогда жалко стало.

— Весной, — говорит, — будут котята, вот тогда одного непременно уж пошлю.

Ну, ладно, будет весною новая Мурка, утешился я, да и детей утешил.

— Весной, — говорю, — будет вам Мурка, а теперь холодно еще, простудить можете, она маленькая.

Пришла весна. Вспомнил я о приятелях моих, вспомнил обещание мое, вспомнил, как ждут они, и пошел к знакомому тому котенка просить.

И что же, опять постарался: кота Василия испортил, а Мурку мою держал взаперти, какие уж котяты!

— Да помилуйте, — говорю ему, — что же вы сделали, ведь там ждали, там ждут! Чтó я-то им скажу? Ведь, если бы вы знали, как ждут...

Смеется, смешно ему, чтó не понимаю.

— Кот лучше будет, понимаешь, сытый будет, добрый кот, Василий, да и мебель новенькая, испортил бы мебель...

— Мебель! Да Бог с ней, туда и дорога, и пускай был бы кот драный, пускай бегал бы из дому, пропадал бы и виновато возвращался бы домой исцарапанный, голодный, паршивый, мне котяток надо, котенка, Мурку. Что я скажу им, Иринушке и Кире, как я им на глаза покажусь теперь? «Где, спросят, котенок?» Чтó я им отвечу, где?

И я ушел с пустыми руками, шел я мимо моего дома, мимо дома Иринушки.

«Иринушка, я тебе котенка достану, ну, если не я, все

равно, он у тебя будет, маленький, Мурка. Ведь так ждать, как ты ждала, оба вы ждали, да вам за это все, что хотите, должно быть и будет. Котенок почует — он зверь, как мой волк, котенок почует, сам прибежит, без всякого кис-кис прибежит. Он у вас будет. Ведь вы его и не видя любите, и как любите! А любовь тянет, за версту услышишь, из века почуешь, — он будет у вас непременно маленький с хвостиком и с длинной-длинной шерсткой».

1912 г.

ЧУДО

За чудом далеко не надо ходить, а за границу ездить и подавно.

Оно тут всякую минуту перед глазами, только смотри и замечай. Жаль, замечают так мало. А не замечают не потому, что котятами, что ли, барахтались в жизни, нет, не так это просто, каждому из нас больше отпущено, чем сами мы о себе думаем. Не замечают совсем по другим причинам: или от своей ужасной занятости, или, странно сказать, стесняются...

Живя в городе, читаешь по утрам газету, конечно, а днем толчешься с людьми по занятию своему; газетные известия — на бумаге, знакомые твои — круг такой узенький. А как люди живут по настоящему-то, народ живет, все это, по крайней мере, в миллион раз больше твоего круга, откуда увидишь?

Знал я одного, никогда не выезжавшего из Петербурга, — за делами все, не было и минуты свободной, так для него народ волей-неволей в полотере сошелся: придут полотеры пол натирать, поговорит с ними, ну, будто и к народу, к земле прикоснулся. И сколько лет так через полотера на свет Божий смотрел, да так и помер. А то один с извозчиками век свой вечный проговорил. С самим-то с собой, да с событиями из газет всяких, да с людьми с теми, что всякий день видишь на занятии, так, должно быть, очертеет, тут и полотеру рад, тут и за извозчика ухватишься.

Скажу вам, тоже в трамвае можно видеть много, если смотреть, о своем не очень думать. Разговор, конечно,

заводить не придется, и слушать, пожалуй, мало чего — в трамвае разговаривать не принято, но больше и главное смотреть.

Сел я раз у Гостиного, днем это было, и как на подбор, полон трамвай и таких ужасных зверских, не зверских, а насекомых каких-то лиц.

Вы представьте себе таракана, только страшно увеличенного, или блоху, только страшно увеличенную, и отбросьте от всех от них усики всякие, крылышки, или у червяка ножки его червячьи и туловище, одну их голову возьмите и увеличьте ее до крайности, — вот какие собрались лица.

Когда идешь по Невскому и встречаются такие чудовища, впечатление как-то сглаживается, все это идет мимо, другим сменяется, ну, а тут на полчаса, на четверть часа ты окружен ими, и невольно смотришь и рассматриваешь.

Так и едешь.

Так мы ехали.

Около Николаевского вокзала у Знаменья вошел какой-то не то мастеровой, не то стрелок трамвайный, что по трамваям собирает, огромный, опухший весь, а с ним девочка и мальчик: девчонку он на руках внес, а мальчишку за руку тянул.

Место освободилось, и он примостился с детьми прямо против меня.

День был весенний, а все не так еще тепло, чтобы налегке так: ребятишки легко одеты были, только что калоши высокие с резинками у девочки, а у мальчика сапожонки одни, больше росту, задеревенелые.

Девочка примостилась на коленях, а мальчик как-то за спиной отца держался. Глаза у девочки совсем светлые, а у мальчика совсем черные, и оба смотрят невесело, молчат оба.

Повернули на Суворовский, едем. Смотрю я на детей, и вдруг отец их, мастеровой он или стрелок нищий, мне было совсем неважно, говорит что-то... какими словами он это сказал и сказал ли, не разобрать было, но я понял, что просит он, как поняли это все с насекомыми лицами, соседи мои. Поняли они, я это ясно почувствовал, но никто не шевельнулся, и так до следующей остановки

проехали, и показалось мне, что очень много и страшно долго.

И вот один кто-то из всех нас, таракан какой-то, сунул в руку этому мастеровому копейку, а за этим тараканом и все потянулись, весь трамвай, блохи, мухи, мокрицы.

Я посмотрел на чудовищ моих, а у всех глаза опущены, никто не смотрит, ни в окно, ни на соседей. Одни мои глаза смотрели, нет, еще смотрели те совсем светлые, — девочка смотрела.

И я не узнал никого.

Как странно! Или не тот вагон, — лиц не узнал я.

Это были совсем другие лица, и ничего-то не осталось, ни тараканьего, ни блошиного.

Девочка болтала калошами, а глаза так и светили, такие светлые, мальчонка что-то заговаривал, в окно посматривал, пальцем по стеклу водил.

Как странно! Я все смотрел, и до последней остановки до перевоза доехал, все смотрел, а все сидели, совсем не те, и у всех глаза были опущены.

Какая-то старушонка, барыня старая, паучихой показалась мне там, у Гостиного, перед тем как вылезать, сгорбленная такая, качаясь, чуть не падая, костлявой жалкой рукой потянулась со своим медяком и пошла.

И тут я увидел, как глаза ее запалые, заплаканные — совсем не паучиха! — до того горько смотрели и, может быть, в последний раз смотрели, а завтра там увидят, что-то да увидят, и, может быть, кому о нас всех расскажут, все наше, это расскажут.

1912 г.

БОЧОНОЧЕК

Если Оля усядется на диван, то ноги ее далеко не достают до края, так что и еще одному свободно поместиться можно, такая Оля еще маленькая.

Кукол Оля не любит, а подарят ей куклу, отдаст другим детям, сама не играет. Всю любовь ее забрали себе маленькие всякие вещицы, такие разные чашечки маленькие,

коробочки, бочоночки, и с ними Оля играет, как в куклы, прячет, перекладывает, хранит.

Эти драгоценности свои хранит Оля в большой черной шкатулке — любимая бабушка подарила, в шкатулку же складывает она и подарки — коробки с конфетами, — их у нее тихонько отбирают, и не догадывается Оля, не замечает! — и в эту же шкатулку на масленице Оля и блины положила, чтобы лежали ее блины, — все вместе.

А есть у Оли любимые вещицы, с ними она редко когда расстается, и все с собой таскает, любимые.

Была Оля в гостях у соседей, вернулась домой, хвать, а любимого бочоночка и нету — нету бочоночка, забыла! — и сейчас назад собралась к соседям: бочоночек там, она знает где, она живо пробежит за ним, и опять он с нею будет, маленький ее бочоночек.

И уж сбежала Оля с крыльца через двор бежать к соседям, но тут постигла ее неудача: на двор забежала собака, да не какая, а бешеная — бешенка-собака, и по двору поднялся такой шум и гам, так все переполошились — детей уводили в дом, и Олю Фатевна нянька потащила за собою назад в комнаты.

Как перед грозой, затворяли в доме окна, и все двери были заперты. Жутко на дворе выли собаки.

Жутко на дворе было, и посмотреть страшно. На вой сбегались с дворов собаки, а бешеная с ними управлялась, бешенка *катала* собак — она набрасывалась на собак, и рвала их зубами, опрокинет собаку наземь и опрокинутую рвет, только шерсть летит. Кубарем катались собаки, на голову визжали от боли, каким-то клокочущим и раздирающим визгом. Бешеный визг и вой стоял по двору.

Куда и думать было и не только выйти во двор, но и нос показать за дверь — по самому важному делу едва ли кто бы решился выйти из дому. Были отряжены люди за мужиками, и теперь дожидались этих мужиков: придут они с кольями, прикончат бешенку.

Но как же тут быть, как Оле так долго оставаться без ее любимого бочоночка, ждать она не хочет, ей сейчас его надо, — и ну Оля плакать, да как! Оля такая: если чего захочет, так ей и подавай сейчас — на пол ляжет, на полу по полу руками и ногами бьется, — изволь подать!

У Ильменевых сидели гости. И всякий тут, как мог, уговаривать стал Олю и утешать, о мужиках толковали ей, вот придут мужики с кольями и тогда хоть куда хочешь, а то все равно никто не пойдет за бочоночком, никто не согласится, все люди попрятались.

А Оля слышать ничего не хочет: бьется на полу, плачет, да как! — давай и давай ей бочоночек, достань его сейчас!

И вот отец Оли — любил он свою дочку! — взял палку, поднял с полу на руки к себе Олю — Оля крепко охватила его за шею, куда девались и слезы! — пошел с ней из комнат, отпер дверь, вышел на крыльцо и прямо во двор.

И тотчас бешенка бросила сóбак и кинулась на него. Дорога от крыльца до калитки показалась Оле такой долгой, как от крыльца до церкви, нет, еще длиннее, как от крыльца до мельницы. Очень, очень страшно было Оле.

Палкой отбивался отец, отшвыривал собаку, палкой совал собаке в горло — засовывал палку ей в самое горло, задыхалась собака, отставала и снова накидывалась и еще бешенее и злее еще.

Очень, очень страшно было Оле, и от страха все крепче и крепче хваталась Оля за шею отца, стискивала ручонками своими и уж так крепко, что отец и кричать не мог на собаку, Оля душила его, и не догадывалась, не замечала! — Оля думала, что п а п а ничего не боится и только ей, Оле, очень, очень страшно.

Долгая дорога от крыльца до калитки окончилась благополучно, отец вынес Олю за ворота, и скоро в руках у Оли был опять ее любимый бочоночек.

Тут и мужики подоспели, несли они колья на бешенку-собаку.

1913 г.

ЗВЕЗДЫ

Вот, думаешь, иногда, и особенно в минуты, когда проволочным загорождением огородишь себя от мира, или нет, когда в самую гущу жизни войдешь и весь обцарапаешься, — чтó если бы собрать все улыбки, от которых

тлеет на сердце, взгляды все, от которых и в самой густой темноте светлеет, соединить это все и показать миру, да ведь как бы тогда ожил мир, земля ожила бы. Ведь это было бы для мира, что теплый дождь земле, после которого дышать легко и сладко.

Я и у больших, и взрослых встречал, но у детей чаще какую-то такую радость, захватывающую всю твою душу, отчего сердце ходит, и так бы вот вышел куда на площадь и прокричал бы всем о ней, что видел ее, эту радость, и зову всех посмотреть, пока не поздно еще.

Моим соседом в трамвае оказался мальчик и с ним нянька, строгая такая, русская, со шрамом на лбу, и сердечная. Я видел, как она все посматривала на мальчика.

Зимой вечером это было в освещенном трамвае ехал я по Бассейной с Михайловской.

Мальчик повязан был башлыком, личико страшно бледное, а глаза минутами прямо как у большого, и большие такие, ну, звезды. Не переставая, рассказывал он няньке своей и все как-то руку подымал, варежку свою черную с одним большим пальчиком.

Из всех разговоров его я понял, что лежал он в больнице, и вот нянька везет его домой, выписала. Матери у него нет, с отцом он живет, и, должно быть, не очень-то живут, отец служит где-нибудь, чиновник. За мальчиком нянька ходит.

Лежал Женя в больнице, болен был и трудно. Шейка у него белым носовым платком повязана. Что такое могло быть с ним, скарлатина, дифтерит или еще какая болезнь опасная, только видно было, близко подходила к нему его ранняя смерть, — неизвестная, любит она таких, как Женя с большими глазами.

Женя рассказывал няньке, как в больнице к одной девочке мать приезжала и привезла много пирожных разных, трубочки, и он тоже ел их, и почему-то было очень смешно. Женя рассказывал, словно только-только что говорить научился, торопился, все пересказать хотел, что́ видел и слышал. И смеялся. Это когда он выздоравливать стал, произошло что-то смешное. Смеялся он и рассказывал.

А я думал, не разбирая слов, слыша лишь один его смех, как ему хорошо все, вся эта жизнь наша хороша,

и так ее много у него, что и девать-то некуда, всю раздарил бы и еще осталось бы. И вот она бьет из души у него, из самой глуби ее, и светится через большие глаза его — звезды, и светит мне прямо в душу.

И совсем ведь неважно, что отец его мелкий чиновник, получает гроши какие-то, и в доме нет матери, и квартиренка у них тесная, и холодно, совсем это неважно, у него сейчас мир весь со звездами — дом его.

И мне не хотелось выходить, так бы все и сидел и слушал и смотрел, и смотрел бы на него, на его открытые, словно впервые увидевшие жизнь, такие большие глаза-звезды, на улыбку его, на его белый платок.

Счастливый, как он был счастлив! И за эти счастливые минуты его — и мои счастливые я благословляю нашу тревожную, жуткую и неверную и, как смерть, неизвестную жизнь.

1912 г.

БЕЛЫЙ ЗАЯЦ

Ехал я как-то из Петербурга, скажу прямо, в ожесточении ехал я: много было такого, чего душа никак не могла принять. И я не только не ожидал встретить что-нибудь хорошее, напротив, сам как-то вызывал дурное, искал его.

В одном купе со мной оказался актер, и этот актер рассказами своими о всяких закулисах и жалобой на всякую подлость актерскую еще более растравил мое отравленное ожесточенное чувство.

Ожесточение я вижу с головой ежиной, отчаяние представляется мне совсем без головы, вместо головы торчит щетина. Бог миловал, до этого еще не дошло.

Проехали мы тягучую ночь, слез мой актер, и освободившееся место занял старичок генерал.

Ехали, помалкивали. Была у меня с собой книжка, думал, почитаю тихонько и успокоюсь. Да куда уж читать: все во мне ходуном ходило. И строчку до конца не доведешь, вспомнишь что-нибудь, вспомнишь день какой, и заслонит жизнь строчку, потеряешь нить, начинай сначала.

Долго я так бился и страницу не осилил, сложил книжку. Так сидеть — скучно, вышел я в коридор и вижу, из соседнего купе выглядывает мальчик. В другое время, уж наверное, заговорил бы с ним, а тут как-то не до кого было, — пускай выглядывает, все равно. Стоял я у окна, смотрел.

Весна была, чуть только деревья оделись в свою такую нежную весеннюю зелень, когда каждый листок отдельно видишь, такой нежный зеленый, и веришь и не веришь, словно не вправду все, и кажется только.

Долго я так смотрел и еще бы смотрел, если бы не остановка: поезд вдруг остановился. Я — на площадку.

— Что случилось? — спрашиваю пассажира: из другого вагона вышел пассажир, как и я, должно быть, посмотреть, что случилось.

— Лошадь под поезд попала, — сказал пассажир.

— Переехали лошадь, — сказал проводник, тоже вышедший на площадку, — хвост нашли, внутренности, кишки, а лошади самой нету, — и он нагнулся к буферам, посматривая на рельсы: — может, где и лежит.

И я нагнулся:

«Тронется, — думаю, — поезд, буду следить, на рельсах коня увижу!» — и вдруг почувствовал, что сзади кто-то протискивается. Оглянулся, а это тот самый мальчик, что из купе выглядывал: он слышал наш разговор и тоже тянулся коня на рельсах смотреть.

Я отвел мальчика в вагон, с этого и началось наше знакомство.

И уж не один я стоял у окна, а с Костей. И Костя как и я, смотрел на зеленые деревца, на зеленое поле. Костя все ждал, не выйдут ли медведи: медведи в лесу живут, за деревами.

Была большая остановка. На платформе к окну подошли девочки с молоком, а у самой маленькой в лукошке сидели зайцы: зайцы, как зайцы — уши, как следует, усы нитяные, хвоста совсем нет, вместо глаз черная пуговица и все зайцы разные, одни в зеленых пятнах, другие в малиновых, третьи в кубовых, — пятачок за зайца.

Я выбрал себе малинового. Подает его мне девочка.

— Спасибо! — слышу голос сзади, и чья-то рука тянется, за моим зайцем.

Да это Костя, Костя тянулся за моим зайцем.

Ну, и отдал я ему зайца, и началось у нас не просто знакомство, настоящее приятельство.

Заяц, конечно, оказался живой, как сам Костя, только спит заяц. Но это не сразу открыл Костя: Костя долго трогал зайца, глаза заячьи — пуговицы, и как-то тревожно посматривал на меня, потом уронил его на пол, поднял, поднес ко рту и успокоился: заяц живой, только спит заяц.

Костя не расставался с зайцем и ни на шаг не отходил от меня.

Мы сидели в купе и разговаривали. И молчаливый старичок генерал разговорился. Заяц разговорил генерала.

Генерал рассказал нам, как он ездил к сыну, сына проведать, заезжал помолиться к Ефросинии Полоцкой в Полоцк, а теперь домой в Николаев едет.

Старый старик генерал наш, дедушка, нет зубов у него, а у Кости меняются, и хоть осталось, да не очень много. Сижу, ни о чем не думаю, дремлется. Генерал с Костей ведут разговор: один другого спрашивает и отвечают друг другу. Что говорит генерал, вряд ли понятно Косте, непонятны и Костины слова генералу, но разговор идет мирно.

И вообрази Костя, что генерал, как только настанет ночь, заснут все, тут генерал возьмет, да и украдет у Кости зайца. А вообразил это Костя, должно быть, потому, что старичок уж очень зайца его гладил и за ус теребил и похваливал.

И до самого вечера только тем и был занят Костя, что от генерала зайца прятал, мать свою растормошил совсем, добивался до большого тяжелого чемодана, в самый чемодан хотел запрятать от генерала своего зайца.

Съел ли чего Костя или от тряски, разболелся вдруг у Кости животик и уложили его бай-бай и зайца его с ним.

Не простился я с Костей, не погладил его зайца и генерал не простился. Вдвоем с генералом без Кости остались мы проводить ночь. И всю ночь просидели мы друг против друга, всю ночь проговорили. Не я, старичок генерал говорил: рассказывал он мне свою жизнь большую и долгую и трудную. И было в ней столько добра и теплоты и любви и верности и желания — вся жизнь для других прошла.

Стало светать, уложил я старика и сам прилег.

В соседнем купе Костя спал с зайцем. Костя спал и Костин враг — генерал спал, оба спали тихо.

И я подумал:

«Чудак ты, Костя, ну, зачем дедушке твоего зайца брать, у него свой есть. И живи он в старое время, его непременно изобразили бы с зайцем, как в житиях затворников пишут. Спи, Костя, ты со своим зайчонком малиновым, а наш дедушка со своим, он, Костя, у него совсем-совсем белый».

1912 г.

ЗАВЕТНЫЕ СКАЗКИ

Был я тогда совсем маленький, лет шесть мне было, не больше, и был у меня приятель кот, такой кот-воркота чудесный, белогорлистая шея, серый хвост, и очень усатый, а курлыкал и мурлыкал, вроде как разговаривал. Не помню, с чего повелось, только ввечеру, перед ужином я укладывался на пол, у горячей печки, и тут же прилаживалась к печке старая наша нянька, и приходил кот мой любимый.

Свет не зажигали в детской, одна лампадка горела у Скорбящей — малый огонек, а все видно: старуха-нянька за лампадкой ходила.

Кот запевал песню — где-то теперь мой кот усатый, где его душа витает? — запевал кот ласково песни, тепло ему, приятно было: там под полом тоненько скреблась мышка-теретышка, я ему, усатому, под его белым горлышком шейку почесывал, — и нянька начинала сказку.

Пелась песня, сказывалась сказка — об Иване-царевиче и сером волке, моя любимая сказка.

Я все мечтал обернуться волком, стать самим серым, и все твердил за старухой, как скажу Ивану-царевичу, когда, не узнав меня, примется за меня царевич:

— Не губи меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь!

Я все мечтал, я все хотел пройти ту опасность смертную, что волку выпала. Ведь, волк-то для царевича все сделает, волк из беды царевича выручит, от самой смерти, уж на куски разрезанного, снова вернет к жизни, а царевич смотрит и не узнает волка, не видит, не узнает серого и хочет порешить с ним.

— Не губи меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь!

Так с полным сердцем, готовым к смертной опасности, я слушал любимую сказку и повторял заветные слова серого волка.

Уж по двору дрёма бродила, собирала она наряд себе, расспрашивала, где кто спит и рыбка-соломинка ни хвостика у ней, ни ребрышка, только одна спинка — огненная рыбка плыла у меня в глазах.

Но, бывало, в сумерки... но это уж про другое из тех же первых дней, когда зацветшая крапива да лапушник казались, как кудрявая калина, калина — с горку, гора, как облаки, а облаки-небо, как крыша, чуть что разве повыше нашей крыши, другое я вспоминаю, такое странное — и легкое и грустное, как тонкий сон.

К нам в дом приходила белица — молоденькая монашка из монастыря, белица. И, бывало, в сумерки я любил, когда совсем неслышно, вся в черном, она входила в нашу детскую.

Она примащивалась на полу, и я подле нее свертывался калачиком, я клал голову в ее колени, и она искала у меня вошку — ласково так гладила по голове, перебирала волосок за волоском, раскладывала волосок к волоску, а сама рассказывала. Так не рассказывала нянька-старуха, нет, совсем другим голосом, совсем другими словами, и про другое, не об Иване-царевиче, о лебедях, о кораблях воздушных, о море, о морской царевне рассказывала она сказку.

И я лежал тихонько и слушал, и думал в тонком сне, легком и грустном. И вдруг замолкал голос, обрывалась сказка... и тогда тихонько подымал я голову и с замеревшим сердцем глядел на нее, в глаза ее, а в глазах у нее, как волны, — шла волна за волной.

О лебедях, о кораблях воздушных, о море, о морской царевне — какие это были странные сказки!

Потом она пропала.

— Пропала девка! — раз услышал я, как разговаривали большие: старуха, наша старая нянька, сказала.

И правда, ведь, пропала. И я уж никогда ее не видел — не показывалась она у нас в доме, не приходила в детскую, и я больше нигде ее не встречал, ни в церкви, ни в

монастыре, ни на улице, — пропала, как в воду канула.

О лебедях, о кораблях воздушных, о море, о морской царевне... и в глазах, как волны, шла волна за волной... — какие это были странные сказки!

И все позабылось, другое вошло в душу, другим занялись мысли. Померла старуха-нянька — царство ей небесное, и где-то теперь ее душа отдыхает? — и нянька не вспоминалась, ни ее сказка.

И вот уж много спустя, однажды ночью, в глухой час проходил я длинными бульварами, летом, и вдруг словно толкнуло меня, и я вспомнил о лебедях, о кораблях воздушных, и было, как в тонком сне, легко и грустно.

И с замеревшим сердцем я засматривал в глаза прохожим — так вот и увижу, мне казалось, так вот и узнаю.

А еще много, много спустя, в смертельной опасности опять, словно толкнуло меня, и я вспомнил о сером волке, я на колени стал и просил Ивана-царевича — он в своей беде не узнавал меня.

— Не губи меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь!

1913 г.

БАБУШКА

Нас в вагоне немного, было-то очень много, в проходе стояли, да, слава Богу, кто в Гомеле высадился, кто в Жлобине, кто в Могилеве, вот на просторе и едем.

Старик, дровяной приказчик с Фонтанки, вылитый Никола со стен ферапонтовских, весь удлиненный, а лик малый, в Новгород на родину едет, курский лавочник с женою, степенные люди, в Петербург едут, Петербург посмотреть, да бабушка костромская Евпраксия.

Все с богомолья едут из Киева. Показался им Киев, что рай Божий, ни пьющего, ни гулящего не встретили богомольцы в Киеве, ни одного не видели на улице безобразника, а много везде ходили, ходили они по святым местам службы выстаивали, к мощам да к иконам прикладывались.

Не город, рай-город Киев, лучше нет его, в трактирах с молитвою чай пьют, с молитвой закусывают.

Только и разговоров о Киеве, хвалят не хвалят, Бога благодарят.

Бабушка в серенькой кофте и темной короткой юбке, в темном платке. Бабушка все по-монашески, и не скажет как-нибудь «спасибо» по-нашему, а по-монашески — «спаси, Господи!», прижилась, видно, к святыням, уж сама вроде монашки сделалась.

Долго и много хвалили Киев, о подвижниках рассказывали, о нечистом. Не обошлось и без антихриста.

Бабушка и антихриста видела, только не в Киеве... три ему года, три лета, а крестил его поп с Площадки Макарий, и было знамение при крещении, сам батюшка рассказывал, когда погружали дите в купель, крикнул нечистый: «ой, холодно!» — и пять раз окунул его батюшка, а когда помазывали, кричал окаянный: «ой, больно! ой, колет! ой, не тут!»

— Три года ему, окаянному, в Красных Пожнях живет, — пояснила бабушка, крестясь и поплевывая.

Так потихоньку да полегоньку в благочестивых разговорах и ехали.

Но вот и ко сну пора, — попили чайку, солнце зашло, спать пора.

Лавочник с лавочницей принялись постели себе готовить, одеяла всякие вытащили, войлоки, подушки, примостились, как дома, и старик Никола подостлался удобно. Только у бабушки нет ничего: положила бабушка узелок под голову — узенькую скамейку у окна у прохода выбрала она себе неудобную, помолилась и легла, скрестив руки по-смертному.

И я подумал, глядя на ее покорное скорбное лицо, на ее кроткие глаза, не увидевшие на месте святом ни пьяницы, ни гулящего:

«Бабушка наша костромская, Россия наша, это она прилегла на узкую скамеечку ночь ночевать, прямо на голые доски, на твердое старыми костями, бабушка наша, мать наша Россия!»

И все я следил, как засыпала старуха.

— Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя! — с молитвой затихала бабушка.

И затихла, стала похрапывать тихонько, заснула бабушка сном крепким.

Тут лавочница вспомнила, должно быть, слово Божие о ближнем, да и по жалостливости своей пожалела бабушку, поднялась с постели, пошарилась, вытащила тоненькое просетившееся одеялишко и к бабушке, будить старуху, чтобы подостлала себе.

Растолкала лавочница старуху.

— Спаси Господи! — благодарила старуха, отказывалась: ей и так ничего, заснула она с Божьей помощью.

Но лавочница тыкала под бок одеяло, тормошила старуху.

И поднялась бабушка, постелила лавочное одеялишко, еще раз поблагодарила лавочницу и легла.

Легла бабушка на мягкое, а заснуть и не может.

Не спится, не может никак приладиться бабушка, заохала.

— Господи, помилуй мя! — творит молитву, а и молитва не помогает, не идет сон, бока колет, ломит спину, ноги гудут.

А лавочница богобоязная, лавочница, доброе дело сделала, завела носом такую музыку, одна поет громче свиста паровозного, звонче стука колесного на весь вагон.

Следил я за бабушкой, жалко мне было старуху.

«Бабушка наша костромская, Россия наша, и зачем тебя потревожили? Успокоилась ведь, и хорошо тебе было до солнца отдохнуть так, нет же, растолкали. И зачем эта глупая лавочница полезла с одеялом своим человека будить?»

Но, видно, услышал Бог молитву, внял жалобам, даровал сон и бабушке. И заснула, наконец, бабушка, тонко засвистела серой птицей с присвистом.

«Слава Богу! — подумал я: — успокоилась, ну и пусть отдохнет, измаялась, пусть ей приснится нестрашный сон, измучилась, измучили ее, истревожили. Пусть пока что забудется, ведь чуть свет подымется лавочница, возьмется добро свое складывать, хватится одеялишка, пойдет, вытащит из-под старухи подстилку эту мягкую, разбудит старуху, подымет на ноги, — ни свет, ни заря, изволь вставать. Ох, горе горькое! Ничего не поделаешь. А пока спи, бабушка, костромская наша, мать наша, Россия!»

1912 г.

Свет незаходимый

БАБИНЬКА

Нам совсем не родная, только полюбившая нас, чужих детей, как родных, встает в воспоминании моем одна старая старушка, до преклонных лет экономкой присматривавшая за хозяйством в соседнем с нами господском доме.

Мы, дети, старушку звали бабинькой.

В соседнем господском доме, в подвальном этаже доживала она в трудах век свой, и три окна ее комнаты с крепкой железной решеткой подымались прямо с земли, точно в землянке жила она, и уже без счету жила и все такая же — бабинька с необыкновенно добрыми, ясными глазами и всегда такой желанной и ласковой улыбкой. А перед ее окнами вверх в горку — дом стоял под горою — разведен был богатый, искусный цветник, и сколько там всяких цветов было и душистых, и цветущих, и тесных кустов сколько в цвету стояло всяких, приотворишь летом, бывало, калитку, и так и пахнет на тебя дух душистый, и особенно на закате, когда политые цветы дышут, напоенные, всем своим цветом. А по весне, ну, как рай Божий, и такая тоненькая пушком росла там мурава-травка, и я помню, белые, маленькие такие цветы были, как жемчужинки у Божьей Матери, и другие синие, как четки синие, на серебряной ризе у Троицы, — на иконах, их в окно видно, в киоте, в углу переднем, в землянке стояли, и всегда огонек горел перед ними — лампадка.

Но бабинька никогда не выходила в цветник из своей землянки, — день, управившись по хозяйству, она у окна сидела, вязала чулок или на клубки сматывала шерсть, лишь изредка посматривая в цветник — на Божий рай, на эти белые, как жемчужинки, и на эти синие, как четки,

цветочки. Она никогда не выходила в цветник, и только в субботу медленно мимо цветника подымалась она в горку к воротам, так медленно, будто ползла, — шла ко всенощной в нашу приходскую церковь, да утром в воскресенье той же дорогой мимо цветника к ранней обедне.

У бабиньки никого не было, никаких родственников, она одна жила в своей землянке, а у нас было много родни, но нигде, только в землянке у цветника было для нас, детей, что-то родное.

Я не помню, когда я в первый раз отворил калитку в этот райский цветник и заглянул в окно землянки, я одно помню, что всякое утро, как идти в училище, проходя мимо соседского дома, я отворял калитку в цветник и шел по райской дорожке или по скрипучему такому чистому сине-белому снегу к окну землянки, а на переплете железной решетки лежало уж, поджидая меня, яблочко, а в землянке никого не было и только огонек горел перед киотом — лампадка. А когда на обратном пути, возвращаясь домой из училища, я опять подходил под окошко, у окна за работой сидела бабинька и ласково так встречала своими ясными, добрыми глазами с такой добротой горячей, и опять на решетке между рам лежало яблочко.

Нам совсем не родная, за что-то полюбившая нас, чужих детей, она как бы сторожила из своей землянки, из цветника наши дни.

Мы росли беспризорные, какие-то уличные, — говорили, что сладу с нами не было, и, кажется, мы ничего не боялись, и все, что угодно, выделывали, и если чего и не делали, то только потому, что было кого бояться, но чтобы по сердцу перед кем бы нам совестно было, такого у нас никого не было, и только одна эта старушка... и это оттого, должно быть, что одна она в землянке своей, в цветнике одна ждала нас и встречала с такой горячей добротой и так ласково, а что она ждала нас, это мы чуяли, это мы знали, это мы видели — яблочек всякое утро лежал на железной решетке.

И вот я кончал училище, и уже не надо мне было никакого яблочка, но я не пропускал утра, чтобы не зайти в цветник под окошко — яблочек всегда на окне лежал, и всякий день, возвращаясь домой, опять отворял калитку в цветник — и там у окошка за работой сидела бабинька и кивала так приветливо, с такой добротой горячей.

А тут повернула судьба и пришлось мне покинуть дом. И прошло немало времени, когда мне выпал час побывать на старых местах. И снова после стольких-то лет я пошел в землянку.

Старушка уже не хозяйничала и не сидела за работой, она не могла ходить, она лежала в постели головой к окнам, к цветнику.

Я тихонько вошел — перед киотом по-старому горел огонек-лампадка — я стоял тихонько... бабинька — такая же, как много-много лет, только как-то вся просветлела. Она узнала меня и таким светом и слезами тихо наполнялись ее глаза.

В тот год и померла. Весною она померла в мае, когда в цветнике перед окнами зацвели первые белые, как жемчужинки, и синие, как четки, маленькие цветочки. И гроб ее несли мимо цветника... я не был на похоронах, я только через месяц узнал, что бабиньки уже нет, похоронили.

Нынче снится мне бабинька, была она маленькая и вся круглая, а тут снится и маленькая, да одни кости, вся высохла, и выходит она будто из землянки своей, на палочку опирается — так последние годы, говорили мне, она все с палочкой ходила, и я будто тут же стою. Посмотрела она на меня и говорит:

«Что же ты никогда не зайдешь ко мне?»

И довелось мне снова на старых местах побывать. Спозаранку собрался я, вспомнил сон, ехал на кладбище, и все представлял себе, как найду я могилу, положу яблочек, поклонюсь до земли, и как скажу я, что никогда в жизни не забывал я ни цветника, ни землянки и, кажется, до последнего издыхания моего сохраню всю память в сердце своем, сберегу свет этот... свет доброты горячей и ласки.

Против меня сидели две монашки: одна глубокая старица, с ликом главы адамовой, другая молодая — лик безбровый, треугольный, и с ними, рядом со мною, так сын заблудный родителей благочестивых, из купечества видно, куда-то ехал он с ними, по родительскому наказу, или по своей воле, не знаю, и что-то горькое было в его молодом русском красивом лице...

— Вот я и спрашиваю, — говорил он вполголоса, — Божье-то есть в человеке, подобие-то Божье, или это так в утешение сказано, для порядку? С подобием-то все куда легче и умствовать и мудрствовать! Весь закон на этом стоит, и все правила, и почему так делай, а не этак, и что можно и чего нельзя. Ну, а если это только для порядку положено, то и закон весь насмарку?

— Фарисейских книжек начитался, превыше папаши хочешь быть! — мотнула молодая монашка, лик треугольный.

Но он продолжал:

— Ну, и разве это так страшно? И без Божьего, без подобия все останется по-старому, да как раз и будет то, что́ есть, что́ и происходит.

— Рожок антихристов! — безнадежно укорнула глава адамова — старица.

— Да разве на самом-то деле, по правде-то, подобие это признается, кто признает? — уже горячился сын заблудный, — да вся наша жизнь, весь корень жизни нашей отвергает его и все привычки наши, и сам глаз наш...

Монашки не отзывались.

Окна были раскрыты. Большой дождь шел. Полный такой теплый дождь летний, такой благодатный, и словно впервые он проливался на землю, а уж прошел Ильин день, и от полноты его и благодати было так полно на воле и полно на сердце, а синие, как самое синее небо, вывески густым полным золотом написанные, проносились по дороге все в дождевых полных каплях.

И я смотрел в окно и вспоминал и представлял себе, как отыщу могилу, как скажу, как поклонюсь до земли за яблочек... И сердце было так полно, как этот дождевой воздух, как эти вывески.

1913 г.

ЖУК

Это не тот Жук — книжка, которую мама читала, когда ждала Веру, это — собачка Жук, песик наш любимый.

Когда Вера сказала, что ей песика учительница подарить обещает, мама забеспокоилась: и возни с ним много, смотреть надо, да и налог порядочный. Жили мы, еле концы сводили с концами, не дома, не в России мы жили, — я достал себе службу и жалованье не Бог знает какое! — не дома, обо всем подумай. А Вера так размечталась, в слезы: хочется ей непременно песика.

Мама и уступила, но с одним уговором, чтобы Вера его и гулять водила, и накормить должна, и пол за ним подтереть, если грех какой. На все согласилась девочка, рада будет все для песика делать.

И завелся у нас песик: черненький сам, лапки коричневые, грудка белая — Жук. А уж крошечный такой, не бывает таких, — Жуком и прозвали. И ко двору пришелся Жук, скоро обвык, везде бегает, следит по всем углам, но все ему прощается: и крошечный такой, и мягонький, и ласковый.

Все говорили, что таким маленьким и останется Жук, таким крошечным, каких не бывает, а Жук, знай себе, растет и растет. И чем больше он становится, тем крепче мы его любим, за ласковость его особенно: придешь, бывало, домой со службы, а он уж тебе навстречу — и лает, и прыгает, и ластится, а то такую повадку взял, как увидит тебя и от радости, что ли, по всем комнатам бегать примется — из комнаты в комнату, и не остановить уж ничем.

Купили мы Жуку сбруйку с ремешком, обрядили честь-честью, да куда там! — всю, как есть, порвал. И уж пошел Жук все грызть, — и грызет, и рвет: мохнатый коврик у постели маминой выщипал, Верин коврик прогрыз, считали белье, и тут постарался, — манжеты и два воротничка съел, как не бывало; мало того, стал сорочки таскать, или на постель взберется и грызет простыню, а раз даже скатерть со стола стащил и всю посуду вдребезги.

Невмоготу стало с Жуком, выбилась мама из сил, и каждый вечер, как приду домой, на Жука мне жалоба: не может она с Жуком справиться, и прислуга отказалась. А Вера плачет, за Жука своего боится, — Жучиха: Жучихой прозвали мы Веру.

Что тут делать? Маме и без Жука забот много, и нездоровится ей все, и Веру жалко, Жучиху, — плачет.

Я уж на все хитрости пустился, чтобы и маму успокоить и Веру не обидеть, думал, угомоню Жука: и вечерами стал я водить его с собой, и учу его, а сладу нет.

И решает мама прогнать со двора Жука — ничего с ним не сделаешь! Решить-то она решила, а вижу, и тяжело ей, ведь, любит она песика: всякое утро приходит Жук в ее комнату, садится около ее постели, и сидит тихонько, хвостиком не пошевельнет, дожидается, когда проснется мама, и только, когда окликнут его, только тогда бросится, вскочит на постель и такую возню подымет и так кружится, ну, словно год не виделись! Да и как не тяжело: целый день, ведь, одна, — я на службе, Вера в школе, и только Жук с ней, — научился Жук лапу подавать и служить немного умеет, станет на лапки, правда, недолго продержится и набок. И тяжело ей, вижу, да не может она больше.

И пришлось нам расстаться с Жуком, пришлось отдать его назад учительнице. Вера Жука два раза в неделю видеть будет, а изредка и Жук к нам в гости ходить будет, — кажется, лучше и не придумаешь, а ничего не вышло!

Каждый раз в слезах возвращалась Вера от учительницы: нехорошо там было Жуку, не любят там Жучка, не знают, какой он добрый и ласковый, наш любимый песик! — и в слезы. Да и нам невесело: дом опустел, нет чего-то у нас без Жука, нет шумливости, нет жизни какой-то.

Мама у нас все прихварывает, трудно ей, а Жук как-никак развлекал, верный песик, любимый песик, — и обиду всякую забудет, постегаем, а он и опять ластится, как ни в чем не бывало, идет, обиду забывал... а, ведь, трудней это трудного. Мама у нас прихварывает, и очень ей трудно.

Помыкались, помыкались и опять взяли Жука в дом.

И уж на радостях обещались мы с Верой вдвоем заботиться о Жуке, ходить за ним и все делать, чтобы ничем больше не огорчал он маму, а только развлекал и радовал. А как мама-то обрадовалась! И вечер у нас был тихий, мама даже улыбнулась... милая наша мамочка, как она вся измучилась, и как хотели мы с Верой, ну, что-нибудь такое сделать для нее, выдумать что-нибудь такое, чтобы и не один раз, а почаще она улыбалась так!

Жук остался, зажил Жук опять с нами, у нас в доме.

Прежде Жук все рвал и грыз, и таскал, и пачкал, и все, бывало, прячь от него, — стащит и изваляет, да повыше запрячь, чтобы и концы не торчали, а то обязательно стянет и пропало, а теперь резвостью одолел. Спустишь его с ремешка по улице побегать и уж не дозовешься, и битый час простоишь у ворот, кличешь — и лаской приманиваешь, и угрозой стращаешь, ухом не поведет. Раз я как-то до двух часов провозился, не хотелось на ночь на улице его оставлять, но так и не дождался, а не дождался, он и смекнул, бедовый пес, и уж на оклик мой не прибегал больше. И уйдешь, бывало, — набегается он, навозится с собаками, все собаки пойдут домой, а он скулит под окном, — и в три, и в четыре часа одевайся, выходи на улицу. А случалось и днем, отобьется от рук и пропадет, уж думаешь, пропал, ан, нет, — Жук возвращался, и в каком виде: весь-то в грязище, измызганный, места живого нет, истерзанный весь, сонный. Впустишь, а он по стенке, так по стенке и жмется, ну, прямо по полу стелется. И уж рука на него не подымется. А глаза такие грустные... и что он думал? или винился, что прогулял день, — как прогулял! — и вот вернулся, куда же ему вернуться! — и мы на него сердиться можем, сколько угодно, и постегать можно, если надо — мало ли, может, это всегда надо! — сколько хотим, чтó хотим, он ничего, только чтобы не гнали... и смотрит так грустно.

Мы Жука очень любили, и он это знал, что мы его очень любим. Но чем дальше, тем невозможней становилось — мама просто с ног сбилась. И решил я сразу все покончить — измучились мы с Жуком! — никого не мучить, взять и завести Жука подальше, чтобы и дороги домой не нашел, совсем пропал. А мама и Вера просто в ужас пришли: как, Жук, и один, голодный один бродит где-то на улице! И уж не рад я, что такое придумал, а, главное, не подумавши, бухнул. Насилу успокоил, — тысячу всяких обещаний дал и клятв самых страшных никуда и никогда не уводить Жука, а дома держать, как прежде, — успокоил, успокоилось в доме, и несколько дней кротко все проказы Жуковы сносили, потакали ему и все прощалось, но потом мама опять расстроилась, и опять решено было расстаться с Жуком.

Отдали мы Жука соседке прачке, — за короткое время Жука все по соседству знали и любили песика, — прачка, старуха одинокая, очень Жуку обрадовалась. В заведение ее ход с улицы, и привязала она Жука на веревку к двери, чтобы привыкал пес, Жук бедовый.

Да, видно, ни Жук, ни мы не могли привыкнуть.

Идешь, бывало, мимо прачки, хоть и по другой стороне идешь, а завидит тебя Жук и так рвется к тебе... А в доме пусто, уныло как-то, Вера все вспоминает и плачет — Жучиха.

И пошла мама к прачке назад Жука просить. А старухе и не хочется расставаться с Жуком: она одна, у ней нет никого, а от песика ей теплее стало, один он и приласкается к ней и развеселит ее, у ней нет никого, — не хочет старуха отдавать Жука.

А все-таки мама упросила... мамочка наша, ей и самой тяжело, да и для нас хотела сделать, мамочка наша! Не одна, с Жуком вернулась домой, и словно все переменилось в доме. Мы купили на радостях матрасик Жуку и новую сбруйку, и зажили по-старому. И знаю, вернусь домой, и тебе навстречу так и кинется песик, и как завертится, закружится перед тобой, залает так... Жук наш, любимый песик.

Вышел я с Жуком погулять, отошли мы от дома, рвется Жук побегать, и стало мне жалко, спустил я его с ремешка — так и пустился. Я за ним, — не тут-то, гонялся, гонялся, а он все от меня, и все ближе мы к старухину дому, к прачке. Сам бегу, самого страх берет: а вдруг да перехватит! — а совсем уж близко. Да, так и вышло, забежал он к старухе, а старуха цап-царап, да его на веревку.

— Я, — говорит, — и простить себе не могу, что отдала тогда вам песика, а теперь, хоть полицию зови, не выпущу, мой!

Слышать ничего не хочет, не получишь, — и пошел я домой. И опять вернулся, — нет упустил, и думать нечего. И мама пошла — ничего не помогает, не отдает старуха, стоит на своем.

И так нам горько было, а пуще обидно, на Жука обидно: сам, ведь, к старухе по своей воле и своею охотой пошел, нас променял! И за сердце взяло: ну, когда так, и не нужен ты нам! А легче не стало.

А он, глупый, пес несмышленый, он, как завидит тебя, так и рвется, — так и рвется и визжит, назад просится. А никакой надежды нет, — разве, что старуха помрет! — ничего не придумаешь и идешь, не смотришь, а он так и рвется...

И оторвался! Оторвался Жук, сам прибежал, да так и с веревкой своей прямо. И вот опять с нами. Мамочка, мамочка наша, Жук с нами! И мы положили все вместе, и я, и мама, и Вера, все терпеть от Жука, ну, что бы он такое ни сделал, все претерпеть, а никогда, в жизнь никогда не расставаться с ним.

А какой умница стал наш Жук — всегда просится и долго, бывало, терпит, пока не заметят, но в комнате — никогда, и не озорничал уж. И всего только раз, да и чудно как вышло! Пришли к нам гости и засиделись, и скучные такие, а как стали домой собираться, хватились муфты — нет, как нет, и везде обшарили, нет нигде, заглянули под стол в столовой, а там Жук, и тихонечко сидит себе и перья, только перья около разбросаны — Жук муфту съел! Котиковая муфта, хорошая, пришлось новую купить, но Жуку ни намеком, ни капельки не досталось — это Жук за маму заступился: мама, долго если гости сидят скучные, расстраивается, — умница у нас Жук, умный наш песик, любимый.

Умнел Жук — больше уж не огорчал маму, не на что было пожаловаться! — но с умом и сметкой стало находить на него что-то темное, для него, может, и понятное, для меня нет, тоска какая-то: стал Жук задумываться.

Сядет мама, шьет что-нибудь, и Жучок сейчас же поближе пристроится, и не ляжет, а так только лапы пригнет, словно сидит, и сидит, закроет глаза, дремлет — голова все ниже, все ниже опускается, и вдруг вздрогнет, и опять, и опять закроет глаза. И куда бы ни пошла мама, Жучок за ней, медленной сонной походкой тянется за ней: она присядет и он усядется, она станет и он поднялся, говорит ли с прислугой, и он тут, стоит, словно слушает.

Или примется Жук вдоль стен ходить, и ходит, каждый угол обнюхивает и ничего-то не тронет, не скувырнет, ничего не зацепит, осторожно так ходит и все обнюхивает: начнет с карниза и покуда мордочкой достанет. Смотрим,

бывало, как это он обнюхивает все и осторожно так и внимательно с карниза и покуда мордочкой достанет, и жутко нам смотреть, а спросить не спросишь, да и сказать-то он не скажет, нам-то сказал бы, да не может, да и не поймем, пожалуй. Походит, походит, обнюхает все, и опять к маме, смотрит так на маму, точно и говорит и понимает... что понимает? ее беду понимает и нашу беду понимает, — ее, ведь, крепко мы держим, не говорим, а она всегда с нами, и не знаем, куда девать, и как избыть... мамочка наша, кто нас надоумит, мамочка, мы на все согласны, только бы ты... только бы избыть... или Жук что и знает? и смотрит так на маму.

Наша соседка, другая, очень хорошая и добрая старушка, собралась в гости и скучно ей одной, попросила Жучка — Жучка она очень любила и много ему от нее всяких косточек перепадало, известно, старый человек обглодать кость хорошенько не может, большое бывало Жуку угощение. Отпустили мы с ней Жука, посидела она в гостях, и домой уж пора, а Жук ремешок-то свой и съел, что ей делать? Привязала она веревку, на веревке и привела домой, так без ремешка Жук и вернулся.

Вечером понадобилось мне в лавочку за папиросами, а мама и просит Жука взять: ему погулять пора. И не хотел я его без ремешка брать, знаю, заупрямится и уж силой домой не затащишь, да взял, думаю, как-нибудь да справлюсь: в самом деле, не сидеть же Жуку дома из-за ремешка!

Лавочка через улицу. Забежал я в лавку, зову Жука, а он уж разыгрался, куда там! Ну, думаю, ничего, подождет на улице. Купил папирос, выхожу, а он тут, у дверей сидит. Покликал я его и пошел, перешел к дому на другую сторону, а он сидит, не отходит от двери. Я свистнул, — не идет. Ну, думаю, что же ему там ждать, пойдет! И правда, оглядываюсь, а Жук сорвался и такой веселый, так и скачет... а там автомобиль. Как увидел я, так ноги и подкосились, и вижу, и Жук понял, приналег, да как скоконет...

Умчался автомобиль. Стою и двинуться не могу, — метнулся Жук, заковылял. Свистнул я тогда — и, должно быть, узнал он и широким кругом повернул на зов, и упал.

Собрался народ, все соседские, все Жука знали, все что-то говорят, а я стою, и не слышу. Подошел и лавочник, папиросы у которого купил, положил он Жука в сторонку, к тротуару: не дышит уж.

Я домой.

— Где Жук?

И поняли, по лицу моему поняли, — никогда уж к нам не вернется Жук!

Номерок его есть у нас, у Веры хранится вместе с зайцем, которого ей зайца в кроватку клали спать вместе, да письмо к маме — Жук написал, Вера лапкой его водила:

«Милая наша мамочка, как все мы тебя любим, я никогда не буду огорчать тебя, и Жучок не будет, мы тебя, мамочка, беречь будем».

Письмо, как в поминанье пишут, большой буквой, у мамы хранится — о Жуке память.

1913 г.

ДИКИЕ

Как-то в самую зиму в Вологде появилось на телеграфных столбах объявление: показывался живой дикий страус, который камнями питается, и яйцо страусово — шестьдесят пудов весит!

В Вологде развлечения какие! И я обрадовался случаю и пошел куда-то к собору смотреть страуса и яйцо его.

Комната — пустое лавочное помещение — зверинец, куда ввели меня, был жарко натоплен, и содержатель страуса, человек живой и расторопный, Фиандрá какой-то, пересыпая словами изысканными, добро свое нахваливая, а выражался он на смешении вавилонском, сам нет-нет да и подбрасывал поленьев в пышащую железную с большой трубой печку, — на воле крепко, круто морозило и было сурово по-вóлогодски.

На стене висела лампочка, тут под лампочкой и стоял живой страус, а перед страусом ведро воды и корм его — разбросаны были наши голышки-камни речные. Страус стоял с закрытыми глазами, весь съеженный, чахлый и

линялый: засыпала птица, — конечно, и камнями сыт не будешь, и все-то ему, поди, холодно!

Хозяин объяснял качества страуса, рассказывал о его прожорливости каменной и непоседливости дикой.

— Птица уедливая! — повторял Фиандра-хозяин, и от страуса за яйцо взялся.

За перегородкой на соломе лежало яйцо, белое — шестьдесят пудов. И хозяин постукивал ногтем о твердую скорлупу и даже приподнять яйцо пробовал, — до коленок приподнял яйцо: тяжесть непомерная!

Постоял я, посмотрел — шестьдесят пудов! — и вернулся к страусу, все ждал, что глаза откроет, а не открывал страус глаз, засыпала птица.

Хозяин все с яйцом возился, стучал ногтем, приподымал до колен, но охотникам силу на яйце померить всем отказывал: не ровен час, кокнешь, и желток и белок вытекут и пропадут твои деньги — скорлупой никого не удивишь!

Завлекал хозяин диковинкой, и я еще раз подошел к яйцу, потрогал, — трогать можно! — и пошел к себе на Ивановскую.

Немало прошло времени, и вот однажды в Петербурге я наткнулся на объявление — на заборах расклеены были огромные плакаты: показывали диких людей, папуасов, которые людей едят. И вспомнил я вологодского страуса с его яйцом в шестьдесят пудов и пошел в пассаж куда-то людоедов — диких людей смотреть.

Людоедов было двое, был, говорят, и третий, да в Москве помер: простудился. Людоеды скакали и сигали на эстраде и луки натягивали, представляли, будто стреляют в публику, — все в перьях и нагишом совсем, только пояс на бедрах в раковинках.

Было так же жарко, как в Вологде за собором у страуса, а публики было куда больше, нарасхват разбирались билеты, и совсем недешевые.

Когда кончилось представление, я пробрался за кулисы в логовище, и там еще жарче было, как в бане, и душно. Людоеды бродили по логовищу и вдруг бросались на кровать и лежали ничком на брюхе, не двигались, словно обмирали, и опять подымались и бродили как в клетке.

Прислуживал людоедам китайчонок: китайчонок в печку дров подбрасывал, китайчонок и корм давал — бананы.

И сказывал мне Фиандра, содержатель диких людей, мой старый знакомый, как вечером, как спать укладываться, — а спали людоеды ничком на брюхе, — перед сном своим диким становились они на колени и кланялись китайчонку, как идолу своему, поклонялись, — конечно, он им и тепло давал, он и кормил, и поил их.

Так объяснил мне живой и проворный Фиандра на своем вавилонском смешении.

Языка людоедского я не знал, и они моего не знали, никакого они не знали, кроме своего. Но как-то так обернулось, и стал я с ними объясняться, и что-то выходить стало понятное и мне, и им.

А потом подарил я им крокодила-зверя, — такая большая игрушка, змея есть: если за хвост ухватить ее, так будет она из стороны в сторону поматываться, будто жалить собирается, черная, белыми кружочками, а пасть красная и зубатая, — очень страшный крокодил-зверь!

И с каким восторгом приняли людоеды эту игрушку, они пугали змеей друг друга, пугали Фиандру-хозяина, только не китайчонка, а у нас пошла дружба.

Не остались и дикие в долгу, дали они мне по пучку волос своих жестких, кокосовых — это, должно быть, хорошо считается, — а как смотрели доверчиво и ласково! И всякую мелочь в своих нарядах показывать стали и объяснять, что́ и к чему.

И когда все было показано и рассказано, старший людоед кротко так приподнял свой пояс.

— Ви́ка, — сказал людоед кротко так, — ви́ка!

И мне так жалко стало и больно — столько было доверчивости и такого детского, и такого невинного, о чем нам и подумать трудно.

Потом и другой людоед, младший, то же проделал.

И оба отошли в сторонку, деловито копались, что-то ели...

А я остался стоять один в логовище, в гнезде их диком, один недикий, и думал, о страусе думал и о приятелях моих этих.

Да, в Вологде тогда зимой так и заснул страус, я помню, и хоть на столбах все еще стояло, что страус

живой и камнями питается, а уж показывали одно яйцо его в шестьдесят пудов. А как же эти? Добрались с Фиандрой до Петербурга, — до которого места дотянут? До Риги? Или подальше?

Птица ничего сказать не умела, без стона стоял страус с закрытыми глазами и засыпал, — молча умирала птица. А эти? А эти с вúкой своей скачут на эстраде и на ночь китайца молят, тоже молча, на коленях, кланяются ему и просят, — да о чем они просят? Благодарят, конечно, прав Фиандра, за тепло благодарят, за бананы, ну, а еще, о чем они так молят и отчего так смотрят? Да спасти просят, отпустить туда, в леса их дремучие и в горы толкучие, в пустыню, где они жили с птицами и со зверями и улыбались доверчиво и кротко, как каждый кротко мне улыбнулся и так невинно, когда поднял свой пояс.

«Страус камни ест, а эти, не тут, не в логовище петербургском, а там, в лесах и пустынях, людей ели... Но Ты, Господи, не оставишь их, простишь и страусу, что камни Твои речные, голышки-камушки поедал, за его терпение — с закрытыми глазами, молча умирала птица! — и диких людей, людоедов, простишь, что людей ели — при мне они бананы ели, китайчонок давал им, да насекомых... простишь, не оставишь их за их улыбку кроткую и невинность, а нас? нас не оставишь? Мы несчастней и покинутей их, и страуса, и людоедов диких, терпения нет у нас и улыбки этой нет у нас, невинности их детской, и твердости царской молча терпеть, и сердце у нас каменеет, сердце у нас мерзнет. И кто же нам даст тепла и света, и очистит душу, и прояснит совесть, и зажжет сердце, и пробудит дух, чтобы все снести, все вытерпеть, стерпеть даже и тогда, когда и Ты Сам покинешь нас?»

Я стоял в логовище один, в гнезде диком, не-дикий один и думал, и было мне больно и жалко.

Звонок зазвонил на эстраде. Выскочил откуда-то китайчонок и такой вдруг важный погнал диких людей на сцену: сигать и скакать им и представлять, как из лука стреляют там, в лесах дремучих, в горах толкучих, в пустыне.

1913 г.

БЕДА

Чего только беда не делает, беда да нужда! Измучит она своими муками, согнет до земли, сожмет унынием, унизит, придавит, да так, что весь, как мертвец вытянешься, да на загладку еще и подсмеется, насмеется вдоволь. А станешь себе голову ломать, на выдумки пустишься, как от беды избавиться, уж она тут как тут, она-то тут и начнет свои советы в уши тебе нашептывать. И что ни совет, то пакость одна. Не видишь, за все хватаешься — и какие мечты, какие радуги подымаются! — все тебе кажется и просто, и легко, и хорошо, и не тебе только, а и всем хорошо, — будет от твоего дела хорошо. И примешься за дело, начнешь выполнять совет добрый... А на проверку-то, глядь, и совсем не то, — вот не ожидал! вот не думал! Господи, да что же это такое? — еще большее издевательство, еще большее унижение. И какую надо силу, чтобы все вынести, или Божью благодать надо вымолить себе и все вытерпеть, согнуться, пропасть и стать из пр́опада и унижения!

Когда в Петербурге, так повелось нынче, цветы продают во всякую пользу, Петербург оживает. Какие новые лица на улицах, какие веселые и бодрые, — щит несут со цветами, пристают к прохожим цветок купить, и так пристанут, что отказать невозможно: постоишь, посмотришь, увидишь эту молодость и бодрость, и уверенность, да и полезешь в карман за гривенником. Молодые больше, студенты, барышни, и уж непременно у каждого свой спутник. День-деньской по улицам бродят со цветками своими, с улыбкой, со смехом своим, пристают купить цветок, прикалывают цветки, под дождем, в стужу нашу, в изморозь ходят, и горя мало.

Когда я вышел на Невский, я встретил эти знакомые мне, влюбленные лица и, хотя у меня был цветок, я соблазнился и еще купил себе: продавали в тот день розовый цветок и бабочку. Мне надо было к Калинкину мосту — путь долгий, и всю дорогу на Невском попадались цветы и бабочки, и дорога была веселая и легкая. Потом на Садовой поредели веселые продавцы, а за Сенной и совсем стало тихо, и только какие-то ребятишки, один с тяжелой кружкой, другой с пестрым нарядным щитом,

выпрыгнули у Спасской части из трамвая и сейчас же в встречный вскочили, назад ехать на Невский.

Я шел со цветком и бабочкой и думал, вот что́ говорю сейчас, о цветках розовых думал и о бабочках, о молодости влюбленной и бездумной и такой уверенной оживляющей наш суровый, деловой и тревожный, угрюмый Петербург. Нам, ведь, как в манной каше, тесно, и уверенности нет никакой! Знаю, надоели всем и эти цветки, и эти бабочки, да Бог с ними, пускай себе, за одни лица их, за их молодость и улыбку ведь Бог с ними. И мне уж беспокойно и скучно стало, что не встречаю больше ни цветка, ни бабочки, что пропали цветки, и никто уж не пристанет ко мне, и никто так уверенно не взглянет в глаза:

— Купите цветок!

У Покрова, где трамвая ждут, собралась кучка народу, останавливались прохожие, а час был совсем не разъезжий. И я подумал: «Уж не человека ли раздавило?» и поспешил. Но увидел совсем другое, — и никого не давил трамвай!

Старуха стояла с пестрым нарядным щитом, на щите бабочки и розовые цветки, а около городовой трудился, кружку разбивал: кружка оказалась фальшивой, и городовой хотел вскрыть ее.

Щит у старухи был в цветках и бабочках, бабочки сидели и на груди, и на платке, как звезды, и сразу не бросалась в глаза ни беднота, ни дрань, — одни эти нарядные бабочки.

Народ все подходил, останавливались, стояли и смотрели, на старуху смотрели. И старуха смотрела: старая такая, без кровинки, седая вся, усталая, и эти на ней бабочки и цветки розовые; старуха смотрела, не мигала, и слезы наливались в глазах и не капали. Никто ее не ударил, никто не бил, только смотрели, а была она, словно избили ее, словно только-только из-под трамвая вылезла, из-под колес тяжелых, колесом придавленная.

Не вытерпел кто-то и один за всех сказал с сердцем, так и полыснул, не стерпел в сердцах:

— Эка, ты, бабочка! — и добавил такое обидное, и неправду, и правду сущую.

И, должно быть, добил старуху — у старухи вдруг пропали слезы, сожглись, пропали и снова налили глаза и опять и опять сожглись.

Старуха смотрела, нет, не на народ, не на нас, — а дай только волю, развяжи руки, придушили б старуху! — старуха смотрела куда-то... где ее увидят в ее злую минуту, опозоренную, пойманную воровку, бабочку, туда куда-то, где и ей приют будет, к Покрову, к Матери Божьей, которая и последнего грешника примет, за его скорбь примет.

Кружка крепкая не поддавалась, и городовой, Беринчук какой-то, бормотал себе под нос и совсем что-то не по-русскому, неподходящее.

Народ прибывал, подходили, останавливались, стояли и смотрели молча — так и пыряли глазами пойманную старушонку. Ветром приподымало шляпы, прохватывало, нашим ветром, не холодком, а холодным.

Вот кончит городовой свою работу, вскроет воровскую кружку, а старуху в часть заберет с ее щитом нарядным. И когда впихнут ее в холодную и закроется за ней дверь, уж тогда никто так не взглянет, и не то в глазах будет — за замком в холодной попадет старуха в несчастные, которых не жалеть, не корить надо, а пока — пока она воровка и ее хоть в канал швырнуть, в Фонтанку.

— В канал ее с головой, воровка, дрянь! — откололось в толпе.

И пожалел кто-то:

— Господи, хоть бы покрыть ее, — пожалел кто-то, — ни ей чтоб нас, ни нам не видеть ее. Нельзя же так человека мучить!

Да чем же покрыть-то, — ты, доброе сердце, слышишь! — это не скроет, не поможет, и через самую густую покрышку увидишь ее, и она всех увидит.

Старуха смотрела туда куда-то... и лицо ее было кротко, и уж не было в ней ни пришибленности, ни страха, ни унижения, она тихо плакала, и тихо, и кротко. Или уж покрытая? Или уж покрыла ее Матерь Божия, которая всех грешников принимает за их скорбь, всех пойманных, воров и убийц за их страдания в их злые минуты последние, потерянные.

1913 г.

БЕЛОЕ ЗНАМЯ

Чувствовал я такую убитость, на край света ушел бы... Трудно живется. И знаешь, коли пришла беда — Бог посетил, да уж так подойдет, страшно: не надо и Бога самого и пусть лучше без всякого Бога, только бы хоть как-нибудь, хоть мелко, ну, хоть свиньей пожить, только бы покой достать. Знаешь, навалит на тебя, принимай, все бери и неси — пришла беда, Бог посетил! — терпеливо и кротко неси, все это знаешь, тысячу раз переслушал и передумал, ладно, хорошо это все, после хорошо, когда вынесешь, а пока, хоть на край света...

До края света далеко, — до Парижа доехал.

А помню, как впервые попал я в Париж, ну, как домой, так мне все было близко, и все, как свое, московское. И я все ходил и смотрел: позанимаюсь, как дома, посижу, погнусь у стола, и смотреть — всякую диковинку хотел высмотреть. А диковинки там со всей земли собраны, есть посмотреть чего! Да и так, если и нет ничего, там себе придумают: последний твой сарай палэ у них называется, дворец по-нашему, палац, и самый грязнеющий постоялый двор за отель идет, — гостиница! И есть, на Бульварах видел, туфельки из перьев самой маленькой птички райской, из перышков ее тоненьких сшиты, в окне стоят, семьдесят пять тысяч франков цена, тысяч тридцать по-нашему! Прочитал молитву Богородичну, на сто дней, по-ихнему, отпущение грехов себе получил, лазил и не раз на собор к колоколам, чудищ смотрел, — и у нас такие на Спасской башне стоят, только поприглядней. А под Иаковой башней тоже чудища, те зеленые, как и во дворике в Клюни́, — без доброго слова мимо пройти невозможно: понятливо так глядят, понятливые. И когда все, кажется, пересмотрел и перетрогал, просто по улицам стал ходить, камни топтал. В камне своя чана есть, душа: проживет камень много веков и если за эти сотни лет кругом него жизнь кипит, получает камень чану свою, и оттого ему ничего не делается, ни сжечь, ни извести его нельзя. И вот когда ходишь по улицам и топчешь эти камни, а камни там ценные, — ведь нигде на земле не прошло так близко и недавно так столько нашего кровного и всего! — эта чана, эта душа, скрытая в них, и в тебе зарождается. В мае было, а в мае там всякий

вечер всенощную служат в честь Божьей Матери, и всякий вечер ходил я в их церковь. Как заслышишь колокол, так у нас в Новгороде, да во Пскове на вече сзывали вечевой наш колокол, и так где-то в сердце и вздрогнет, и чаю не допьешь, вылетишь из отеля, — всякий вечер Божьи орга́ны слушал. И помню, когда уезжал, все прощался, расставаться не хотелось, мимо Клюни ехал, шапку снял: «Прощайте, звери каменные, камни мои ценные!» — и собору поклон положил: там, у колоколов на кровле чудища все осанну орали каменным своим гласом и один, такой носатый, бестия, успел-таки зайчатину клыком прихватить, сам подкрикивал.

Все то же и теперь, и в этот раз, так же огоньки на Сене-реке горят и знакомо все, вышел я на улицу — и не наша улица, не наши дома, не наши названия, а словно в Таганке, так знакомо все до последнего камушка. По этой Таганке иду, а что-то жутко, тревога растет, — это от убитости моей все стало таким, враждебно все — иду, руки стиснуты и зорко вглядываюсь, Господи, как проклятый, иду! — и одни эфиопы, в Париже страсть эфиопов сколько, учиться приезжают, одни они, черные, мурины, чем-то близким кажутся, может быть, цветом своим отверженные от нас, чувствуют они проклятость свою, и оттого смотрят так, так жалобно и ласково. Знай язык ихний, заговорил бы... А жил один эфиоп в нашем отеле, а в отеле при входе полочка такая есть: ключи от комнат вешают, и письма полученные хозяйка выставляет под твой номер, — не утерпел я, думаю, узнаю хоть фамилию эфиопскую, и посмотрел, Ку-ку оказалось, такая фамилия Ку-ку ихняя. И этот самый Ку-ку первый стал со мной раскланиваться, — почуял, знать! Идешь по улице стиснутый весь, тревога растет, шум, гам, стук стоит, кричат, выкрикивают и все слышится: «Раки живые! Раки живые!» — будто наш разносчик кричит, и тревога еще больше и уж не смотришь, одно только и смотришь, как бы под автомобиль не попасть, музыка играет в кафе, прежде, бывало, услышишь и всегда зайдешь, кафе-о-ле, кофию спросишь, дадут тебе большущую рюмку — в рюмках, не в чашках подают — и сидишь, пьешь, слушаешь и легко, а теперь и калачом не заманишь, дальше, куда-то все дальше, пройдешь мимо Клюни, мимо садика со зверями каменными, которые звери так понятливо смотрят,

поздороваешься со зверями и дальше — да куда же? — на край света!

Поздно я приехал, май кончался — последние майские дни. Только что прошел Праздник Господен и по вечерам за всенощной выносили Дарохранительницу и крестным ходом обходили с ней церковь, по церкви: впереди девочки, фатою покрытые, с белоснежным знаменем — на знамени вышита шелками Божия Матерь, за ними народ со свечами, мужчины одни, — свечи большие, как наши рублевые, а за народом балдахин несут и под балдахином идут священники, главный в обеих руках Дарохранительницу несет, перед балдахином мальчики с красными фонариками на высоких шестах.

Услышал я звон у св. Сюльпиция, так и толкнуло меня, вечевой звон, всякий вечер когда-то я слушал его, вечевой наш звон, да скорее по знакомой улице, по Таганке нашей — и с закрытыми глазами дорогу найду!

Крестный ход вышел, играли в Божьи органы, шли со свечами — свечей было много, словно у нас на двенадцать евангелий, на Спасные страсти. Я так и стал и смотрел, во все глаза смотрел, и тут-то и увидел, над согнутыми спинами, над головами, над дорогими свечами, какое белое, снегово-белое, плыло белое знамя Богородицы.

И я увидел, как старые бабушки, старушки в черном — им не полагается в крестном ходу со свечкой идти, — жались они в проходе и все внучат счастливых своих, девочек, покрытых фатой, уряжали и прихорашивали — передавали им это знамя белое, которое и сами носили когда-то в свои счастливые годы, и плакали, за внучат просили Матерь Божию, за детей, за тех, кто идет на смену им, за весь свой великий народ.

Впереди меня стояли две барышни, так не очень казисто одеты, шляпки, поди, по франку, сначала-то я и не заметил, а тут увидел: и так они молились — сама держится за спинку стула и все ниже голову наклоняет и долго-долго так стоит, нагнувшись, прижмется лбом к спинке, и брови сдвинуты крепко.

И о чем это они так молились? и к знамени белому поворачивали голову и смотрели так, провожая белое знамя, чего они просили? или тужили о чем?

Трудно живется... Божия Матерь — белое знамя — Она и тут, Она у всех, Она Матерь Божия, Ее они просили

помочь: трудно живется, тревожно, — утром проснешься и подумать страшно, что-то ждет тебя, — неверные дни и часы, и минуты неверные. Дома что-нибудь случилось, болен ли кто, или свое, личное свое горе, неудача ли, беда ли настигла — пришла беда, Бог посетил! — да, да, так это, верно, а вынести-то трудно, помощи они просят, сил уж видно нет, посмотрят на знамя и опять опустят голову и в спинку стула уткнутся, да долго-долго так, словно и не дышат, нет, дышат, по спине видно — мурашки по спине бегают, видно.

Погасили свечи, поставил священник Дарохранительницу на престол, унесли и белое знамя, стал народ расходиться — все бабушки в черном, старые старушки, и я пошел за ними и как-то, точно в первый раз, — раньше-то, тогда-то я все диковинки смотрел, а тут людей увидел живых, и уже шел прямо, не таясь, не сжимаясь.

Трудно живется... Какой-то старик у Люксембургского сада едва слышно, от старости у него и всякий голос пропал, сипло выговаривал, а сам, поди, думал, что выкрикивает, название газеты — Биржовки нашей, и тут же кричали, словно их резали:

— Биржевая! Биржевая! — кричали на всю улицу.

И старика никто не слышал. Старик едва на ногах стоит, и куда он пойдет? — не покупают у него, и газет у него штуки три, куда ему деваться, на ночь глядя, ведь скоро ночь!

Трудно живется...

Нет, не проклятый, как свой, ходил я по улицам, я снова обошел все знакомые улицы, сызнова прошел Париж и там, у самых нарядных и богатых домов, где со всей земли собраны были диковинки, и в отдаленных кварталах у бедноты и нищеты, и проголоди всякой, и там, и там, столько попалось беды и такой тревоги, и такой измученности и тесноты, я взобрался на холм к Святому Сердцу — на версты тесно жались дома, и глиняные горшки на трубах торчали, как обрубки молебно простертых рук. И я вспомнил, как те две барышни, те у св. Сюльпиция, провожали белое знамя, и как похожи были лица их на эти дома, тесно прижатые друг к другу с обрубками молебно простертых рук.

1913 г.

СТРАННИК БОЖИЙ

Слышал я раз в трамвае, разговор зашел, — сел в трамвай так из мастеровых какой-то, видно, больной, и горло подвязано и лицо такое нездоровое.

— А доброе-то желание, по-вашему, куда же денется? Доброе желание не пропадет, — и уж совсем уверенно, это тот мастеровой своему соседу говорил, — конечно, куда же ему пропасть!

Раздельно и ясно, хоть и негромко говорил мастеровой.

Этим дело и кончилось, больше ничего я не запомнил, да и не вслушивался, и одно скажу, слова эти о добром желании, непропадающем, к душе относились, к бессмертию души, — вот как доказательство бессмертия ее и выставлял мастеровой это доброе желание, которое не пропадет: злое, значит, сгинет, а доброе — всегда, вечно останется, потому что Бог — добро, и пойдет оно, доброе, прямо к Богу, а Бог не может пропасть, Бог не пропадет, и душа не пропадет, бессмертная, как Бог.

Бессмертная она или не бессмертная, меня это не занимало тогда, и не в рассуждениях тут было дело, а в слове.

«Доброе желание не пропадет!» — эти несколько слов, сказанные мастеровым, и попали мне в самую сердцевину, — я дремал в трамвае после бессонных тревожных ночей, — зацепили меня и взбудоражили и к тревоге моей вывели.

Сколько уж дней и больших дней мучило и изводило меня и не находил я нигде пристанища с этим добрым желанием. Я на себе, на своих делах останавливался, и возмущался весь: ясно увидел я и почувствовал, что добрые желания мои не только не приносили людям добра, а каждый раз были тем узелком, откуда развертывалось большое зло, вред и мучения всякие и тем, для кого я хотел сделать добро, и самому мне, — дело, которое я делал, вело меня совсем не туда, куда я хотел. То хорошее, чтó хотел я сделать людям, делало им только дурное, и даже, к ужасу моему, вопиющее дурное: люди страдали от моего доброго. И я совсем спутался, совсем потерялся, я и не знал и не видел, откуда начинать следует и за что ухватиться такое, чтобы и из моего добра не зло, не

вред, не мучения, а добро шло. Повторяю, то доброе, что хотел я сделать, от всего сердца хотел сделать, приносило только вред, и этот вред был большим злом и для тех, кому желал я добра, и для меня.

Как же это так, думал я, доброе желание, искорка Божия, — Бог, ведь, добро! ведь, добро? — приносило вред, становилось злом и для того, кому я открывал источник Божий, и для меня, носившего этот источник, — из добра выходило зло? «Доброе желание не пропадет!» — мастеровой тогда в трамвае сказал, — а мое? Мое тоже не пропадет? А если не пропадет, то ведь и к Богу не примется? Разве Бог примет зло? Нет, конечно, не примет, — злу сгинуть суждено. И значит, я сгину. А мастеровой? Тот мастеровой трамвайный со своим добрым желанием, он останется? А что если доброе-то его желание от моего доброго не очень отличается, ну, чем поручиться, что оно другое? Значит, и мастеровой этот сгинет. И вот нас двое сгинут, две души человеческие. А у Бога, ведь, что две, что двадцать две, что два миллиона, все одно...

Впрочем, Бог с ним, с рассуждением, не умею я рассуждать, и если бы только в рассуждениях, в мыслях я запутался, было бы куда с полгоря, но я жил и делал — я действовал, и бросить свое дело, а дело мое было как раз помочь другому, передать то доброе, чтó, как думал я, лежало во мне, это дело — сердцевина моя, и я его не хотел и не мог бросать.

Отчаяние взяло меня, тьма какая-то несусветимая, я стал бояться всякого своего шага, когда шаг этот направлен был к цели моего дела, и страшно стало слов своих, скажешь, и жуть охватит, всего своего стал бояться, своего почину, и хоть дело-то делал, — без этого я просто и жить не мог, — не опускал рук, но оторопь такая брала, в глазах темнело.

Все это вспомнил я потому, что встреча, о которой рассказать хочу, поразившая меня, как раз отвечала на мой вопрос и отвечала не простым ответом, не первым попавшимся на язык словом, совсем наоборот: то, что услышал я, было совсем другим... разрешающим светом.

Я сидел на станции у лавочника Сергея Петровича и пил чай с нерабелью, — через улицу от вокзала лавочка Сергея Петровича: занимался он торговлей и промышлял

лесом. В гостиной, наверху, где мы чаи распивали, висел над диваном увеличенный с карточки портрет его, и со стены глядел Сергей Петрович совсем уж внушительно: еще не старый, крепкий, чуть с сединкой, и цепь на шее — пятнадцать лет прослужил он волостным старшиной. Всякое доверие и уважение внушал к себе Сергей Петрович. Хозяйничала дочка его, Таисия Сергеевна, миловидная тоненькая барышня и совсем не похожая на учительницу — в балете где упражняться ей было бы куда пристойнее, Таисия Сергеевна разливала нам чай.

Разговор шел всякий. Сергей Петрович говорил крепко и метко, — хотелось ли ему показать товар лицом и весь свой, виды, виданные им за свою деятельную жизнь, представить, или просто на сегодня в делах его удача выпала, и был он в ударе.

От хозяйства и всяких хозяйственных дел разговор перешел к политике и народу. Сталкивался Сергей Петрович и не с одним десятком, и, надо полагать, слов не бросал на ветер. Как блюдце с горячим чаем, таким вкусным после жаркого дня, подносил Сергей Петрович и народную мудрость: а и умный он человек, и умственный.

Тот, кто украл, — так выходило, — несчастный, а тот, у кого украли — дурак, все дармоеды, и только поп, нищий да странник — настоящие.

В трех словах укладывал Сергей Петрович суть всю и затем, развивая мысль свою, примерами поддваивал, словно проконопачивал крепкий сруб.

— Украл ты, вор ты пропащий, а запрячут тебя в кутузку, и ты уж несчастный, и уж пальцем тебя нельзя тронуть, а баранок и калачей тебе надо, жалеть тебя надо, негодяя, а тот, у кого украли, купец обкраденный, дурак, и, конечно, дурак: чего зевал, чего дал над собой мудрить всякому, эка, карман подставил, сущий дурак... Поп, батюшка наш, как ты ни верти, и пускай он и такой и сякой и пьянчужка и что хочешь, а без него нельзя, без него ни начала, ни конца нет, вся жизнь с ним, за его глазом: и окрестит, и повенчает, и похоронит. Без попа невозможно. И без нищего никакой жизни нет: нищая братия — обязательно, надо же человеку и о душе подумать. И страннику место есть, в слове Божьем о страннике сказано, и странник для души. Так? А по правде

вам сказать, — Сергей Петрович хлебнул горяченького, облизнул усы, — по-настоящему-то, настоящих-то и нет никого, все дармоеды.

И тут малость перегнул Сергей Петрович, сам на себя поклёп возвел! Мне припомнилось, когда шли мы с вокзала, около будки сидел нищий безрукий — одной руки совсем нет, а другая култышка, мы остановились, Сергей Петрович вытащил три копейки, мельче не оказалось, а положил он для души семитку дать, и говорит: «Копеечку сдачи?» — да чтобы долго не мешкать, сам в жилетку к нему и запустил пальцы, пошарил, вынул копеечку и мы пошли, и я видел, какое умиление и покой душевный сияли на лице его! Нет, перегнул малость Сергей Петрович, нищих-то он признавал за настоящих, о душе помнил, и, думаю, я, случись с ним грех какой — Сергей Петрович все в гору идет, с лесом дела растут, мало ли грех какой! — так он в духовной тысячу какую на колокол запишет, чтобы вызвонить свою душу из ада.

— Дармоеды, все дармоеды! — знай себе, твердил Сергей Петрович и не благодушно, а уж всурьез.

Батюшек я не раз встречал и очень хороших, большое добро сделавших народу, и понимаю, как без начала и конца трудно человеку, прямо невозможно, не всякий, ведь, вынесет простор бескончинный, это я понимаю, а насчет странников — вещь темная.

— А много тут по вашей местности странников ходит? — полюбопытствовал я.

— Этого народа, сколько хотите! И все им с рук сходит, — Сергей Петрович даже покраснел весь, словно бы осердился, а может, и не осердился, а такая пришла на человека точка, — дармоеды, разбойники, только мутят, народ губят, Россию погубят, они-то и погубят Россию! — другой тебе попадется и такой смиренник, и такой постник, и такие слова божественные, уши развесишь, прямо в угодники метит: «Затеплил — скажет — перед Господом Богом лампаду!» — и глаза опустит, а это запалил, значит, деревню спалил, вот какую лампаду затеплил, вот тебе какая лампада, дармоеды, все дармоеды!

Хозяйственный человек Сергей Петрович и хоть поговорить он не прочь, да видно, долго рассиживаться ему не полагается, может, он и осердился, что уж очень я

долго сижу за чаем, уж и вечер стал и в комнате засумерилось, пора Сергею Петровичу в лавку, пора по хозяйству наведаться.

Допил я, не знаю который, стакан, без счета пили, стал прощаться.

Таисия Сергеевна, дочка Сергея Петровича, вышедшая во время нашего разговора, тут вернулась:

— На дороге у школы, — сказала она, — странник стоит, очень чудной, хотите посмотреть?

Признаюсь, когда она это сказала, мне вдруг страшно не захотелось никаких странников, а идти бы мне прямо домой, пока доберусь, пока что, — жил я в пятнадцати верстах от станции в усадьбе, и хотелось дома одному посидеть в своей комнате, но потом раздумался, простился с Сергеем Петровичем, поблагодарил и вышел за Таисией Сергеевной.

Издалека еще увидел я народ, много было народу, но ни шума, ни гама не слышно было. И чем ближе я подходил и чем яснее разглядывал лица, тем тише становилось, а и без того был тихий вечер.

И скоро я увидел его.

Тесно, но не близко стоял народ, впереди ребятишки, потом бабы, и стояли молча — никто не решался заговорить, стояли тихо и смотрели, и было так, будто он совсем далеко и, если скажешь, все равно, не дойдет до него твой голос, и оттого можно только смотреть и ждать, — не подойдет ли поближе! — только смотреть и ждать.

У изгороди стоял он и тоже смотрел и смело так и с тем правом своим, которого из всех нас никто в себе не чувствовал: в парусиновом хитоне — в ряске, в черном суконном плаще, без шапки — и волосы по плечи, чуть взбиты, на ногах сандалии, большой крест на груди и в руках посох, — лицо было совсем молодое, только изнуренное очень, левой рукой он держался за изгородь, чуть наклонясь, и рука его казалась необыкновенно белой, не рабочей, белая такая, — у простых не бывает.

Когда я подходил к нему, я уж делал усилие над собой, а когда подошел и стал лицом к лицу, страшно стало, как я заговорю с ним. И заговорил, и он ответил мне, и так улыбнулся такою улыбкой, — я подумал:

«Боже мой, да это одно самое доброе желание и засветилось в этой улыбке его!»

Ребятишки поближе подвинулись. Народ не расходился, еще и еще подходили, еще теснее стало, стояли молча, смотрели, прислушивались, и видно было, что улыбка его не только светит...

Начал я с расспросов, о старцах расспрашивал, где нынче старцы у нас спасаются и много ль их и как отыскать их. И он мне толково рассказал о всяких пустынях, и всякие дороги объяснил, до тропочек, — прямо, прямым путем доведут, куда хочешь, и имена назвал старцев, о которых я до тех пор ни от кого и ничего не слыхал. От старцев перешел разговор к тем лицам, шумевшим за последние годы по России за свою святость — тоже старцы, чьи имена всякий дурак знал.

— Рано за дела принимаются, — сказал странник, — все чудеса хотят творить, а вместо чудес, смотришь, один вред выходит, и себе вред и другим. Ты сперва Бога в сердце прими, и тогда одно Божие будет в сердце, и уж никому не будет вреда.

И опять сам перешел, но уж к своим старцам, которым закон не лежит, а потому не лежит, что приняли они в сердце Бога и творят волю Божию.

— Товарищ мой в послушание к старцу пошел и живет так, ему так и надо жить у старца, а вот я хожу... расточаю! — и опять улыбнулся и через улыбку его прошло столько добрых желаний, и хотелось просто, ничего не спрашивая, только смотреть, как смотрели ребятишки, смотрели бабы, старики и старухи, смотрел народ.

— Что же это такое расточать? — спросил я.

— Божьи дары расточаю, — сказал он, — сердце надо очистить, вернуть Богу дары Его, и уж в чистое сердце Бога принять... и тогда одно Божие будет в сердце твоем, и уж от дела твоего никому не будет вреда.

Я хотел и еще спросить, хотелось мне знать, как же так вернуть Богу дары, и много ль даров и как поступить с теми дарами, которые Богом благословенны, ну, с милостыней и милосердием, их тоже вернуть? и детей? и любовь вернуть? — а не решился спросить, молча стоял и смотрел.

— Кваску бы мне испить! — весело вдруг сказал странник, и немного подвинулся от изгороди к народу.

И какой-то парень бросился в школу и, не прошло и минуты, в обеих руках тащил полный ковш квасу.

Не торопясь, принял странник ковш, отпил большой глоток, и тут заметно было, как сильно мучила его жажда, но больше не притронулся, рукою вытер губы.

— Квас, да не про нас! — сказал странник и посмотрел, и отступили все.

И он пошел, не обернулся, по дороге пошел по нашей, по просторной, и твердо и легко ступал по земле один со своим посохом, странник Божий.

1913 г.

СПАСОВ ОГОНЕК

— В Петербурге Бога нет! — сказала это мне одна немолодая, но и не так уж старая женщина, от испуга, от трудной жизни постаревшая.

Смолоду жила она в достатке, в Ярославле жила, живала и в Костроме, и везде был Бог, везде она находила Бога, а под старость лет попала она в бедность и пришлось ей в Петербурге прислугой служить, да не так, как по-настоящему, на настоящее-то сноровки нет, пришлось поденную работу брать, во временные записаться — «пока господа себе приищут подходящую». И как начала она в Петербурге эту временную свою службу, вся согнулась и Бога-то уж и не находит, — там, в Ярославле, где свой домишко был, Бог есть, остался, и в Костроме, где живала она у родственников, тоже есть, а в Петербурге нет.

— В Петербурге Бога нет! — скажет и сейчас же Ярославль с Костромой вспомнит, все вспомнит и заплачет, горько так: там мужа похоронила, там и детей схоронила, там родственники и знакомые и все перемерли, и уж нет в живых никого, там и Бог, а в Петербурге одна, как есть одна, и могилок родных нет, и в больших трудах, и Бога нет, вспомнит и заплачет, и плачет горько и утешить нечем, ну чем же утешишь?

«В Петербурге Бога нет!» — признаюсь, и я так думал, только совсем по-другому. Я по-книжному гадал: Петербург на болоте стоит, всем известно, в Петербурге туманы, почитай, круглый год, и сам Петербург, что туман, — придет час, нежданный и негаданный, и, как сон, все рассеется, одни болотные кочки останутся, какой уж там Бог! В Москве есть, в Киеве есть, в Ярославле и в Костроме есть, а в Петербурге нет, и вместо Бога туман.

Неужто только и есть, что туман?

Стал я доискиваться да докапываться, смотрю, а у нас в Зимнем дворце, в церкви мощи — Ивана Предтечи рука, государю Павлу Петровичу рыцари в дар прислали: рука долго нигде не находилась, потом нашлась и от рыцарей к нам попала, и по сие время у нас, в Петербурге во дворце хранится. Как же так, туман, болото, туман, а такая святыня — самого Христа крестила рука!

Неужто только и останется болото, гнилое болото?

Стал я прислушиваться и среди народа нашего, того слоя его, и, может быть, самого глубинного, голубиного услышал я совсем другой стих и другая слава о Петербурге шла:

Свет ты наш, преславный Питер-град,
Ты прибежище Христу был вертоград!

Как же так? Народ русский голубиный всеми словами выговаривает, а мы туманы, болото, туманы видим, твердим о запустении, о пропаде нашем, одну гниль разглядели, огоньки болотные!

Ярославская старуха, от жизни своей, от испуганности состарившаяся, в испуганности своей не видит Бога, здесь, в Петербурге, не увидела, — все у ней было и всего лишилась, но Бог-то не оставит ее, душу ее никогда не покинет, она Бога не видит, в скорбях не увидела, от скорбей своих, а Он-то и есть с ней, и плачет она, потому что не видит, потому что вспоминает, как видела когда-то — все у ней было и вот всего лишилась. А мы в отчаянии нашем только туманы увидели, наше отчаяние... и нас, отчаявшихся, не оставит нас? задыхающихся нас, в нашей тяготе сердечной, в жутких болотных огоньках?

На Страсти пошел я в Казанский собор. Попробовал с Невского, не протолкаешься, зашел с Казанской, — тут попросторнее. Купил я себе свечку, подвигаюсь вперед, поближе, и понемногу до колонн добрался, тут, у колонн, против чудотворного образа Божьей Матери Тихвинской и стал у подсвечников.

Читали евангелие — двенадцать евангелий. Стоял я со свечкой, и все страсти живо из живых евангельских слов живо и ярко проходили передо мной, будто живых людей видел я и близких, и таких знакомых мне...

Иуда — «он первый у Христа ученик был» и предал Христа и вдруг все понял и ужаснулся, швырнул эти проклятые деньги — кровь на них к рукам прилипала! — и пошел, а куда идти ему? — за смертью пошел — один конец! — за смертью пошел, а смерти-то и нет ему: к речке прибежал, река ушла, в лес прибежал, наклонился лес, — кто же его избавит от этой ужасной, от этой черной нестерпимой жизни? Христа на крест повели, спрашивают Петра, ведь, он знал Христа? «Не знаю такого, ничего не слыхал про такого!» — отрекался Петр от Христа своего, и как понял — ведь еще совсем недавно клялся-то как: и пусть все соблазнятся, он не соблазнится никогда, и пусть лучше помереть ему, не отречется никогда! — и отрекся, и вот понял и горько заплакал, пошел — не вернуть уж! — куда глаза глядят, без дороги пошел, и три дня плакал во рву, в придорожном овраге, не мог от горя подняться и глаз поднять, — кто же подымет его из его черного рва? Матерь Божия Богородица у креста стоит, видит Сына, — Сын висит на кресте, видит муки Его и не может помочь, а нет горя темней и безысходнее бессилья этого, и упала она, и замешались в ней мысли. И вот в ее ночь, в эту темь истерзанного, отчаявшегося сердца, когда последние звезды погасли, вновь стал перед ней архангел и подал ей ветку и звезду с неба, и снова увидела она Сына, своего Бога.

У Божией Матери много свечей, все ставят, — полный подсвечник, тоненькие свечки тают, быстро так сжигаются, и на их место другие ставят, и тоненькие и большие, — не обирают свечей.

И вижу я, у стенки, прислонясь к краю образа, бабушка, а под образом, на приступочке, Петька уселся, внучонок.

Бабушка еле-еле держится, трудновато ей — страсти долгие, а стоит и свечку свою не гасит, и свечка у ней такая тоненькая, как те, что тают на подсвечниках перед Божией Матерью.

Петька, вижу, мастерит что-то, вытянул губы, — старается, пальцами работает. Это Петька из сахарной бумаги фонарик прилаживает — для бабушки фонарик, чтобы ей огонек ее донести до дому. А себе он и не такое сделает.

Стоит бабушка у стенки, прислонилась к краю образа. Каждое слово от нас слышно, внятно читают Евангелие, громко выходит, но бабушка слышит ли чтó? Платок на ней теплый, уши закрыты. Сердцем бабушка слышит: хлебнула она на своем веку горя, бабушка слышит, и полны глаза в слезах. А видит ли чтó? Видит, она сердцем сквозь слезы видит, и молит, не о себе она молит, о внучонке, о Петьке — перед ним, несмышленым, вся жизнь! — о сыне, о племяннике пропащем, — и трудно, и опасно жить стало, не ровен час...

А Петька смастерил фонарик, да под картуз его — вот удивит бабушку! — стращал пострел давече, что огонек у ней задует, огорчил бабушку, а тут ей фонарик, получайте, вот обрадуется бабушка! — под картузом фонарик никуда не денется, и сам за другую работу принялся.

Свечка у Петьки, как и у бабушки, такая же тоненькая, и останется от нее под конец всенощной так огарышек маленький, Петька об этом обо всем сообразил и подумал, да тихонько с подсвечника от Божией Матери те тоненькие свечки, чтó тают, и стал потаскивать: ловко так протянет руку, будто поправить свечку, а сам и стянет, да все к своей, все прикладывает к своей тоненькой, и уж не тоненькая она у него, вот такая! — и без всякого фонарика не загаснет, и дуй, какой хочешь, ветер, не задует и ветер.

«Фонарик бабушке, пускай ее себе в фонарике донесет свою тоненькую, а у меня вот какая, саженная!» — и Петька доволен, знай, работает.

Кончились евангелия, и все двинулись к выходу, не потушили свечек, — пошел народ по домам со свечами, тихо, не торопясь, бережно хороня огонек. И мне пора было к выходу, да пообождал немного, бабушку пропустить с Петькой.

Впереди шел Петька, важный такой, нес свою свечку, и хоть коротенька была, да объемиста, пальца в два, такая! — шел Петька, крепко шагал, растопыренной розовой ладонью огонек застил, а за Петькой бабушка шмыгала с фонариком: тоненькая свечка ее так и таяла, там тоненький огонек теплился, — уж и рада она была фонарику, удивил Петька бабушку! — и слезы поблескивали на ее морщинках от огонька тоненького.

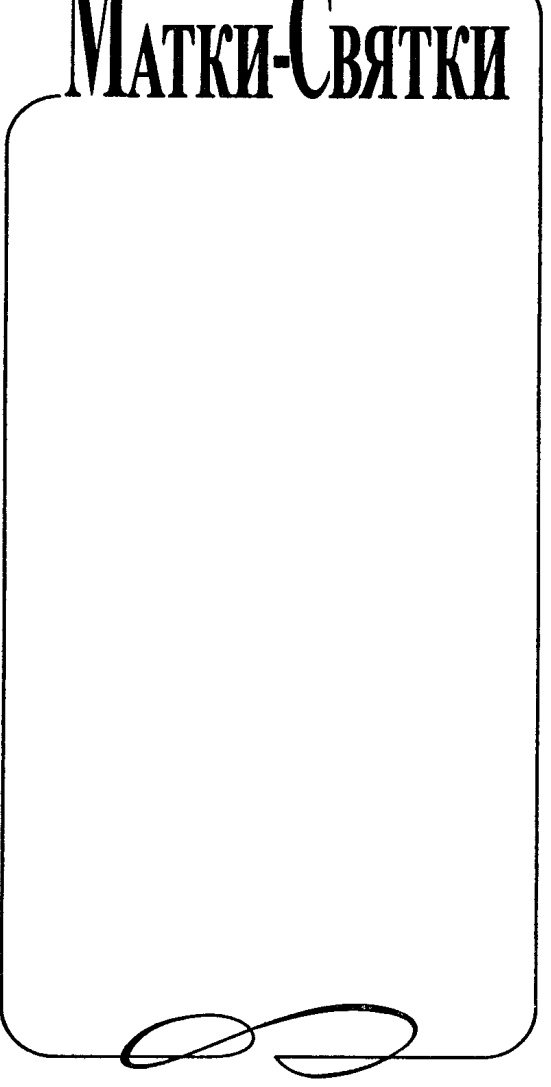
Донесут огонек и Петька, и бабушка до самого дома, до Вульфовой улицы, через мосты, через Неву-реку пронесут, ничего, ничего и ветер не поделает, сохранят святой огонек.

Вся площадь дрожит в огоньках, — тихо, степенно шел из церкви народ, разносил по домам спасов святой огонек.

Россия горит! Там по простору звездному над просторной русской землей огненной Волгой протекло уж шумящее грозное зарево, Россия горит! Спасов страстной огонек сохранит ее, не погибнет русский народ. И если уж Богом положено и суждено нам погибель принять — пропасть России, русский народ и на смерть свою пойдет с огоньком, и страстной огонек доведет его, огонек сохранит его, душу его. И пусть мы разбиты, пусть мы осмеяны, пусть мы потеряны, спасов страстной огонек сохранит душу и родимое имя России.

1913 г.

Матки-Святки



ПАВОЧКА

1

Всякому человеку надо, чтобы кто-нибудь им восхищался.

Переберите вы всех ваших родных и знакомых, осмотрите их жизнь повнимательнее — и уж непременно заметите, что у каждого кто-нибудь да найдется, такой приятель, которого он держится, а держится потому, что тот приятель его в восхищении по пятам за ним ходит. Вот почему. И всякие другие объяснения — ложны, и объяснять такую связанность человеческую перевоплощением нашим, как это вздумал один верующий в перевоплощение знаток, значит — не больше, не меньше, как пальцем попасть в небо. Ну, посудите сами, ну, я, скажем, друживший с Корявкой, — Корявка от нас через дом, департаментский чин архивный, — я будто бы в прошлом воплощении был Баба-Яга, а мой Корявка для меня — лакомым чем-то, вроде петушка, я его, петушка, Корявку лакомую, съел, и вот будто бы по тому-то по самому Корявка за мною и ходит, а я его не только что не гоню, хоть он мне и совсем ни на что, напротив — я его еще и приваживаю. Нет, связанность моя с Корявкой не потому, а как раз по-моему, поэтому — по причине страсти восхитительной.

Последний актер, третьестепенный писатель, завалящий художник — вся эта ослá бритве и соль земли, всякий развлекающий публику, и будь ты оборыш и подонок, а и для тебя в той же самой публике кто-нибудь да найдется, хоть один, кто на тебя вот так посмотрит, как на меня когда-то смотрел Корявка. Да и всякий и не актер, и не писатель, и не художник, а человек, просто человек живущий — не ломающийся, а глазеющий, не

болтающий, а впитывающий болтовню и вздор и нередко сам сообразно поступающий, не мажущий мазню, а приглядывающийся к ней, словом — огромное большинство вовсе не мнящих себя ослóй бритве и солью земли,— ваш покорный слуга, ваш сосед, первый встречный, все равно кто, все равно, а не мог бы и дня прожить или, пожалуй, и мог бы, но как! — как тускло, как безрадостно! — не будь при нем хоть кого-нибудь, кто бы изредка, по большим праздникам, что ли, по двунадесятым, а восхищался им, не будь приятеля, ну, хоть не так смотрящего, как на меня Корявка, а почти... почти что так.

И наш Иван Александрович, вовсе никакой художник, Иван Александрович надворный советник и кавалер, Иван Александрович Галузин, муж кроток и молчалив, при всей своей замкнутости и тихих и нетихих секретных привычках, не буяв и не величав, а имел-таки себе поклонника, и таким восхищающимся петушком лакомым был подлец Корявка, променявший меня не за ломаный грош. И Иван Александрович был вполне доволен.

А Павочка... Павочка и представить себе не могла, чтó бы такое было, если бы не восхищались ею. Стоило только на час какой оставить ее одну — и такая вдруг нападала тоска на нее тоскущая, ей Богу, будто уж в мире на сырой земле ей и места-то не оказывалось, и такой несчастной, такой покинутой становилась она, ей Богу, смотреть жалко! И уж для нее, будь ты хоть Лихом-одноглазым, будь самим бесом Зефеусом, да чем угодно, а только повосхищайся — и будешь хорош, и будет все хорошо.

Павочка такая... — ну, как назвать? — она и не из крупных, малюпуська, курносенькая, знамечко тут на шейке и пустой-препустой лобик, — девчонка. Я лучшего ей названия не могу придумать: девчонка, только заметьте, совсем это не в каком-нибудь таком смысле — девчонка! В животном мире среди кошек, милых наших мурок попадаются ну такие кощенки, — вот подходящее, вы представляете? И, где хотите, ее можете встретить и в трамваях, и на гулянье, и на лекциях, и на вечерах, и в театре — она непременно в каком-нибудь таком платьице необычайном, вся розовенькая, на каблучках и такой препустой-пустой лобик, а вокруг нее франты с лошадиными лицами — зародится же, прости Господи, народ такой, с

лошадиными! — а то старичок, старикашка тоже семенит... думаешь, что так, а окажется — му-уж, — вот и поди! Да, где хотите, с кем хотите, где угодно вы ее можете встретить, она вам в глаза первая бросится.

— Экая,— скажете,— девчонка! — и рот до ушей пойдет.

Тоже и там бывают, я намедни встретил и не ночью, а среди бела дня... на Суворовском у нас, как-то в будний день иду и вижу, идет, зимой было, ничего, все, как следует, по-зимнему: ротонда на ней — коза ангорская такая пушистая белая... да не идет, это мы с вами идем, а она — экая! — она знай себе по морозцу-то приплясывает.

— Экая шельма девчонка! — не удержался, сказал кто-то, и не очень тихо, а весело, за всех.

— Злая она?

— Нет.

— Добрая?

— Ну, как когда.

— Какая же?

— А думаю я так и скажу вам словом Корявки, сколь разумею от моего безумия и ума забвенного, случилось важное какое мировое открытие, ну, нашли бы верное средство, предупреждающее нечаянности — несчастия с людьми, там где-нибудь на Пулковской обсерватории по звездам вычислили бы, и все до точности, и само собой до точности дознались бы, при каких таких житейских условиях средство это действовать будет, нечаянности предупреждать, и, скажем, так, что по условиям этим потребуется пост всемирный — должны будут люди в известные сроки и одновременно налагать на себя пост, или еще чтó внешнее потребуется, например, какой-нибудь танец глупейший или просто ломаться и кривляться, как дети, и опять же в определенный час, и чтобы все без исключения, как один, и, стало быть, как видите, все дело, суть всех условий сведется к некоторому непременному и неукоснительному исполнению какого-то там обязательного для всех постановления, и думаю я, что, ввиду важности открытия, любой и самый крысиный из самого крысьего подполья лишил бы себя удовольствия чаю попить с баранками (баранки, конечно, бублики с маком;

чтó с маком, чтó без мака, цена одна, мак — даром!), да и самый поперечный наложил бы на себя пост всемирный, подчинился бы этому всеобщему обязательному для всех постановлению во имя такого громадного или, как говорят нынче, золотя дутые всякие пустяки, такого колоссального всеобщего блага (не забывайте, нечаянности несчастные будут устранены!), но вы не дождетесь и будьте уверены, что вот такая... девчонка такая это обязательное постановление ваше обязательно нарушит, и просто так и совсем не со зла нарушит и совсем не от своей отделенности милой и веселой, не говорю уж от крысинности — никакой крысиной подпольности ни личной поперечности в ней и помину нет: она вся открытая, и в этом смысле чиста, как чисто серебро разженное, нет, нарушить так, просто так себе. И ты ей хоть лобик ее пустой прошиби, чтó возьмешь? — толку не добьешься, она только горько заплачет... впрочем, на такую и рука не подымется: ведь будь на ее месте какой с лошадиным лицом, в таком роде что-нибудь, тогда, может, вгорячах, в злости, из ревности к благу общему и за свою шкуру, да и от досады просто, и не удержишься, не совладаешься с собой да по виску его и кокнешь, но Павочку — не-ет, я не могу, да и вы не можете, конечно!

Иван Александрович, такой молчаливый — муж смирен и кроток! — потупляющийся при встречах, так что и глаз-то его путно никто не видел, какие они, а вот оказывается, лунатические, вот какие! Иван Александрович с некоторых пор, а вы, конечно, догадываетесь с каких, эти загадочные лунатические свои глаза перестроил на восхищающиеся. И в то же самое время от Павочки только и слышно стало, что об Иване Александровиче.

— Иван Александрович — Иван Александрович — Иван Александрович!

Иван Александрович исполнял все, чего только ни пожелает Павочка: он доставлял ей всякие билеты на всевозможные развлечения, ну, куда только она хотела, он делал все, лишь бы угодить Павочке.

И это у всех на глазах и в живой памяти, и началось без году неделя, и началось при обстоятельствах весьма странных.

2

У Ерыгиных только и говорили, что о шагах таинственных.

Из ночи в ночь слышались шаги в коридоре: кто-то с большой осторожностью проходил по ковру в коридоре от гардероба к окну и обратно. Кто ходил и зачем в такой полуночный час и жуткий — терялись в догадках. А в сущности-то говоря, некому и незачем ходить было, и вот кто-то ходил, кому-то надобилось, и Бог знает, для чего в такой жуткий полуночный час.

Слышал шаги Миша, слышала Веточка, слышала сама Миропия Алексеевна.

— Воры?

— Какие же воры! Все было цело-целехонько, и хоть бы шпилька с пола пропала.

— Прислуга?

— И опять нет, — ну, зачем прислуге таскаться в такой час и в таком непоказанном месте? — прислуге ночью не до гулянок! И притом всех спрашивали, и даже не один раз, и никто, конечно, ничего не знает, и не ходил, и не слыхал, — спят крепко.

— Может, у вас в коридоре?.. — пытались сочувствующие деликатно разрешить ерыгинское недоумение и уже сразу покончить со всякой таинственностью.

— Ничего подобного! — даже обижалась Миропия Алексеевна: ее хоть и больше всех беспокоили эти шаги, нарушавшие долголетний мир ее ладной мирной дачи, но такое чересчур житейское объяснение ведь не оставляло ровно ничего от всей таинственности, как-никак, а события знаменательного.

Иван Александрович, гостивший на даче у Ерыгиных, спервоначалу-то ничего не слышал, никаких таинственных, ни нетаинственных шагов, не слышала и Павочка, двоюродная сестра Ерыгиных, тоже гостившая в Павловске. Но и Иван Александрович и Павочка так же мало были к шагам причастны, как и сама Миропия Алексеевна.

— Кто же?

— Кто ходил ночью по коридору?

— Это ты, Миша? — решилась-таки из последнего своего отчаяния бедная Миропия Алексеевна спросить сына: может, Миша подтрунивает над нею и над всеми?

Миша непременно бы обиделся, будь с его стороны и вправду хоть что-нибудь нечисто, но тут и по правде все было начистоту: он и не думал ходить по ночам пугать дом, он себе сам ломал голову не меньше самой Миропии Алексеевны, и не меньше Миропии Алексеевны ему самому хотелось дознаться, разрешить наконец эту ничем необъяснимую таинственность: а ведь быть того не может, чтобы не было виноватого! Миша — правовед, нынче перешел в первый класс, и таинственность ему не по положению.

— Да позвольте, — нашлась Веточка, — Веточка за зиму начиталась всяких книжек о всяких таинственностях, и ответ у нее был готов: — да все это очень просто: это астральное тело ходит!

— Астральное?

— Конечно, астральное, а больше некому, — Веточка была права.

И все с Веточкой согласились, и на некоторое время о шагах как будто и забылось. Но это не так: чем ближе подходил вечер, а за вечером белая ночь, тем вспоминались шаги больше, и уж никакой и самый из всех правдоподобный ответ не мог успокоить.

И пусть ходило тело астральное, но чье? Кому оно принадлежало? Кто ходил?

— Чьи же шаги? — спрашивала Миропия Алексеевна и от своего вопроса впадала в еще большее беспокойство, и какими невозвратно-счастливыми, какими невозможно-приятными представлялись ей все те прошлые дни — начало Павловского лета, и она, избеспокоившись, уж решалась просто сняться с насиженного летнего своего гнездышка и по-осеннему вернуться в Петербург на свою зимнюю Французскую набережную, — она не могла больше слышать из ночи в ночь повторяющихся, ничем необъяснимых, полуночных шагов.

А Миша свое думал.

«Вот подкараулю, — думал Миша: — Внезапно настигну, хвать — и поймаю с поличным!»

С тем Миша и ложился в кровать с этой хватальной мыслью, и когда подходил час шагов астральных, эта хватальная ночная мысль не покидала его, но он не вставал, а с замиравшим сердцем прислушивался, потом,

овладев собой, закуривал папироску и курил, пока не затихало.

Услышал наконец шаги и Иван Александрович, услышала наконец шаги и Павочка.

Павочке было очень страшно, но любопытство в ней загорелось сильнее страха. А Иван Александрович сперва проверил: слышит он или так ему кажется? — и для этого, хоть и белая ночь, зажег свечку, и оказалось, точно слышит, кто-то ходил по коридору, слышит, слух его не обманывал. Конечно, никакое астральное, а самое настоящее осязаемое тело о двух человеческих ногах, и не мертвое; таинственные явления допускал Иван Александрович исключительно и только в крещенские вечера, а кроме того, держался того убеждения, что вообще мертвое тело ходить и говорить не может.

После завтрака, когда Иван Александрович по обыкновению вышел прогуляться в парк, а Ерыгины остались одни, и само собой и Миропию Алексеевну, и Мишу, и Веточку, и Павочку — всех занимал единственный теперь вопрос о шагах.

— А я знаю,— сказала Павочка,— кто ходит!

В другое бы время никто на Павочку и не обратил внимания, но тут ловили всякую разгадку, и все, как один, отозвались:

— Ну, кто же?

— Да Иван Александрович! — улыбалась Павочка своим алым ротиком.

— Чтó за вздор! Иван Александрович...

— Да ведь он же лунатик!

— Лунатик?

— Конечно,— улыбалась Павочка,— и глаза у него лунатические.

А перед обедом к Миропии Алексеевне заходила экономка Оня, женщина хоть и под пятьдесят, а с большой игрою, и шепталась с барыней не о пьющем поваре, а о проклятых шагах полуночных — их уж все нынче слышат, вся прислуга и даже сам пьющий Семен-повар,— и думает она на барина, что чужой это барин, никому другому.

— Очень они молчаливы,— шептала Оня,— и говорят тихо!

И за обедом все особенное обратили внимание на Ивана Александровича, на его глаза особенно, и хотя глаза Ивана Александровича, если уж по правде сказать, ничем особенным и не выдавались — ни выпуклостью своей, ни ресницами — сомнения ни у кого не было, что глаза лунатические. А вместе с глазами поставлены ему были на вид и молчаливость его и его необыкновенно тихий голос. Конечно, Иван Александрович — лунатик, и, конечно, это он ходит ночью,— тут и говорить нечего, и спору нет. И уж как последнее и самое веское доказательство, принято было во внимание то обстоятельство, что ведь только один Иван Александрович шагов не слышал, когда весь дом, все слышали, и даже пьющий Семен-повар, а потому не слышал, ну, потому, что сам и ходил. И, надо сказать правду, тут Иван Александрович сам в грех ввел: и почему ни словом не обмолвиться хотя бы о своих ночных проверках? И когда заходила речь о догадках, небось, сидел, словно воды в рот набрал! А раз так — пеняй на себя.

С этих пор отношение к Ивану Александровичу естественно изменилось, при нем держались как-то навытяжку, неестественно, стали к нему необыкновенно внимательны, а посматривали очень не без тревоги: лунатик ведь не только может ходить по коридору в часы непоказанные, лунатик может и не по коридору, а по всяким местам прохаживаться опасным, по карнизам; но это еще с полбеды, главное же то, что лунатик может такую штуку выкинуть самую неожиданную, какое угодно преступление и самое зверское совершить может в своем лунатическом виде, и совсем безнаказанно.

Что́ говорить, положение Ерыгиных, пригласивших к себе на дачу погостить такого странного страшного гостя, было не из завидных.

— А разве раньше-то за Иваном Александровичем никто-таки ничего такого не замечал?

— Никто ничего, даже и думать-то не думали.

— Как же так?

— Да так, видно, случая не было.

Больше всех упрекала себя Миропия Алексеевна за оплошность свою — она и пригласила Ивана Александровича, и она первая всем и каждому его расхваливала,

его скромную молчаливость и особенный, действующий благоприятно на нервы, успокаивающий его голос! — и встревоженные глаза ее выдавали.

Не отличавшийся особо выдающимся чутьем и проникновением, Иван Александрович понять хоть и ничего не понял, однако забеспокоился. И еще больше забеспокоился, когда заметил, что с некоторых пор при его появлении как-то загадочно примолкали и уж очень усиленно справлялись о здоровье, и притом у всех было в глазах что-то и участливое, а вместе и тревожное.

И все это в конце концов приписал Иван Александрович угнетающим ночным шагам, о которых, само собой, продолжал из деликатности отмалчиваться.

«Конечно, перед ним, как гостем, Ерыгиным было неловко, вот они и старались как-нибудь да загладить эту свою неловкость!» — так соображал Иван Александрович.

Но соображение это мало в чем примирило его: он беспокоился, он, как и все в доме, ночь спал плохо, он все прислушивался, его, как и всех, шаги изводили, и как всех, заполняла одна хватальная мысль: подкараулить виновника, если таковой действительно имел образ человеческий, т. е. пару ног, пару рук обязательно, и венец-голову, да, подкараулив, и поймать.

А в то же самое время Ерыгины и с ними Павочка свое твердое и неизменное положили решение, уж во что бы то ни стало, а подкараулить... Ивана Александровича.

И в дом вошло что-то заговорщицкое, подозрительное, какое-то наступило осадное положение: что-то очень уж все молчаливы стали, рано стали расходиться по своим комнатам и затихать как-то особенно, подозрительно, и хоть спать и ложились, но и бесчувственный почувствовал бы, что никто и не собирался спать.

Если бы только знал Иван Александрович, что дело все в нем, что его подозревают, да уж не подозревают, а уверены в хождении его ночном, да он вопреки всей своей молчаливости и замиравшему, действующему благоприятно на нервы, успокаивающему голосу, нашел бы в себе и вопиющий глас и разговорность щечи́лы. Но откуда ему что́ знать? И, улегшись в постель и на минуту замечтав о тихом летнем сне, он вдруг поднялся и притаился у двери.

И в то же самое время соседи его, тоже бесполезно провалявшись на кроватях с отчаянной мыслью о сне приятном, поднялись к своим дверям на караул.

И вот около полуночи послышались шаги... и не одно сердце упало от нетерпения.

Иван Александрович, по собственному его наблюдению, раньше других услышал шаги: он услышал их еще издалека от окна, широкие медвежьи, и тотчас выскочил в коридор — и никакое астральное, никакое тело мертвое — здоровенный парнюга, новый ерыгинский садовник Григорий пробирался по коридору к комнате экономки Они, вот кто! И быть бы бычку на веревочке, уж готов был Иван Александрович сцапать Григория и вдруг, как вкопанный, стал: прямо против него в таком же ночном, как и он, виде, стояла у своей двери Павочка, раскрыв свой алый ротик.

Никаких таинственных историй Иван Александрович за собой не знал, если не считать единственного случая, оставшегося памятным ему и через много лет. Однажды вечером — это было в Малороссии летом — Иван Александрович попал на ярмарку и, переходя от одной палатки к другой и рассматривая всякие ярмарочные диковинки, дошел до цыган. У шатров чадили костры, видно было, уж готовились на ночлег, и он пожалел, что поздно: песен ему не послушать и на цыган не поглазеть, и вдруг увидел перед собой цыганку, она перед ним точно из-под земли выросла:

— Дай твою руку!

И так это неожиданно, что Иван Александрович готов был не одну, а обе свои руки отдать в темную цыганскую руку. Что-то приговаривая, чего и не поймешь никак, цыганка потянула его руку к себе — к груди, увешанной золотом, и выше, к подбородку. А лицо ее — лицо ее чем-то жуткое, словно выточенное — и ничем не возьмешь и ничем не покоришь, как восковой, мертвый лоб, а глаза ее непреклонные, она глядела в упор, не на руку — она его и руку взяла, чтобы только мучить в своей руке, довести до губ и отпустить. Измученный, стоял он... или так всю жизнь и стоять бы ему, или уж вырваться, затеряться в подвыпившей ярмарочной толпе?

— Позолоти ручку! Позолоти ручку! — настойчиво повторяла она и безусловно, и отпускала руку его, и опять подводила к губам, и чуть-чуть касалась губами.

И никуда он не убежал, а полез в карман за кошельком. И когда звякнуло серебро, — цыганята, цыганки, и молодые и старые, почуя добычу, повыскакали из шатров и, галдя и гакая, наваливались на него, и чьи-то крепкие руки и теплые обняли его сзади.

— Хочешь, я тебе на двенадцать жил пропляшу, хочешь? — дула в ухо цыганка, но он не видел ее, он только ту видел, свою, неподступную и непокоримую, свою Машу.

Вот единственный случай таинственный: цыганка Маша.

И теперь, когда в доме всякие шаги утихли, а от тех изводящих и следа не осталось, Иван Александрович, засыпая, почему-то вспомнил этот таинственный свой случай, свою цыганку Машу, ее глаза непреклонные, и она такая одна, ни на кого не похожая, Маша слилась в воображении его с Павочкой, розовенькой и курносенькой, с своим милым знамечком и алым ротиком, — и Бог знает о чем замечталось Ивану Александровичу. Ему хотелось, чтобы и опять шаги услышать полуночные и опять встретить Павочку, как стояла она в коридоре у своей двери с раскрытым алым ротиком! И только под утро, совсем размечтавшись, заснул сладко наш Иван Александрович, а снилась ему канитель и чепуха всякая — снился экзамен по математике: вынимает он из кучки билеты, а билеты будто все листы ветчинные.

Не листы ветчинные-билеты, свое снилось Павочке такое леньливое: ей снился мохнатый бок, серый, светящийся — спрячется и покажется, а ни головы, ни передка, ни задних ног, один этот бок, серый, светящийся — спрячется и покажется. И проснулась Павочка, день уж стал, а ей хотелось и еще поваляться, потянуться, помечтать о чем-то, и вспомнила об Иване Александровиче. Вот интересно! Вот и ей пришлось увидеть: лунатик настоящий, может прохаживаться по всяким местам опасным, по карнизам, и вовсе не страшно! Вот будет интересно! И она скоренько поднялась.

А еще с утра, когда все спали, Миропия Алексеевна творила суд и расправу. Повинилась экономка Оня: она

и сама не знает, чтó у нее в голове! И садовник повинился Григорий: погубила его Анисья Семеновна! Так все было выведено на чистую воду. Миропия Алексеевна осталась очень довольна и всем простила.

И хотя теперь все было ясно, и о таинственности не могло быть и речи, а стало быть, и подозрения всякие о лунатическом хождении Ивана Александровича сами собой пали, — убедить Павочку, что это так, а не этак, было невозможно, и для Павочки навсегда остался лунатик — Иван Александрович — лунатик!

3

Павловская дача к концу лета осиротела. Ерыгины уехали в Карлсбад и с ними Павочка, а Иван Александрович в Петербург переехал к себе на Пушкинскую.

Иван Александрович служил в комиссии по реформе обмундирования, — место благополучное, служба спокойная. В подчинении сидели у него писцы всякие, а начальником над ним был совет из генералов, генералы собирались не очень часто, командой не докучали. Летом бывало и совсем тихо: летом, как известно, отдыхать полагается, сил на зиму набираться — дело не убежит! Летом разъезжались генералы кто на дачу, кто в имение, кто на воды лечиться, и один оставался Иван Александрович.

В будний день после занятий Иван Александрович обедал, потом, отдохнув, шел гулять и, нагулявшись, заходил куда-нибудь в кофейню и там в кофейне просиживал до глубокого вечера. В воскресенье и в праздник он ходил по гостям: знакомых домов ему хватало на месяц.

Ивана Александровича вообще любили и за его тихость и за его действующий благоприятно на нервы успокаивающий голос: когда он говорил, он словно умирал — чего ж успокоительней! — кто-кто, а помирающий ни взволновать, ни раздражить не может, это живой — смутьян, пила и досада! И внешность у Ивана Александровича внушала доверие: это не какой-нибудь бритый, не поймешь, кто, — носил Иван Александрович бороду, а борода — кому ж не знать! — есть священное украшение мужчины.

В известные сроки Иван Александрович отдавался своим нетихим секретным привычкам: вечером из кофей-

ной шел он не прямо по Невскому на свою Пушкинскую, а обходной дорогой — по Садовой, потом выходил на Вознесенский... И Бог знает почему вспоминалась ему всякий раз Маша-цыганка, и уж на следующий день после гульной ночи бывал он необыкновенно в добром духе, и от этой доброты, что ли, его наполнявшей, или еще от чего, он тихонечко пел.

Нетихие секретные привычки были теперь от него далеки, он даже и представить себе не мог, как бы это так вышел он на Вознесенский, и Маша ему не вспомнилась, — одна единственная была в его мыслях Павочка, — Павочка не выходила из головы, и он повторял ее имя:

— Павочка, любилочка моя!

Подымался он, как пьяный, хотя пить и ничего не пил, курить — курил, был грех, и курил больше, чем всегда, но не от курева же пьянел? — от чувств, от любви, видно.

— Павочка, любилочка моя!

Ляжет, возьмет книгу на сон грядущий, — прежде, бывало, с книжкой как засыпал он дружно, и чем интереснее была книга, тем дружнее сон нагоняла, а вот и книга не помогает, да и не до книги ему, и лежит ночь без сна с открытыми глазами.

— Павочка, любилочка моя!

И это чувство знойным голосом Маши томило его.

Чего он хотел? Да чтобы осень скорее, чтобы зима пришла и снег, — будет он часто бывать у Ерыгиных, снова увидит Павочку, он только и хочет видеть Павочку.

Чувство его было так полно, до самых краев.

И при всей своей молчаливости Иван Александрович рвался кому-нибудь открыться, ну, хоть намеком намекнуть, хоть полусловом сказать, имя повторить любимое Павочки.

А таким другом сердечным и попался ему Корявка.

Корявка служил в департаментском архиве и был там единственным чиновником, и службы у него собственно никакой не было: архивных дел не спрашивали, и только с учреждением комиссии один из начальников Ивана Александровича, старичок-генерал, любитель отечественной истории, стал требовать старые дела. Правда, деятельность эта длилась не очень долго — надоело ли старичку, или

время не позволяло, но еще весной поручил генерал всю подготовку дел Ивану Александровичу. С единственным Иваном Александровичем Корявка и входил в деловое общение: для него и дела заготовлял, от него же и обратно их принимал в архив и, скажу уж, частенько неприкосновенные.

Службу свою Корявка считал безнадежной: повышения он себе не мог ждать — повышать и некуда было, да и прибавки ему никакой не полагалось — оклад раз навсегда утвержден. И, сидя за пустым столом, в одиночку, без всякого дела и безнадежно, Корявка предавался мудрованию. И, конечно, лучшего собеседника Иван Александрович и не мог найти.

Была та изводящая скука, без которой немыслимо себе представить прославленного курорта. Миропия Алексеевна, проходившая курс карлсбадского лечения, целый день занята была всякими источниками, ваннами и лежанием с грязевым мешком, но Павочка, которой волей-неволей пришлось подчиниться общему режиму и даже ни свет ни заря подыматься, первое время очень приуныла. И ее нисколько не занимали чудесные рассказы о чудодейственных источниках — пьющие целебную воду будто бы теряли в весе чуть ли не по пуду ежедневно! — и не менее чудесная повесть о Петре, как наш царь-градарь высиживал в огненной шпруделевой ванне ни много, ни мало круглые сутки, тем и лечился; ее не удивлял и старый еврей — карлсбадское чудо — вот уже пятнадцать лет выпивавший этого самого шпруделя по шестьдесят стаканов в день и без всякого стеснения; она скучала от пуповской музыки, симфонических концертов и гранатных магазинов. Все, кроме нее, дрожали над своим кружками, и в этих кружках было все.

Но и для Павочки, хоть и в последнюю неделю, а нашлось развлечение: появились родственники и знакомые, и притом такие, как и Павочка, приехавшие не совсем для лечения, и уж восхищающихся оказалось столько, сколько и не мечталось, а ведь для Павочки в этом была своя кружка, и большего развлечения ей не понадобилось.

А что́ же Иван Александрович, так-таки она его и забыла?

Ну, зачем забывать? — ничуть: все-таки поклонники ее были самыми обыкновенными поклонниками, а Иван Александрович — лунатик, она этого не могла забыть, она его не забыла, ну и не вспоминала.

Когда Павочка была гимназисткой, она водила за собой целую стаю... и кто только в нее ни влюблялся, да и невозможно было пройти равнодушно — одно ее личико в таком нежном, тонком пушку, а вздернутый носик такой задорный, и знамечко тут на шейке, и коса до колен, и такая она вся румяная, летом от солнца, зимой от мороза, и такая радостная своей юной радостью и оттого, что хвост за нею влюбленный, и она во всех влюблена, и притом на все надо так выхитриться, чтобы не заметили ни классная дама, ни начальница. Но это не все, — помните, как Павочка умела ходить? — она как-то особенно, по-своему переставляла ноги, думала, очень изящно, — возможно, и было изящно, только совсем это из другого. Когда ей пришла в голову мысль ходить так особенно, так по-своему переступая, случилось на первых порах несчастье — она поскользнулась перед окнами своей симпатии — гимназиста и упала в лужу; еще слава Богу, что отделалась слезами, а могло бы кончиться чем и похуже. Теперь-то, будьте покойны, не поскользнется, а иначе и ходить не может, как только так, так переступая по-своему. И от этой рискованной ее походки поклонников у нее еще прибыло. Каждый гимназист обязан был дать ей свой серебряный герб, и с какой радостью показывала она полную шкатулку, и, кажется, не было герба, который не считал бы своим счастьем попасть в Павочкину шкатулку!

Подруги Павочку любили: Павочка и веселая, Павочка и певунья, Павочка и проказница — рассмешит и чем угодно представится! Всякий день перед уроками собираются гимназистки в большую залу на молитву, Павочка — с камертоном, она дает тон и управляет хором: она ударит камертоном себе по пальцу, поднесет к уху, пропоет тихонько: до-ля-фа! — и начинают «Отче наш», и опять ударит камертоном себе по руке, поднесет к уху и уж пропоет тихонько: рэ-си-соль! — и хор поет «Преблагий Господи!» Павочка управляет и в то же время строит самые такие рожи и подсмеивается, смешит хор — ей-то ничего, она спиной стоит к начальнице, это хор у всех

на глазах! — и она знай смешит, и тогда смешит, когда и управлять не надо в конце молитвы; затем, обернувшись к иконе, истово крестится и кланяется низко, а зато и считает ее начальница благочестивой. И всякое воскресенье по тому же благочестию своему Павочка ходила в гимназическую церковь — ей было весело переглядываться и перемигиваться с гимназистами, а как приятно видеть столько, столько восхищенных глаз!

Павочка любила кружить и кружила, но трагических происшествий от этих кружений никаких не бывало: под поезд никто не ложился. С Павочкой бывало весело, с Павочкой не соскучишься, а надоест — уходи, твое место пустовать не будет, и тебя не вспомнят...

Если бы только знал Иван Александрович! Но куда ему что́ знать, — он был полон самых радужных надежд. С Корявкой, теперь неразлучным, он строил счастливые планы, как женится, конечно, на Павочке, и как наступит у них райская семейная жизнь. Он присмотрел квартиру, и не по газетному объявлению и не через контору, а по своему глазу и на свой вкус вместе с Корявкой, присмотрел очень подходящую в новом достраивающемся доме на Каменноостровском: тут им будет и к островам поближе и к Ботаническому саду, а мостов ни он, ни Павочка не боятся, это Корявка боится; ну, ничего, Корявка переборится, — и все обойдется; притом же Корявка не всякий день, а лишь по праздникам будет приходить к ним на Каменноостровский обедать. Присмотрел и обстановку — было бы благоразумней загодя теперь же все и купить, а то осенью цены подымутся, осенью всякому нужно, и цена кусается, да так и хотел сделать, но Корявка отсоветовал: будто бы где-то на углу Симеоновской и лучшую и дешевле можно будет купить впоследствии. Этот Корявка! Выбрал обручальные кольца и заказал себе перстень: будет фамильным — натрое колот, начетверо строган и золотом наливан, — вот какой! А Корявке посулил часы с кукушкой — заветная мечта Корявки!

Всякий день, возвращаясь со службы, заходил Иван Александрович на Французскую набережную справиться, нет ли каких вестей. В свою очередь, и Корявка ежедневно справлялся. Вести были самые благоприятные: скоро!

Частенько Иван Александрович писал Павочке письма, но ответа не получал. Или не доходили его письма? Безответность начинала смущать. Но утешил Корявка. Корявка все знает и не такой, чтобы сказать нитунис, во-первых, что́ сановники, что́ дамы, и не обязаны отвечать, — это правило вывел Корявка из опыта великих людей и, должно быть, из собственного... О сановниках я не знаю, что же касается дам — клевета, ибо нет на свете такого Корявки, который не получил бы от дамы и не один, а дюжину самых сердечных ответов, — ну, ладно, а, во-вторых, какие же могли быть от Павочки ответы, когда все было ясно!

Если бы только знал Иван Александрович... Павочка его даже и не вспоминает! У нее столько теперь, столько всяких новых поклонников, о ком она хоть одну минутку подумать соберется — они с нею, близко, их она видит, а ведь Иван Александрович Бог знает где, так от нее далеко, а так на расстоянии она не привыкла и не может, у нее такая уж душа близкая. Конечно, она его никогда от себя не отгонит, в этом он может быть покоен; она не отгонит, если бы даже вдруг оказалось, что он не лунатик: она никого от себя не отгоняет, и самому Корявке нашлось бы при ней место, и будь Корявка посмелее и решись, да она и о Корявке хоть и одну минутку, а подумала б так. Замуж, конечно, ни за Корявку, ни за Ивана Александровича Павочка не пойдет, — за Ивана Александровича замуж?! Да и Миропия Алексеевна едва ли найдет подходящим, Миропия Алексеевна уж давно про себя решила, за кого ей Павочку выдать, и тут она не ошибется — Миропия Алексеевна племянницу свою, как родную дочь, любит, у Павочки отец умер, а мать ее в Орле с сыном, Павочка все у тетки, Павочка для Миропии Алексеевны, как своя. Павочка выйдет замуж, она будет блестящим украшением семейного очага, а ведь для Ивана Александровича... сами понимаете, как он любил! — эта любовь его к Павочке, по словам Корявки, была как железо к магниту.

Вот он, в первый раз полюбивший, и эта любовь не та... у цыганских шатров к Маше. Тут его словно связало, больше! — срастило с нею, с существом ее, и он неразделен с нею, как неразделен еще не родившийся ребенок с

матерью, и никакой оскорд, никакая секира не отсечет его, разве смерть? Или и смерть тут не может, и с концом ничего не кончится?

— Алексей Тимофеевич, ты понимаешь?

Еще бы! Не понять Корявке! Корявка по его собственным тайным думам о себе был наполнен премудрости, аки злата и бисеру изнасыпан, и разумом смыслен, Корявка мог становиться на всякую точку зрения и сочувствовать всяким чувствам, и самым противоположным.

— Вот вы и женитесь, Иван Александрович.

— У меня, Алексей Тимофеевич, такое чувство, будто всякий день Вербное воскресенье... Всякое утро я встаю с этим чувством вербным, а вот закрою глаза — и будто я где-то в саду: осень — последние цветы... георгины.

— Женитесь, Иван Александрович, деточки у вас пойдут. — Корявка, пряменький, маленький смотрел с восхищением.

— Назову я старшего Александром, а второго Святославом, а третьего...

— Маленькие, толстенькие они такие.

— А третья будет у меня дочка — Павочка. Я, Алексей Тимофеевич, верую в Бога, Бог меня любит, вот я и не думал о таком счастье, а Бог и послал.

— Все от Бога, Иван Александрович.

— Старший, Александр, будет у меня богатырского сложения, вот какой!

— Александр Великий! — Корявка тянул себя за свою козью бородку, — и я, как Сенека, Иван Александрович, буду ему служить!

— То есть... Гераклит.

— Сенека, Иван Александрович, всегда был Сенека, великий учитель. При святом князе Владимире — Нестор Летописец, при Петре Великом — Арап, при Александре Македонском Сенека находился.

— Будет он у меня министром, с докладом будет ездить к государю, а я так около с палочкой. Скажет он: папа!

— Маленькие они, толстенькие... Я деточек очень люблю, Иван Александрович.

— Со временем и тебя, Алексей Тимофеевич...

— Нет, Иван Александрович, скажу вам, как перед

Богом, я жениться не думаю, я так как-нибудь уж. Вы, Иван Александрович, человек сложный, вам все можно.

Корявка не хочет жениться! Удивительное дело! И как так можно не хотеть жениться, когда вот он, Иван Александрович, только и думает об этом, только этого и ждет, только и видит себя...

— Нет, Алексей Тимофеевич, ты — ненормальный человек, тебя надо лечить, вот что́!

Корявка хихикал. Корявка все понимает. Корявка соглашался. Корявка понимал, что от любви дурного ничего не может выйти, и совет Ивана Александровича благой, и он готов идти к доктору лечиться.

Иван Александрович обалдевал.

Корявка поддавался: Корявке тоже помечтать хотелось — служба ведь назначена ему была безнадежная, а жизнь, как служба.

И оба они дурачились.

— Ты меня, Алексей Тимофеевич, называй Балда Балдович, а я тебя Сенекой.

Пряменький, маленький Корявка важничал:

— Балда Балдович!

— Сенека!

И уж не Иван Александрович Галузин, надворный советник, — Балда Балдович, и не Корявка, а Сенека плутали по Петербургу. И не поймешь со стороны, чего это их разбирает, — ну, один от любви, а другому что́? Странные вы, да ведь и Корявке, хоть он и все понимал, ему тоже хотелось любви. И вот, из любви вышедшие на свет, зашатались по Петербургу Балда Балдович и Сенека. Любовь все сотворит, чего сердце захочет. И однажды Корявка затащил Ивана Александровича на Лиговку к каким-то своим знакомым Грудинкиным, и там Иван Александрович — Балда Балдович, себе не веря, вдруг заговорил громко и лихо танцевал и был глагольлив, что́ вергаса́, а Корявка-Сенека, к ужасу своему и против всякой воли, пел песни, и выходило ничего.

По утрам за чаем, читая газету, Иван Александрович бесполезно добивался, а понять все-таки никак не мог, как это возможно, чтобы кто-то кого-то убил, или кто-то решился на самоубийство, и было ему непонятно, что люди ссорились и бранились, вели войны и революции, —

он больше не находил в себе другого чувства, кроме одного. И когда в архивной комнатенке он жаловался Корявке, что ничего не понимает и потерял нить событиям жизни, Корявка, и сам понемножку терявший эти нити, говорил восхищенно, с восхищением глядя на обалдевшего друга.

— Иван Александрович, — говорил Корявка, — да ведь вы... несекомая пуповина мироздания! Иван Александрович! Я скоро для вас такое сделаю, что во всех газетах напишут!

4

Всякому человеку надо, чтобы кто-нибудь им восхищался. Эта страсть восхитительная есть в каждом. А есть и другая... есть такие, которым надо, и не могут они не восхищаться: восхищение — это их жизнь, это главное, без чего и жить не стоит. Посмотрите в театрах, в собраниях, в аудиториях, сколько увидите этих восхищенных глаз, по призванию восхищенных, а все эти мироносицы со своим горящим неусталым огоньком, как часто оскорбленные и униженные, но преданные до гроба своему идолу. Будь Корявка женщиной, записали бы его в мироносицы. Я уже поминал о его непонятном за мной хождении и даже нехорошо обмолвился: «подлец, — сказал я, — Корявка!» — и это с сердца, поймите, ведь у меня с ними свои счеты, и я полагаю, что надувательство его, ей-Богу, такого стоит. Но скажу правду, случись мне под клятвой свидетельствовать об Алексее Тимофеевиче, я бы дурного сказать ничего не нашел: Алексей Тимофеевич, пока восхищение наполняло его сердце, бывал предан и верен, и можно было в чем угодно на него положиться, не выдаст... друг верный.

Корявка — человек недобычный, и служба его в департаментском архиве безнадежна. И во всем в нем что-то было безнадежное: вот и пряменький он, а сюртук — ворот сзади вечно углом торчит безнадежно. А с безнадежностью что-то и жалкое тут вот в этом углу, где сходятся лучи глазные и нос и губы.

Когда под вечер стоишь на людном перекрестке где-нибудь у Литейного на Невском и ждешь трамвая, Корявка

переходит улицу, — и хоть пряменький, и все на нем прилично и аккуратно, но и до жалости ветхо... зимняя эта шапка его барашковая — колом, я помню, еще когда говорил, что двадцать лет носит! Корявка домой пробирается на свою Рождественскую, там у него и комната, — квартиру держать Корявке не по средствам. И мне всегда как-то жалко и как-то стыдно, что вот у тебя и галстук, как галстук, и ни в одной полоске добела не вытерт, и ты как-никак, а в условиях лучших, ну, хоть вечером самовар у тебя поет, и лампадка там тихо светится, ты в своем углу, а он — в полупроходной комнатенке, и вечные за стеною гости и разговоры и песни. Я знаю, жалостью моей ничего не поправишь, и никому от нее не станет легче, я знаю, я знаю — и не могу помириться, и мне всегда как-то стыдно... и так мне понятно, как это можно добровольно отказаться и добровольно себе приют найти на сметище, а последний приют — под забором.

Сюртук у Корявки не какой-нибудь, а на шелковой подкладке, подкладка — бахрома, Корявка подрезал и подштопал ее, и выходило ничего: сюртук, как новенький; правда, поменьше бы глянца, но зато и времени ему, чуть что не ровесник шапке. А скажу вам, хорошо приодеться, даже пофрантить Корявка куда был не прочь, и, рассматривая в «Ниве» картинки, он подолгу останавливался на тех, где было много туалетов, и тут над картинками приходили ему всякие нарядные мечты: то в шикарного адвоката, то в английского лорда превращался Корявка И первое его восхищение Иваном Александровичем пошло именно от жилетки: жилетка Ивана Александровича показалась ему тогда ни с чем не сравнимой и, тонко надушенная лесной фиалкой, закружила голову.

По субботам Корявка ходил в баню, и это был самый праздничный вечер — суббота. В этот вечер и к его сердцу приливала страсть восхитительная, ему тоже хотелось, чтобы кто-нибудь посмотрел на него, на него, на чистенького, так, как сам он умел смотреть, и нередко, за неимением двойника своего, сам он из ничего и выдумывал себе этот взгляд восхитительный.

Есть в жизни каждого русского человека один день такой в году — именины, когда полагается и даже против воли твоей, чтобы тобой повосхищались. И с каким осо-

бенным чувством ждал Корявка именин своих, — но это ли не безнадежная жизнь, как на грех, и всегда-то поджидала его неудача. Еще с детства, с тех еще незабываемых дней верных пошло так, что именины не в именины: слякоть, дождик, — какие же это именины! Корявку погода очень обижала. А потом, когда уж и незабываемое забылось, и не трогала никакая слякоть, все-то до последней грязиночки приберет, бывало, в своей комнате, накупит сластей всяких, наготовит поднос — не подымешь, а никто и не пожалует, и просидит так один весь вечер, по часточкам, не спеша, один сам все апельсины съест, а то и придет какой Грудинкин, наскандальничает, и тоже нехорошо. Именины — единственный день в году, это не будни, и именинник совсем особый от других, сам по себе, и это должно быть всякому видно, но Корявка, покоряясь судьбе, сам ничего такого не выделывал, никакого безобразия для отлики именинного дня: он не напивался, как норовит другой на свои именины хоть напиться, или как этот Грудинкин, письмоводитель, этот такое придумал, ну, вместо того, чтобы там, где следует, в день своего ангела все это в комнатах жилых делал. Нет, Корявка единственно что́ позволял себе в свои именины, так это поспать подольше и явиться на службу с запозданием и так постараться пройти, чтобы обратить на себя внимание: пускай все догадаются, какой такой день у него, и поздравлять! Увы, к огорчению именинника, догадываться-то догадывались, да только с большим запозданием! После обеда Корявка ложился отдохнуть и долго рассматривал картинки и за картинками нарядно мечтал.

Нынче все мечты и думы Корявки были об Иване Александровиче.

Ни с чем несообразная, выдуманная женитьба Ивана Александровича на Павочке — все летние их планы и предположения потерпели полную неудачу, и дело приняло совсем другой оборот.

Ерыгины вернулись в Петербург на Воздвиженье. Иван Александрович не замедлил, зачастил на Французскую набережную, но после каждого своего свидания с Павочкой возвращался к себе на Пушкинскую, повеся нос.

Павочка встречала его всегда радушно, — еще бы, и лунатик, и никто так не смотрел на нее, так восторженно,

как Иван Александрович! Но когда пробовал Иван Александрович заговаривать с нею о самом своем заветном, о той тихой райской семейной жизни на Каменноостровском в новом, теперь уже отдаленном доме, — Павочка или ровно ничего не понимала, или представлялась, что не понимает: она удивленно смотрела на него, раскрыв свой алый ротик, или отделывалась пустяками, или просто смеялась. И в этом смехе, в болтовне и взгляде Иван Александрович чувствовал что-то оскорбительное — ведь так далеко ушел он с Корявкой в мечтах, а и тени подобного не было.

Но откуда он взял, что Павочка выйдет за него замуж?

Ниоткуда...

Только оскорбительно и больно ему было от ее взгляда, болтовни и смеха.

Товарищи Миши постоянно толклись у Ерыгиных, и оскорбительно и больно было видеть Ивану Александровичу, что Павочка держалась с ними так же, как с ним, относилась к нему так же, как и к ним.

Но ведь так и всегда было.

Не замечал.

Не замечал? — нет, все замечал, да мечты-то его тогда не были так далеки.

И все-таки, как ни оскорбительно и как ни больно это, а выносимо, но с некоторых пор Иван Александрович совсем пришел в уныние: с некоторых пор в разговорах неизменно стал поминаться какой-то доктор, при этом какие-то таинственные перемигивания с Веточкой.

Кто же этот таинственный доктор? Уж не жених ли?

Сколько Иван Александрович ни расспрашивал и всякими намеками наводил, лишь бы дознаться правды, а добиться почти ничего не мог. Павочка по пятницам ездила к этому доктору на прием, но никакого доктора, кроме старичка Федора Ивановича, Иван Александрович у Ерыгиных не встречал.

И где живет этот доктор, жених?

Иван Александрович открылся во всем Корявке. И Корявка взялся устроить дело — Божье немилостиво, надо и своей головой делать! Корявка проследит квартиру доктора, пойдет к доктору на прием и убедится собственными глазами, так это или не так.

Об этом деле своем секретном Корявка и думал, пере-

листывая нарядные картинки. Угодить Ивану Александровичу, помочь другу было для него выше и самой нарядной именинной мечты: он уж согласен навсегда остаться Корявкой, тем самым пряменьким и жалким Корявкой, каким мы его все знаем, лишь бы Иван Александрович снова по-летнему ожил.

А куда ожить! Иван Александрович, и совсем незаметно, все ближе подходил к самой настоящей правде, и эта правда убивала его, он уж чувствовал свою ненужность. Он вдруг почувствовал всем существом своим, что никому не нужен, а потому не нужен, что ей не нужен.

А раньше?

Раньше не то... раньше он был нужен...

Как, разве изменилось отношение?

Нисколько.

В чем же дело?

А вот в мечте его, в мечтах его, ведь мечты его были так далеки, а на самом деле ничего не было, и все было неизменно.

Иван Александрович теперь и сам понимал, что Павочка к нему нисколько не изменилась, что отношение ее к нему такое же, какое было там, на даче, и что нужен он ей ничуть не больше и не меньше, а чувствовал еще бóльшую свою ненужность. Он уж дня не мог прожить, чтобы не увидеть Павочки, а всякое свидание оставляло в его сердце одну боль. Павочка танцевала, ей было приятно, и он хотел бы радоваться с нею, но она танцевала с другими, и ему было больно. И когда в разговорах Павочка кого-нибудь хвалила, ему было больно. Ему было больно от всякого ее взгляда, от всякого ее слова, от всякого ее движения, если ее взгляд, ее слова, ее движение относились не к нему, а к другим, и чем дальше, тем больней, и чем дальше, тем неутолимей эта боль. И он неизменно уносил эту боль. И лишь в редкие дни, когда у Ерыгиных никого не было, и Павочка занималась только с ним, он на время забывался, но и тут что-нибудь мешало: или перемигивания с Веточкой о докторе, или Павочка начнет вспоминать каких-нибудь своих поклонников, да мало ли чтó — мелочи, о которых часто нелегко додуматься и при самом подозрительном желании.

Иван Александрович никогда не ходил по ресторанам,

но теперь при всяком удобном случае тащил с собой Корявку. Пить он хоть и не пил, но кабацкая обстановка действовала, он выбирал рестораны с музыкой и всякие самарканды.

— Знаешь, Алексей Тимофеевич, хотел бы Машу встретить и так просто посидеть с нею, поплакать. Жизнь моя загублена!

— Что вы, Иван Александрович, надо душой переболеть, надо горести принять — и тогда желание получите. Это всегда так, а почему так, и почему надо — неисповедимо.

— Да у меня свету нету,— понимаешь? И не виноват я перед нею.

— Жизнь, Иван Александрович, жестокая, а иго ее нелегкое, и если уж решать по-человеческому — и ключа не найти, — Корявка тянул себя за свою козью бородку, — а может, и совсем не жестокая, и не так это мы, Иван Александрович, небесных слов не знаем, и все не так выходит.

— И она не виновата.

— Неисповедимо, Иван Александрович.

Корявка мог смыслить всякое дело и дать смыслен ответ, но и мудрования Корявкины не успокаивали Ивана Александровича, не успокоило его и открытие о таинственном докторе.

Доктор, к которому по пятницам ездила Павочка, действительно, по отзыву Корявки, оказался каким-то необыкновенным: и красив, и ловок, да и брови без перерыва, словно углем намазаны, — это ли не красота? — и сам поспешный на все и живой необычайно, — лечит по косметической части, сбавляет вес и выводит усики, приемная ломится от дам, но жениться, как кажется, не собирается, притом же он семейный, — и эту тайну раскрыл Корявка, — семья в Москве.

Чего же еще? Дело ясное — выводит усики! И беспокоиться за Павочку тут совсем не годится: с усиками Павочка или без усиков — все Павочка! Да за это и не беспокоился Иван Александрович, а только ему и покоя-то нигде не было. Видно, боль прошла глубоко, и вот в душе столкнулся он с настоящею правдой. Он не только не думал, как летом, как еще недавно, о женитьбе, куда там думать! — как теперь далек он был от мечты своей,

и понял вдруг, что все-то он мечтал, — одни мечты! — и это понял он сейчас, когда Корявка, довольный своими розысками, выкладывал с мельчайшими подробностями самые неожиданные свои заключения и обнадеживал Ивана Александровича в его счастливой судьбе.

Не того хотел Иван Александрович. Правда победила его мечту. И он принял правду. Ему хотелось раз и навсегда высказаться, вывернуть перед ней свою душу.

«Он один — он это знает! — он один, который ее так любит, как никто не будет так любить, любить без всякой надежды, любить всем существом и готов для нее ее не видеть, не встречаться, он только ждать будет, чтобы увидеть... и будет самый тихий, тише воды, и самый смирный, ниже травы, вечно покорный ее раб!»

После морозов наступила оттепель, а за оттепелью дохнул ветер.

Где-то там зародившись меж Исландией и Англией на океане, через море, через скалы прилетел ветер на нашу Россию. Ветер, вихрясь, летал по улицам и, словно шалуя, набрасывался из переулков на прохожих, и шалый, насметный, жестокий разгулялся.

Ветер гулял по Петербургу, и творилось Бог знает чтó.

К ночи он собрал всю свою силу и к ночи завихóрил в гульбе.

Или это ангел, водящий облака, пустил с небесных улиц всю ветрову силу?

Ветер! Ветрило!

Несметный, ему мало наших улиц, — дай, дай простору! — и он рвал железо с крыш и труб, рвал швырком, грозил и свистел. Свист его, как свист змеи, в сердце огонь, и клятвами не заклясть и искупа не дать, и нет поруки, ему мало, ему тесно — дай, дай простору! Не чужой, знает, при градаре-царе, при Петре, ой, как гулял — было тогда посвободней, а теперь ему тесно...

Ветер! Ветрило!

И он врывался в дома и свистел в щелях, свистел в окнах, весь свистом наполнял наш дом. Или он высвис-

тывал, выманивал на волю погулять с ним по воле? Ничего не страшно, и сколько хочешь пали из пушек, не угоняться, ему не страшно! И он свистел, выговаривал, — речи его странны, нам незнаемы, — выговаривал и стучал, стучал железом, звонил в колокола. Собирал ли звоном колокольным свою силу в свальный бой, или нас выкликал погулять с собой в ночи на воле. Звонил в колокола и тушил фонари и дергал столбы. В его сердце горел огонь.

Ветер! Ветрило!

И, встав головой до звезд, зазвездный, он пустился от Знаменья через Аничков мост, а кони его, как голуби, а в гривах перегудают звонцы, и белым огнем жигал по пути — и!

Ветер! Ветрило! Помилуй!

На Неве вода подымалась.

Есть, по Корявке, три естества у воды: первое — мы по ней плаваем, второе — мы ею моемся, третье — мы ее пьем; а есть и четвертое — нас она топит. На Неве вода подымалась, и до каких краев дойдет, никто не знал, да и сама река не знала. Уж ограда чернела близко. К ограде вода подымалась.

На Французской набережной из окон от Ерыгиных все было видно. Но не тревога, вольница стояла в доме. Миропия Алексеевна накануне уехала в Москву, оставалась одна молодежь. Были гости. И ветер, как свой, выкликал из залы, или это, вольный, в залу пустить просился...

Иван Александрович, решившийся в последний раз все высказать Павочке и клятву положивший на свою душу до смерти не видеться, не мог найти и минуты побыть с нею наедине. И была по-прежнему боль от ее слов, от ее смеха, от ее взгляда, от ее движений, и боль подымалась в его сердце, как вода в Неве. И вот дошла, должно быть, до той самой ограды гранитной — и секнуло сердце. Иван Александрович вдруг переменился и, тихий, пошел ходить по зале странно, словно танцуя.

Было весело и шумно, и до Ивана Александровича никому не было дела. Но Павочка его заметила, — как странно, словно танцуя, ходил он по зале!

— Иван Александрович — лунатик, — сказала Павочка. — Иван Александрович что́ угодно может сделать. Иван Александрович, — позвала она, — подойдите, я вам что́ скажу!

Иван Александрович покорно подошел к ней: Иван Александрович — лунатик, Павочка — луна!

— Иван Александрович сейчас такое сделает, чего никто не может! — кричала Павочка и прыгала от удовольствия.

— А что́ такое, что́ он сделает?

— А вот увидим.

Павочка тянула к балкону. Надо растворить балкон и посмотреть, что́ там делается. У! Как засвистит ветер. Ветер! Ветрило!

Кто-то погасил электричество. И на минуту в зале пробежал холодок. И на минуту подумалось: «может, ничего и не надо затевать, вернется Миропия Алексеевна, узнает, рассердится, или Веточка простудится!» В темноте не растворялись двери: двери были замазаны крепко. Электричество снова зажгли, и двери наконец поддались и с треском распахнулись.

Ветер со всей своей силой дохнул в залу.

Ветер! Ветрило!

Не было сил устоять на воле. Ветер гнал в комнаты. И одной минуты нельзя было пробыть на балконе.

— Иван Александрович! — кричала Павочка и указывала ему на балкон, и голос ее казался Ивану Александровичу сильнее и крепче самого ветра.

Ветер! Ветрило!

Иван Александрович покорно шел к балкону: он — лунатик, Павочка — луна, — неопасливо шел, и всюду пойдет, куда ему скажут.

Если бы только знал Корявка, он превратился бы в Сенеку и остерег, отговорил бы своего друга, но Корявка, пригревшись под своей лысой еноткой, под свист ветра похрапывал.

Иван Александрович — лунатик, Павочка — луна. Иван Александрович все может, он может пройти по карнизу, и под любым ветром ему ничего не станет.

Двери за ним затворились.

Ветер! Ветрило!

Павочка бросилась к окну.

И через минуту в окне показалось лицо: Иван Александрович шел по карнизу и вот дошел до окна и стал — из черной ветреной ночи глядело лицо.

В зале примолкло. Лишь ветер струйкой бежал через балконную щель и свистел.

А в окне — все стояло лицо, и, как углем, обведены были ночью глаза.

«Он один — он это знает! — он один, который ее так любит, как никто не будет так любить, любить без всякой надежды, любить всем существом, и готов для нее ее не видеть, не встречаться, он только ждать будет, чтобы увидеть... и будет самый тихий, тише воды, и самый смирный, ниже травы, вечно покорный ее раб!»

Павочка закрылась рукой.

И в окне — Ветер! Ветрило!.. — там, за рамой, глядела лишь ночь.

Бедный Иван Александрович, где тут удержаться под таким ветром!

Бедный Корявка, как-то проснется, как-то узнает, на кого будет восхищаться, где его Балда Балдович — Иван Александрович?

Снились Корявке черти, по набережной будто скачут, как палочки черные, скачут, а вместо головы полшапки, и чертовка с ними ходит, маленькая, немолодая, и сам главный Зефеус, бес белый, глаза белые...

— Мы тебя, Корявка, любить будем! — говорят черти.

— Иван Лек-сан-дры-ыч!

И в последний раз ветер, взвинтив над Петербургом, улетел со своей силой в места непроходные: там, на Печоре, вкруг Железных ворот, погулять ему.

С вихрем не нашим над нашей землей летел Иван Александрович, не Иван Александрович Галузин, надвор-

ный советник, душа человечья. Третьи уж сутки, как сорвался, и летел и летел... не вверх, не вниз, не налево, не направо, а так, как летает душа человечья.

И видел Иван Александрович, душа человечья, без перерыву и Россию, все концы ее видел, и в то же время свою Пушкинскую квартиру с малиновой наклейкой на парадной двери о сдаче, и в то же время у стола над зеркальцем Корявку — Корявка трудился над своей бороденкой, маленькими ножничками подстригал ее чисто, как бритвой: — завтра в баню, завтра суббота! — и в то же время старичка генерала над архивным делом — это дело Иван Александрович с неделю, как взял от Корявки для генерала, и видел то, чего никогда не видел, только хотелось увидеть — подъезжали министры с докладом и как все было не так, как он думал! — и Государя увидел, и себя увидел — да где же это он, Господи? — венчик на лбу с тремя крестами: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас! — и Павочку увидел, она у окна стояла, раскрыв свой алый ротик... близко и не коснешься, и смотрит и не видит, и не сказать и не окликнуть, — и он в тосках заметался.

Откуда ему свет засветить, или откуда ему заря воссияет?

А мимо по стезям и дорогам другие проходили претерпевшие в жизни — в скорбях, в бедах, в теснотах, в ранах, в темницах, в нестроениях, в трудах, в бдениях, в очищениях, в разуме, в долготерпении, в благости, в Духе Святе, в любви нелицемерной, в словах истины, в силе Божией — по стезям и дорогам к Звезде Пресветлой.

И маленькие девочки в синих платьицах, сплетаясь руками, друг за дружкой гуськом шли навстречу от Звезды Пресветлой.

Откуда ему свет засветит, или откуда ему заря воссияет?

Иван Александрович с болью рванулся от окна — оторваться не может.

Он ей завечен?

Завечен, — на весь век.

И смерть не отсекла?

Смерть никогда не отсекает.

Он рванулся и понял, — он понял, что все это нужно, и то, что́ было, и то, что́ есть, и то, что́ будет, — и

тарабаниться нечего. И повис... там, где мучатся души и тоскуют.

«Он один — он это знает! — он один, который ее так любит, как никто не будет так любить, любит без всякой надежды, любит всем существом и готов для нее ее не видеть, не встречаться, он только ждать будет, чтобы увидеть... и будет самый тихий, тише воды, и самый смирный, ниже травы, вечно покорный ее раб!»

1914 г.

ГЛАГОЛИЦА

1

Путейский ревизор, статский советник в отставке, Александр Александрович Корнетов единственный на всем земном шаре писал письма и всякие дружеские послания глаголицей.

Как известно, глаголица, вытесненная кириллицей, мертвая грамота, и никто до сей поры толком не знает, откуда она и кто ее на свет пустил. А от всей премудрости уцелело наперечет несколько ветхих памятников, над которыми и трудятся ученые, съевшие собаку не только в нашей прародительской грамоте, но и в самой эфиопской. Корнетов не ученый, нет у него ни трудов ученых, ни орленого золотого значка, но и без всяких отличий, как ловко, как бережно, ну, так затейливо выводил он крючочки и ставил крестики, впору тому же ученому да книжному справщику. Уж такой, видно, дар Божий был отпущен ему от рождения его к вещам темным, на дела пустые.

Приятели и знакомые в шутку звали Корнетова глаголицей.

Была тоже страсть у Александра Александровича и навык к пустякам и мелочи: собирал он от свертков палочки, какие к сверткам прицепляются, чтобы удобнее нести было.

Всякий раз, возвращаясь домой с покупкою, Корнетов, старательно и терпеливо развязав узелки, веревки отдавал

Ивановне на кухню, а палочки себе прятал в коробку. Когда же коробка наполнялась доверху, нанизывал он эти палочки все вместе на одну веревку, и выходила презабавная погремушка. И в сущности из ничего, из вещей совсем неподходящих составленная, — из Братьев Елисеевых, О.-Гурмэ, Жоржа Бормана, А. И. Абрикосова С-вей и других кондитерских, фруктовых и гастрономических фирм с Невского, Садовой, Суворовского, а так заправски гремела корнетовская погремушка, словно бы не на Кавалергардской, а где-нибудь у Троице-Сергия в посаде сделанная игрушечником.

Приятели и знакомые, навещая Корнетова, в гостях у него не скучали: живо что-нибудь такое придумает, из ничего погремушку какую сделает, — зевнуть не даст.

Александр Александрович, службой никакой не занятый, Адександр Александрович ревизор отставной и все-таки минуты ему нет свободной, минуты не мог усидеть он без дела, все что-нибудь да кропает, все суетится, и так в занятиях с утра до ночи. И дела, одолевавшие Корнетова, такие — тут и зоркость и внимательность, а главное, и прежде всего, терпение — дела кропотливые, ну, те же узелки с палочками, та же мертвая грамота-глаголица, да мало ли еще что: при смертельной-то охоте найдешь всегда, чем заняться.

Обречет Господь Бог человека на такую вольную каторгу и неизбывную. А отыми, попробуй, от Корнетова его глаголицу, спрячь его палочки, вышиби из головы кружочки и крестики, нет, совсем это немыслимо, невозможное дело и лучше всего не трогать таких вещей опасных. Чтó дано судьбою, так тому и быть: своим умом, хочешь ты, не хочешь, а, не зная ни конца, ни начала, как переделаешь?

Жена, говорят, ушла от него, жена будто бы не выдержала. И нет тут ничего мудреного: нет, ты попробуй, избудь жизнь об-бок с такою занятостью, с палочками, с глаголицей, с суетней, с торопливостью, с разговорами, какой совет? какая любовь? какой добрый год? какой долгий век — ой, за три моря уйдешь, не оглянешься!

— Тяжелый человек, — говорили про Корнетова его прежние сослуживцы, — вконец замучает!

А другие, наоборот, не без добродушия подсмеивались:

— Глаголица!

Была тоже страсть у Корнетова к именам и званиям, подбирал он людей себе и не каких-нибудь, а особенных, — вышних людей.

Одну зиму завсегдатаем у Корнетова был Соломон, еврей, самый обыкновенный Соломон откуда-то из-под Вильны, но Александр Александрович так его всем представлял и так смотрел на него и слушал, словно был этот несчастный Соломон сам царь Соломон, мудрейший из царей. Ходил еще к Корнетову Алей-татарин, ну, так, простой человек — татарин, но Александр Александрович так его всем представлял и так смотрел на него и слушал, словно был этот тихий Алей, сам Шиг-Алей, проходим, поган царь казанский. Приютил у себя Корнетов немца бродячего, был этот Пауль Рюкерт самым обыкновенным колыванским немцем, но Александр Александрович ни с того, ни с чего произвел немца в знаменитость — в поэта немецкого и уж носился с немцем, чуть не пальцем каждому показывал:

— Вот он вам какой, сам поэт немецкий!

Приискал Соломон себе дело, поступил на службу, и уж ни ногой к Корнетову, определился татарин Алей на какую-то должность, и уж с огнем его не сыщешь, уехал немец Пауль Рюкерт в Колывань к себе, и поминай, как звали.

И нет ничего тут неожиданного: ну, что им до Александра Александровича, затянул он их к себе на Кавалергардскую, когда без дела они ходили и притом не простые, именитые. А ведь они совсем простые, не вышние — и Соломон, и Алей, и Пауль, а простому человеку трудно сладить с глаголицей, трудно и тяжко не во́время, нарочно спать валиться, чтобы только сны видеть, да постараться запомнить и все ему потом рассказать, да и погремушка в ушах звенит. Тут отбежишь и не на три, на тридцать три поприща, как бес от угодника.

Жил Корнетов не очень богато, не очень бедно, не наг, не бос, занимал квартиру на Кавалергардской. Кавалергардская, не Английская набережная, на Калергвардской, как зовет улицу Ивановна, живут люди и совсем-совсем неказистые.

Квартира Корнетова на высотах — четыре комнаты с ванною. Что ни комната, то свое название. Кабинет — неподобная комната в семь углов — избушка ледяная, тут Александр Александрович проводил за делами дневные часы свои. Соседняя с кабинетом комната — избушка лубяная или хворостяная, служила она у Корнетова молельней. Затем большая комната — палаты пировые, брусяные, а из пировых брусяных палат ход в самую маленькую комнатенку — в логовище. Ванная комната звалась купельницей. Кухня, где вечерами штопала чулки старуха-куховар Ивановна, да под праздники Александр Александрович сухари толок, — поварня. Гости располагались в палатах или толкались в ледяной избушке, где такая стояла жара, ну, как банная, и от тесноты — повернуться негде! — и от жаркого парового отопления. Ни в лубяную избушку, ни в логовище Александр Александрович гостей не пускал. Купель же всем показывал, а через поварню по нужде водил.

Корнетов тороват и вожеватый — любил водить гостьбу, в руку не глядел. Народу-гостей толчея, шли к нему и званые и незваные. Приятно было у Корнетова чаю попить Белковского душистого с Судаковским медом сотовым, с вареньем особенным.

Сам Александр Александрович особенный, не отдаст ум на безумие, не кинет слова наобум и корысти не ждет, тоненький, тоненькая шейка, ну, словно курилка, нос — багрецова пуговка, усы щипильные. А платье на нем сукна солодонова, чулки васильковые, маковый галстук и на плечах вишневый теплый платок: посиди-ка день деньской в ледяной избушке, — не лиса, с ног простынешь!

У Корнетова все было особенное. Купит он вишневку у Елисеева, сдерет ярлык с бутылки и уж готова своя домашняя, своя старая варенуха. Гости пьют и удивляются:

— Экая, ведь, варенуха вкусная, так и тянется, горчит косточкой, известно, своя, домашняя, удивительная.

Примется Александр Александрович папиросами потчевать, откроет красную коробку со стеклянной крышкой и чего только ни наскажет и уж так выхваливает, что из дешевых сдохлых с дымком превращаются папиросы в желтые крепкие пушки — рубль штука: чуть ли не от

самого Шапшала полученные, которые папиросы сам Шапшал курит! Гости курят да похваливают.

— И вправду, только Шапшалу и курить такие!

Как-то о Рождестве два приятеля тронувшегося поросенка съели, да как еще съели, все косточки обглодали и мозг высосали: корнетовская похвала и сам дух тлетворный отшибала.

Что говорить, приманчив: умел Корнетов и время занять, умел и душу ублажить.

Два больших сборища бывало в году у Корнетова. Одни сборы собирались в день Симеона-Летопроводца, на первое сентября, когда по-русскому исстаринному золотому обычаю справлял Александр Александрович кудесовы поминки — хоронил трех зверей лютых: муху, блоху, комара. Другие сборы бывали на Святках, на пятый день праздника Рождества Христова, в день четырнадцати тысяч младенцев, за Христа от Ирода в Виолиеме избиенных.

И кого только ни набиралось на Кавалергардскую провести на высотах у Корнетова веселый вечерок, кого тебе надо, изволь: и старики-моховики, и молодежь желторотые, и тихие, и крикуны, и ссорщики, и наустители, и философы.

Бывал правовед, которого Александр Александрович для почету и ради большей важности величал кавалергардом, бывал военный смотритель — полковник с колючими шпорами, ума несравненного, а с ним придворный музыкант в малиновом кафтане с медалями, бывали адвокаты и бритые и с бородкою, товарищ прокурора — муж изрядный и наученный, инженер — розмысл, искусный в разорении домов, моряк с кортиком, старичок учитель — ума гордостного и помысла лукавого, он же и профессор, заслуженный шутливый актер, знаменитый певец без слуха и голоса, и все-таки певавший, не жалея горла, по упорному настоянию Корнетова — себе на память и другим в поучение, скоропоспешный журналист, и так чиновники департаментские и банковские — шиши канцелярские и, наконец, бывший член Государственной Думы, он же и зоолог, получивший название свое за необыкновенное пристрастие к аквариуму, больше не за что.

Карт не полагалось, одни разговоры. Не плутуя, Кор-

нетов не умел играть, это все знали, а потому вместо карт разговоры. И, конечно, во всем, во всех разговорных словах коноводил сам неутомимый глагольник, Александр Александрович.

2

Повести вечериночный крещенский разговор надо толково. На Святках так и подмывает рассказать что-нибудь страшное. А как начнешь перебирать в памяти страхи свои и всякие, то, в конце концов, непременно и окажется, что есть где-то еще более страшное, еще бóльшая безвыходность, и все твои страхи не страшны. Или уж нет ничего страшного?

Разговор не ладился. Гостей занимала корнетовская домашняя варенуха, да какая-то селедка из особенных, — королевская, над которой трудился Александр Александрович чуть ли не с самого сочельника, вымачивая селедку в уксусе с горчицей, перцем, прованским маслом.

Первым попробовал рассказать о страшном актер, но шутливый актерский случай неожиданно оказался целиком взятый из пьесы, а пьесу весь Петербург видел на театре. За актером выступил журналист и совсем беззаботно, нажигом, передал напечатанное в вечерней газете происшествие — несчастный загадочный случай, и было ни на что не похоже: газету все читали.

— Вина горячие, меды разные, квас сладкий, квас черствый, квас выкислый! — потчевал, не унывая, хозяин и, желая окончательно поправить неловкость и мир устроить, обнес гостей маковниками.

Маковники не удались: маковники вышли жесткие и горькие. Но хозяин и тут нашелся, привел всех в любовь: хозяин уверял, что надо войти в вкус, — мак первого сбора, а потому все так крепко и горько.

В озарении ли от маковников первого сбора или по привычке говорить в Думе, зоолог припомнил случай из своего детства: однажды за какую-то шалость заперли его вечером одного в комнате, о которой взрослые только что наговорили всяких страхов.

— Втолкнули меня в комнату, — рассказывал зоолог, — комната в мезонине, повернули ключ и все вниз

ушли. Темно, одна лампадка горит перед образом и что-то шумит, плывет в темноте. Стою, замер, — вот обеспамятую. Зажмуриться страшно: знаю, как только открою глаза, так сейчас и увижу что-то. И смотреть страшно: чувствую, вот сейчас оно и появится...

— А со мною такое было, — трудясь над неподдающимся крепким маковником, заговорил профессор, ума гордостного и помысла лукавого, — собрались мы как-то летом на богомолье, недалеко от Москвы, в Косино. Ночью шли по дороге, а к утру на пути свернули: торопились поспеть к заутрене. И вот под мостом нагоняет нас поезд и так незаметно подкрался, никто его и не слышал, а вдруг увидали. Да уж поздно. Я — в канаву, дворник — в канаву, нянька — в канаву, а сестра няньки, богаделка, со страху как влипнет в стену... И уж прошел поезд, вылез я из канавы, вылез и дворник, вылезла и нянька, а она все висит, не отлипает. Насилу оттащили. Ну, как летучая мышь, так вот и влипла... — маковник влип в зубы, профессор, забывшись, задумал, должно быть, расправиться с ним круто, — откусить кусочек, а хряпнул и сломал себе передний фальшивый зуб, да с перепугу его и проглотил.

Вот незадача! Гости замешались, бросились к профессору, принялись выколачивать зуб из профессора, чтобы выскочил. Инженер, искусный в разорении домов, да певец, питомый и кроткий, больше всех отличились. И зуб выскочил. Профессор, отбыв ума и мысли, плакал. Нет, не ладился разговор.

— А у нас сейчас швейцара в сумасшедший дом свезли, случай необыкновенный! — сказал стрепетный полковник с колючими шпорами.

— Какой такой случай, где, когда, с кем? — всякому захотелось знать, всякому любопытно, и профессора забыли.

— Случай необыкновенный! — повторил стрепетный полковник, — наш швейцар Наум: не лицо — один волос, кулачищи — извозчик, своего жильца в дом норовит не пустить, не только чужого, всех на страх наводит! Приехал с визитом к генералу эмир бухарский. Поднял Наум эмира на машине к генералу и всю его бухарскую свиту, а на другой день вызывают Наума через полицию в участок. Удостоверили личность, дали бумагу подписать, да в ка-

бинет к приставу. «Вот, говорит пристав, тебе, Наум, дар от самого эмира, халат бухарский, получай для ношения!». Принял Наум жалованный халат и оробел. И пока еще из участка до дому шел — ничего, а как пришел домой, забился в швейцарскую, развернул халат, да как глянул, и уж от страха ничего в толк не возьмет и все из рук валится. Надеть халат, носить его вместо ливреи — страшно: а ну, как и чалму дадут и обратишься в их веру, а в вере их и места лишишься. И не носить халат, спрятать его в сундук — страшно: взыщут. В сундуке лежать такому халату не полагается, сказано прямо и решительно: жалованный для ношения. Переделать халат жене на платье — и опять страшно: приедет эмир к генералу, увидит Наума, спросит о халате: — «Где, скажет, халат? Покажи халат!». Неправду сказать, сослаться, что потерял или в печке сгорело, все равно донесет сыщик, и по их законам голову тебе усекнут. Правду сказать, и от правды не легче, опять же голову долой. Отказаться совсем от халата, — не имеешь права, да и поздно: и бумагу подписал, и халат на руках. Запутался Наум, все концы потерял, и все халат на уме, желтый, узорчатый, цветами, и уж везде он один бухарский, жалованный, треплется и по улице льнет. Думал, думал Наум, и спятил.

— А я черта видел, — стыдливо сказал хозяин, — настоящего, под самый сочельник. Вздумал я под сочельник мыться, сел в купель. Дома никого. Ивановна к Смольному в баню пошла, пустой дом. Сижу я в купели, намылил пиксафоном голову, задумался и вдруг чувствую: где-то тут, в купельнице черт появился. И так почувствовал я его тогда очень ясно и не успел сказать себе, что сô мною черт сидит, как слышу, словно бы кто-то курлычет. Прислушиваюсь, — курлычет. И стало мне очень тоскливо, безнадежно тоскливо, и я как-то понял, что мне все равно, чтó бы там ни делалось, чтó бы ни случилось, все безразлично, а на сердце дымно, чадно, безнадежно. Черт сидит в купельнице, — ясно, но также было ясно, что не весь он тут, а просунулась ко мне в мою купельницу всего одна какая-нибудь десятимиллионная его частица, членик какой, отросток его самый негодный червовидный, а все остальное, головища — там, лапы, туловище его — там, на воле, над Петербургом, над всей землей нашей,

над всей Россией, и оттого везде такая безлепица, нескладица, бестолочь, бесстыдство, рознь, ограбление, продажа, убийство, грабеж, — все равно, безразлично, безнадежно... Сижу я так, мыла не смываю, думаю себе, раздумываю, а он все курлычет, вот так, безнадежно курлычет...

Александр Александрович закурлыкал, и все пировые брусяные палаты загремели смехом. И даже прокурор, в жизнь не смеявшийся, прокурор ощерился, вроде как засмеялся. А придворный музыкант в своем малиновом кафтане, с медалями, весь трясся, сам малиновый, как кафтан, а за ним инженер-розмысл, и скороспешный журналист, и правовед-кавалергард, и моряк с кортиком, и заслуженный шутливый актер, и знаменитый певец, и адвокаты, и бритые, и с бородкой, и все шиши канцелярские помирали со смеху. Стрепетный полковник, вздурясь, колол колючими шпорами зоолога, старичок-профессор подхихикивал.

— Да то ли еще будет, столпотворение будет! — чудил Александр Александрович, пророковал, указуя перстом, по-халдейски, — потихоньку, да полегоньку — все мы съежимся так, и на бок так, без языка, так, с глупеньким смешком. И уж будет совсем неважно, безразлично, когда придет тот же Индиан псоглавый, ступит на Красную площадь и тихо займет Кремль, а у нас, в Петербурге, поволокут Петра куда-нибудь в Мурзинку и вылетит последний русский дух!

Нет, хоть бы дух перевести, куда там! Сам царь Валтасар Халдейский ничего бы не расслышал, впустую шла корнетовская излюбленная глаголица.

Черт вызвал смех, смех возбудил позыв на корм и питье: пошла в ход варенуха, королевская селедка особенная, вина горячие, меды разные, квас сладкий, квас черствый, квас выкислый. Чокались и поздравляли друг друга, кто с чином, кто с повышением, а кто просто так — за ваше здоровье!

Теперь уж пойдут разговоры, сказ и россказни. Одно плохо: страшного, святочного, крещенского будто и ничего не выходит. Или уж все страхи перевелись на свете?

— В ту ночь и сон мне приснился особенный, — снова начал хозяин, приходивший в самое святочное вечериноч-

ное благодушие, — очень страшный сон. Я вам его расскажу. А снилось мне, будто я не то на вокзале, — огромный такой вокзал, где паровозы стоят, не то просто в каком-то здании со стеклянной кровлей, как на вокзале, но кровля далеко заходит, до самого горизонта. И уж не знаю, для чего такое здание, знаю одно, что это-то и есть мир, весь мир. И сложен он из коробок, из плетушек всяких, и много лестниц во все концы, со всех концов, и деревянных, и бревенчатых, и из веревок, и просто из паутины, паутинных. Народу — не проберешься, очень много народу: и дети, и женщины, и старики, и молодые. И все такие несчастные, исстрадавшиеся, измученные, и все только и делают, что прячутся. Этим только и заняты. Одни заворачиваются в тряпки, другие в стружки, третьи заставляются каменными людьми, — каменные такие, полуживые люди стоят, как истуканы. Но как ни прячутся, как ни хоронятся, а схорониться не могут, все их видно, а видны они эфиопу и эфиопке. Эфиоп — тощий-претощий и длинный, сухой и черный, эфиопка жирная, — короткие ноги. Над всем и везде один эфиоп с эфиопкой, они прытко белкой бегают по лестницам и всех и все видят. Они одни умеют так легко и ловко бегать с лестницы на лестницу, перебегать и спускаться из конца в конец, сверху вниз. Все же другие не могут, а которые идут — с трудом подымаются, считают ступеньки. И я вижу, как по горизонту мечутся люди и никуда убежать не могут: их и там видно, их видят эфиоп и эфиопка. Тут я не помню, что-то говорилось, ничего мне не в память, только вдруг откуда-то свет и страшно блестящие, с синевою, пушки... и все мы пошли к свету, за блестящими пушками, и нам уже не страшно ни эфиопа, ни эфиопки.

— Очень жизненно! — крякнул стрепетный полковник с колючими шпорами.

— По моему положению я в сны не верю, — сказал прокурор, — но, должен признаться, сон ваш — сама жизнь.

— Жизнь? — подцепил прокурора бритый адвокат во фраке, — и что такое жизнь? Тысяча съеденных котлет, и больше ничего.

И вдруг, словно камень о камень ударил, снова поднялся шум и смех, как после купельного черта: адвокатские котлеты рушили мир, адвокатские котлеты пришлись

всем по сердцу. Не страшные рассказы, — посыпались невские анекдоты.

Хороши невские анекдоты, одно горе — приедаются скоро: кое-кто стал позевывать, кое-кто вышел из палат прохладиться в жаркий корнетовский кабинет — в ледяную избушку.

Тут догадливый хозяин, чтобы не порвалось дело, будто по хозяйству выскочил на поварню — в кухню к Ивановне. И уж скоро вернулся и не один, а с Ивановной: Ивановна выручит, Ивановна расскажет подлинно чтó-нибудь страшное, святочное, крещенское, чего все забоятся.

Хозяин оказался прав. Ивановна смерти не боится, и пожара не боится, и темноты не боится, Ивановна второго пришествия боится, трубы громогласной архангельской, колдунов и лешего. Лешего Ивановна не раз видела и очень хорошо упомнила.

— Мужик большой, глаза светлые и ребята у него есть, ребята черные, худые...

Поднесли Ивановне варенухи, угостили винной ягодой. Присела старуха на краешке стула, поправила платок свой темный и стала старину вспоминать.

Ивановна дальняя, отъезжица, из полуночной колдовской Лапландии, от Студеного моря-океана. Там она прожила свою жизнь, там и быть бы ей до своего смертного конца, но судьба выбила ее из родной земли вон, загнала в Петербург. Неграмотная Ивановна, один твердый знак знает, а видела и слышала много и много труда приняла и печали.

Рассказывала Ивановна о нойдах — северных колдунах лапландских.

3

Не было и нет на земле страшнее нойдов — колдунов лапландских, много их было, да и теперь не перевелись у Студеного моря-океана, где живет кит-рыба, мать всем рыбам.

Страшными чарами владели колдуны-нойды: птицы-орлы доносили им чужие речи, волшебные рыбы приходили на зов их, и на рыбах переносились колдуны с земли

в царство мертвых, они вызывали мертвецов на землю, узнавали от мертвецов тайны, они угадывали, что́ делается в далеких чужих странах, предсказывали будущее, помогали и вредили человеку, привораживали, насылали болезни, смерть, наводили порчу и мертвый сон, они переносились на облаках, давали убить себя и воскрешали себя, они подымали ветер, грозу и бурю.

Колдун, умирая, благословлял своим колдовством. Если же он не находил способного человека, или не успел передать свою тайну, дух его не успокаивался, и по смерти бродил колдун по земле с колдовскими ключами, искал себе человека.

Ивановна сама видела и таких блуждающих нойдов.

Уехали ее родители в город — в Колу. Осталась она одна дом караулить. Сидела она у окна, шила, думала о своем женихе. Погасал ясный северный вечер. Две барышни прилетели будто на крыльях, две барышни в черном — черные шляпы, черные ленты. Стали барышни у окна, говорят: «Мы шли, шли, по пути избушка стоит, в той избушке маленькая подружка, очень маленькая!» — и качают головой. Которая постарше барышня, у той ключи в кармане, брякает она ключами, спрашивает у младшей: «Отдать этой ключи?» «Нет, — говорит младшая, — рано ей еще, не может она владеть нашими ключами». А Ивановна и спрашивает: «Барышни колец не носят, а у вас много колец на руках?» «Мы эти кольца даем людям, — говорят барышни, — кому два, кому три, кому пять, кому и десяток!» — и качают головой. Еще много они насказали Ивановне, на прощанье ломаное кольцо ей дали.

— В худых душах лежала, черная, как уголь, в чем душа, — рассказывала Ивановна, — а сказать боюсь: «Смотри, до трех лет не сказывай!» — запретили мне барышни.

Много они ей насказали, и все сбылось.

Вышла замуж Ивановна, были у нее дети. И муж и дети померли. В Петербург попала Ивановна. И уж ей не вернуться к Студеному морю — к океану, на свою полунощную родину.

Там, у Студеного моря, лелеется лунный олений мох волнистый — примени к волнистому морю, там летней

порой стоит день и ночь незакатное солнце червонное — примени к червонному золоту, а в декабрьскую темь и ночью и днем звезды. Там в звездном свете, как ударит мороз, сполохи — души убиенных подымают резню на небе: кровь их студеная — примени к студеному морю, алой волной лелеется, и от звезды до звезды дыблет их нож, там по звездному небу алым лапландским окатным жемчугом нижут, убирают сполохи самоцветные солнца, переметные звезды, серебряные буквы.

Нет, ей не вернуться в ледовитую землю, на пустынный берег, не обменять ломаного кольца на кольцо крепкое и литое, не выменять горькую долю на долю добрую, не пройти ни путем, ни дорогою, ни собачьими тропами в свою холодную дальнюю сторону... она горем насеяна, и слезами поливана, и тоскою покрыта, и печалью горожена.

Там, у океана, в дремучей пустыне среди живых бродят неупокойные чародейские духи.

Страшны колдуны-чародеи при жизни, еще страшнее колдуны после смерти: мертвец может сделать больше живого!

Жил в Лапландии в Нотозере большой нойд — колдун Ризь. И умер колдун, сделали гроб, положили его в гроб, а везти хоронить боятся. Был он страшен живой, а мертвый еще страшнее. Вызвался смельчак, запряг оленей, повез мертвеца. С вечера он выехал, — не ближний конец! — думал к утру на месте быть. Едет он вечер, и стала ночь. Бойко бегут олени, споро дорога идет. Около полночи вдруг испугались олени. Посмотрел возница вперед, и туда, и сюда: нет никого — ничего не видно, ничего не слышно. Оглянулся назад, а мертвец сидит.

«Коли помер, лежи!» — крикнул на мертвеца.

Послушал мертвец, лег. Поехали дальше. Ночь, глухая ночь. Бойко бегут олени, споро дорога идет. И опять испугались олени: мертвый сидел в гробу. Выскочил из саней возница, выхватил из-за пояса нож:

«Ложись, — кричит, — коли не ляжешь, зарежу!»

А мертвец как зубы оскалит, и стали зубы, как нож, железные, черные зубы... Покажи мертвецу палку или полено, стали бы зубы деревянные. Спохватился возница, да поздно. Мертвец все-таки лег. Поехали дальше. Катит

глухое время, стынет темная полночь. Бойко бегут олени, споро дорога идет. Дважды сошла беда, в третий раз не минует: встанет мертвец, съест, загрызет железными зубами! Соскочил возница с саней, припряг оленей в сторону, да сам на высокую ель, добрался до самой верхушки. Ждать не пришлось, встал из гроба мертвец и прямо к ели. Острые, как нож, железные чернели зубы, мертвец скрипнул зубами, а руки были крестом на груди сложены, как в гробу. Обошел мертвец вокруг ели, пригнулся к земле и стал грызть ель. И грыз ветви, потом ствол. Он грыз, как россомаха: летели щепки, падали ветви. И зашаталась ель. Повалится ель, — не сдобровать живому! Догадался возница, сам стал ветви ломать, бросал к мертвецу на землю. Мертвец подумал: это падает ель, — остановился. Острые, как нож, железные чернели зубы, мертвец скрипел зубами, а руки были крестом на груди сложены, как в гробу. Не падала ель, и он снова принялся грызть. И нé раз обманывал живой мертвеца: только б ему дотянуть до зари, зарею мертвец ляжет в свой гроб! Далеко до зари. Догадался возница, запел петухом, и пел, как петух: прокукарекает, похрипит и опять кукарекает. Встрепенулся мертвец, бросил ель: не заря ли зареет? Не зарела заря. И грызть, подгрызал, подгрызался под сердцевину. Падали ветви, летели щепки, дрожала ель. Упадет ель, не будет добра! Догадался возница, медленно стал спускаться с верхушки на землю. Мертвец подумал: сам поддается, — и перестал грызть. Мертвец дожидался. Острые, как нож, железные чернели зубы. Мертвец скрипел зубами, а руки были крестом на груди сложены, как в гробу. И показалась заря.

«Заря! — закричал возница, — ложись в свой гроб!»

Алая заря, как лапландский алый жемчуг. Покорно пошел мертвец от ели, покорно лег в гроб. Слез на землю возница, закрыл гроб, впряг оленей и пустил во всю мочь по дороге. Лишь к вечеру был на месте. Там вырыл могилу, опустил гроб набок, зарыл могилу и домой. Дома он все рассказал, как было, и народ стал бояться.

— Семь лет боялись, — рассказывала Ивановна, — семь лет боялись громко слово сказать, боялись ходить мимо могилы. А которые ходили, слышали, как свистит кто-то и воет там, галит и плачет. Был он большой нойд.

Притихнули гости, от хлеба-соли сытые, от варенухи пьяные, от слова довольные, не затыкали ушей: слушать им, не переслушать!

И пошла Ивановна к себе в кухню — на свою поварню. Зазвенели рюмки — посошок в добрый путь на отход.

Александр Александрович добродушно посматривал на гостей и с некоторым покровительством: удался его крещенский вечериночный разговор, честь-похвала ему, напугал он всех до смерти лапландским колдуном-нойдом.

А бритый адвокат во фраке, чокаясь с прокурором, тянул свое, свой приговор всем страхам, самой жизни, не стоящей страха.

— Что́ такое жизнь? Тысяча съеденных котлет и больше ничего.

1911 г.

ОКАЗИОН

1

Всем известно, что из году в год два больших сборища бывало у Корнетова.

Одни сборы собирались на Симеона-летопроводца, когда по старине справлял Александр Александрович куде́совы поминки — хоронил трех зверей самых лютых: муху, блоху и клопа, веруя, что уж впредь донимать его не будут, а все подберутся и тихонько уйдут через стенку к соседу. Другие сборы бывали у Корнетова на Рождестве, на пятый день праздника, когда празднуется память избиенных младенцев.

В прошлые Святки все мы по обычаю получили приглашение и точно, в указанный час, явились на Кавалергардскую, но, к нашему огорчению, и совсем неожиданно, хозяина не оказалось дома, а Ивановна, не впуская никого в прихожую и держа дверь на цепочке, через цепочку всем и каждому одно толковала, что барин только что вышел, а вернется неизвестно когда.

Не лучше случилось и нынче осенью на Семенин день: опять все мы получили приглашение и точно, в назначенный час, явились к Корнетову и, впущенные на этот раз Ивановной в дом — в палаты пировые брусяные, битый час просидели, дожидаясь хозяина. По словам Ивановны, хозяин, выходя из дому, гостей принимать велел, но когда вернется, ничего не сказал. Стол был накрыт, и всего на нем, сластей всяких — и пряников, и слив висбаденских, и варенья, и меду, и пастилы, и фиников, и винной ягоды стояло довольно, и пряник лежал в полстола ржевский, шесть фунтов полупряник, белый в узорах с миндалем, а дух фисташковый, и коробочка стояла, кленовым листком покрытая, со зверями коробочка, которых зверей хоронить надлежало, но хозяина и след простыл. Посидели, позевали и разошлись.

Каждый из нас терялся в догадках и никак решить не мог, что́ бы такое все это значило и как понимать такое: наприглашать гостей, а самому уйти?

Бритый адвокат во фраке, из всех нас самый умудренный, жизнь для которого мерялась съеденными котлетами, старался всех уверить, будто Александр Александрович никуда и не думал выходить, а преспокойно сидел себе тут же под диваном, а проделал все это Александр Александрович нарочно, из любопытства на одураченных гостей посмотреть.

Правда, за Александром Александровичем всякое водилось и ожидать от него всего можно — носил же он на себе тайны ради и сохранности великий скорописный свисток, где все было сказано, вся судьба наша русская и как царству быть русскому, сам его читал, до сих пор читает, а нам не показывал! — но такого все-таки никто не думал, чтобы под диваном...

Кое-кто пробовал на Кавалергардскую понаведаться и притом в час неурочный, чтобы уж наверняка застать Корнетова дома, но толку никакого не вышло — с парадного Ивановна хоть через цепочку разговаривает, а с черного всю глотку надсадишь, — с поварни своей разговор у Ивановны только через глухую дверь, а ответ один: «Барина дома нет, а когда вернется, ничего не сказал».

С нетерпением ждали мы святок, пятого дня, — опять ли подшутит хозяин или по примеру прошлых лет позабавит вечерком крещенским?

И наступило Рождество, пятый день, и все мы опять явились точно, в назначенный час, и уж всех нас встречал сам хозяин.

Александр Александрович был больше, чем когда, приветлив.

И вовсе под диваном, как оказалось, он тогда и не высиживался, да и диван-то у него такой, с ящиком, никак не подлезешь, а уж чтобы сидеть и совсем невозможно, нет, другая была причина — находка, из-за которой не только гостей, а и все на свете забудешь.

Гордость Александра Александровича — глаголица, на которой, казалось ему, он единственный на всем земном шаре писал дружеские послания, эта глаголица оказалась не мертвой грамотой, и такое открытие привез профессор — настоящий профессор! — с которым за зиму и свел Александр Александрович большую дружбу и вечерами пропадал у него в разговорах: профессор объехал весь свет и нашел остров, Крък зовется остров, где и поныне не только богослужебные книги печатают, но и газета издается, и жители все пишут не иначе, как на глаголице.

— И разговаривают! — добавлял Александр Александрович, представляя нового гостя профессора своим старым приятелям.

Целый год мы не видели Александра Александровича, а как будто и году не проходило, все такой же... варенухи поднес нам своей домашней, забористой, и хоть все мы хорошо знали, что елисеевская наливка и нисколько не домашняя, но пили да похваливали, как самую настоящую, на косточке настоенную и годами выдержанную: так ведь убедить и глаза отвести мог только один Александр Александрович Корнетов, путейский ревизор, статский советник в отставке!

За варенухой, пока гости чокались, да к рюмке принюхивались, да на языке смаковали, успел хозяин проскочить в ледяную избушку — в кабинет свой семиугловый и уж вернулся не с пустыми руками, — боль-

шущую граненую рюмку бережно в трех перстах нес Александр Александрович.

С рюмки и начался вечериночный долгий разговор.

— Видите вы эту рюмку? — спросил хозяин.

— Видим, — ответили мы разом и потянулись к рюмке поближе.

— Что же вы на ней видите? — Александр Александрович поставил рюмку на блюдце, блюдце на белый шестифунтовый ржевский полупряник, чтобы, как следует, всем было видно.

— Отпечатки вдавленных пальцев, — сказал прокурор.

— Отпечатки вдавленных пальцев, — повторил хозяин, — совершенно верно, но скольких?

— Конечно, трех! — ответили мы разом, — кто же не знает, что рюмку держат в трех пальцах?

— То-то и есть, что трех, а чьих?

Но тут все мы прикусили язык: кто же мог знать, чьи пальцы? и в самом деле, как узнаешь, чьи такие пальцы так явственно вдавлены были на рюмке?

— Черта, — сказал Александр Александрович, — вот какой случай, самого черта пальцы.

По обычаю занять святой вечер полагалось страшными рассказами, и хотя что такое может быть нынче страшного, когда жизнь наша, по отзыву умудренного жизнью приятеля, бритого адвоката во фраке, не иное что, как тысяча какая котлет съеденных, рюмка с чертовыми пальцами пришлась очень кстати.

Рюмка с чертовыми пальцами досталась Александру Александровичу из старинной заброшенной усадьбы Таракановых. Со всеми подробностями описал нам Александр Александрович усадьбу и все родословие Таракановых до последнего представителя, скитающегося нынче где-то в Москве на Хитровке. А когда-то в усадьбе шла жизнь и полно, и богато, и прохладно, и чудес водилось немало.

— В столовой стоял большой желтый буфет, — рассказывал Александр Александрович, — в столовой обычно собиралась вся Таракановская семья, и черт, приставленный к Таракановскому роду, поселился в буфете. И пристрастился черт, глядя на хозяев, к простяку-водке и скоро

уж выпивал не меньше хозяев, а облюбовал себе черт эту самую дедовскую рюмку. И вот однажды в грозу сидел себе черт в буфете, выпивал мирно, рюмку за рюмкой, но после седьмой, развезло, что ли, черта или уж по природе своей, возьми да сболтни черт что-то совсем неподходящее про божественное громовержение, и хоть про себя сказал он это похабство, да там-то уж все слышно, и метнул Илья стрелу да прямо в буфет, в черта, и расшиб черта вдребезги и как раз в ту самую минуту как поднес он к губам рюмку. А прошла гроза, раскрыли буфет, тут-то и заметили, что на дедовской рюмке эти вдавленки — три пальца чертовых, а на полке лежит стрела огромадная.

Александр Александрович налил в чертову рюмку варенухи, сперва сам выпил, потом гостей обнес. Не без любопытства пили из чертовой рюмки, и как будто совсем ничего, варенуха на вкус такая же показалась, так же сладко тянется, и разве что на самом донышке чуть погорчее — косточка, а действия другого не оказывала.

И только старичок профессор — не настоящий профессор, учитель-старичок, еще в позапрошлые святки зуб из которого выколачивали: проглотил тогда зуб с маковником! — человек почтенный, ума гордостного и помысла лукавого, вдруг порозовел весь и стал необыкновенно веселенький.

— Я вам сказку скажу, — беспокойно как-то и словно отмахиваясь от кого-то заговорил старичок.

Сказка так сказка, нам чего же лучше, самое время было для сказок.

— Страшная? — спросил актер, сам обыкновенно рассказывавший всякие страшные случаи из тех пьес, что играл, и не раз которого, по словам газет, засыпали цветами.

— Не-весть-что, про Додона!.. — даже поперхнулся старичок, взыграв: необыкновенная игра душевная разливалась в его вспыхнувшем румянце.

Признаюсь, как-то сомнительно стало, что у старичка что-нибудь выйдет, но старичок малость простыл, и уж спокойно начал рассказывать.

2

В некотором царстве, в некотором государстве царствовал сильный и могучий царь Додон. И было это царство богатое и сильное — с краями полно, не насмотришься: всякий тут лес, всякая ягода, всякие птицы водились, и не только что хлеба было всем вволю, но и всякого добра и всего не в проед было, да и скотины развелось очень довольно.

Задавал царь пир за пиром распьяные-пьяные, и было в его царстве веселье, как еще ни в одной державной стране, разливанное, и гости, отплясав ночь в три ноги, возвращались под утро домой без задних ног.

Разными диковинками славился Додонов двор, и шла его слава далеко — дошел слух до Кощея-бессмертного. И уж собрался сам Кощей в гости к Додону побывать, уж сел Кощей на ковер-самолет, да только сажен десять не долетел, потому что ему нельзя как-то в Русь, и воротился домой.

А диковинки и вправду были знатные.

Жил у царя на чердаке ворон, — ворон, если бывала надобность, пускался из слухового окошка за тридевять земель, приносил царю от Лягушки-царевны золотое яблоко, а с золотым яблоком живую воду и воду мертвую.

Царь тем яблочком лакомился, а живую воду в квас подбавлял и всегда после бани с квасом кушал для своего удовольствия, а кстати и чтобы век свой продлить — подбадривал старую кость, приходящую в ветхость, мертвой же водой для развлечения мух да тараканов морил.

Хранился у царя в хрустальной шкатулке перстень, — перстень, если метнешь его с руки на руку или на палец наденешь, так сию же минуту и перенесет тебя, куда хочешь.

Царь шкатулку держал у себя под головами, а перстень надевал только раз в году на свои именины, и то на обедню.

В стойле стоял златогривый конь — златохвостый конь, и никуда на коне никто не ездил и никуда коня не

выпускали, а была проверчена в конюшне щелка, через ту щелку все на коня глазели, да диву давались.

У красного крыльца лежала свинка-золотая щетинка, испускался от свинки свет такой сильный, и никакого другого не надобилось света, и других огней на царском дворе не зажигали: хоть в самую темень иди, не споткнешься и нечего бояться — не разобьешь носа; трогать же свинку пальцами и гладить руками никому не дозволялось — обнесена она была крепкой решеткой, и лишь издали кланялись свинке, поминая чушку добрым словом.

По саду разгуливал олень-золотые рога, днем златорогий на себя любовался в тихом озере, на ночь в пещеру спать уходил, и спал до зари, как простой человек.

И жила еще птица у царя колпалица, — на колпалице куда хочешь летай, только было б птице что есть, а птица, есть хоть и ела и не так чтобы много, да норовила зараз в один присест все запасы прибрать и волей-неволей отрезай пожирнее кусок от себя, да человечиной корми птицу, а то не летит.

Царь на птице никуда не летал, а держал птицу в клетке над своим троном, и тут же у трона гусли висели самогуды и так сладко звяцали, уши развесишь.

На дворе на привязи в собачьей конурке, как собака, сидела Ведьма: день под окнами ползала Ведьма, ночью тявкала по-собачьи.

Как-то однажды в сердцах предсказала Ведьма царю смерть от червя. И приказал царь Ведьму казнить, — разложили на дворе костер дров и Ведьму сожгли, а червяков всех, сколько их ни было, и какие только могли проявиться, велено было доставлять ко двору и давить, а которые юрки, тех на месте приканчивать.

И высоко сидел царь Додон на перловом вырезном своем троне в красных веселых палатах, — окружены были царские палаты трехстенною крепостью, на стенах наведены были струны с колокольчиками, — сидел царь высоко во всей своей царской, государевой славе, давил червей, да лакомился золотым яблочком, а вкруг него все гости да все пьяные, плетут рассказ, поют, пляшут, удивляются царским диковинкам.

А диковинки и вправду царские! Но из всех диковин диковинка, чудо из чудес, диво из див, росла дочь у царя

Олена — краса неоцененная, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Прошло там сколько, не год, не два, и стали вести носиться, что поспела царевна невестой под венец, и стали из иных земель цари, короли да принцы к Додону съезжаться, и стал царь Додон собирать царскую свадьбу.

А пока приданое готовили, удальцы женихи свою удаль перед царевной развертывали, и перевернулось все царство Додоново: очень уж царевна была всем завидлива, — всякий зарился в жены себе царевну взять. И бранились, дрались соперники, убивали до смерти, резали прямо ножами, а не то так иным делом изводили друг друга.

Вот заструнили струны, зазвенели колокольчики — наступили смотрины царские. И пошли сваты со свахами невесту охаживать, приданое-добро смотреть, всякую мелочь вдоль и поперек отрагивать, во все запускать свой глаз, такие дотошные, — да так и обычай велит.

И не мало, не много, целый день трудились — одного добра, сундуки ломятся! — и лишь под вечер согласно решение вынесли: порухи нет никакой — невеста красавица и все, как надо быть, во всей красе царской, и лучшей невесты поискать — не отыщешь. А ловкостей разных — няньки да мамки научают этому делу невест — порассказала царевна на загладку сватам так много, и пальцев для счета не хватит, и такие хитрости выказала, что и сами сваты, народ дошлый, да и те не выдержали, совсем очумели.

Уж пошли сваты наводить свой последний глаз, уж готовились ударить во все колокола, готовилась царевна выбрать себе мужа, а царь зятя, как вдруг чей-то лихой глаз открыл в царевне такое, и когда про такое сват перешепнул на ухо свату, и с уха на ухо всем стало известно, всех такой оторопь взял, и вмиг весь Додонов двор ровно языком слизнуло. Повскакали женихи со сватами живо на коней, а свах кто за что — кто за седло, кто на хвост, и все до одного, поминай, как звали!

И с той поры никого, хоть бы кто, хоть бы самый завалящий принц, никто не являлся женихом к царю.

И слал Додон сватов от себя, сулил царь полцарства отдать, и рад-то был царь с диковинками расстаться, лишь бы выдать дочь, — да один у всех сказ!

Одна-одинешенька невесела томилась царевна, утром выйдет в сад, бродит, как тень, и только посередь дня заходила царевна на птичий двор, кормила любимых цыцарок. А царя совсем старость осилила, и от живой воды пользы не стало, и хоть червяков всякий день давил Додон с сотню, а то и побольше, да смерть не обманешь: червем подползет она, ой, червь, ой зубатая!

И задумался царь, думая себе, гадая крепкую думу, как быть, да чтоб и все было. Думал царь, думал и вздумал думу: велел царь созвать со своего царства всех, сколько ни есть, бояр, всех на всех в красные свои палаты.

И сошлись к царю бояре все, расселись по местам, порасправили бороды и начали думать, как быть, да чтобы и все было. Думали, думали, думали, думали, гадали, гадали, и то думали и се думали, и так и этак прикладывали, и ничего не выдумали.

Так и разошлись.

А жил у царя в дворцовой клетушке один человек, а звали его Лука Водыльник, а был он, водыльник, не велик, не мал, да такой, что всякому приметен: сухонький, востренький и всего-навсего об одном единственном глазе, да и тот не в показанном месте — во лбу над носом, а догадлив водыльник был — ни на какую стать.

Появился Лука в Додоновой земле, еще когда Додон молод был и большие войны вел, уходя, бывало, на долгие сроки со своей сильною ратью в дальние земли, а появился Лука просто чудом из темного подземного царства, где люди в воде, в кадках с водой живут и все впотьмах делают.

Не везло Луке на первых порах, все прошибался, все не по-людски выходило, ну, да потом попривык, и уж так во всем наловчился, что самые первые комнаты —

покои царские у царя прибирал и птице-колпалице клетку чистил.

И случилось однажды, отправился Додон войной на Дракана царя, а Луку, как верного себе человека, поставил при Вороне находиться и, если что ворону понадобится, все исполнять беспрекословно. И случилось с Лукой о ту пору одно невеселое дело.

Пристрастился Лука у Ворона воду живую пить и, не зная меры, — до воды Лука большой был охотник, — в один прекрасный день так опился, что пришлось попа звать, Луку соборовать. Суток трое бились с больным, воду из него трубами выкачивали, и только на четвертые сутки, как царю с войны воротиться, с Божьей помощью кое-как отходили беднягу. И с той самой поры почувствовал Лука к воде отвращение, и никогда, и даже Богоявленской никакой ни капельки ее в рот не брал, а питался круглый год ягодой, кореньями да калеными орехами.

Еще больше приблизил царь Луку и со временем назначил его главным вельможей, а любил его, как родного, и за сметливость особенно — и как бывало у них меж собой чтó сказано, так было и сделано.

А Лука умел угождать царю: из ничего просто так сделает тебе кошелек бумажный или так на языке играть примется, что всякий со смеху помрет и всякому поплясать охота, если даже и невмоготу тебе.

А тут у Луки обнаружилось вдруг такое пречудесное качество, что царь, уж не зная чем еще наградить Луку, приказал вписать Луку о здравии в поминанье на вечное поминовение, поминать Луку во всех церквах и здешних и нездешних.

Бог знает, каким образом, и неизвестно откуда, сыпался из Луки вроде пепла песок какой-то, и когда, бывало, сядет Лука с царем судить да рядить, так после обязательно целый мешок песку соберут, а то и слишком, А известно, на Додоновой земле песку самородного и в помине не было, и всякий этим песком, слегка просушив, им и пользовался, и наклали из песку Лукина посреди столицы Додоновой гору высоченную, чтобы на Красную горку солнце встречать, на Маслену с горки кататься.

Вот какой был этот Лука хитрец — важный человек.

И надо же такому случиться, незадолго до смотрин царских отправился Лука на богомолье и пропал на долгое время. В какие страны заходил одноглазый, по каким монастырям и угодникам молился, ничего неизвестно, а может, просто-напросто лазил к себе в темное подземное царство и там коротал время, сидя в кадке со своим одноглазым приятелем, кто ж его знает! И когда вернулся Лука, Додонова царства узнать нельзя было.

На царском дворе все приуныло: цветы в саду стали вянуть, деревья сохнуть, трава поблекла, а царь мышей уж не топчет.

Тридцать три года стукнуло царевне, тридцать и три — и красна, краше нет ее на всем свете, а толку никакого.

Разведал Лука дело — Лука до всего доберется! — забрал Лука золотую мерку, да с меркой тихонько и прошмыгнул в терем...

Но тут в старичка, уж наверно, бес вселился, старичок вдруг такое понес, и вправду, не-весть-что понес и так руками стал выделывать что-то, — и кругом поднялся сущий содом.

— Вина горячие токайские, меды разные, квас сладкий, квас черствый, квас выкислый, вишневка-первачок! — потчевал хозяин, сам выпроваживая тихонько бесноватого в свою ледяную избушку.

И пока гости занялись винами токайскими, Александр Александрович уложил старичка на диван, да чтобы бес скорей вышел, прикрыл его шкурами. Стал старичок из-под шкур высвистывать: «покойной ночи!», и опять вернулся хозяин в пировые палаты к своим развеселым гостям. А гости, что говорить, повеселели. И стрепетный полковник с колючими шпорами и инженер — разоритель домов, и моряк с кортиком, и зоолог, член Государственной Думы, и авиатор, летающий где-то за Уралом, и актер, неоднократно засыпаемый цветами, все казались в большом ударе и готовы были подобрать в памяти свой случай, не уступавший Додонову, но хозяин ухватился за профессора, за настоящего профессора: профессор, объездивший весь свет, должен был порассказать что-нибудь необыкновенно чудесное.

И профессор, хоть с виду и очень свирепый, но это только так с виду, а так совсем ладный, профессор и не отказывался, и даже не крякнув, прямо приступил к рассказу.

3

Быть за границей и не купить себе чего-нибудь из платья: пальто там какое, сюртук или жилетку, считается по меньшей мере глупо, не так ли? И на первый взгляд мнение такое, могу сказать, вполне справедливо. Знал я одного, такой был у меня приятель, поехал он за границу, страсть и взглянуть в чем, а вернулся домой, встречаю на Невском — жених. Да и не одного знал я такого, переделанного так за границей, а в срок самый кратчайший, и все от дешевизны тамошней, а главное — от вкуса. И скажу по всей по правде, эта мысль и у меня в голове вертела, ну, если не женихом, то уж во всяком случае так принарядиться, чтобы, хоть и малую, да пустить в глаза пыль.

— Главное дело, дешево очень, а сделано с необыкновенным вкусом! — это общий голос людей бывалых, против которого не поспоришь, этот голос и меня напутствовал в мои дальние путешествия в чужие края.

Сначала-то, как я туда приехал, было мне там не до покупок, все глядел я, чтó все глядели, и удивлялся, чему всякий долгом своим считает подивиться. И хоть не все оно было так, как говорилось, да уж тут некогда разбирать, знай только успевай оглядывать. Ну, а как обжился да осмотрелся и пришло время на отъезд, вспомнились и те советы.

«Главное дело, дешево очень, а сделано с необыкновенным вкусом!» — так это и долбить и долбить и уж идешь по улице, завидишь чучела, у портного торчат, изнаряженные такие, розовые, и обязательно станешь и цену высмотришь. И действительно, что-то, а дешево все на удивление, а уж вкус, и не выразишь. И в большие магазины пошел я для той же цели, и чем больше смотрел, да присматривался, тем все больше глаза разбегались, и

уж остановиться ни на чем не мог, — все так бы и взял, так бы и купил.

Всего-то покупать мне и не к чему было, мне надо было пальто — летнего пальто у меня не было. Ранней весной приехал я в Париж в осеннем на ватине, а как наступила жара, на ватине и неудобно стало. Без летнего пальто, что говорить, нечего было и думать домой возвращаться.

Хотел я попробовать на свой страх — уж очень мне одно понравилось, так ни на что не похожее, мешком, да раздумался: еще, думаю, выразиться не сумею толком и сдерут втридорога. И рассказываю знакомому своему, решил на него положиться, его указаниями воспользоваться — этот знакомый мой замечательный: русский, а так замоторел на чужой земле, и уж по-русски разучиваться стал и, конечно, знает все не хуже настоящего природного жителя, — вот ему и рассказываю и само собой о больших магазинах...

— Большие магазины! — так и напустился на меня знакомый мой, — да в больших магазинах только одни дураки покупают, для них и магазины эти открыты. Большие магазины! И дорого, и плохо, и покупать — только деньгами сорить!

И все это, как оказывается, знает он по-собственному опыту, на себе испытал, и уж другу и недругу по большим магазинам ходить закажет. Но зато может он такой магазин указать, и совсем небольшой, где просто даром дают — о к а з и о н.

И сказал он адрес оказиона и для верности на листке улицу и номер написал и как идти нарисовал: магазин неподалеку от Сен-Сюльписа церкви, на одной из узеньких поперечных улиц, таких тесных, где дай Бог одному автомобилю проехать.

— Черт их не знает, откуда они там такое сокровище собирают! И вообразить себе трудно, какая дешевизна, ниже цен нет на всем свете, да и не было, с покойников, что ли! доставляют им, черт их не знает, оказион!

Так зудел, так нахваливал мне знакомый мой этот магазин самый, куда, как решил он, не иначе, как с покойников сокровища собирают — Сен-Сюльпис церковь

под боком! — и повторял на все лады и по-нашему и не по-нашему, уж бросил я ходить по большим магазинам и на чучел выраженных, что́ у портных выставлены стоять, на чучел розовых не пялил глаз. Я твердо решил и бесповоротно: отыщу ту самую улицу поперечную под Сен-Сюльписом, магазин тот оказион, и хоть с покойника, все равно, а куплю себе пальто — без летнего пальто нечего было и думать домой возвращаться.

И не откладывая в долгий ящик, в первый же ближайший день пошел я улицу отыскивать, ту поперечную, и очень удачно, не очень много путался, легко попал на улицу и скоро дом нашел, — ну, все как говорил и записал и нарисовал мой знакомый. И только одно меня смутило, — действительно, в доме оказался магазин, но совсем не по одежной части: на двери, на стекле огромная желтая ботинка нарисована, и кроме этой желтой ботинки ничего, и никакой подписи и никакого названия. Заглянул я в окно — темновато, и там какие-то крючки и обувь, туфли больше вроде купальных такие, а никаких сюртуков, никакого пальто нет.

Думаю, может, на такой улице два одинаковых номера есть, все, ведь, возможно! — и перешел на другую сторону, прошел всю улицу, но такого номера еще раз не было, стало быть, не ошибся, и опять вернулся к магазину. Стою под дверью, смотрю на ботинку, а войти спросить духу не хватает: ведь, ясно, ботинка да вдобавок еще желтая большая, чего же лезть спрашивать?

Постою, посмотрю, отойду немного и опять вернусь и опять стою.

«Да что же это, — думаю, — ботинки я, что ли, испугался, войти спросить страшно?» — и уж собрал я всю, какая есть, решимость — чувствую, покраснел весь, — и с еще пущим остервенением толкнул дверь.

— Как же, есть и пальто, сколько угодно! — продавщица в черном, у них это везде так, и в кафе и в магазинах, все в черном, барышня продавщица, на лису похожа, словно обрадовалась чему, так вся и распустилась, — какое угодно пальто, все есть! — и повела меня куда-то наверх через самую тьму египетскую.

Кое-как, с грехом пополам добрался я до верху, до той комнаты, где и пальто и все есть, и слава Богу, чуть

посветлее стало. И сейчас же мне продавщица все показывать: и одно тащит, и другое тянет, и третье выкладывает, только смотри, только выбирай, — и фраки и смокинги, и жилеты... а вот брюки, белые, как наш сахар, и всего лишь у коленки где-то кофейное пятнышко, так пятнышко, а цена — пять франков, а вот жилет — перо павое, три франка!

— Мне, — говорю, пальто покажите летнее! — сам говорю, а у самого голова кружится, нетерпение берет взглянуть поскорей: уж очень все хорошо и ни на какую стать очень дешево.

А продавщица порылась, порылась за прилавком, зацепила там, вытянула что-то из узла и уж тащит.

— Прямо на ваш рост, автомобиль! — растопырила рукава, примерять держит.

Ничего, гляжу, пальто, как пальто, хорошее пальто, длинновато как будто, и рукава и полы длинноваты, свободно что-то очень.

— Автомобиль! по вашему росту! — а сама так лисой и смотрит, так вся и вылисывается.

«Может, — думаю, — это так и надо, так и полагается, а главное, вкус-то какой!» — пощупал я материю: плотная и вся словно из волос одних, волосатая, а цвет зеленоватый с сединком, и только эта штрипка сзади болтается, ну, такая, как на шинелях, или халаты тоже такие бывают с такою штрипкой.

— Это, — говорю, — нельзя ли убрать?

Но тут продавщица словно бы сконфузилась за меня.

— Автомобиль! — повторила она и как-то так укоризненно и убедительно, что и возразить невозможно.

«Стало-быть, — думаю, — это так полагается и придется, видно, и как это ни глупо, а ходить со штрипкой!»

— А цена какая?

— Тридцать франков.

Тридцать франков — двенадцать рублей наших, ну, как вам кажется, и где же это, скажите, в каких таких рядах за такие деньги такое добро получишь?

Рассчитался я, записали мой адрес, и пошел себе домой, вот как довольный! А к вечеру у меня и новое пальто было — зеленоватое с сединком. Теперь спокойно я мог взять билет, уложить вещи и ехать в Россию.

Так я и сделал.

Так я в это самое пальто и обрядился, и в путь. И не скажу, чтобы дорогой было мне очень приятно: полы длинные, как станешь в вагон влезать, путаешься, путаешься, едва влезешь, и рукава широченные и опять же длинные, папиросу с трудом закуришь, да и тепло, так тепло, словно в зимнем. Намаялся, что говорить, и уж как пенял, что того не надел, на ватине. Ну, как-никак, и доехал, а вот дома, как огляделся, и делать не знаю что́.

Надену я этот самый халат покойницкий, посмотрюсь в зеркало, да как увижу эту длинноту попятную и эту самую штрипку дурацкую, да скорее долой с плеч, да на вешалку, ну, хоть иди покупай новое. По улицам хожу, примечаю, кто в чем и нет ли у кого еще, — и сколько ни смотрел, ну, хоть что-нибудь подобное, ну, хоть раз бы на глаза попалось такое.

«Может, на следующий год мода выйдет!» — стал я утешать себя и решил до весны подождать, а пока что оставил пальто на вешалке висеть.

И завелась у нас моль в доме. И чем я ни травил ее, вывести не могу, уж я и к товарищу профессору обращался, к физику, дал профессор каких-то камушков купоросных, разложил я камушки по всем углам, но и камушки не помогают, все ее больше и больше, и откуда летит, неизвестно. Что делать? — и взялся я за вещи. Пересмотрю, думаю, все, и найду гнездо, тут ей и конец будет! И много чего пересмотрел, а нет гнезда, а как дошла очередь до пальто, распахнул я его, а на нем... ну, живого места нет, одна моль — и ползет, и скачет и, Бог знает что, одна моль. Целый день я возился и выбивал и вытряхивал, да хорошенько пронафталинил и положил в сундук.

А пришла весна, и в первый теплый день пошел я на Гороховую и купил себе простое летнее пальто!

— Оказион! — сказал Александр Александрович, довольный своим профессором, и опять взялся за всякие варенухи и за сласти прохладительные: прохладиться не мешало.

— А со мной был такой случай, — тихо, но достаточно ясно сказал камергер Баукин, еще совсем не старый, но замечательно благообразный, как некий мудр муж, известный гербовед петербургский, — я, если хотите, расскажу вам этот случай.

— Расскажите, Петр Иванович, расскажите, пожалуйста! — Александр Александрович так и сиял весь от удовольствия — еще бы, на вечер не пожалуешься и Ивановну нечего звать о колдунах рассказывать.

И Петр Иванович, держа на коленях руки, начал своим успокаивающим голосом свой рассказ.

4

Читал я в газетах, как мальчишку какого-то, Петьку погасили: был на свете Петька и вот не стало Петьки, хоть и жив он живехонек, и вихры торчат по-прежнему, а уж нет его — погасили!

Скажу кратко, как это все вышло, и что это «погасили» такое.

У Петьки мать прачка, Марья, по стиркам ходит. Идет она раз вечером со стирки на Карповку к себе, на квартиру, а на берегу у моста народ, и как увидели ее, кричат: «Твоего выловили, утоп!» Ополоумела, бросилась Марья к берегу, и видит, лежит ее Петька — примок весь и слинял мальчонка: утоп. Ну, поплакала, потужила, да видно уж Бог, и похоронили мальчонку, — разговаривать много не будут, живо схоронят. А так дня через три к ночи и является домой сам Петька, — экий, сбежал на тот свет за счастьем, искал себе счастья, да вернулся! Но тут-то и начинается Петькина мука. Повела его Марья к сапожнику, по сапожному мастерству думала определить мальчонку, и сапожник ничего, принять Петьку не отказывается, только давай метрику. Марья к дьякону, а дьякон уж отметил в церковной книге, что Петька помер, и никакой метрики выдать не может. «Я, — говорит, — его погасил!» — Так и погасили мальчишку и ходу ему никакого.

Про эту историю я как вычитал в газете и очень тогда меня растрогало все, и я себе все представлял этого бродячего погашенного Петьку среди нас горящих, и мне

очень было его жалко. Потом я позабыл о Петьке, другое жалел, о другом думал, и вот вспомнил... А вспомнил я Петьку и всю его жалостную повесть при обстоятельствах самых плачевных — в жандармской комнате, в дежурной, на нашей границе.

Возвращался я домой в Россию из путешествий. В первый раз я был за границей, и немалого труда стоило мне за рубеж переехать — в Петербурге у меня не оберешься дела! — но жалеть не пожалеть, от всего не нашего был я тогда в восхищении, все мне казалось там и бело, и хорошо, и благодатно, ведь это уж потом, много спустя, я их грязищу-то вот как черпанул, в обе горсти...

Должен сказать, народ правильный и, конечно, как старших, есть за что и уважать и благодарить их — какую крепкую церковь построили они себе каменную, воистину: врата адовы не одолеют ее, прямо по колокольчику доведет до врат небесных! а какие мудрецы жили на их земле и подвижники, воистину: свет неизреченный фаворский в явь видели! да и в обиходе житейском чего только ими ни повыдумано, ну, клопа, скажем, нашего доморощенного воздухом у себя вывели, разве что так последыши остались, в Париже живут, и мужик у них с голоду не пухнет, разве что так... а трудятся по-лошадиному и не без проку — конечно, чтó говорить, есть за что уважать!

Но впервые-то, увидев у них только одну белизну, одну чистоту, одну благодать, я был от всего в большом восхищении и все-таки с неменьшим восхищением подъезжал я к нашей земле: ну, какая ни есть, а своя, и пусть мы раздорны и разбродны и дураки набитые — выгоды своей частенько, хоть и под носом она, вовсе не замечаем, мимо прем, и обойти нас не так уж трудно, пускай все это верно, не ложь, но, Господи, Троица наша с татар неколебимо стоит, и старцы по лесам еще не перевелись, тоже фаворские, и баня у нас есть, а порядку... ну, порядку и мы научиться можем, безобразничать-то и нынче не очень ловко становится, и не так уж мы все ленивы, как сами о себе на весь мир протрубили, а что если мы в вагон за час забираемся, то, ей-Богу, это везде, это и в самых первых городах их, все равно, как и везде, поезда опаздывают!

С нетерпеливым чувством подъезжал я к границе, к дорогой России нашей, лучше которой на всем свете ничего для меня не было.

Осмотрели мои чемоданы — недозволенного я ничего не вез, правда, много у меня было ненужного, да ненужное в расчет не берется, и паспорт мне выдали.

Взял я билет, сдал багаж и сел чай пить, — до горячего чаю охота большая была: конечно, там хорошо, там все хорошо, да только чай-то теплый подают, и никак, никаким словом не вдолбишь им, что теплого этого и даром тебе не надо, — сижу за столиком, пью чай горячий, и такое благодушие нашло, чувствую, распариваюсь весь, — эх, и кипяток же крутой!

Так приятно и час прошел. Минут за двадцать до звонка расплатился я за чай, хожу по тем местам, где мои чемоданы смотрели, хожу так — сейчас, думаю, и! покачу — покачу по родимой землице!

— Вы Баукин Петр Иванович? — имя и отчество и фамилию мою называют, жандарм называет, и откуда взялся такой, один Бог весть.

— Я, — говорю, — самый.

А он рукой мне так — дорогу показывает:

— В дежурную пожалуйте, ротмистр вас просит! — а сам огромадный, поперек возьмет, переломит, вот какой.

А ротмистр, вижу, торопливо так проскочил, телеграммой помахивает. Уверенно иду, знаю, ничего за мной нет такого, чтобы что-нибудь. И пришел я в дежурную, и тот жандарм великий со мной. А там, в дежурной, их великих таких штук пять стоит, а комнатенка тесней и не придумаешь — как стал, так и стой.

Тут подошел и ротмистр.

Мой жандарм на меня ему:

— Вот они, — говорит, — которые по телеграфу.

Смотрит на меня ротмистр — молодой еще человек и чистенько так одет.

— Вы, — говорит, — Петр Иванович Баукин?

— Я, — говорю, — я самый.

— А чем, — говорит, — вы докажете, что вы самый Петр Иванович Баукин и есть?

— Как, — говорю, — чем, да вот же паспорт, сами

же вы его только что мне выдали! — да скорее в карман за паспортом, паспорт тащу.

А ротмистр у меня из рук паспорт мой взял, повертел его, повертел, да жандарму тому великому, не глядя, и сунул.

Стоим друг против дружки, смотрим друг на друга, ничего я не понимаю и как понимать, не придумаю, а вижу, что он-то понимает что-то.

— Так чем же вы докажете, что вы и есть Петр Иванович Баукин?

Стоим, смотрим.

Тут-то вот и вспомнил я Петьку, вспомнил, как погасили мальчишку, и подлинно, душа у меня в сапоги ушла, и уж что́ ответить и сам не знаю: ехал я за границу таким-то, — и мысленно называю себе имя и отчество и фамилию свою, — а вернулся и уж не такой, — и мысленно опять называю себе имя и отчество и фамилию свою, — был Петр Иванович Баукин, и погасили! — стою, душа в сапогах, и нет на языке слова.

А ротмистр знай свое:

— Докажите и докажите, что вы Петр Иванович!

И, должно быть, вид у меня был жалости подобный, — еще бы, когда тебя не признают за тебя, а ты сам и есть живой налицо! — и это вот понял ротмистр.

— Может, вас тут знает кто? — спросил ротмистр.

А кому тут знать!.. и вдруг вспоминаю, видел, в буфете, и как раз против меня за столиком сидел, тоже чай пил и тоже, как я, распаривался, благодушно, актер один, «всей России известный» комик Лалаев, и сам ротмистр подходил к нему разговаривать...

— Постойте, — говорю, — есть, сидит тут в буфете актер, всей России известный, Лалаев!

— Лалаев! Сидит, как же! — и ротмистр не без удовольствия повторил фамилию актера, — Лалаев!

— Этот актер Лалаев, — хватаюсь я за последнюю, только с перепугу и возможную, соломинку, — этот актер, человек образованный, он что-нибудь, может, слышал обо мне... из газет или читал...

Ротмистр необыкновенно готовно вышел справиться обо мне в буфет к актеру. А я остался один с моими

богатырями в дежурной, в клетушке; признаюсь, и посмотреть на них мне было страшно.

Что-то очень уж скоро вернулся ротмистр.

— Нет, не слыхал, не знает! — ротмистр только пожимал плечами.

«Ну, значит, — думаю, — погасили!»

И уж чтó прочитал ротмистр на лице у меня, на погашенном, одному Богу известно, только сказал он мне как-то совсем по-другому, совсем не так, как встретил.

— По телеграфу вас задержать велено, — сказал ротмистр, — вот и карточка ваша! — да карточку мне прямо к носу.

И как глянул я на карточку, так не то, что вы сапоги, а из сапог уж вот-вот душа выскочит: поразительно, моя! я — вылитый, я! ну, все, и глаза и нос и даже шляпа, ну, с меня, с меня самого! а вместе с тем что-то, не могу уловить чтó, а не мое, нет, не я! И вижу, не я, а в чем дело, не догадываюсь.

И долго бы мне так в догадках мучиться, одно спасло — наитие Божие.

Снял я шляпу, да себя за ухо: то за одно, то за другое...

— Уши, — говорю, — видите, уши-то видите? — а сам все тяну, то за одно, то за другое, — не мои!

Тут и ротмистр нагнулся к ушам и все богатыри с ним — и откуда такой народ подбирается рослый! — все богатыри с ним уши мои проверять: посмотрят на карточку — и на меня и опять на карточку — и на меня.

— Ошибка! — услышал я, ротмистр сказал, — уши не ваши, совершенно верно! — и я почувствовал, как в руках у меня очутился паспорт, ротмистр в руку его мне сунул.

До вагона дошел я без шляпы: в одной руке шляпа, в другой паспорт. До вагона провожал меня ротмистр, и уж приятелями мы простились: с ним тоже раз было, это он мне дорогой рассказывал, тоже случай, чуть раз не погасили...

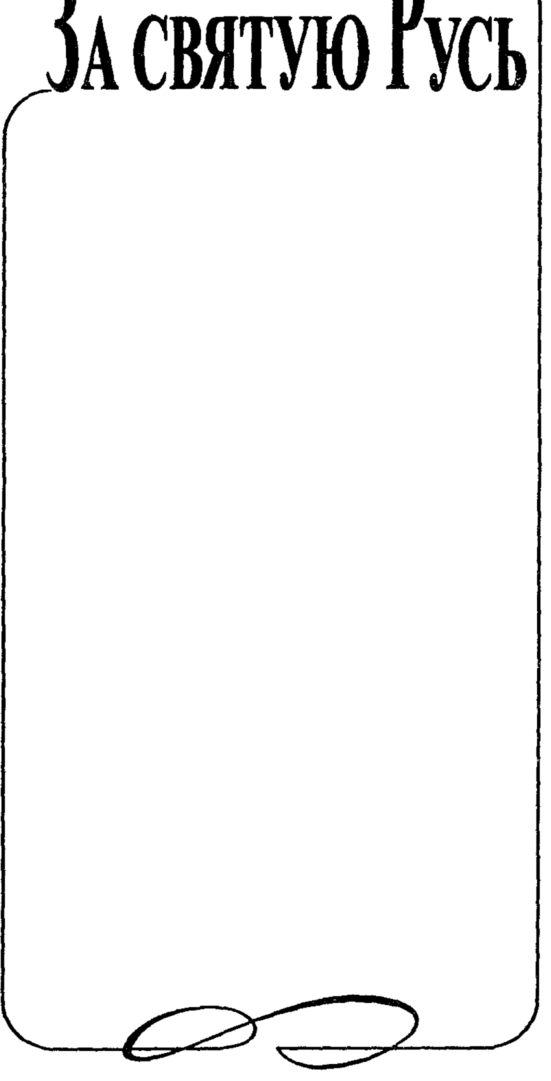
Три кукушки одна за другой прокуковали полночь — в ледяной избушке, в лубяной избушке и в пировых

палатах. Оставалось только посошок, да и по домам — в путь добрый.

И на загладку обнес нас хозяин пряником, — заглядишься: ну, как сливки густые самые, такой на вид пряник, и конь на нем в упряжи вскачь несется, везет телегу, из Городца пряник, городецкий, а раскусить не то что там зубом, не возьмет и зубило! — а надпись: берегиса.

1907—1913 гг.

За святую Русь



ПОЛОННОЕ ТЕРПЕНИЕ

С. П. Ремизовой-Довгелло

1

На курячий шаг от русской границы, когда оставался какой-нибудь час пути, нас, душ триста русских, выгнали из вагонов и погнали на другую платформу.

С напиханными ручными чемоданами тащились мы, как попало, через пути на другую платформу.

Говорили, что паспорта будут проверять и после проверки отправят в Россию, говорили также, что, кроме проверки паспортов наших еще осматривать будут багаж и опросят, откуда и зачем человек едет, и, если найдут, что попал в немецкую землю по надобностям, отпустят в Россию, а если таких причин не окажется... Но дальше не договаривалось: немыслимо было, чтобы таких причин не оказалось, и в этом у всякого была полная и твердая уверенность.

Тесно окруженные солдатами, мы стояли на платформе у своих чемоданов, веруя в исход благоприятный — вернуться в Россию.

И вдруг:

— В Россию ехать невозможно, дальше не повезут!

Ошарашенные, не веря словам, стояли мы, не двигаясь.

А с разных концов перелетало:

— Не повезут! Мосты разрушили, пути испорчены! — и падало на голову беспощадно и безысходно.

И когда понята была вся невозможность вернуться, никто, однако, не согласился принять ее, и, сдвинувшись с места, все затеснились к дверям, где стоял офицер, объявивший такую невозможную, недопустимую весть.

Неужто невозможно?

— Русские взорвали мосты, — дошло от той двери, где стояло начальство и распоряжалось.

«Ну, что бы, — подумалось, — подождать немного, ну, пропустили бы нас, а там и взорвали!»

Еще не обтерпелись, и всякий вздорный вражеский слух принимался за чистую монету.

Простая русская баба с лицом безвозрастным, нянька, с двумя сонными девочками и большим сундуком не трогались с места.

— Повезут, — стояла она на своем, — небось, повезут.

Проталкиваться некуда было, у дверей стояли часовые, их и можно было спрашивать, но они ничего не могли ответить, как одно и все то же о взорванных мостах.

— Русские взорвали мосты, дальше не повезут!

Никто не глядел ни вперед, ни назад, глядели в землю на свои чемоданы, волей-неволей принимая подневольную участь.

И вдруг:

— В десять поезд уходит в Берлин, желающие могут ехать!

В Берлин! Назад? Ехать теперь?

И те, кто присел, покорившись, и те, кто еще не сдавался, все передвинулись.

— Ни за что! — так выговорилось в один голос, — лучше тут переждать, пешком пойдем до границы, не надо нам Берлина!

— Скорее берите билеты в Берлин! — шныряли перепуганные и растерянные.

Подымаются чемоданы: может и вправду лучше ехать в Берлин?

— Лучше ехать в Берлин, — уговаривают несогласных, — тут уморят, а там уж как-нибудь.

И теперь только за деньгами дело. Русские деньги у всех есть, а немецких много ль наскребешь, русские деньги не принимают и не меняют, без денег в Берлин не проберешься.

— Дайте мне десять марок! — хватает незнакомого незнакомый.

— А мне пять.

— Мне только двух не хватает.

— Все останутся тут, в Берлин нельзя ехать! — объявляет начальство.

Чемоданы опускаются: все останутся тут. И как это можно было подумать, что ехать в Берлин, конечно, лучше тут, чем опять в Берлин.

— А тут нас посадят в крепость.

— И пускай, и хоть на цепь сажают, а все-таки ближе к России.

— Повезут, — стоит на своем нянька, она с узелком возится: дети есть просят, — небось, повезут!

— Мосты разрушены, пути испорчены! — повторяется безнадежное.

«А может, все это одна выдумка, и на самом деле и мосты целы, и пути не испорчены?»

— Всех повезут в Россию! — объявляет начальство.

В Россию! В нашу Россию!

Побросав чемоданы, все срываются с места и толкутся к дверям, где стоит офицер, объявивший благую, желанную весть.

— Когда же, когда в Россию?

Какая-то молодая женщина с русским открытым лицом — сама Россия наша, громко заплакала.

— Да ведь мы едем в Россию! — утешают ее.

— Мы едем в Россию! В дорогую нашу Россию! — громко говорит она и смотрит сквозь слезы туда, где граница и наши поля раздольные и наш лес частый и наша дебрь глубокая, туда к сердцу России — к Москве.

Как-то неловко примостившись на ручных чемоданах, тихо, жалобно плачет барышня.

— Меня тут оставят, меня никто не возьмет с собой! — и бесполезно делает усилие, чтобы подняться, а встать не может.

— Я вас не оставлю! — говорит та, что от радости заплакала.

— Что с ней?

— Ноги отнялись.

— Когда же повезут нас в Россию?

— Слава Тебе, Господи, в Россию! — я положил свой ручной чемодан, — единственное уцелевшее достояние мое, сокровища римские: камушки с Форума и от Петра апостола, и стал пробираться к двери, очень пить хотелось. И когда добрался до двери, в вокзал — в буфет не пускали. Оказывается, отпущенные на всех нас, на триста

душ, какие-то четверть часа, о которых я ничего не слышал, прошли, и двери заперли.

«Ничего не поделаешь, — думаю, — видно, потерпеть придется!»

— А наш багаж? — спросил кто-то.

— После войны получите, — сказал солдат.

— Сожгут! — сказал другой.

— Как сожгут?

Но солдат ничего не ответил: такое ли время, чтобы о багаже рассуждать, — усатый, как кот.

— И Бог с ним, с багажом, только бы самому-то живу остаться! — сказал какой-то с продавленной соломенной шляпой.

— Когда же в Россию?

— Скоро ли отправят нас в Россию?

— Когда в Россию?

Не стоялось на месте, все передвигались, только барышня та, у которой ноги отнялись, сидела на чемоданах, но уж не плакала, — ее не оставят.

— В полдень объявят! — передалась весть от запертой двери.

— В Россию! В дорогую нашу Россию!

2

На вокзальном дворе, куда согнали нас с платформы, разместились мы у своих ручных чемоданов под открытым небом в ожидании полдня, когда повезут нас в Россию.

Нас оцепили солдаты, и никуда не выйти, не пройти из цепи.

— Кто пойдет в город, того расстреляют.

— Кто пойдет в буфет, того расстреляют.

Сиди смирно, жди и терпи!

И самые нетерпеливые и самые беспокойные понемногу затихли, и только Ира, с белыми косками девочка, никак не могла угомониться.

— Что сказал офицер? — вертится Ира, заглядывая в глаза матери.

— Офицер, деточка, сказал, потерпеть надо! — говорит невесело мать своей белокоске, — скоро и поедем.

— Когда поедем?

— После обеда.

— Я, мамочка, есть хочу.

Настал полдень. Скоро ли поедем? Нетерпеливо ждали распоряжений. Или и еще подождать придется? Да, подождать придется: лишь в три часа выяснится, когда повезут нас в Россию.

— Кто пойдет в город, того расстреляют.

— Кто пойдет в буфет, того расстреляют.

Сиди смирно, жди и терпи.

На глазах у нас приходят и уходят поезда: одни с границы, другие к границе, везут солдат и призывных.

— Мамочка, а как этот Берлин называется?

— Алленштейн.

— Алленлейн, — тянет девочка, — а что сказал офицер?

— Потерпеть надо, деточка.

Из города к станции подходит народ, разряженный по-воскресному.

«И у нас, поди, все разрядились, — думаю я, глядя на любопытных, разряженных, проникающих через цепь на нас поглазеть, — у нас нынче Ильин день!»

Закрапал дождь, не ильинский, редкий: этот скоро пройдет.

«Этот скоро пройдет, а у нас нынче гром гремит, катит грозный Илья по небесам в колеснице!» — и вспоминаю крестный ход в Москве, крестные хода в нашу Ильинскую церковь.

Три часа прошло и четыре, и пять, а распоряжений все не было.

В шестом часу у вокзальной загородки появился фертоватый солдатик и каким-то изнеженным картавящим голосом и как-то насмешливо объявил от начальства, что в Россию ехать безнадежно.

— В Россию ехать безнадежно! — повторил солдат распоряжение.

— Что сказал офицер? — беспокойно допытывала Ира.

Но ей мать ничего не ответила. И никто ничего не отвечал, и уж не спрашивали, спрашивать нечего было, раз безнадежно.

— В Россию ехать безнадежно!

Любопытного народу все больше и больше, одни останавливались за охранною цепью, другие проникали за

цепь и стояли возле чемоданов наших, всякие: и молодые, и старые, — молодые люди с тросточками и сигарами, нарядные барышни, кумушки и детвора. И одни только смотрели на нас, как на зверей в зверинце, другие же держались вольно, беззастенчиво и нескромно рассматривая нас и зубоскаля.

Неужто нас тут оставят на ночь? Не верилось, а приходилось согласиться.

Мать с тремя девочками примащивалась на ночлег. У детей был не по-детски сосредоточенный взгляд, и от этого взгляда недетского некуда было схорониться.

Неужто и их оставят тут ночь ночевать?

Нас, душ триста, и среди нас много детей и больных женщин, и стариков, все мы не на войну вышли: большая часть возвращалась с курортов. С утра, как выгнали нас из вагонов, прошло времени немало, последние силы поистратились, и уж боль и немогота подняли свои жалобы.

— Был я у турок в плену, — рассказывает красивый старик из военных, — но такого не видел, ведь тут дети и больные, разве так можно?

И сам он совсем больной кутался в плед, и жена его едва держалась, перемогая открывшуюся боль.

Барышня, у которой отнялись ноги, лежит на чемоданах с закрытыми глазами, и та, что не покинет ее, сидит в ногах молча, терпеливая, гордая Россия. А вокруг любопытные.

— Важная русская дама! — говорит какой-то и лезет к ней с сигарой совсем к лицу.

А поезда все приходят и уходят: одни с границы, другие к границе, везут солдат и призывных. Призывные проходят как-то не глядя, — должно быть, нелегко было подняться: там дом и семья остались, да и хозяйство насиженное. А солдаты ничего, — влез в зеленую шкуру и совсем ничего, смотрит — защитник отечества! — только как-то не по мерке, не чета начальникам, у тех все словно кованно.

С каким-то вызывающим гудком подкатывают к станции изукрашенные флагами автомобили с военными, и вся разряженная толпа шарахается, как от пожарных, и опять собираются, все теснее и ближе подходят к нам на даровое зрелище.

Не сидится на месте, я все хожу, все слушаю и смотрю, заглядываю в глаза любопытных, нас рассматривающих, как зверей в зверинце, перехожу от тросточки с сигарой к бантику и кружевцам, от развязных кавалеров к хихикающим барышням.

Сквозь солдатскую цепь и толпу любопытных протиснулась старая старуха, стала и смотрит: что она видит?

— Бабушка, — говорю ей, — неужели среди детей твоих и внуков никого не найдется, ну, хоть одного, у кого бы сердце пожалело. Я не о себе, я как-нибудь... я все претерплю, я вот о них, ты посмотри, ведь, это все больные, и вот эта Ира, девочка белокоска, как же так можно, так безучастно смотреть и смеяться? Бабушка, я знаю среди твоего народа есть великие имена и святые и ты, ты, может, не знаешь, я скажу тебе, в Великом Устюге у нас, на святой Руси, это далеко отсюда, еще дальше, за Москвой, жил великий угодник праведный Прокопий, высший подвиг принявший Христа ради, он от земли твоей, он немец родом.

Старуха покачивала седой головой, щурилась, все рассмотреть хотела сквозь сумрак вечерний, и что она видела?

— Бабушка, тут недалеко на немецкой же земле есть город Вена, там собор стоит св. первомученика Стефана, в соборе есть икона Матери Божьей, перед ней свечи горят, много свечей и со свечами горит моя свеча за всю русскую землю. Бабушка... ты слышала о святой Руси?

На минуту старуха подняла глаза и как-то явственно посмотрела и мне показалось, что она видит кого-то, узнала и вот скажет...

Новые приходили из города, проталкивались, теснили друг друга, оттеснили ребятишек, загородили и старуху.

И вдруг меня осенило.

— Карл Иваныч! Где тут Карл Иваныч? — сказал я достаточно громко, так что все слышали, — Карл Иваныч?

Я вспомнил нашего учителя Карла Иваныча, того самого Карла Иваныча, с которым начались наши первые уроки и прошли последние экзамены. Ведь, Карл Иваныч должен был где-нибудь тут находиться, где-нибудь в задних рядах что ли, и если бы знал он, а он узнает, что тут творится, он обязательно сделает им замечание, ведь нельзя же в

самом деле так! И не может быть, чтобы наш добрейший Карл Иваныч остался безучастным.

— Карл Иваныч!

Толпа заволновалась, расступались, пропуская кого-то через цепь к нам, прижавшимся к своим чемоданам. Я думал, комендант. Нет, оказалось, штатский в цилиндре.

— Пастор, — сказал кто-то.

— Пастор, — обрадовался я, — пастор! — и что-то от нашего Карла Иваныча показалось мне в знакомом лице его.

Обращаясь к нам и толпе любопытных, пастор от волнения едва мог выговорить слово.

— Русские, — сказал он, — русские сделали попытку взорвать мост, но, к счастью это не удалось, и все-таки погибло триста немцев и пятьдесят русских.

— Русские, русские... триста немцев погибло!

Говорили громко, заговорили еще громче.

— Да за это разорвать мало! — сказала какая-то женщина, она это так сказала от всего своего возмущенного сердца.

— Русские, русские... — передавалось недобро с конца в конец.

Пастор едва переводил дух, лицо его вздрагивало.

— Я дам вам воды и хлеба, — едва выговорил он к нам обращенные слова и пошел черный сквозь темную толпу.

А какой-то, тоже в цилиндре, его спутник, обернувшись, крикнул:

— Ночлег вам будет отведен в местном гимнастическом обществе, больных поместят в больницу.

— Что сказал черный офицер, мамочка, что он сказал? — Ира, перепуганная, прижалась к матери, словно спасаясь от кого-то.

— Нас накормят, деточка, а потом и спать ляжешь!

Солдаты подвинули нас в глубь двора, со всеми уцелевшими своими чемоданами перетащились мы к улице. Какие-то люди принесли большие корзины с хлебом и ушат с водою и еще какие-то свертки, — свертки с колбасою, как узнал я вскоре.

Я стоял поодаль, вплотную с низким сквозным забором, унизанным любопытными, я стоял с теми, кому нельзя

было пить сырую воду — раздавали в чашках сырую воду, — и есть колбасу. Очень было тесно, но и в наш, со всех сторон стиснутый круг, набирались с воли любопытные и толкались, мешая тем, кто ел и пил пасторскую жертву. Голод дал себя знать, и был большой шум вокруг воды и корзин с хлебом.

И когда все было съедено, какой-то человек, обходя по рядам с пустой корзиной, выкрикивал:

— Десять пфеннигов! Десять пфеннигов!

И белые пфенниги сыпались в корзину, — каждый клал свою жертву за хлеб и воду, и колбасу.

И я подумал:

«А пастор, должно быть, все напутал, и об убитых немцах, и о русских!»

И еще подумал:

«Как же это так, научились люди и без ковра-самолета на аэропланах летать под облаками, а не сберегли сердца, застыло и дух померкнул!»

И мне хотелось крикнуть туда, на мою родину, на святую Русь — донесет ли ветер мой зов на святую Русь моим братьям и сестрам, — чтобы крепко берегли святорусский завет, берегли святую Русь, милость и пощаду, — залог победы.

Ждали, когда поведут на ночлег, еще верили, что где-то в гимнастическом обществе отведено помещение, и что больных поместят в больницу. Но вот откуда-то с передних рядов от одного к другому шепотом пошла ходить весть.

— Всех повезут в Россию, передавайте тихо!

И, передавая тихо один другому, тихо подвинулись мы на старые места. Но когда это сбудется, в Россию повезут нас, долго ли еще ждать нам, — никто не знал. Только желалось, а потому и верилось, что скоро.

— Сначала обыщут, потом и повезут.

— А мосты?

— Всех повезут.

Ира больше не спрашивала. На кулачках своих, как-то вздрагивая, неспокойно спала она, и две коски ее, как усталые опущенные крылышки, спускались к земле. И тут же в корзиночке спали ее игрушки: всякие зайцы.

Потребовали выдать оружие.

Но никто ничем не отозвался: какое могло быть у нас оружие!

Поминутно освещаемые рефлектором, мы стоим у своих чемоданов плечо в плечо, готовые по команде всякую минуту тащить свои ноши к вагонам. В задних рядах начался обыск. Я для безопаски развернул мои римские камушки с Форума и от Петра апостола: без завертки они совсем маленькие и неприметные; жду своей очереди, да вряд ли дождусь, — очень уж долго копаются. Час за часом идут, а нам нет распоряжений, и уж ночь.

С границы подъезжают переполненные поезда. Выбегают из вагонов насмерть перепуганные, и глаза их такие огромные от ужаса и какой-то огонек горит в них, люди бегут с непомерными непосильными тяжестями на плечах, все простой народ.

— Эйдкунен подожгли! Эйдкунен горит! — говорит кто-то.

— Из Эйдкунена бегут.

И другие, новые подъезжают поезда, а люди те же, на одно лицо, гуськом бегут с тем же ужасом и огоньком в глазах, согнутые до земли под непомерными, непосильными ношами.

В нашу партию вбежали три женщины и глаза их были, как у тех, и огонек горел... Они опустились на землю, тяжело дыша.

— Стреляют, там стреляют!

— Где стреляют?

Они — русские, хотели перейти от Эйдкунена в Вержболово, пошли и вернулись.

— Стреляют, там стреляют! — повторяли они, мотая головой, словно какой-то страшный сон отгоняя прочь.

— А как же нас повезут?

— И нам тоже идти от Эйдкунена?

И на минуту: «А не лучше ли остаться тут?» — эта мысль охватывает и самую упорную мысль и твердую: «вернуться».

— Бог милостив, — обнадеживает кто-то — как-нибудь перейдем!

Полночь. Любопытных нет больше, после зрелища диковинного, поди, спят все, обнадеженные, сладким сном. Одни солдаты стоят на карауле.

Как во сне, не сочинишь про такое, и как сон, не передашь.

Привидениями кажутся в этой ночи солдаты в касках, прикрытых чехлами. А за их мертвенной цепью — те с огромными от ужаса глазами, и огонек в глазах.

За полночь. Сменились солдаты. Еще мертвенней цепь их. И петух не поет. И нет просвета.

Как во сне, не сочинишь про такое, и как сон, не передашь.

— Спи, Ира, спи, рано еще тебе видеть такие сны, спи пока, твой ангел-хранитель сохранит тебя!

3

Чуть забрезжило, предутренний свет ознобом пошел по спине, потушили рефлектор, а нас, за ночь позеленевших, вывели с вокзального двора, заперли по товарным телячьим вагонам, и поезд с курьерской быстротой помчался.

— В Россию?

— В Данциг.

Нас везли к Данцигу, так сказали нам солдаты, когда закрывали вагон.

В темноте разместившись по лавкам — нас было душ тридцать в вагоне — дремали. Кто-то заснул. Только две польки в белых бумажных платках выли.

— Не надо плакать, все доедем! — утешала их та, что заплакала от радости, когда объявили весть о России, — все поедут в Россию.

Но польки безутешны. Одна грудью кормила, и малый ее хлопец голодный плакал. Их схватили на границе, мужа ее забрали, а ее с сестрой заперли в этот телячий вагон, обещая доставить в Варшаву, и вот мчат в Гданьск.

Поезд мчится без остановок.

И уж когда стал день и белым большим своим светом через чуть приоткрытую дверь осветил наш вагон, поезд остановился. Вагон раскрыли, три солдата вскочили к нам — двое стали по бокам и один в середке.

— Кто посмотрит, — сказал солдат, — того застрелят!

И поезд тронулся, медленный, по долгому крепостному мосту.

Солдаты то и дело брали на прицел, метя в кого-то, кто мог быть там, за мостом, а третий, лицом к нам, целился в нас.

И от стука ружей сверлило в ушах.

Я сидел как раз против солдата и, хоть наклонил голову, чтобы не смотреть — кто посмотрит, того застрелят! — я помимо воли моей правым глазом видел красную кирпичную крепость, крепостной мост, солдат на мосту, пулеметы и дуло ружья.

Какая-то девочка, оказавшаяся сзади меня, забилась ко мне под ноги, и я чувствовал, как она вздрагивала вся до последней дрожинки: кто посмотрит, того застрелят!

Казалось, и конца не будет, такой медленный путь, такой долгий мост, такой длинный поезд.

И когда, наконец, переехали мост, солдаты спрыгнули и закрыли вагон, долго никто не подавал голоса и головы не подымал, хоть и не было страха, что вот возьмут и застрелят.

И опять поезд помчался. И трясло, что усидеть было трудно. Так неслись до другого моста.

Все, что было, и, казалось навсегда прошло, вновь повторилось. Снова раскрыли вагон, вскочили солдаты и под ружейным дулом потянулся бесконечный путь.

— Кто посмотрит, того застрелят!

Тут случилась со мной странная вещь, я заснул и во сне попал куда-то в поле, и все бы хорошо, да словно на аркане меня держит кто-то... вдруг рванул и я проснулся. И увидел лицо солдата не того, который в нас целил, а крайнего, который прицеливался в кого-то, кто был за мостом, и я поражен был необыкновенным сходством лица его с моим соседом, сидевшим против меня, и у того и у другого видно было, как напрягались все мускулы, и мелкая дрожь осыпала кожу.

И я подумал:

«Если нас всякую минуту пристрелить могли, то и солдат этих, целившихся куда-то туда и в нас, тоже пристрелить могли, — кто-то за мостом, должно быть, в них прицеливался.

И вот мы, тридцать душ, под ружейным дулом и трое солдат, целившихся куда-то за мост и в нас, все мы с одним чувством, как я теперь ясно понял, медленно проезжали долгий второй мост.

Казалось, и конца не будет: такой медленный путь, такой долгий мост, такой длинный поезд.

Бог пронес, благополучно проехали и этот мост, солдаты закрыли вагон, и опять поезд помчался.

— Куда? Не в Россию?

— И не в Данциг.

Поезд мчал назад от Данска по берлинской дороге.

Неужто назад в Берлин!

Через приоткрытую дверь нам видны были станции, переполненные солдатами. Мы ехали по дороге к Берлину. Было жарко в вагоне и мучила жажда. Без еды человеку и день и два можно, а без питья куда труднее. Нам было трудно, а детям совсем было плохо. Жалко было смотреть, а помочь нечем.

Мне иногда казалось, что все это во сне снится, и не могу я проснуться. И соседка моя, странная барышня, была совсем, как из сна.

Когда в Ильинскую субботу в Берлине я протиснулся в первый попавшийся вагон — в спальный, там в проходе оказалось и еще несколько человек таких же, как я, с билетом неспальным, и эта барышня. Барышня на первых порах нам рассказала, что потеряла свою мать и маленькую сестру, — мать ее и сестра попали в другой поезд, но скоро о матери совсем как-то забылось, а впоследствии, в Алленштейне, о матери она ни разу не упомянула, а говорилось о каком-то важном дяде, который живет в санатории в Берлине, где и она жила. Барышня ехала в Петербург к родителям... Одним говорила она, что она чешка, другим, что воспитывалась в Лифляндии, а третьим, что она немка. С первых же слов не без задору заявила она, что она австрийская подданная, а потому враг всем нам, русским. А в Торне, на большой остановке, когда она особенно ласково и игриво повернулась к проходившему офицеру, тот ей грубо заметил:

«Уберите свою морду, я вижу с кем имею дело!»

Странная, очень странная барышня.

И за всю дорогу ничего враждебного от нее никто из нас не видел, напротив, и одна слепая старуха, на все четыре стороны отпущенная из больницы после операции, каким-то чудом втиснувшаяся в наш берлинский спальный вагон, без нее просто бы пропала, — барышня ухаживала за нами. Заявляя солдатам, что она подданная австрийская, она получала большие льготы, и в Алленштейне ее про-

пустили в город, и тогда принесла она нам бутербродов, а тут на всякой остановке она высовывалась из вагона, заговаривала, расспрашивала, добиваясь, куда нас везут. Вела она себя необыкновенно вольно и около нашего вагона шли разговоры легкие и веселые, совсем не под стать вагону, и постоянно слышался смех. Что-то стрекозиное было в существе ее с неутомимостью и беззаботностью, довольно высокая, очень тонкая, ничего себе барышня, только глаза какие-то — пустые какие-то до жестокости, и она никому не смотрела в глаза, словно сама это чувствовала. Непонятно было, зачем она ехала с нами в нашем телячьем вагоне, где даже уборной не полагалось, и терпела с нами и голод и жажду. Она позеленела вся, а ни разу не пожаловалась... жаловаться? — она смеялась не меньше, чем там, в берлинском спальном вагоне, наша странная барышня.

Барышня добивалась узнать, куда нас везут, и зачем кружат по дорогам, но и ей толком никто не мог ответить.

Так до самого вечера в полной неизвестности мы все ехали и ехали. И странно: обыкновенно загадываешь, что с тобой дальше будет, а тут все мысли повернулись только к настоящему, только к одной минуте, за которой, казалось, ровно ничего не было. На остановках наш вагон приотворяли, но из вагона нельзя было выйти. Стали попадаться вагоны с запасными. Запасные, узнавая русских, гикали и кричали вслед:

— Смерть! Смерть! Смерть!

— Париж возьмем, до Петербурга доберемся! — грозили.

— Смерть! Смерть! Смерть!

И было жутко от их крика и угроз, и дети забирались к ногам, как от ружейного дула.

— Смерть! Смерть! Смерть!

На одной остановке наша странная барышня узнала, что от Крейца поезд повернет на Щетин-город, туда и повезут нас, в Щетин.

На воле погасал вечер и в нашем вагоне совсем темно стало. Зажгли чуть маленький огонек, и, успокоенные Щетиным, где и нам будет передышка, стали мы готовиться к ночи, претерпеть как-нибудь ночь до утра.

Когда я думал о пути в Россию, я готовился ко всяким

трудностям и предполагал какие угодно опасности, — конечно, могли взорвать мост, конечно, можно было попасть под перестрелку! — и думая о всяких нечаянностях и готовясь к всяким неприятностям, мне и в голову не приходило, что может случиться еще и такое, чего и во сне мне не снилось.

Не доезжая Крейца, наш поезд остановился. Барышня приотворила дверь и по обыкновению высунулась из вагона. И сразу послышались голоса — против нашего поезда стоял поезд с запасными. Судя по голосам, народ был нетрезвый, галдели.

— Тут русские?

— Какие русские, — весело ответила барышня, — я австрийская подданная.

И пошел разговор, тары-бары: барышня понравилась. Барышня рассказала солдатам, что и отец и дед ее были солдаты, и готовы были умереть за родину. Она говорила с большим одушевлением, как самую чистую правду.

— А русских тут нет? — опять спросил кто-то.

— Тут больные дамы, — сказала барышня и опять так убедительно, что на некоторое время никто и не подумал усомниться и занялись самой барышней.

Барышня очень понравилась и они убеждали ее войти к ним в вагон и ехать с ними до границы. Барышня не возражала, она охотно все исполнит, но... она не может оставить вагон, в котором больные дамы.

— Давайте посмотрим!

— Тут женщины.

— Русские женщины! — добавил какой-то хрипло.

И несколько солдат, раздетые, в одних фуфайках, соскочили из своего вагона и направились к нашему, телячьему.

Барышня замахала:

— Никого вы не найдете, вы только перепугаете. Слышите, нельзя ходить! — и крепко стала, загораживая вход.

Товарный вагон высокий, войти в него не очень легко, надо вот как подняться! — но один хмурый с голыми крепкими руками схватился за перекладину и полез.

— Чья-то мужская шляпа, — сказал другой, вглядываясь через полуоткрытую дверь, — и не больные вовсе, мужчины словно.

— Русские.

— Русские, русские! — отозвалось в поезде.

Барышня соглашалась: она пойдет в их поезд, только они должны отойти от вагона. Барышня поедет с ними.

— Женщины, — опять сказал кто-то.

Солдаты загоготали, их уж много теперь повыскакивало из вагонов.

Наш вагон затаился, старались не выдать, не дышали, и вот какой-то одурелый — от бессонных ли ночей, либо от голода, — стал подавать голос, что он пить хочет.

Барышня делала знаки, чтобы замолчал, но он не унимался, он тянул свое, что пить хочет.

— Я пить хочу! — сказал он настойчиво.

— Русские! — закричали у вагона, — там русские! — и двое бросились с другой стороны к закрытой двери, чтобы открыть вагон.

Барышне не верили. Отталкивая, уж лез какой-то. Одна минута — и только воля Божья.

— По вагонам! — раздалась команда.

А наш поезд рванулся и пошел. Куда — все равно уж куда!

Барышня изо всех сил ухватилась за дверь, чтобы задвинуть, и прищемила палец. И в то же время полька в белом бумажном платке, схватившись за голову, закричала:

— Завьяла! Завьяла!

А ее сестра лежала навзничь белая, как белый бумажный платок.

И другая женщина с перекошенными глазами с воем забилась по полу.

Поезд мчался. И стук колес не заглушал воя.

Кто же услышит? — И некого кликать.

4

Уж думали, и рассвета не будет. Перепуганные просидели ночь, ни на малую щелку не отворяя вагона, дышать нечем было, все терпели. И дети перетерпели ночь. Наша барышня только на пальчик дула, вó какой стал, почернел.

Утром рано приехали в Щетин-город, и наконец-то из вагона нас высадили.

— Тут нам будет передышка.

— Вон там, в свинарне на соломе отдохнете! — показывал солдат дорогу.

И нам, натерпевшимся в телячьем вагоне, свинарня показалась раем небесным. И на самом деле, помещение просторное и соломы вдоволь, и солома чистая, ну, чем не рай, правда, под соломой след свиной липкий, да что поделаешь, не дома, война идет, и еще претерпеть надо. Ведь, мы для них кто же? — сметие, так — сор, не больше. Ну и досталась нам на долю свинарня.

Нас не тридцать, не триста, нас три тысячи душ разместились на соломе в свинарне. Коли хочешь, можешь выйти на площадь, а не хочешь, лежи на соломе.

На площадь перед свинарней мальчики-потешные — молодая Германия, так сами они себя величали — подвозят на автомобилях молоко и какао. Тут же на площади и продают.

Трудно протиснуться, всем хочется поскорее, и я с большим трудом добыл себе чашку какао. Горяченького-то хорошо выпить. Слава Тебе, Господи, насытился! И теперь с легким сердцем пошел бродить по площади, заглядывая, куда можно.

В соседнем помещении, в другой свинарне, лежали гладкие розовые свиньи.

— Пришлось заколоть немало, — объяснил мне солдат, — уж очень народу много, некуда вас поставить!

Еда насыщала, пошли расспросы и разговоры. Все, что от солдат о войне слышно было, все передавалось, как достоверное и несомненное.

Говорили:

— Либава горит. Варшава взята. Революция. Балтийский флот разбит. Петербург осажден. Финляндия вооружается.

Говорили:

— Пятьдесят казаков взято в плен. Япония объявила войну.

И опять:

— Пятьдесят казаков взято в плен.

Слушаю и вдруг вспоминаю, как в последние дни в Берлине наша пансионная горничная Ида, за два дня до мобилизации, сообщившая нам, что ее барин-офицер в субботу на войну едет — на русскую границу, с плачем говорила, какая Россия такая большая, и казаки! И мне

ясно, какой это страх пустил слух о сдавшихся в плен казаках.

— А вы слышали, — говорю я легковерным моим спутникам, — французские летчики засыпали бомбами Нюренберг!

Среди шатающихся по площади встретились мне с забинтованной головой, они все озирались и говорили каким-то придушенным голосом, — это из Ростока, где напали на них и избили.

— Если бы не солдаты, живу не быть — говорил один избитый, — спасибо, в тюрьму отвели.

Были среди них и женщины.

И только одного я встретил: длинный, как шест, с необыкновенно добрыми глазами, ободранный, с вырванным карманом, он выехал, как и мы, в Ильинскую ночь, только на другую границу, и гнали его с другой партией и ни в каком телячьем вагоне... правда, и в простом человечьем вагоне не очень-то пришлось ему сладко, а все-таки...

— Сам начальник станции нам ведрами воду носил!

Но и этот рассказ о начальнике станции никого не умирил: с забинтованной головой ошарашенные лезли в глаза неотступно.

Наслушавшись всяких страхов, я вернулся в нашу свинарню. Там я встретил старых знакомых. Там, прихрамывая, с опухшими ногами, переходила из угла в угол барышня, у которой тогда отнялись ноги, и что-то затаенное, сосредоточенное стояло в ее молодых глазах, и красивый старик военный, почерневший весь, сидел, закутанный пледом, — жалко было смотреть на старика.

И та нянька с безвозрастным лицом, на стороне которой оказалась правда, — повезли, ведь, не кинули! — все с узелком копалась, собирала последние крохи для детей, и в лице ее была какая-то застывшая бесповоротная решимость, как у нашего простого серого солдата, идти хоть на край света, безропотно и молчаливо, пока не свалит. Там с матерью сидела Ира, девочка белокоска, грустенькая с побледневшим личиком, и как-то молчаливо, больше уж не спрашивала, «что сказал офицер?» Да и куда ей было спрашивать: порастеряли дорогой игрушки любимые!

— Мамочка, — вдруг говорит Ира, — мамочка, мне бы только медведюшку... без лапков!

— Достанем, деточка, дай, домой приедем и он прибежит.

— Мамочка, — Ира смотрит и в глазах ее такая глубокая вера, — как прибежит?

— Ножками деточка.

— Ира, — говорю белокоске, — а у меня лягушонка пропал, ой, какой был лягушонок! я его возил с собой в Рим-город.

Ира собирает солому, — это на память. И я взял один колосок — и мне на память.

К вечеру свинарню заперли, пересчитали всех, и погнали на пароход. Толпа озверевала. И было так же, как в Берлине на вокзале в канун Ильина дня; места расхватывали силой. И женщины и дети остались без места на палубе. Или уж на белом свете рыцари все перевелись? Или совести так мало в мире осталось?

Долго нагружали пароход.

— Куда?

— На остров Рюген.

— Высадят на остров и там оставят.

— Картошку копать! — пустил какой-то.

И уж в огнях пароход отчалил.

5

Ночь прошла в страхах.

И не то пугало, что высадят на остров и там оставят картошку копать, об этом пока мало думалось. Кто-то сказал, что пароход всякую минуту может наскочить на мину. И одни не спали от страха, другие потому, что угла не находили, где бы прилечь можно, а третьим просто сна не было. Вся палуба и все проходы были заняты.

«Только бы до утра дотянуть, а там будь что будет», — так одна выговаривалась ночная дума.

А ночь была долгая.

Солдаты, обыкновенно, не разговорчивые, если спросить о деле, и разговорчивые о всяких слухах, тут, на пароходе, подобрались совсем, как немые, и особенно один, такой был угрюмый. Утром, когда уж виден был остров, я со

своим чемоданом протеснился на палубу, и стал прямо против солдата, и после бессонной ночи показался он мне, бессонный, еще угрюмей. Я смотрел на остров, на священный Рюген, где когда-то в Арконе стоял Световид — наш Перун златоусый, и я думал о далеких седых временах и забытых. И вот случайно перевел глаза и не узнал солдата: это был совсем не тот, ну совсем другой — солдат разговаривал с какой-то польской дамой; прислушиваюсь, разговор не немецкий. Дама куда-то скрылась. Я подвинулся еще и уж глазам не верил: солдат держал на руках ребенка.

— «Еде пан, капитан...» — напевал солдат, покачивая ребенка.

И до самого острова, как стать нам, лицо у него сияло, и всем, кто б его спросил, он давал ответы. Он говорил по-немецки, но за каждым немецким словом слышалось другое.

— «Еде пан капитан...» — напевалось где-то неотвязно.

И я подумал:

«Вот оно как, земляк, видно, земляков встретил!»

Рюген священный, славянская Руя, святая Аркона.

Пароход тихо остановился.

Нас, не тридцать, и не триста, нас три тысячи душ высадили на пустынный открытый берег и кинули на ветер. Ветер гулял по берегу широкий и не было от ветра затулы.

— Кто пойдет в город, того расстреляют!

«А если вправду тут оставят?» — и теперь эта мысль всем завладела.

Ветер пронизывал, и не было где схорониться. Раздраженные бродили люди по берегу, другие расположились на земле, как цыгане, и ежились под ветром.

— Кто пойдет в город, того расстреляют!

И только одну нашу странную барышню пропустили в город. Там она накупила нам всякого съедобного, а главное, принесла весть.

— Пароход придет к вечеру и всех повезет в Швецию! — сказал нам наша странная барышня.

И на время поверили и, уплетая съедобное, размечтались. Тут и о багаже своем вспомнили: выдадут ли его или сожгут, как стращали.

— У меня там драгоценные самоцветные камни и жемчуга у меня там, за много лет большими трудами собрал я, — слова, как камни самоцветные и слова, как жемчуги, народа нашего, я хотел венец слить, убрать камнями, обнизать жемчугом — дар народа русского на великую его святыню, на вольное страдание.

Барышня ничего не понимала: какие камни, какие самоцветные?

— У меня там цветки и травки от святынь древних, — память вечного города, им и цены нет, в тетрадке засушены, и образки и крестики...

«А ну, как не придет пароход?» — вдруг схватило сомнение.

Солнце светило, ясный был день, и с полдня стало совсем тепло. Но тревожно и жутко было под солнцем. Помешанные кричали, и Бог знает, чего только не было в их измученном крике.

Какая-то дама все показывала на свою юбку и уверяла, что в карманах она везет бомбы, другая вырывалась, умоляя пропустить ее, и искала все паспорт, который у нее отобрали.

И не помешанные мешались, взгляды были недоверчивые и подозрительные, говорили шепотом, подозревали чуть не всякого: все казались шпионы, и самые добродушнейшие, простые, бесхитростные люди попали в шпионы.

Барышня странная, конечно, сделалась шпионкой. Я не знаю, кто была эта барышня, дурного она нам ничего не сделала, и теперь она прощалась с нами, дальше в Швецию она не поедет, она тут останется. И хоть уверяла она, что пароход непременно придет, как-то уж и ей не верилось.

«А ну, как не придет?» — схватывало сомнение.

Нет, барышня была права, к вечеру пришел пароход.

Голубой шведский флаг с желтым крестом высоко развевался над палубой. Голубой шведский флаг с желтым крестом сулил конец нашему плену, конец терпению, конец пути полонному.

А там за Варяжским морем, там скоро и близко Россия, куда во все дни и ночи устремлялась душа, и без которой не надо и жизни, Россия, великая родина наша.

У Иры глазенки сверкали: и она поняла своим маленьким сердцем. И если будет помнить, будет она вспоминать и болеть за свободу.

— Ира, скоро в Россию!

— В Россию! — повторяла девочка белокоска и глазенки ее сверкали.

И та, что от радости заплакала, когда объявили, что все поедут в Россию, стояла на палубе, гордая и терпеливая, как сама Россия, и гнев в глазах ее, и проклятие, а в сердце святая Русь, завет светоносный милости и пощады.

— В Россию! В дорогую нашу Россию.

1914 г.

КУБИКИ

Когда я слышу, как жестоко поступали там с теми невоюющими, только попавшими по всяким делам за границу и в большинстве больными, возвращавшимися с теплых вод русскими, когда вспоминаю свой подружейный путь из Берлина через Ольштын в Щетин-город — полонное терпение наше и путевые рассказы тех встречных, потерпевших в пути, с проломленной головой, я знаю, многое из бывшего ужасно, и все-таки думаю, взрослые мы и ответить и постоять за себя можем, а главное претерпеть многое можем, но я никогда не мог примириться ни там, в телячьем вагоне, ни там, на соломе в свинарне, что и дети ехали с нами и детей, как и нас, таскали по этим телячьим вагонам и морили на соломе.

Нынче выбрался я на вокзал вещи посмотреть, — писали в газетах, будто все сданное там, а также и покинутое по дороге, в целости до нас доходит. Таких, как я, лишившихся всего достояния своего и уж отчаявшихся получить что-нибудь, набралось душ пять, и мы бродили по вокзалу около сундуков и чемоданов всяких, высматривая, не окажется ли на наше счастье чего нашего? И сколько ни смотрели, а найти своего ничего не нашли. И служащие, к которым мы обратились за справкой, и сам начальник станции мало чем нас утешили.

Ну, на нет и суда нет. Жалко, и мне особенно жалко, что там вместе с вещами носильными и неносильными память осталась...

Душ пять нас бродило по вокзалу, коз лупленных, и ведь, оказался-таки один удачный, он из груды чемоданов вытащил, наконец, свой, — дошел благополучно! И кажется, чего еще, забирай сундук да на извозчика и кати себе домой с Богом, да не тут-то, тот счастливый и не думал за извозчиком бежать, а как и мы, бродил по вокзалу и что-то, как и мы, высматривал безнадежно.

В чем же дело?

А вот в чем — и дело его безнадежно.

Возвращался он из-за границы и ни в каком телячьем вагоне его не катали, ехал он в обыкновенном человечьем, а ехал он не один, а с Костей, и везли они корзиночку с игрушками, так поставили ее в ногах, никому не помеха, стоит себе, одно ухо зайчиное выглядывает: понасажал Костя в корзинку зверей видимо-невидимо, все, ведь, приятели, ни с одним расставаться ему не хотелось. И случилась такая беда, проходил кондуктор по вагону, зацепил ногой за корзинку, да не говоря ни слова, за окно ее, только и видели. Костя в слезы, — ведь, эти игрушки, его, эти зайцы, этот медведь, эти коробочки и бочоночки и кубики всякие для него, я даже и не знаю, что для нас такое может из вещей быть, ведь, для него они живые... мы это забыли и теперь понять не можем, как это так кубики живые! — Костя заплакал: жалко. Тут кондуктор взялся за Костю и так отодрал его за уши, что Костя больше не пикнул. Без корзиночки ехали дальше, все молчком. А уши за дорогу принялись болеть, вó какие вспухли, и как домой вернулись, пришлось уложить мальчика в кроватку.

Скучно Косте лежать в повязке, а еще скучнее оттого, что один он лежит и не с кем ему по-своему поговорить, нет больше приятелей его. Где? Где-нибудь в поле лежат закинуты!

— Я, папочка, ничего, ухи подживут, папочка дорогой, папочка, принеси мне корзиночку зайцеву! — стал просить Костя, когда дошло и до него в детскую, большие разговаривали, будто весь багаж из-за границы приходит и на вокзале вся платформа завалена.

А тут с *ухами* хуже стало, разбередил что ли...

— Папочка, принеси мне, папочка, одного только зайчонка того!

Только одного зайчонка просит.

Вот в воскресенье отец и пошел на вокзал, вот и отыскал свой чемодан — дошел благополучно! — а корзиночки-то, выброшенной за окно, с игрушками Костиными, знать, не найти. И уж вещей этих, чемодана, не надо ему и лучше бы сожгли их, как по дороге грозили. Как он вернется? Как Костя на него посмотрит, как встретит?

Ведь, ждет!

Только одного... одного зайчонка просил.

— Папочка, а зайчонка?

И как горько заплачет, когда узнает, что никакого нет зайчонка. А где же? Да где-нибудь, в поле, закинут.

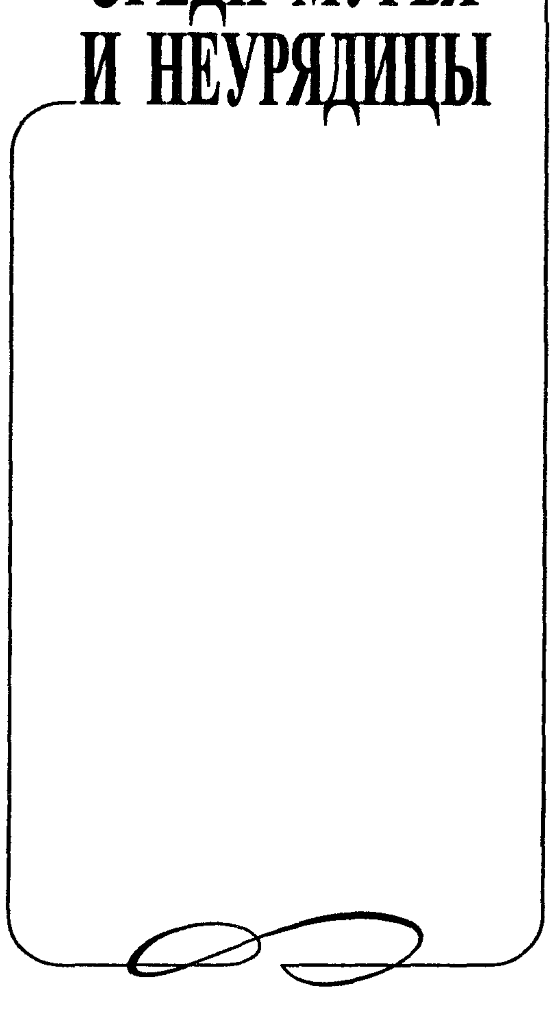
— Папочка, папочка, за что ж моего зайчонка?

И как больно замучается от обиды немудреное сердечко.

А зайчонок, а медведь, а коробочки и бочоночки и кубики всякие, никому не нужные, только Косте, и живые для Кости, и по правде живые живым чистым сердечком Кости, там на поле заброшенные, там под осенним дождем вместе с хлебами затоптанными на небо вопиют к Богу за первую и горькую обиду.

1914 г.

Среди мурья и неурядицы



В дни народной страды, терпения, надежд и отчаяния, когда Россия, колыбель наша, истерзанная злым бессчастием, родина наша, пришибленная холопством, из века веков помыкавшим народною волей — душою русской, поднявшейся духом до огненных вольных костров, затаилась в последнем ожидании суда Божия, а в кузницах, где подковывали лошадей, из вил и сох уж кует Вольница пики.

В дни тайных, еще не открывшихся решений над жизнью и смертью народов, когда денно и нощно ангелы Божии несут последние молитвы на единое небо к единому Богу со всех концов белой расколотой, раскопанной земли.

В дни веры и жертв, неволи и страха, кощунств и отъявленной подлости — после дневных забот и мелочей житейских, надувательства всякого и обмана, ожиданий напрасных, гнева и горечи, вдруг вижу звезды.

Я еще не видал таких звезд и так никогда не любил!

И в тихий полунощный час, когда в соседних домах погасят огни, я тихонько подхожу к окну и смотрю.

А они горят, любимые, близкие, верные звезды.

1916 г.

СЕСТРА УСЕРДНАЯ

I

Всякий день по утрам, когда вы проезжаете на трамвае по Суворовскому, вам встречаются колесницы с белым серебряным балдахином и с электрическими фонарями, а

за колесницей кучка провожатых и две-три кареты. То же самое вы встретите и на Загородном и на 17-й линии. Все это покойники настоящие, именные: кого на Охту, кого на Волково, кого на Смоленское домой несут, и уж наверно на их могилах поставят памятник. Но попадаются вам и другие, и таких тоже немало: едет возница, на дрогах — желтый дощатый гроб; возница едет быстрее, чем тянутся те с электрическими фонарями, и за гробом никого не видно. Мне всякий раз хочется остановить возницу, — такой в картузе с усами серый, — приоткрыть крышку, заглянуть в гроб: да кого же, кого это везут, как кладь, был же, несчастный, именинник, и хоть одна душа, хоть раз в году, кто-нибудь приходил же к нему в гости на именины, пили чай, или и в жизни так было — ни души! Заглянуть среди бела дня на людях, — где там заглянешь! — не полагается и не позволят. Но я и так дознался, и я расскажу вам про одного такого человека.

Вам случалось встречать сереньких и незаметных, постоянно хлопочущих барышень, каких-нибудь служащих в конторах и кассах, учительниц городских и домашних, вам случалось заговаривать с ними так, не по делу, — вспомните, вас не поражала одна странность, а может, и вызывала улыбку, — неожиданная мечта их о самых невообразимых путешествиях: непременно ехать куда-нибудь за тридевять земель — в Африку, в Австралию, в Индию.

Татьяна Спиридоновна Светлакова, учительница городской школы, мечтала о Индии.

Почему о Индии? Потому ли, что Индия — чудесная, одно слово — Индия? Сама Татьяна Спиридоновна ничего не могла ответить и лишь одно — ехать ей в Индию, вот и все. И однажды после экзаменов, распустив ребятишек, она взяла и поехала. И благополучно добралась до Ташкента и дальше до какой-то конечной станции, — путь сухопутный представлялся ей и самым прямым, а главное, самым дешевым, — но тем и кончилось путешествие: с караваном, отправлявшимся в горы, как ни

просила, ее не взяли, да и денег у нее, по правде сказать, не было, какая уж Индия!

Об этом путешествии своем индийском стыдливо, — Татьяна Спиридоновна всегда чего-то немного стыдилась, — рассказывала она со всякими и печальными, и веселыми подробностями: и как на конечной станции у порога в Индию, желая добыть себе денег на обратный путь, предлагала она уроки, в которых, к горю ее, не оказалось нуждающихся, — будь портнихой, умей сшить платье по-питерскому, другое бы дело! — и как сарты, что ли, там в чалмах страшные, любопытства ради, за руки ее трогали, и как, наконец, дал ей денег начальник станции, добрый человек, и в четвертом классе, — прощай, Индия! — поехала она домой.

Кроме мечты о Индии, вроде как осуществленной, — говорили же и не в шутку, что Татьяна Спиридоновна в Индию ездила, да и сама она с этим потихоньку свыклась, — была у нее и другая, столь же заветная мечта и совсем несбыточная, мечта о Швейцарии, которую представляла себе Татьяна Спиридоновна чуть что не самим раем земным, где не только сама природа — реки медвяные, берега кисельные, горы сахарные, а и люди — не наши и не здешние, свои — настоящие люди и жить там — все равно, что в рай попасть! И однажды, в начале лета, прослышав о экскурсии в Швейцарию медичек, Татьяна Спиридоновна собрала свои вещи — старенький чемоданишко, с которым обыкновенно перебиралась из комнаты в комнату, — и, недолго думая, поехала на вокзал, и там благополучно в вагон влезла и на полку чемоданишко этот свой поместила, но тем дело и кончилось: заметили незнакомую, поднялся крик и, как ни просила, — одно место свободным оказалось! — не пустили, выпроводили вон. Один был такой случай, и не выгорело, так в Швейцарию и не попала.

Татьяна Спиридоновна ездила в Индию... мечтала о Швейцарии, а уж по России где-где не бывала: побывала она и на холере, и на чуме, и на тифе, и на голоде, и еще на какой-то там напасти нашей, без которой лето не в лето и год не в год: и так, кочуя от беды к беде, по Волге проехала, пробралась на Кавказ. И если не суждено

ей было туманный Мон-Блан увидеть, она увидела пустынный, такой весь белый Эльбрус.

А вы знаете, что это значит, после холеры, чумы, тифа и голода, после тех напастей наших, без которых лето не в лето и год не в год, в горячий солнечный день вдруг ясно увидеть белый Эльбрус. По себе скажу, есть в мире Божьем такое... цветы такие полевые, горы такие белые неподступные, недостижимые, слово и звезды, звуки, как звезды, и наши желания, и наши дела, от которых, будь два камня — на груди и за плечами, а на одну минуту станет тихо, и в тишине этой и самое ожесточенное сердце благословит мир Божий, и жизнь земную.

Об этом путешествии своем кавказском стыдливо — Татьяна Спиридоновна всегда чего-то немного стыдилась, — рассказывала она со всякими подробностями: и как ее по дороге чеченцы, что ли, там черные с кинжалами сладким виноградом угощали, и как она Эльбрус увидела.

И оттого ли, что Эльбрус такой недоступный и суровый, пустынный, а она такая маленькая и незаметная и уж какая там суровая, белый Эльбрус повторялся в ее рассказах, как припев, как «Господи, помилуй».

Мечтая о путешествиях самых невообразимых и недоступных, Татьяна Спиридоновна мечтала, как она сделается доктором. После дневных занятий в школе бегала она по всяким лекциям и одно время поступила в Психоневрологический институт и с год вечерами занималась там науками, сдала часть анатомии, но тут ее вычеркнули. Ну, откуда же заплатить ей за лекции? — ее и вычеркнули. Так она в своей комнатенке, где-то на Преображенской, и осталась, да с нею тетка ее, старуха хворая.

Татьяна Спиридоновна ездила в Индию, на Эльбрус лазала... много чего видела, да и простуды всякие — и прострел и ревматизм и еще что-то донимающее — не отпускали: в кофточке-то летней в слякоть нашу и по морозцу попробуй побегай! — а так ничего, все такая же. И откуда только у ней силы брались? Везде поспеет и все устроит. И уж если надо чего, как крот, подземными ходами пройдет, а добьется, — будешь доволен.

Татьяна Спиридоновна птичьего молока достать могла.

II

Вам случалось встречать в театрах и концертах среди нарядной публики таких каких-то переходящих с места на место, таких чего-то встревоженных, пугливо озирающихся, то толкущихся в проходах и у входа, то сидящих в самых первых рядах и с необыкновенной готовностью уступающих вам место, если даже место и не ваше, а вы только по ошибке собрались усесться, наперед знаю, вы ничего дурного не подумали об этих людях, это — зайцы.

Эти зайцы бывают двух родов: платные, которых без билета пускает капельдинер, получая себе мзду заячью, и бесплатные, которым удается перехватить у какого-нибудь незнакомого счастливца, уже вошедшего, входной билет, — вещь головоломная!

Татьяна Спиридоновна проникала в театры и концерты зайцем и притом бесплатным, да и как иначе могла она попасть, ну, на Шаляпина, или посмотреть и послушать, чего все мы добиваемся лишь за большие деньги! Жизнь ее была какая... а, ведь, ей тоже хотелось того праздничного чувства, какое бывает в театрах и концертах.

Товарка Татьяны Спиридоновны, учительница Грачева, признавала, как сама она выражалась, свободную любовь: сойтись и так без особого чувства, лишь развлечения ради, ей ничего не стоило. Что же? — сегодня знаком, а завтра прощай! — так проходила жизнь, и, пожалуй, не надо и театра. Коридорная горничная Аннушка в комнатах на Невском, где жила одно время Татьяна Спиридоновна, скромная и услужливая, не могла и представить себе, как бы она так жила без кавалера, а сменялись они у нее чуть что не всякий праздник. И у Грачевой и у Аннушки такая жизнь проходила и легко и просто: себе в развлечение, другим не в помеху. Жизнь, ведь, их тоже была какая... Другое дело Татьяна Спиридоновна: и те, кто ее знал, и сама она о таком и подумать не могла, и не потому, чтобы уродом была, нет, дело не в этом, Татьяна Спиридоновна совсем была другая, у ней душа была другая, и так, развлечения ради, с ее-то думой, так она ничего не могла делать. И еще скажу, я скажу вам самую тайную тайну ее и единственную: Татьяна Спиридоновна была влюблена и влюбилась она на всю жизнь. А никакого

сочувствия ей не было. Она про это знала. И надеяться ей не на что было. У него была своя жизнь. Случалось, что годами она его не видела, но всякое утро, когда бежала она в школу и вечерами на лекции, к сердцу ее приливало то чувство — знаете, это похоже, как в пасмурный летний день, когда вся душа раскрывается — и сердце ее раскрывалось: ведь, только бы встретить! А самое большее удовольствие было для нее, когда говорили о нем.

Оттого ли, что она так любила покорно и кротко — безнадежно, или такой уж зародится человек, на свете — все мы по-разному непохожие приходим на землю — душа ее была раскрыта к той беде нашей первородной, мимо которой проходят столько глаз, ничего не видя.

Когда случалось большое горе, я видел, как она приходила в тот дом, к тому человеку, у которого было горе, она не спрашивала — не всегда надо спрашивать, она сидела около молча, потом начинала плакать и от ее слез молчаливых становилось легче. Есть такие, которым в горе не надо слов или надо бы слово, но о котором кто знает! — и вот молчание и слезы достигали того незнаемого верного слова. Посидит, поплачет... смотришь, тот уж и заговорил, а заговорил, это уж с полгоря, скоро, даст Бог, и улыбнется.

Этим своим молчанием своего раскрытого сердца и слезами своими терпеливыми много она рассеивала горя. Но сама-то, с сердцем несогретым, в своей беде, в чем находила она себе утешение?

Татьяна Спиридоновна в Бога не веровала.

В детстве считалась она богомольной, ее никто не заставлял, это так у нее самой выходило: все, бывало, молится. И вот один пустой случай перевернул все. Как-то в школе задала ей учительница переписать тетрадку, а тетрадь была грязнущая. Другие уроки она все выучила, и только к тетрадке не притронулась, — что-то помешало ей, — время и прошло, не успеть уж. На ночь положила она тетрадку под подушку и долго Богу молилась, просила о тетрадке, просила — верила: встанет поутру, чистая будет тетрадка. И легла и спокойно заснула, а наутро чуть глаза раскрыла и первым делом под подушку, а там тетрадка: как положила, — грязнущая. Никому об этом

она не сказала, только стали замечать, не такая уж она богомольная, как раньше: другой раз без молитвы спать ляжет и обедню прогуляет, а тут летом купалась, крест потеряла, да так без креста и осталась.

— Татьяна Спиридоновна, неужели вы не веруете в Бога?

Стыдливо, как всегда чего-то немного стыдясь, Татьяна Спиридоновна качала головою.

Она все исполняла, что ей полагалось: она водила ребятишек ко всенощной и к обедне, на Рождестве устраивала елку и, как ребятишки, радовалась елке — Рождеству; на Великом посту говела и причащалась и, как ребятишки, чего-то боялась, когда за батюшкой повторяла — «Верую, Господи и исповедую» — и уж тоненько, совсем по-детскому, словно и вправду была сущим разбойником, выговаривала — «но яко разбойника приими мя!» — и, причастившись, на Страстях стояла со свечкой, похорошевшая от огонька, с замеревшим сердцем, как ребятишки, ждала в Пасхальную ночь, когда, обойдя вокруг церкви, запоют, «Христос воскресе».

— Так во что же вы веруете, Татьяна Спиридоновна?

Стараясь что-то сказать, что так не скажешь, Татьяна Спиридоновна улыбалась, потом глаза ее будто останавливались, и было похоже, как в поле цветы цветут, не скажут и не попросят, цветут, красуют Божий мир, или звезды, когда их много, тихо звенящих в ночи, живые, как слезы.

III

Вы помните, как в начале войны все наши городские барышни записались в сестры милосердия и на краткий час у всех была одна добрая мысль и одно желание. Записалась в сестры и учительница Грачева и недолго ждала, счастливо попала в первый отправлявшийся отряд с цветами и шоколадом.

Татьяны Спиридоновны не было в Петербурге. Из каких-то индийских путешествий возвращалась она по загроможденным мобилизацией дорогам, с какого-то пожара, который, как первая грозная весть, жег то лето Россию. А когда вернулась, в Общинах все было занято, и для простых всякий прием кончился. Оставалось Попечитель-

ство. И всю осень вместо лекций вечерами бегала Татьяна Спиридоновна по всяким углам и каморкам, где безголовая тянула беднота и разорение свою осиротелую жизнь, — у кого был муж, у кого был отец, у кого был брат, у кого был сын на войне. Много ей было хлопот и все-таки умудрилась, поступила еще на какие-то краткие курсы и для практики ночи дежурила в Обуховской больнице. И одна была мысль, ехать ей, как товарка ее Грачева счастливая, на самую войну.

Кончив курсы, она обегала всякие Союзы, от которых зависела отправка сестер милосердия, приставала чуть ли не ко всякому уполномоченному, доходила до самых главных генералов, просила и молила, и везде ей отказывали: не было у нее никакой руки и бумаги от Общины не было, а докторское свидетельство было сомнительно. Самое большее сводилось к обещаниям, ее записывали в кандидатки, сулили известить, но тем дело и кончалось. А и вправду, как такую пустишь — и в чем душа и такое сердце...

Так и не добилась.

И тут, как это часто бывает, люди и самые благожелательные, не подумали... они были с несомненностью уверены, что самое страшное на войне пушки, удушливые газы и кровь, и думали, что такое сердце порочное не выдержит этого страха, а главное крови, а не додумались, хоть об этом и говорилось тысячу раз, что есть больший страх, чем все эти пушки, удушливые газы и даже сама кровь, и этот страх страшный — та неправда, по которой живут люди, та ложь, которая стравляет людей друг с другом, тот обман, который опустошает живые души и, главное, та бессовестность, про которую не знают ни звери, ни птицы, ни цветы, ни звезды и которую не вынесет такое сердце... порочное.

Татьяна Спиридоновна поступила в лазарет волонтеркой. Днем в школе, после обеда в лазарете — так день за днем. Думала, вот увидят как она все делает, убедятся в ее пригодности и на войну пустят, — эта война сменила у нее и Индию и Швейцарию.

Татьяна Спиридоновна не притворялась — она никогда не притворялась, — она и в лазарете была той же самой, какой все мы ее знали, и раненые ее полюбили, свою

сестру усердную. Это так они ее и называли сестрой усердной. Она говорила с ними, как с людьми, которых постигло несчастье, как там на голоде, чуме, тифе, холере и на других напастях наших, без которых лето не в лето и год не в год, она называла их по имени, обращалась с ними и строго и ласково, как в школе с ребятами. И ей верили и исповедовались ей, ее чистому сердцу, каялись ей в тех грехах своих, совершенных там, где, по слову простого народа русского, нет совести и Бога нет.

По весне померла тетка-старуха.

Похоронила ее Татьяна Спиридоновна, на сырой могилке крест поставила, упокоила старую, измытарившуюся в жизни, в хвори старуху. А на похоронах сама простудилась. Все перемогала — и в школу, и в лазарет ходила: и ребят жалко оставить, и там без нее плохо будет, привыкнули к ней. Но, видно свой черед не переступишь, а, ведь, раньше-то как хворала, и ничего, а тут свалилась и больше не поднялась.

И вот она, безбожная и бескрестная, проснулась однажды в то-светном дне, душа человеческая, сестра усердная, чтобы и там, где нет печали и нет воздыхания, быть среди страждущих и мечтать о чуде, о рае, о правде. И неужто душа ее во тьму сокроется и сердце ее погаснет? Или и бескрестная, с истинным Христом в сердце, там расцветет она сердцем, как цветы полевые, как звезды небесные, радовать необрадованных и утешать безутешных.

1915 г.

ЧАЙНИЧЕК

I

На Бассейной дворник купал собаку.

Дворник выкатил со двора кишку на тротуар, привинтил кишку, открыл кран и пустил поливать камни. Тут подвернулась собака — брызнуло в собаку, другая бы убежала, а эта хапнула ртом и стала. Дворник еще надбавил, а она

опять ловит: должно быть, здорово пропарилась, бедняга, и пить очень хотелось. Камням тоже попить хотелось...

Дворник купал собаку.

Прохожие щерились, облизывались, вытирали пот, — одобряли собаку: наставит дворник кишку да холодным как пустит, а она — хап! — знай себе, ловит. Распаренные и очумелые, высовывались из трамваев, кивали и подмигивали собаке, и было очень весело, глядя на собаку.

Павел Герасимович Воробушкин, проходя по Бассейной, застал немало всяких любопытных.

Собака тем временем насытилась и не прочь была убежать куда на солнышко. Да, конечно! — пора было отпустить собаку и приняться за мостовую — за камни, которым тоже попить хотелось, но уж ее, голубушку, держали.

Дворник купал собаку.

Дворник сердился — собака рвалась: вот вырвется и, пронятая до кости, всех перекусает.

Никто не понимал, да и мудрено было понять, как это так возможно в такую жару и от холодной воды отбиваться, и все были на стороне дворника, лютевшего на собаку.

Воробушкин, по душе жалостливый, хоть и пожалел собаку, — ну, что бы такое было, если бы так с человеком мудровали! — но своя неутоленная жажда и духота мостовая так и его одолевали, что не мог он, и жалея, не сочувствовать дворнику — доля промокшей до кости собаки была завиднее и его доли и доли дворника, ярившегося не от чего, как от этой жары невозможной.

А уж дворник расплевался с собакой — черт с ней, с собакой! — переменил руку, да как пустит, только носом зашмыргали.

С тем Воробушкин и пошел к себе на Дегтярную чай пить.

Павел Герасимович Воробушкин человек одинокий и служба его маленькая и сам он такой, что такому и в добровольцы откажут. Служба Воробушкина маленькая и по нынешним временам жизнь трудная: сами знаете, розанчик вчерашний к утреннему чаю себе положишь на конфорку, а он и проваливается! Служба маленькая —

место незначительное, а связи немалые — большие заправилы и все приятели Павла Герасимовича! Как сказать, свинеет что ли человек, коли посчастливится ему, или по природе своей так уж человек и родится со свинячьей склонностью, проявляющейся в жизни человека при благоприятных обстоятельствах, — ведь, какие приятели: и душа нараспашку и совет твой выслушает, а то, что вчерашний вот розанчик разогревать на конфорке приходится, этого как-то никто не замечает, или и замечают, да толку-то от замечаний нет; и на службе Воробушкин который год все на одном и том же месте: понижать не понижают, но и повышения не полагается.

С начала войны, — когда взяли Воробушкина квартирного хозяина — прапорщика, и хозяйка докторша «Савл», гнавшая всю жизнь мужнину лампадку, затеплила ее в углу, неугасимую — война поглотила все его существо: на службе и дома, в комнатенке своей на Дегтярной, он только и держал в памяти то страшное человеческое, не по-человеческому заваренное, дело, к которому ни человеку, ни зверю немыслимо привыкнуть.

Приходило время отпуска, а Павел Герасимович и думать боялся об отъезде, как будто с Дегтярной он только и может следить за событиями, поутру передвигая флажки по стенной марксовой карте, и не сегодня-завтра выпадет ему на долю защищать самое Дегтярную. Но как там, на Бассейной, пожалев собаку, над которой мудровали ошалелые от жары прохожие с дворником во главе, позавидовал он ей, до кости пронятой, так и тут, в комнатенке своей подкрышной, прокуренной, не представляя себе другой жизни, кроме своей зимней с газетами утренними и вечерними, он завидовал всем, отъезжавшим на волю, хотя бы в Озерки.

Слышал он, что никогда так не цвели поля, как в этот, помутнелый от крови и горя, жестокий, роковой год, а на Москве такой чудесный липовый цвет, вся Москва цветет, — всполошились пчелы подмосковные, не зная, куда и лететь, и на Ивана Великого рой сел.

Кто живал по нужде лето в Петербурге, тот хорошо знает, что за удовольствия вечерами нетемными в полуопустелых каменных домах. Окна раскрыты и на весь двор граммофон и с соседнего двора граммофон и как-то

так без всякой отдышки, а тут еще какой любитель на скрипке упражняется, либо певец поет, и тоже, ну, хоть бы разок передохнул. А утихнет граммофон, оборвется скрипач, уймется певец, другое пойдет уж обязательно, и это из вечера в вечер и куда за полночь, уж кого-то щекочут — должно быть, что щекочут! — и тот орет, а чуть свет — молотком по железу, и звенит день-деньской на постройках.

В ту ночь особенно было шумливо.

В большую квартиру с забеленными окнами с вечера набрался народ: с дачи ли сами приехали, либо приятелей своих пустили переночевать — окна, конечно, настежь, и видно, не простой приезд, добра всякого спиртного стол уставлен. Спервоначала-то все шло ничего, пили и кричали ура, потом на рояле играли, хорошо играли, а уж потом — совсем нехорошо! — хором петь принялись и, ведь, как пели, — так и нарочно не сговоришься, так врозь.

Воробушкин пробовал заснуть, и так приладится и этак, и только что заведет глаза и вдруг, словно над ухом, как харкнет... Вставал Павел Герасимович, закуривал папироску, заглядывал в окно: и ночь, а теплынь, что днем, и там в третьем этаже, внизу среди пирующих какой-то огромный один волосатый легкости ради обнажился и, неловко продвигаясь среди дам, показывал пальцем, — дамы визжали.

Был у Воробушкина приятель Щелин Михаил Петрович, вместе учились, замечательный человек... впрочем, может, это не правда, а только такая шла замечательная молва, будто как-то летом за ужином на сон грядущий Щелин в варенце жука проглотил, и, сами понимаете, жука имея во чреве, был будто бы по этой самой причине, как жук, жудлив вечерами и особенно к теплой погоде. Об этом приятеле своем, о Щелине жудливом, в душной тоске своей вдруг вспомнил Павел Герасимович, вспомнил полученное от него письмо, и уцепился, как за свое единственное спасение, и в бессонный подутренний час решил про себя, воспользовавшись отпуском, бросить Дегтярную да в Качаны к Щелину.

«Вот уж месяц, как мы здесь, и так хорошо, что и в войну перестали верить...» — выговаривалось письмо ще-

линское, заманивая в Качаны, где никогда еще так не цвели поля, как в этом году.

И, решившись ехать, Воробушкин поверил приятелю и не только в цвет полевой, но и в безмятежие жития качановского.

«Нашелся-таки уголок, — думал Павел Герасимович, — есть место и среди пожара нашего, где про войну забыли!»

А потом спохватился:

«Да не шутит ли Михаил-то Петрович? Да и в самом деле, есть ли на русской земле хоть один человек, который о войне не помнит, и есть ли такое место на земле, где о войне не слышно, разве что на кладбище?»

И, отчаявшись в сне, под звон железа, досадовал:

«Ишь, куда заманивает!»

Но скоро и передосадовал.

Щелин, кроме того, что жундел, т. е. был невообразимо говорлив, Щелин еще и чудил: ведь это он построил у себя, в качановском саду, капкан вроде такой калитки вертящейся — как попадешь, а попадешь непременно, потому что уж очень у заманчивого места в уединении воздвигнута была эта самая калитка, и уж сколько ни бейся, а без посторонней помощи, а стало быть, и огласки, нипочем не выскочишь! Конечно, чудак, и обижаться, досадовать — просто грешно.

И, передосадовав, на краткий час забылся Павел Герасимович, и снилось ему, будто сидит он с Щелиным в Качанах — с Михаилом Петровичем и Марьей Сергеевной и едят раков: у него две раковые шейки в руках, а Щелины рачьи ножки сосут. И отдал он свои раковые шейки по шейке каждому — одну Михаилу Петровичу, другую Марье Сергеевне, и остался у него рыбий хвост, и вдруг пришла прачка и принесла узел с грязным бельем обратно. С тем и проснулся.

На следующий день Воробушкин, за день окончательно решившись покинуть свою Дегтярную, взял билет и стал понемногу укладываться. Еще через день дал телеграмму в Качаны. А в субботу вечером, Господи благослови, пустился в путь.

Неужто ж через какие сутки — и это правда! — попадет он в такое место, на такую землю земли русской, — где так хорошо, что и в войну перестали верить?

II

Ранним утром Воробушкин проснулся. Поезд стоял, ревели быки. Осторожно спустившись с верха, где без подушки — по военному времени подушки не полагалось — проспал мирно трясучую ночь, вышел он на площадку, закурил и ему самому захотелось помычать — утро было такое свежее, такое ясное и какие-то птички пели, а он только и умел, что птичку представлять да мычать.

Конечно, быки мычали, быки ревели не от удовольствия, не этому утру свежему и ясному, — чуяли быки свою скорую смертушку, а помирать кому же хочется, и вот вопияли, обреченные, наперекор утру ясному: один бык начинал, а в его рев врывались другие.

И, когда застучал тяжелый бычий поезд и все быки заревели разом, пошел и человеческий поезд, а долго еще слышался рев, словно ура кричали.

Тут солнце поднялось над леском такое яркое, в глазах зарябило, и Воробушкин вернулся в вагон и с бокового порожнего места, чуть приотворив занавеску — соседи еще мирно почивали, — глядел через запыленное окно на пролетавшие поля и леса, и реки и речки, на простор наш русский земли родимой, которую охватить пожар наперекор цветам полевым, полям цветущим, как никогда еще.

На скучной пересадке, где приходилось поджидать не один час, Воробушкин, напившись чаю, слонялся по платформе от вокзальной кухни — по случаю воскресного дня повара что-то вкусное стряпали — и дальше мимо телеграфа с засматривающими из окна телеграфистками, до тесовой, выкрашенной в желтое, лавочки для воинских чинов, где над розовыми пряниками висела колбаса и стояли бутылки с квасом.

У жандармской комнаты прямо на запыленной затоптанной траве лежала молодая баба с грудным ребенком, тут же и чайничек стоял. Говорили, что солдатка: проводила мужа, очень убивалась и теперь домой поедет.

На другой стороне путей из церковки степенно выходили местные барышни погулять по платформе. В церковке звонили к «Достойно». А по путям взад и вперед ходил закопченный паровоз с черным закопченным машинистом.

Потом этот черный паровоз пошел ходко — увели его за водокачку к мосту, отзвонили к «Достойно», и к станции подошел товарный.

Три середних вагона раскрыли, и как-то сразу, навалом, перелезая через перегородку, а другие подлезая, высыпали молодые парни — последний набор, налегке, больше босиком в пестрых рубахах, и, перепрыгивая через рельсы, бросились кто к лавочке, где над розовыми пряниками висела колбаса, кто за кипятком на станцию.

Воробушкин стоял со старухами, болезнующими, глазея на ребят.

Воробушкин вглядывался, сравнивая себя, и ему показалось, что были и такие ему под стать рядом с крепышами и рослыми.

Какой-то в зеленой рубахе, пожалуй, всех крепче, играл на гармонье и так играл — заливался, не подымая глаз с ладов. И в вагоне, за перегородкой в кучке оставшихся в вагоне, играл какой-то. И не в лад играли две гармоньи, но так; задержись поезд на сутки, и так же бы играли.

— У, бедные! — прошамкала старуха.

Какой-то коричневый, вывернувшись из толпы, заложа руку за голову, вытоптывал тяжелым сапогом около гармоньи и топал, и так бесповоротно, топать ему так, пока тот зеленый не выронит гармоньи.

— У, бедные! — качала головой старуха.

Звонка для товарного поезда не полагалось, без звонка по чьей-то окличке бросились парни назад в вагоны, и зеленый гармонист, оборвав игру, перескочил через рельсы, но уж без гармоньи, — гармонью кто-то отнял у него по дороге. И теперь в вагонах другие играли, было много гармоний, играли без ладу, но так, как на платформе зеленый.

Старуха бессловесно качала головою.

А когда пошел поезд, из закрытых вагонов, заглушая гармонью, закричали ура.

Воробушкин снял шляпу и было жалко ему чего-то — гармониста, у которого отняли гармонью, или того, что вытоптывал сапогом у гармоньи, — ему жалко было и горько. С горьким чувством смутным о России, о родине нашей, о земле родимой, согнувшись, пошел он по старой дорожке слоняться от кухни до лавочки и обратно.

Из кухни чем-то очень вкусно пахло, повара стряпали, старались для воскресенья.

«Капуста любит сметану, а масла не спрашивает!»

В тесовой лавочке, выкрашенной в желтое, над розовыми пряниками висела колбаса.

«По установленным ценам!» — читал Воробушкин.

Женщина с ребенком лежала в пыли на затоптанной траве у жандармской комнаты, как лежала, тут же и чайничек стоял.

«Проводила, сердешная, мужа!»

Приходил час обеда, а поезд опаздывал. Истощалось терпенье.

И когда, наконец, нагруженный дальними пассажирами, подошел к станции поезд, и Воробушкин, не совсем-то благополучно протиснувшись, занял себе местечко, стоял уж жаркий летний день и в вагонах, как у плиты, пыхало.

После проверки билетов, не желая стеснять соседей Воробушкин перешел на площадку.

На площадке рядушком тянулась к окну такая востренькая с двумя короткими косками и красной ленточкой Анюшка Богданова. С Анюшкой Воробушкин живо подружился, и всю остальную дорогу до самого вечера занимала она его своими рассказами.

Анюшке двенадцать годков, перешла она нынче весной в пятый класс, умница, а едет она от отца с войны, отец ее кондуктор в командировке, а ездила она отца проведать, возила говядины ему, да напрасно: у них теперь там этого всего вдоволь! Анюшка самая старшая и за ней еще пятеро, и на руках ее хлопот куда полдома! — и матери она помогает, и младших братишек нянчит, и за коровой ходит. А встает Анюшка поутру вместе с солнышком, и оттого личико у нее такое загорелое и такая у нее во всем озабоченность. А едет теперь Анюшка в Москву к дедушке, тоже на железной дороге служит и дедушка, живет дедушка в Сокольниках, и хоть впервой Анюшке на Москве быть, да такая не потеряется — до Сухаревой башни на восьмом номере доедет с вокзала, а там спросит, добьется, — сметливая, ловкая девочка. А к отцу она в третий раз на войну ездит.

Слушая спутницу свою щебетунью-умницу, думал Воробушкин о России, о новой...

«Вот она, Россия хозяйственная и заботливая, эта Анюшка Богданова — Россия хозяйка! С годами подвырастет, выравняется, всем обзаведется, хорошо поведет свой дом и так не отдаст добро, расчетливая, и к себе, в свой дом, не пустит хозяйничать, вот она, Россия, молодая еще, Россия хозяйственная, — такую не проведешь, над такой не помыкаешься, хоть чем хочешь будь, хоть самим папой римским, дай только Бог, дай подрастет, Россия крепкая, непришибленная, умница, Анюшка Богданова!»

На войне Анюшка много чего видела и о многом слышала, да ни в какие страхи она не верит и никаких слухов не боится, только боится Анюшка туманов удушливых.

— Аероплан, — рассказывала Анюшка, — туманы пускает: поднимется высоко-высоко и пустит, и оттого на пятнадцать верст народ мрет.

Анюшка шила в школе повязки, батюшка заставлял, она знает про удушливые туманы и пленных она знает: у них душ двести живет, и хорошо живут — на работах.

— Идут с обеда, — рассказывала Анюшка, — песни поют, хорошо как поют! Бабы спрашивали у пленных: «А как у вас нашим живется?» — «А хорошо, говорит, им живется, пообедают и тоже идут, песни поют!»

Удушливых туманов боялась Анюшка, а пленных нисколько.

— А мира не будет! — вдруг сказала Анюшка и так настойчиво это сказала: «не будет».

Потянул холодок, туча нашла, много маленьких тучек теплых, — там где-то дождик пошел, и воздух такой стал легкий.

На последней большой остановке — поезд почтовый — на маленькой станции было необыкновенно людно.

От дороги, усаженной березками, подходили к станции бабы, нарядные по-воскресному, в белых платках. Жандарм прогонял баб, и они, помалкивая, уходили, но по белым платкам видно было, как упорно собирались опять, только с другого конца.

И только одну молодую бабу с тремя ребятишками не погнал жандарм, — она ему что-то сказала, показав на ребят: маленького сама на руках держала, другой голопуз сбоку за юбку цапался, а старший в картузе впереди стоял с прутиком, — ну, жандарм и смиловался.

И когда тронулся поезд, опять, как там, на пересадке, и в почтовом поезде, только в самом хвосте, закричали ура, — заколебались белые платки, а старики обнажили головы.

Это новобранцев провожал народ всем народом.

Воробушкин, высунувшись в окно, долго смотрел туда, к дороге с березками, и долго виделись ему белые колеблющиеся платки и седые обнаженные головы.

Это Россия всем народом провожала меньших сынов своих, и какая скорбь чуялась в ее молчании, и скорбь и покорность перед судом Божиим.

Не жандарм, прогонявший баб, — голосить еще примутся! — не прапорщик, распоряжавшийся вагоном — какой-нибудь сослуживец того же Воробушкина! — не они отнимали от родной земли молодую силу, чтобы там, на бранном поле, совершив страшное человеческое, не по-человеческому заваренное дело, кровью своей покрыть землю, шел суд Божий, и оттого в молчании покорном среди колеблющихся белых платков и седых голов такая скорбь чуялась.

III

На станции ждали щелинские лошади.

И хоть Воробушкин своевременно телеграммой известил приятеля, точно высчитав день и час своего приезда, лошадей, как оказалось, гоняли на станцию во второй раз.

Утром барин говорит: «Поезжай, Филипп, может, приехали, кто его знает!». Я и ездил, — объяснил качановский кучер Филипп.

Воробушкина в Качанах, как видно, ждали.

Только что прошел дождик, и вечер был такой чудесный, не надышишься, и ехать было легко по прибитой дождем дороге.

Из расспросов узнал Воробушкин от Филиппа, что гостей понаехало в Качаны многое множество: всякий день наезжают новые, и весь дом и флигеля заняты.

Переехали речку, а за речкой начался лес щелинский.

По позднему вечеру затеплились две звездочки, две серебряные и такие же подневольные, сестры наши, звезды небесные.

А просхав лес, поднялись на горку. И справа над садом забелели две колокольни качановские, вот и дома!

Гостя поджидал сам хозяин. Михаил Петрович был очень доволен и приветлив и, не дав оправиться, потащил гостя прямо к столу. По столу со всякими приставками с конца до конца просторной столовой Воробушкин убедился, что гостей понаехало, действительно, немало, и ему стало отчего-то грустно, но чай с дороги рассеял грусть.

Воробушкин пил чай и рассказывал приятелю о своих дорожных встречах, о молодой России, которая идет умирать за родину, и о России молчаливой и скорбной, покорной перед судом Божиим, России в белых платках и о новой подрастающей хозяйственной России, непришибленной и крепкой, об Анюшке Богдановой.

— А мы тут и в войну перестали верить! — перебил хозяин.

Жук ли к хорошей погоде встрепенулся в щелинском чреве, либо разговоры Воробушкина так раздразнили, Михаил Петрович, прервав гостя, захлебываясь, понесся рассказывать о всяком: и о войне, и о приятностях и безмятежии качановской жизни, и, дав гостю насытиться и чаем и разговором, повел в маленький домик — от дома рукой подать через дорогу за флигелями.

И теперь по воле те две звезды и третья с ними налились серебром чистым и мерцали в ночи, серебряные и такие же подневольные, сестры наши, звезды небесные.

За флигелями у дороги, весь открытый на солнцепеке, стоял домик, со стороны дороги в розах и жасмине, тут в этом домике, и поселится Воробушкин и найдет полное забвение и отдых, а прислуживать ему будет пани Мария.

— Пани Мария, беженка из Калиша! — повторял Михаил Петрович, не по-русскому сложенное, коверканное и какое-то для нас, русских, дурацкое газетное слово, которым обогатила жестокая роковая война наш ладный великий русский язык, — беженка из Калиша!

И эта польская беженка, по настойчивому отзыву хозяина, не просто, а с особой радостью будет служить гостю.

— Мы много ей помогали, — пояснил Михаил Петрович, — понимаете, вы понимаете, как она будет рада

хоть чем-нибудь отблагодарить. Не стесняйтесь, пожалуйста!

Домик, в котором расположился Воробушкин на полное забвение и отдых, представлял собой одну большую низкую комнату, вдоль разделенную на две половины тоненькой, не доходящей до потолка перегородкой, а большая русская печь еще поперек делила эти половины, по печке поставлена была другая поперечная переборка, и получалось в домике не одна, а целых четыре комнаты, и в каждой комнате было, как в одной: чаю отхлебнешь — слышно, чихнешь — слышно, почешешься — слышно. Переднюю половину с парадным крылечком, теплой печкой и ходом на балкон занял Воробушкин, задняя же половина с кухней, сенями и чуланчиком досталась пани Марии с ребятами: совсем маленьким и подростком. Пани Мария жила во всем домике и только для Воробушкина перебралась с ребятишками в заднюю половину, — и это было так понятно и просто: пани Мария в благодарность за всю ту помощь, какую ей оказали Щелины, конечно, с радостью должна была потесниться для щелинского гостя!

Кровать поставили Воробушкину у печки и, хотя тепло было и даже очень — пани Мария в этой печке на своей половине кушанье себе днем стряпала и пекла хлебы — спал Воробушкин в первую ночь, как убитый. И лишь сквозь сон слышал, как ночью жалобно плакал ребенок, а под утро водовоз привез воду, — или уж сам качановский благодатный воздух, которым с вечера так полно надышался, нагнал на него в ту первую ночь сон крепкий, и плач и стук ведерный не смутил его.

Наутро, когда к нему вошла пани Мария, еще совсем молодая, такая измученная и несчастная, и без улыбки, с живою на измученном лице скорбью принялась за уборку, Воробушкину, глядя на нее, даже неловко стало и он бросился помогать ей, и не мог не заметить, что особой радости, о которой вчера ему рассказывал хозяин, прислуживание это у нее не вызывает.

Утренний чай пил Воробушкин в домике — после уборки пани Мария поставила самовар, что заняло времени

довольно: труба для самовара была прямая, на воле — ничего, тянет, а в кухне — не очень способно.

Обедал Воробушкин в доме со всеми — и вправду, как в стародавние времена либо нынче, когда не больно разъездишься, в любой и самой неустроенной санатории, такой был съезд в Качанах, душ тридцать гостей гостило! И как это у Михаила Петровича при всей его доброте душевной и хлебосольстве терпения хватало — душ тридцать гостей гостило! — а у Марьи Сергеевны запасов?

После обеда Воробушкин пил чай опять один в домике.

Тут он еще пристальнее разглядел свою соседку и еще большую почувствовал неловкость: не только ни о какой радости не могло быть и речи, он ясно видел, что ухаживание за ним было ей в тягость.

Пани Мария, приготовляя к самовару, задержалась в его половине и рассказала все свои беды — весь свой калишский ужас.

Пани Мария жила в Калише, муж ее техник служил там на заводе. Скопили они деньжонок и купили дом, думали, жить им поживать в их новом доме, да и детям останется. А когда началась война, немцы вошли в Калиш, первым попался их дом, его и сожгли, — дом их стоял около казарм как раз на углу. Так кончилась счастливая мирная жизнь. Бездомные, уходили они из Калиша трижды и трижды возвращались, — надеялись, придут русские, отобьют его у немцев! А хоронились они в погребе, и это было самое тяжкое время: мальчик кричит, плачет, вот их откроют, и уж никому не будет пощады. Беспощадно расправлялись с такими в те дни, и много погибло и детей и женщин. А надрожавшись в погребе, когда стало ясно, что надеяться не на что, им оставалось одно, бездомным, бросить и родную землю и идти, куда глаза глядят. Со старшим мальчиком пошла пани Мария, а младшего — младшему и семи месяцев не было — взял муж на руки. Ее пропустили — ничего, и старшего мальчика пропустили, а мужа не хотят, не пропускает часовой.

— Смотрю, — рассказывала пани Мария, — уже целится, а муж стоит, поднял руку и мальчика поднял: «Не стреляй, мол, или ребенка не пощадишь?» Ну, видно у

того свои были дети, вспомнил и опустил ружье. Так и спаслись.

Так и спаслись — сохранил их Бог, и хоть с пустыми руками, бездомные, а вышли из беды сами-то целы.

Пани Мария рассказывала горячо, с какой-то исступленной клятвой, поминая Пана Иезуса и Матерь Божию. И только коснувшись уличных ужасов, пожаров, убийств и насилий всяких над детьми и взрослыми, над стариком ксендзом, которого волочили по улицам, только коснувшись непременных подробностей того страшного человеческого, не по-человеческому заваренного дела, передавая случай, как на улице убили отца и мать, а бывшую с ними их девочку, дочь маленькую, оставили, и как эта самая девочка, очутившись на мостовой между убитыми, не понимая ужасной участи матери и отца, беспомощная, обращалась к ним, как к живым, — папа! мама! — и, не получая ответа, теребила ручонками то одного, то другого, все повторяя: папа! мама! — голос пани Марии вдруг зазвучал по-детски беспомощно, будто сама она и была этим покинутым среди убитых на мостовой ребенком, которому ни отец, ни мать не ответят, и, как ни тереби, не помогут, и, как ни плачь — мама! папа! — не сохранят от беды, и она заплакала.

Пани Мария стояла у раскрытой двери в ту заднюю половину, куда ее загнали ради Воробушкина, и плакала, и видно было и чуялось в слезах ее горьких, что не девочку ту беспомощную так жаль ей и не по ней она так горько плачет, а себя ей жалко, дом свой новый сгоревший, хозяйство свое, добро нажитое, свою покинутую разграбленную землю, свое сиротство на нашей русской земле...

И зачем они дом купили? положить бы им скопленные деньги в банк, целы были бы, и теперь на чужой земле с такими деньгами не пришлось бы просить, и ее никто не потеснил бы, она нашла бы себе свой угол и тут, вдали от родной земли!

Не скоро успокоилась — пани Мария все плакала — а когда высохли слезы, уж не так, не тем голосом, только жалобно, рассказывала она Воробушкину, как Щелины нашли ее в Москве и поселили у себя в Качанах, приютили в этом самом домике, старшего мальчика обещал Михаил

Петрович устроить с осени в городское училище, мужу на станции место выхлопотал, там и живет он на месте, и как не оставляют ее: Марья Сергеевна даст ей муки, молока и картофелю, муж получает на станции маленькое жалованье и без поддержки с ребятами никак невозможно! — и как Марья Сергеевна выходила зимой ее младшего мальчика — простуженный, без ее помощи не выжил бы мальчик! — и как за все это она благодарна Щелиным: и Михаилу Петровичу и Марье Сергеевне.

Самовар погас за разговорами, пришлось раздувать заново и долго еще дожидаться запоздалого послеобеденного чаю.

Ужинал Воробушкин в доме со всеми.

После ужина жук во чреве щелином был особенно игрив и проказлив, и обычно Михаил Петрович, поймав какого-нибудь неискушенного гостя, отправлялся на прогулку, занимая гостя своим неистощимым разговором жуку в угоду. Если же спутника не случалось, остервенелый, ходил он с высунутым языком, который у него за отсутствием собеседника просто болтался: жук начинал играть во чреве, слова лезли на язык, а говорить не с кем, и оттого язык болтался.

Воробушкин, само собой, попал в спутники к Михаилу Петровичу и, улучив минуту, расспросил о пани Марии, и рассказанное ею все подтвердилось.

— Она рада чем-нибудь отблагодарить нас и с радостью вам будет прислуживать. Не стесняйтесь, пожалуйста! — повторял Михаил Петрович.

После прогулки ждали чаю на сон грядущий.

Из щелинских гостей, проводивших в Качанах дни свои в полном забвении и отдыхе, оказалось немало замечательных стратегов, которые, начитавшись газет и принимая всякие изустные, часто вздорные, подчас и корыстные, слухи за истинную правду, ловко обсуждали ход военных действий и предсказывали события.

В этот вечер всех занимало московское известие о пчелином рое, севшем на Ивана Великого: что все сие значит?

А старая тетушка в большом возрасте с седыми позеленевшими завитками, прислушиваясь к разговорам, все недоумевала.

— Да почему же, — удивлялась она, — не соберутся державы и не перестреляют всех немцев?

IV

С каждым днем Воробушкин убеждался, что не только какого забвения, но и самого простого отдыха, о котором так много толковал и сулил ему в Качанах Михаил Петрович, не было и быть не могло.

Пани Марию, в этом он окончательно убедился, тяготило прислуживание — и самовары и уборка. Пани Мария за перегородкой у себя так вздыхала, словно вся душа у ней обрывалась.

Какой уж тут отдых, какое забвение!

Ночью плохо спалось — очень было душно и жарко от печки, и особенно в те и без того жаркие дни, когда пани Мария пекла хлебы, а мальчик, которого выходила Мария Сергеевна, не очень-то здоровый, по ночам кричал и плакал.

Справится Воробушкин с горячей печкой, кое-как приладится, кажется, забудет всякую печку, и вдруг проснется: ребенок кричит! Пани Мария утешает, а он все кричит — может, поел чего, может, и ему жарко, а может, растет, и пани Мария, переговорив все ласковые слова, которых так много знает польский язык, начинает уж с мальчиком как со взрослым, начинает укорять его, не говорящего еще и самых простых слов, пеняет ему, что покоя с ним нет, совсем измучил, что и так она несчастная, загнанная она на чужой земле, а еще и он ее расстраивает. А ребенок все кричит и кричит. И тогда уж без слов, без укора раздаются сухие шлепки, а в ответ такой подымается крик, от которого в ушах звенит, — куда звон железа на стройках! — и падает сердце.

Успокоится мальчик — всему есть пора: и слезам, и крику, такому детскому крику, о котором не выскажешь, детскому, — затихнет мальчик, и пани Мария успокоится, приладится и Воробушкин, кажется, забудет всякий крик, и вот, словно не проходит и минуты, опять проснется: водовоз приехал, воду привез — стучит ведрами, льет воду.

После такой ночи, когда входила пани Мария, такая вся несчастная, у Воробушкина язык не повертывался о чем-нибудь попросить, он старался делать все, что воз-

можно, сам, и если заговаривал, а уж, значит, надо было заговорить по необходимости, пани Мария, вся измученная, смотрела на него не только неприветливо, но даже и враждебно: да и как ей по-другому смотреть — ведь всю-то ночь... повозись-ка ночь с ребенком, а тут еще самовары, да и не привыкла она, она никогда не прислуживала и прислугой не собиралась быть! И, прибрав кос-как комнату, пани Мария за перегородкой у себя так вздыхала, словно вся душа у нее обрывалась.

Поблизости случился пожар.

Пожар увидала пани Мария и сказала Воробушкину.

А как она вся, как лист, дрожала и в глазах ее горело — это горел дом ее там, на земле покинутой, ее земля горела и все то счастье и мир, которого она с мужем добилась, ее счастье горело!

Воробушкин бегал смотреть на пожар: к пожару всегда тянет. Пожар был недоступный — горел льняной завод с керосином и нефтью, и по ветру огненные стружки от стройки, как огненные птицы, летели. Но не в этом, не в пожаре было грозно и страшно, а страшно было, когда побежал народ всем народом тушить пожар, — завод принадлежал крестьянам, товариществу. И надолго осталось в памяти, как тащили огромные черные багры, и виделась Воробушкину Россия — пожар, и бежит народ и, как последнее, тащат эти огромные черные багры.

«А что если поджог?» — подумалось тогда, и увидел он в глазах бежавшего народа тот же самый вопрос.

И было грозно и страшно.

Глаза искали: кто поджог? где поджигатель?

И он видел Россию — пожар, и бежит народ и, как последнее, тащат эти огромные черные багры не тушить пожар неподступный, такого так не затушить — воля Божья! — а бежит народ расправляться с теми, с тем, на кого скажет, не крикнет, а только скажет тот вон рыжий всклокоченный мужик, прибежавший за много верст из дальней деревни.

Михаил Петрович с ног сбился, он и сам тушил, а больше распоряжался. Слава Богу, заводом и кончилось, а то долго ль до беды — при таком ветре да все Качаны как слизнуло б!

В доме разговор на время перешел только к пожару:

надо было хоть как-нибудь восстановить добро, а кроме того, делились свежими впечатлениями. Михаил Петрович собрал крестьян и с ними всякое толковал. И жук в щелином чреве затаился, как и вовсе не было. А через день все было решено и подписано: в город посланы прошения о ссудах и льготах и положено начало новой стройки. И опять все пошло по-старому.

Тут только заметил Михаил Петрович перемену в госте: Воробушкин приехал куда веселее, а за эти несколько дней совсем захудал и бродил скучный.

После ужина, прогулявшись на пожарище, куда по привычке стали ходить вместо прогулки, Михаил Петрович зашел в домик к приятелю.

— Да не стесняет ли вас пани Мария? — спросил Михаил Петрович.

Воробушкин признался.

Воробушкин признался, что ему не совсем ловко просить ее прислуживать. И только. Всего же, о чем передумал он за эти несколько дней в свои бессонные ночи и готовился сказать, не сказал и не мог сказать.

Ну, как это скажешь?

По доброте душевной и хлебосольству Михаил Петрович напригласил к себе гостей полон дом... зачем же было заманивать еще и Воробушкина, когда места нет, да еще и сулить ему полное забвение и отдых? Воробушкина поместили в домике к пани Марии за перегородку и в сущности в одной комнате с пани Марией. А этого никак нельзя было делать ни для него, ни для нее, — для них обоих.

Это верно — бывает так, что человек, которому оказана услуга, с радостью в благодарность за услугу готов чем-нибудь отслужить. Михаил Петрович, судя главным образом по себе, нисколько не ошибался, предполагая, что и пани Мария рада будет отблагодарить и его, и Марью Сергеевну. Пани Мария и вправду рада была отблагодарить Щелиных! И в одном Михаил Петрович ошибся, он совсем не подумал, как и чем может и хотела бы их отблагодарить пани Мария. Михаил Петрович вместо того, чтобы, как это полагалось бы по правде, оказав человеку услугу, особенно зорко следить за поступками своими по отно-

шению к этому обязанному человеку и нечаянно как не напомнить ему об услуге и тем самым не вызвать у него тягостного чувства должника, которому во что бы то ни стало надо расквитываться с благодетелем, Михаил Петрович без всякой осторожности, нисколько не подумав о пани Марии, а вспомнив лишь свою оказанную ей услугу, выбрал такое дело, которое ему самому предоставляло удобства, и это дело в сущности навязал исполнить пани Марии за оказанную ей услугу. Ему надо было девать куда-нибудь гостя, приятеля своего, а места в доме не было, и вот хороший случай для пани Марии: пани Мария потеснится, пустит к себе в домик щелинского гостя и будет прислуживать ему. Мало того, что не подумав о пани Марии, Михаил Петрович навязал ей дело, лишь себе удобное, а и уверился, будто и для пани Марии это дело удобное, а потому с радостью будет она исполнять его.

Пани Мария никогда не забывала оказанного ей Щелиными доброго дела и рада была отблагодарить Щелиных, и возможно, что, была бы рада ухаживать и все делать для Марьи Сергеевны, даже в сени с ребятами перебраться для Марьи Сергеевны, но прислуживать щелинскому гостю она совсем была не рада, и если не предложение Михаила Петровича поместить у себя в домике Воробушкина и прислуживать Воробушкину дала-таки согласие и потеснилась и кое-как прислуживает, ставит самовары и пол моет, то единственно и только по нужде своей, по беде своей, от несчастья своего. Ну, как же ей было отказать Щелиным, которые сделали ей доброе дело, приютили ее и поддерживают и без которых ей с ребятами хоть по миру иди!

Ну, как это скажешь?

И сказать всего этого Воробушкин не мог потому, что приятель, заманив его в Качаны, как раз именно ради него, Воробушкина, и поступил так, и упрекать Михаила Петровича совсем не годилось, хоть и поступил он совсем необдуманно, поставив в самое дурацкое положение прежде всего его же самого, которому обещал забвение и отдых, и огорчив и без того огорченную, судьбой обиженную, несчастную пани Марию. А кроме того, зная хорошо Михаила Петровича, было небезопасно признаваться ему во всем по правде: сгоряча Михаил Петрович

может, Бог знает, чего натворить — ведь Михаил Петрович никак не мог понять, как это так пани Мария, обязанная всем ему и Марье Сергеевне, не рада их отблагодарить прислуживанием Воробушкину! Михаил Петрович мог сказать что-нибудь очень обидное пани Марии и, наконец, вгорячах же просто пригрозить выгнать ее из домика.

— Да, мне не совсем ловко просить ее прислуживать! — повторил Воробушкин.

И вот от несказанных ли признаний, смутно проникших в душу, или от собственной догадки о той правде, которую скрыл Воробушкин, не желая упрекать приятеля, и которую не допускал Михаил Петрович, Михаил Петрович вдруг словно ощетинился.

— Я знаю, как вас избавить от этой пани Марии! Завтра же вам будет прислуживать кучерова девочка Тая...

И, не дожидаясь ответа, Михаил Петрович прошел на половину пани Марии — пани Мария во дворике сидела с ребятишками — и вернулся с самоваром и трубой.

— А чайник у вас есть?

Воробушкин оглядел столик — темно уж было, — на столике, на подносе стоял один стакан.

— Нет, нету! — сказал Воробушкин упавшим голосом, сам не зная, чему испугавшись.

Михаил Петрович опять вышел и что-то долго шарил там по полкам и принес чайник.

— Вот вам и чайник!

И, наложив крючок на дверь к пани Марии, подергал: крепко ль? И также решительно вышел он из домика через балконную дверь. И скоро вернулся и не один, а с Таей, кучеровой девочкой, очень похожей на Анюшку Богданову, в красненьком платьице: она поутру постучит в балконную дверь, разбудит Воробушкина, будет носить ему воду, прибирать комнату и ставить самовар.

Тая побежала за углями. Михаил Петрович присел к столу: какой-то он стал грустный такой.

— А этот чайник не пани Марии? — робко спросил Воробушкин: ему показалось, словно бы раньше, все эти дни, он пил не из такого.

Михаил Петрович резко ответил:

— Я дал, я могу и назад взять. Никакого чайника у пани Марии не было!

V

Ночью прошел дождь.

Как спится под дождь сладко!

Воробушкин долго ворочался, и снилось ему что-то запутанное: и тащили его куда-то, и он тащил кого-то, потом очутился он в какой-то комнате, а в соседней комнате лампа горит и очень от нее жарко, и вдруг все встали и ушли, и видит он, один остался Михаил Петрович, голый Михаил Петрович моет пол под лампой и у него рыбий хвост, и опять потащили, а Тая — Анюшка Богданова — в красненьком платьице стучит в балконную дверь, а он и слышит, а встать не может.

— Чайничек забрали! — услышал он ясно и с болью открыл глаза.

Еще чуть только свет, и тихо за окном.

— Чайничек забрали! — повторила пани Мария.

Старший мальчик что-то со сна ответил ей ворчливо.

И послышался один долгий вздох, как только вздыхала пани Мария.

Воробушкин лежал с открытыми глазами, сна уже не было.

— Чайничек забрали! — повторялось за перегородкой.

Пани Мария жаловалась Богу на обиду, как ее обидели: у нее дом сожгли, загнали ее на чужую землю и теперь с несчастной все, что угодно, могут сделать.

— Чайничек забрали! — жаловалась пани Мария Богу, словно в этой последней обиде, в этом чайничке собралась вся ее обида, беда, все ее горе, она нашла имя беде своей, назвала ее по имени и повторяла, обращаясь к Богу.

Воробушкин лежал с открытыми глазами, проникнутый этой душу надрывающей жалобой, и почему-то вспомнилась ему та молодая баба с ребенком, проводившая мужа, та баба, которая лежала в пыли у жандармской комнаты на затоптанной траве, и голос пани Марии слился с ее голосом.

Приехал водовоз. Водовоз долго громыхал ведрами. Пани Мария и ему рассказала о своей обиде и уж с какою-то радостью заключила словом, в котором собралась для нее вся обида, беда, все ее горе.

— Чайничек забрали!

А на вопрос водовоза, куда наливать барину воду и где ведра, одно отвечала, потерянная в своей обиде, как тот в беде, у кого впереди одна беда.

— Ничего не знаю! Ничего не знаю!

Да и так, откуда ей знать: дверь наполовину Воробушкина на крючке, и ей нельзя пройти.

— Чайничек забрали! — опять с какою-то радостью заключила она словом, в котором собралась для нее вся обида, беда, все ее горе.

За водовозом постучала в балконную дверь Тая, она постучала куда раньше, чем ей полагалось, но теперь Воробушкину все равно: раньше или позже. Тут уж и Тая не поможет!

Тая вынесла самовар на балкон. А оставленные на балконе угли за ночь отсырели. Побежала за углями. И дай Бог через час самовар поспеет!

Воробушкин заглянул в окно к черному ходу: там на крылечке сидел старший мальчик и в стакане разминал чаинки. Жалко ему стало. И зачем это он вчера затеял разговор с Михаилом Петровичем? Ну, взять бы ему тихо, смирно и уехать из Качанов, и никто бы Богу не жаловался. Ну остался бы хозяин недоволен, конечно, посердился бы на него, но это совсем не то, совсем не то!

Пани Мария за перегородкой вздохнула, как вздыхала только пани Мария.

И опять начала она к Богу свою жалобу о беде и обиде, и о горе своем.

— Чайничек забрали!

Самовар поспел. Ловко и проворно внесла его Тая. Воробушкин заварил чай и ходил около стола, где стоял чайник. И такой маленький представлялся он ему огромным чугуном, пышущим, жарким, как та жаркая лампа, заполнявшим собою всю комнату — и не приступишься! — чайничек заполнял всю половину домика, весь домик.

Час и другой претерпел Воробушкин, собирая свои вещи и укладываясь, чтобы немедля ехать домой, в Петербург на Дегтярную.

Чайничек, заполнив весь домик, заполнял щелинские Качаны с домом, флигелями, полем и лесом, везде он один был и маленький, а такой непомерный, такой пышущий, жаркий, как та жаркая лампа, под которой Михаил

Петрович с рыбьим хвостом голый пол мыл, и ничего другого не оставалось, как бежать.

«Оттолкнусь, как шестом от берега и забуду!» — хватался Воробушкин за единственную спасительную мысль свою — бежать без оглядки.

Михаил Петрович на заявление гостя об отъезде остался очень недоволен: как же это так, разве не нашел Воробушкин в Качанах отдых, или недоволен, что много гостей, но ведь кто же этого не знает, что среди лета в деревне всегда много гостей, и притом же он достаточно ясно предупреждал его в письме, говоря русским языком, что «постарается устроить покойно и удобно», не сказал, что «устроит», а «постарается устроить»!

— Я же вам писал, что у нас все занято — и дом, и флигеля! — сердился Михаил Петрович, городя небывалое.

Воробушкин не возражал, Воробушкин старался как-нибудь оправдаться, ссылался на всякие тревоги, которые его одолевают, и что без Дегтярной он не может. Но выходило не очень-то убедительно. Воробушкину никто не верил, и он видел в глазах одно осуждение.

— Просто привередничает! — говорили про него.

— Конечно, привередничает! Какой чудесный, уютный домик, какие под окнами розы цветут и жасмин! А если с пани Марией не поладил, — находились-таки догадливые, — стоит ли на это обращать внимание!

А щелинский кучер Филипп уж прилаживался на облучке, по невеселому, по серому деньку, весело, чтобы везти барина по прибитой дождем дороге назад на станцию.

1915 г.

НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ

I

По обычаю прежних лет на избиение младенцев мы отправились к нашему затейнику, Александру Александровичу Корнетову. Чудак не предупредил и, туркнувшись на Кавалергардскую, поцеловали замок: еще осенью вскоре после Летопроводца, никому не сказавшись, покинул он

свое долголетнее насиженное гнездо. Хочешь не хочешь, а пришлось тащиться на противоположный конец. И с грехом пополам на птичьих правах, т. е. вися на подножке трамвая, и само собой без билета, добрались мы до Карповки. А от Карповки рукой подать. И благополучно отыскали дом — вроде дачи такая легкая стройка. Но тут-то мы и натерпелись.

Нам не только сказано было на Кавалергардской, но и собственными глазами мы видели, — в домовой книге записано, что квартира Александра Александровича третья, а как раз третьей-то в доме не оказывалось: была первая и вторая, а больше никакой. И дворника не разыщешь, — какие уж по нынешним временам дворники, дворничиха хоть бы высунулась! — и дворничихи нет и спросить не у кого. Кто посмелее, заглянул было на черный ход, да сейчас же и назад: через всю лестницу врастяжку лежал рыжий пес, лежал тихий и смирный, да кто ж его знает! Правильнее всего было бы разойтись по домам, но это показалось очень обидным: не маленькие же мы, в самом деле, в Петербурге не отыскать приятеля.

Кто-то заметил в верхнем этаже красные корнетовские занавески. И, ободрившись, решили ломиться во второй номер. Впрочем, зачем и ломиться? — звонка не было, а дверь не заперта, — и оставалось только приоткрыть дверь, что мы и сделали.

И попали во тьму кромешную.

Черепов, начальник собачьей команды (и такие существуют) наш поводырь, изо всех самый находчивый, зажег спичку. И со всякими предосторожностями мы двинулись по кривой промерзшей лестнице, которая и привела нас к искомой двери. (Тут, господа, помянешь и математику.)

Спичка догорела, а новую зажигать поскупились. Кто-то впотьмах нащупал кнопку. И звонили мы поочередно, во сколько рук, уж не знаю, а отклика все нет и не было. Разорились еще на спичку, проверить.

Нет, не ошиблись: на двери висела корнетовская карточка — «отставной путейский ревизор и проч.». И тут же под карточкой клочок бумажки: «позвоните и стучите». Конечно, потому и отклику нам не было.

И принялись же мы дубасить, ой! не щадя ни двери, ни кулаков.

А этого-то только и требовалось. На лестнице зажглась лампочка. И сверх всякого ожидания никто нас, как бывало, через цепочку не опрашивал, а и без всяких опросов на всю половину растворилась перед нами дверь. И не Ивановна, старуха, новая молодая впустила нас, Акулина.

Но это еще не все. Поднявшись еще по ступенькам, мы прошли темным погребом, как после разъяснил нам хозяин, и тогда уж попали в узенькую прихожую, такую узенькую с окном, занимавшим большую половину наружной стены, и лестницей вверх к стеклянной двери не то на балкон, не то в какой другой погреб. В простенке между окном и дверью висело зеркало, а против зеркала у самой лестницы старая знакомая, совсем разбитая вешалка. И хоть бы завалящая калоша, — пусто. Для безопаски, что ли, ожидая гостей, припрятал хозяин и шубу, и шапку, и калоши, или от сырости для сохранности? Под окном стояла целая лужа и с двери текло.

Разместив шубы на перилах лестницы и прихорошившись перед зеркалом, мы приготовились вступить в Корнетовские палаты. Сам хозяин раскрыть нам дверь. Но тут и шага не сделав, все мы попадали, кланяясь земно: оказалось, приступки вниз, о которых чудак не предупредил.

— Чертячья комната... на птичьих правах... чертог златой! — оправдывался хозяин, отряхивая нас, палых, и вводя в свой чертог златой или чертячью комнату, такую же неподобную, как прежняя ледяная его избушка на Кавалергардской.

И пока подходили новые гости, как и мы, колесившие по всему Петербургу и проделывающие все, что и мы, до падения на приступках, хозяин занял нас диковинками.

Где-то за книжной полкой, между печкой и «философией», жил у Александра Александровича самый настоящий живой сверчок, какие водятся в банях. Тут же, на полке, сверчку стояло пойло в стаканчике. Сверчок пел только в холода, а в тепло спал.

И все мы тихонько по примеру хозяина подходили к полке и старались не дышать, чтобы сверчка послушать. Что-то будто и пищало, но кто ж его разберет: сверчок это или гвоздик.

— Сверчок спит! — объявил нам хозяин и посвистел сам по-сверчиному, вот так!

Сверчок не откликнулся.

Должно быть, сверчок и вправду спал. Еще бы, от одних наших папирос, а курили больше египетские, стояло угарное облако.

По переезде с Кавалергардской Александр Александрович шестнадцать дней жил без дров и за это время, претерпевая осеннюю холодину, сжег немало стульев и все, какие были, иллюстрированные журналы от «Нивы» до «Огонька»: очень боялся, что сверчок замерзнет.

Расхвалив своего любимца, как он поет, и как никогда с ним не соскучишься и в самую скучную пору, Александр Александрович взялся за другое: он отодвинул письменный стол и, отдернув красную парчовую занавеску, пригласил заглянуть в окно.

И все мы, заходя гуськом, прикладывались к холодному запотелому стеклу, но за морозом разглядеть ничего не могли, кроме лестницы, торчавшей под самое окно.

А ведь посмотреть-то было что: на дворе, в конце сада, среди берез стояла стеклянная избушка, а в избушке жила Баба-Яга.

— Питается березовыми дровами! — толковал Александр Александрович, описывая с подробностями образ жизни своей не совсем-то приятной соседки.

Покончив с Ягой, хозяин собирался было показать нам и еще одну диковинку — своего мышонка: всякое утро выходит к нему из норки маленький такой, горбатенький мыш, садится на подоконник и, объедая замазку, поет. Но пришлось мыша не беспокоить. Уж подходил час вечеровочным крещенским разговорам, уж слышно было, как самовар заводил свою самоварную полную песню, пора было гостей просить в пировые палаты.

И скоро на хозяйский зов мы вышли через тесный коридорчик из холодной чертячьей комнаты в теплую столовую.

II

В пировых палатах была такая жара, как когда-то на Кавалергардской в ледяной избушке, и стол был накрыт,

как когда-то белой скатертью, по краям расшитой красными орлами, только не столько стояло сластей домашних.

Полагалось в первую голову обнести гостей самодельной варенухой, на косточках настоенной, а ее-то, чудодейственной, как раз и не было. Еще до праздников приятель обещал достать через лазарет и достал бутылку и уже нес, да, говорит, поскользнулся, выронил портфель и все вино пропало.

Бедновато было и вареньем, так малина какая-то засахаренная. И тоже приятель обещал и уж вез целую банку поляники вологодской, да, говорит, на трамвай как садиться, и кокнул, и все варенье пропало.

И одна лишь пастила оболенская украшала стол. Но и тут хозяин сплошал: расхваливая ее — а и в самом деле, удивительная пастила! — как свою домашнюю, собственноручно приготовленную, позабыл с коробок оболенские наклейки содрать. Ну, была еще початая банка с вразумительною надписью: «пчелиный мед протопопа Прокопова». А то так, всякий ералаш и всего понемножку.

Конечно, мудрено теперь таким, как Александр Александрович, пиры задавать: насчет поставок он не мастер, в банковом деле тоже не очень понятлив, на олове, говорят, большие деньги нажить можно, не пробовал. И то удивительно, как еще жил и был он на белом свете со своей ни на что ненужной глаголицей!

Ну, что делать, нет варенухи и не надобно, — и принялись гости за чай.

Слава Богу, что еще сахар-то есть и не мелкий (песок), а настоящий колотый.

Кому же и с чего начать вечеровочный разговор — страшные крещенские рассказы?

Начальник собачьей команды, человек бывалый, на страхах съевший собаку, знал по преимуществу о всяких зверствах, но благоразумно воздержался: все истории его давно уж попали в газеты и потеряли всякую веру. Молчаливый господинчик, довольно-таки диковатого вида, стеснявшийся своего имени и отчества, а его звали Карл Карлович, угрюмо держал что-то наготове, кажется, что-то про войну, о каких-то своих предчувствиях, выдуманных задним числом, но первым выступать не решался. Наш многострадальный, знаменитый старец Иоанн Электричес-

кий, носивший для плотского ободрения электрический пояс, и, разжигаемый страстным бесом, блудоборствуя, сидел насупившись, ибо не было ни одной дамы. Сосед его и приятель, дамский доктор сириец, известный аскет, как сам рекомендовал себя доктор и кстати и некстати, с неизменным французским ключом, висящим сбоку из брючного кармана (про этот самый ключ выражались очень не аскетично), мог бы, конечно, один занять весь вечер рассказами из своей практики, но тоже чего-то помалкивал. Инженер-корабельщик, строитель подводных лодок, — Змий запоем курил свою египетскую, Литератор Зерефер (псевдоним), нашедший свою линию в чертовщине, ибо, как и сам он признавался, описание чертячьих деяний ему нипочем давалось, грелся у накаленной железной печки, должно быть, отогреваясь за все студеные голодные месяцы (на чертях, брат, нынче не больно-то выедешь!) и безжалостно поедая пастилу. Другие гости старались около чаю.

— Александр Александрович, да как же это вы покинули вашу Кавалергардскую? — спросил кто-то.

И вот вместо страшных рассказов начал сам хозяин о своем переселении и этим положил начал вечеровочным разговорам.

Александр Александрович нынче летом уезжал из Петербурга лечиться и, когда вернулся, квартиру его кавалергардскую уже сдали. Сроку до окончания контракта оставалось неделя, за эту неделю он и должен был отыскать себе новое жилище. Он и вышел на поиски, очень-то не жалея о старом гнезде своем, где с начала года перестали топить и ледяная его избушка, когда-то такая, как баня, горячая, обратилась и впрямь в ледяную. Но случилось и совсем не ко времени: лазая по лестницам, натрудился и слег, и о переезде нечего было и думать. Новые жильцы, которым доставалась его лубяная и ледяная избушка и купель, и поварня, слышал он, люди душевные и сердечные, а ведь это в волчий наш век большая редкость, и потому лежал спокойно: такие его не прогонят. И письмо написал им и еще больше уверился: не тронут его, дадут вылежаться! А вышло-то, совсем наоборот: погнали! Сами-

то, жильцы эти, в которых он так уверился, не пошли на такое, а послали знакомого своего: третьему в таком деле куда способнее и совсем нечувствительно.

— Как сейчас помню, — рассказывал Александр Александрович, — пятница была, лежу я спокойно, думаю, недельку пролежу еще, а там и действовать. И вдруг звонок. Ивановна говорит, какой-то барин спрашивает, словно бы из шоферов, о квартире поговорить лично. Ну, я кое-как оделся — какой-такой шофер? — и вышел. Оказывается, это от новых-то жильцов с поручением и совсем не шофер. «Очистить, говорит, квартиру к воскресенью, привезут мебель!» Я на дыбы: «Как же так, говорю, ведь, я болен, мне лежать надо, да и поставить некуда!» Вы помните мои те две избушки, сами посудите, куда же там поместить мебель? Да и хорошо говорить «поместить мебель!» — да ведь, когда вносить-то будут, двери небось настежь, тут и здоровый-то захворает. «Нет, говорю, нельзя ли подождать денька три, может поправлюсь, мне и деваться-то некуда!» А он мне на это: «А им тоже деваться некуда, они уж и лошадей наняли на воскресенье мебель перевозить!» Ну, что поделаешь, выходит, что правы: ведь и лошадей наняли!

И зá два дня решилась судьба быть Александру Александровичу за Карповкой.

Ивановна-старуха пошла искать квартиру. Долго пропадала и нашла. А он за добро принялся, — не полежишь уж! Как искала старуха квартиру и как он с добром управлялся, напихивая ящики, один Бог знает. Только, когда в воскресенье они переезжали, встречные смотрели на них, как на беглецов, вырвавшихся из самого опасного места с войны, спасаясь от зверств немецких.

Новая квартира оказалась не готовой еще и жить в такой невозможно. Ивановна старуха попросила расчет: ей и далеко от старых мест, и скучно. Так и остался один. Целую неделю, пока мазали и красили, скитался он по Петербургу.

— Господи, чего только я за это время не навидался, за эту неделю бесприютную! Тычусь от дома к дому, приятелей-то никаких не сыщешь, куда еще постучаться, не пустят ли ночь переночевать? Ну, это я сам тут по болезни моей путал. А, вы знаете, те жильцы, которые меня выгнали, очистить к воскресенью квартиру-то тре-

бовали, оказывается, и не подумали в воскресенье въезжать, хоть и лошадей наняли, а въехали только в четверг.

— Вот, то же с моей женой было, — сказал инженер, строитель подводных лодок, — на Михайлов день вышла история.

— Катастрофа? — отозвался Карл Карлович.

— Вроде.

— Ну, расскажите! — Александр Александрович одобрительно кивал инженеру.

— Дожидалась она трамвая. Знаете, у Летнего сада мостик, там очень узкое место. А уж темно было, и такой ветер с дождем. Слякоть. И когда она так стояла, наехал извозчик и от удара, ей показалось, в висок, она упала. А очнулась, когда уж ее подняли. А подняли ее какие-то рабочие и солдат. «Нет, — кричали рабочие на извозчика, — ты так не отвертишься!» Извозчик оправдывался: «Я кричу, а чего же она лезет!» И она увидела старика-извозчика и седоков: лица их показались ей ужасными. «Мы кричали: берегись! берегись!» — выгораживались седоки. Кое-как подошла она к извозчику, нагнулась номер разобрать, и громко прочитала. Извозчик уехал. А когда она обернулась, тех рабочих уже не было, только один солдат. «Я бы помог вам, — сказал солдат, — да завтра на позиции еду!» И тоже пошел. Так и осталась одна. «Идите, вон там городовой!» — сказал кто-то. А ей, да она едва на ногах держится, куда ей городового искать, и страшно перейти через улицу, и больно все, и липкое что-то, это кровь, хлынувшая тогда горлом, липкая мазала губы. Конечно, нанять бы ей извозчика! Но самой ей совсем невозможно, где там извозчик? Тут подъехал трамвай и на счастье не очень набитый. Влезть она влезла, прошла в вагон. Народ стоит. И она стала сзади. «Что вы! Вы меня пачкаете!» И кто-то толкнул ее. И она увидела барыню и хотела ей что-то сказать много и сказала: «Вы тоже не бессмертная, это меня извозчик». — «А мне какое дело? Посмотрите на мои перчатки!» В вагоне поднялся хохот. Но она ничего не видела, только белые в крови перчатки. И тут произошла безобразная сцена: пассажиры начали ее выгонять из вагона. А уж у нее больше и слов не было никаких, да и что скажешь? Кондукторша повела ее на площадку. И никого не нашлось в целом вагоне, кто бы заступился. Нет, хуже, вдогонку еще смеялись.

Кондукторша поставила ее на переднюю площадку. Там и простояла она до последней остановки. И уж дома два часа молчала, не могла сказать слова... Но, вы понимаете, в целом вагоне не нашлось ни одного человека.

— Выделяться никому не хотелось! — сказал дамский доктор с ключом.

Акулина подала новый самовар и перемытые чашки и пошла спать.

Хозяин суетился, заваривая чай по-особенному, чтобы и крепость была и дух чайный, высчитывал точно минуты, сколько чайнику на конфорке стоять.

— Бедная наша Россия! — сказал кто-то из молчавших.

— Бедная Россия! Твоя бессчастная доля, кто ее оденет и обогреет? Или и в век суждено ей такой быть? Родина моя, или уж твой конец пришел, — не от врага, а от твоей же рваной забитой доли? — Зерефер стоял у печки, сам как доля.

— Только у нас и могут допустить такую мерзость! — сказал электрический старец.

— А я бы каждого там по морде! — отозвался начальник собачьей команды.

III

Нет, и за новым самоваром не ладились страшные крещенские рассказы и даже чай, каким мог угостить один только Александр Александрович, постигший чайную тайну, не располагал.

Старец Иоанн Электрический попробовал было рассказать историю из книги, над которой трудился последние годы, нечто вроде русского Декамерона под названием Нил Мироточивый, «О некоем отроке, путешествующем на Святую гору», и выходило чудесного немало, но ничего страшного.

— Постойте, господа, сейчас ровно полночь, к Акулине пришел зять! — и хозяин предложил гостям пройти в чертячью комнату, а из чертячьей в прихожую и там подняться по той лестнице, на которой разместились наши шубы.

Акулина спала наверху в темной комнате.

Акулина Люлина, заменившая у Александра Александровича старуху Ивановну, пришла в дом наниматься от

Ивановны, с которой водила дружбу ее тетка, известная тем, что, стоило ей где переночевать, и оттуда обязательно уходили все тараканы и клопы. Прошлой зимой у Акулины умерла сестра, а нынче летом зять. Оба покойника не затвердели, а лежали в гробу мягкие, как живые, — верная примета, что в семье будет еще и третий покойник. А кому же и быть этим третьим? Никому, как самой Акулине. И вот она дожидала себе смерти. Вечерами она усаживалась на теплую плиту и часами так сидела — в таком положении не раз заставал ее Александр Александрович, — сидела, должно быть, в смертной думе. А всякую ночь приходил к ней зять с того света, корил ее, что плохие туфли ему надела, и наказывал, когда она к нему приедет, чтобы захватила с собой крепкие...

— Так вот, господа, зять уж сидит! — объявил хозяин.

И все мы на цыпочках потянулись из холодной прихожей по лестнице к стеклянной двери: впереди дамский доктор с ключом — ему для науки это очень годится! — а за доктором, кто посмелее.

Зять-мертвяк, должно быть, и вправду сидел у Акулины, это чувствовалось. Только не слышно было, что он говорил ей, о чем рассказывал, о чем-то светном, о каких чудесах, или жаловался? Вот туфли-то плохие положила она ему, сносил уж... и там, стало быть, не в каретах разъезжают, а, может, и холод такой же и беда такая же?

И вдруг все мы ясно услышали:

— Привези мне говядины, — говорила Акулина, — филейную часть. Барин-то всякий день блинчики, блинчиками питается. Филейную часть!

И словно бы поцеловались: что-то чмокнуло.

А мы, как что стоял, так и застыли.

И слышно было, как там заскрипели полозья.

— Уехал! — прошептал хозяин.

И опять на цыпочках потянулись мы с лестницы от стеклянной двери в прихожую, чтобы, при свете разобрав свои шубы, откланяться с хозяином и по домам.

Зерефер дрожал в холодной прихожей:

«Бедная Россия! Твоя рваная забитая доля!» — кутался он в тряпье сам, как доля.

А не гораздо нынче, други, на белом свете!

1915 г.

ИСАИЧ

I

Рассказать ли вам о страннике Евгении, ходившем по Петербургу под видом немого, и как заговорил он чудесным образом, или о Зиновии Исаевиче, добром и неизменном соседе нашем? Нет, лучше я расскажу вам про Зиновия Исаевича.

Какие у Зиновия Исаевича дети чудесные, если бы только вы их видели: Ляля, Буба и Капочка! Ляля самая внимательная и все рисует розовые картинки, Буба самая умная и говорит басом, а Капочка самая говорливая и веселая. И все они очень ласковые и приветливые — чудесные. Встретишь другой раз в праздник на Каменноостровском — идут с Зиновием Исаевичем — так тебе чего-то обрадуются и так затормошат совсем.

А как хорош сам Зиновий Исаевич, когда он так важно шествует с своими любимыми, как птички, щебетуньями.

— Папочка, папочка! Папочка, посмотри, папочка, обернись! — сквозь и самые гудки автомобильные услышите.

И все останавливаются. И всем они улыбаются и всякому кланяются. А упадет кто — долго ль до греха, подвернется нога и на гладком месте! — не улыбнутся, а сейчас же подымать бросятся. Ну, помощь, какая там, не больно ее много, да от участливости их много бывает, так и ушиб забудешь и синяк пройдет.

Да, хорош с ними Зиновий Исаевич! И без того во всем одно добродушие, а уж тут он, как весеннее солнышко, и черепаховые очки его огромные так и поблескивают.

А когда идет он один, все равно, в наших ли краях Каменноостровских или на Невском, он и один, а все словно улыбается. А потому, должно быть, и улыбается, что как бы плохо и заботливо ему ни было, а забот у него, как у солдата ранец, никогда не забывает он о своих ласковых и неугомонных — о Ляле, о Бубе, о Капочке любимых, у которых такие еще маленькие пальчики и такие слова нежные, и потому еще, что другое, такое же крепкое, как эта любовь, — это мечта о самых невозможных затеях никогда не покидает его.

За наше многолетнее соседство и дружбу сколько на моих глазах пронеслось в душе его и самого волшебного и самого сказочного, тысяча-и-одна-ночного, и самого, ну, как башня вавилонская, такого головоломного, и какие только горы не нагородил он мечтая!

Вот уж поистине, ничего подкопного, никакой ратной прыти, никакого разорительства, одна страсть и один глаз — строить.

Зайдешь, бывало, к нему вечером, сидит, нагнувшись над планами.

— Что это вы, Зиновий Исаевич, над чем это?

— Хочу Петербург застроить.

— Где такое?

— А вот тут: посмотрите, место пустое.

— А и в самом деле, место пустое, а почему, неизвестно: народ бьется с квартирами, а под боком пустырь! А вот он дознался и, уж мечтая, в воображении своем, укрепил и застроил пустырь и сам там живет, в собственном своем доме, и с ним его Ляля, Буба и Капочка.

Или одно время театр какой-то выдумывал общедоступный, где со всех мест одинаково видно и слышно, а вмещает весь Петербург.

Но скажу вам, все затеи его так при нем и оставались или попадут какому, и тот уже орудует, как над своим, ему принадлежащим. И годами тянет Зиновий Исаевич свою службу, где на его долю так мало приходится самого исконного его и любимого — затеи затеивать головоломные.

Про Зиновия Исаевича идет молва, как о путанике, будто он первый и есть путаник, и это ему ставят в вину. Но это вовсе не так, ну, посудите сами, ну, как другой раз и не перепутать чего, когда в голову такое лезет и, как видите, размах! Зиновий Исаевич не путаник, а художник и дело его — выдумывать, а его заставляют делать, и правда, выходит иногда не совсем.

И за то на него сердятся. Впрочем, скоро и мирятся.

А сам он ничего не замышляет, — ну, нешто может быть что-нибудь злое в его затеях! — и злой памяти не держит.

Конечно, такой уж человек родится, такой незапамятливости, совсем наоборот. А пришлось ему победовать

немало — с первых же дней своих он увидел ее прямо в лицо, да такую жестокую и немилостивую, бедовую, какая только одна она в мире и есть, беда.

Скажу для примера, в детстве жил он в Бассейне. Не с рыбами, конечно. Знаете, как на Фонтанке, такой красный Бассейн кирпичный: с одной стороны воду берут, с другой лошадей поят, — так вот в таком Бассейне он и вырос. Наверху бак с водой, а под баком комната, это их комната, а была их семья немаленькая: отец, мать, три сестры да еще два брата. Отец сидел в окошечке, за воду получал. И нередко бак переполнялся и их заливало, и это можно было ожидать во всякую пору — в самую стужу и ночью. Так и жили. Но это еще не так страшно, — притерпелись! — было и пострашнее: между баком и их комнатой жила огромная страшная крыса. И эта крыса от них же и питалась, хозяйничала, как у себя, в их нищем добре, объедала последнее, она была все, и Бассейн был ее, и не было никакого средства от нее отделаться. Вот и подумайте!

У Зиновия Исаевича душа умиренная. Да и Марья Константиновна женщина добрая и терпеливая. И если есть разница между ними, так только в том, что Зиновий Исаевич говорит не быстро и как-то застенчиво, а Мария Константиновна может и даже очень часто, и еще в том, что Зиновий Исаевич, вырвавшись из Бассейна и прогрессируя, как он сам выражался, до Петербурга, укрепился и ни на что не жаловался, а Марья Константиновна с заботами домашними нет-нет да и прихворнет.

А в доме у них всегда полно.

Я не знаю, когда бы у Зиновия Исаевича кто-нибудь не гостил или, по крайней мере, не ночевал. И скажу про себя, приходилось мне разное видеть, и однажды, очутившись без крова в осеннем петербургском холоде, я вспомнил почему-то именно про Зиновия Исаевича и, хотя час был поздний, решил постучаться к нему. И не ошибся, в тепле положил он меня ночь ночевать с игрушками в теплой детской, где играли днем любимые его — Леля, Буба и Капочка. Хлеба другой раз не достанешь — в воскресенье в наших краях особенно с хлебом горе! — Зиновий Исаевич выручит, вот тоже с дровами мучились, ни полена не было, принес вязанку, и спирту для машинки

прислал, и папирос, дал бы и денег, да у самого не густо. А будь у него деньги, я бы попросил и нисколько не раздумывал бы, — а вы знаете, что значит просить, когда нет ничего?

Вот какой Зиновий Исаевич или попросту Исаич, как называли его за его доброе сердце и незлобливое простые люди, та же Аннушка-Ноздря, Саша-рябая и Наташа нянька, — сосед наш, как-то так ухитрявшийся и совсем без всякого сговора либо селиться в одном доме с нами, либо на той же самой улице по соседству.

II

Мы жили так: рядом с нами на одной площадке Михаил Семенович, шурин Зиновия Исаевича, а окнами выходила наша квартира в окна Зиновия Исаевича. И мне все было видно. И, бывало, знаю, когда Зиновий Исаевич поднялся, когда домой со службы пришел и когда спать ложится.

И как бы поздно он ни засиживался, с планами ли своими головоломными, с гостями ли приятелями, встанет всегда вовремя и притом в час ранний: это ребятишки его подымут — Ляля тормошит, Капочка уже брюки тащит, Буба с ботинками.

— Вставай, папа, вставай! — и такое подымут, встанешь.

И, как ни хочется поваляться, встанет и уж сам в возню встренет.

А в столовой самовар кипит, и бабушка Ольга Ивановна, первая отчаявшись, около самовара раскладывает пасьянс на день грядущий.

— Чай пить, папа, иди скорей! — и одеться не дали, да так и потащат в столовую.

Со службы приходит Зиновий Исаевич, когда попозднее, когда пораньше, неодинаково, и обедать. А после обеда самовар. И нарядится он в свой чесунчовый пиджак белый, и до тех самых пор, пока спать ребятишек укладывать, возится с ними и разговаривает. Отдохнуть после обеда никогда не приходится, но он и не ропщет: с ребятами с своими повозиться, да лучше ему всякого отдыха. А когда все по кроваткам разойдутся, присядет он к столу за свои планы, курит и мечтает, и как мечтает! Ей-Богу,

с Зиновием Исаевичем, если по его планам ходить, Сахару пустыню хлебом засеешь и на самый Гималай взберешься.

А тут, глядишь, и гости. Уж редкий вечер, чтобы у них в доме гостей не было. А Михаил Семенович уж обязательно.

Михаил Семенович, что Зиновий Исаевич, круглый год по вечерам в чесунчовый пиджак белый наряжается, а повелось это, должно быть, от теплой квартиры и вошло у обоих в привычку. Михаил Семенович открывает вечер. И при нем Зиновий Исаевич мечтает вслух.

Зиновий Исаевич весь пошел вширь, а Михаил Семенович — в длину. Михаил Семенович ходит по комнате, а Зиновий Исаевич сидит, и тень Зиновия Исаевича все силится добраться до тени приятеля, а достигнуть никак не может и разрывается на два длинных, длинных крыла и, как черная птица, парит — Зиновий Исаевич мечтает вслух.

Один год Марья Константиновна жила с детьми в Швейцарии. И это было очень тяжело для всех. Но Зиновий Исаевич мне объяснил, что так полагается, чтобы дети хоть один год побыли за границей. И я понял, я вспомнил о Бассейне, где прошло его детство, о крысе, которая хозяйничала в этом холодном Бассейне, я понял, чего хочет Зиновий Исаевич и, хотя, по правде, и совсем не надо было таскать детей так далеко, а ему самому без них изводиться, я понял и со всем примирился.

В тот год широкая тень Зиновия Исаевича, я это хорошо помню, должно быть, в разгар его большой мечты и затей невозможных вдруг достигала недосягаемой тени Михаила Семеновича. В тот сиротливый год частенько заходил он ко мне вечерами посидеть за самоваром.

— Скучно вам, Зиновий Исаевич, без ваших-то?

— Как полагается, скучаю.

И это говорил Зиновий Исаевич не как всегда, совсем не застенчиво, а как-то гордо: еще бы, и нечто сам он там, в Бассейне-то крысином, мог когда не то, чтобы подумать, а и во сне увидеть о какой-то загранице, а вот детей своих в Швейцарии устроил, чуть не в Монтрё!

Прошла весна, и лето, и осень; пришла зима, и вернулись.

То-то была радость!

А какими нарядными они вернулись и такими, ну, так бы все время с ними и возился и разговаривал, — Ляля, Буба и Капочка. И несчастная Саша-рябая, которую тоже в Швейцарию таскали за няньку, и Саша-рябая, нипочем не узнать, ну стала, как Катька.

И опять все пошло по-старому: рано утром Зиновия Исаевича подымали, после обеда на нем верхом катались, а вечером он мечтал.

И какой случай вышел... А случилось это на Спиридона-поворота, когда ребятишки уж о елке завели свои елочные любимые разговоры, а Зиновий Исаевич принялся для них выдумывать всякие игрушки, а Марья Константиновна хлопотала загодя, чтобы на праздниках все было хорошо в доме и принять гостей было чем.

Вечером, помню, я сидел долго — и у меня тоже была страда предпраздничная — а лег и совсем под утро и что, помню, меня тогда поразило, это свет у Зиновия Исаевича. А еще никогда такого не бывало, чтобы меня Зиновий Исаевич пересидел хоть раз. Пробовал я в бинокль смотреть, да ничего не разберу: и окна замерзли и шторы мешают, — и одно чувствую, что там не спят, какое-то движение чувствую. Постучаться к Михаилу Семеновичу? А если ничего такого не случилось и зря взбужу, — неловко. Потушил свет, да так и лег.

А наутро забежала к нам через Михаила Семеновича их Аннушка что-то по хозяйству, за горчицей что ли, и слышу, на кухне Исаича поминают.

Я на кухню.

— Что такое?

— А наш барин чуть было не помер.

— Что вы говорите!

— Ой, и намучились мы с ним, до сих пор руки болят.

— Да в чем дело?

— Ни сесть им, ни стать!

В тот роковой вечер Зиновий Исаевич вернулся со службы много позже всегдашнего, детей уж спать уложили. На воле стоял мороз — солнце на лето, а зима на мороз! — а в мороз да с голодухи, сами знаете, ни потчевать, ни приневоливать нечего. Съел Зиновий Исаевич щей тарелку горячих с грудинкой. А на второе котлеты. И надо сказать, кроме

мороза, кроме того, что проголодался, в тот день Зиновию Исаевичу очень в делах повезло, и одна из затей его вот-вот готова была осуществиться. И показались ему эти котлеты такими вкусными, как никогда еще, и горошек таким сладким, поперчил, и не заметил, как съел все, что было, а было целое блюдо — котлеты с горошком.

После обеда, как полагается, самовар. Выпить стакан крепкого горячего чаю хорошо после обеда! Зиновий Исаевич закурил и налил еще стакан, но тут-то и произошло: не сделав и глотка, почувствовал он, как что-то остановилось, и дышать ему от боли нечем. И единственное, на что хватило, через силу сказал он:

— Подавился!

И попробовал сам поколотить себя по шее. И ничего не помогло: боль та же.

Схватилась Марья Константиновна, скорей за Михаилом Семеновичем.

— Зиновий Исаевич котлетой подавился!

— Зиновий Исаевич котлетой подавился! — пронеслось по дому.

Прибежал Михаил Семенович. И с Марьей Константиновной, не разбираясь, в четыре кулака ну его по шее — косточку выбивать. Но и четыре кулака не помогают: боль нестерпимая, уж он кричит, и нет ему и самого малого отдыха, нестерпимая!

Тут все, кто только был, живая душа, и бабушка Ольга Ивановна, и Наталья Константиновна, и Софья Константиновна, и Михаил Константинович, Софья Исаевна, и Аннушка, и Саша, и Катька, и Наташа нянька — «Исаич костью подавился!» — все, как могли, по усердию, и не один раз, приложили кулак — по шее несчастного.

А проку нет: все сорвал с себя и хоть в дугу согнись, и так распирает, у! — распирает его и душит.

Михаил Семенович, как последнее, засунул ему палец в рот, а от пальца, должно быть, еще больнее стало: не палец, там внутри где-то словно кулаком повернул кто-то.

И он закричал наголову.

Дети проснулись.

И понял Зиновий Исаевич, что это конец. И ничего не вспомнил, ни о каких своих затеях, ничего, и ничего ему не надо, пусть лучше уж конец, только поскорее бы,

или пусть его отравят, только бы поскорее. И неужели ни в ком нет жалости: как он мучается, и его не отравят?

И он заплакал, как плакал когда-то очень давно, еще в Бассейне.

Дети проснулись.

И на минуту боль как будто отпустила.

Детей подвели к нему — Лялю, Бубу, Капочку. Его Лялю, его Бобу, его Капочку. И неужели он их никогда не увидит?

И опять там внутри словно кулаком повернул кто-то. И он, катаясь по полу, кричал, на весь дом кричал, и просил и умолял ради Бога спасти его.

На столе в соседней комнате у них телефон и, конечно, следовало бы позвонить к доктору, ну, хоть к Александру Марковичу, который лечил детей, но, как это часто бывает от растерянности все позабыли. Впрочем, скажу, ничего и не потеряли: если очень надо, доктора у нас никогда не дозовешься.

И без всякого доктора решили везти в больницу. Слава Богу, недалеко. И как был, накинули ему шубу и на извозчика. Мороз крепчал — солнце на лето, зима на мороз! — а он ничего не чувствовал, никакого мороза, одно — одну боль — и уж хоть бы конец скорее!

И когда в больнице Михаил Семенович рассказал доктору о котлетах — косточкой подавился! — и о чае, — хорошо после обеда выпить стакан крепкого горячего чаю! — словом, все по порядку, от кулаков до пальца, доктор, осмотрев больного, шприцем чего-то ему под кожу вспрыснул и велел: когда привезете домой, ванну горячую, а хорошо и горчичник.

— От печени горчичник очень помогает!

И оттого ли, что доктор ему чего-то вспрыснул, от морфия что ли, боль понемногу затихла, и уж сонного привезли Зиновия Исаевича домой. И сейчас же ванну — хорошо, такой еще дом с горячей водой — один кипяток. И пока держали его в ванне — и как это терпел несчастный! — в доме кипела работа: все, кто только был, живая душа, и бабушка Ольга Ивановна, и Наталья Константиновна и Софья Константиновна, и Михаил Константинович, Софья Исаевна, и Аннушка, и Саша, и Катька и Наташа

нянька и, конечно, Михаил Семенович, старались над горчичниками, выкраивая самые разнообразные, чтобы, как из ванны выйдет, так ему прямо на распаренное, всего и обложить.

— От печени горчичник очень помогает!

И обложили.

И хоть бы на смех этакое местечко порожним оставили, нет, все, и даже к пяткам, и на пальцы вроде каких-то перчаток понаделать умудрились.

И опять на весь дом крик.

Легко сказать, потерпеть, а ты сам попробуй-ка, да еще после ванны! И стал он с себя их срывать. Сорвет, а ему свежий поставят. И много мучили пользы ради. Ну, а как срок вышел, главные-то поснимали, одну мелочь оставили, он и затих.

«Ни сесть им, ни стать!» — вспомнил я слова Аннушки и хотел, выждав час, пройти навестить Исаича.

Что-то задержало меня. Не помню, зачем-то я должен был непременно выйти из дому, и вернулся лишь вечером.

И вот стук в дверь.

Неужто это он? — только один Зиновий Исаевич ко мне не звонил, а всегда стучал, — так и есть! В чесунчовом пиджаке белом, как полагалось вечерами, только с палочкой стоял сам Зиновий Исаевич.

— Еще слава Богу, природой Бог меня наградил, облез бы до мяса! — и он подал мне свою красную от горчичника, крепкую волосатую руку.

III

Странник Евгений, о котором я поминал уж, ходивший по Петербургу под видом немого, как раз об эту пору жил с нами.

Бывало, и самый простой разговор с ним сущая мука, ходил он с блокнотом, спросишь о чем, и сейчас за карандаш, скоренько на блокноте напишет и обязательно тебе еще вопрос какой, и так без конца. И только потому, что я любил его, я без всякого сердца терпел его затею — не отвечать по-человечьи, а писать, будто немой.

С постной ли пищи, либо еще отчего это бывает, весь Филиппов пост он постился, а в сочельник до звезды и ничего не ел, а как звезда показалась, грибок там какой-то

откусил перед кутьей, его и сдавило, да так, хоть в дугу согнись.

Я к Михаилу Семеновичу.

— Со странником, — говорю, — как с Зиновием Исаевичем.

— Подавился?

— Как с Зиновием Исаевичем.

Да скорее назад к себе, кое-как раздел, уложил больного в кровать, не знаю, что делать: под Рождество какой уж там доктор, извозчика до больницы не найти.

И что же вы думаете, не успел я ничего хорошенько сообразить, слышу шаги — дверь-то я так незапертой и оставил — я в прихожую, а там Михаил Семенович и Зиновий Исаевич, оба в вечернем белом наряде в чесунчовом, рукава засучены и вид необыкновенный, теперь я сказал бы, просто зверский.

— Косточку выколачивали? — набросились они на меня, и хоть и говорили шепотом, но очень решительно.

— Какую косточку?

— Как какую! Обязательно поколотить надо хорошенько.

И в то же время я увидел, как через приотворенную дверь просунулась Саша-рябая, а за ней еще кто-то, а там еще кто-то. И тот случай с Зиновием Исаевичем недавний вдруг ожил передо мной до горчичников, от которых облез бы до мяса сам Зиновий Исаевич, не отпусти ему Бог природы — густых волос и крепких, и не страшно стало за моего немого странника.

1915 г.

ПУПОЧЕК

Жил я в большой тесноте, снимал комнату от хозяйки.

Придешь, бывало, со службы, сидишь так, что-нибудь читаешь. А жил по соседству со мной мальчик с матерью.

Мальчика Юрием звали.

Трудно им было — все тех же денег не было! — перебивались так, кое-чем. Подумаешь, подумаешь, бывало, а как помочь, и не знаешь. Место бы ей там какое, занятие

достать, чтобы, хоть какое, да жалованье шло. Да откуда его возьмешь, место-то! Я должность занимал маленькую, ну, кто бы меня послушал, сунься я с человеком, да самое лучшее, всякий меня на смех поднял бы, а в худшем случае... впрочем, это совсем не важно. Жалко мне было очень мальчика.

А он, бывало, в дверь постучит ко мне, кулачки такие маленькие. Ну, и пущу его, разговариваем, конфет ему давал. А он всего никогда не съест, матери снесет, Соне, тоже и мать угостит, — Соней звал мальчик мать свою, — и ей перепадет немножко. Мальчик тоненький такой, шейка — ниточка, и ничего-то почти не ел, мать все, бывало, жалуется.

Юрием звали мальчика, а мы его — нас у хозяйки немало жильцов было, мы все его, бывало, Василием Васильичем.

Жил с нами такой учитель Василий Васильич, чудак такой, и этот вот мальчик Юрий чем-то удивительно на этого учителя похож был: юркий, быстрый, носик торчит, а главное, говорил скоро очень. И, как нарочно, с учителем были они большие враги: учитель понять ничего не мог, что тот ему говорил, и сердился, а тот ему набор слов всякий говорил, и так скоро очень, как сам учитель свой не-набор говорил.

Со смеху помрешь, когда между ними этот разговор начинается, ну, ничего-то понять невозможно.

Как-то пришел ко мне мальчик.

Я ему и то, и се, шоколадку ему в серебряной бумажке, — очень любил он, чтобы в бумажке шоколадка была, так и загорятся глазенки, — и винную ягоду ему на палочке, и фиников.

Забрал мальчик все в горстку, а я и говорю:

— Знаешь, Василий Васильич, я у тебя твой пупочек съем!

И что же вы думаете, точно случилось вдруг что, чего и словом никаким не подхватишь: смеется, говорит мальчик что-то скоро и очень вот, так вот и расплачется.

— Не ешь ты пупочка, не ешь моего пупочка, не ешь! — насилу-то я разобрал у него.

— Не дашь? — говорю, смеюсь сам.

— Не ешь, не ешь ты моего пупочка! — только это и повторяет одно, ручонками за рубашечку тянет, чудно́.

К матери побежал, и слышно мне, что-то долго говорил ей и скоро очень, и в кроватке опять говорил, и потом долго не засыпал, — много раз вдруг примется говорить и скоро, очень скоро, едва разберешь.

Да и что разбирать, — все о пупочке, что съесть его хотят у него, а он его ни за что не отдаст, пупочек-то, ни за что и никому не отдаст, никогда не отдаст.

Ах, ты, Господи, тут только понял я, отчего так забеспокоился мальчик. Ну, и в голову не придет такое.

И на другой, и на третий день не забывается этот самый пупочек, нет-нет, да и вспомнит о нем мальчик, и опять, как тогда, так весь и заходит: и смеется и вот расплачется, смеется и вдруг заговорит, так заговорит по-своему скоро очень, а из всех скорых слов, из набора слов, из всего все одно, все к одному, чтобы его пупочка не ел я.

— Не буду! Василий Васильич, не буду я, не буду есть твоего пупочка.

А он удивительно как смотрит, глазенки горят, тоненький такой, шейка — ниточка, и хоть и верит, а боится, за кончик блузки держится, значит, боится.

Ах, ты, Господи, западет же такое в душу и уж все мыслишки, какие есть, все мысли у него к одному, к этому стянулись, а это одно, это все — пупочек, и важное такое, все, главное самое, лишиться чего он просто и представить себе не может, что бы такое было, если бы вдруг да лишился: вот я взял бы да и съел его!

И все перевернулось в таком маленьком милом мирке, малом и неправдышнем... Василий Васильич был, например, уверен, что они очень богатые, и в подтверждение, должно быть, этой уверенности показывал мне как-то копейки новенькие — богатство свое.

Что-то, видно, плохо пришлось его матери, на другое место пришлось перебираться, к другой хозяйке, подешевле.

Трудно им было, очень трудно.

Собрались они уезжать, уложились. Все готово, и извозчик ждет, только вещи снести.

Мальчик ко мне, стучит, прощаться со мной.

Ну, я ему на прощанье целую коробку, и всяких там, во всяких бумажках конфет разных. Привык я к нему очень и жалко.

— Прощай, — говорю, — Василий Васильич, вспоминай когда!

А он как-то застеснялся, отступил, отступил к столу да вдруг ручонками, лапочки свои ко мне... да на ухо скоро мне так, понять едва можно:

— Бери, ешь мой пупочек!

Ах, ты, Василий Васильич... «Бери, ешь мой пупочек!» — и так это сказал он, и смех тебя берет и заплачешь. Да знала ли душа твоя, знаешь ли ты, на что тебя твое сердце толкнуло, да ведь ты мне все, все отдать готов был: ведь пупочек-то все, — так ведь? Сердечко колотится, слышу, крохотное, нет, какое! — огромное, не наше! Что же смеяться мне?

— Ну, будь счастлив, когда и вспомни, я-то вспомню, как ты прощался... расти большой, здоровеньким будь, да смотри, не хворай, и кушать надо, не шоколадку одну кушать, а как следует, котлетку, суп, яичко...

Ах, ты, Василий Васильевич... Если бы только Бог послал вам, да Бог пошлет, я верю, — ты ведь готов был мне все отдать, — и придет вам, все у вас и будет, все и должно быть у вас, я верю. Ведь ты знаешь, словом-то твоим, сердцем-то твоим мир весь перевернуть можно! Последнее, единственное и все, все хотел ты отдать... Уж не заплакать ли мне?

1912 г.

ПЕРЧАТКИ

По случаю войны закон Божий отменили...

— Теперь война, уроков закона Божьего не бывает: батюшка больше не ходит!

Так ответила Тоня, когда мать ей замечание сделала, почему закон Божий не учит, и книжка по полу валяется.

Родители Тони держали мастерскую: делали они искусственные ноги и руки. Отец, занятый своей мастерской, за недосугом мало обращал внимания, мать же следила за девочкой и, как женщина набожная, немало была смущена неподобным ответом, но возразить ничего не могла, как не возражала соседу лавочнику, который за все брал втридорога, ссылаясь на военное время.

По случаю войны закон Божий отменили!

Живая и понятливая, черненькая, любила Тоня погулять, для чего и пускалась на всякие выдумки. Летом нынче ей исполнилось десять, и второй год, как училась она в городской школе, и шла хорошо, — понятливая.

Как-то в морозы, о которых у питерцев надолго останется самая баснословная память, Тоня прибежала домой такая оживленная, веселая и в новеньких теплых перчатках.

— Откуда это у тебя, Тонечка?

— На Разъезжей нашла! — отвечала Тоня, и весь вечер ничего не делала, примеряла перчатки.

Мать поверила: редко, конечно, а бывает, находят и деньги, и золото, вон тот же сосед лавочник Пряхин, как-то будучи по делам в Пензе, на базарной площади ночью большущий ящик нашел и с документами, едва до дому дотащил!

Дела в мастерской шли прекрасно, заказов прибывало и хорошо платили, словом, во всем была удача. И с войной они вздохнули, или говоря по-другому, все то, что в обычное время вызывает гадливость и ужас — шпионство, калеченье, убийство и разорение — явилось для них благодеянием.

И Тонина мать благодарила Бога.

А как раз в ту же пору, как раз в морозы пропали перчатки у Тониной подруги Сони: пришла Соня в училище в перчатках, а как уходить домой, хватилась, нет нигде перчаток.

И за это дома досталось Соне.

Соня жила с матерью, отца не было, мать напульсники и набрюшники вязала, этим и жили, и хоть с войной заработок был больше, да все на провизию уходило. По теперешнему времени, знаете, бедному люду хоть волком вой, и этого никогда не поймут имущие и за непонятливость свою — придет срок! — горько попеняют на себя.

Сонина мать этих самых проклятущих перчаток, — ведь, новенькие, сама вязала! — никак не могла забыть Соне.

Прошли морозы и не так уж надобились перчатки — у ребятишек кровка живая, не мы, безлёдья, холода они не очень боятся, сам Холод Холодович их беготни боится! — и с голыми руками проходила бы до весны Соня,

а как она обрадовалась, когда случайно увидела свои перчатки.

— Это мои! Мои! — от радости кричала Соня и тормошила Тоню.

— И не твои, а мои! — отбивалась Тоня.

И как ни уверяла Соня, что перчатки ее, не Тонины, Тоня стояла на своем. Ни уверить, ни доказать Соня не могла, да и невозможно: мало ли перчаток одинаковых, не на одну руку вяжутся, а на тысячи, и фасон один!

Дома рассказала Соня матери.

Ну, мать узнает, та не ошибется, еще бы: своя работа!

И на другой же день, захватив с собой всяких напульсников, связанных из той же самой шерсти и такими же рядами, как и перчатки, отправилась Сонина мать в училище. Там, в раздевальной, вытащила она у Тони из кармана перчатки, сличила — они самые! — и с доказательством в руках прямо к учительнице.

Учительница велела перчатки положить на место. И вызвала к себе Тоню.

— У тебя есть перчатки?

— Есть, — Тоня вдруг покраснела.

— Где ты их взяла?

— Нашла на Разъезжей.

И сколько учительница Тоню ни уговаривала, сколько ни убеждала во всем сознаться, Тоня одно твердила:

— Нашла на Разъезжей.

— Не сознаешься, я скажу твоей матери!

Тоня молчала.

— Я скажу перед всем классом, что ты украла!

И Тоня созналась, — только такая угроза и последняя подействовала, — Тоня созналась: она взяла перчатки у Сони.

— Зачем же ты взяла?

— Понравились.

Перчатки были отобраны у Тони и переданы Соне.

Грустная пошла домой Тоня: уж нет у нее больше ее любимых перчаток!

А вскоре после судилища праведного учительница вызвала к себе Тонину мать и ей все рассказала о Тоне, как взяла Тоня чужие перчатки, и что за девочкой надо присматривать.

Тонина мать не хотела верить, — у Тони свои есть хорошие и еще одни есть, и незачем ей было у других брать! — потом поверила.

Учительнице она ничего не сказала, и отцу не сказала, и Тоню не попрекнула: она вспомнила, что ей еще в начале осени говорила Тоня о законе-то Божьем, и, как женщина набожная, она все поняла и покорилась.

1916 г.

СВЕТ НЕРУКОТВОРЕННЫЙ

I

Шел я от Спаса Колтовского с тесных Колтовских, напоминающих Париж. Думал по дороге себе хлеба купить, да куда ни сунусь в булочную, нипочем не проткнешься: и час был такой, да еще и суббота, а нынче проучены и про запас берут.

Шел я и с пустыми руками, да очень снежно было и скользко, и когда вышел на Каменноостровский, совсем уморился.

Уморились и ребятишки, — тащились ребятишки, как загнанные коньки, врассыпную, плечом ранец поддергивали: видно, не ближний конец и еще до дому — язык высунешь. У остановки трамвая против аптеки перебежали они с тротуара к трамваю, но, сколько ни тянули свои тоненькие руки, трамвай битком набитый ушел. А, должно быть, по пути им немало было таких остановок и все вот так, — нынче, ведь, и большому-то, не всякий воткнется.

Тащились ребятишки куда-то в Новую Деревню, поддергивали плечом ранец. И я за ними. А тут, как Силин мост перешли, за Карповкой вижу сразу перемена: словно бы по уговору бросились они с тротуара.

Неужто опять к остановке?

Порожним, стоя на санях, шагом ехал ломовой, покручивал возжами.

— Подвези, подвези! — кричали ребятишки.

И самый из всех маленький впереди всех уж пригнулся, протягивая к саням тоненькую руку.

Я следил: гадал за них.

«Подвезет? Нет, конечно, нет, хуже: вот возьмет, да возжей... да как возжей хлестнет!» — и от одной мысли мне стало жарко.

Так и есть: назад, как попало, уж бегут ребятишки, и тот, самый маленький, сзади, весь в снегу.

В Новую Деревню поехал ломовой, — попутчик: ну, чтобы подсадить, не велика кладь! Да вы посмотрите едва плетутся, и лица нет, а у других и не от мороза горит лицо.

Не дошли до Песочной — на углу Песочной остановка трамвая — и опять перемена.

— Подвези, подвези! — сорвались ребятишки, бегут за коляской.

Коляска-ландо, пожилая дама с девочкой, а у лакея медали.

«Или не подвезет? — гадаю, — нет, мест в коляске довольно: усядутся».

— Подвези, подвези! — кричали ребятишки.

Дама что-то говорит лакею. Кучер остановил лошадей. И как там, у трамвая, потянулись к коляске тоненькие руки. И я остановился. И опять мне стало жарко: ну, слава Богу! А как они были рады, и девочка в коляске смеется...

Нет, не так, все это не так было: ломовик на этот раз вовсе не хлестнул ребятишек, он только погрозил и погнал лошадь, а дама в коляске, как ни просили, приказала лакею подогнать лошадей, и кучер приостановился, и вот погнал, как ломовик.

Скучные и запаренные плелись ребятишки, — тоненькие руки, как плетки.

В Иоанновском монастыре московским звоном ударили к вечерне.

И я вспомнил про о. Иоанна, — потому ли, что звонили с его могилы, потому ли, что ребятишек он очень любил, и глаза его, как и детей, светили, — я вспомнил, что из детства на всю мою жизнь осталось, и молитву его.

«Пресвятая Богородица, спаси нас!» — просит.

А все то же.

«Пресвятая Богородица, спаси нас!» — и просит и молит.

А и того хуже, хоть пропадай.

«Пресвятая Богородица, спаси нас!» — не просит, не молит, а как требует: ведь, если и Она не услышит, никто не услышит, и конец.

II

Я иду в час гулянья по Каменноостровскому, и из головы не выходит кем-то когда-то сказанное не о нас, не о наших судных днях и такое отчаянное. Громыхает, свистит, шарахает — я слышу в автомобилях, в грузовиках, в трамвае, в дешевой ухарской музыке с катка:

— Тать и паутина!

Я иду по одной стороне и не смею перейти от автомобилей, грузовиков, трамвая. Смотрю — какие! какие лица! — а в ушах визжит:

— Тать и паутина!

И мне представляется и так отчетливо вся эта сутолока — суматошная жизнь насыщенного кровью Петрограда, громыхающего от Лопухинских воздушных мачт завывающей Искровки до голубых минаретов и Троицкого пожарища, и всем существом я чую закон этой правдошной, без сказок и сочинений, человеческой жизни.

Так вот оно, вот эта несчастная капля человечества, высокомерно отгораживающегося от зверя, зверье с человеческими громкими псевдонимами, — именами крестными!

Я спрашиваю:

— Какое же отличие этих человеков от зверей?

— Да одна отлика, — отвечает кто-то тихонько, ко всему претерпевшийся, — они все небритые, а люди, сам видишь!

И вижу, как сквозь сон, — или мне снилось когда-то, — есть в мире среди зверей звери, достигшие человека, — как жуть, какое проклятие человеку во зверях среди братьев зверей и сестер звериц и зверного брата летающего и книжного разумного человечества!

— Тать и паутина!

— Тать и паутина!

Громыхает, свистит, шарахает.

А что же потом? Лопух? — — ? Послушайте, не в лоно же Авраамово, покоище душ, пойдет душа, осмер-

дившая и не себя только, а вот это все, — или представьте человеческий крестный псевдоним и с ним самое откровенное и самое страшное в мире глухое бессовестье рядом, ну, с Василием Блаженным, перемучившимся от совести перед бессчастием и бедой всего мира, замучившимся совестью, вольно принявшим все унижения мира от своей совестливости.

— Тать и патина!

III

— Пресвятая Богородица, спаси нас!

— Пресвятая Богородица, спаси нас!

— Пресвятая Богородица, спаси нас, — в Иоанновском монастыре отзванивали к вечерне.

Я перешел на ту сторону и повернул на толкучий Большой проспект.

Иду, всем сторонюсь, — все равно. И вижу, впереди меня какой-то и с ним девочка, за руку ее ведет. И стал я всматриваться, и что-то знакомое показалось мне.

Одет он был плоховато, — сгорбленный, и еще горбился, кашляя, а кашлял так, привычно, — хронический бронхит, подумал я. Но где же это я видел его? И все припоминаю и не могу вспомнить. Служит он? Или грех какой вышел, ведь, таких уличить дело очень простое. А может, и ничего не было, мало ли, и без такого на улице очутишься... Одно скажу, когда бедность задавит, сколько тебе соблазнов, и не понять никогда имущим и только они одни не простят никогда. А куда он идет? И девочка с ним? Мать захворала? Матери что-нибудь купить надо? Может, попросила она, знаете, как в болезни бывает, лимона хочется, вот и пошли...

Он нагнулся, что-то говорит девочке.

— Послушайте! — кто-то окликнул.

Я обернулся: какая-то женщина не молодая уж, просто одетая, так семейные ходят, у которых заботы и много всякого домашнего, а лицо открытое — русское.

— Послушайте! — она помахала рукой.

И тот, знакомый, тоже обернулся.

— Послушайте, что я вам хочу сказать, — это она к нему, не мне, — я вашей девочке пальто дам.

Тут только я заметил, в чем была эта девочка: пальтецо на ней плюшевое лоснилось, словно под утюгом, выжженное, и лишь по краям лысины чуть-чуть еще лиловое.

— Я тут близко на Полозовой живу, — сказала та женщина.

Знакомый мой поклонился: он готов сейчас же идти на Полозову.

И я увидел в глазах у той женщины, — ее глаза были полны слез.

И мы стояли вчетвером и не двигались с места.

Я хотел ей сказать, ну что-нибудь такое за всех, за все... да так и пошел... Назад — домой, на Каменноостровский.

Смеркалось, фонари зажигались редкие между темных пустых фонарей.

И я не шел, а будто летел в густом воздухе, не попирая земли.

И в сумерках видел я, никого не пропуская, каждого в отдельности от первого до последнего, я отличал каждого, и во всяком, свое и разное, свое горе, свою беду, свое несчастие, от первого до последнего, я видел, чего раньше никак не мог заметить, и вот открылось в сумерках, в свете, наливавшемся в густом воздухе, в свете, поднявшем меня от земли.

1916 г.

ДНЕСЬ ВЕСНА

I

Первые — гришки, как закурещат, бородатые, и на раките, в зиму серые, побурели ветви. А девятого марта летит черногуз. И хоть что хочешь: мороз, снег... — девятого марта черногуз о б я з а н прилететь!

Бурые, маслятся ветви, краснеют.

Тополь не тронь, запачкаешься о почки: смола пошла.

Вот пойдет под землей крот преткновенный, загорбит луг. Ярким золотом зацветет в лесу орешня — золотыми свечами. И кустится над пашнею пар.

Хорошо, когда поздняя Пасха, когда сыру землю коврит мурава, и шумит на пасеке Божий зверек. Кончится вечер-

ня — раз она в гору такая, — не такая, можжевеловая. Зайдут на кладбище к бабушке — «Бабушка Ермиония, Христос воскресе!» — бабушка услышит, обрадуется и засинеет ее могилка.

Наигралось, заходит солнце.

В распускных белых платках по мураве с пением возвращаются сестры домой. Изникает закат — темь заряная, изникает красный пасхальный светилен. А глаза — Днесь весна! — голубиные, а губы — Днесь весна! — крестные.

Днесь весна благоухает
И радуется земля...

Какая-то вертихвостка на углу Литейного пересекла дорогу Андрею Павловичу.

И вот широкая белая косынка ее, она и припомнила ему распускной белый платок сестер, мураву, вечерню пасхальную, бабушку Ермионию, и цветной светилен старинного распева. Раз Андрей Павлович слышал на майской обедне в Париже, ну, точь-в-точь такой же напев, только слова другие, не весну, величали Божию Матерь, и тогда, как и сию минуту, глаза его вдруг расширились, видя давно ушедшее безвозвратно.

Андрей Павлович шел по Невскому.

Куда же идти ему, бездомному, в Светлый день, — куда нам всем идти за вечерню пасхальную в первый Светлый день?

В Невскую Лавру шел он на большую русскую могилу.

Было тепло и сухо, чуть подпыливало — невский покручивал ветерок. Но это не мешало ни нарядности, ни наряженности: и без того животворящая рядит и красит весна, а тут еще, по военному времени точно взбесились все, и только трамваи, и исфлаженные — красное, синее, белое, а не могли они скрыть своей замуслеванности и изношенности и безнадежия какого-то.

И сам Андрей Павлович страшный, небритый — пошел было в парикмахерскую, ждал, ждал, да так и ушел — щетинистый и он, как трамвай некузовый, буднил праздник.

Вызванное к жизни безвозвратно ушедшее проходило в его памяти своим чередом.

Еще озеро не совсем открылось и широкое плесо льдом покрыто и разве в ночи не разомкнет ли ветром. Еще не пахано, только для пробы немного гороху посеяли. И корму для скота нигде не видать. Ждут травки с нетерпением.

— Ждем травки с нетерпением! — промычал Андрей Павлович.

Какой травки?

— «Городской лазарет № 106».

Андрей Павлович вынул папироску, закурил.

Бабушка Ермиония — Россия старая, в чистоте державшая старую русскую веру, огненная Россия. Последняя Русь — бабушка, ты не узнала бы Андрея, внука своего, а помнишь, приходил к тебе в праздничной голубой рубахе с серебряным поясом, тонкий, как березка, помнишь, с сестрами-то на твою могилу... страшный, небритый, в картузишке в автомобильном, с папироской идет он, как нечистый, над головами прохожих дым пускает.

А луга поняты водой и в лесу от корней мох пополз...

Андрей Павлович остановился и стоял раздувая широченными ноздрями, овеянный запахом цветов знакомых.

Ну! На тротуаре стоять не полагается. Вспомни скорее и дальше. Вспомнил?

«Господи, а как же по отчеству, как же это, неужто я и забыл! Мать—Мамельфа, на Бабу-Ягу похожа, а как старика-то Федотова? Лида Лидия... — и чуть не крикнул, — Ильинишна! Лидия Ильинишна!

И ему стало вдруг до того ясно, до того отчетливо, и уж больше не замечал он на своей шумной дороге: ни голубых бесшумных автомобилей, ни шуршащих калошей — в два ряда колокольчиков, ни паутинок, ни лазаретов.

II

Вечер на третий день Пасхи. Старый Федотовский дом, темный, с переходами и чуланчиками. В зале пасхальный стол. Отужинали. Все большие, старики, дяди и тетки, и только он, да Ильюша Федотов и то потому, что они гимназисты шестиклассники. А Лиду спать отправили — Лида на год моложе брата, гимназистка.

Что-то скучно показалось, вот и задумал, пройтись ему наверх, в Ильюшину комнату, так посидеть, одному.

Вышел и запутался по темным переходам, наскочил на зеленую черничку — в чуланчике по лестовке молилась, это за душу старика, должно быть, грехи его замаливала. Ощупью пошел дальше, — уж все равно было, куда ни приведет. Толкнул дверь. Переступил. И очутился в низенькой комнате.

Чуть светик от лампадки — Лида. Ну, как во сне: Лида в голубой кофточке и волосы распущены овсяные. И точно ждет его.

— Лида!

И тихо, как веточки, легкие руки положила она ему на плечи.

И они стояли так.

А глаза — Днесь весна! — голубиные, а губы — Днесь весна! — крестные.

Днесь весна благоухает
И радуется земля...

Пели внизу, подымался из залы цветной светилен.

Сердце стучало — в ночь! под звезды! к звездам! — сердце стучало — так и шел бы и шел... на костер.

Лида вдруг отвела руки.

И он остался один.

Чуть светик от лампадки, ну, как во сне. И на всю-то жизнь помнит, какая горечь охватила тогда его душу.

— Ли-да! — покликал кто-то: в коридоре черничка, должно быть, за душу-то в чуланчике которая зеленая молилась.

И ровно стена стала, вот замурует.

— Лида!

Лида вздрагивала вся — или испугалась?

— Тише! Веренея ходит... — и глаза ее, чего они молили? и о чем горьковали? — Днесь весна! — голубиные.

Днесь весна благоухает
И радуется земля...

Пели внизу цветной светилен старинным распевом огненной Последней Руси и римских катакомб Севастьяна-мученика.

* * *

Он несколько раз мельком видел ее в Моленной. Потом как-то встретил на улице: шла она из бани с Веренеей. Думал он о ней? Нет. А она, вспоминала ли? И не вспоминала. И только, когда начинали петь третью славу третьей кафизмы: «Боже, Боже мой, вонми ми, вскую остави мя далече...» — та горечь неутолимая впивалась ему в сердце, и так бы сжег все и ушел, куда глаза глядят.

Уж в восьмом классе, как-то на Масленой, попал он к Федотовым. Много было своей молодежи — и гимназистов и гимназисток. Большие не мешали — отец уехал в гости, а мать — Баба-Яга — побыла немного и ушла на свою половину, и только одна Веренея-черничка с лестовкой, как истукан, сидела за самоваром, зеленая.

Затеяли игру в Оракула.

И почему-то Оракул должен был предсказывать судьбу не на́ людях, а в соседней заставленной комнатенке, и к нему по очереди входили, как на исповедь.

А была Оракулом Лида.

И когда пришел черед идти ему к ней, вдруг запрыгало сердце, а ведь ничего он не чувствовал, не думал, не вспоминал. И, что странно, Веренея куда-то скрылась.

Лида сидела, покрытая платком: он должен дотронуться до ее головы, и она ему судьбу его скажет — такая игра. И лишь только он коснулся ее, она узнала, сбросила с себя платок, поднялась — и смотрела в глаза ему и так, точно прощалась — теперь уж на всю жизнь! — и тосковала — но это так, как ты родился, и так, как умрешь, бесповоротно.

— Ли-да! — окрикнул кто-то за дверью.

Она проворно закрылась и опять села, и видно было и через платок, как вздрагивала вся.

— Что вы так долго? — стучали в дверь.

— Лида! — и голос его звучал, как с того света: она его слышала и не верила, слышала и плакала неутолимо.

— Вы были сорок пять минут! — сказал ему в дверях какой-то дожидавшийся очереди гимназист.

Но ему все равно — как замурованный! — и только сердце, только немудрое сердце, рвущееся в неутолимой тоске:

«Боже, Боже мой, вонми ми, вскую остави мя далече...»

Больше он никогда ее не видел. Слышал, что гимназию не кончила, вышла замуж, дети пошли, живет богато.

Так и кончилось, наступила жизнь житейская.

III

Андрей Павлович человек мудреный.

Говорил он мало и редко, но всегда что-нибудь такое, сразу и не сообразишь. Каким-то двум дамам, пристававшим сказать им особенное, предсказал смерть: сказал, громом убьет, — и убило, обе в один год померли.

А помните, заграничную знаменитость чествовали, еще в газетах тогда писали? Это Андрея Павловича изобретение.

Заехала в Питер знаменитость, и надо было так ее принять, чтобы вó-веки восчувствовала. А все, что предлагали, — обед, венки, сервизы — было слишком незначительно и совсем не отвечало ни чувству, ни лицу. Вот тут-то Андрей Павлович и присоветовал: без всяких венков, без всего выступить всем дружно и замереть — дух, мол, захватило, ни слов, ничего нет. Понравилось, да так и сделали, охотников нашлось сколько хочешь. И вы представляете, что это было? Знаменитость мало того, что обиделась, а насмерть перепугалась — один Андрей Павлович чего стоит с замеревшим-то духом!

Андрей Павлович Бураков, действительно, мудреный.

Андрей Павлович свой собственный маленький язычок проглотил.

Дружил он с одной египтянкой — и ведь надо же такое придумать, из самого Египта фараонова в цирке тут наездницей служила. Как-то после представления повез он эту египтянку свою в ресторан ужинать, выпил холодного пива и простудил себе горло. Першит и першит и ровно куда там бумажка прилипла и никак не отлипает, а глотать ничего, и не обратил внимания, ну, после уж, посоветовали, смазал йодом, и больше не беспокоило. А в один прекрасный день, сидим с ним за самоваром — летнее время, пить хочется — налил я ему стакан, а он, чтобы подождать, нет, как горячего-то глотнет, да с чаем, видно, и проглотил: туда-сюда — нет язычка. К зеркалу — нет его нигде. Взял я лупу — чисто. Ну, был язычок и

нет, Бог с ним, только вот беда — голос пропал. Первое-то время очень ему тяжело было, потом попривык.

И женился Андрей Павлович по-чудному.

И оттого ли, что в калошах венчался или еще почему — всего, ведь, не высмотришь — только год-два была еще настоящая жизнь: жил он с женой тихо-смирно, советно, один без другого ни на шаг. И какое совпадение, ну, совсем другая была, а тоже Лидией звали, Лида! А уж на третий год стали друг на друга раздражаться, постоянно ссорятся: она фыркает, он молчит, да так, лучше бы уж кулаком. И только на людях будто по-старому — изолгались перед людьми, измучили друг друга. И больше не одни в доме, как прежде, а и сестра ее с ними, и еще другая сестра приехала, а потом и мать, — всю квартиру заняли. А был в доме такой загончик вроде чуланчика Федотова, где Веренея-черничка по лестовке за душу молилась зеленая, тут он и ютился, впрочем, домой возвращался он поздно и прямо спать.

А как-то тоже в один прекрасный день, проснулся он утром, хвать, а в доме пусто — никого: ни жены, ни тещи, ни сестер. И голо: все, что было, все с собой забрали и зачем-то какие были сорочки, все белье его увезли. Так, в чем был, в том и остался.

Вот она, жизнь-то житейская!

* * *

«И у всякой птицы есть свое горе!» — почему-то подумалось, и эта словами сказавшаяся мысль словно пробудила его.

Он перешел Золотоношскую, еще немного и Невская лавра.

В лавре звонили к пасхальной вечерне.

Бабушка Ермиония — Россия старая, в чистоте державшая старую русскую веру, огненная Россия, Последняя Русь — бабушка, ты не узнала бы Андрея, внука своего, а помнишь, приходил к тебе в праздничной голубой рубахе с серебряным поясом, тонкий, как березка, помнишь с сестрами-то на твою могилу...

В лавре звонили к пасхальной вечерне, отзванивали по-пасхальному — Днесь весна! — по-весеннему.

Днесь весна благоухает
И радуется земля...

С народом, с ребятишками вошел Андрей Павлович в лаврские ворота и сейчас, как из арки выйдешь, по правую руку, увидел памятник — и, как когда-то с сестрами у могилы бабушки Ермионии, остановился — памятник огненной скорби — Достоевского.

— Федор Михайлович, Христос воскрес!

1916 г.

КИТАЕЦ

I

Шурке три года, мальчик он крепкий, зубастый, а как наденет на голову черную с шариком тюбетейку, ну, такой чудной, татарчонок. Шурку зовут Шуркой, а еще и Петух. Почему Петух, неизвестно, но ему это очень по сердцу, и, когда его так покличешь, он лукаво прищурится и улыбнется.

— Петух!

В Таганку из деревни, из Кислова, попал Шурка на побывку к крестной с матерью своей Сашей, нянькой Гали. Галя, гимназистка-третьеклассница, Шуркина крестная. Спит Шурка на Устюшиной кровати с Сашей, а Устюша кухарка на полу около, а встает Шурка первый и чуть свет на ногах уж, вот почему, должно быть, и Петух он.

Я, как и Шурка, попал в Таганку тоже на побывку, а комната моя через кухню, потому я все и знаю.

На новом месте, хоть и после дороги, а заснуть я долго не мог.

От кухни, что ли, в моей теплой комнате очень много было маленьких тараканов: они бегали по рукомойнику такие вот малюсенькие с усиками, а мне все казалось, когда потушил свет, по мне бегают. И вспоминался разговор с хозяином, прапорщиком, вернувшимся домой в отпуск из госпиталя, и один из рассказов его особенно.

Был у них один прапорщик, немолодой уж, и вот, во время несчастий наших после трех дней отхода, когда стало чуть поспокойнее, и он увидел своих — кого без носа, кого без руки, кого без ноги, с ним произошло то, чего он не мог ожидать и о чем никогда не думал: он уже не мог больше слышать снарядов, — всего дергало, и никак не мог остановить слез, и все-таки продолжал командовать и докладывал, как адъютант, своему начальству.

И я, и вправду осыпанный маленькими тараканами, бегающими по мне, я в жару все ворочался, все-то виделось, видел я, как этот самый прапорщик, потрясенный несчастием, командует и докладывает начальству своему и не может удержать слез.

И Саша с Устюшей не спали.

Устюша рассказывала Саше про свое, как в Великий четверг, когда люди в церковь к евангелиям пошли и там со свечами стояли, стояла она в очереди.

— За яицам! — жаловалась Устюша, — грех один.

А Саша ей о деревне, о своем Кислове, где бабы одни.

По словам Саши, всех баб погонят в Китай, потому что в Китае баб нет, а на их место, в Кислово, пришлют китайских мужиков.

— Китай, — говорила Саша и говорила это особенным голосом, — Ки-та-ай, синий, грязный.

Саша баба молодая, крепкая, броватая, муж ее Анисим в солдатах, а Устюша хоть и не такая, но и не какая-нибудь, и разговор долго держится около Китая, т. е. китайца, и понемногу Сашины китайские мужики, которых пригонят в Кислово на место баб, превращаются в нечто большее.

— Анисим под Петроградом стоит, — шепчет Саша, давясь над мудреным нерусским названием, трудным и нескладным для простого русского человека, и переделывая его по-своему в какой-то Питер-город, — у них там этих мужиков страсть...

— К Дроздовой барыне, барин-то млявый, тоже китайский мужик, ходит! — фыркнула из-под тряпок Устюша с полу.

И от Дроздовых перешла она к соседям Коняевым и к какому-то Таганскому страннику, который на Москве «мощам торгует», и тоже из мужиков китайских.

— Пошла я в баню, моемся, душ нас двадцать баб, взяла я шайку окатиться и только нацелилась, хвать мужик входит, так и ахнули. «Не беспокойтесь!» — говорит, а сам воду остановил, черт мохнатый, да у кранов с полчаса возился, наорались на полке-то!

— Китай, — вздыхала Саша, — си-ний, гря-а-зный.

Приснилась мне Петропавловская крепость, не такая, как осела она над Невой, невидная из-за дворцов набережной, видная лишь золотым своим шпилем, а какая-то с гравюры, будто Пиранези. Нас отобрали негодящих — слепых, хромых, зяблых, нас поставили защищать крепость, а начальником нашим будто редактор одного, пока что не прихлопнутого, кое-как выходящего, петербургского толстого журнала, я его в глаза не знаю, но тут узнал, — на адвоката П. похож и в золотых эполетах. И все мы хорошо понимаем, что крепости нам не отстоять, и смерть неминуема. Я стою под высокой, ничем не защищенной аркой, я вижу холодное серое небо, серую каменную, скользко накатанную площадь, а издалека, как на картинке, ползут и прямо на нас, как черные черви...

Тут закричал Шурка, и я проснулся.

А Шурка закричал потому, что ему тоже сон приснился. А снилось ему, будто, большое поле, и по полю все головы человечьи, маленькие, белые, на тонких шейках, как стебельки, и вот, откуда ни возьмись, пришли две черные головы, огромные и стали есть эти маленькие белые головы. Шурка испугался и закричал.

Закричала и Устюша: показалось Устюше, будто нечистая сила, невидимая, крутит ее по полу, и ничем не остановишь, так и крутит и крутит.

— Кара-ул!!

II

Шурка не боится ни Бубуси, так зовет он мать Гали, хозяйку, ни прапорщика, хозяина, молчаливого, лишь изредка окликавшего Шурку — Петух! — ни самой Гали, крестной своей, ни брата ее Бориса, с малых лет знавшего поименно всех таганских собак, ни старого учителя Гали Николая Павловича — Галя два раза в неделю пальчиками по утрам играет на рояли, а Павлыч около сидит, ноты

ей считает басом, никого, кажется, не боится Шурка, а вот мне долго не поддавался.

Я пробовал заговаривать по-птичьему, высвистывал всякие разговоры, — я заметил, когда в лесу начнешь эти разговоры, птички откликаются — и теперь чижик, молча встряхивающийся на жердочке, откликнулся из клетки, а Шурка как уселся на диван, так и сидел, с опаской посматривая.

Хозяин, приладившийся к подневольной окопной жизни, где газета и книга — редкость и одно развлечение — чай, хозяйничал с большим умением: чай мы пили и крепкий, и крутой.

Разговор сначала шел о газетных новостях, конечно, потом так обо всем, по-московски.

На Москве всякий знает, что вечерня на Пла́щаницу в два часа, а в Прощеное воскресенье да в первый день Пасхи в три. В первый день Пасхи трезвонят до двух, затем — час отдых, и ровно в три, и это так же, как ровно в полночь под Пасху, начинается по всей Москве благовест.

Я жаловался на наши порядки — кому же, как не Москве, матери городов, и пожаловаться на Петроград! — нынешнюю Пасху мне не пришло̀сь постоять на Пасхальной вечерне: собрался я нарочно загодя, торопился и около трех был уж в церкви и два часа ждал — на колокольне без толку звонили! — да так и ушел и не один, — нас ушло немало. Оказывается, батюшки-то по приходу стреляли.

— Да что говорить, «Христос воскрес», как следует, не умеют пропеть!

И разговор перешел к церковным распевам.

В России, что ни губерния, то свой распев, и есть исконный наш русский — знаменный: «В чермнем мори браконеискусныя невесты образ написася...» — да, этого до смерти не забудешь. И есть еще столповой, чем Москва гордится. Большого Московского Успенского Собора: «Преобразивыйся на горе, Христе Боже...» — как загудят соборяне, так при царе Иване Грозном пели, так и нынче услышишь.

— А у нас: «Сорок девок, один я...» — но я это сказал так, больше от горечи, в сердца́х.

Никогда не забуду, как прошедшей весной шел я раз днем по Невскому. День был пасмурный, мглистый, — текло. И вижу, мне навстречу, и Бог знает, куда это их гнали, к Воинскому начальнику что ли, душ пятьдесят, один под стать другому, ободранные и в чем только душа, не в ногу, в ногу не попадают, а сзади старухи какие-то убитые, заплаканные и казенная повозка с сундуками. Конечно, какие это солдаты и всех их забракуют, или уже забраковали, но по положению-то своему они все-таки призывные и все равно, как солдаты настоящие. И вот на углу Литейного около Соловьева, на самой толчее и пришла какому-то несчастная мысль запеть песню, как по-настоящему. Ни голосов, ни слуха — какой уж там слух! — а затянули: «Сорок девок один я...» И как это затянули они, верите ли, все мы, прохожие, всякие, сколько было нас, все мы на минуту остановились. «Сорок девок, один я, девки в лес, — я за им...» — а в хвосте-то эти старухи — мать, тетка, бабушка — озяблые, заплаканные, один Бог видит, что душой-то передумавшие, сердцем-то своим старым, горьким изболевшие по всем этим по Иванушкам. Мне надо было на Фонтанку по делу, я заторопился, и успел вовремя и назад уж на трамвае по Бассейной, а слезаю на углу 8-й Рождественской и опять — и ушам не верю — «Сорок девок, один я, девки лягут...» Да это те самые, только еще, только доплелись с Невского, марширують по Суворовскому. Год прошел, а мне почему-то все вспоминается — и уж не до смеха — досада и какая-то горечь лютая. Я вспоминал в несчастиях наших, я всякий раз вспоминаю, когда наголову измученной, бесталанной родины нашей недоля, словно в насмешку над святыней нашей, над Кремлем московским, над распевом знаменным и над всем, чем жива душа русская, валит беду за бедой — предательства, измена, происки, погромы, хищение, Господи, с великого-то ума чего-чего только ни натворили мы за это страшное вре- мя, — ведь, стыдно в глаза посмотреть! Или это допевает свою песенку Петроград?

— Нет, — говорю, — у нас тоже... у нас, у Спаса Колтовского лежит иеросхимонах Иоанн, уставщик Валаамовский, основатель Саровской пустыни, замучен Бироном, и цепи его в церкви хранятся в притворе.

И переходит разговор к Сарову, к народным толкам, к юродивым и блаженным.

Идет молва, дядя Александр рассказывал, — дядя Александр возит в Саров богомольцев, человек правильный, зря не сказал бы, а сказал он вот что, будто юродивая одна за три дня до объявления войны останавливала проезжих: «Куда вы едете? Отец Серафим пошел с котомкой на войну, три года не будет!»

— Три года? — переспросил хозяин невесело.

— Тоже дети предчувствовали: старые няньки рассказывают что за год до войны ребятишки такую войну завели, не дай Бог! А вот у нас прапорщик есть знакомый, ему у Летнего сада один сборщик предсказал, старичок: «Меча, говорит, не обнажишь!» И что же вы думаете, попал в «обстановку мирного времени» и до сей поры здравствует.

— Ну, это еще ничего не значит, — сказал хозяин, — я с первого шагу в боях, а не разу не стрелял. Теперь это по-другому делается.

Ударились в таганские были.

Вспомнили, конечно, Алексея странника.

Чудодеял этот странник Алексей на Таганке вроде монаха. Всякие бывают странники, нет на земле ни единого ни в человеках, ни в зверях никого на одно лицо! А было это еще при жизни Василия Степановича Лебедева, знаменитого, всей Москве известного регента, и скажу, всероссийского. Странник в ряске — лик благообразный, зрак — умиление, монахом обходил именитые таганские дома, пугал Страшным судом и был в большом почете. Как-то и вздумалось заглянуть ему к Василию Степановичу. Мне довелось, гимназистом еще, не раз бывать у знаменитого регента — добрый был, хороший старик, ласковый и настоящий русский человек: и с удачами — знаменитость! — и с несчастиями — много подножку-то давали! — и с сердцем и с прощением, а жил он в Глотовом на Воронцовской с племянником, да с тетушкой старухой Татьяной Константиновной. Вломился странник с большим достоинством, так что Василий-то Степанович, видавший виды, а оробел и уж не знай: не то под благословение подходить, не то так выйти поздороваться, и на всякий случай сложил руки, как под благословение.

Ну, да все обошлось благополучно. Разговорились. Надо угостить гостя. Собрала тетушка поднос — у Василия Степановича такое уж было заведение: подавался гостям поднос и вся на нем лавка Косичкина, — и водка, и пивко, и грибки всякие и «колбасица». И началось угощение. А за рюмочкой полетело время, уже вечер стал. Заглядывала со страхом тетушка через дверь в комнату: водка допита, пиво кончено, и уж странник прямо с подноса вместе с пеплом и объедками хлебал пролитое и расплеснутое. Угощенье угощеньем и разговор разговором, давай петь!

Чего петь? «Господи возвах». Крякнули, откашлянулись и запели. И все по-хорошему, да не выдержал странник, да на «воньми», приподняв рясу, как хватит «Устюшкину мать» и пошел —

Устюшкина мать
Собиралась помирать,
Я ей гроб тес-кать,
А она плясать.

И такое ногами выделывал, уж Бог с ней, с посудой, лампáдка потухла. Весь пол уходил, расшвырял сапогами дорожки, да видно есть и такому предел, дух что ли захватило, на минуту стал — «Нам звуков не надо!», — да как сиганет и прямо в комнату к тетушке, к Татьяне Константиновне, да на кровать к ней, к смиренной-то старой девственнице, и захрапел. И уж никакими силами не сгонишь, хоть на руках выноси. А кончил странник печально: пристрастился на площади в ремешок играть, такая игра есть, в чем-то попался, не спустили, и сам подрался, ну, и в участок, а там еще чего-то дознались, и прощайте.

— А какую это он еще песню-то пел?

— Про кукушку!

— Высоким голосом.

— «Ах, не ке-ку-ке-куй, ке-кушка»...

Так, понемногу, и совсем незаметно, вошел я в говорильню московскую. Уж Гале пора было собираться в гимназию, — нынче в гимназиях две очереди: одни ходят, как прежде, с утра, другие после обеда. И про Шурку я совсем было забыл, да он сам о себе напомнил.

За нашим разговором Шурка с дивана тихонько пробрался к Гале. Галя дала ему свой мячик поиграть, а сама на минутку вышла. А когда вернулась, мячика у Шурки не было. Туда-сюда, нет нигде. Выбегал ли без нее Шурка, она никак не могла добиться, а окно открыто, — в окно, должно быть, и выбросил. Чуть не плакала Галя: такого мячика теперь нипочем не достать, а новый купить — дорого.

И бросили мы разговоры, принялись этот самый мячик разыскивать.

А Шурка то убежит в кухню, то опять около нас вертится. Показываем ему на окно, — в окно, мол, выбросил? Нет, головой мотает, значит, не выбрасывал... Да где же, куда запропастил?

— Конечно, Шурка в окно выбросил!

Со слезами собирала Галя книжки в гимназию идти.

— Ах, ты, Петух, Петух!

Да, слава Богу, Сашка выручила: мячик нашелся.

— Закатил мячик под печку, экий! — несла Саша мячик из кухни, как какое сокровище.

Рада была Галя и слез как не бывало, а Шурка — вдвое.

— Зайчики разбежались! — почему-то сказал Шурка.

— Какие зайчики?

— Ма-аленькие! — он растопырил пальцы, так только дети показывают, так вот, а сам на меня лукаво посматривал и улыбался.

И с этой минуты сделались мы с ним большие приятели.

III

Хозяин сказал, что маленькие тараканы не кусаются.

— Большие, дело другое, а маленькие не кусаются.

Я поверил и с тех пор спал спокойно и во сне мне ничего больше не снилось, никаких страхов. Не снилось, должно быть, и Шурке, и Устюше, никто не кричал по ночам.

Первый поднимался Шурка. За Шуркой Устюша — ей надо в очередь, в лавку. Саша ставила самовар, поила чаем Бориса, и Борис шел в училище.

А еще спит и Галя, и мать Гали, и хозяин: Галя с матерью — в спальне, хозяин — в столовой. И, пока не

зашевелятся, ни ходить, ни топать, ни кричать нельзя, можно говорить, и то только тихонько.

В прихожей между дверью и буфетом стоит маленькая подножная скамеечка. Если притворить из столовой дверь, она упрется в буфет и закроет в прихожей угол со скамейкой. В этом-то тайнике за дверью, незаметные никому, мы и сидим по утрам: Шурка сидит на скамеечке, а я на корточках около.

— Садись и ты! — подвигается Шурка.

Но этого сделать никак невозможно.

Я рассказываю Шурке, какая у нас на дворе огромная собака: днем она по двору ходит, вечером у конурки на веревке сидит, а зовут собаку Б л ю д о. По вечерам мне из окна видно, как играет Машутка с Блюдом: как ее гладит и почесывает за ушами, а Блюдо подает лапу, и когда собака подает лапу, Машутка потрясет ее, как руку, нагнется и поцелует. Потом друг другу они надоедают: Блюдо не подает больше лапу, а Машутка, если б не страшно, дернула бы за хвост собаку — друзья-приятели.

— Ты китайца боишься? — шепчет Шурка.

Мы говорим только шепотом.

— Нет, не боюсь, а ты?

— Давай тебе нарисую китайцев!

— Ну, ладно.

Шурка из нашего тайника сбегал в кухню, достал какой-то мыльный прейскурант-книжечку, а я из своей тараканьей комнаты карандаш. Уселись по-старому: Шурка на скамеечке, а я на корточках около.

— Садись и ты! — подвигается Шурка и не по-нашему берет в руку карандаш.

Сперва он выводит кружочек — это голова, потом завиток из кружочка — это коса, а с другой стороны две черточки — это руки, а вниз колокольчиком палочки — и китаец готов.

— Китаец, — шепчет Шурка, — синий, грязный, продает ситцы, польты, шали, нитки... ты китайца боишься?

— Нет, Шурка, зачем бояться! Ко мне ходил один китаец и песни мне китайские пел тоненько, как птица.

Шурка перевернул книжечку и взялся за петушка: и из рогулек его вышло и в самом деле петушье — петушок, а внизу у петушка палочка — его лапка. Шурка при этом

что-то говорил, да не понимаю, Шурка говорит по-своему, шуркиным языком, какие-то «сама-ты, ломо-ты», потом, и мне ясно, о Натаньке: какая-то в Кислове Натанька учила его Богородицу.

— Богородица Богодатная, твово жена... — шепчет Шурка.

А я ему о девочке Наташе, какая это Наташа, к нам с матерью ходит, ровесница Шурке, как пушок, легкая, чудеснее в мире нет ее, и все говорить может.

«Милый Боженька, — молится Наташа, — дай маме, папе, бабушке, Алеше, Наташе, няне и всем людям и маме!».

— Ты китайца боишься? — перебивает Шурка.

— Да, я Шурка, сам и есть китаец: дома, в Петербурге, китайцем по домам хожу, продаю ситцы, польты, шали, нитки.

— Ситцы, польты, шали, нитки... — повторяет Шурка, и веря и не веря, — ты китайца боишься? — и на всякий случай прячет от меня свои маленькие пальчики: а что, если и в самом деле я китаец?

В столовой зашевелился хозяин. Устюша подала самовар. Можно и чай пить. Шурка выбежал в кухню, там у Саши подсолнухи, набрал полную горсть и куда-то с лакомством своим скрылся.

Я рассказал хозяину о Шурке, о китайце.

— Как же, китайца Петух боится! Их тут много ходит. Шурка, как увидит, и такой крик подымет: очень китайца боится.

Заговорили о китайцах, о были и небыли китайской.

Есть в Тибете главный их монастырь китайский и живет в том монастыре Далай-Лама, самый первый китаец, как у нас в Ватикане папа римский. Много было охотников посмотреть на Далай-Ламу, а подступиться к нему никак невозможно: монастырь в горах, дороги неизвестны. И только лет пять назад вышло разрешение. И, конечно, первыми отправились англичане. Ехали они морем и через Индию добрались до Тибета, а там уж их поджидают и на голубых слонах китайских на крутые самые горы и доставили честь-честью и прямо к монастырю. Стоят англичане у ворот монастырских, любуются видом: гора на горе — Алтай! Отпер привратник ворота, вышли монахи,

сорок желтых монахов, как на архиерейскую встречу, и все, как один, заговорили по-английски. Удивились англичане: «Откуда, — говорят, — вы, отцы, так изловчились по-нашему выражаться?» «Ах! — говорят монахи, — мы по-всякому можем, и по-португальскому!» А когда они самого Далай-Ламу, которого людям запрещено в лицо видеть, наконец-то увидели, да поговорили с ним по душам, только диву дались. «Нам, китайцам, — сказал Далай-Лама на прощанье, — много уж веков все ваше известно — и аэропланы, и подводные лодки, и такое еще, чего вы пока что еще не знаете, а со временем умом дойдете, только отцы наши заповедали нам хранить это от народа в тайне: люди-то, ведь, какие, живо дар во зло себе обратят и пути не будет!» И тут три монаха, служки, должно быть, сказали что-то по-китайски, может, благословение испросили, да, подобрав синие полы, — англичане уж и глазам своим не верят, — поднялись на воздух и полетели.

— Ну, на то они и китайцы! — сказал хозяин.

IV

Шурка с подсолнухами вышел на черный ход, там уселся на площадке и тихонько занялся подсолнухами. На минуту поверив, что я — китаец, он тогда забеспокоился, но теперь догадался, что это — неправда, и хоть продаю я ситцы, польты, шали, нитки, как китаец, но я же — не в синем и косы нет, а, стало быть, — неправда, — я не китаец... Подсолнухи были такие вкусные, но чтобы они еще вкуснее стали, надо обязательно их есть без скорлупы: Шурка больше не думал ни о каком китайце, Шурка старательно разгрызал подсолнухи и ел одни семечки, и с таким удовольствием, — слюни текли.

И вдруг смотрит, а перед ним китаец, — китаец вылезает: китаец в туфлях, неслышно поднявшись по лестнице, шел прямо на Шурку, к открытой двери. И Шурке уж никак не проскочить в кухню, и от неожиданности и безвыходности разжал он кулачок с любимыми вкусными подсолнухами и закричал, — в столовой крик услышали.

— Петух! — поднялся хозяин, — уж не китаец ли?

— Верно, китаец, — поднялась и хозяйка.

— Китаец, китаец! — обрадовалась Галя и помчалась на кухню.

А из кухни несла Саша на руках Шурку; закрываясь замуслеванными ручонками, горько плакал Шурка.

— Китай пришел! — объявила Саша и как-то по-особенному выговаривая: «Кита-ай».

Шурка не унимался. И хозяин, и хозяйка, и я, и Галя, и учитель Гали, Николай Павлович, все мы, как могли, успокаивали Шурку. Закрывшись, весь в прилипших подсолнухах, Шурка сидел на диване. Отнимет ручонки, посмотрит: не дожидается ли его китаец? — и опять закроется.

— Ах, ты, Петух, Петух!

Еще одно утро просидели мы вместе за дверью в тайнике нашем: Шурка на скамеечке, а я на корточках около.

Я рассказал Шурке свое огорчение, как купил я в Охотном пять фунтов молодого картофеля, в две бумаги завернули его, заплатил дорого, а как дотащил до Таганки, оказалось, что картошка старая, только мелкая и наполовину прелая и цена ей грош. И сознался я Шурке, что, по правде сказать, немножко боюсь-таки китайца.

— Синий, грязный, — шептал Шурка, — я не боюсь! — а сам был страшно доволен: не один он, наконец-то и я забоялся.

А на следующее утро Шурки уж не было: с вечера, для меня неожиданно, уехал он с Сашей в деревню, в свое Кислово. Так и не пришлось проститься. И мне пора было, да и хозяину выходил срок опять на войну ехать. И это последнее таганское утро мне показалось без Шурки, как долгий день.

Галя до гимназии все наигрывала пальчиками на рояли своего сочинения вальс. И вальс ее такой грустный — или мне это слышалось — переходил в старинную, на разные гласы, монастырскую песню пустынную: «Грядет чернец»...

Грядет чернец из монастыря,
Встречу ему вторый чернец...

1916 г.

БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК

I

Бог благословил побывать последней мирной весной во славном городе Риме. Спутники нам попались добрые, оба молодые, нескучные и неискушенные, молодые — муж с женой.

Сам Иван Николаевич — металлург-химик, полсвета на автомобиле объехал, а живет Иван Николаевич на Большой Охте, как раз у перевоза, машины всякие придумывает, да развлечения ради охотой промышляет, русский человек, настоящий, слова не сочинит, а загнет другой раз такое, без сказа-примечания мало кому из нынешних грамотеев понятно, прямо с жаровой кочки либо с вешних западинок из-под талого снега. По пути они поместились в купе с нами и с первого же взгляда очень нам полюбились, так вместе до Рима и доехали. И там вместе исходили все седмихолмие.

У Шишкова, сибирского писателя, есть такой рассказ о тунгусах, как два тунгуса попали из тайги в город.

— «Тут тебе, брат, не тайга, живо заблудишься!» — и давай через забор махать.

Я всегда вспоминаю этих несчастных тунгусов, когда случается впервые мне очутиться в городе нерусском. И не будь в руках плана, ей Богу, пожалуй, тоже не миновать и мне забора. А с планом я всюду, как слепец с поводырем: выйдешь, Господи благослови, утречком и пойдешь тихонько и всегда-то обязательно не в ту сторону хватишь, загнешь порядочного крюку, да спохватишься, и уж будет! — больше нипочем не собьешься.

Так и во славном первом городе Риме с первых-то шагов я ожегся и уж потом смело, как у себя дома, в нашем родном Третьем Риме, водил я моих спутников, сам для них, как план, поводырь мой.

И всего раз попробовал Иван Николаевич на свой страх один пуститься, — и не очень-то вышло. А задумал Иван Николаевич в баню сходить, взял в узелок бельеца себе — чистую перемену, рассказал я ему путь, как до бань их самых первых римских добраться, а он с перепуту, вместо

бань, да и попади в зверинец, и там, на диковин всяких глазея, час-то человечий положенный пропустил, схлынули посетители по домам из зверинца, зверинец — на запор, а зверей, слонов всяких, на прогулку, ну, кого травку пощипать, кого так побеситься, — их, ведь, брату в клетках очень скучно! — тот рычит, другой пищит, третий хвостом сучит, и что же вы думаете, едва через забор улепетнул, да слава Богу, что только страхом отделался, а то долго ли до греха, — и не в осуждение зверю говорю, — почем они Ивана Николаевича знают? — ему попало в пасть, не скажется, и готово!

II

Все пешком ходили. Как-то лучше по старой натруженной земле, по обитым камням пешком ходить: больше трудится, больше и видится.

Поклонились святым апостолам Петру и Павлу. Пробовал я считать, сколько и у каких мощей лампад неугасимых, но точно не помню: у апостола Петра что-то очень много, до сотни, у апостола Павла поменьше. Были у Иоанна Предтечи на Латеране: хранится там стол, на котором апостол Петр обедню служил. Заходили в часовню, тут же сбоку от собора часовня, там мраморная лестница от дворца Пилатова, по которой лестнице Иисуса Христа вели к Пилату: на коленях по ней восходят и на каждой ступеньке молитву Господню творят. С Божьей помощью обошли все святыни, полазали по катакомбам накупили себе крестиков и пошли глазеть по капищам их и святилищам древним и всех идолов пересмотрели, и царей, и мудрецов, и философов, и законников, и так — мужей римских. Уж с высунутыми языками, а не пропустили мы ни одного музея, ни одного хранилища, и, как прошлись по векам до самого до нынешнего, порастрясли уны-лиры (там куда нос ни сунешь, давай уну-лиру!), да и от лепетуры и скульптуры, вот где стало! — стали просто ходить, куда взглянется.

Выпадет час, пойдешь среди дня на Форум, сядешь где на приступочке — Forum Romanum! — и до слез станет.

Я все камушки собирал, и со священной дороги, по которой в Колизей мучеников водили, голышок-камушек в кармане себе спрятал, теперь у меня этот камушек на белой полке хранится у заветного креста ростовского.

III

Очень хотелось нам то самое место на Форуме разыскать, где Симон Волхв, препираясь с апостолом Петром перед царем Тиверием, поднялся с помощью бесов на воздух и, по молитве апостола Петра, сверзился — и «разседеся на мелкия части». По старым книгам мне не случалось указаний находить, а спрашивали старичка, — старичок при входе в сторожке билеты продает, — не понимает. Ну, долго мы бились и так по всяким догадкам нашли-таки уголок и поплевали на нечистое место. Тут Иван Николаевич изловчился и хотел меня снять на нечистом месте, да я присел вовремя, так ничего и не вышло.

Возвращались как-то по Аппиевой дороге...

Говорил мне один человек, спутник мой неизменный, что на этой дороге и всякое горе забудешь, и верно, оттого ли, что под памятниками много желаний в земле покоится вместе с людьми, на тот свет ушедшими, либо уж такое место, Богом благословенное, так бы и шел и ни о чем не думал до самых гор Албанских. Да, эти самые горы Албанские... впервые в выговоре одного простеца римского нам прозвучали не то какие-то мунтер-бани, не то амбары, и когда после расспросов, догадок и всяких на ум наваждений мы сообразили, наконец, что это такое за мунтер-бани, — и так нам стало весело и сроду еще не смеялись так, ой, на всю-то дорогу, весело!

Шли мы по Аппиевой дороге — теплый колосок пшеничный бережем на память, — идем мимо гробниц мраморных и серого камня, а округ поле и в поле маки и какие-то пичужки пересвистываются.

IV

Зашли по пути к Севастьяну-мученику, постояли немного, — в церкви прохладно. Выходим, — уж думали, либо к царю Каракалле в Красные Термы, либо прямо на Испанскую площадь в Греческую кофейню, где Гоголь любил сиживать, — и видим, откуда ни возьмись монашек: стоит монашек, на нас улыбается и пречудной такой, на крокодиленка похож.

Иван Николаевич за аппарат, а монашонок, не тут-то, — прячется и сам рукой что-то показывает — пантомимой. И немало мы с ним возились: и уж какой проворный, совсем наставим, — хвать и увильнул, а сам так пугливо смотрит и все улыбается, ну, вылитый крокодиленок, а шкурка коричневая. Что будешь делать, силой невозможно.

И провещался вдруг монашонок:

— Нам, — говорит, — не годится, старшие тут, а я сам служка.

Ну, мы страшно обрадовались. Слово за слово, и разговорились. Рассказали ему, где были, что видели и какая это дорога Аппиева — не находишься по ней, не нагуляешься! — и про мунтер-бани рассказали, и как нам было весело и как мы смеялись. Колос ему с полей, еще теплый, подержать да́ли.

— Бережем, на память!

— А у Алексея, Божья человека, были?

— Как у Алексея?..

— Да как же, на холме Авентинском там его и мощи.

Тут я только и вспомнил.

«Вот, — думаю, — дурак-то! Симона Волхва искал нечистое место, да еще, Бог знает, может, не туда и плевал, а к нашему Алексею Божьему человеку и не удосужился... забыл!»

Монашонок на минуту зашел за угол церкви, видим, с каким-то тоже служкой пошептался и бежит назад.

— Как же, в тысяча двести шестнадцатом году нашли его могилу на холме Авентинском! Пойдемте, я вас проведу.

Поблагодарили мы монашка и за ним следом.

V

Вел нас монашек какими-то закоулками и переулками, в моем плане не обозначенными, мимо вала, мимо насыпи, мимо стен каменных, мимо садов прохладных и все рассказывал и про царя Онория, и про папу Иннокентия, во времена которого царя и которого папы жил на земле Алексей Божий человек у своего родителя Евремиана римлянина.

Иван Николаевич что-то недоверчиво прислушивался: слыхал он от слепцов, будто почивают мощи в Иерусалиме.

— В Иерусалиме в церкви Матери-Богородицы, а несли их из Рима три дня и три ночи.

Но монашонок знал все доподлинно.

— В Риме, в соборной церкви у Нифантия чудотворца!

И спорить с ним все равно попусту.

Уж дневная теплынь переменилась в вечер, и легка нам была дорога. Тут на полпути вроде чудесного было нам знамение: пали нам под ноги, неизвестно откуда, две зеленые веточки. И всех больше веточкам наш монашек обрадовался: уж так рад был, что и сказать невозможно. А я скажу, только виду не показал, другой-то служка по верху по горе шел, да эти веточки на дорогу и кинул.

Так с чудесными веточками и дошли мы до соборной церкви Нифантия чудотворца, до Алексея Божья человека.

Все думали свечку поставить, да за поздним временем в церковь уж не пускали. Ну, походили мы около, во двор вошли...

Вот тут стояли каменные палаты с частыми переходами, жил в палатах князь Евтимьяней с княгиней своей Аглавидою, а вот подклеть, куда повели после венца Алексея и царевну Катерину, дочь царя Никонора, и вот из этих ворот ушел Алексей в ту ночь во втором часу от молодой жены обрученной. А на левой руке от каменных палат теплая поварня, а там вон помойная яма и у помойки — келья: тридцать и три года жил Алексей в этой келье около отца, около матери, жены любимой, никем не узнан, и эта земля, по которой ходил он, и эта земля, по которой он вышел на вольное терпение — в страд Господен.

Стали мы на колени.

— Прости нас, Алексеюшка, грешных!

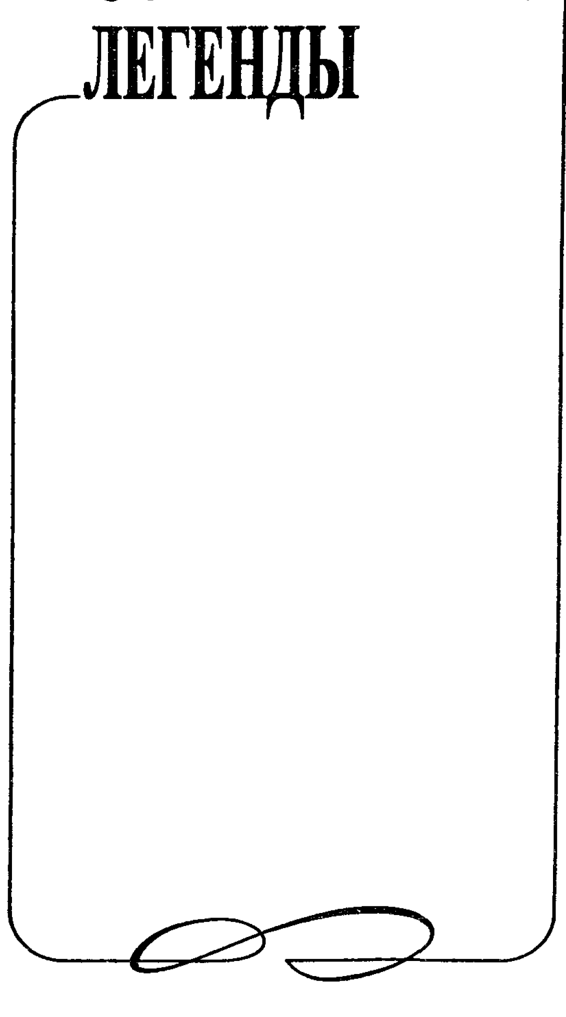
И вспоминаю я... Нам простым, немудреным ничего-то не было открыто, и какая беда шла на весь мир и какое терпение нас ожидает.

Стали мы на колени, в землю поклонились — за всю русскую землю, за весь мир.

— Ты прости нас, Алексеюшка, грешных.

1915 г.

Современные легенды



РОЖДЕСТВО

Из всех домов в Петербурге Комарова дом это единственный — Комаровка.

От Невского два шага, а зайдешь с Миргородской да глянешь, так думается, не в Петербурге ходишь, а в Костромской Буй попал.

Направо дохлая лошадь валяется, наполовину съеденная собакой, а из уцелевшего забора вывороченная доска так и торчит. А налево вы не ходите, там такие кучи грязи намерзли, что уж наверняка лоб разобьешь.

Просто, как стали, поддайтесь немного правее, тут вам прямо дом Комарова и будет: желтенький стоит, как новорожденный цыпленок, облупленный, окна подвального этажа сплошь залеплены грязью — ребятишки врагам своим мазали! — а вверху над домом шпиль торчит, а на шпиле серебряное яблоко.

И у всякого еще в памяти, когда и окна, и ступеньки, да и самый тротуар блестели, что яблоко; тоже и парадная дверь, это теперь она открыта настежь: входи, милости просим, всякому шурыжнику рады.

На крошечной табуретке перед дверями сидел швейцар Тимофей Иванович Мокеев и, как бывало кто сунется, всякого опросит и не очень-то:

— Куда — зачем — к кому?

Если ответ точен и подозрительного ничего не внушает, учтиво отворит двери:

— Пожалуйте.

А мальчишки так те обходили швейцара через дорогу: наозорничаешь, не обрадуешься, не спустит.

Все побаивались Тимофея Ивановича.

И даже архивариус, который теперь под самим Щеголевым в Сенате сидит, чудак из пятнадцатого номера, в своей бессменной лисичьей шубе, выходя, бывало, на крылечко и забывая, зачем собственно вышел, не забывал приподнять свою халдейскую шапку — каракулевый колпак.

— Здравствуйте, Тимофей Иванович! — здоровался архивариус, точно жуя маковник медовый.

— Как здоровье, Иван Александрович? — отзывался Тимофей Иванович и, обнажив голову, размахивал дверь.

А пройдет дьякон — и духовному лицу уважение.

А кухарке:

— Ступай с заднего крыльца.

Боялись Тимофея Ивановича — взыск, чин, порядок! — но и все уважали — кроме собственной жены Агафьи Петровны, иоанитки.

*

Придет такой час, переполнится больная душа, выйдет Агафья Петровна на улицу и запоет.

И поет, ничего не замечая, не слушая, поет жалостные духовные песни о тщете и суете мирской всея земли.

А потом обернется к крылечку, где точно прирос к скамеечке Тимофей Иванович, поблескивая золотым своим картузом позументным, станет против и начнет его вычитывать: много говорит и нехорошо, поминает Лизу племянницу и огородникову жену Татьяну, младенцем в глаза тычет, будто у огородничихи Татьяны Колька две капли Тимофей Иванович, только что суконных штанов не носит.

— Перестань, Агафья, чего срамишься? — тихонько этак и рассудительно уговаривает Тимофей Иванович, — тебе срам, не мне. Меня все знают.

И Агафья как будто уступает, но это только так — затишье.

— А кому колясочку снес? — вдруг прорвет, и она закричит и уж так кричит, будто не одно, три горла, и одно крикливей другого, — кому деньги носишь?

И точно, был грех: из-за полоумной Агафьи скучал Тимофей Иванович и всякое воскресенье после обедни заходил к огородничихе чай пить. И огородничиха Татьяна

всякое воскресенье поджидала кума. Величаво сидели они, как два идола, друг против друга, пили с блюдцев чай, пыхтя и отдуваясь. А за ситцевой занавеской пищал Колька. Напившись чаю, возвращался Тимофей Иванович к своей постоянной обязанности недремного сидения у Комаровской двери.

А насчет Лизы племянницы это совсем неправда: все, как со всеми. Пробежит она мимо, мотая белокурой косой, строго опросит:

— Куда, зачем?

На ходу Лиза ответит, и больше ничего.

*

Весной Агафья Петровна в наитии своем безумном, перепев все песни и осрамив мужа, обозвав всех в доме — всю Комаровку — самым непотребным словом, уехала на богомолье.

А Тимофей Иванович в одиночестве сторожевом, от солнечного ли тепла или от брюквенной каши, вдруг ощутил прилив жизненных сил и его маленькие крысиные глазки забегали беспокойно, ощупывая каждое встречное.

Портниха Перова из восемнадцатого номера, сверкая, как сама весна, ярко-красными сапожками, не сдержавшись, фыркнула:

— Какой нахальный мужчина!

С каждым солнечным днем все игривей становилось на сердце, а на душе необъятней, но ни одного слова, и руками, — как скован, молча Тимофей Иванович только смотрел — —

И не Перова, не ее подруга Надя, попала на угольки племянница Лиза.

В октябре тихая вернулась Агафья.

И хотя в Петербурге было еще очень тревожно после недавнего наскока, никакая тревога не завладела ее душою.

Не тревога, ужас —

С ужасом заметила Агафья перемену.

А на все расспросы Лиза начала плести такие небылицы — о брюквенной каше, от которой будто бы полнеют, и супах советских, от которых будто бы отекают, так запутала, так закрутила, что несчастная и сна лишилась.

И вот в бессонные-то ночи точно озарило измученную душу и в горестном ее сердце вестным словом прозвучало откровение:

«От Лизы родится Спаситель!»

И с этой ночи не узнать стало Агафьи.

Дни, недели — прошел Михайлов день, прошло заговенье — все заботы, все думы — Лиза, — и никого больше: ни мужа, ни огородничихи Татьяны, ни ненавистных комаровских жильцов — одна Лиза.

Озабоченная, с благоговением глядя на племянницу, целыми днями возилась с нею Агафья, охраняя и опекая избранную среди избранных.

И когда в сочельник за толстым слоем ватошных оттепельных облаков зажглась звезда и в боковой комнатенке раздался писк новорожденного, Агафья склонилась перед младенцем, как волхвы, как пастухи, как вол и конь, и из ее вспугнутых глаз полились слезы, что опять — на земле опять родился Спаситель мира.

— Слава тебе, даровал нам великую милость!

И, качая младенца, запела.

И эта песня? и эти напевы? откуда брались такие чистые звуки? Обрадованное ли сердце выговаривало, душа ли измученная славословила, что опять на земле родился Спаситель мира.

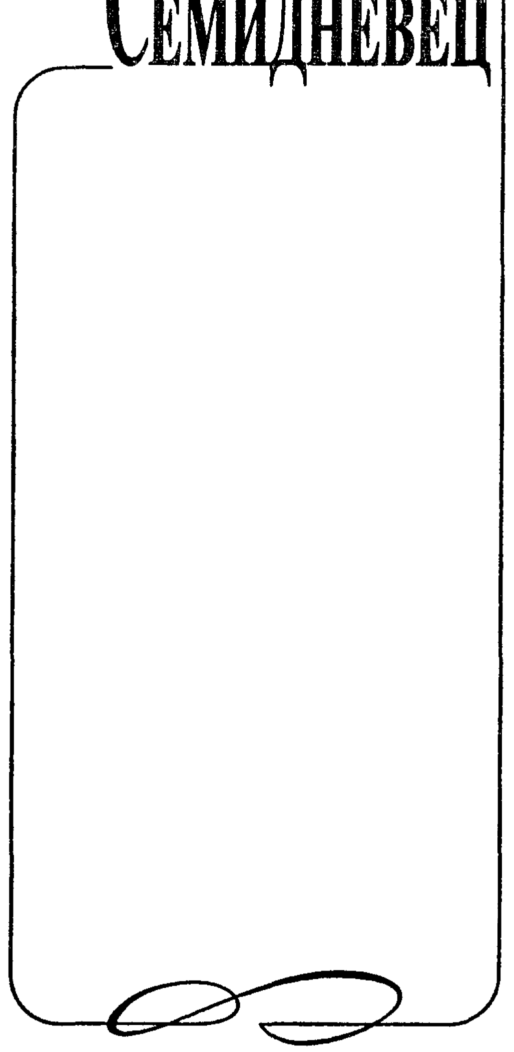
Бывший дьякон, спец-мощевик, спускавшийся с лестницы, прислушался.

— А и славно поет твоя баба! — баснул дьякон по старинке.

— Простите, отец дьякон, полоумная! — и на лице Тимофея Ивановича застыло презрение.

1919 г.

Семидневец



ИЗОШЕЛ

1

Кто хоть раз сиживал за каменными стенами губернского острога, знает Ивана Парфеныча Голубкова. Знают его и судейские и все прокуроры и сам тюремный инспектор Волков, который курит сигары из яшмового мундштука — дар Османа-паши.

Без пяти годов полсотни лет стукнуло на Аграфену Ивану Парфенычу, а так дашь ему не больше тридцати — румяный, кудрявый и вся борода в мелких колечках. Жаль, ростом не вышел, за то вширь пошел.

С десяти он в тюремной канцелярии, узкой и длинной, за своим столом, обложенный бумагами.

Шуршит, вертит, записывает.

— Эх, вы, голубчики, острожные мотыльки!

А помощники начальника кругом похаживают, искоса на него поглядывают, как в самой сказке красношапошной, ждут: разобрав бумаги, даст Иван Парфеныч каждому подходящее, каждому втолкует, что и как делать и с какою бумагою.

Народ, ведь, все легкий, разброщивый, и чем бы в дело вникать, всяк норовит как бы в кинематограф пройти или переметнуться в картишки.

Без Ивана Парфеныча все дело пропало бы, Иван Парфеныч — известно!

— Я, — говорит, — со времени военной службы двадцать два года за этим столом сижу, пол протоптал.

И всем рад услужить.

И нет у него злобы русской, ненависти застарелой.

Деловитость и чадолюбие выше всего ценил Иван Парфеныч и нелицемерно гордился своим потомством.

Кругленькая в отца, старшая Люмушка против него за тем же столом. Строго ее учит отец канцелярскому делу. Закраснелась пушистая щечка, растрепалась коса: опустив ресницы, щелкает она костяшками, и пишет, — шелестит листок за листком.

— По-божески! — говорит Иван Парфеныч в оправдание своей строгости.

Словоохотлив Иван Парфеныч, любит порассказать о житейском и прошлом своем, и какая тюрьма была раньше — исконное место дел его и действий.

— Вместо канцелярии, — говорит Иван Парфеныч и всегда с каким-то необыкновенным удовольствием и весьма отчетливо, — тут вот стоял деревянный сарай с такими большущими окнами, а сидел я не на этом месте, а вон там, где Марк Николаевич сидит. (Марк Николаевич — это писец, двумя пальцами пишет, только их у него два и осталось). А через три года построили каменную тюрьму, а еще через полгода я женился. Жена моя в горничных у исправника была. Говорю я ей: «Александра Петровна, нужно закон исполнить!» А она мне: «Это, говорит, голь с нищетой повенчается! У тебя даже и тюфяка нет, чтобы спать лечь!» «Даст Бог, Петровна, наживем!» — говорю. И точно, с самого того дня, как повенчались, все хорошо пошло. Надежда на Бога беспроигрышная. Я пошел в первый же день сюда на службу, а она с корзиной на руке на фабрику. Так и начались дни.

В канцелярию вбежал рыжий, как таракан, начальник.

Помощники засуетились.

Трепет прошел по столам.

И один Голубков сидит, как был: все равно, без него не обойдутся.

И только, когда начальник подошел к нему, он поднялся и сразу, точно, не суетясь, стал объяснять самую суть дела и до того толково, самый бестолковый сообразит.

Так жил Иван Парфеныч, делая дела и не тужа.

И ведь дожил бы до честной кончины и под плач трех дочерей своих — Люмушки, Раечки и Валечки под высокий бы крест лег на Подосеновском кладбище, да кто ж ее знает судьбу-то конечную, и все вышло совсем не так и не то, что гадалось и думалось.

2

В один осенний дождливый день, когда в канцелярии из всех служащих сидел только Иван Парфеныч, заканчивая какие-то спешные дела — Иван Парфеныч частенько задерживался на час и даже больше — в приемной по-привычному брякнули ружья и затопали шаги.

Не обернулся Иван Парфеныч: знакомое дело — арестантов приводят пять раз на дню, это его не касается.

Да не случилось на время дежурного, один помощник начальника Густав Густавович, хромой.

Хрипло пискнул Густав Густавович.

Ну, значит, надо помочь.

И сумерки да и от дождя совсем затемнило, взял Иван Парфеныч лампочку, поставил на столик у перегородки, еще взял листок бумаги.

— Ближе подойди! — окрикнул арестанта.

И тоненький луч от лампы осветил бледное лицо, глаза, черную бороду.

Иван Парфеныч замотал головой: и веря и не веря глазам.

— Миша, ты? — спросил он, пристально глядя на арестанта.

— Тише! — — я Иван Исходящий.

— Что вы тут говорите? — пискнул Густав Густавович.

— Ничего-с, это мне померещилось, — ответил по-всегдашнему Иван Парфеныч, и только листок задрожал в его руке.

Густав Густавович подошел к перегородке.

— Как звать? — пропищал хромой.

— Иван Исходящий, — повторил, насмехаясь, арестант, — был входящий, теперь исходящий, широкой земли гражданин, звания не хочу говорить! — и нетерпеливо подернулся весь, — надоели вы все.

— Аристов, возьми его в подвал, — пищал Густав Густавович, — в подвал, там вымоется в бане. Опрыскай одежу и во 2-й.

Стукнули шаги и все пропало.

«Мишатка, братенок! Ведь, я его на руках носил! И что это сталось, Боже мой!».

Хочет Иван Парфеныч дела закончить, а этот Мишатка — Иван Исходящий, которого повел Аристов сначала в подвал, потом во 2-й корпус, этот брат исходящий путает ему все дело: и простое привычное не поддается, небывалым обертывается, головоломным.

Всю ночь не спал Иван Парфеныч.

И только что заведет глаза, через него как стрела: так он и подпрыгнет, а брат будто стоит перед ним.

«Тише! — — я Иван Исходящий».

А ведь он никак не думал, что с братом такое выйдет, думал, что как в Сибирь уехал, устроился хорошо, и все благополучно. И понимает, и никак не может свыкнуться, что случилась беда и эта беда не без причины. Самой причины он не допускает.

Изметавшись, встал поутру, хотел помолиться, как привык с детства молиться, да рука не подымается лоб перекрестить, хотел заварить чаю, чайник разлил, разлил и выругался очень нехорошо, чего никогда не бывало.

С камнем на сердце пошел в канцелярию.

3

Какая была ясность голубковского духа!

Какое спокойствие голубковской души!

и оттого, верно, и речь его такая, только его, Голубкова, — и поймешь и увидишь, а если укор, не обидишься.

И все через него, через эту ясность и спокойствие, как-то хорошим показывалось, и навязшее, как новое, и приевшееся нескушным, а люди — да тот же Густав Густавович со всем изнутренним своим хромоножием, с писком придирчивым, милейшим Густавом Густавовичем.

И вот оборвалось — жизнь оборвалась, жизнь оборвалась — началось житие.

А вы знаете, что такое житие? — да ведь это труд самой жизни, тягота дней, каждого дня — вот что такое житие, не жизнь!

И как часто вспоминался теперь Голубкову судебный кандидат Фирсов, спорщик и такой острый до боли и глазами, и улыбкой, и беспощадным словом, этот Фирсов говаривал со своей такой улыбкой:

«Жизнь как хватит поперек через всю спину слева направо, забудете тогда славословие петь, за детей своих и братьев еще покаетесь!»

И вот оно пришло: хватило поперек — —

Брат, которого он когда-то на руках носил, сидел тут за стеной во 2-м корпусе, и то, что брат сидел за решеткой, а сам он ходил на свободе, с этим он никак не мог свыкнуться, а также не может он принять и то, что все это так и должно было случиться, да и как ему принять, раз самой причины — из-за чего попал брат в тюрьму — он не допускает.

Вот оно, какое дело — бесконечное!

В одно из свиданий брат сказал:

— Запеки, Иван, пилку в хлеб: мне бежать надо.

Если бы кто-нибудь сказал про такое, Иван Парфеныч просто рассмеялся бы, принимая за самую смешную шутку: Иван Парфеныч и то дело, которое он так отлично делал, это дело с ним нераздельное, — в деле же во всяком есть закон и этот закон нельзя нарушить, или — —

И дело, которым гордился Иван Парфеныч, пошло насмарку.

Иван Парфеныч разрезал булку с обеих сторон, в середку положил пилку и, передавая хлеб брату, сам нарочно отломил кусок с того конца, где ничего не было.

— Помилуйте, чай, свой-то человек надежный! — заметил помощник Сементкович, искренно не понимая, как это Иван Парфеныч и точно не знает, что скорее начальника заподозришь, прокурора заподозришь, но его — Ивана Парфеныча — —

Темною ветреною ночью Иван Исходящий бежал, надписав на стене углем:

иван изошел

4

По-прежнему с утра и до позднего вечера сидел Иван Парфеныч в канцелярии за своим столом над послушными ему бумагами.

Никому, конечно, и в голову не пришло, чтобы он что-нибудь подобное — пилку там арестанту передать в хлеб или еще что. Скоро и вообще-то об этом забылось — мало ли бегает арестантов и с пилками и без пилок!

Но сам-то Иван Парфеныч ничего не забыл.

И еще никак ему не забыть о этом брате своем исшедшем:

иван изошел

Иван Парфеныч затосковал.

И не то, что он нарушил дело свое, смошенничал, нет, не это ему стало, нет, он уж если хотите, понял, что иначе не мог поступить. И о брате тоже, не то его замучило, что брату выпала доля такая, нет, не о брате, а о себе, что его-то собственная доля, что это такое?

Работа валилась из рук.

И ничему уж не рад.

Уныние напало — муть в голове, тоска на сердце и нету света нигде, тускло.

Отойти в сторонку, чтобы не видно, сжаться так вот — —

И нет никакой надежды.

И конца нет.

Летом в первый раз за всю свою службу взял он отпуск — ходил на богомолье. Говорил со старцем, — добился-таки праведника на земле грешной!

Старец сказал:

— Дух уныния, соединяясь с духом скорби и через него подкрепляемый, дух лютый и тяжкий. Но надо помнить, что часто из любви поражает Бог своим духовным жезлом человека, чтобы преуспевал человек в добродетели. И в конце концов непременно произойдет изменение и все просветлеет опять и станет неколебимей. И еще надо помнить, — сказал старец, — что без Божьего попущения враг ничего не может нам сделать, и если печалит дух наш, то лишь столько, сколько попускается ему от Бога. И ничем человек так не может доказать своей любви к Богу, как благодушным перенесением печальных обстоятельств, и это возводит его к высшему совершенству. Иначе неблагодарность, хуление, сомнение, страх и отчаяние наполнят и вконец измотают душу. Сколько силы есть, надо молиться, — сказал старец, — а к молитве приложить чтение и рукоделие.

Иван Парфеныч никогда ничего не читал, но дело делал.

— Я работаю, — возразил он, — да все из рук валится.

— Понуждай себя, — сказал старец, — а когда останешься без дела, переноси мысли свои на какой-нибудь предмет божественный или простой человеческий сердечный. Главное же терпение и упование. Ведь, враг и наводит на нас уныние, чтобы лишить душу упования на Бога, но Бог-то никогда не допустит, чтобы душу, уповающую на него, одолели напасти.

И когда говорил старец, становилось легко и казалось, что все так и будет: он победит уныние свое и пойдет жизнь по-старому полной чашей, нет, еще полнее, дочерей замуж выдаст, внучат дождется — — А когда вернулся в свою тюрьму и взялся за канцелярское свое дело, сразу же в первый же день ясно увидел, что не может.

И с каждым днем это все яснее ему.

А главное, конца-то не видно.

В полдень, когда в канцелярии никого не было, и даже Люмушка вышла, Иван Парфеныч, по-всегдашнему задерживающийся, один был среди бумаг тюремных.

В руках он держал какое-то дело, которое нужно было ему положить на стол, и он этого никак не мог сделать: и не то, чтобы забыл, а просто пошевельнуться не мог.

И в таком оцепенении своем безнадежном увидел крюк от лампы, знакомый, испокон века торчавший в потолке. И какое-то чувство смутное, но сильное, как от случайной находки, в которой может быть цель всей жизни, толкнуло его и сразу он вышел из оцепенения своего.

Дело положил он на стол, куда следует, потом пододвинул стол, поставил на стол стул, сам залез на стул, зацепил за стул сахарную бечевку и как-то само уж собой вспетлил бечевку — и так же вошла петля как-то уж само собой на шею —

Что ж еще?

— Ну — — прощай!

И оттолкнул ногами стул.

И там, над бумагами, где никогда не светила лампа, точно в насмешку, в самый ясный осенний полдень, закачался вместо лампы, как темная лампа, спокойный и ясный Голубков.

1919 г.

КРЕСТИКИ

Жизнь моя померкла. Один я остался на свете. И никому не нужен. Да и мне никого не надо. Влачу дни в постылом труде, чтобы зачем-то еще тянуть на земле.

А ей-Богу спокойно бы помер.

Главное, что не вижу никакого просвета — такая впереди равнина и конца ей нет.

Не рвусь никуда, как раньше. Да и некуда. И знаю, от своей судьбы не уйдешь.

Мерно колышется воз. Между оглоблей тощая ребрастая кляча, наклонив голову, тянет его из последних... Где надежды? А ведь я родился не оглодком. Где идеал? И не сухарем рос я. Где строительство жизни? Верил в какую-то справедливую жизнь, на создание которой и я положу мой камень... И вот слышу свист кнута да понуканье:

— Но-но, ты! Кляча!

А в последней моей надсадке, как в насмешку, мне видятся кони и тут где-то близко посвистывает московский ямщик:

— Эй, вы, голуби!

А какие кони? Кони — кляча. И какой ямщик? Первый, кто захочет, у кого есть хлыст.

Вечером, вернувшись со службы в свою пустую неуютную комнату к своему письменному столу — стол, это единственное, что и осталось у меня от прошлого! — я остаюсь один и сам себе хозяин.

А какая мне радость: мне незачем быть хозяином. А одиночество меня не пугает: я всегда один, везде.

Как пусты будни, но еще пустее праздник! Праздники я несу, как самое жестокое проклятие: просто деваться некуда.

И опять скажу, будет и у меня праздник — настоящий, и будет он тогда, когда меня не будет.

Не страшна смерть, а просто неизвестна. — Вероятно, ничего и нет, а так провалишься в пустую дверь — и конец.

*

У меня, как и у всех, была мать, отец, близкие и любимые люди и всем-то пришел конец. И один я, только один на земле и есть.

Никого и ничего не осталось.

Нет, пожалуй, не ничего. Осталось! Семь крестиков в коробке на столе остались, да большое распятие на стене над постелью.

Крестики — это прошлое, мое прошлое.

Крест — будущее, мое будущее.

Когда улягусь я в последний раз на своей узкой койке, в моих скрещенных холодных руках будет этот черного дерева крест в медной оправе с медным рельефным распятым Христом.

Так и понесут...

А помню хорошо, как появился этот крест.

Было такое светлое, громкое весеннее утро. Больше я не слышу таких звуков и от солнца прячусь — или глаза мои ослабели или всякая яркость, как и всякая резкость, чересчур требовательна, а где уж ответить! В глухой городок, где мы тогда жили, пришел венгерец-коробейник. Не обошел и наш дом. С грохотом опустил он на пол прихожей свой тяжелый короб перед отцом и матерью — мать держала меня за руку.

Раскрылся короб и полились материи, картины, книги, листки, шелк, золотые вышивки, ну, все, что приносят венгерцы. Наконец, на самом дне очутился и этот черный с медью крест, его и купила мать.

И как часто потом поминала она этот крест.

— Куплен тяжелою мукой всей моей жизни, — поминала она, — и принес мне злую судьбу.

После ее смерти крест достался мне и связал ее судьбу с моей.

А вот крестики... крестики, это другое дело.

Каждая женщина, — кого я любил и меня кто любил, — оставляла на память крест. Крест надевался на меня с благословением и со слезами. А я его снимал с шеи, клал в стол в коробку и забывал. Я уж другую любил и другая дарила крест. Ее сменяла третья, четвертая...

В минуты уныния и тоски нестерпимой усаживаюсь я за свой старый письменный стол и из правого ящика вынимаю розовую выцветшую коробку с надписью тиснеными буквами — рябиновая пастила Абрикосова — и крест за крестом, крестики тельные раскладываю по столу.

Тут все: и укор и умиление и такая боль, — только после сна, когда вдруг приснится чего никак не вернешь, так душа болит.

*

Серебряный большой крест со сплошными лучами, как ромб, на серебряной цепочке...

Помню пустую длинную с низким потолком комнату на Большой Гончарной в Таганке. На столе около сдвинутых к стене книг водка, пиво и закуска самая простая — огурцы и селедка. За столом хозяин, мой приятель, Александр Иванович, лет на двадцать меня старше, неповоротливый и великий, как слон. Я ему не для водки, которую он пьет один понятливо и сладко со чмоком и горько до слез, я ему для разговора.

Живая, но заблудшая душа его, запутанная словами, я теперь понимаю, рвалась из всех сил на волю, а чего-то не было и он еще запутывался — до петли.

И вот я с ним разговариваю и кажется ему через мой разговор выкарабкивается он на свет Божий.

Познакомился я с ним в Тургеневской читальне и над книгой у нас завязалась дружба.

Все торговые дела ведет его мать и сестра, а он так — непутевый: днем он заходит в лавку посидеть, чаю попить, а вечера — в читальне. Мне, с ним по дороге и дорогой у нас всегда разговор, но главное там — в его пустой длинной комнате на Гончарной.

И о чем только мы с ним не говорили: и о Боге, и о вере, и о социализме, и так о прочитанных книжках, и так о событиях из жизни.

И когда мое слово приходилось ему особенно по душе, он ладонью вытирал себе губы и с умилением целовал меня. И это случалось всего чаще в большом подпитии, когда глаза его наливались слезами.

В разговорах мы просиживали до рассвета. Приятель начинал клевать носом и я уходил домой — жил я по соседству в Каменщиках, в двух шагах от Терехина.

Как-то на наших беседах появился приятель Терехина — здоровый малый, крепкий, кудреватый и очень хорошо одетый. Сам Александр Иванович ходил рвано и мято, а этот его приятель в перстнях на толстых пальцах. Его называл Терехин Сеней — Семен Петрович Краснопеев. По душе он был прямой противоположностью Александра Ивановича, никакой не мечтатель, а человек самой аршинной жизни, из молодых, крепко державший отцовское дело.

В разговорах он мало принимал участия, а если задавал вопросы, то всегда такие, которые сводили все наши полеты на самую рыночную таганскую толкучку. Пил он не меньше Александра Ивановича, но головы не терял и только в подпитии совсем уж не подавал голоса, и слышал ли что, трудно сказать.

И не знаю я отчего, но вдруг во время моего разговора он подымался и, бережно обтерев себе платком крепкие свои усы, целовал меня, как Терехин.

А Терехин в такие минуты смотрел на приятеля с особенным ободрением, в котором было и удовольствие и поощрение. После я догадался: Александр Иванович задумал развивать приятеля и в этом поцелуе его видел явный успех от своих стараний, — коли поцеловал, значит, проняло, а проняло, будет толк.

С появлением Краснопеева произошло изменение в пустой терехинской комнате: у окна появился столик, накрытый скатертью. И в первый раз я увидел сестру Терехина Елизавету Ивановну: сильная в брата и совсем не похожая, никакой путаницы, под стать Краснопееву.

Елизавета Ивановна обыкновенно подымалась наверх с подносом, на котором было полно всяких гостинцев: и орехи и яблоки и сушеный виноград и шептола и пастила. Поднос она ставила на столик, а сама присаживалась к нам к столу, залитому водкой и пивом, и не отказывалась от рюмочки, которую выпивала по-бабьи в несколько приемов, морщась, как какое лекарство горчайшее. Ни со мной, ни с своим братом она не разговаривала, а всегда и только с Краснопеевым, и наш разговор философский перебивался всякими расспросами и соображениями самой рыночной таганской толкучки.

За чаем для меня спускался вниз Александр Иванович, но однажды с Елизаветой Ивановной появилась у нас ее дочь Лида, тоненькая гимназисточка, вся голубая — такой первоцвет у меня остался от нее неизгладимо в памяти — и уж Лида стала приносить мне чаю.

Лиде было пятнадцать лет и мне пятнадцать.

Я очень любил книги и мне приятно было разговаривать о них и я нисколько не тяготился полунощными беседами с моим несуразным приятелем. Но скажу по правде, с тех пор, как появилась в пустой комнате Лида и голубой

ее цвет мелькнул в клубах серого табачного дыма, я стал чаще заходить к Терехину. И говорил я горячей и смелее.

Лида никаких книг не читала и разговоры наши были для нее темны, но она сидела с нами, как слушала.

И все дольше и дольше с каждым разом оставалась она с нами за нашими разговорами. И, бывало, время спать ложиться, а мать не гонит ее, и сама уйдет, а ей хоть бы слово.

И до рассвета голубой свет ее светил, не гас, в табачном сером дыме.

Сначала мне непонятно было, почему это так, такая вольность, но скоро из пьяных намеков приятеля я понял, что Лиду метят в невесты Краснопееву.

Боже мой, что я тогда почувствовал, какая боль вонзилась в меня и обида, точно я был кем-то жестоко обманут. Я винил всех и ужасался. А ведь было все так просто, и чем, в самом деле, плох был Сеня Краснопеев или чего преступного было в желании матери пристроить дочь за дельного человека?

Я по-прежнему бывал у Терехина, но что-то в самой глубине моей было оскорблено, а эта боль моя только и могла выразиться в страстности моих слов, от которых Александр Иванович, ничего не подозревая, просто пьянел, как от самого крепкого вина, и лез целовать меня и целовал с таким умилением, точно губы мои были святыней.

Я следил за Лидой, мне хотелось узнать, что она чувствует и известно ли ей, или она ничего не знает о замыслах матери, и откуда ей такая воля сидеть с нами до рассвета в пьяном табачном чаду.

Лида смотрела на своего жениха теми же самыми глазами, как и на путаного своего дядюшку, в этом не было никакого сомнения. Но это меня нисколько не успокоило. Другая мысль ошеломила меня: ведь, все равно, думал я, когда мать начнет открытое сватовство, со стороны Лиды, а я это твердо знал, не встретится никакого отпора — из какой-то своей глуби голубой она на все согласится.

И уж винить мне некого было, но и поправлять нечего было: перед стеной остается одно, если тебе мешает стена, просто удариться и проломить себе лоб.

Все это я очень хорошо понимал, но примириться никак не мог.

И все, что я ни делал, выходило с каким-то ожесточением, — душа у меня горела.

Я до сих пор помню это чувство свое горящее, помню и ясный вечер, напоенный грустью зари осенней, Рождество Богородицы.

На наших вечерах разговорных я никогда не пил и сколько ни угощал меня Александр Иванович, я всегда отказывался. А вот этот вечер я не отказался и почувствовал себя совсем свободным и смелым.

Уж было заполночь. Разговор вошел в вихревой круг — слова не договаривались, мысли перебивались. Табачная и винная гарь перехватывала горло. И только голубой свет, как голубой огонек, неизменно мелькал.

И, кажется, никогда и не ушел бы и остался бы в прокуренной комнате, пока жив, не померк голубой этот свет, а с ним боль и отчаяние и свобода моя.

И когда наступила минута и Лида вышла, я пошел за ней. Я догнал ее в коридоре.

— Лида!

Быстро она обернулась.

И оба стали. И без слов поняли.

И она прижалась ко мне, как птичка.

— Лида! — и сердце мое забилось часто, как билось и ее сердце.

Вдруг она насторожилась и показалось мне, будто заворочался кто-то за дверью.

Но это только показалось.

И я поцеловал ее тонким поцелуем первым.

А она посмотрела, точно издалека откуда, и проскользнула в ту дверь...

Наверх я больше не вернулся.

Сердце мое горело — то горело, то стыло, как лед.

И с тех пор всякий раз я улучал минуту и в коридоре на том же самом месте мы встречались — жалкий полусвет висячей лампочки светил нам.

Не было никаких поцелуев, молча мы глядели друг на друга, точно боялись слова, потом она чуть касалась моей руки и быстро пропадала за той дверью.

Я не помню, я ничего не помнил, дни неслись, все голубело, а то, что я слышал, рассекало мою душу: не намеками, а откровенно говорили о свадьбе.

Краснопеев не пропускал наших вечеров. С Елизаветой Ивановной уходили они на ее половину, и наверх возвращался один, когда Александр Иванович оканчивал свою горькую.

— Лида, неужто это правда? — я, наконец, спросил ее.

— Да, правда, — ответила она едва слышно, но твердо и безусловно.

Что же мне было сказать?

А она быстро сняла с себя крест и, так же быстро приподнявшись, надела его на меня и, не давая мне говорить, обняла мою шею своей тоненькой ручкой.

*

Золотой обыкновенный крестик на тоненькой золотой цепочке...

Первая и единственная моя весна в деревне. После города, где прошло мое детство, все мне было и удивительно и первое время враждебно. Я не умел ходить по земле, я по нескольку раз проходил по одной и той же дороге, а все мне казалось внове. И если бы пустить меня одного, я заблудился бы около самого дома у старых лип, стеной окружавших дом.

Собак я боялся до смерти — неизгладимое воспоминание школьных лет: несчастные маленькие собачонки, которые изо дня в день сзади нападали на меня, когда ближайшим путем через длинный проходной двор возвращался я из училища. Не меньше страшны были и коровы — и самая молочная белянка представлялась мне свирепым быком, который шел на меня, чтобы бодать. Я боялся лошадей, свиней, пчел, ос, жуков, муравьев, я только не боялся кур.

И наперекор всем страхам моим и беспомощности жил я, весь зачарованный зеленой землей весенней.

На прогулках неизменным спутником моим была Наташа.

Сначала она смеялась надо мной, над моей растерянностью и неуклюжестью, с какой я, сжившись лишь с каменной улицей города, ступал по земле некаменной,

подымала на смех вопросы мои — моя полная невинность в хозяйстве только и могла вызывать смех — нарочно подводила меня и под собак, и под коров, потешаясь моей ненаходчивостью, но восторг, с каким встречал я каждый цветок, умиление мое, с каким прислушивался я к птичьему лепету, покорили ее. И она уж оберегала меня, предупреждая все мои страхи.

Весенние зеленые листочки, до которых страшно дотронуться, так они чисты и нежны, лунные майские ночи с туманными зелеными полосами по аллеям и черным живым воздушным провалом — зеленый волшебный свет не покидал меня.

И этот свет был в ней, и она всегда со мной.

Я как-то совсем не замечал, что и часа не мог быть без нее. И казалось мне, так будет всегда.

А когда на прогулках мы шли по полю или в лесу, мы шли тесно, плечо к плечу, и шаги наши сливались и были мы, как одно.

И с какой невыразимой горечью, едва удерживая слезы, забившись в вагоне, ночью я прижимал золотой крестик, который она подала мне украдкой, когда мы прощались и, держа мою руку, что-то хотела сказать, но губы вздрогнули и зеленый свет ослепил меня.

*

Серебряный крест на толстой серебряной цепочке...

Московская осень с дождем унылым и липкой грязью — любимая пора, когда под тоскливый вой ветра думается остро и горяча мечта.

. . . .

По билетику я нашел себе комнату на Коровьем валу.

Я забрался в такую даль, чтобы остаться одному: мне надоели все эти вечеринки и опостылели разговоры и песни. До университета мне было не близко, но путь на Моховую, через Замоскворечье, меня не пугал: шлепать чуть свет под мелким моросящим дождем или возвращаться в глубокие сумерки, когда зажигают фонари, да это такая острота, как и сидеть над книгой, прислушиваясь к ворчливому ветру.

Мадам Аннет — Анна Ивановна Самойлова — моя хозяйка, женщина закатывающейся молодости, рослая не

по-женски, какая-то поляница, рыжая, со свиным обликом, неуловимо отпечатленным на всем лице от лба до подбородка, первое время за что-то невзлюбившая меня, встречала грубо, делая мне кстати и некстати самые оскорбительные замечания.

Я не обращал никакого внимания — я был полон моими занятиями, книгами, которые трепетно, как самый хрупкий фарфор, приносил я из университетской библиотеки в свою тесную комнатенку.

Какие несчастные обездоленные люди, для которых мои драгоценности — все эти ученые и волшебные книги — поистине драгоценнее золота и самоцветных камней, были только обрезанной бумагой, годной для заверток и цыгарок!

Я тогда думал, что книжник, любитель книжный не может быть злым. Мне представлялось, что если бы люди полюбили книгу, как я любил, прекратились бы на земле и ссоры, и раздоры, и на земле, как в небесах, расцвел бы райский мир.

Моя комнатенка — загон мой с окном в забор — была самая тесная, какую когда-либо отделяли в домах для жилья. Бог знает, кому и для чего она предназначалась, но в ней была лампа и книги, и этого с меня было довольно, даже больше, я считал себя счастливее самого богатого богача, у которого не одна, а десяток комнат и каждая во сто раз больше загона, но ни в одной нет моих драгоценностей — моих книг.

В книгу я был влюблен, как в живое, светящееся своим светом, в котором волнилась и лазурная глубь Лиды и лунная зелень Наташи.

Смех соседок моих, мастериц и учениц-подростков, меня ничуть не трогал, мне было все равно, и только, когда я находил в книгах какую-нибудь удивительную мысль или такое слово, которое повторялось само собой, мне хотелось войти в их рабочую комнату и рассказать о моем счастье. Но я никогда не решался заглянуть к ним, и только встречаясь в коридоре, иногда не мог удержаться и, хотя не говорил о книгах, лицо мое сияло, я говорил что-нибудь самое обыкновенное и таким голосом, от которого и в коридоре, а потом и за стеною смех подымался пуще и заразительнее.

Конечно, для них была смешна моя тогдашняя опьяненность и совсем непонятна и всякое слово мое казалось им балаганным, но смех их был добрый и смотрели они на меня с улыбкой.

Занятия мои шли взахлёб и я не нарадовался Коровьему валу, моему загону, куда могла толкнуть меня только сама судьба.

А случилось такое, о чем мне и стыдно и досадно вспоминать. Все занятия мои перевернулись и я просто вычеркиваю наступившую зиму из моей тогдашней жизни.

Или я должен был так позорно унизиться, чтобы потом уж гордо стать? Я и стал, и все-таки, скажу, с этой зимы, с пропадом моим зимним, на всю жизнь что-то хряснуло во мне.

Анна Ивановна — мадам Аннет — не пропускавшая случая грубить мне, вдруг изменилась.

Никогда я не знал, да и теперь не могу понять, что могло умягчить ее зверское сердце, больше того, так безгранично расположить ко мне.

Или молодость моя, книжная моя влюбленность — силой я никогда не отличался и при банях служить не гож — я только с книгой, только в мыслях скатывал горы.

А должно быть, что так: разгоряченность моего духа, моя пламенность, покорила ее зверское существо.

Как-то вечером, когда я сидел за книгой, в комнату мою вошла Анна Ивановна и со всем шумом, свойственным только ей, а рыжие распущенные волосы ее наполнили весь мой загон.

Одета она была необыкновенно: какая-то тончайшая в кружевах распашонка, на руках тяжелые браслеты, паутинные туфельки.

Смотрела она нагло и самодовольно.

— Ну, что, Сергей Александрович, хорошо? — в первый раз назвала она меня по имени, а не просто Маркеловым, как всегда.

— Очень хорошо, — ответил я, не зная, что и сказать, — какие кружева!

И, должно быть, ответ мой доставил ей величайшее удовольствие — с самодовольным хохотом она шумно вышла.

Я сейчас же открыл форточку: приторный запах не то помады, не то пудры помадной насытил весь загон мой.

Но от ее рыжих волос я никак не мог избавиться, — они прилипли и к книгам и к моей тужурке и к моей постели.

Да и от нее самой я уж не мог освободиться.

С этого вечера она стала моим постоянным гостем. Она придиралась ко всяким пустякам, чтобы только войти ко мне, сесть к моему тесному столу и начать разговоры.

И я отбывал вроде как повинность, когда она разговором своим отрывала меня от книг. Я старался утешить себя, что иначе невозможно, что она хозяйка и имеет все права, и хуже было бы, если бы донимала она грубостями и грозила выгнать.

И что же вы думаете, я не только утешил себя, нет, я понемногу совсем привык и даже стал ждать ее — ведь, непременно придет, непременно сядет вот тут и заведет разговор.

Но этого ей было мало, я стал замечать, что уж очень что-то близко придвигает она ко мне свой стул — ведь, еще чуть-чуть и очутится она у меня на коленях.

Да так и вышло.

Я растерялся: мне было и тяжело, и неловко и, еще скажу, отвращение почувствовал я, но ничем не выразил и не высвободился.

А она было довольна не меньше, чем тогда от моего ответа, когда я похвалил ее маскарадную кружевную распашонку.

Я был так наивен, я вообразил, что этим все и кончится: ну, села, думал я, ну еще сядет когда, и больше ничего, а уйдет и я опять за книги.

Между тем заботливость ее обо мне с каждым днем увеличивалась и однажды она затеяла сама сшить мне новый костюм — ходил я очень отрепанно и моя студенческая тужурка была в самых разношерстных заплатах, как в медалях.

И вот тут-то на одной из примерок я и сорвался.

Я был переведен в большую светлую комнату. У меня была такая обстановка, о которой я никогда и не мечтал. Меня откармливали дичью и пирогами. Бог знает, в кого судьба меня обратила. Я перестал ходить в университет.

Я занимался лениво и равнодушно и книга лежала по неделям раскрытой все на той же странице. Большую часть времени я ничего не делал, я только спал и ел.

Новая комната моя была далеко от мастерской и до меня не доходил ни разговор, ни смех, но иногда среди ночи вдруг мне слышалось — это был смех, но это был совсем другой смех, смеялись надо мной и нехорошо.

Но как было и не смеяться!

Бог знает, в кого я был обращен.

В коридоре я редко показывался, редко встречал мастериц, но когда случалось столкнуться, мимо меня проходили осторожно, а смотрели заискивающе и даже боязливо, и я опускал глаза.

Откормленный и обленившийся, я проклинал мой корм и мою лень и всем существом моим возненавидел хозяйку, начало и исток моего свинства и лени, но опутанный заботливостью, я не видел себе никакого выхода.

Часами я выслушивал глупейшие ее рассуждения и базарную болтовню: она всё выкладывала передо мной — все мелочи своей хозяйской жизни.

Обыкновенно я отмалчивался, впрочем, от меня и не требовалось никаких слов, но иногда я изменял себе и, сдерживаясь, говорил последние грубости, оскорбляя и мстя за свою собственную низость и свинство.

Я видел, с какими покорными глазами она слушает меня и еще больше горячился, подбирая самые обидные слова.

А все кончалось очень глупо: я криком моим не только не поправлял ничего, а еще глубже загружал, я сам заколачивал последние щели на волю.

Наговорив грубостей, я вдруг спохватывался или, обезоруженный покорностью и молчаливыми ее слезами, начинал заглаживать все свои резкости и все сводилось на нет. Нет, больше, я так переводил все разговоры и смягчал до такой мягкости, что свиное лицо ее расплывалось от удовольствия.

Я не знаю, к чему бы привела меня зима со всеми удобствами моей тогдашней жизни, а вернее, в один прекрасный день с отчаяния, не видя никакого выхода, я выбросился бы на мостовую, и только счастливый случай вывел меня из моей безвыходной неволи.

Мое отсутствие в университете не прошло незамеченным. И один из моих товарищей, большой тоже книжник, но за книгами не потерявший житейского соображения, отыскал меня и, должно быть, и по моей комнате и по лицу моему все понял и без всяких разговоров объявил мне, что я должен ехать с какой-то ученой экспедицией и отказываться мне никак невозможно.

Я сразу ожил — я готов был хоть на край света.

И в тот же вечер я сказал моей хозяйке, что уезжаю.

Сначала она ничего не поняла, она подумала, что это я так в сердцах, но я не кричал, я говорил совсем так, как после криков моих, когда я заметал и смягчал все мои резкости, и это ее совсем спутало. А когда, наконец, она поняла, на нее просто напал столбняк.

Ночь она не спала, я слышал, ее комната была рядом с моей, и поднялась она спозаранку: что-то все перебирала и в сундуке и в комоде.

Собственных вещей у меня никаких не было, несколько любимых книг и узелок с бельем, вот и все. И все это я быстро собрал, чтобы не мешкая, до обеда покинуть Коровий вал.

Я точно не знал, куда я пойду, и правда ли об экспедиции или только выдумка, я мало раздумывал, я хотел одного — на волю.

От еды я отказался, я только выпил чаю и томился, когда настанет, наконец, минута, и я переступлю порог, чтобы никогда не возвращаться.

Постаревшая за ночь, непричесанная, вышла ко мне Анна Ивановна.

— Уезжаете, Сергей Александрович? — спросила она как-то уж очень равнодушно.

— Да, — ответил я робко и посмотрел на часы, точно у меня был условлен час, — без трех минут двенадцать.

Я готов был провалиться на месте и мне казалось, что до двенадцати, а в двенадцать я выйду, пройдет вечность.

Сердце у меня колотилось.

— Ну, Бог с вами! — сказала она хрипло.

А я стоял с узелком, не зная, что и ответить.

И она подошла поближе — она у дверей, как вошла, так и стояла — она сняла с себя крест, надела на меня теплый с зацепившимся рыжим волосом на цепочке, и повалилась без чувств.

*

Крест длинный на филигранной цепочке золотой с двумя камнями кровавых альмандинов...

Я не помню ни часа, ни минуты, когда бы я тихо подумал. Растерзанный ходил я, сопровождая ее по ночным театрам и ресторанам.

Я не знаю, какая кровавая сила ударила меня по глазам и в кровавых кругах завертелся весь мир.

Лживая, бездушная, обвораживающая змеей, клянясь, она сама никогда не знала, куда — к кому ее потянет через минуту, кому она будет так же клясться, как мне сию минуту.

Взять камень, ударить ее по глазам — таких правдивых глаз на одну минуту и всегда лживых даже при пробуждении я ни у кого не видел.

Ей и сны снились — ложь.

Но в этом не ее вина и воля ее ни при чем, такой пришла она в мир, такой зародилась со дня таинственного своего румянца.

Я готов был выть среди улицы, готов был биться о камни, только бы сорвать с себя обруч тоски моей, когда обманутый в тысячный раз я возвращался к себе с одной мыслью — разорвать с ней навсегда. Но первая встреча — и все зароки летели к черту и опять я, не веря, верил, и проклиная любил.

За какую вину и что я такого сделал? Прикованный к душе, для которой ложь была родиной, я нес самое унизительное ярмо, какое только может придумать женщина, одаренная змеиной тайной.

Лживая и подлая, она и крест свой украшенный повесила мне на шею в одну из самых искренних — самых лживых минут своих, когда в руке у меня дрожал камень, чтобы ударить ее по глазам.

*

Темный крест, не знаю, из какого металла, на черном шнурке...

И опять весна и опять, как из могилы восставший, я гляжу на мир. И прошлое мое, и позорное и благословенное, вспоминаю, как сон.

Я не ропщу и не жалею.

Сам заслужил — сам и пронес.

Я все принимаю и даже то, что завтра — Господи, неужто это совершится! — завтра она умрет.

Моя душа полна гордости и взлета, потому что я знаю, что на грешной, бесстыдной и вероломной земле есть еще люди, которые идут умирать за веру, честь и мечту.

А ведь недавно я думал — вот к чему привели меня мои и позорные и благословенные дни! — и был уверен, что на нашей земле одна сволочь.

А теперь побежденный говорю гордо:

— Нет, живая душа жива!

В тюрьме в канун казни она отдала мне свой темный крест, гордая, как в первый раз, когда я ее встретил.

А имя ее — Мария.

*

Золотой крест со створкой для мощей...

Еще золотой с вытравленными цветами...

Серебряный с синими камушками...

Где вы уста, которые меня целовали?

Где вы, нежные руки, обнимавшие мою шею?

Сморщенные, держите ли вы клюку или успокоились навеки?

Встретимся ли мы когда и узнаем ли друг друга? Или пройдем мимо, как теперь прохожу я, никого не замечая?

И если суждена встреча, пощадите мое сердце — мое сердце от любви истекало кровью!

1917 г.

ЖИЗНЬ НЕСМЕРТЕЛЬНАЯ

I

У каждого человека своя судьба. И всякому вот эта самая судьба и велит надеть рясу или форменный сюртук, хочешь или не хочешь. А не покорится который, погибнуть ему и стоять у голодаевского кабака с ручкой.

Так уж положено и все так идут.

Все-то, все, да не Иона Петрович.

Иона Петрович Боголепов человек особенный и судьба его особенная, он не в счет.

Был Иона достопримечательностью нашего города.

А город, вы знаете, какой у нас? Целый день по улице никто и не пройдет. Изредка барбос полкановский пробежит — и окошки отворят посмотреть на него. И только вечером, часов в девять, чиновники направляются кто в клуб, кто в трактир. Да поутру в ранний час кухарки бегут на базар.

Летом жара да духота, не приведи Господи. Выйдешь на улицу, так тебя и ошалоумит: глаза вылезут, пот градом, пыль столбом, терпеть невозможно. А если в полуденный час заглянешь в окошко к столяру Бабухину, сидит столяр у окошка, ворот расстегнут, на голове мокрая тряпка и сам икает. Господи Боже, сил нет!

Так никто и не выходит, один выходит Иона.

Ему все ничего. Во всякое время и по всяким делам, во всяком направлении, куда угодно. Такой уж бойкий он да юркой, настойчивый, — бесхвостый.

Невелика птичка, с лица черен и даже черномаз, бородка клочьями, на лбу волосы прилипли, водкой на семь шагов разит. А пальто со следовательского плеча широко и рукава длинны. Карманы набиты каменным да бронзовым веком — в разговоре вынимает то одну, то другую вещь и на ладонь себе: гляди и поучайся! А из боковых карманов торчат книжки, рукописи, столбцы, — у него все есть.

Покровитель его, председатель архивной комиссии Сахновский, говаривал:

— Никогда у тебя, Иона, ни гроша нет, а знающий человек может тебя ограбить тысячи на три. Столько в тебе достопримечательности.

А доморощенный историк наш Миловзоров после перепою лепетал жалостно:

— Ионечка, ангел, спуль какую рукопись, опохмелимся.

Невелики были клады Ионины, но проворство рук его изумительно. Он мог на глазах владельца изъять документ или даже небольшую книгу. И почетный попечитель, губернатор Корноуховский, не успел ахнуть, как в его при-

сутствии, у него на глазах, в казенном архиве Иона стащил автограф Благословенного Императора. Выразив Ионе благодарность за его деятельность, губернатор, обратившись к старшему архивариусу, сказал недвусмысленно:

— Он человек полезный, но все-таки его сюда не пускайте.

Знакомство мое с Ионой началось на толкучке у навеса старика Ларионыча. При первом же нашем разговоре поразил меня Иона Петрович свойствами нечеловеческими, а исключительно принадлежащими единому всемогущему Господу Богу.

Во-первых, вездесущием: по его рассказам нередко выходило как-то так, что одновременно был он и в Нижнем, и в Ярославле, и в нашем богоспасаемом городе.

Во-вторых, всезнанием: какую бы вещь ему ни показывали, хотя бы самую новую, хотя бы винт от паровика, Иона не терялся и, принимая вид, человеку не подобный, толковал без всякого:

— Этот винт от такой-то части, сделан в таком-то году.

— Вот так кум, исполать! — ввертывал спиток Ионин Миловзоров, — ты все знаешь.

Знал Иона действительно все, даже и то, чего совершенно никто не знал.

Так, живя около церкви Стефана Сурожского, объявил он в газетах, что на огороде его дома, как раз против окна его спальни, находится место, где великого князя Василия II-го Васильевича задавил медведь.

— Да, на этом самом месте медведь подавил великого князя! — частенько повторял Иона, подымая палец кверху.

Бог его знает, на этом или где еще, по крайней мере, летописи в одном сходятся, что жил великий князь Василий II не в нашем городе, а в Костроме, где и принял лютую смерть от медведя.

Но и такая справка нисколько не смущала Иону: он уверял, что великий князь приезжал нарочно охотиться к нам.

— Знал, шельма, куда заехать, — подмигивал куму историк Миловзоров, — лучше здешней рябиновки не найдешь.

Все знал Иона и не только о прошлом и самом дебрьном, а и грядущее не было от него скрыто.

В людях шла молва, будто свиток — столбец такой — отыскал Иона длины непомерной, обвился весь, как плащаницей, и носит на себе, двадцать лет читает, дочитать не может, а написано в том свитке, как нашему русскому царству быть.

И всей подлунной.

Ну, ручаться не могу, не видал, впрочем, раз засидевшись в Пассаже, трактир у нас такой громкий, был я свидетелем, как Иона, нагрузившись, хвастал каким-то столбцом необыкновенным, и при этом похлопывал и поглаживал себя.

II

Жизнь Ионы, хотя и необыкновенного человека, началась обыкновенным человеческим рождением в белом церковном доме, выходившем на огороды.

Окно было раскрыто, и крик протопопицы был слышен далеко, даже на бульваре. И опытные старожилы, вставая со скамеек и оглядываясь назад, говорили:

— Никак протопопица опять родит? Никак это седьмой будет?

— Пятый, — возражал осведомленный в делах семейных.

— Верно, пятый, — соглашались догадчики, — надо быть, мальчик.

— Бесхвостый будет, — отозвался шедший мимо пономарь Друшлак.

Первые дни Иона был здоровый и тихий мальчик. Ничем он не беспокоил, только очень прожорлив. И эта прожорливость с ростом развилась в нем до невозможности, и воровство сделалось его непременным делом. А чтобы не вводить в изъян родителя, стал он воровать у других.

Бит бывал нередко и жестоко. Но с летами исхитрился и достиг в этом деле замечательного проворства рук.

Мне помнится, он первый и произнес слово, теперь законнейшее, а тогда, как пугало: экспроприация. Раньше я что-то ни от кого не слыхивал.

Вообще же всякое хищение Иона отрицал.

— Воруют только от сытости, — говорил Иона, — и таких так мало, что, пожалуй, и не найдешь. А с голоду да взять то, что никому не нужно, это не воровство. А если кто привяжется: отдай назад! — ну, черт с тобой, бери, мне не жалко, только докажи, твое ли? А не умеешь доказать, пиши пропало. Этак, брат, всякий к чужой вещи примажется. А ведь я ее открыл, она — res nullius.

— Res nullius! — смачно выговаривал Иона.

Придя в возраст, поступил он, стараниями скорбного протопопа, в семинарию.

А в семинарии достиг Иона совершенства и успеха не столько в науках, которыми мало занимался, сколько в делах грабежных или, по-принятому, в операциях финансовых, ухитряясь перепродавать вещи на глазах у собственника. Оборотливость и ловкость его были так неуловимы, что однажды какому-то маменькину сынку продал он собственный его ременный кушак и получил деньги сполна.

А тот долго удивлялся, что есть на свете две вещи настолько похожие, что даже тут царапинка и та повторяется, ну все как две капли воды.

Потом, разумеется, обман открылся, но Иона успел уже пропить полученные деньги. И объяснил, что дураков даже в алтаре бьют.

— Если бы у тебя ум в голове был, так ты бы сундук лучше запирал, да чаще сам в него поглядывал. Голова бы не свалилась.

Наука давалась Ионе легко, и памятлив и горазд. Но за неудобоносимость и бесповедение он был исключен, не достигнув пятого класса, с отметкой:

«Не годится даже в псаломщики».

Представив отцу этот свой успешный аттестат, Иона беззастенчиво уверял протопопа, что, правда, не годится в псаломщики —

— Потому что горжусь в архиереи.

Скорбно тряс бородой протопоп.

А и в самом деле, по такому уму и извороту бесхвостому чем не архиерей?

— Кормить я тебя, мерзавец, даром не буду, — сказал, наконец, протопоп, — да и опозоришь ты мою седую

голову. Завтра иду к предводителю Фантикову, он тебе дает место — хоть нужники чистить.

И через три дня определилось будущее направление будущей нашей достопримечательности: Иона вступил под тесные своды Дворянского благородного собрания.

За лестницей помещалась канцелярия.

Сам предводитель привел его туда, сопровождаемый протопопом.

— Служи, учись, через месяц получишь жалованье, — сказал предводитель и обращаясь к делопроизводителю, прибавил: — а ты, Митряй, гляди за ним в оба: парень-то больно остер.

— Слушаюсь, батюшка ваше превосходительство, не извольте беспокоиться.

— Филофей Мироныч, — взмолился протопоп, — будьте отцом родным, бейте его в мою голову. Може, что и выйдет.

— Не беспокойтесь, батюшка, отшлифуем-с, — отвечал старик, заматерелый в делах наученных, вошь канцелярская.

Так началась Ионина служба — корень его всеизвестности.

III

Первые же недели Иониной службы ознаменовались таким беззастенчивым шантажом и взяточничеством, что слава престарелого и опытного Мироныча померкла безвозвратно и навсегда.

И Иона не только не полетел с места, напротив, так укрепился, словно бы век служил, и все от него пошло и без него ничего не могло быть.

С первых же дней служебных он обнаружил прямо сверхъестественную деловитость и быстроту в исполнении.

Скажет, бывало, предводитель:

— Дай-ка мне, братец, того, — и погребет рукою в воздухе.

А и не прошла минута, Иона подаст нужное дело.

Все это, конечно, и другим в науку и делу польза, и одного только можно было опасаться, что при таком направлении дел предводитель утратит дар слова, столь необходимый ему для застольного спича раз в три года.

Рядом со сводчатой канцелярией в кирпичной палатке помещался Дворянский архив. А правее в пустых комнатах для депутатов были сложены старые книги, рукописи и старинные вещи, занимавшие три комнаты.

А возникли эти вещи и в таком количестве невместимом, по обстоятельствам, никем непредвиденным и угрожающим.

Был в нашем городе губернатор Гудзевич. В один из отпусков он встретился на курорте с знаменитым в России археологом Рязановским. И в разговоре, когда с легкостью своей покровительственной высказался он об археологии, повторяя затасканный отзыв людей непытливых и успокоенных в своем невежестве, знаменитый старец швырнул ему:

«Не одни, дескать, чудаки занимаются археологией, но и весьма высокопоставленные особы!» — и назвал несколько громких и титулованных имен.

Губернатор не поверить не мог, но и не придал особого веса, а вскоре и совсем забыл. Вернулся домой, а тут ждет его бумага от министра — срочный запрос: какие имеются древности в его губернии, какого качества и какого времени?

Струхнул губернатор, вспомнил курортные разговоры — знаменитую ископаемость в лисичьей шубе, да поздно. Что говорить: ни он, ни чиновники ничего о древностях не знают! Поехал с поклоном к архиерею.

Слава Богу, что архиерей попался любитель старинщик, — выручил.

И сейчас же ответ в Петербург дали, да еще и с указанием, что и музей устраивается.

Полиция навезла всякого старья: брали и то, что нужно, и такое, что печку топить. А свалили все в Дворянском доме.

Да тем дело и кончилось, как полагается, т. е. кончилось до поры до времени, пока не явился Иона.

Рыща в Дворянском доме, как в собственном, во всех делах голова и верховод, однажды, разглядывая древности и перебирая казенную рухлядь, нет ли тут чего ценного, решил Иона восприять нетрудное и приятное бремя археологии.

А к тому же и господа дворяне стали себе требовать самые древние родословия. А выводить родословия да еще древние без археологии дело совсем немыслимое.

И навострился же тут Ионушка.

И, бывало, в Пассаже, сидя в угловой излюбленной комнате, как, бывало, расхвастается Иона.

— Уж так просил меня Перебрюхов родословную ему составить, — хвастал Иона, — вот я его и вывел от Руслана и Людмилы прямехонько, как ниточку. И все на основании документов. А документы все подлинные — сам писал.

Звенят серебряные рубли, стучат стаканы, льется пиво, гремит машина.

— Я, — говорит Иона, — за деньги могу кого хочешь от кого хочешь произвести. Я могу кого угодно с кем угодно совокупить. Королеву Матильду с Фридрихом II!

За пивом под машину развертывались перед глазами Ионы самые невообразимые сочетания, — воображение его, разогретое пивом и музыкой, выводило породы человеческие, ни на что не похожие.

Неисчерпаемы творения Божии и все, что было во власти ума человеческого, Иона исхитрился осуществлять к гордости знатных или выскочивших в знать, и само собой за большую халтуру.

Потом уж с годами, когда творческое воображение его иссякнет, да и прибыли от этого воображения не будет, пиво и машина — трактир любимый — настроят Иону на другой лад: не видами породы человеческой, измышленными умом его и закрепленными подлинно с приложением печатей и подписями, будет он хвастать всесветными связями своими с сильными мира, а особенно знакомством с царем.

IV

За нетрудной и приятной наукой и в погоне за деньгами прошла молодость Ионы.

Женился он рано ради приданого: взял домишко и три тысячи денег, о чем сам же во всеуслышание объявлял в Пассаже, подробно описывая до последней отвратительной обнаженности мелочи семейные.

Семейная жизнь возбудила в нем при постоянном пьянстве ничем неохлаждаемую страсть. Все женщины ему нравились, кроме его законной жены. Лез и ластился он со свойственной только ему наглостью. Бесхвостый, бегал он за генеральшами, за горничными, за портнихами, но особенно заманивали его татарки: скромная стыдливость гаремных узниц распаляла его любострастие.

И однажды он купил у одного бедного татарина жену. Конечно, и тут без оборота не обошлось. Продержав при себе месяц открыто собственной наложницей, он с большим барышом перепродал ее в публичный дом, чего татарин совсем не ожидал.

Звезда Ионы высоко стояла, и татарин не посмел пикнуть.

С богатой купчихой Маркеловой Иона состоял в выгодной связи довольно долго, пока не промотал всего ее состояния.

— Довольно, будет, потешился! — сказал Иона обычную заключительную приговорку свою и перестал даже кланяться с обнищавшей возлюбленной.

Для своей переменчивой страсти он был готов на все, но и для денег — для звенящих рублей серебряных — не очень стеснялся. А рубли ему нужны были не только для легкости жизни, а еще и на рассвечение жизни. И этот свет прожигающий давал ему разгул.

В пьяном виде Иона изливал свою всемогущую душу, рассказывая похождения свои, как бывалые, так и небывалые. В пьяном виде за рассказами вскакивал он, бил себя в грудь, и плакал и кричал истошным голосом.

Это страсть кричала в нем истошно, ничем не охлаждаемая, сила кричала гороскатная, пущенная по мелочам, корень силы его, прущей и выбивающей из-под нахлобука.

Эй, Русь матушка, придавленная!

Разгул и попойка, рассвечая Ионину жизнь — открывая душе просторы, а телу размах, сулил недоброе и в самую звезду его.

Большое впечатление, очень не выгодное для дальнейшей судьбы служебной, произвело приключение его нетрезвое на областном археологическом съезде.

В первый день съезда после открытия Иона должен был читать свой удивительный доклад о куричьих богах.

Очередь его была первая, потому что и находка его была первая — необычайная: в самом деле кто это слышал про богов и не греческих, не римских и не наших незнаемых, а куричьих!

После речи архиерея и губернатора, когда наступило время куричьему докладу, хватились, а Ионы нет, пропал. Туда-сюда, вся полиция поставлена была на ноги, и немало бились, пока отыскали. А когда отыскали, был он так мокр, что никак его нельзя было вести, сам же он упорно порывался идти, но обязательно, чтобы на четвереньках, как бог некий куричий.

Три ведра холодной воды произвели свое действие, и не на четвереньках, а по-человечески, ровно б человеком Ионой, появился Иона перед многочисленным почтенным собранием.

Обведя присутствующих бессмысленным взглядом, Иона развернул тетрадь, и тишина наступила действительно самая подобающая, — нетерпение послушать завладело всем собранием от первого до последнего.

— Ваши Превосходительства и Милостивые Государи!

Черненькие глазки тускло засветились на пьяном солонинном лице, Иона захлопнул тетрадь и, обсосав себе губы, обложил всю публику таким большим туром честнейшей матери — всего сущего прародительницы, что на минуту словно бы темное облако застлало белый свет.

Отчетливо и крепко произнеся убийственные слова, он, как сноп, повалился на пол и безмятежно заснул — так его, бесхвостого, при общем переполохе и выволокли из зала.

Да, доброго мало чего сулило Ионе забыдущее горькое пойло — сладкая водка, окрыляющая ум его и душу.

Кто знал больше Ионы нецензурных песен, охальных частушек и похабных сказок? Он был неистощим, живописуя до полной наглядности и осязаемости вещи и деяния неуловимые, и каким кряжистым словом.

— То, что французы называют галантно, — приговаривал Иона, совсем забывая, что французы на своем языке не знают анекдотов о русских пономарях и будочниках.

Сам он никогда не записывал, да и немыслимо было, какая уж тут запись в пару под гром машины, а из нас, приятелей его, никто не удосужился.

Эй, матушка Русь, пропащая!

V

Вечер. Легкий сумрак, густея, оползает на землю.

Со всех сторон — с соборной, с монастырской, с речной и горной чиновники из присутствий, учителя, постарше и помладше, и всякого рода юность спешит на Козью улицу к единственным Колоннам — цветнику притонному, неотразимому на вкус неискушенного гимназиста и невзыскательного писца.

Раскрытые настежь двери, ярко освещенные окна, музыка, топ и звонкие женские голоса смутят и повлекут к себе и самого разсамого всосавшегося в нашу скуку расчетливого черта.

И если Пассаж — место похвальбы всемогуществом, всесветностью и неистощимой похабщины, Колонны — ученая кафедра. Но и в трактире и в Колоннах один заключительный голос — плач, там под машину, тут под скрипку с роялью, и истошный крик.

В левом красном угловом зале, за круглым столом, залитым пивом, сидел Иона с судебным кандидатом, лысеющим и отекшим совсем не по чину.

Кандидат давно охмелел и мутными остановившимися глазами вел несчастный из последних неравную борьбу с наскакивающей пьяной дремой.

Иона, грузно облокотившись на стол, горел в пьяном раже — черные волосы его прилипли ко лбу, глаза сверкали желтыми огоньками, по мокрой бороде текла слюна.

Весна — и у нас есть весна! — зацветала белая белой черемухой, а из соседнего зала — и зачем это такая музыка душу мутила?

— Николай Митрич, а Николай Митрич, слышишь ты?

Но кандидат отозвался единственным еще сохранившимся в его запасе звуком, не то присвистом, не то мыком, не поймешь.

— Слышишь, не одни меня только любили Казимировны да Брониславы б...., настоящая барышня любила, Александра Павловна Леднева! Слышишь?

Кандидат свистнул, как в форточку ветер, и блаженно затих.

— Познакомились мы с ней в лавке у Мыльникова Павла Васильевича, этот, знаешь, еще за полтинник мне

тысячный крест продал: уверил дурака, что медный! Познакомились совсем случайно. Стали встречаться: то на бульваре, то на набережной, то на лестницах, так вот ясно я вижу — в коричневом платьице, в черном фартуке, быстрые глазки, а засмеется, острые зубки показывает. Очень мне это нравилось, и я все, бывало, смешу. А потом сурьезней разговоры пошли. Увидала, что знаю я столько — вся губерния не знает, спрашивает о том, о сем, все ей рассказываю. Слушает внимательно. Грустная стала. Русую косу теребит. Задумываться стала. Да вдруг и говорит: «Вы бы, Иона Петрович, поменьше пили, нездорово это». «Ну, говорю, кому вред, а мне все в пользу». Ничего тогда не ответила. А потом просит о жене рассказать, про детей. Раз от разу все ласковей да участливей. И совсем не смеется. Как-то пришла в канцелярию, села против, сама ни слова. Я и говорю ей, чтобы сказать что-нибудь: «Я, мол, уехать хочу по сбору древностей для комиссии». «На долго ли?», испугалась. «Да месяца, говорю, на три, на четыре». И вижу, бледная вся. А потом поднялась и прямо ко мне. «Знаете, и голос ее дрогнул, Онечка, знаете, милый, люблю я тебя!» И упала мне на шею. Я, понимаешь ли, Митрич, я, ей-Богу, в первый раз в жизни растерялся.

— Когда бить начали, нехорошо! — не открывая глаз, раздельно по-человечески отозвался кандидат.

— Это ты про что? — Иона замотал головой и еще крепче загруз над столом. — Прильнула ко мне ее нежная шейка, и как увидал я белую душку, все замутилось, облапил я ее и в архив. А она как барашек. Вдруг на дороге Кудимыч, вахтер. Мерзавец! Плюнул я: «К черту!» А он усы рыжие расправил.

— Нехорошо — нехорошо, — не то сопел, не то не одобрял приятель, но как-то уж очень равнодушно.

— Повадилась девчонка каждый Божий день. Вместо гимназии так с сумочкой и ходит. А класс последний — выпускной. Признаться, и меня закрутило. Положит она ручки свои на голову мне и все волосы приглаживает. В глаза смотрит ласково: «Онечка!» Я ее — Шуренька. И навернись в девку бес: «Брось, говорит, все, и жену и детей, уедем вместе, начнем новую жизнь! Ты, говорит,

великий, ты молод, я для тебя все сделать готова, жизнь положу!» А посуди сам, с чем это сообразно? Перво-наперво, у меня дом, я писец, нигде не кончил, ученость моя при мне останется, в другом месте я дурак дураком, да еще и напиток в придачу. А Палагея, да она меня за тридевять земель отыщет! Нет, заладила свое, ну, ничем ты не оторвешь. Бабы эти, как привяжутся, конец. Я как-то с прохмеля ей: «Убирайся, говорю, к черту, будет!» А она поглядела: «Кончено?» — да так, знаешь, глядит, «разлюбил?» «Да нечто, говорю, я любил? Это благородные какие любят, а нам только б до мяса довалиться. Сама, девка, полезла, не взыщи!» Встала: «Прощайте!», говорит, да совсем, совсем другим голосом, у меня даже хмель прошел. И ушла. Остался один я, а голос ее так в ушах и звенит: так — так и бросился б вслед:

— Прощай-прощай-прощай! — кандидат открыл мутные глаза и сделал такое носом: вот расчихнется на весь зал.

— Однако, выпил я две рюмки водки, — продолжал Иона, — тем и кончил. Все забылось. А через месяц, слышу, выходит замуж. Студент Игнатов — красивый малый, рослый — вот какого подцепила! Вскоре и сам ко мне пожаловал, подает от нее записку: требует она, чтобы я письма вернул. Ну, мне что, я не баба, да и письма-то не велика ценность, не автографы какие, можно и отдать! Отдал я ему. Он учтивый такой, а руку прячет, не дает. «Александра Павловна, говорит, все мне рассказала, подлец вы!», говорит, повернулся да и вышел. А скажи на милость, чем я подлец? Нешто я против ее воли?

— Я подлец? Не подлец! — и звонкая затрещина раскроила щемящую музыку: в соседнем зале, кто-то кого-то жестоко поучая, поднял возню и звяк.

Иона даже не шевельнулся — все это в порядке — память его зашла в самую жестокую деберь.

— А как был я в Нижнем, слыхивал, что хорошо живут, согласно. И место у него хорошее. А раз ее самое видел. Я после перепою у Бруселя вышел прогуляться. Иду по Печорке, а она навстречу — барыня такая стала! — мальчика-сына за руку ведет. Я-то в нее глазами впился, а она скользнула так, — Или не узнала? И пошел я своей сторонкой да как гряну по всей по Печорке: «Не шуми,

мати...» А городовой: «Помалкивай, говорит, пьяница, сукин сын!» Точно цепочка оборвалась.

Иона вдавился весь и вдруг вскочил и, бия себя в грудь, стал вопить, так что из соседних зал поналезли, одни робко, другие нагло, чтобы свидетельствовать Ионино злострастие.

— Человек для себя самого первая головешка, — вопил Иона истошно, — ты, Иона, ты и есть и будешь центр и пуп, всемогущий, вездесущий, всенаполняющий! Для кого корова телится? Для меня, чтобы я говядину ел. Для кого солнце светит? Для меня, чтобы меня, пьяницу, сукинова сына, греть!

— Иона бесхвостый! — подхватывали с хохотом, — голован! говядину греть!

Хохот подымался резче, чем вопь.

В раскрытые окна наша весна — и у нас есть весна! — с горькой черемухой доносила подзаборную свалку.

И весенние белесые звезды, как бельма, плыли мутно по белеющей северной ночи.

Русь белокрылая, куда ты летишь, исплакана, измученная и тоскою сердце рвешь?

Алтайские яркие звезды алмазами летели перед глазами Ионы, возносившегося до крайних небес, и оплевывающегося, как последняя мразь, под дикий хохот русский, ничем непробойный.

VI

Всеизвестность Ионы пошла не с Ледневой гимназистки — под пьяную руку все чаще и чаще вспоминал он о ней, и гордясь, и как уколотый на всю жизнь, — дело музейное, о котором трубил он на всех перекрестках, возвело его в живую достопримечательность.

Устройство местного музея — вершина славы и расцвет его деятельности. Тут обнаружил он необычайную ловкость. И в самый краткий срок накопил приданое для двух дочерей, а Палагее сделал бархатный салоп.

Но в общем, в конце-то концов, дело оказалось пропащее.

Управлять музеем Иона не попал.

По проискам ли людей завистливых или от оборотливости излишней, о которой шла молва со всех сторон — и с соборной, и с монастырской, и с речной, и с горной, да и сам Иона хвастал и в Пассаже и в Колоннах, только нежданно-негаданно прислали из Петербурга для разбора и окончательного устройства музея двух ученых археологов: плешатого маленького и долговязого мохнатого. Оба полуслепые, чудные, не меньше Ионы, и не обдуешь, оба — и Молгачев, и Агапов — и язвительны, и осторожны, и скопидомы.

Истратить на пиво гривен восемь, купить книгу за пятачок, а какую рукопись за полтинник, это они мастера. А чтобы какой-нибудь профит бедному человеку сделать, это ни-ни.

Шельмы стакнулись еще до приезда, все вместе, согласно, рука об руку. И нет того, чтобы по-православному, по-русскому, зубы друг в друга. Плешатый из Петербурга жену привез, заставил библиотеку разбирать. И все за дешевку: то, что у нас за пятьсот пошло бы, они за двести берут, а делают вдвое скорее.

Губернатор заискивает, льстит, в гости к ним ходит, место им казенное дал на время. И они со всеми перезнакомились, у предводителя сидят — житья нет!

Миловзоров историк для Архивной комиссии каменное яблоко купил.

— Древность, — говорит, — XVII-й век.

А плешатый рассмеялся.

— Сколько дали?

— Полтинник.

— Дорого. За двугривенный можно купить в посудной лавке, — и ухмыляется, — маху дали, Сергей Леонтьевич!

А в тот же день долговязый пошел к местному старьевщику, к Гранилову, — давно Гранилов дорожился старинной рукописью! — и доказал старьевщику, что рукопись поддельная, и купил ее, тысячную, за трешницу.

Сошлись вечером приятели в музее, хохочут, радуются.

— Самого наипервейшего мошенника объегорили!

А Гранилов, как дознался, и перед всем честным народом объявил:

— Они-де с собой туман носят, напускают.

И заживо служили панихиду в монастыре: поминали раба Божия Ивана и раба Божия Александра, чтоб им пусто было, — не понимает.

Да, нашла гроза нежданно-негаданно и не только на монешников, но и на самого Иону.

Между прочим, говорят они Ионе:

— Нечего мудровать! А вот вам список, вы по этому списку по записям примет вещи подыскивайте и дороже указанной цены не давайте. За покупку процент получите: чем дешевле, тем больше — обратно пропорционально.

Екнуло сердце у Ионы — кончилось приволье.

На какую теперь хитрость ему пуститься?

— Или нищих объегоривать или воровать? — ляпнул Иона.

А те ему:

— Ничего, Иона Петрович, изворачивайтесь.

А губернатор вторит:

— Ты, Иона, в карман не залезай, чтобы нам от тебя сраму не набраться.

Но и тут Иона извернулся — всем потрафил.

— Конечно, барышишки маленькие, а все-таки ничего, жить еще можно.

Как в дни молодости своей всемогущей, стал он у мировых судей дела брать, кляузничал, — ничего. И опять же адвокаты насели — не те времена! Плюнул Иона: лучше не связываться, народ тоже зацепистый.

А тем временем кончились покупки в музее.

Пленный Молгачев уехал с женой назад в Петербург. А долговязый Аганов во владение музея вступил.

Жалованье долговязому определили не ахти какое, а Ионе-то оно было бы совсем хорошо.

Да Ионы-то это не касается.

Вскоре долговязый женился на богачке Позвонковой, взял, говорят, сто тысяч, дом купил, обстроил его, губернатора принимает.

А Иона ни при чем.

Высоко взлетел и пал. И уж не подобраться: годы не те, сила ушла.

И никаких звезд, одни алтайские — алмазы — сквозь горький чад и дикий публичный хохот.

— Травинкой стелюсь, — лепетал Иона, — травиночкой.

VII

По старой памяти, но уже травинкой, зашел Иона в свой родной музей, зашел с заднего крыльца по обычаю.

Было летнее утро, обещавшее зной.

У Ионы кружилась голова: три стакана водки вместо чаю пропустил в себя натощак, без чего не мог он показаться на волю.

Под окнами к крыльцу сложены были большие корзинки, в этих корзинах перетаскивали вещи из Дворянского дома.

Манит корзинка — то-то хорошо полежать, растянуться!

Иона завалился в корзинку — хорошо! — сбросил картуз и замлел.

А с крыльца Кудимыч сходит, вахтер.

— Я тебя насмешника провенчаю! — обрадовался случаю вахтер: не забыть старику обстриженного уса, дело рук Ионы.

Накрыл Кудимыч Иону другой корзиной, в кухню сбегал, веревки принес, связал ручки, перекрестил корзину, сволок к сараю и по старости лет, а более от жары несносной, все позабыл.

Что было, не помнит и Иона, а проснулся — холодно: роса, весь мокрый. Провел он по слюнявым губам — пересохло в горле — подняться хотел, головой ткнулся в корзину. Что за чудеса? — пощупал внизу рукой: тоже корзина.

«Батюшки-светы, да никак в могиле?»

И руки затряслись.

Хотел перекреститься — рука ударилась в плетенку.

«Господи, прости мои согрешения! — и тоска залила его душу, — умираю от голода и жажды!»

Но изворотливый ум вспыхнул, все бесхвостье его завиляло, ища выхода.

«Говорят, нужно руку себе покусать, не сон ли?»

И укусил себя за палец.

— Ой, больно, — нет, он не согласен!

«Значит, смерть заживо».

И ясно представилось ему, как обкусает он себе руки от жажды, перевернется вниз лицом и умрет: покойники, заживо погребенные, всегда так перекувыркивались.

— С IX-го века! — всхлипнул Иона и начал стонать. Душу надорвал бы этот стон замогильный, если бы нашлась у сарая хоть одна живая душа.

— За что мне, Господи? — терзался Иона, — за царские врата? — И вспомнил, как в погоне за древностями, желая урвать процент обратно пропорциональный, стащил он в городищенской церкви старинные резные царские врата, — или за то, что в пятницу согрешил? За кощунства ли Дублянских сказок? Никола Милостивый, милостивый, помилуешь? За Прово горе, должно быть? — и в горьком забытьи, наперекор воле, начал твердить, как встарь:

Пров Фомич был парень видный
В среднем возрасте солидный,
Остроумен и речист,
Только на руку нечист.

Нет, нет, неужто за такое и такая мука? — и вдруг Лизу вспомнил из Колонн: за гордость обвинил однажды эту Лизу, будто кошелек у него украла, и бандырь выпорол Лизу, — за Лизу? Не Лиза, сам я крал, все тащил, и где можно и где нельзя, — каялся Иона, — древности крал! Древности, — и спохватился, — но ведь всякий из них новости крадет. Неужто за такое, за всеобщее? И почему же тогда не всем такая участь? И почему люди живут и умирают по-человечьи, и только он...

Он не брезговал интрижкой,
Ни с модисткой, ни с портнишкой,
И немало светских дам
Привлекал к своим усам.

Твердил Иона наперекор воле стих похабный и не мог остановиться.

Проплыла Леднева, смотрела на него и не так, как в нижнем на Печорке, а как там, в канцелярии, или там, на лестнице, без слов смотрела и глаза ее светились любовью.

А что, если бы он тогда ее послушал, бросил бы пить, уехал бы с нею?

И вспомнил он ее голос, — Господи, всю бы отдал жизнь! голос ее так внятно.

«За нее виноват — за себя, за себя — за нее и терплю, всю судьбу погубил!»

И пуще всякой боли укусной засверлило на сердце.

И из боли вдруг он услышал легкие шаги и кто-то фыркнул в самую корзинку.

«Никак собака? — замер Иона, — Господи, хоть бы залаяла!»

Насторожился и сам, крутя носом по-собачьи, понял чутьем бесхвостым:

«Да это предводительский Нептун».

— Милый, дай весточку! — захлебнулся Иона.

Пес зацарапал лапой о корзину.

— Милый! — шептал Иона, — Нептунушка!

Ему слышно было, как Нептун шуршит по траве, машет хвостом.

— Узнал, голубчик, отец родной! Залай, вызволи! — и хочет Иона громко покликать, а голос, как во сне, пропал.

Пес фыркнул и отошел.

Могильную бесконечную ночь провел Иона в корзине.

Со скрещенными руками, отекая, в забытьи, лежал он, как тезоименитый Иона во чреве китове. И ничего не замечая, ни своего стона, ни боли, и ни о чем не думая, распадался.

Вся изворотливость ума его потухла.

И только на другой день Иона освобожден был, аки изблеван.

На другой день, в полдень, девки из Дворянского дома вздумали идти к предводительскому колодцу и не по улице, где их поджидали кавалеры, а кратчайшим путем через репейник.

Проходя мимо забора, они услышали слабые стоны.

С криком:

— Черт! Домовой! — пустились бежать назад.

Тогда Кудимыч вахтер вдруг вспомнил о Ионе, встал из-за стола и, дожевывая, бросился к сараю, к корзине, — и освободил.

Иона, испачканный весь, упал в ноги вахтеру:

— Солнцу воссиявшу пришедши на запад!

И был, как безумен.

Стакан водки подкрепил его силы.

С картузом в руках вышел Иона из калитки на волю. Пекло и жарило, как в первый день. Шатаясь, шел Иона под палящим солнцем. И случайные прохожие далеко обходили его.

VIII

Иона не знал ни времени, ни места, — Петербург он мог перевести в Москву, Москву в Нижний, Нижний в Кострому, воскресенье обратить во вторник, полдень в полночь, быть и там и тут, везде, — всемогущество его было безгранично, и, кажется, в одном только был он и слаб и человечен — в температуре: хотел он или не хотел, а наступала зима, потому что морозило, хотел он или не хотел, а приходила весна, потому что таяло, хотел он или не хотел, а возникал циклон, а за циклоном шел антициклон.

И разве он хотел, и вот затряслась голова, и вдруг нападала сонливость, и он валился где ни попало, и не спал, а в мутной дреме безучастно следил за какой-нибудь перелетающей мухой и ни о чем не думал.

И без его воли изворотливый ум его погасал.

И так же не потому, что бы хотел он, нет, он как раз другого хотел, все дела и последние потихоньку ушли от него.

Уж старшие дети стали содержать старика, — ведь он больше не мог самостоятельно добывать себе пропитание.

А тут наступило и последнее горе: женился старший сын и уехал с женой свою жизнь строить по-своему.

— Нашел время шашку точить, когда отец еще жив. Подождал бы малость: скоро подохну, — злобствовал старик и, грозя кому-то, шипел, — всю жизнь проклятая дыра поперек дороги стоит!

А за первой бедой идет другая беда.

Вышел грех со старшей дочерью девушкой, — вымазали дегтем ворота и стены. Плачут младшая дочки подростки, пилит Палагея.

— Хоть бы уж подохнуть! — одного просит Иона.

А и это не в его власти: час придет, когда придет — проси или не проси, а побежишь — настигнет, а скроешься — найдет.

Иона, припоминая случай с корзиной, теперь пенял девкам, что через их дырью дурь был он избавлен от смерти и на муку ввергнут в проклятую жизнь.

Жизнь его вдруг стала проклятая.

Не пивши, трясучий, поплелся Иона к купцу Черногубову.

Когда-то, в допотопные времена легкой жизни, непроклятой, делая дела головокружительные, вывел он купцову родословную от Каина, сына Сатанаилова, через Ивана Осипова — Ваньку Каина, прямой линией к деду Ивану Черногубову, и лавочнику и родне всей Черногубовой стоило немалого выкупа, чтобы избежать огласки и скрыть семя свое проклятое во веки веков. А теперь Иона, ползая на коленях, Христа ради, выпрашивал у купца сорок копеек.

— В последний раз! — сказал Черногубов, — больше не дам, и не проси.

С двумя двугривенными каиновыми закатился Иона в кабак. И там все спустил: и пальто свое широкое следовательское, и пиджак длиннющий долговязого, Агаповский, и жилетку Миловзорову. В одних штанах кандидатских под вечер, трясясь и тычась, вернулся он домой.

Раскрыл окно, посмотрел на огород, на то место, где великого князя Василия II Васильевича подавил медведь, — ко всенощной ударили: завтра Спасов день, пчела именинница! Робко прилег на диван. Что-то неловко, — кашлянул.

Младшая Лиза вошла. Открыл глаза. Стоит Лиза, смотрит.

— Папочка, кровь...

— А ну ее к черту!

Иона повернулся к просаленной спинке, — ему все равно: кровь или ничего, жизнь или смерть, один конец.

Ночью случился припадок — дышать нечем. Воздуху бы заглотнуть ему побольше, дышать не хватает. Раскрыли все окна. Да ночь-то теплая, не Спасова.

— Ну, все равно, все к чертовой матери пойдем! — задыхался Иона.

А за окном шелестит. Траву косят? Нет. Что же это? Шелковое платье по травке-муравке завивается.

Сверкая золотом, как на Рублевской иконе, выгнув гордо лебединую шею —

«Что это, Господи?»

Вьются слухи, как у ангелов —

Иона привскочил:

— Шуренька!

А она сбоку так взглянула на него — нет, не узнает! — и пошла. И он вдогонку. Вбежала на лестницу. И он за ней.

— Шуренька, — кричит, — Шуренька!

Лестница темная, скользкая. На самый верх взлетели. Дальше нет хода.

— Шуренька! — хочет схватить ее за руку, ну, как тогда.

А рука не двигается.

И вдруг перед ним пролет — темный, сырой — темная дыра.

И все смешалось.

Откуда вышел, туда и ушел.

1917 г.

МАЛЬВИНА

Нынче по весне после долгих хлопот, ненужных хождений, обманных надежд и ожиданий, поступил наконец Семенцов на место и не как-нибудь, а прямо заведующим в Отдел.

А там уборка, погрузка, заваленные столы, дела — еле протискаешься.

И длинной птичьей стаей скользят и снуют хрупкие тоненькие барышни, изгибаясь под тяжестью связок и ящиков.

Всю свою жизнь Семенцов, а ему на Преображенье стукнет пятьдесят, все свои чиновные годы пропил, проел и проспал обок теплого пухлого бока Анны Петровны, жены своей. И всегда вольно или невольно уклонялся от встреч с этими канальскими девицами, заполнявшими последние годы все департаменты, а теперь наводнившими отделы, управы, комиссариаты. Жизнь, которую словом никак не выразить, ну, выражающуюся в какой-то стремительной неуловимости и легкости, — юность, молодость, — жизнь пожинучая смущала его робкое оцепенелое сердце.

Так, в делах, по службе он всегда стремился увильнуть от близких встреч и даже разговаривал издали, супясь и притворяясь больным и стариком, которого не может тронуть никакая розовая улыбка. Но зато в редкие минуты у себя дома в Комаровке, когда Петровна уходила по каким-нибудь хозяйственным делам, не Петровна, женщина безымянная, или с тысячью знакомых милых имен, превращенная голодным воображением в какую-то небожительницу, в воздушное и бесплотное существо, дразнила его очарованием своего несуществующего таланта, ума и красоты. И также любая встречная по дороге, в трамвае превращалась в Беатрису, Лауру, Фиаметту.

Жалкий, оцепенев, он не дерзал заговорить и только любовался.

Грехов за ним не водилось, он верен оставался своей ворчливой Петровне — своей няньке, кормящей его и всякое утро заботливо снаряжающей на службу; с рыцарским почтением он относился к девушкам и дамам.

Правда, в беседе с приятелями он любил хвастнуть несуществующими грехами, при этом становился красненький и веселенький: он рассказывал о каких-то эстонках, которые будто бы вешаются ему на шею или к которым сам он тайком от Петровны ходит на любовное свидание, — но ведь это же одно воображение и никакой грех.

При прежних службах его он всегда был подчиненным и барышни никак к нему не относились, но теперь, когда он начальник, дело другое.

Невольная близость женщины юной и свежей — этого вечно благоуханного яблока дьявольского соблазна, подействовала на него с первых же минут новой его службы ошеломляюще.

Дальше и дальше скользят вереницы — полуоткрытые руки, голые шейки, белые блузки, разные прически и оттенки волос.

Ни лиц, ни глаз он не видит, десятки крутых выгнутых шеек плывут перед ним — мерещится выя, золотистые кольчики волос, гривка.

Но берегись! — прямо на него между пачками дел наступала стройная высокая барышня, охватив белыми руками в браслетах тяжелый ящик.

Уступая дорогу, Семенцов запнулся за кипы и полетел.

Барышня с грохотом уронила ящик и поддержала его под локоть.

От смущения он что-то лепетал совсем не связное и улыбался: ведь, падая, он очутился в самой тесной близости с белой замшевой туфелькой и чулком-паутинкой такого восхитительного цвета, какого никогда не видывал — да он ни туфельки, ни паутинки такой на живом, на ноге, наконец, и ногу-то так близко никогда не видывал.

Сердце его усиленно билось, он вдруг почувствовал, точно лет ему двадцать и на голове у него не плешь, а шапка кудрей.

Сразу установилась какая-то близость, легкая игривость сменила суховатую вежливость, наконец, с непринужденным видом барышня сообщила, что ее зовут Мальвиной.

— Мальвина Федоровна! — повторял Семенцов, то и дело обращаясь к барышне просто ни за чем.

Обалделый вернулся Семенцов домой в Комаровку. Ничего не соображая, он еле дотащился до постели. И на вопрос жены: что с ним? — ответил сухими губами:

— Устал.

В разгоряченном мозгу его мелькало что-то несознаваемое, но приятно-острое и пряное.

И не помнит он, как наступила ночь и как заснул.

А под утро после красочных переливов приснился ему сон, события которого происходили в той самой комнатенке, где спал он под теплым голубым одеялом, подтыканным заботливой рукой Петровны и пригретый мягким ее боком.

Из серых сумерок выделилось обрамленное кудрями лицо Мальвины и гибкая шея ее в алом коралловом ожерелье.

Беленькая блузка сливалась с серым туманом.

Лицо Мальвины вдруг пододвинулось к самым губам его и так близко, что по робости своей он осторожно отодвинулся.

Но Мальвина, как бы притягиваемая им, подвинулась еще и вдруг глаза ее вспыхнули таким ослепительным блеском, что от внезапности похолодело у него на сердце.

А из темноты протянулась рука, и нога в белоснежной замшевой туфельке и паутинном чулке поднялась и опустилась на подоконник.

Семенцов оцепенел.

И хотел вскрикнуть и не мог.

Мальвина смотрела на него настойчиво и неотступно.

Но что она требовала от него, он не мог понять, да и что он мог сделать, оцепенелый?

И вот, подтолкнутый какой-то внешней силой, он приподнялся на постели и, сделав в воздухе полукруг, перевернулся, так что лицо Мальвины очутилось внизу.

И он почувствовал, как вся кровь прилила к его сердцу и сердце задрожало, как листок, и уж сам он потянулся к ее лицу, но в тот же миг, подтолкнутый той же внешней силой, он медленно и плавно поднялся к самому потолку и глаза его явственно различили щели в штукатурке и паутину.

Мальвина, не уступая, поплыла за ним и дыхание ее обожгло его, но перевернуться к ней он не мог.

«Мальвина, — шептал он, — я искал тебя всю мою жизнь, я только и думал о тебе, Мальвина!»

И вдруг белые руки сзади обняли его и он поплыл, — он проплыл над кроватью, над туалетным столиком, над одеждой, завешенной старой заплатанной простыней, и очутился над подоконником.

Тихо распахнулось окно.

Еще миг и он выскользнет на волю, там перевернется.

«Мальвина, — шептал он, — я нашел тебя, Мальвина! Как прекрасно в Божьем мире, Мальвина!».

Утренник дыхнул и все порвалось.

Ни Мальвины, ничего, и только нос Петровны, напомнившей куриную архиерейскую часть, посвистывал прямо ему в лицо.

Утро было сырое, шел дождик.

Напившись противного овсяного какао, Семенцов сиротливо сидел в трамвае незаметный и съежившийся — на свет глаза не глядели бы! И вдруг на повороте вспомнил весь свой сон и на сердце так заиграло, словно было ему лет двадцать, а под шляпой на голой голове шапка кудрей.

И каким завидным, единственным в мире представился ему Отдел, заваленный делами, где вот сейчас встретит он уже наяву свою Мальвину.

1918 г.

КРЕСТОВАЯ БАРЫШНЯ

Только любовь неизменна.

И это истинная правда, что́ это так. И думаю я, в последние минуты земли нашей, при последнем ее издыхании, одна не замрет и не замерзнет любовь.

Надежда Дмитриевна мало чего еще понимала в жестоком веке нашем и любовь она не могла оценить, но уж думать думала, и в тайниках дум своих представляла любовь, и, пожалуй, верно — в самой сути ее неизменной.

И верила, что так и есть.

И всегда будет.

Глаза у нее небесные.

Вы спросите их:

«Что вы видите?»

И они ответят:

«Видим мы Божий мир — цветы цветут, звезды сияют, милые сердцу проходят по земле люди».

«А дурные? И все это злое, злоба человеческая, измена — вы испугались?»

Поутру, как идти на службу, свернет Надежда Дмитриевна с Симбирской и к Происхождению Честных Древ зайдет, поставит свечку Божьей Матери и молится — так молятся цветы и звезды.

А неказистая служба у Надежды Дмитриевны — в Крестах.

Придет в канцелярию, повесит на колок кофточку да шляпку и за дело: возьмет одну большую книгу, возьмет другую и замелькают Иваны, Петры да Сидоры — арестантов она записывает.

И бегает перо — сжаты белые пальчики — пишет без конца.

А какая у нее рука!

Подойдет помощник начальника, прапорщик Эдингард, и забудет, что́ и сказать хотел, а другой помощник плешак Звездкин так тот только губой чмокает, тычась по углам.

А Надежда Дмитриевна знай пишет, да из стакана холодный чай отхлебывает. Она не понимает, чего это стоит Эдингард и смотрит, и о Звездкине она не понимает, чего почмокивает да чмокает: и Эдингард и Звездкин не больше тронут ее сердце, чем эти казенные большие книги.

Целый день за книгами и в этом вся служба.

А бывают тяжелые дни — очередные дежурства. И тогда сидит она до семи за перегородкой и записывает ответы новых арестантов, которых опрашивает дежурный помощник.

И потому, что это очень трудно — ведь, надо не пропустить ни одного слова и все должно быть точно! — и потому еще, что слова-то эти и обыкновенные, да ведь тот, кто произносит их, в неволю идет, такие дни тяжелы.

И всегда измученная с неспокойным сердцем пугливо возвращается Надежда Дмитриевна домой.

Чует сердце, что в мире неладно, и боится сказать, и жалко ей.

Если бы было и каждому из нас хоть немного жалко друг друга, не было бы никаких безжалостных Крестов!

Был серый дождливый день, когда смеркается рано и сумерки несут тоску.

Дежурным был помощник Головтеев.

На его дежурстве всегда бывало очень трудно; и бестолков — и спрашивает, и отвечает совсем не то — и как мга какая, безразличный.

А тут еще и арестантов навели тьму-тьмущую.

И вот среди первых опросов о фамилии из потемок услышала Надежда Дмитриевна голос:

— Граф д'Оран-д'орен.

И это такой был голос, — стукнуло маленькое сердечко: или почуяло? или что вспомнило? — прямо ей в душу.

А когда у загородки стал высокий молодой арестант, она поняла, что это он.

И заиграло на сердце.

Это он, о ком она мечтала, ее рыцарь, туманный всадник, мчавшийся по розовому полю в ее тайных девичьих розовых снах.

Как быстро он отвечал на вопросы и как воздушно прошел, когда старшой Юматов грубо окликнул:

— Ну, пойдем!

И в дреме перед сном в ту ночь вдруг всплыли перед ней знакомые глаза и голос повторял:

«Граф д'Оран-д'орен».

А сердце, окропленное любвиявленскою водою, забилось вперебой: д'оран-д'орен.

Вы спросите глаза ее, в них орга́н гремит.
«Отчего вы певучи так?»
И они ответят:
«Есть в Божьем мире любовь и любовью запета земля, оттого и поем».

А случилось так: три томительных дня, и Надежда Дмитриевна нашла у себя на столе большую чайную розу, а еще через день они встретились.

И то, что смутно выговаривало сердце, сказалось ясно и закрепилось навсегда.

Выбранный арестантами старостой, граф д'Оран-д'орен явился в канцелярию: на нем была офицерская тужурка и белый Георгий. И никак нельзя было подумать, что он арестант. Скорее плешивый Звездкин, либо крикливый Эдингард — арестанты. Эдингард ходил неряшливо, Звездкин, хоть и чисто, но потрепанно и старомодно, а на нем все было ново и необыкновенно, как на картинке.

И говорил он ни на кого не похоже. И кажется, такому ни в чем не откажешь. И даже Головтеев на его вопросы отвечал куда мягче, чем всегда.

С Надеждой Дмитриевной он сказал в эту первую встречу всего несколько пустяшных слов, но в каждом слове было столько скрыто, и самого главного, и это говорил его взгляд.

Прошла неделя. Как незаметно пролетела неделя — краткие, решающие встречи! — и опять цветы на столе, две лилии.

Низко нагнулась Надежда Дмитриевна над толстой книгой, а не видит ни имен, ни цифр, и не глядя, видит только его и слышит только его — его шепот.

Они уедут вместе — забудут весь мир — с первой встречи полюбил он ее — и всегда будет с нею —

— Навек.

И горячие его губы обожгли ее щеку.

И в ответ запылала щека. Еще ниже наклонилась Надежда Дмитриевна над толстой книгой, а сердце стучит, и кажется, из соседней комнаты Звездкин слышит, как ее сердце стучит.

Две лилии она унесла с собой и весь вечер просидела над ними.

Какие белые-белые, она сохранит навек.

«Навек, — стучит сердце, — навек».

И большего счастья не надо ни на земле, ни на небе.

А в тот вечер на собрании во втором корпусе после всяких тюремных пререканий вошел в круг арестантов д'Оран-д'орен и сказал так же негромко, как и там в канцелярии Надежде Дмитриевне, почти шепотом:

— Через неделю освободится тридцать человек, мечи жребий. Кто сумеет уйти, того счастье.

И каждое слово его отозвалось на все Кресты.

С каким нетерпением ждала Надежда Дмитриевна утра, когда вновь увидит его и опять он ей скажет, как ее любит, и как они вместе уедут и не расстанутся друг с другом век.

Неизменные — слова любви, вы горячее всех слов на земле, и самые тихие, вы громче и ярче самых громких призывов и кличливей всех кличей. И в предсмертном бреду на издыхающей земле, знаю, только вы не замрете. И тот, кто вас слышал однажды, не забудет до смерти.

Дежурным был Звездкин.

Маленький, лысенький, чмокая, поглядывал он из-под очков на Надежду Дмитриевну: так была она вся овеяна и тянула любовью своей, как огоньком. Тычась по углам, Звездкин кружил около стола ее, заговаривал.

А она сидела над толстою книгой, не видя и не слыша, — ожидая его.

Стуча сапогами, в канцелярию вошел Юматов.

— Г-н помощник, разрешите свидание: жена к графу Дардарену пришла. Давать им, как прикажете?

— Что ж, можно. Зови сюда, — ответил Звездкин.

И шурш шелка наполнил всю канцелярию.

Согнувшаяся над книгой Надежда Дмитриевна собрала все свои силы и, не приподнимая головы, заглянула.

Боже мой, какая красавица стояла за перегородкой!

И слезы так и брызнули на книгу, размазывая чернила, а маленькое сердце забилось робко под каблуком этой нарядной красивой дамы.

*

Раздавленная вышла Надежда Дмитриевна на волю. А как еще сегодня поутру шла она легко! Нет, пешком ей никак не дойти.

В трамвае было очень тесно.

Какая-то дама беспомощно металась со множеством всяких маленьких свертков, которые валились у нее из рук. Надежда Дмитриевна сейчас же стала ей помогать, а тут и место освободилось, помогла сесть. Дама успокоилась, но когда хватилась платить за билет, кошелька не оказалось, и подняла крик на весь вагон, указывая на Надежду Дмитриевну.

Надежда Дмитриевна не хотела верить.

— Обыскать надо! — сказал кто-то.

А дама, схватив ее за руку, кричала в исступлении:

— Умоляю, отдайте кошелек!

— Что вы говорите? И разве можно —

И, теперь поверив, она вывернула себе карманы, и слезы побежали по проторенным дорожкам.

Кошелька не было, все убедились.

Проехав свою остановку, Надежда Дмитриевна вышла. За ней вышла и дама.

— Верю, — со слезами сказала ей дама, — и не могу. Мне не денег жалко, серебряный кошелек, это память.

И Надежде Дмитриевне ничего не оставалось, как зайти куда-нибудь во двор, и пусть там ее всю обыщет и убедится.

Так и сделала.

И во дворе всю ее ошарила дама, а кошелька не было.

— Но я не могу жить без него, это такая память! — повторяла дама, еще и еще шаря по груди и рукам.

В отчаянии обе вышли на улицу.

И вдруг Надежда Дмитриевна все поняла и точно в первый раз посмотрела на мир, где цветы цветут и сияют звезды.

И каким жестоким показался ей мир цветной и звездный.

И в этом жестоком мире жила она.

«Одна, — вздрагивали пересохшие ее губы, — одна — одна».

И надорванное сердце не проклинало.

Только зябко.

Беззащитно.

*

Вы спросите глаза, отчего есть такие, в них крест горит?

И они только горько заплачут.

С неделю не показывалась Надежда Дмитриевна в канцелярии. Все одна в комнатенке своей, как больной зверок на пеньке — так и дни прошли. И вот опять повесила на колок кофточку да шляпку и за книгу.

И не слышно.

В канцелярии были оба помощника и Эдингард и Звездкин.

Оба шутили и на все их шутки она подымала глаза и только смотрела.

Перемену приписали болезни и замолчали.

Тычась по углам, Звездкин вынул из шкапа какую-то бумагу и несколько раз повернув ее около самого носа, вдруг сказал, неизвестно кому:

— А какая бестия этот Дардарен: и сам ушел и тридцать арестантов увел, каналья!

1917 г.

Одушевленные предметы

ДВЕРНАЯ РУЧКА

Есть в больших городах вещи, к которым я отношусь с суеверным почтением, — например, дверная ручка.

Когда мне приходится входить в богатый многолюдный дом и у зеркальной двери дотронуться до ореховой ручки в медной обойме, я невольно вздрагиваю.

В этом доме в третьем этаже живет профессор, безвозвратно проваливший меня на экзамене. Не живут ли тут и мои кредиторы? Или мой смертельный враг? Впрочем, врагов у меня нет, — слишком ничтожное место занимаю я в жизни. Но недоброжелатель?

По-моему, каждую ручку наружной двери по истечении двадцати лет, хотя бы обломок, нужно сдавать в музей на хранение.

Подумать только, сколько народу касалось ну хоть вот этой ручки — задумчивых, размашистых, решительных и робких рук!

Маленькая девочка тянула ее обеими ручонками.

С отчаянием брался за нее подросток, возвращаясь с двойкой из училища.

С затуманенными глазами, ничего не видя, держалась за нее убитая неудавшейся судьбой девушка.

С тихим отчаянием медленно поворачивал ее чиновник, лишившийся места.

Сколько припомнилось разбитых надежд и любви — какой обманутой! какой горючей!

Вещи живут, внушают — вы слышите? вы чуете? — и только ослы да заводные чучелы проходят мимо равнодушно.

1918 г.

ТРАМВАЙ

Как только наступает весна, все бегут из столицы. Зачем? Разве небо не то же? А солнце в деревне другое светит? Или не то, что жжет пыльный, горячий асфальт?

Воздух...

Но зато ни в какой деревне я не слышу трамвая.

Как гордо и смело, как сказочный рыцарь на турнире, несется вперед победоносный трамвай, звеня и щелкая! А вожатый, напоминая капитана корабля, как спокойно и уверенно держится за ручку мотора!

Уверенно ясно к намеченной цели летит трамвай.

И в этом гордом движении притягательность его неизъяснима, сколько старания прилепиться к нему, повиснуть, схватиться за медные ручки!

А сколько счастья стоять на передней площадке и смотреть, как у тебя под ногами с мешками и корзинами мечется толпа и прохожие, беспомощные и жалкие, подняв носы, глядят.

Чувствуешь себя выше.

И всякий, кто, ступив с тротуара, взберется на площадку трамвая, уже окреп духом: он смел и уверен, — он мчится вперед.

Но это еще не все.

Вы вступаете в вагон, — там новые люди и новая жизнь.

А какие встречи, разговоры!

Вот дождик захлестал по стеклам, а вы спокойно внутри, — вы презираете и дождь.

Да, воздух...

Деревенский воздух и жир сливок и масло, но и какое изнурение от погодных забот и потерь!

А тут — смотрите! — какая лента женских лиц, начиная со стрельчатоокой смуглянки и нашей северной золотоотливной косы и кончая уродом.

Трамвай остановился.

И если входил я одиноким, не одиноким выхожу я.

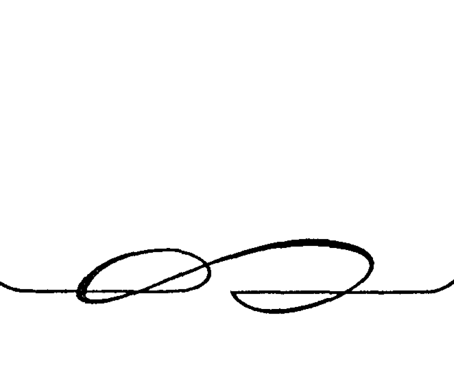
Нет, никогда ни зимой, ни летом я не покину города: одним своим трамваем наполняет он силою мой дух, а быстрый трамвайный его бег придает мне смелость, а мгновенная улыбка случайных встреч радует мое безрадостное сердце.

Сдавленные камнями перспективы или безграничность полей с грустью и тихой мечтой. Нет, это не мое, только тут на камнях я живу со всем ожесточением и остротою, а там — только томлюсь.

1918 г.

ЗГА

ВОЛШЕБНЫЕ РАССКАЗЫ



СУД БОЖИЙ

1

О. Иларион — монах угодный, умен и верою крепок — старец.

Как казначей и духовник — на виду и сам всякого видит. Бдительный — не пропустит ни одной службы. Много лет бессменно и в безмолвии у мощей стоял. Говорят, прозорливый. Оттого, должно быть, в монастырь народ идет побывать на духу у старца. Строгий и взыскательный, потачки не даст, а глаза хорошие — всю душу выложишь. Высокий, прямой, борода седая, длиной в меру — не песья. Быстрый, не побежит, а всюду поспеет. И узнаешь, не глядя: мантия, как у прочих, а шуршит, словно гофреная. В этом шуршаньи богомольцы и братия особую благодать видели.

В монастыре он давно, а когда и почему — неизвестно. Одни говорили, что от несчастной любви, а другие — что возлюбил еще с юности пустыню, а третьи — ничего не говорили, во все веруя.

А было вот что: много разного складывали.

Показывали, например, в монастырской ограде кедры, будто бы вывезенные старцем в Москву с Вычегды из пустыни, а кедры были такие огромные — век, а то и боле.

Показывали также вериги, с отроческих лет носимые будто бы старцем, и эти вериги — тяжести непомерной — надевали обыкновенно на бесноватых: шибко от бесов помогало.

И все в таком роде. Впрочем, что же? — по заслугам и честь, так из головы не выдумаешь.

Всякий раз, когда в монастыре подымался трудный вопрос или требовалось уладить какое-нибудь запутанное дело, на совет к настоятелю призывался о. Иларион.

И не без проку: старец, обсудив вопрос, удалялся в церковь и, один промолившись ночь, выносил утром решение, и было оно мудро и всегда на великую пользу. Живи, не бойся!

Случилось однажды, киевский владыка, гостя́ в Москве, посетил монастырь и, прожив в нем некоторое время, уехал, тронутый и довольный строгим уставом и образцовым монастырским порядком.

В благодарность за такое внимание решено было послать владыке подарок.

А так как слыл владыка за большого молебника, то из всех монастырских сокровищ выбрана была чудотворная и издавна чтимая икона Божией Матери, именуемая Скорбною.

Рассказывали, что во время пожара, случившегося однажды в монастыре, когда середина и крыло иконы, изображавшие Иисуса и Предтечу, погорели дотла, она одна уцелела в огне нетронутой.

На ней представлена была Божия Матерь, как стояла Она у Распятия.

Образ был древний, лик темен, но из теми явственно виделись и скорбь, и мука, и вся горечь, и глубокое покорство святого сердца, через которое судимо было, чтобы прошел меч. Украшенная богатою ризою и цветными камнями, икона была по размерам небольшая — под силу одному унесть.

Отвезти драгоценную святыню в Киев поручено было о. Илариону.

2

С первого шага пошли неудачи.

Купе второго класса, в котором поместился о. Иларион, заняли еще три пассажира. И это было бы куда ни шло. Вскоре же оказалось, что все они хоть и очень приятные и услужливые спутники, но курильщики самые отчаянные. И это было совсем некстати: ехать до Киева приходилось целые сутки, а от табачного дыма у о. Илариона кружилась голова и болело сердце. Что было делать? Просить не курить — совестно, перейти в другой вагон, — места нет.

И вот, чтобы как-нибудь уберечься и в то же время

не стеснять своих соседей, о. Иларион, выждав контроль, вышел на площадку и решил стоять на площадке весь путь до Киева.

Погода выдалась теплая, и продувавший ветерок не мешал: легко овевая лицо, подымал он вскрылия клобука и играл в них, шелестел ими, как крыльями.

Любо было и хорошо!

Весенние поля, лес и река шли чередом.

Дружная широко полегла зель и туда и сюда и, благодатная, укрывала душистым ковром необъятный край земли до небесной сини и словно все кликала кликом реющей песни своего жаворонка,

а лес, зеленея молодою клейкою листвой, что-то все говорил, шумя,

а пробегавшие реки и речки, вырастая под половодьем, полноводные, гудели, куда колокол.

И оттого ли, что столько лет проведено было однообразно, на одном месте в стенах городского монастыря, среди свечей, лампадок и ладана, или еще от чего, что доносилось ветром и касалось глаз с этой шири и дали, почувствовал о. Иларион, как стало ему весело и радостно как-то.

Пускай одежда на нем темная и голова его — седая и душа, принявшая многое множество и самых отчаянных и самых горьких признаний, отягчена и утомлена чужими грехами и тайнами, а там — все молодо, а там — все полно неведения, он нисколько не представляется чужим, ни одиноким, и вид его не режет глаз.

Была ли это молитва — и старец молился без слов и мысли единым духом, как преподобный Коряжемский Логгин молился среди своих печальных кедров белою ночью всю ночь до колокольного звона, плывшего по реке из Соли Вычегодской.

Или проходили в нем воспоминания, но какие? — не тех же дней, которые с болью прожиты и лишь теперь благословлены? — Нет, не этих дней.

И что за голос он слышит, и куда зовет этот голос?

Или видел он руку, показывающую ему дорогу, но не назад в монастырь, а куда-то в эту ширь и даль:

там ложе — земля, а покров — небо.

Он стоял и, не отрываясь, глядел вокруг.

И если бы захотел в те минуты собрать свои мысли, они не сказались бы. И было так весело и радостно как-то.

Слезы сами собою подступали и крупные катились из засветившихся, веселых и кротких глаз.

И время неслышно шло.

«А не искушение ли это?» — шевельнулась чуть внятная мысль, и тотчас о. Иларион перевел глаза и, вздрогнув, потупился:

какой-то господин, стоя у двери, выходящей на площадку противоположного вагона — первого класса, упорно смотрел на него.

— Искушение! — сказал сам себе о. Иларион и, подтвердив словом свою предательскую мысль, всполошил мысли:

они лезли в голову всякие, и подонки их.

Чувствуя на себе неспускаемый взгляд, старец схватился за четки и с каким-то остервенением принялся читать положенную молитву и, читая ее, затверженную, потерявшую всякий смысл — пустую, стал убеждаться, что все только что бывшее с ним — нечисто.

«Дьявол, — распалялся монах, — Сатана, радующийся, когда удается ему обойти человека: заставить размякнуть человека и разнюниться. Все от Дьявола. Скверную шутку сыграл с ним, нечего сказать! Замутил ему память... Да разве он, столько лет проведший в монастыре и столь много потрудившийся для своего и чужого спасения, мог сам собою забыть пример старца, имя которого принял и житию которого следовал? А как поступил троекуровский старец, попав однажды в такое же положение? Выведенный по весне в садик, старец сказал: «Хорошо, очень хорошо, пожалуй, захочешь и еще! и велел вести себя обратно в келью».

Подводя итог пережитому, о. Иларион укорял и превозносил себя.

Он допытывал: какой это иной путь указан ему? И разве мыслимо оставить ему монастырь?

Он один вот этими руками устроил монастырь, и без него пропадет монастырь.

А все эти люди? Ведь только из-за него они идут, от него ищут себе утешения. Что они без него будут делать? Куда денутся? — Очумеют в своей темной и жалкой жизни, как псы, подохнут без покаяния.

А! он догадался! Он знает этот путь. Знает, куда ведет эта дорожка. В мир звал его Сатана, красотою, полями соблазнял его. Нет уж, ошибся. Не будет этого, как не может быть снег черен, соль пресна! Он оставил мир, чтобы спасти его. Это единственное, чем жил он, живет и будет жить. И знает он, как спасти мир, знает он, кто виновник страдания.

Еще в молодости, как изведывал и пробовал жизнь, ходя среди людей последним блудником, вором и пьяницей, еще в те годы, когда, чувствуя силы, искал он себе дела, эта мысль о спасении — а он давно это понял — не покидала его: он ею только ведь и мучился.

— Господи, помилуй мя! — произнес о. Иларион глухо и с какою-то обидою, что вот Господь попустил искушать его.

И, подняв глаза, он снова встретился с упорно направленным на него взглядом:

наблюдавший за ним господин, выйдя на площадку, стоял теперь прямо против него.

Коробило от этого взгляда.

О. Иларион, бросив молитву, стал оправляться: поправил клобук, поправил наперсный крест, поправил рясу.

Но одежда все как-то лезет на нем. И стоять становится трудно.

Воды бы попить!

И в ушах звон: назойливо стучат колеса и где-то неприятно лязгают цепи.

Какое-то утомление клонит его.

И ему хочется опуститься тут же на площадке, вытянуть ноги и заснуть.

Он долго боролся, брался за четки, таращил глаза, переминался, но силы оставили его, и, не заметив, стоя, он заснул.

И хотя спал он всего ничего, тягучий и безобразный сон довершил весь его страх и беспокойство.

Представилось о. Илариону, будто он в монастыре, сидит в трапезной за столом и ест котлеты. А перед ним стоит его любимый ученик, умерший несколько лет назад еще юным, и служит ему. И вот, будто ест он эти котлеты и, входя во вкус, начинает соображать, что котлеты не говяжьи, а сделаны котлеты из мяса, вырезанного из ног

этого любимого ученика, и ясно видит он те самые места, откуда вырезано на котлеты.

*

Очнувшись, о. Иларион вошел в вагон.

Купе от папирос дымилось, а спутники, примостившись, резались в карты. Тут же стояло угощение. Заметно было, что не без усердия прикладываются к рюмкам. И было очень весело.

Наперерыв друг перед другом бросились соседи потчевать о. Илариона, но он, от всего отказавшись, попросил только воды. Воду скоро достали. И не выпив и несколько глотков, о. Иларион почувствовал утоление.

Присел к соседям и, насколько позволяли силы остаться, оставался в купе.

Беззаботность ли и веселье его спутников, перемена ли места, но что-то отрезвило его, и он снова вышел на площадку.

Был уже вечер. Село солнце. Попадавшиеся поля, лес и реки ложились по сторонам затуманенные и затихнувшие, и лишь вечерние птицы робко начинали свои поздние песни.

А вечерница — первая звезда, восходя по небу, зажигала свет свой.

Тихий свет тихо входил в душу старца, наполняя ее смирением и покорностью.

Ожесточенности не было, а с нею улеглась гордыня. Он уже не думал о своих заслугах и трудах, ни о том, как спасает себя и других, не поминал дьявола, который будто бы только и ищет, чтобы смущать его, не роптал.

Это был уж не прославленный старец, а простой монах, к которому тянуло и которого любил народ.

Между тем, все тот же господин, следивший за ним, перешел на его площадку и стал с ним рядом.

И опять страх еще пуще овладел о. Иларионом, но он не пошевельнулся и продолжал стоять смиренно и покорно, готовый все вынести, что бы ни случилось.

А что могло случиться, ясно ему не представлялось.

Он чувствовал только недоброе что-то в соседе и в том, что этот сосед неотступно преследует его.

Так стояли они плечо в плечо.

Погаснул вечер. Темная протянулась ночь.

Безветрие и тишина.

И слышны были лишь стуки сердца.

— Батюшка, — сказал незнакомец.

О. Иларион повернулся и, смиренно наклонив голову, дал понять, что готов на все ответить, что бы ни спросили его.

— Вот я все смотрю на вас, — продолжал незнакомец, — и никак понять не могу, скажите, батюшка, почему это вы стоите тут: и днем стояли, и вечером, и сейчас?

— В нашем вагоне курят, я не могу выносить дыма: у меня голова разбаливается и сердце. Я и вышел сюда.

— А вам далеко? — полюбопытствовал незнакомец.

— В Киев, по поручению настоятеля, — сказал о. Иларион.

— Так знаете, батюшка, переходите ко мне: у меня свободно, отдельное купе, и в целом вагоне, кроме меня, никого нет — пустой вагон. Мы вместе и разместимся, одному очень скучно.

Голос незнакомца пресекался, какая-то затаенная мысль, которую он уж не мог удержать в себе, а с нею и тревога прозвучали в его словах.

И это не внушало доверия.

И вид незнакомца: это был молодой человек самый обыкновенный, каких часто встречаешь, без всяких приметин, — все было на своем месте, правильно, но почему-то тоже не внушало доверия.

О. Иларион хотел было отказаться, но, и не сделав даже попытки, как-то помимо воли дал согласие.

Сказав, что хочет взять вещи, он пошел в свой вагон.

Страх не отпускал, что-то предостерегало его не возвращаться.

И сделать это было легко: в купе все спали и он, в свою очередь, тоже мог бы лечь и хорошо выспаться, курить не будут.

Присел о. Иларион на диван, и стал уж успокаиваться, но, не прошло и минуты, вдруг поднялся.

Совесть заговорила в нем. Совесть укоряла его в малодушии и повелевала немедля идти и не бояться, потому что он — монах, а монах ничего не должен бояться.

Забрав с собою чемодан с чудотворною иконою, о. Иларион вышел из вагона.

Молодой человек, поджидавший его на площадке, помог ему перейти в свой вагон и, введя в купе, затворил дверь.

И снова одни с глаз-на-глаз они остались в пустом вагоне, сидя друг против друга.

Впрочем, молодой человек не заставил себя ждать.

— Я так измучился, батюшка, — заговорил он, волнуясь, — просто нигде себе места не найду, пробовал читать, не читается, и спать не могу, вышел на площадку — одному тут жутко и скучно! — вижу, вы стоите, и стал я наблюдать за вами, и чем больше вглядывался в вас, тем больше вы мне нравились, и решил я: спрошу у вас, и как вы скажете, так я и сделаю.

— Говорите, — тихо произнес о. Иларион, — что в моих силах, помогу вам, — и привычно приготовился слушать и все принять, что только может открыть человек от первого преступления до последнего злодейства.

— Я единственный сын, — начал спутник, — родители мои очень богатые люди в Киеве. Когда я был еще мальчиком гимназистом, они выбрали мне невесту, и сказано мне было, что, когда я кончу университет, женюсь на ней. Она — моя сверстница, и мы часто вместе проводили время. Сначала, как дети, играли, потом стали вместе читать, ходили в театр, танцевали. Отношения у нас были самые лучшие: я к ней, как к сестре, она ко мне — как к брату. Кончив гимназию, я поехал в Москву в университет. Сначала мы переписывались: я скучал один. Но потом, вот уж два года, как я встретил одну девушку, полюбил ее, и мы сошлись. Родился у нас ребенок. В Киев родителям, не желая огорчать их, я ни слова не написал. Это для них было бы настоящим горем. А ее я как-то упустил из виду и даже забыл, что есть у меня какая-то невеста, и что я только на ней и могу жениться. За все это время, отговариваясь разными делами, я ни разу не был к Киеве. Наконец, я кончил университет, жили мы хорошо, я начинал подумывать, как нам устроиться, и вдруг получаю от отца телеграмму: требует, чтобы немедленно я приехал в Киев, и что день моей свадьбы назначен. Сперва я не хотел ехать, мне казалось невозможным и диким такое требование, но потом что-то

заколебалось во мне, стал я думать и, в конце концов, взял и уехал. А как сел в вагон, так опять сызнова и пошло: и ни в чем уж теперь разобраться не могу, все у меня перепуталось. Вот я и решил спросить у вас, и как вы скажете, так я и сделаю: ехать ли мне в Киев или обратно в Москву?

— Какие пустяки! — сказал о. Иларион, — прямое дело ехать вам в Москву.

— В Москву? — спутник при этих словах так подпрыгнул от радости, что чуть в окно не выскочил.

— Конечно, в Москву: раз вы полюбили, то надо и быть вам с теми, кого вы любите.

Сказав это, о. Иларион почувствовал, как что-то тяжелое отлегло от сердца.

Откинувшись на диван поудобнее, совершенно спокойный, он просто руками разводил, вспоминая пережитое за день.

Откуда у него страх явился перед этим несуразным человеком, который сам себя опутал кругом, и история которого, впрочем, как и большинство историй, выеденного яйца не стоит?

А несуразный человек — спутник старца, тем временем о себе рассуждал.

Как же это он так поступил необдуманно и, Бог знает, из-за чего, — из-за каких-то капризов родителей поехал в Киев, чтобы связать свою жизнь с нелюбимым человеком, оставив жену и ребенка, которых он любит. Да ведь он своим глупым поступком мог бы всю жизнь себе искалечить, и не себе только, ведь он даже не сказал ей, зачем едет, и узнай она настоящую причину, возможно, не перенесла бы...

И, словно очнувшись от какого-то продолжительного глубокого обморока, он бросился собирать свои вещи, чтобы на первой же станции, ни минуты не медля, пересесть в другой поезд и ехать обратно в Москву.

В ожидании счастливой остановки, болтая всякий вздор, сколько любопытного успел передать он и про своего маленького сынишку, и о всех своих планах, и как его встретят, и как они заживут спокойно, и как он когда-нибудь жене все расскажет, и сколько будет смеха, а какие зимой вечера у них будут! — и куда они на будущий год поедут, и какие игрушки он купит.

Затем начал рассказывать какой-то анекдот, и на самой соли его, не кончив, сам первый же стал смеяться, и смеялся на весь вагон раскатисто и молодо, словом, переродился: и не узнаешь.

Поезд приближался к станции, и оставалось всего каких-нибудь две-три минуты, как вдруг страх больший, чем все бывшие за весь путь, охватил о. Иллариона.

— Постойте, — сказал он счастливому своему спутнику, который уж одной ногой был за дверью, — обождите немного... Я только что сказал, что надо вам в Москву ехать, и считаю, что по моему разумению другого выхода для вас нет, но я — человек, и как человек, могу ошибаться. Признаюсь, сегодня, когда мы там стояли, я подумал, что вы замышляете что-то недоброе, что вы, может быть, убить меня хотите, а, ведь, на самом деле вы оказались простым и добрым человеком и зла мне никакого не сделали. Вот я и хочу предложить вам: сделаемте так, как делается у нас в монастыре. Обыкновенно в трудных вопросах, когда представляются несколько решений, мы пишем на записки и кладем у иконы. Потом, помолившись, вынем одну записку, и как в записке говорится, так и поступаем. За всю мою жизнь не было случая, чтобы указанное таким образом решение приводило к чему-нибудь дурному, ибо решение это божеское и ошибаться не может. Согласны ли вы поступить так?

— Согласен.

— И что вынется, то и будет, — повторил о. Илларион.

— Раз вы говорите, я согласен.

В это время подъехали к станции, и молодой человек, видимо, загрустил, но когда снова тронулся поезд, он понемногу вошел в колею и, хотя смеха не было слышно, вид у него был веселый.

Помогая о. Иллариону распаковывать чемодан, он заранее был уверен, что б о ж е с к о е решение, которое сейчас скажется, не может не совпадать ни со здравым смыслом, ни с мнением старца.

Взяли они икону, поставили на столик, написали две записки, свернули записки в трубочки и, положив перед иконой, стали на молитву.

И молились горячо и долго, не слыша ни звонков, ни остановок.

Не заметили, как и ночь прошла и светать стало.

Только когда поднялось солнце, о. Иларион, положив последние три поклона, вынул записку.

Молча прочитал ее, молча передал своему спутнику.

— Такова воля Божья, — сказал о. Иларион твердо, но с упавшим сердцем.

— Воля Божья, — повторил за ним сухими губами его убитый, опечаленный спутник.

И больше они не проронили ни слова.

В вагоне было душно и неуютно.

И хоть бы окно раскрыть!

А там вместе с солнцем проснувшаяся и цвела, и ворковала лебединая степь, широкая — до самого моря.

Совсем близко около Киева, когда отобрали билеты и о. Иларион поднялся, чтобы идти в свой вагон, молодой человек остановил его, прося исполнить просьбу:

прийти к нему на свадьбу.

— Это последняя к вам просьба, батюшка, — сказал он, — непременно приходите, — и назвал старцу день, час и церковь.

К счастью оказалось, что день этот о. Иларион проведет еще в Киеве, и он пообещал.

Так они и расстались.

Уж навстречу поезду выходили с холмов белые церкви, и поезд, перейдя Днепр, приближался к вокзалу.

О. Иларион, простившись со своими спутниками, вышел с чемоданом на площадку.

Среди встречающих ему бросился в глаза старик с пожилою дамой, а с ними барышня, они направлялись все трое к вагону первого класса.

И о. Иларион сразу догадался, что это — отец, мать и невеста его несчастного спутника.

Барышня ему не понравилась.

И снова упало сердце.

— Такова воля Божья.

3

Владыка милостиво принял о. Илариона, а драгоценному подарку просто не знал благодарности. Владыка обещал непременно еще раз побывать в их монастыре и уговаривал

старца подольше остаться в Лавре, чтобы, пользуясь пребыванием старца, получить от него некоторые советы, в которых очень нуждался.

Дни проходили незаметно.

О. Иларион ни разу до сей поры не бывавший в Киеве, занят был посещением киевских святынь и осмотром древностей. Свободные часы проводил он у владыки. Но ни в пещерах, ни у владыки, в примиренности и умилении своем перед виденным благолепием, завершавшимся звоном печерских колоколов и киевскими распевами, мысль о данном обещании дорожному спутнику не покидала его.

Наконец, подошла пятница — день назначенной свадьбы и последний срок пребывания о. Илариона в Киеве.

Он собирался было задержаться и еще некоторое время, но из Москвы получены были письма, в которых его торопили: присутствие старца в монастыре оказывалось необходимым для решения неотложного дела.

Свадьба назначена была после вечерни, а поезд отходил поздно вечером.

Хотя промежуток был довольно большой, но о. Иларион, опасаясь пропустить поезд, задумал заранее взять билет.

После прощального обеда у владыки, когда зазвонили к вечерне, о. Иларион отправился на вокзал и, пробыв там ввиду встретившихся препятствий долее, чем следовало бы, заторопился взять извозчика.

Вечерни давно кончились, а где находится церковь, о. Иларион не представлял себе и потому очень обеспокоился.

Когда же, наконец, приехал он к церкви и увидел множество экипажей, стоящих по обе стороны улицы, он еще больше забеспокоился: ясно было, что свадьба уже началась.

А когда вошел в церковь, тут уж от досады чуть не заплакал:

посреди церкви стоял г р о б.

Ни минуты не медля, о. Иларион поспешил назад и, насилу отыскав своего извозчика, сказал ему с упреком:

— Не туда ты меня привез, уж не брался бы лучше!

— Да вы, батюшка, сказали: в Кирилловскую, я вас и привез в Кирилловскую.

— Наверное, две церкви Кирилловских! — о. Иларион, не дожидаясь ответа, занес было ногу в пролетку, — вези скорее в другую.

— В какую же другую, батюшка, всего только одна и есть на весь Киев, а другой никакой нет.

— Ты ничего не знаешь! — о. Иларион стоял на своем.

— Так спросите кого другого, одно и то же скажут, — огрызнулся извозчик, — и не таких возил!

О. Иларион вернулся в церковь и, еще раз убедившись, что в церкви не свадьба, а покойник, направился к церковному ящику: тут, думал он, дадут ему самые точные справки.

— Это Кирилловская церковь? — спросил он старосту.

— Кирилловская.

— А еще есть Кирилловская?

— Одна Кирилловская.

— А где-нибудь на окрайне, или по-другому называется?..

Но староста, занятый счетом денег и, видимо, не желая продолжать праздный разговор, только покачал головою.

Ничего другого не оставалось, как уйти. Но куда?

Искать несуществующую церковь по меньшей мере странно, да если и допустить, что по какой-либо случайности — мало ли что бывает — такая церковь и оказалась бы, то все равно уж поздно: время пропущено, и никакой свадьбы он не застанет.

Может быть, он перепутал название, или день, или время?

Да нет, память ему не изменяет, он хорошо помнит: Кирилловская, пятница, пять.

И зачем понадобилось ему на вокзал тащиться? Успел бы еще тысячу раз и билетов сколько угодно. Пошел бы к вечерне, все разузнал бы толком.

— Кирилловская, пятница, пять, — повторял машинально о. Иларион, проталкиваясь к выходу.

Не досада, горечь заливала его сердце: он не сдержал своего слова, не исполнил обещания.

Народу была полная церковь, и почему-то не стояли на месте, а все двигались по разным концам, как у праздника, когда прикладываются.

Теснимый со всех сторон, уже достигнув паперти, о. Иларион как-то помимо своей воли очутился в круговороте и понесен был волною назад, как раз к тому месту, где стоял гроб.

«И что это за порядок хоронить после вечерни, нигде такого обычая нет! И что, если тот человек просто подшутил над ним?»

— Кирилловская, пятница, пять.

О. Иларион на минуту приостановился, и вдруг словно холодною водой плеснули ему в лицо.

Вскинув глаза, старец застонал: просто невероятным было то, что он увидел.

Он находился в парадной толпе расфранченных дам и мужчин, никакого гроба не было, а там, где раньше виделся ему гроб, стояли теперь молодые: жених — его спутник, невеста — та барышня, которую в день своего приезда он заметил на вокзале.

Кончалось венчанье.

Присутствие монаха само собою обратило на себя внимание. И не только это, а скорее вид о. Илариона и поведение.

А вел себя о. Иларион странно.

То начинал он молиться и лежал распростертый ниц, то гордо подымал голову, словно вызывая кого-то и крепко что-то оспаривая, то испуганно озирался и вертел головою, желая что-то сбросить с себя, то опять дерзко сжимал кулаки, то униженно сгибался весь, словно просил отдать ему что-то, что насильно взяли у него и не хотят отдать, то застывал на месте и стоял, как столп, с остановившимся взглядом человека, пораженного какою-то отчаянною мыслью, и потом рукою показывал, словно объясняя кому-то, что был он вот какой, а теперь — нищий, и просил подать Христа ради.

О. Иларион видел одно: брак, на котором он присутствует, заключен противно всякому здравому смыслу, но по указанию Божьему, и по указанию Божьему — а это ведь только что открылось ему — станет не жизнью, а гробом.

И видя только это одно, не мог он понять и все спрашивал:

какой же смысл этого гроба — человеческих страданий?
зачем человек обрекался на страдания?
кому и для чего понадобились эти страдания?

Вот он, старый, проживший много лет в монастыре, спасал себя и спасал других, но он не помнит, забыл,

как спасал и как спасался, а забыл потому, что прежде понимал, а теперь не может понять, какой смысл страданий его и тех людей, которые приходили к нему, и зачем, и кому, и для чего страдания всех этих жалких плодящихся, как моль, ничтожных жизней?

Перед ним проходили жизни, Боже мой, какие калечные! — и он не видел им оправдания и просил, не умея ответить, подать ему ответ, ну хотя бы, как милостыню, ради Христа.

— Не сына ли его и не дочь ли его венчают?

— Нет, это его любовница.

— Тоже монах, а пьяный: ишь как назюзюкался!

— Блаженный, поди!

— Представляется: знает, купцы, — купцы любят!

Многое еще говорилось и все, как самое достоверное.

И одни жалели его, другие ругали и насмехались над ним, третьи — этим все равно: некогда было.

Молодые приложились к образам, отошел молебен, и весь народ хлынул к паперти.

И о. Иларион вышел.

Он шел по незнакомым улицам, как-то чудно размахивая руками, будто не монах, а спешащий по шутовскому делу наряженный в монашеское платье простой мирянин, скоморох.

А спешил он не в Лавру, не за тем, чтобы проститься, и не на вокзал, чтобы ехать в Москву в свой монастырь, он никуда не спешил.

Далеко уж от церкви нагнал его извозчик.

— Эй, батюшка, а что же вы деньги-то?

О. Иларион молча отдал весь кошелек, все, что у него было.

«Рехнулся!» — подумал извозчик и, посмотрев вслед удалившемуся странному седоку, сказал:

— Придурай! — хлестнул лошадь и поскакал к трактиру.

Весь вечер и ночь ходил о. Иларион по улицам, исшагал город вдоль и поперек — из конца в конец, не останавливаясь и не оглядываясь.

А на рассвете дня, выйдя за город на дорогу, нагнал он какого-то, не то странника, не то бродягу.

— Куда идешь? — спросил он странника.

— Куда глаза глядят, — ответил странник.

И о. Иларион пошел за ним.

И степь закрыла их.

ПОКРОВЕННАЯ

1

Первый удар колокола слушай от Ивана Великого. Трижды гулко ударят в Успенском, за Успенским подымут звон у Симонова, а уж за Симоновым и все сорок сороков, — со всех семи холмов вся Москва гудит.

Сколько веков так под красную Пасху на златоглавой Москве звонят! Звонили так и при царях московских, при государях всея Руси.

Палагея Сергеевна слушает звон, но никаких царей-государей не вспоминает, ничего не вспоминает она, — вся ее память закрыта, все воспоминания погашены.

Слушает и старая кухарка Настасья, истово кладет кресты, шепчет старуха под полунощный, душу потрясающий, воскресный звон, истово кладет кресты, и тоже ни о чем не помнит, вся в тихом, в молитвенном озарении.

«Христос воскрес».

— Христос воскрес, Палагея Сергеевна! — говорит она, тихая, вся в тихом, в молитвенном озарении.

А за окном Москва гудит, не разобрать колоколов: который колокол у Семена Столпника, который у Сергия в Рогожской, который у Мартына Исповедника, который у Воскресения в Гончарах, — смешались таганские с рогожскими и гончарные с николоямскими, гудят.

Палагея Сергеевна слушает звон, смотрит упорно, не на пречистый образ так она смотрит, не на Покров темный с ясной лампадкой, а куда-то через паутинные зимние рамы в тьму полунощную пасхальной ночи...

И вдруг слезы градом бегут из упорных пересиливающих и эти слезы, все еще живых глаз, а губы кривятся, беспомощные.

С тех пор, как Палагея Сергеевна вышла замуж, вот уж четвертый десяток, не ходит Палагея Сергеевна под Пасху в церковь, а сидит дома.

Первые годы в замужестве каждый год рождались у нее дети, и стоять ей в церкви трудно было, — дома сидела. А когда разошлась она с мужем и переехала от мужа с детьми на Хиву в переулок, она опять сидела дома, не ходила в церковь: дети маленькие были, и ей было страшно оставлять детей одних в доме.

А стали дети побольше, — пять сыновей у Палагеи Сергеевны, все погодки, — уж дети-гимназисты уходили в церковь, а она дома сидела, дом стерегла с Настасьей.

И выросли дети, ученье кончили, в люди вышли, всякий своим домом зажил, своей семьей, и осталась одна без детей Палагея Сергеевна, но и одна, по привычке, что ли, не выходила она под Пасху в церковь, сидела дома.

Палагее Сергеевне за шестьдесят, и уж сорок лет, как в пасхальную ночь она только слушает звон, этот полунощный, душу потрясающий, воскресный звон.

И не тихое озарение от ясной лампадки покрывает лицо ей, та вон ночь со своей полунощною тьмою, да вдруг неудержимо слезы...

И на миг слезы оживляют ее угасшую память.

В слезах, сквозь частые слезы неудержимые, она видит себя, и не седой, с облезлой маковкой, покрытой кружевной черной наколкой, не беззубой сутуловатой старухой, чудной и странной, беспамятной, сумасшедшей, доживающей свои дни на Хиве в переулке с кухаркой Настасьей, а барышней задорной, Полинькой Расторгуевой.

*

«Полинька, Христос воскрес! Полинька, поверни-ка губоньки, носик свой курносенький, глазки свои жучочки, деточка, Христос воскрес!»

Это Анна Ивановна все целует свою любимицу, свою последнюю дочку Полиньку: в первый раз в церковь под Пасху повела она Полиньку, нарядила, словно куколку, кутает в бархатный алый салопчик, уж к кресту приложились, вышел батюшка паски святить, домой пора.

А у Полиньки один глазок уж давным-давно, за евангелием еще, как евангелие стали читать, тут и заснул, а другой, плут, не спит, все таращится:

любопытная она такая девочка.

Полинька девочка длинноногая с тонкой шейкой.

Полинька стоит у клироса в теплом приделе, где идет служба. Она ученица лютеранской школы Петра и Павла. Она в четвертом классе, ей четырнадцать лет.

Как Полинька рада пасхальной заутрене, когда все поется, не читается, и царские двери настежь раскрыты, виден жертвенник и престол, как она рада пасхальному пению — все запели, вся церковь поет, и теплым огонькам — красным свечкам, и красным бархатным ризам — золотом расшитому облачению в маленьких жемчужинках, и душистому зеленому можжевельнику, колкому под ее атласными белыми туфельками.

Сердце стучит, уши горят...

Она влюблена, она в первый раз влюблена. И таит в себе эту первую свою любовь. Он ничего не знает, и никогда не узнать ему: сама, ведь, она никому и никогда не скажет, виду ему не подаст.

Через все пение, через все возгласы ей слышится голос, его голос.

И так горячо она думает, и только о нем: он — все в ее сердце, им полно все ее сердце.

Сердце стучит, уши горят...

Скоро узнает она — он сосед их — скоро узнается, что после праздника свадьба его назначена, женится он, и как она тогда горько заплачет, захлебнется она в своих первых слезах. Но она еще ничего не знает, она еще ни о чем не догадывается. Завтра она его увидит, завтра он к ним в дом придет ее отца поздравлять, — отец ее известный в Москве купец, к отцу все ходят с праздником поздравлять, — он непременно придет.

И Полинька рада, она всем, она всему рада: она ждет его.

«Христос воскрес, Полинька!» — нянька говорит, Авдотья.

«Воистину, нянечка, Христос воскрес!»

И улыбается Полинька, целует долготерпеливую няньку Авдотью, подслеповатую бисерницу, сеченную в крепостях, которая любит Полиньку, как покойница Анна Ивановна любила свою длинноногую болотную птичку.

*

Полинька барышня-невеста.

Полинька кончила немецкую школу, ей восемнадцать лет. И не думает она уж ни по-немецки, ни по-французски,

как думала раньше, когда училась в школе, она думает по-русски и книжными словами и словами покойницы няньки, долготерпеливой Авдотьи-бисерницы. Давно забыта ее первая любовь, кудрявый сосед Прохоров, много раз с тех пор влюблялась она, и сколько раз влюбленная думала она, что от тоски с ума сойдет. Все забыто, все улеглось и не вспоминается.

Полинька — невеста, и он тут, жених ее, недалеко от нее у клироса стоит.

Она его любит и знает, что и он ее любит. Каждую субботу он ходит ко всенощной в церковь, куда она ходит, на балах он танцует с нею: зимой танцевали они в Купеческом клубе и в Благородном собрании, летом в Петровском-Разумовском, в Петровском парке, в Богородском, в Сокольниках, в Останкине, в Леонове, в Свирлове — и в Опере кресло у него рядом с ее креслом. И все-то он замечает, и если Полинька расстроена, никто не заметит, а он непременно увидит, по глазам ее, по блеску глаз разгадает, и скажет. Перчатки у ней стащил... ну, потом вернул. Он еще не сделал ей предложения, после Пасхи сделает, на Красную горку. А потом и свадьба. Уж жильцы от Горбовых из дома их съехали: это для молодых, там они поселятся. Отделают комнаты, и тогда свадьба.

И Полинька смотрит уверенно.

Она и не догадывается, и нет у ней в мыслях, что не бывать ее свадьбе, что после Пасхи, на Красную горку, все сорвется, рухнет все дело: они объяснятся, она первая ему скажет, но старик Горбов запретит сыну жениться, и послушный сын покорится. Как ужаленная, завертится она, задохнется она, от обиды изноет, заболит, и будет долго одна с обидой своей, все одна, на люди не выйдет. А пока она ничего не знает, она — невеста, она так уверенно смотрит.

«Христос воскрес, Палагея Сергеевна!» — это Горбов, жених ее, он подошел к ней, он целует ей руки.

«Воистину воскрес!»

И улыбается Полинька, и целует подругу, свою сверстницу, тоже невесту, Клавденьку, крепко целует трижды.

Полинька вся в белом, с алым шарфом.

Полинька одна стоит в теплом приделе, где служат. Ей уж двадцать два года. Нет ее подруги Клавденьки.

Клавденька давно замуж вышла. Похудала Полинька, и скорее похожа на ту длинноногую девочку, на *болотную птичку*, влюбленную в кудрявого соседа, не на невесту Горбова, и это ее хорошит.

А как много всего за это время прошло!

Умер отец старик, сам Расторгуев, кучер вывалил Полиньку из саней, и она сильно ушиблась, — один Бог спас, на балах Полинька теперь уж первая, все за ней ухаживают, но ее не так забавляют балы и ухаживания, не так занимают и толки о женихах. После той горбовской горячки Полинька стала как-то равнодушнее, ну, конечно, не раз влюблялась она и не в одного, а в нескольких сразу, но как-то все выносила легко, не было той первой боли и тоски до отчаяния.

Полинька встретилась с *новым* человеком, такого она раньше никогда не видала. Познакомилась она с ним в Богородском на даче.

Он совсем не похож на тех людей, какие бывали в их доме у ее отца, он ни на кого не похож: ни на Прохорова, ни на Горбова. Он и одет по-своему: в бархатном пиджаке, в белой фуражке и высоких сапогах, и еще носил он ситцевую лиловую рубашку, и было у него драповое истасканное пальто, — всегда очень растрепан, а как нравился!

Из всех богородских барышень он отличил Полиньку и танцевал с ней, как когда-то танцевал жених ее Горбов. Он приучил ее смотреть на все *обыкновенными глазами*, — так сам он говорил ей, вместе читали книжки.

Да, она заметно переменилась. Раньше она только и гадала, что о свадьбе, чтобы замуж выйти, к замужеству сводились все ее мысли, к женихам, а после встречи с ним она захотела быть *самостоятельною, трудиться, приносить пользу обществу, идти наперекор*, чтобы вышло из нее что-нибудь *настоящее*, — так сам он говорил ей. Она по его совету перестала носить шиньон, и стала учить грамоте фабричных ребятишек. Открылась ей целая новая жизнь, и время у ней занято.

Но Лебедев женатый, у него есть дети. Жена стала присматривать за Полинькой и мужем, и вышло так, что должен он был уехать куда-то в Казань с женой и детьми. Он был такой печальный, когда прощался с Полинькой,

писать обещал, помнить всю жизнь. И ничего не написал. Так и сгинул где-то в Казани, ни строчки не написал.

Досадно было Полиньке.

Впрочем, теперь-то ей совсем безразлично, помнит ли ее Лебедев или забыл, напишет он ей когда, или так и пропадут о нем всякие вести, ей все равно. А насчет Горбова, жениха своего, ей просто смешно, да и представить ей себе трудно, понять она не может, как это тогда могла убиваться так. Да и не думает она ни о ком из прежних своих: ни о Горбове, ни о Лебедеве, ни об одном человеке, о ком хоть одну минуту жарко подумала, ну, после бала.

Зимою вернулся в Москву ее двоюродный брат, с которым была она в дружбе, и не один он вернулся, а с женою-цыганкой: на цыганке женился. Родственники встретили неласково цыганку, и только одна Полинька, наперекор всем, привязалась к своей новой родственнице и постоянно бывала в их доме. И там, у них в доме, познакомилась она с одним художником.

Зима прошла весело. На Новый год Полинька была на маскараде и опять, на Крещенье, на маскараде. И всякий раз с Кистеневым, — и на маскараде, и на балу, и на всех вечерах она с ним, только с ним. На тройках в Стрельну каталась, и в санях она с ним сидела.

Сердце стучит, уши горят, красная свечка плывет.

Не любила так никого Полинька, как его любит. Он вернется в Москву скоро уж, вот, после Пасхи, в мае. Она знает, он тоже любит ее, она выйдет замуж.

Через все пение, через все возгласы ей слышится голос, его голос.

И так горячо она думает, и только о нем: он — все в ее сердце, им полно все ее сердце.

Сердце стучит, уши горят, красная свечка плывет —

Да, она выйдет замуж, не за него только, за другого, так она выйдет, без любви, очертя голову.

Но она об этом и подумать теперь не может, мысли у ней не может быть, что именно вот так оно и будет, а не иначе. Да она бы в минуту поседела, шепни ей о судьбе ее. Он вернется из Петербурга, после Пасхи, в мае, свидания их будут все чаще, и без слов все между ними станет ясно, по горлышко дойдет им любовь их, вплотную близость их. Она его будет звать Сашей, он ее —

Полинькой. Так и простятся. Осенью он уедет в Петербург, он еще учится, и еще не один год учиться ему. Потянется осень. Будут родственники и старшие докучать сватовством: ведь все ее подруги замуж вышли, и ей пора, ей уж двадцать два года. Ей двадцать два года, а ему надо учиться, и не один еще год учиться. А с годами мало ли что, мало ли перемена какая будет? А тут есть человек не молодой уж, но богатый, вдовец и с детьми. И она поддастся. Не на богатство позарится она, что ей? — приданое отец завещал большое, нет, все ее мысли петлей закрутятся, станет ей как-то все равно, и она выйдет замуж по сватовству, без любви, так она выйдет, очертя голову.

А как придет в себя, да как увидит, что сделала, и упадут руки. И вернуть не вернешь. И лучше бы не встать ей тогда, не подняться с земли, когда кучер из саней ее вывалил. Но она еще ничего не знает. Как она далека от своей судьбы!

Сердце стучит, уши горят, красная свечка плывет —

Это ее последняя Пасха, в последний раз стоит она в церкви, слушает пасхальное пение, а слышит его. Она одна стоит в последнюю свою Пасху вся в белом с его алым шарфом.

Полинька подходит к кресту.

«Христос Воскрес!» — дает ей батюшка крест.

«Воистину!»

Шепчет Полинька, зарделась вся, как ее алый шарф, целует тяжелый кованый крест, и крест обжигает ее горячие губы ледяным холодом.

*

Так ясно, так живо видит себя Палагея Сергеевна в церкви в свою последнюю Пасху: она вся в белом с алым шарфом, — и слезы душат ее.

— Христос воскрес, Палагея Сергеевна! — шепчет Настасья, и у старухи на запалых глазах навертываются тощие, мутные слезинки.

А за окном звонит Москва.

Всех звончее подал весть есак, и поднялся трезвон во все тяжкие и велие, все колокола звонят, и новые и старые: немчин, годунов, широкий, глухой, карнаухий, переспор, сокол, медведь — московский звон.

И глухо сквозь частый трезвон доносит на Хиву в переулок кремлевские пушки — сто и один выстрел: крестный ход обошел вокруг церкви, — настежь церковные двери, крестный ход входит в церковь, — и сущим во гробех живот даровав! — и началась заутреня.

Палагея Сергеевна быстро, быстро идет из кухни в свою комнату, словно бы окликнули ее, словно бы случилось что в ее комнате: лампа ли со стола упала, или стряслась какая беда.

И нет ничего, ничего не случилось, так всегда она ходит, не ходит, а бегает.

Палагея Сергеевна отпирает комоды, — там все вверх дном у нее, и среди всяких тряпок, писем, просроченных ломбардных квитанций, фотографических карточек, пузырьков, пустых футляров и всяких коробок ищет она что-то: не купленный ли подарок Настасье — прежнее-то время праздничный подарок всегда в комоде хранила, или еще что задумала...

Какие у ней пошли мысли?

Куда толкнули ее воспоминания?

2

Одна Настасья в кухне перед пречистым образом, перед Покровом темным с ясной лампадкой.

Не слышит Настасья московского звона, не слышит, как из пушек палят, не считает пушки, — тощие мутные слезинки поблескивают на ее запалых глазах.

— Матушка, Покрова́, Заступница усердная! — перебирает губами старуха: ей тоже в тайности сердца свое припомнилось, мытарство свое.

Настасья одних лет с Палагеей Сергеевной, а в церковь под Пасху она не ходит уж больше полвека.

Не годы ей вспоминаются, всего несколько дней.

Шестнадцати годов просватали Настасью из дальней деревни. Попался ей муж богатый и по сердцу пришелся: не силою, не неволею, охотой пошла за него. Весело справили свадьбу, и увез ее муж в свою деревню. И стала Настасья жить-поживать, не печалится в новом доме. День прожила хорошо, и другой прожила хорошо, и третий день кончился по-хорошему, грех и пожаловаться. Тихо,

советно, ладно ей с мужем жить. А на четвертый день нежданно-негаданно объявилась в дом прежняя жена его, невенчанная, с которой до тех пор жил он, и детей с собой привела, — баба еще молодая, здоровая, да его-то не тронула, а на ней, на своей разлучнице, изнесла все свое сердце, выместила обиду, избила Настасью, и все, какие платья были, какие рубашки, приданое — все порвала, на куски порезала. В чем была, в том и выскочила Настасья, вся избитая. Куда идти? Да куда ей идти — к отцу. И пошла к отцу, без дороги шла она, как зверь, и лесом и полем, и лесом и оврагами, как зверь. Пришла к отцу. Ей бы с первого слова и открыться во всем старику, заступился бы старик за дочь, нашел бы управу — если Бога человек не боится, людей забоится! — нашел бы управу, а она... да она еще тогда, без дороги зверем через леса-то рысчущи, уж тогда всю судьбу свою передумала, и ни словечком не пожаловалась, никого не обмолвила, все на себя сказала, себя одну обвинила, грех его взяла на себя. Отхлестал ее старик возжей, да вон из дому.

«Вон пошла, потаскуха!» — зарычал старик.

Она и пошла, волочашкой по людям пошла из деревни в деревню, из села в село. И попала в Москву к Расторгуевым, нанялась в судомойки. А когда Палагея Сергеевна от мужа уехала, попросилась она к ней на Хиву, да с тех пор и живет в кухарках.

Родителя своего, старика вспомнила Настасья, так и помер старик...

— Царствие ему небесное!

Мужа она вспомнила, три денька свои, и муж помер...

— Царствие ему небесное!

Дорогу свою она вспомнила, когда зверем без дороги через лес рыскала.

— Матушка, Покрова́, Заступница усердная! — перебирает губами старуха, и уж легко ей на сердце, тихая, вся она в тихом, в молитвенном озарении:

«Христос воскрес».

3

Долго рылась Палагея Сергеевна в комодах, по всем уголкам шарила, все вещи перерыла и нашла, наконец,

что ей надобно: из-под самого дна вытащила она зеленую в переплете тетрадь — свой дневник.

Руки у нее трясутся, кружевная наколка сбилась на облезлой маковке. Быстро перелистывает она зеленую тетрадь. Слова горят.

Это ее девичий дневник.

Да, все так, все, как было.

«12 января уехал в Петербург К. Я Думала, я с ума сойду».

«30 мая. Скучала я страшно всю весну, 11 мая поехала в Богородское, там ждала К. Он приехал 26-го. Мы ездили с ним в Медведково. Постоянно он гулял со мной, целый день проводили мы вместе, играли в карты, в бильбоке, серсо. Он звал меня Полинькой, я его — Сашей. Весело было».

«31 мая и 1 июня были мы в Кунцове. Весело было».

«2 июня в среду мы с ним вечером... Как приятно вспомнить этот вечер!»

«3 июня ездили к Троице. Назад мы с ним ехали двое».

«30 августа К. пробыл у нас два часа. Мы с ним сидели в моей комнате, и простились. Боже мой, я это вспомню когда-нибудь! Что же это было? Милый, дорогой мой! Когда он уехал, я была сама не своя. Неужели мы не свидимся? Я люблю его до безумия».

«23 октября. Мне сватают жениха Т. Он был у нас. Боже, как ночью плакала. Он мне совсем не нравится. Что же это будет? И неужели моя дорожка кончилась? Что же это такое? Я ума не приложу. Молиться не могу. Что мне делать? Никто не знает, что так безумно люблю его. Мне двадцать два года, а ему еще долго учиться, не пара мы. Несчастный тот день, когда мы с ним встретились. Какая я буду жена, какая мать, когда люблю до смерти другого! И если я должна буду венчаться, честно ли я поступлю? А ведь, все равно, я знаю, мне за него не выйти».

«26 ноября Ф. П. Т. сделал мне предложение. Я согласилась. Что-то от сердца точно оторвалось, похолодело. Мы познакомились 13 октября, а теперь 1 декабря. Я больна, нервы расстроены сильно. Сама не знаю»...

«26 декабря. Утро. Сегодня назначено мое благословение. Теперь все покончено. Больше ждать нечего. Конч-

лось все. Я отношусь спокойно и равнодушно, а, верно, заплачу после».

*

Да, верно, все так, все, как было.

И уж в глазах ее нет больше слез: строчки, буквы, цифры ей выжгли все ее слезы.

Палагея Сергеевна словно замерла вся, ее зеленая тетрадь выпала из рук.

Она одна в комнате.

И сколько лет, с тех пор, как от мужа с детьми уехала, она живет в этой комнате. Костяник и тряпичник давно зарятся на ее комоды. И пусть бы забрали всю ее рухлядь, да и ее заодно.

Она одна в этой опостылевшей комнате, она во всем мире одна.

Не слышно ей звона, а уж к обедне звонят, она ничего не слышит.

И одна ночь из окон глядит на нее.

Как же это так?

Что же это она сделала?

Зачем она так сделала?

Когда она в свою последнюю пасхальную ночь стояла в церкви, и вся душа ее была обращена к нему, и всей душой, всем существом своим она ждала его, для нее все играло, все горело пасхальным огнем алым, как тот шарф ее алый, потому что она любила. А когда, любя его до смерти, связала жизнь свою с нелюбимым, пала ей на голову ночь, потому что сама свою любовь предала.

И эта ночь, эта беспросветность — кара ей...

Дети ее, не от любви рожденные, с ужасом, с отвращением, с проклятиями на свет выведенные, как новая еще обуза для ее и без того опутанной жизни, как петля, туже, все крепче затягивающая ей горло, а и без того дышать нечем, дети ее — ей совсем чужие. И та же беспросветность, нет, еще бо́льшая ночь.

И эта ночь, эта беспросветность — кара ей.

Жалко ей было детей, а ведь и котят слепых жалко, всякую беспомощную и беззащитную тварь жалко, но любить она не могла их. И когда захотела детей полюбить, вот когда от мужа решила уехать с детьми, в детях думала

найти себе свет и покой, не нашла она света — как так полюбишь? — а без любви одна ей ночь.

И эта ночь, эта беспросветность — кара ей.

Как же это так?

Что же это она сделала?

Зачем она так сделала?

Зачем наперекор своему сердцу поступила тогда, в комок сдавила свое живое сердце, свою любовь предала?

Или от отчаяния?

Веры не стало, потеряла веру?

Поверила Горбову, который сыновней покорностью своей крепко обидел ее, поверила Лебедеву, учителю своему, который клялся ей помнить вечно и, малодушный, даже не написал ни строчки?

И опустело сердце.

Да пусть бы и этот художник также обманул ее, любовь-то зачем предала?

Уж если в самой тайне своей она никому не верила, во всех отчаялась, и только себе верила, так бросила б дом, Москву, в Петербург переехала бы. Отец дал ей образование, в немецкую школу определил: умный был старик, ценил знание. В Петербурге она не пропала бы. Начала бы там новую жизнь самостоятельную и вышло бы из нее что-нибудь настоящее. А не захотели бы опекуны приданое ей выдать, что наперекор идет, а им всем хотелось, чтобы замуж она вышла, Бог с ними, Бог с ним, с приданым и со всеми деньгами отцовскими. А то и деньги на руках и все — дом, свои лошади, все, что хочешь, ни в чем нет недостатка, а какая жизнь! Одна ночь.

И эта ночь — кара ей.

Или в самой тайне своей, отчаявшись и в себе, надеялась она, что свыкнется и забудет, притерпится, и тогда сама собой пойдет какая-то новая жизнь?

Кто-нибудь и свыкнется, кто-нибудь и притерпится, да она-то не свыклась, не притерпелась, ничего не забыла, не могла забыть.

И в этой жгучей ее памятливости — кара ей.

Или еще на что надеялась?

Нет, какая еще может быть надежда?

Да если и была хоть какая-нибудь надежда, в первую

же ночь, как осталась она одна с мужем с глазу на глаз, тут и конец.

Любовь свою предала!

И ночь из всех окон глянула на нее.

И эта ночь — кара ей.

Вот она распяла себя, и распятая тянула свои бесцельные отчаянные дни, и еще живет: и пьет и ест, читает по утрам Московский Листок, плачет, без мысли, без памяти, с погасшей и вдруг вспыхивающей памятью и ужасом бесцельной своей распятости, судьбы своей, о которой шепни ей тогда в ее последнюю пасхальную ночь, когда вся в белом с алым шарфом целовала она горячими губами тяжелый кованый крест, показавшийся ей тогда холодным, как лед, и она в минуту поседела бы.

Настасья старуха тоже распятая.

Настасья сама тоже распяла себя: невиновная, она чужую вину взяла на себя, грех на́ душу приняла мужнин из любви к мужу своему, суженому, который обманул ее, из жалости к детям его, из жалости к той покинутой жене его. И для нее все светится, она вся светом покровенная, сама, как живой свет.

А тут одна ночь.

Кто это, что это, что обрекало ее — ведь была она курносенькой Полинькой, и была она длинноногой болотной птичкой Полинькой, и барышней-невестой Полинькой, и ведь это она стояла вся в белом с алым шарфом, вся, как одна любовь, — кто это, что это, что назначило ей такую бесцельную муку, распяло так жестоко?

А, бывало, в годы замужества, когда с мужем жила еще, бывало, ночью увидит она его во сне. Проснется утром... Боже мой, и не просыпаться бы ей вовсе.

«Саша!» — тихо покличет, вся душа заноет.

И потом день-деньской места себе не найдет, да куда-нибудь забьется в угол, уткнется в подушку.

«Саша!.. никогда... я тебя никогда не увижу! А тебя люблю, только тебя!» — вся душа зарыдает.

Зачем это?

И зачем ей такая тяжелая кара — ночь до века, мука до гроба?

Всю в белом с алым шарфом кинуло ее из церкви, с пасхальной обедни, на Хиву, в переулок, доживать свой долгий, невыносимый, беспросветный век.

И зачем она так жестоко распяла себя?

Палагея Сергеевна подняла с пола зеленую тетрадь, положила тетрадь в комод и совсем тихо, необычно тихо пошла из комнаты в кухню к Настасье.

Страшно ли ей стало, что одна она в комнате — в целом мире одна, или от какой-то внезапно блеснувшей мысли страшно ей стало, и страх этот сковал ее шаг?

Или еще что задумала?

*

Тихо, совсем тихо вошла она в кухню.

Перед пречистым образом, перед Покровом темным с ясной лампадкой, стояла Настасья, вся в тихом, в молитвенном озарении.

— Христос воскрес, Палагея Сергеевна!

Стоит Палагея Сергеевна перед Настасьей, — так еще недавно Настасья стояла перед пречистым образом Покровом заступающим, и слезы бегут из глаз, а кривящиеся мокрые губы тянутся к старухе, и голосом загубленного сердца беззвучно шепчет она из тьмы своей отчаянной ночи потрясенной души воистину, а из кривящихся беспомощных губ беспомощно просится:

— Веревку, — просит она, и слезы давят ее, — веревку!

*

А за окном по церквам идет перезвон.

«Искони бе Слово, и Слово бе от Бога, и Бог бе Слово. Се бе искони от Бога. Вся тем быша, и без Него ничто же не бысть, еже бысть. В том живот бе, и живот бе свет человеком. И свет во тьме светит, и тьма его не объят».

Вся Москва перезванивала: вон у Семеона Столпника, вон у Сергия в Рогожской, вон у Мартына Исповедника, вон у Воскресения в Гончарах.

Скоро станет светать.

Приложатся к кресту, освятит батюшка паски, и понесут из церквей куличи, паски да красные яйца по домам, всяк в свой дом, разговляться.

А там заиграет и солнце, воскресное красное солнце над златоглавой Москвой.

ЦАРЕВНА МЫМРА

1

Хорошо было Ате в Ключах, так хорошо, что едва промелькнут они хоть бы самым своим последним кончиком в его крепкой памяти, как уже все другое — теперешнее: Старый Невский, где он живет с отцом и матерью, и гимназия с уроками, переменами и отметками, и учителя все, начиная с немца Ивана Мартыновича и кончая чистописанием — Иваном Евсеевичем, и все первоклассники, даже приятели — Ромашка и Харпик — так все попрячется и вдруг сгинет совсем, словно никогда и ничего не было, а были всегда и будут одни веселые Ключи.

«Дело не волк, в лес не убежит!» — скажет себе Атя и, отложив куда подальше противный учебник, сидит и сидит себе — думает думу.

А то проснется Атя ночью, и какой-нибудь намек один — донесется ли храп из кухни, или сам так заворочается, будто не кровать под ним и лежит он не в комнате, а на траве — на зеленом лугу, и в ту же минуту ему ясно представится, что он не в Петербурге, а далеко, в родных Ключах, где родился и жил до гимназии у дедушки о. Анисима.

И он лежит так всю ночь и хоть старается думать о ветре, как ветер и колосья шумят, чтобы только заснуть, а сон не идет.

Будь сейчас крылья у Ати или ковер-самолет — пропадай все! — улетел бы в Ключи.

Ключи на горе. Под горою белая церковь. Против церкви дом дедушки, сад и пчельник. Перемахни через плетень — река. Река Коса. А за рекою поле, и за церковью поле. И опять гора и на много немерных верст лес. Лес — медобор частый, крепкий, нерубанный: зверю — туда-сюда, человеку — знай, посматривай. Муравьиные кочки — стога. Как пойдут осенью по грузди да рыжики, кочки жгут: волк муравьиного духу не любит, помогает от волка.

На белой колокольне — стрижи: их видимо-невидимо. Закатится солнце, начнут они перелетать и, летая, все говорят по-своему, по-стрижиному.

Стрижи старые: каждую весну прилетают в Ключи на колокольню. Что их сюда манит: звон ли вызвонившихся зазвонных колоколов? или привыкли они к седому дедушке? Они много знают, они должны помнить: как дедушка молодым был, как жена дедушки померла, как родилась Атина мать...

— Атя приехал, — говорят стрижи, перелетая, — какой за зиму Атя большущий стал!

Козы и овцы, коровы и телята, свиньи и кони, гуси, индюшки, все догадаются, как покажется на селе Атя:

скот и птица понятливы — пером да шерстью чуют.

От Медведок до Ключей, если скорой ездой, то и в день доедешь.

Сядет Атя в плетушку, а Федор-Костыль как свистнет, и понесутся крепкие карие кони, и без дороги мчатся с горы на гору, из леса в лес, из деревни в деревню — поспевай отворять ворота!

С копыт пыль стоит, завивается дымом, а по полям не унылые версты — вотя́чки в белых, затканных шелками, нарядах, сверкая серебром уборов, протянутся белые им навстречу.

И вотские песни дикие, что лесной гул, и глубокие, что вой половодья, а звонкие — не так звонка болотная тростинка, а светлые — не так светла говорливая жалейка, в лад ручьями поплывут за ними.

И ветры, меняя кручину на веселье, с гор надзынут тоску.

Эй, звени, колокольчик! — раззвонился, гулкий, утомлен, как кони, гудит.

Проехали мельницу — прогремела плотина, миновали заповедные луды — вещие рощи Кереметя.

Да жив ли гордый бог — непокорный брат Инмара, творца неба, земли и солнца?

«Жив», — шепчет вещая роща.

А вон и шаймы — старое вотское кладбище.

Издалека заслышат в Ключах гул колокольчика: выбежат Паня и Саша — побросают на кухне стряпню, выйдет крестная, охромеет от радости, и завизжит тямкая Гривна, а дедушки нет: ушел дедушка в церковь.

Атя — к курам. У кур — заяц: так называется заяц, сам по себе он просто кролик.

Вон, посмотрите: от всех убежит, никого не подпустит, а тут ничего.

— Здравствуй, заяц! Дай, зайчик, лапку!

Узнал Атю усатый: мяучит и подает ему лапку.

А вот и сам дедушка: не утерпел — бросил книги и все, идет из церкви.

Рано утром, лишь заря упадет и тепло-красная рассыплется по горам и лесу, встанет солнце — подымется и Атя и бежит на Косу купаться, а потом — пора рабочая! — целый день за работой: навоз возит.

Придет вечер, станет закатываться солнце, золотым венцом украсит курчавую липу, наденет на иву золотое колечко, тут только Атя домой, и уж испачканный, весь в земле: на что только похож!

А дедушка скажет:

— Экий ты у меня хозяин!

— Я, дедушка, девять возов свез! — засмеется Атя.

А когда Атя смеется, показывает свои крепкие широкие белые зубы, и хочется, чтобы Атя все время смеялся.

Старый да малый — дедушка и Атя — один без другого за стол не сядет.

За вечерним чаем Атя читает, что на день в отрывном календаре написано: какие приметы, и о погоде, а другой раз так из книги читает, больше арабские сказки — Тысяча и одна ночь.

Дедушка любит арабские сказки слушать.

— На тебе пятак за работу, да смотри, не прохарчи.

— А я, дедушка, все мои прошлогодние в Петербурге прохарчил: видел гиппопотама! — засмеется Атя.

А когда Атя смеется, глаза его, как светляки, загорятся, и станет всем весело.

И день за день, как река, течет.

Проводили девятую пятницу. Народу — вот какая коса!

В крестном ходу Атя носил крест вокруг села.

За иконами народ шел, за народом скотина — козы, овцы, бараны, коровы, кони, — и им полагается!

Заяц тоже ходил.

Ну, не так, как конь или корова, заяц всю дорогу промяукал на руках у крестной, а то живо в лес утечет!

Поджидают из Петербурга дядю Аркадия.

Только и разговору в Ключах, что о дяде Аркадии.

Крестная во сне его видела, будто выходит дядя Аркадий из чулана во всем в белом и прямо одним шагом на подволоку.

И, веруя в сон, уж наготовила крестная к чаю пряжеников.

А пряженики масляные, вкусные, так во рту сами и тают, — Атя за дядю Аркадия все поел!

Не за горами Петровки: подавай пескаря! Поскорее бы рыбачить!

Атя не трусливого десятка: на любом коне уедет, в любую погоду по реке вплавь пустится, а вот покойников Атя страсть боится.

Когда стоят они неотпетые под колокольней, он боится вечерами смотреть в окно на церковь, и спать один не ляжет: все ему мерещится, все ему страшно.

И идет с ним на подволоку Паня или крестная, или безрукий старый вотяк Кузьмич, и под рассказы и сказки он засыпает тихо.

Но когда приносят покойников в церковь или несут гроб на кладбище, всякий раз Атя бежит посмотреть и слушает заупокойный звон.

Сторож Костя могилы копает, Костя и звонит.

Ударит Костя десять ударов — десять звонов медленных с оттяжкой: начинает он с тонких, потом потолще — заунывно, жалобно, жутко по-печальному, а в последний как срыву трахнет во все, аж оборвется что-то, и ты с колоколами бух! — и летишь:

Святый Боже,
Святый Крепкий,
Святый Бессмертный,
помилуй нас!

Без Ати не обходится ни одной службы.

Атя стоит на клиросе и поет, только ничего не выходит: он никак не может с дьячками поладить — дьячки на подбор один к другому стар старее, и лишь одно выходит — Подай Господи!

— Молодой мой псаломщик, — похвалит дедушка, — завтра нам в Полом ехать на молебен.

И Атя с дедушкой ездят по деревням и селам, служат молебны, едят быка и кашу.

И Ате уж кажется, что он настоящий молодой псаломщик, а когда большой вырастет, будет священник, как дедушка, и тогда дядя Аркадий не острижет ему волосы: они у него длинные будут, по пояс, и не в две косички заплетет их, как дедушка, а в двадцать две.

Дядя Аркадий! Ну, наконец-то!

Дядя Аркадий приехал, понавез с собою сетей и удочек, а крючков — едва поместились в самой большой корзине.

Атя рыбачит.

Рыба Атю любит: раз такого изловил он леща, сковороды не нашлось, чтобы изжарить, хоть пускай опять в воду.

Атя смеется —

Вечером весело: вечером кружатся галки.

Как повадятся галки с поля в сад летать, облюбуют себе ночлег, ночь отночуют, а наутро смотришь — уж лучше не ходи после них в беседку! А в комнате душно. Не в комнатах же из-за галок чай пить?! А чаю попить надо толком: чай в Ключах уважают, — и так, и с подогревцем; на вольном воздухе любо.

И вот дядя Аркадий пугает галок: как затрясет он деревья и так гаркнет вовсю — что галки! — забор затрещит, стекла в церкви задребезжат и сами покойники под колокольней с удовольствием скрылись бы куда, ну, хоть в ту же старую баню.

Атя никак не научится пугать галок и гаркать вовсю, как гаркает дядя Аркадий.

— Дедушка, пчелы поют! — принесет Атя дедушке новость.

Тут уж все бросай: ни пить, ни есть некогда. Весь дом на ногах.

Дедушка, дядя Аркадий, крестная, Паня, Саша, Кузьмич, и, конечно, Атя, надев на лицо решето, целый день на корточках около улья следят, куда полетит матка.

А когда матка выйдет, все они, как один, пчелами снимутся с места да за роем бегом со всех ног, как попало, по грядам, по кустам да через плетень в поле, пока где-нибудь за полем в лесу матку не словят.

Слава Богу, еще будет улей, а меду — до весны на всю зиму.

Дошла озимь в наливах, подрос овес. На дворе — Казанская.

В Ключах на Казанскую ярмарка.

Приедет на село прозорливец, братец Сысоюшка. Понаедут гости. Крестная испечет кулебяку: все отдашь за кулебяку, да мало. Эй весело!

«И зачем это Казанская не целый век живет!» — думает Атя.

На селе на улице хороводы.

Станут вкруг девки и, пристукивая, идут одна за другой вереницей под однозвучный трум и грёк переманчиватой балалайки.

Так ходят долго, вдруг взмахнув руками и, взвившись, будто птицы, переменятся местом.

И снова, пристукивая, ходят перебором одна за другой вереницей без передышки долго, — серебро их уборов шумит без ветра, и перстни горят без огня.

Дядя Аркадий берет Атю смотреть хороводы.

Дядя Аркадий и Атя стоят в стороне с парнями. Стоят они молча, не переступят.

И Ате становится жутко: то ему хочется броситься в круг и, когда в кругу завертятся, вертеться и взвиться птицей, когда в кругу взовьются; то вспоминаются десять похоронных ударов и сжимается сердце, — не они ли в венчиках неотпетые вышли из-под колокольни и ведут этот жуткий и переманчиватый танец?

Темные мглы покрывают их, а в ночи по небу выходят бледные звезды.

— Покойники душу новорожденному дают, — говорит Кузьмич Ате уж ночью на подволоке.

«Посмотреть бы, как это делается!» — думает Атя.

Кузьмич — приятель Ати.

Кузьмич отрубил топором себе руку, а без руки какая работа? — ничего Кузьмич не может и сколько уж лет живет у дедушки вроде сторожа при церкви.

От Кузьмича Атя узнал много разных чудесных историй, а чудищ сам отыскал, столкнувшись в лесу нос к носу.

Как-то, зайдя в чащу, Атя повстречал Лесуна.

Лесун любит пугать, кто в лесу ходит. Но так как был полдень, — а кому полднем ходить! — то Лесун и шатался без дела: тощий-претощий, от горшка два вершка, — одна рука, одна нога, один глаз, а рот и нос, как у Ати.

А вот было страшно: под старой елкой во мху-мокряке,

скорчась, посапывал Кузь-Пине, самый страшный, с длинными зубами, а около, у ног его валялись человечьи обглоданные белые косточки.

Атя одним глазком взглянул на чудище да уж едва на дорогу выбрался: шути шутки, живо съест, не попросишь!

А то раз собирал Атя землянику, а из оврага — Искал-Пыдо.

Этот ничего: с лица вылитый Кузьмич, на плече дубина, одно — ноги коровьи мохнатые с копытом.

Атя его земляникой угостил.

Ничего себе, ест.

Вот Лешего да Водяного так и не пришлось видеть, но зато Атя знал, где на Косе гнездо Водяного, и когда осенью разрывало плотины и подымалась вода, он знал, что это значит.

«Хоть бы разок попасть к Водяному на свадьбу! — ночами мечтал Атя, — красавица Водяная царевна, а Морская еще краше... как Клавдия Гурьяновна»...

2

Атя бережет свои думы. Атя никому о них не рассказывает: Ключи — его тайна.

Даже Ромашка и Харпик посвящены только отчасти, но кому бы Атя открыл свою тайну, так это единственной Клавдии Гурьяновне!

А за что, и сам он не знает, — вот она какая, Клавдия Гурьяновна.

Атя чувствует, что тянет его в ее комнату, что приятно ему, когда она пьет с ними чай, когда угощает его конфетами и апельсинами, и когда заставляет смеяться, и когда берет с собою гулять по Невскому, и когда заходит с ним в магазины и в «электрические театры» — Кинематограф.

Атя знает, вся она — особенная, такой нигде не найти: белое лицо, обсыпанное белою пудрой, спущенные на лоб завитки, красные, накрашенные краскою губы, щелочки-глаза, и все такое маленькое, будто и нет ничего — и нет лица, и вся она такая маленькая, а платье шуршащее с вырезом, и голос у нее особенный, так никто не говорит, и всегда было слушал ее и всегда бы смотрел на нее.

Атя без всякого дела входит в комнату Клавдии Гурьяновны и стоит молча, уставясь на нее, а когда она что спрашивает, отвечает робко и так коротко, ничего из его ответов понять невозможно.

— Эх, ты глупый, глупый ты мальчик, а ну-ка засмейся! — говорила Клавдия Гурьяновна.

И сама первая смеялась, — как-то горлом смеялась.

Казалось Ате: это не смех у ней, так простые не смеются.

Раз, не вытерпев, Атя сказал:

— Хорошо у нас в Ключах, вот бы вам, Клавдия Гурьяновна!

— Так ты знаешь, где они! — подхватила, обрадовавшись, Клавдия Гурьяновна: она в тот день потеряла ключи от шкапа и, как ни шарила, нигде не находила.

«Еще рано, — подумал Атя, — не пришло время, надо наперед чем-нибудь отличиться, и тогда можно все»...

В этот вечер мать заметила Ате:

— Не шляйся, Атя, так часто в комнату Клавдии Гурьяновны, она может обидеться и съехать.

Так как квартира была большая, а дела у доктора — отца Ати пошли хуже прошлогоднего, то одну комнату пришлось сдать.

Эту комнату занимала Клавдия Гурьяновна.

Появление Клавдии Гурьяновны внесло новую жизнь. Она была предметом постоянных разговоров. Ею занимались. Ею дорожили. Для нее мать Ати надевала корсет, а не ходила, как раньше, целыми днями в капоте. Доктор не рассказывал за обедом об операциях. Дядя Аркадий доставал ей билеты в театр и на концерты.

А все, что говорилось о ней, Атя внимательно слушал и не пропускал мимо ушей ни одного замечания.

По утрам Атю заставляли мыться: в кухне ставилась лохань, в лохани он и плескался.

— Ты не маленький голышом ходить, пройдет Клавдия Гурьяновна, нехорошо, — заметила мать.

Это случилось чуть ли не в день водворения в дом таинственной жилицы.

Но Атя не сразу понял всю суть сделанного ему тогда замечания: оно лишь впоследствии стало ясным и подтвердило его собственные наблюдения.

«Если при кухарке Феклуше, — рассуждал Атя, — при маме, а в Ключах при крестной и при Пане и Саше, он всегда мылся и ходил без рубашки, то это понятно и можно, так как все они такие, каких много, но при Клавдии Гурьяновне это немыслимо и нельзя, потому что она — единственная».

Вскоре он узнал от Феклуши, что Клавдия Гурьяновна — содержанка.

Слово, услышанное им впервые, получило тотчас свой особенный смысл: оно означало у него не более и не менее как то, что та́к, содержа́нками, называют самых умных и самых богатых.

«Содержанка — содержание, — докапывался Атя, — нет в изложении содержания — двойка, есть содержание — пятерка. Директор получает большое содержание: содержание — деньги».

И недаром, по его наблюдениям, все в доме обращались к Клавдии Гурьяновне с вопросами, спрашивая ее мнение о каком-нибудь нужном в данную минуту деле, и недаром цепочка у ней такая длинная — по коленям болтается, а шуба белая с черными хвостиками, как на порфире.

Доктор как-то вернулся домой поздно и, сердитый, молчал во время обеда, а когда подали ему воздушный пирог, который, как на грех сел, сказал с сердцем матери:

— Пустила в дом проститутку...

Мудреное слово проститутка, и уж ничего не скажешь! Атя, сколько ни бился, — даром.

«Конечно, — думал он, — слово латинское и во втором классе проходится, но ждать до будущего года невозможно, лучше спросить теперь же дядю Аркадия: дядя Аркадий по-латински говорит!»

И в первое же воскресенье, когда пришел дядя Аркадий, Атя попросил его разъяснить себе непонятное слово.

— Проститутками называются, — принялся, не улыбнувшись, объяснять дядя Аркадий, — все окончившие институт, а институт — учебное заведение, в которое принимаются только знатного происхождения, так что тебя, например, как сына доктора, ни в коем случае не допустили бы, хоть ты тут разорвись на части.

Атя чуть было и не разорвался на части, только не от отчаяния, что не может быть проституткой, а от радости:

он был прав — она необыкновенная, она не только содержанка, то есть умна и богата, она проститутка, то есть знатная.

«Она, — решил он тут же, — она княгиня. А раз она в нынешнем году княгиня, то на будущий год сделается великой княгиней, а там, не пройдет и года, будет царевной».

— Царевна моя! — шептал Атя, проходя мимо запретной комнаты.

У Клавдии Гурьяновны гостей не бывало, кроме одного.

Ее гость являлся то рано поутру, то поздно вечером.

По вечерам он засиживался за полночь: она играла на пианино, он пел.

Все его называли Депутат.

— Депутат пришел, — говорила мать, — не шуми так, да одерни курточку.

А доктор, заслышав пение, морщился:

— Депутат поет?

— Депутат, — отзывалась мать.

Кто этот гость, что за Депутат, разъяснилось скоро.

Мать сообщила дяде Аркадию новость: доктор решил больше не выписывать газет, так как к жилице ходит член Государственной Думы, и жилица все знает лучше всякой газеты.

«Необыкновенный гость, — раздумывал Атя, — из Государственной Думы! Конечно, он куда выше Ивана Мартыновича и Ивана Евсеевича, пожалуй, как грек Копосов — классный наставник в третьем классе».

Как-то столкнувшись с гостем, Атя, шаркнув, поклонился ему, как инспектору, и тут же заметил, что гость лысый, как батюшка Китаец, а одет — куда дядя Аркадий — дядя Аркадий в подметки ему не годится, даром, что актер.

По вечерам Клавдия Гурьяновна обыкновенно сидела с матерью в столовой, и они разговаривали о разных разностях.

Атя, делая вид, что учит уроки, прислушивался из соседней комнаты.

Разговор вертелся около гостя — Депутата, члена Государственной Думы.

Мало-помалу из разговоров выяснилось для Ати, что у Депутата семья — две взрослые дочери на выданье, и

что он так любит свою жену, дыхнуть без нее не может, и только необходимость заставила его жить отдельно в Петербурге:

они уж друг другу не письма пишут, а каждый день обмениваются телеграммами.

— Когда мы с ним встретились, — рассказывала Клавдия Гурьяновна, — он сказал мне: «Клавдия Гурьяновна, дорогая моя, я без вас жить не могу, живите в Петербурге, пока я член».

— Царевна моя, — шептал Атя, забрасывая тетрадку с разбором, — а я с тобою вечно!

Клавдия Гурьяновна петь мастерица.

Оставаясь одна в своей комнате, она пела бродячую песню, — такие песни поют под гармонью на третьем дворе.

В песне говорилось все о любви.

О, когда б эта ночь
Не была хороша,
Не болела бы грудь,
Не страдала б душа.

И в напеве песни Ате слышалось что-то близкое, словно про него была сложена песня и о нем она пелась.

Его царевна одна стояла перед ним везде и всегда.

Ате казалось, весь мир был для нее — для его царевны.

И все ее знали, только нельзя было говорить о ней громко, нельзя было произносить ее имени.

Все ее ожидали и таили свое ожидание в себе, как заветное.

Вот почему в Ключах, заслышав колокольчик, спешили за ворота и с замершим сердцем смотрели на дорогу: не она ли?

А дедушка, стоя в алтаре за обедней, когда подымал руки и молился про себя над чашей с дарами, он ей молился.

А крестная, если свеселка глядела и все ей удавалось, она ее во сне видела.

А Саша и Паня, если весь день смеялись и сами не знали, отчего смеются, это, значит, им намекнул кто-нибудь, что она в Ключи едет.

А когда Кузьмич не оканчивал сказки, говоря, что конца он не скажет, и по губам Кузьмича бродила улыбка, — понятно: в конце сказки о ней говорилось, а как сказать тайное, необъявное, безвыносное слово?

А сам Атя всегда держал ее в мыслях, потому и смеялся, потому и глаза горели...

— Атька влюбился в Клавдию Гурьяновну, поздравь! — трунила мать.

— Стало быть, засядет на второй год! — невозмутимо говорил дядя Аркадий.

— Терпи голова, с кости скована, — соболезновала Феклуша.

— Меня все дети любят, — смеялась горлом Клавдия Гурьяновна.

«Надо чем-нибудь отличиться, без этого нельзя, — думал Атя, — завоевать Индию или Америку, подать ей знак, тогда она узнает и объявится»...

— Царевна моя!

3

Надежда на летнюю поездку в Ключи ухнула.

Отец сказал, что если Атя останется на второй год, то и думать нечего — все лето будет жить в Петербурге.

А уж шла весна, последней четверти подходил конец, и судьба Ати должна была скоро решиться, и ясно было, что она решится не в его пользу.

На чистописании Харпик, играя с Атей в перышки и проигрывая — перо, подпрыгивая, ложилось не брюшком, как следовало бы, а спинкой, — бросив игру, сказал:

— Хочешь в Америку бежать?

— Хочу, — ответил Атя.

— Ромашка тоже хочет.

— А как же мы побежим?

— А уж это я знаю, мы с Рождества голову ломаем, только тебе не говорили, хотели, чтобы уж сразу начисто... У тебя Америка есть?

— У папы в приемной Африка висит.

— Африка ни к чему. Надо спросить Ромашку, его отец архитектор, должна быть. Наметим необитаемый остров, там и поселимся.

— Построим дворец! — схватился Атя.

— Можно и дворец, можно и замок, что хочешь.

— И никого не будет, ни одной души?

— Одни гиппопотамы.

«Начинается, — думал Атя, — теперь только действуй, все будет, что хочешь: Харпик и Ромашка — бестии, на край света дорогу найдут».

На другой день Ромашка притащил Южную Америку.

Карта оказалась немая и неполная, одна четвертушка карты, но все-таки Америка.

Час, который просидели они после уроков, оставленные Иваном Мартыновичем за целый ряд проделок, прошел незаметно.

Харпик и Ромашка распоряжались, посвящая Атю во все подробности своего бегства, потом, взяв по листу бумаги, занялись рисованием необитаемых островов.

И выбрав один кружочек — их остров, сложили карту и ударили по рукам:

завтра после уроков тронутся в путь.

— Вы ступайте прямо на вокзал и там ждите, а я принесу денег, — сказал Харпик.

— Достать бы паспорт, — задумался Ромашка.

— Паспорт я достану, это очень просто, — объявил Атя.

Он вспомнил, как совсем недавно дядя Аркадий ездил в Москву, взял с собою по ошибке кухаркин паспорт, и прожил по кухаркину паспорту целую неделю беспрепятственно.

Так и порешили:

Харпик деньги,
Атя паспорт,
а Ромашка карту.

Только бы дожить до завтра!

Атя не завел глаз. Шла ему ночь за белый день. Провалялся ночь, думая. Не о Ключах думал он, об Америке.

На необитаемом острове он построит дворец, какого никогда еще никто не строил, дворец будет весь из павлиньих перьев с золотыми и с серебряными лестницами, и с окнами из драгоценных камней. Он привезет туда на гиппопотамах свою царевну, и будут они жить, окруженные морем, под вечным солнцем, вечно. Она будет называться

царевна Мымра, и остров, который он отдаст ей, будет носить ее имя — остров Мымры. Потом он завоюет для нее еще много островов и, в конце концов, все земли — весь мир. И тогда выйдет она из дворца и осветит весь свет...

На уроках Атя, Харпик и Ромашка вели себя сносно, ничего такого не выкозюливали, скорее были рассеяны и, когда их спрашивали, отвечали совсем невпопад. По колу стояло у каждого в балльнике. Да уж все равно!

Как только кончился последний урок, и Атя звонко прочитал Благодарим Тебя, Создателю, Харпик, не задерживаясь, кинув книги под парту, побежал опрометью домой.

Дома у Харпика никого не было: отец — в суде, мать — в Гостином, только одна кухарка Василиса.

— Дай мне, Василиса, три рубля, — попросил Харпик.

Но у Василисы таких денег не оказалось, и, повертевшись в кухне, Харпик сунулся к отцу в кабинет, и долго не пришлось рыться: под старым портфелем лежала мелочь.

Харпик пересчитал: ровно три рубля. Вот как везет!

— Прощай, Василиса, мы с тобой больше никогда не увидимся, — приостановился Харпик на пороге.

— А вы куда едете? — полюбопытствовала Василиса.

И вдруг Харпику стало так жалко Василису, уж готов был выболтать тайну, да к счастью спохватился.

— На Николаевский вокзал едем, прощай, Василиса!

Атя и Ромашка давно уже толкались на Финляндском вокзале и много ушло поездов, прежде чем явился, наконец, Харпик.

Не считая ворон, взяли билет до Териок, засели в вагон и — прощай гимназия, прощай Россия! — пустились в Америку прямо на необитаемый остров Мымры.

Ехать было весело. Пели Вставай — подымайся, курили.

Дорога представлялась Америкой, а пассажиры — сыщиками-шерлоками.

Возле Куоккалы Атя вытащил из штанов паспорт кухарки Феклуши и с гордостью показал его товарищам.

— Теперь хоть к самому черту — ничего: паспорт настоящий, — одобрил Харпик.

— Любому сыщику нос наставим, — подтвердил Ромашка.

Так и доехали до самых Териок.

Выйдя из вагона, отправились гимназисты на дачи и бродили до позднего вечера, делая все, что душе угодно: лазали по крышам, лестницам и деревьям.

Ромашка предлагал выкупаться в море, и одно помешало: лень было раздеваться.

Становилось холодно, захотелось есть: все-таки, не обедавши трудно.

И, вернувшись на вокзал, они в первую голову купили себе ситного и тут же весь его кончили.

Надо уж было подумать о ночлеге. Ночевать на шпалах холодно, да и снег пошел, а на вокзале — вокзал запрут.

Думали, думали, как им быть, и решили попроситься у сторожа переночевать в будке.

Сторож оказался сговорчивым, не артачась, согласился. Но прежде чем впустить их в будку, заставил прибрать вокзал и размести рельсы.

Прибрали вокзал, размели рельсы. И уж так заснули, сроду не спалось так сладко.

Во сне снились одни сласти: целыми коробками шоколад и мармелад, и простые конфеты — ешь, сколько влезет.

Если бы не сторож, ей-Богу, целый день спали бы.

— Эй, мученики-грешники! — подтрунивал сторож по-своему.

Опять вышли они на вокзал, купили на последние ситного, подзакусили и двинулись было по-вчерашнему на дачи, и вдруг в дверях — жандарм.

— Вы куда? — спросил жандарм сердито.

— Мы с дачи Назарова, — ответил за всех Ромашка; Ромашка прошлое лето жил в Териоках.

— С дачи Назарова? — переспросил жандарм и, поговорив о чем-то тихо с подошедшим к нему господином, должно быть, сыщиком, сказал совсем уж сердито по-жандармски, — вы арестованы!

В это время подходил поезд из Выборга.

И путешественники в сопровождении жандарма и сыщика понуро пошли к вагонам — обратно ехать им в Петербург.

«Что он скажет своей царевне, как теперь подойдет к ней, где его Индия, где его Америка, где необитаемый

остров, где остров Мымры, примет ли она его, или все пропало?» — мучился Атя, глядя в окно на черную весеннюю дорогу.

А Харпик и Ромашка обдергивались: зададут им баню, прощай, Америка!

4

Дни шли неделями. Неладно шли.

Правда, встреча на вокзале вышла совсем не страшная: мать Ати просто плакала от радости, да и в гимназии все обошлось благополучно, допустили к экзамену.

Но что Ате в гимназии? Он не добыл острова, а с пустыми руками куда сунешься?

Клавдия Гурьяновна все подсмеивалась. Звала Атю отставным американцем.

«Да надо же что-нибудь придумать, — метался Атя, — отрубить что ли себе палец и отдать его ей или выколоть себе глаз, пускай чувствует».

— Все дедушка виноват, — жаловалась мать отцу, — знаю я, что там в Ключах делается, никуда не годен мальчишка стал, уроки на ум нейдут. То влюбился в Клавдию Гурьяновну, теперь бредит какой-то Мымрой.

Доктор-отец держался того правила, что при лечении необходимо прибегать к пиву с касторкой, так как от засорения желудка всякая ерунда бывает. А при воспитании — к внушению, так как одними словами не проймешь, а потому решил обязательно при первой возможности выпороть Атю.

Но так случалось, что поймать Атю он никак не ухитрялся: то дела задержат, то Атя в гимназии, то и не в гимназии Атя, а скроется куда-то, словно сквозь землю провалится.

Однажды утром отец заглянул в детскую: Атя в одной рубашке сидел на кровати и о чем-то думал, конечно, он думал о своей Мымре!

Доктор, затаив дыхание, крался совсем незаметно, и казалось, еще один шаг и уж взял бы свое — отхлестал бы Атю как следует, чтобы помнил.

Ременок от радости ерзал в руках доктора, но Атя не дурак, живым в руки не дастся, — скок! — только пятки

сверкнули — спасайся, кто может! — И, не долго думая, опрометью, как угорелый, прямо в комнату к Клавдии Гурьяновне.

Дверь оказалась незапертой. Клавдия Гурьяновна лежала в постели.

Атя — к ней, забился под одеяло.

И слышно ему было, как отец подошел к двери, постоял немного и отошел с носом.

— Царевна моя, ты спасла мою жизнь от смертной казни, — шептал Атя, и от счастья голова у него шла кругом, — ты простишь меня, прости меня, я самовольно пришел к тебе без острова, без ничего, ты простишь меня, я не сумел достать тебе царства, я его достану тебе: Индию, Америку, все острова, все земли... все, все... весь мир!

Дух захватило, казалось, душа его обняла ее душу и обнимала так крепко, что его сердце рвануло и тело вдруг задрожало:

ведь она была так близко, недоступная и гордая его царевна Мымра.

Клавдия Гурьяновна закрылась рукой от смеха.

— Можно? — перебил депутатский голос за дверью.

— Сейчас! — и отпихнув Атю, Клавдия Гурьяновна показала под кровать.

Атя покорно повиновался и, очутившись под кроватью, весь застыл, стараясь не дышать, и жмурил глаза, чтобы не глядеть.

Так гость-Депутат его не заметит!

И сидел на корточках точь-в-точь, как когда-то в курнике на гусиных яйцах, сев тогда, чтобы гусей вывести.

Не дышал он, не глядел, но все слышал.

Депутат раздевался. Депутат снял сюртук, снял ботинки. Упала депутатская запонка, звякая, покатилась запонка по полу, стала у ног Ати.

И стало Ате нестерпимо жарко, словно не запонка, — уголь дышал в него жаром.

Они говорили. Слова их были самые обыкновенные. Так все говорят, такие всем говорятся.

И по мере того, как Атя вслушивался, бросало его то в холод, то в жар: не слова, а самый склад слов, связь слов, говор слов звучали для него, как распоследняя ругань и оскорбление.

Он ничего не понимал такого, что происходило, он ничего еще не понимал, он только сердцем вдруг понял и через тоску свою, через любовь свою постиг и оскорбленной душой своей увидел, что она не единственная, не царевна Мымра, а как все, как мать его, как Саша и Паня, как крестная, как кухарка Феклуша, такая же...

И пустыня открылась перед ним.

Проколол бы он себе уши, лишь бы ничего не слышать, а ведь все слышал.

И было душе его и телу его так, будто били его, как однажды в Ключах били вора, запрятавшегося под кровать в кухне, били по голове, по лицу, под живот. Глаза остеклились. «Добейте его!» — «Нет, кричат, подождет!» Отпустят — и бьют...

И вот, будто чавкнул кто-то обухом его по темени, затряслась кровать над ним, затрясся пол под ним, все поколебалось — конец его жизни.

Только когда гостя выпустили с парадного хода на улицу, а Клавдия Гурьяновна одевалась, Атя, очнувшись, выполз из-под кровати и вышел из комнаты, не оглянулся, а на вопрос ее: пойдет ли он с ней после обеда на Невский? — ничего не ответил.

*

Без книг и без завтрака шел Атя в гимназию.

Ничего не замечал он. Не помнит, как дошел до гимназии.

Кое-как высидев начало урока, попросился он выйти. Выйти ему позволили.

И он вышел из класса, остался один в уборной.

Пусто было в уборной, стучала вода в водопроводе.

И как вспомнил он, как помянул все, — камни легче: его царевны не было!

И покатились слезы. Атя заплакал.

Первый раз в жизни заплакал.

Так заплачет земля в последний раз, когда с неба попадают звезды.

О, когда б эта ночь
Не была хороша,
Не болела бы грудь,
Не страдала б душа.

— — долетала бродячая песня бродячей певицы с соседнего двора на гимназический двор, а со двора с весенним воздухом в окно к Ате.

И Атя сквозь слезы, словно смеялся —

Где искать ему звезду свою — царевну?

СЛОНЕНОК

1

Павлушка засел на второй год в приготовительном классе.

Только он один и был второгодником.

Сидел Павлушка на последней скамейке у шкапчика: у шкапчика всегда второгодники сидели.

Место было не простое, особенное.

Всякий день после молитвы, когда учитель Иван Иванович запирал в шкапчик журнал, чернильницу и ручку, только с Павлушкина места можно было заглянуть в этот шкапчик.

И чего-чего только в шкапчике не хранилось: разные коробочки, ножички, картинки, кораблики, раковинки, стрелки.

Так повелось: если кто из учеников приносил в класс какую-нибудь любопытную вещицу, Иван Иванович отбирал ее и прямо в шкапчик.

Гимназия была старая, Иван Иванович — старый, шкапчик — битком набит.

Раз Павлуша слоненка подсмотрел.

Серый слоненок, как настоящий, с хоботом и клыками, а уши мягкие, большие, и хвостик.

«Там, пожалуй, и еще кто-нибудь такой сидит, какая-нибудь заводная машинка, пистолет или обезьянка!» — подумал Павлушка, и завертело:

> как бы это устроить, чтобы в шкапчик пробраться,
> потрогать все, посмотреть и с собою взять.

Долго ломал он голову, а придумать ничего не придумал, — одному невозможно.

Хорошо, что Доронин и Воскресенский, с которыми сидел Павлушка, оказались ему наруку.

Доронин — Трясогузка, востренький, розовенький, и озорничал, а виду не показывал, все оставалось шито-крыто.

Воскресенский — Пугало, вихрастый и веснушчатый, лез прямо на рогатину, сух из воды никогда не выскакивал.

Прежде всего Павлушка экзамен им задал, удочку закинул.

И не ошибся. Поверил. И все трое, как один, сговорились.

Уговор лучше денег — чур! никто никого не выдаст.

Приходили они спозаранку и приступали.

Трясогузка у дверей караулил, Павлушка с Пугалом работали.

Ковыряли замок по-всякому: и пером и ручкой, и шпилькой и гвоздиком.

Хоть бы что — дудки!

— Надо стамеской, — сопел Пугало.

— Винти уж! — подгонял Павлушка.

Ни с места.

И бросали, и опять сызнова.

Как-то шпилька и переломилась.

Туда — сюда — пропали! Кусочек засел в нутре.

Пришел Иван Иванович, прочитали молитву, стал Иван Иванович отпирать шкапчик. Туго. И так вертел, и сяк.

Пыхтел, пыхтел, насилу отпер.

— Кто? — спрашивает, а сам из-под очков смотрит.

Молчат.

Никто, как Павлушка с Пугалом.

Отпирались.

Не вывезло. Хуже.

— В карцер на два часа.

Засадили их в карцер.

Сидят. А дума одна:

как шкапчик открыть, чтобы все посмотреть,
потрогать и с собою взять.

— Надо подпилком, — решает Пугало.

— Подпилком что! — шурупом, раздобыть шуруп, повинтить — и готово дело.

2

На дворе октябрь.

Кончается четверть. Скоро станет Иван Иванович баллы выводить. А у Павлушки едва тройка выходит, тройка с минусами.

Падал мокрый снег и, не долетая до мостовой, где-то у ног таял.

Таял снег на крышах, только на дровах дровяного двора лежал легким белым слоем.

Было скользко, ноги не слушались.

Голодный, в длинной, сшитой на рост шинели, таща на уцелевшем ремне изодранный ранец, плелся Павлушка домой из гимназии.

И почему это он не может, не запинаясь, как Медведев, считать по порядку? И хитрости-то тут нет никакой: веди счет сзаду наперед, и только:

«33, 32, 31, 30»...

Вот и не сшибся, а тогда в классе ни с места: стал перескакивать, мяться.

«Тупая голова!» — сказал тогда Иван Иванович и поставил двойку.

— Тупая голова! — Павлушка снял картуз и потрогал себя за голову, — тупая голова... на третий год не оставят.

— Выгонят, — будто ветром донесло с дровяного двора.

Павлушка расстегнулся и, запрокинув голову, принялся ловить ртом снежинки.

Снежинки холодные падали, щекотали горло. Горло сжималось.

Так невесело, так ему было невесело, — плакать хотелось.

И представлялось, как его из гимназии выгонят, как тогда он до дому дойдет, как придет домой.

«А дальше?»

«Дальше вот что, — будто говорил ему кто-то на ухо — ты запрись там, ну, приноровись, да головой бух в дыру, или застрелись ружьем».

«А если не выгонят?»

«На третий не оставляют».

— 33, 32, 31, 30... — шептал Павлушка.

«Вот, вот, здорово!» — одобрял и пытал чей-то голос, то суровый, то ласковый.

Павлушка вошел к себе в дом.

Дома мыли пол.

Все было подоткнуто и перевернуто.

Слонялся Павлушка по столовой, отщипывал мякиш.

И только после обеда, когда все уложилось, и кухарка Маланья — Аксолот пошла в баню, Павлушка присел к своему столику, но ранца не расстегнул и к книгам не притронулся — завтра!

Так просидел он, пока не стало смеркаться и не ударили ко всенощной.

Уши горели у него, как на улице, и ничто не занимало, думалось тяжело об одном.

Стеклянный козленок из-под духов — любимец Павлушкин, — как повалился, когда передвигали столик, так и оставался лежать на боку.

«И пускай себе лежит, эка!»

Лень было руку протянуть и навести порядок.

А Павлушка такой аккуратный. Всякую пылинку сдует, соскоблит, подчистит. Старшая сестра Катя, у которой жил Павлушка, звала его Кротиком: «Кротик все соберет, ничего так валяться не оставит!»

На этот раз Павлушка не прибрал стол Кати.

«Пускай, только бы ружье достать».

3

В церкви за всенощной Павлушка стоял сумрачно, букой. Смотрел он в темный лик Божьей Матери, смотрел на драгоценные камни и жемчуга белой ризы.

Разноцветные лампадки, полные масла, разноцветно горели, и от света играли камни и жемчуга таяли.

Но душа Павлушкина была в потемках.

Крестился он, когда крестились, кланялся, когда надо было кланяться.

И чудился ему какой-то запах.

Пение и молитвы будто выплывали из этого запаха и так плавали пропитанные.

Ладан не гасил, а распускал его по всей церкви.

«Утром за обедней отпевали жену бондаря. Бондариха испортилась. Вот и не продохлась», — решил Павлушка.

Впереди, у амвона, стоял бондарь в чуйке и, широко крестясь, бухался в землю.

Павлушка и раньше слышал, что бондариха давно хворала, что ее много лечили и даром — ничего не помогало, а бондарь жаловался на обузу.

«Это он и бухается от радости, что Бог ее прибрал, надоела она ему. Думает, померла, и крышка, не увидит... Не-ет!» — Павлушка пискнул от злорадства: он знал, что бондариха тут, в церкви, стоит где-нибудь в уголку, все видит, все понимает, только ее не видно. Как в шапке-невидимке.

«Надеть шапку-невидимку, вынуть из кармана у Ивана Ивановича ключи, отпереть шкапчик, вытащить слоненка... двойки переправить на пятерки, а потом что-нибудь такое»...

В алтаре вдруг поднялась суматоха.

Дьякон бросился от жертвенника к престолу, псаломщик, читавший шестопсалмие, остановился.

В тишине, недоумевая, переглядывались.

Наконец, разрешилось: из алтаря под руку вывели священника.

Измученный, с открытым ртом, ткнулся старик священник с заплаканным лицом в темный лик Божьей Матери:

— Владычица, прости меня!

И пошел из церкви.

Служба продолжалась, псаломщик читал шестопсалмие. Голос его звучал твердо и уверенно.

И все, кто был в церкви, теперь знали твердо и определенно, что священник уже не вернется в церковь, что он умрет, дорогой ли, дома ли у себя, все равно, умрет.

— Все умрем, — говорило что-то в словах псаломщика, — умрем, и принесут сюда, поставят тут перед амвоном...

И вспомнилось Павлушке, как хоронили одного актера. Тоже старика. В церкви на отпевании рассказывали, будто играл актер на театре и помер. Моментально помер. Смыли с лица краску, положили его в гроб, принесли в церковь. Церковь была полна актеров, бритых и чудных, да актрис

в больших шляпках. Когда кончилось отпевание, священник дал покойнику рукописание, полил маслом, поклонился и пошел в алтарь. А с паперти уж несли крышку белую, глазетовую. И покрыли гроб крышкой, стали гвозди вбивать... Жутко было. И было еще какое-то успокоение, уверенность, что вот заколачивают гвоздями и сейчас понесут на кладбище, и там опустят в яму и землей завалят —

— Не тебя! — чуть не взвизгнул Павлушка, как и тогда на отпевании, как тогда от нахлынувшей радости.

Тут стал перед глазами другой случай.

Тоже раз зашел Павлушка в церковь: тоже покойник был. Уж прощались. Прощались как-то робко, руку не целовали. Только смотрели на огромные стеклянные руки. И вот женщина старая, горбатая от горя, одна целовала эти руки, целовала лицо, полузакрытое желтой ватой, целовала рот, а изо рта темной струйкой бежала сукровица.

«И меня!» — казалось, надрывалось что-то в этих поцелуях единственных... она не хотела остановиться, не хотела перестать, не могла оторваться, и целовала и лицо и руки, а с паперти уж несли крышку белую, глазетовую.

«И тебя! все равно... принесут!» — злорадствовал тогда Павлушка и, теперь вспомнив, похолодел весь.

— Принесут... чтобы меня не приносили, чтобы не умереть мне, Божия Матерь, сделай Ты... ведь я маленький! — Павлушка стал на колени и, кланяясь в землю, ударялся лбом о холодные плиты.

Играли камни на белой ризе, жемчуга таяли, и казалось ему, лик Божьей Матери участливо глядел на него.

Знал Павлушка твердо, все Она даст ему, ни в чем не откажет... не будет двоек, слоненок у него будет... он, ведь, ни в чем не виноват...

«А бондарь виноват?»

Бондарь, бухаясь в землю, вытягивал ноги. На тяжелых сапогах сверкали подковки.

Павлушке вдруг захотелось подковок.

«Ты отними от него, дай их мне!»

И он протянул руку к сапогу бондаря попробовать, не отвалились ли чудом подковки, и пораженный, остановился: справа и слева сверкали такие же подковки.

А почему у него нет подковок? Почему только один он стоит маленький, ни в чем не виноватый и всем чужой?

И вдруг понял.

Кругом были грешные, несчастные, грешные, как бондарь.

Они молились —

«Кто их услышит? Ты их услышишь!»

Они просили —

«Им будет ответ? Ты им ответишь!»

— Мне будет ответ, я не виноват ни в чем, — шептал Павлушка, и ему до боли стыдно, что он не виноват ни в чем...

— Слава Тебе, показавшему нам свет! — дьякон растворил царские врата, и запели певчие: Слава в Вышних Богу.

Павлушка стоял, как пригвожденный, не засматривал в окно, как всегда засматривал: не увидит ли свет показавшийся?

Мимо неслось Великое славословие, он повторял одно слово черное, звал темное с подковками, с серебряными.

— Пускай мне двоек наставят, пускай меня выгонят, пускай меня черт возьмет! — шептал Павлушка, прося и требуя.

Всенощная кончилась.

Бочком вышел Павлушка из церкви и побрел домой. Шел он домой оголтелый, распахнувшись, нес он не сердце, а комок вместо сердца.

Хотело сердце, ни в чем не виноватое, быть грешным, повинным.

Хотели глаза, ни в чем не виноватые, плакать от отчаяния.

Молить —

«Кто их услышит? Ты их услышишь!»

Просить —

«Им будет ответ? Ты им ответишь!»

Хотел Павлушка, чтобы черт сцапал его, чтобы черт посадил его к себе на закорки и пустился бы с ним по белому свету, куда хочет, куда глаза глядят.

Хотел, чтобы рука огромная, стеклянная покойницкая схватила его и тут бы на месте прихлопнула.

Быть бы ему вот этим отходником, трясущимся на бочке, ехать бы, трястись ему оборванному и голодному в ночь на грязную работу, нюхать этот отвратительный запах и копаться в зловонной бурде.

Павлушка стремительно повернул с тротуара и пустился за бочкой, стараясь как можно больше надышаться мерзостью и норовя выпачкаться.

4

Спинка. Брюшко.
Рак. Лягушка.
Детская игрушка.

— пели — выговаривали хором: Трясогузка тонко, Павлушка потолще, а Пугало толсто, и выделывали при этом руками разные финтиклюшки, заканчивавшиеся дружным кукишем.

— Павлушка, — просунулась в дверь Маланья-Аксолот, — поди-ка сюда, что я тебе скажу.

Все повскакали к Аксолоту.

— Мухтар пришел, ворону приволок, варить что ли?

Павлушка погрозил пальчиком, и на цыпочках всей гурьбой двинулись гимназисты в кухню.

Главное, надо было все от сестры Кати скрыть, а то Катя еще возьмет, да и выбросит ворону за окошко. А о вороне Павлушка давно умом раскидывает. Ему как-то попалась одна книжка, в книжке всякие звери и птицы нарисованы были, и рядом с птицами что-то вроде смерти. «И не смерть это, — объяснила Катя, — это скелет, а скелет можно и самому сделать из вороны». И с тех пор засела ворона Павлушке в голову, колом не вышибешь, — непременно захотелось ему скелет устроить, и чтобы скелет у него на столике стоял со стеклянным козленком.

Мухтар, лохматый дворник в валенках, и весь какой-то будто сделанный из валенок, топтался в кухне, кадя себе под нос дохлой вороной.

Обступили гимназисты Мухтара, выхватили из рук ворону.

Положили ворону на грязную табуретку из-под помойной лоханки, подсучили рукава и уселись кружком на

корточки. Трогали ворону пальцами, рассматривали всю кругом, расправляли крылья, потом за клюв принялись, раздирали задеревенелый клюв.

— Ворона старая, — сказал Павлушка, — ни одного целого зуба.

— Ворона жрет десной, у их сестры зуба не водится, — Аксолот-Маланья поставила на плиту доверху полный поганый чугун.

— Нет, водится, — заступился Пугало, — вот такие в семь аршин, круглые...

— Круглые! — передразнила Маланья, — круглый-то зоб, как яйцо.

— Зоб вон, под шейкой, там камни хранятся, не знаешь ты!

Маланья подкладывала дров в печку. Вода нагревалась.

А ворону гимназисты щипали. Перья складывали они в кучку. И тряслись над каждой пушинкой, чтобы потом из вороньего пуху Аксолоту перину сделать.

А как ощипали, зажгли лучинку и стали лучинкою палить ворону, чтобы все пенушки вывести.

И вывели они пенушки, принялись потрошить.

Обломанным перочинным ножиком взрезали зоб: искали камней, но камней не было, а была какая-то липкая труха.

Перемазались, все перемазали: и руки, и лицо, и курточку.

Не отрубая головы, положили ворону в чугун.

Закипела ворона.

И пошел по всем комнатам такой смрад, такой дух, хоть из дому беги.

Прибежала Катя, рассердилась, ворону велела в сени вынести, а детей прогнала из кухни.

Вот тебе и ворона!

Гимназисты потащили за собою Мухтара. Мухтар был выпивши, а когда Мухтар выпивши, с ним весело, и вороны не надо.

— Мухтар, а Мухтар, покажи, как ты... это делаешь? — щипали и подпихивали дворника, напихивая на него вертлявого Трясогузку.

— Нельзя, нельзя, — отбрыкивался Мухтар.

— Да не умеешь! да ты не умеешь! да ты ты не умеешь! — дразнили, поддразнивали дворника, пока его не прорвало.

И Мухтар облапил Трясогузку.

А Трясогузка-Доронин дал ему подножку, вывернулся, да и был таков. И полетел Мухтар к черту на кулички — грохнулся об пол.

И ползая по полу, хорохорясь, представлял дворник и выделывал разное такое.

Грохотали от удовольствия гимназисты, покатываясь со смеху.

— Ну, теперь спой, Мухтар, спой нам, пожалуйста!

И поднявшийся на ноги, разморенный, запел Мухтар песню несуразную и таким же, как весь валенный, каким-то валенным голосом:

Что же ты, Матрена,
К лесу не пришла,
Али ты, дурёна,
Другого нашла.

И остановился:

— А дальше нельзя.

— Нельзя! нельзя! нельзя! — задразнили снова Мухтара.

Просунулась в комнату Аксолот-Маланья, позвала Мухтара: его в сторожке спрашивают.

Мухтар обозлился и ругался.

И, ругаясь, вышел.

Ушел Мухтар. Чего бы еще выкинуть? Сидеть так, сложа руки, — скучно. Раздумывали.

Павлушка подговаривал впотьмах на чердак лезть, да дело не выгорело: поймают, изобьют, как жуликов.

Наконец, выдумали игру.

Пересчитались, кому водить, и начали.

Трясогузка и Павлушка хлестали ремнями Пугалу, а Пугало, взобравшись на стул, отхлестывался.

Вся игра в том только и заключалась, чтобы отхлестываться.

Сначала все шло мирно, хлестались понарочну, потом перешли и позаправду, норовя двинуть пряжкой.

Павлушка хватил Пугалу по лицу, Пугало не удержался и кувырнулся со стула. Кувырнулся Пугало, ударился об пол, — заплакал.

Задрало остальных.

— Нюня! Нюня! Нюня! — принялись дразнить.

— Пугало! Пугало! Пугало! — поддразнивали.

— Сам Пугало! второгодник! — отбрыкнулся было Пугало на Павлушку.

— А твой отец — пропоица, сосуд за обедней уронил.

— Пропоица! Пропоица! Пропоица! — наступали на Пугалу.

Пугало плакал.

И чем бы все кончилось, кто его знает, да за Трясогузкой горничная пришла домой уводить.

Поднялся было и Пугало, да опять сел.

Увела горничная Трясогузку. Пугало с Павлушкой одни остались.

И стало вдруг Павлушке стыдно, что обидел он Пугалу.

— Пугало, поди сюда! — позвал Павлушка робко.

Пугало всхлипывал.

— Поди сюда, говорю, слышишь?

Но Пугало все всхлипывал.

— Давай, Пугало, слоненка унесем! — тронул Павлушка Пугалу.

— Давай.

— А как же мы его унесем?

— Стамеской.

— Стамеской не выйдет, долотом лучше.

— Долотом.

— А когда мы его унесем?

— Завтра.

— Никому не скажем?

— А дразнить не будешь?

— Я тебе, Пугало, козленка отдам, хочешь?

— Хочу.

Павлушка отыскал тряпочку, бережно закутал в тряпочку стеклянного любимого козленка, чтобы козленку холодно не было, и подал его Пугале.

— Вот тебе, Пугало, бери!

Пугало встал, вихры торчали и щеки горели.

— Павлушка, — сказал Пугало не по-своему, — ты... папашу... в заштат выгнали... благочинный. Мы, Павлушка, с голоду помрем.

5

Утром на следующий день Павлушка в гимназию не пошел. Надел было ранец, и подкосило.

Поставили Павлушке градусник: жар. Хотели в постель уложить, заартачился, не хотелось ложиться.

Пошел ходить по комнатам.

В окно смотрел.

За окном падал мокрый снег и, не долетая до мостовой, таял.

Таял снег на крышах, только на дровах у сарая лежал легким слоем.

И так тянулось время, так невесело.

Так Павлушке было невесело, — плакать хотелось.

Столик стоял сиротливо, — козленка не было. Жалко стало козленка. Зачем его отдал? Теперь у него нет ничего. И у Пугалы тоже нет ничего... с голоду помрет. И козленок и Пугало.

«А слоненок?»

Закрыл Павлушка глаза, стал на пальцах гадать: принесет Пугало слоненка или не принесет?

— Нет. — Нет. — Нет, — шептал, гадая, Павлушка.

А ну, как никакого слоненка и нет в шкапчике, а так он его себе выдумал? И откуда взяться слоненку в шкапчике?

А если слоненок на самом деле сидит в шкапчике, то дастся ли слоненок взять себя? Пойдет ли к нему? Не всем ведь дается слоненок, не ко всякому идет. К Пугале пойдет, а к нему?

Закрыл Павлушка глаза, завертел пальцами.

— Да. — Да. — Да, — шептал он, гадая.

В комнату сестры Кати вошел настройщик, стал пьянино настраивать.

— Серый слоненок, серая мордочка, — будто выговаривая, ударяла нота.

Павлушка лег на кровать прилечь и прислушивался.

— Серый слоненок, серая мордочка, — ударяла нота.

И представилось Павлушке, будто какой-то маленький зверек выскочил из часов, подполз к кровати, понюхал его и забегал по комнате.

Бегает зверек на одной ножке, выпускает паутину, путает комнату, приплясывает.

И хочет Павлушка встать, поймать зверка, и не может. Не может он ни голову поднять, ни рукой тронуть.

Бегает зверек на одной ножке, паутиной путает комнату, приплясывает, губой причмокивает:

Чок-чок! Пятачок.
Побежала в кабачок...

Опутал зверек комнату, стулья, стол, опутал кровать, опутал Павлушке ноги, опутал руки, путает тело.

Сердце Павлушкино путает.

— Слоненок, миленький, не трогай меня! — плачет Павлушка.

Но зверек-слоненок не слушает, ему и горя мало, все шибче, все прытче бегает по комнате, приплясывает, губой причмокивает:

Чок-чок! Пятачок.
Побежала в кабачок...

И вдруг для Павлушки понятным становится, что не зверек это, не слоненок, а черт.

Павлушка раскрыл глаза испуганные, ни в чем не виноватые, измученные.

В комнате сестры Кати настройщик настраивал пьянино.

*

У Павлушки корь.

Третий день, как началась корь, и теперь жарила вовсю.

В первый же вечер забегал Пугало, принес Пугало Павлушке заячью лапку.

Лапку положили больному под подушку, а Пугалу прогнали: заразится.

Всякий день пичкали Павлушку противною касторкою. Аксолот-Маланья давила капсулю и, размазав касторку на кусочек черствого хлеба, потчевала Павлушку.

От одного воспоминания у Павлушки в глазах мутилось.

Слава Богу, больше не надо!

Пришел доктор, посмотрел язык у Павлушки, пульс щупал.

«Павлушка не должен чесаться, а то хуже будет».

А Павлушка почесывался: притворялся, что спит, и сам почесывался.

Вот вышла Маланья-Аксолот в кухню, притворила за собою дверь плотно. И когда совсем в доме затихло, Павлушка соскочил с кровати и, ступая босыми ногами по холодному полу, дрожа всем телом, пробрался к зеркалу.

Глянул на себя в зеркало и зажмурился. И снова с болью впился тяжелыми глазами на свое непохожее лицо.

Не было места не покрытого красным лоснящимся пятном, сплывающимся с другим таким же красным и лосным, и с третьим, везде: на лбу, на голове в волосах, на носу, на груди.

Ощерил Павлушка зубы и не блестящие и белые, а мутные теперь, мутно-зеленоватые. Хотел язык совочком состроить, а язык тяжелый, не поворачивался.

Шептал Павлушка нестерпимо чешущимися губами и гримасничал, — не узнавал себя.

И вдруг понял, что отражается в зеркале, смотрит на него из зеркала не он уж, — он умирает и скоро умрет.

Шатаясь, отчаянный подполз Павлушка к кровати, надернул на себя одеяло и, в страшном холоде и тоске недетской, скорчился.

И ему казалось, он большой и не только большой, а старый, как тот старик-священник.

«Владычица, прости меня!»

Комната наполнялась ходом часов, слушал Павлушка, как часы ходили, а ходили они будто на длинных ногах в мухтарских валенках, ходили по комнате вокруг кровати, шлепали:

— И тебя! не уйдешь!

Павлушка нащупал под подушкой заячью лапку, ухватился за лапку, как за последнюю соломинку, но не поддалась лапка, выюркнула из рук.

И стала лапка под одеялом прыгать, проскочила ему за ворот под сорочку, выпустила коготки, зацарапала по голой спине.

— Лапка! лапочка! — стонал Павлушка.

Но удержу ей не было.

И все пришло, все сошлось, чтобы мучить Павлушку.

Прилетела ворона ощипанная, пустая, без внутренностей, уселась синяя над головой, разинула клюв —

Вышел слоненок из шкапчика, выгнул хобот, поймал за ногу и потянул Павлушку с кровати на пол —

На полу дьякон ползал — отец Пугалы — растерзанный, что-то красное — причастие — собирал горсть, чмокал пьяной губой —

И сыпались сверху с потолка на Павлушку ножички, стрелки, машинки, коробочки, картинки, кораблики, раковинки, балльники, двойки — стреляли, давили, резали, крышками защемляли пальцы, царапались —

И уж не видел он ничего, ничего не слышал, он летел куда-то в пропасть, он летел на закорках у черта, летел не по белому свету, а по чертову полю.

И представилось Павлушке, идет он будто с сестрою Катей по огромной, широкой каменной площади на чертовом поле. Схватились они за руки, торопятся. И жутко и страшно им, и куда идут — сами не знают. Одно знают, пришел конец.

И нет им спасения.

Знают они, кто-то, какой-то старик слепой и гадкий подстерегает их. Он давно подстерегает их.

И нет им спасения.

И чувствует Павлушка, что старик уж тут. Да вон бледный, изможденный, с зеленоватою бородой, как бондарь. Старик стал на тумбу, вот-вот бросится...

И нет им спасения.

Схватил Павлушка тяжелый лом, ударил старика по лысине. Бьет и сам чувствует, что сил уж нет больше, нет сил еще раз поднять лом.

А старик поднимается с тумбы, бледный, изможденный с зеленоватою бородой, как бондарь.

— Слава Тебе, показавшему нам свет!

6

Много недель провалялся Павлушка.

Вытянулся Павлушка, глаза потемнели, и все будто

внове: слышал он каждое слово, каждому слову радовался и предмету.

Потом скучища напала смертная. Никого к нему не пускали, а самому не позволяли из дому выходить.

Ушла осень, пришла зима.

Все стало белое, снег похрустывал.

Выбежать бы на улицу, да в снежки!

Играли другие.

А что толку в окно смотреть, как играют другие?

Скучища была смертная.

И вот, наконец, на Катины именины, в первый раз Павлушка на волю вышел.

Появились в доме Трясогузка и Пугало.

Под орех разделывали, чего они только не выкидывали.

Да всему есть конец. Прогнали их в комнаты.

И весело было на именинах у Кати, как никогда.

Пили красное вино, ели мороженое. Отмочил Павлушка коленце: вымазал себе нос табаком.

— Сыт, пьян и нос в табаке!

Вымазались Трясогузка с Пугалом, вымазали Мухтара и Аксолота-Маланью. Потом передрались, перецарапались, а кончили миром.

Слоненок все равно их будет!

Мухтар достал плоскозубцы, — у них есть теперь плоскозубцы, а плоскозубцами все можно.

Завтра пойдет Павлушка в гимназию.

Завтра же они отопрут шкапчик, вынут слоненка. Запрягут они слоненка в санки, и помчится слоненок по улицам, мимо гимназии, в поле.

— Будем кричать и петь во все горло!

— Ничего не будем бояться!

— Нацепим слоненку на мордочку красную ленточку!

— Порвем книжки и балльники!

— На край света поедем!

— А гимназию к черту!

ГАЛСТУК

1

Еще ранней осенью заметили на Невском черного студента, отличавшегося от других студентов нарядных, в своих новеньких мундирах. Новички, попавшие впервые в Петербург, обыкновенно партиями прогуливаются по Невскому, с любопытством осматриваясь по сторонам и подолгу останавливаясь у витрин магазинов.

Обративший на себя внимание черный студент тоже был новичок и тоже франтовато одет, но и лицо его и манера держаться очень выделяли его.

С черными горячими глазами, черный — другого черного такого не было на Невском.

Глаза его, даже когда он и улыбался, а он очень игриво улыбался, сохраняли неизменно одно и то же выражение: какая-то старая печаль, какая-то пережившая века древняя грусть, из века в век поддерживаемая непотухающим скрытым огнем, светилась из его глаз. А когда он скашивался, не поворачивая головы, в сторону пробегавшей модницы видны были лишь огромные блестящие белки.

В походке его было много уверенности и солидности, шел он ровно, не раскачиваясь и не размахивая руками, и в то же время чувствовалось, что среди гуляющих он самый и есть самый вздорный и фантастический.

— Абдул-Ахад, — сказал как-то черный студент, представляясь беленькому пугливому студенту.

— Турка! — подмигивали лакеи в кофейных и приказчики в магазинах при виде Абдул-Ахада.

Любители арабских сказок должны были почувствовать большое волнение, случайно столкнувшись с Абдул-Ахадом — Туркой, как стали звать его товарищи-студенты.

С Невского Турка перебрался на Васильевский остров. На двенадцатой линии он нанял комнату. И уж к началу зимы весь остров знал Турку.

Турка богатый и щедрый.

Турка у всех на виду.

И не было, кажется, ни одной барышни на острове, в которую не влюбился бы Турка, и не было на острове ни одной барышни, которая не вздыхала бы о Турке.

Самые невероятные смешные легенды ходили о Турке.

Правда, и сам он первый любил порассказывать о себе, и много невероятного и смешного, и о путешествиях, и о приключениях, и притом так, будто все сам он и путешествовал, и приключения его собственные.

Любители арабских сказок должны были почувствовать большое волнение, случайно подслушав рассказы Абдул-Ахада.

А беленький пугливый студент, к которому Турка чувствовал особенную нежность и всегда покровительствовал, беленький пугливый студент, неизменный спутник Турки, как-то хвастаясь о своем покровителе, передавал не без задора и гордо, будто Турка еще приготовишкой в гимназии, был уж отцом семейства и притом чувствовал себя в своей роли совсем неловко.

Да и сам Турка, в минуту особенной откровенности, что-то подобное о себе рассказывал и даже представлял свою тогдашнюю гимназическую неловкость: стоять в углу, будучи отцом!

Верить особенно не верили, но весело было очень.

— Конечно, — говорили, — Турка!

— Турка пришла! — весело, с добрым смехом встречали Абдул-Ахада, когда он появлялся на студенческой вечеринке.

Турка привык к Петербургу, обжился, как другие турки — хохлатые турки, так называла хозяйка Абдул-Ахада сфинксов у Николаевского моста, привыкли к холодной Неве, к бледному небу, к изморози и петербургскому ветру.

Турке всегда жарко — и дорогая шуба его всегда нараспашку.

— Конечно, — говорили, — Турка!

— Турка! Турка! — весело, с добрым смехом встречали на улице Абдул-Ахада.

Но Турка капризный: сегодня весел, а завтра плачет, сегодня всякие рассказы и самые фантастические планы, а завтра блестят белки.

И это все знают — и смех его и слезы, и гладят Турку, когда он плачет.

— Милый Турка, полно! — и гладят, будто кошку.

На Святках Турка рядился, после Святок сел за лекции.

Но что для Турки лекции? А что полицейскому приставу Турка?

Нежданно-негаданно попал Турка не на свою двенадцатую линию и не к хохлатым туркам-сфинксам, мимо которых так часто ходил Абдул-Ахад, а попал Турка на Арсенальную набережную в Кресты.

2

Попасть в Кресты очень просто.

Случилась на Невском демонстрация. На демонстрации случился Турка. Какая же демонстрация без Турки? На демонстрациях много знакомых и очень весело, как ни на каком балу, ни на каком маскараде.

— Турка! Турка! — кричали товарищи, весело встречая Абдул-Ахада.

И сначала все шло весело и задорно, но у Думской каланчи демонстрантам устроили ловушку, и пущены были в ход нагайки и шашки.

Турка все, что хотите, и в приготовительном классе в гимназии он уж был отцом семейства, все это правда, а в Китае он никогда не был, хоть и рассказывал о живых поджаренных рыбах, которыми угощал его какой-то важный китаец, но Турка — рыцарь, Турка не может допустить, чтобы хорошенькую барышню, да еще его знакомую, бил солдат шашкой.

Три молоденьких курсистки бросились на Думскую лестницу и, закрываясь руками, стали на колени спиною к солдатам.

Солдат поднялся за ними и поочередно стал наносить удары тяжелой крепкой шашкой.

Турка пришел в ярость.

А кто-то захохотал из толпы, отпустив обидное про несчастных, терпеливо стоящих на коленях избиваемых барышень.

И с разных концов визг и крики.

Кругом бежали и падали.

Черный, с черными горячими глазами не бежал Турка, как другие, и не кричал, как другие, он только выворачивал свои горячие глаза.

И ярость дошла до точки.

А белки блестели так страшно, что у городового, вы-

шибавшего последний дух из своей черной подвернувшейся жертвы, на минуту промелькнуло:

«Да уж не сам ли это живучий черт окаянный?»

Дух из Турки не вышибли, а в Кресты попал.

*

Вместе с Туркою, как и Турку, привезли в Кресты с демонстрации много студентов, и скоро из всех самым беспокойным, самым вздорным оказался Абдул-Ахад — Турка.

Когда всякие подтеки, ушибы, ссадины и царапины поджили, ожил и Турка. Ожил Турка, — и как малый ребенок... Что с него взять?

На свидание к Турке ходили две невесты.

И в обеих Турка был влюблен, и уж сам хорошенько не знал, какая из них лучше и какую он любит больше.

Цветы, шоколад пирожки носили в тюрьму невесты. Свидания длились долго. Но Турка капризничал, ему все мало. Турка просил допустить к нему еще и третью невесту.

И разрешили ходить к Турке трем невестам, — каждая ходила по очереди. И этого мало, Турка не унимался.

Да и как было уняться, ведь на самом-то деле их было не три, а тридцать три невесты!

Камера Турки помещалась во дворе, на пятом этаже. Окна высоко. Так, с пола ничего не увидишь. Турка на стол ставил табуретку и, взобравшись на табуретку, по вечерам смотрел в окно.

А там, по набережной, от самых хохлатых турок-сфинксов прогуливались его невесты, все тридцать три.

Турка только о них и думал, ждал свидания, и во сне всю ночь только их и видел.

А тут весна пришла. Стали строго запрещать в окно смотреть. Но кому же, как не Турке, смотреть в окно, когда весна пришла?

Турка приказаний не слушался.

Пугали карцером — не испугался.

Сажали в карцер — не действует.

И бросили. Что с него взять?

Раньше, на воле, весь мир его делился: на хорошеньких барышень, на просто молоденьких и вообще на женщин — в первых он влюблялся, во вторых не прочь был влюбиться, а за третьими всегда был готов поухаживать.

А теперь, когда пришла весна, он всех стал любить и любил равно, не деля никого: и хорошеньких, и просто молоденьких и вообще всех женщин.

И уж по набережной всякий вечер прогуливались и не тридцать три, а триста тридцать три невесты, — он видел их собственными глазами.

Все женщины были его невесты.

На Пасху Турка даже плакал. Плакал он оттого, что его в церковь не повели, когда всех его товарищей водили, а еще оттого, что вечером, увидав из окна прогуливающихся по набережной всех своих невест, ему стало их очень, очень жалко.

Пришел май, белые ночи.

Из окна смотрел Турка на май, на белые ночи.

Как-то, после проверки, взобравшись на табуретку невест смотреть, заметил Турка, что из соседнего решетчатого окна торчит черная борода.

Сосед тоже увидал Турку и, предупреждая, стал делать знаки не разговаривать.

С Туркой разве сговоришь?

Турка обрадовался черной бороде.

— Давно сидите?

— Два года.

— Откуда?

— Из Вилейки.

— По какому делу?

— По доносу. Я ничего не знаю.

— Навещает кто?

— Нет. У меня дома жена и девочка.

— А чем занимались?

— Меламед — учитель.

— Не скучно?

— Коробки клею.

— О жене скучаете?

Но сосед ничего не ответил, — черная борода юркнула за решетку.

Да и к Турке постучал часовой, пришлось слезать.

Когда же отошел часовой, Турка снова вскарабкался к окну и снова принялся вызывать соседа, но черной бороды больше не показывалось, и видна была из-за решетки одна согнутая, усталая спина.

Потом Турка забыл о бороде, а тут, наконец, и выпустили Турку. Что с него взять?

3

Вышел из Крестов Турка и прямо на Невский, и уж не знает, что с собою делать и куда деваться.

Идти к знакомым? К знакомым он и завтра поспеет — три дня срока ему, три дня разрешили жить в Петербурге, за три дня он успеет все сделать и со всеми повидаться.

Турка ходил по Невскому и улыбался, всем улыбался, и молодым и старым.

— Турка! Милый Турка, как поживаешь? — улыбались ему в ответ, так казалось ему, что улыбались.

От нечего делать он заходил в кофейные, ел пирожки, пил кофе, заглядывал в кинематограф, но долго усидеть нигде не мог.

— Турка! Милый Турка, как весело, хорошо на воле! — шумели, жужжали, нашептывали прохожие, так слышалось ему среди шума самой шумной улицы.

Показывали на Невском диких людоедов. Из Новой Гвинеи привезли в Петербург людоедов.

«Самое дикое племя на всем земном шаре!» — так зазывала афиша.

Пошел Турка смотреть диких людоедов. Людоеды были совсем как театральные черти, а улыбались, как сам Турка. И не утерпел Турка, взобрался к ним на эстраду.

Дикие не понимали, что говорил им Турка, да и другие, не-дикие, как и сам Турка, едва ли что понимали, но впечатление было неожиданное: дикие, приняв его, должно быть, за своего бога, натянули луки и, выпустив свои стрелы, и став из маленьких огромными, как Петр Великий, пустились так неистово прыгать по-кенгуручьи и так за-

рычали вепрем, что публика, давай Бог ноги, скорее к двери.

В суматохе за публикой вышел и Турка.

— Турка! Милый Турка, весело, как весело! — кричали ему вслед, так казалось ему, что кричали.

Ладожский лед по Неве прошел и было тепло. Впрочем, Турке все равно было бы жарко, если бы и лед не прошел.

Ночь белая, прозрачная манила далекими серебряными звездочками.

По случаю царского дня на Невском вдоль тротуара зажгли разноцветные электрические фонарики, а на домах яркие вензеля.

Гуляющих было очень много.

Турка глазел по сторонам и улыбался.

Все таким нарядным казалось ему, таким молодым и чистым, всех, без разбора, всех расцеловал бы он.

На углу Екатерининского канала Турка приостановился.

От Казанского собора показались кавалергарды.

Большие, на конях, в серебряных латах, привидениями двигались серебряные всадники.

Турка смотрел на кавалергардов и улыбался.

И долго серебрились латы среди белой ночи, разноцветных зеленых огоньков и потемневших, бородой висящих, флагов.

Проводив кавалергардов, пошел он за толпою.

На мосту ему приглянулась прохожая — так, черненькая, стройная, совсем как подросток, и ненакрашенная, а глаза блестят, будто кавалергардские латы.

Он улыбнулся ей, и она улыбнулась. Взял ее под руку. Ничего, — улыбается. И пошли.

Шли они и смеялись, как старые знакомые.

Еще бы: ведь, она его невеста! Тут все были его невесты.

Ночь белая, прозрачная манила далекими серебряными звездочками.

— Далеко к вам?

Она назвала гостиницу.

И из ее ответа понял Турка, что на улице она еще недавно: у себя в комнате не принимает.

Повернули к гостинице. Взяли номер.

И в номере снова Турка убедился, что она совсем недавно на Невском: от пива отказалась.

Коридорный принес лимонаду. Выпили. Стали раздеваться.

Она — еврейка, а зовут ее Розой.

— А вы кто, еврей?

— Нет.

— Грек?

— Нет!

С большими удивленными глазами принялась она перебирать все народности, какие только знала. Дошла она и до китайца и даже до папуаса-людоеда, которого тоже ходила смотреть, как Турка.

— Папуас?

— Нет.

— Турка?

Турка не выдержал и стал хохотать.

— Турка! Турка! — обрадовалась Роза, так радуются дети, когда находят, наконец, и совсем-то не хитро спрятавшегося, и повторяла весело с добрым смехом, как товарищи-студенты, встречая где-нибудь в непоказанном месте Абдул-Ахада.

Розе оставалось только снять корсет.

Турка болтал всякий вздор, уверял, что он не Турка, а самый настоящий людоед и сейчас так вот и съест ее всю и с косточками, и сам хохотал, захлебываясь.

Из-под корсета у Розы вдруг выпало что-то на пол, и Турка заметил. Но Роза быстро схватила с пола какую-то вещицу и зажала в руке.

Что бы это могло быть? И отчего она так покраснела?

— Что такое?

— Нет нельзя, это нельзя! — Роза отступила.

— Почему нельзя? — заспорил Турка, он обнял Розу, усадил к себе на колени, — ну, скажи, ну, что тебе стоит?

— Нельзя, — твердила она, — не спрашивайте, пожалуйста, не надо об этом.

Разве сговоришь с Туркой! Турка стоял на своем: скажи да скажи.

Клялся, что никакой тайны он не выдаст и не будет смеяться: ему, Турке, все можно.

— Все можно, — приставал Турка, — а этого нельзя. Ну, почему, почему нельзя?

Но она крепко сжимала в руке какую-то вещицу и молчала.

Казалось, никакими силами не заставишь ее выдать тайну, хотя бы все невские городовые бросились на нее со своими крепкими кулаками: она решительно отказалась сказать хоть слово.

Пустяки раззадорили Турку. Турка не унимался. Ему надо знать секрет Розы.

Черный, выворачивая свои черные горячие глаза, он схватил ее за руку.

И она разжала руку.

Сначала даже ничего и не понял Турка, не поверил глазам.

— Галстук?

В руке ее был самый обыкновенный черный галстук — середка галстука в виде черной бабочки.

Роза заговорила быстро, путаясь и повторяясь и передыхая, как дети, — так дети говорят или, когда очень рады, на ушко: «Мама, а мама!» — или, когда провинились, горько: «Больше никогда не буду!»

Это галстук. Это галстук ее мужа. Роза не хотела говорить Турке о своем муже. У Розы и девочка есть — девочке три года. Она из Вилейки. Мужа в Петербург отвезли в «черной карете», уж два года. Сосед на него сказал. Муж ее в хедере был меламед.

— Меламед — учитель, — повторила Роза.

— А я его видел, твоего мужа, у него борода черная и он худой такой, спина сгорблена, скелет с черной бородой! — обрадовался Турка, вспомнив свой пятый этаж, камеру, вечер и себя на табуретке у окна, — я сам только что из Крестов, и он там, в Крестах. Кресты на Выборгской стороне, Арсенальная набережная, № 5.

Но уж Роза была не на коленях, Роза валялась на полу у ног Турки и так кричала, словно били ее, и всю душу в ней выворачивало.

Турка схватил графин, налил воды.

Да что же это он сделал такое, отчего она так бьется и кричит?

Но Роза не притронулась к стакану, не поднялась и, лежа на полу в одних чулках и рубашке, взвизгивая,

громко, громко плакала, сжимая крепко в руке галстук — середку в виде черной бабочки.

Турка не узнал Розы: это совсем не бледненький робкий и плутоватый подросток, это была исступленная женщина, которую давило горе, старя и кривя ей лицо.

И в дверь стучат: требуют отпереть.

Турка ходил вокруг Розы, не зная, что делать.

— Успокойся, — трогал он Розу, — ну, что такое галстук? Ей-Богу, я ничего не сказал!

В дверь стучали. И, казалось, не только в дверь, но и во все стены стучали и в потолок, и не кулаком, а молотом.

И пришлось отворить, — все равно дверь сломают.

Турка отпер.

Околоточный, городовой, номерной, извозчик и с ними какая-то девица, должно быть, соседняя, из соседнего номера, вошли в номер.

— Что у вас такое? — околоточный подозрительно оглядывал и раздетого Турку и бьющуюся на полу Розу.

— Ничего, — ответил Турка, — я совсем ничего!

И бросился к Розе, поднял ее с пола и кое-как усадил на диван.

Роза не обращала внимания на вошедших, не видя и не слыша никого, взвизгивая, громко плакала.

Околоточный предложил Абдул-Ахаду одеться: Турка пойдет с ним в участок и там протокол составят.

Да что же это он сделал такое?

Разве он бил ее?

Или сказал что-нибудь обидное?

Ровно ничего — ровно ничего худого он ей не сделал, и не думал.

Турка торопливо, как провинившийся, одевался.

Но руки не слушались: и не застегивалось и не прилаживалось, как следует.

А кругом стояли и смотрели на него, как на какого-то пойманного воришку, и, казалось, подмигивали ему:

«Что, мол, взял? Попался!»

В кармане у него было золото, он все положил Розе в ее незанятую руку и пошел с околоточным в участок.

За околоточным вышли и другие: вышла соседняя де-

вица, извозчик и номерной — они свое дело сделали, их больше не требуется.

Осталась только Роза.

Она все плакала, сидя на диване в одних чулках и рубашке, взвизгивая, громко плакала, крепко сжимая в руке галстук — середку в виде черной бабочки и золото Турки.

Она одна осталась в номере, и с нею невский курносый городовой.

Рассказы, не вошедшие в циклы

ОПЕРА

Серое холодяще-пыльное утро.

Дежурный городовой перелистывает справочную книгу, — он заспанный и зеленый, позевывает.

Все время звонит телефон. У телефона околоточный.

— Где дела о пожарных... вознаграждение медалями?.. Да, медалями... Не—ет—?! — надсаживается околоточный.

В полицейское управление вваливается нагруженный почтальон.

Седой стриженый старичок-писец разбирает пакеты:

— Это статья не нашенская, — бормочет себе под нос стриженый старичок, — не нашенская.

— Ваше благородие, — слышится голос с заднего хода, — ваше благородие, третий месяц толкусь, явите Божескую милость.

— Ты Снегирев, — околодочный говорит на телефонный лад, — ты, Снегирев, иди в воинское присутствие, слышишь, там и подожди, подождать маленько не беда.

Где-то на заднем дворе заиграла шарманка.

Стучат и громыхают ломовики.

Грязные тучи тупо ползут на солнце и, золотясь, грязные расплываются.

Немилосердно скрипит перо.

— Подождите, скоро приедут, — басит городовой, впуская просителя в приемную полицеймейстера.

Ударили по постному к поздней обедне.

И звон в постный колокол монотонностью выматывает всю душу.

«Должно быть, покойник, — подумал Слякин, — а то бы давно пора кончить!» — и перевел глаза от пробитого матового стеклышка своего дворянского помещения на стену, оглядел ее всю и опять остановился на выскоб-

ленной надписи Кусков фокусник и опять перечитал висевший под надписью розовый лоскуток афиши, извещавшей о заезжей опере, нервно потянулся и, не зная, за что еще приняться, зевнул по-собачьи.

Соломенный продырявленный стул хряснул и закачался.

Слякин припоминал все происшедшее с ним с самого начала, припоминал не только злополучный вчерашний вечер, окончившийся дворянским помещением, но и всю свою жизнь с самого начала и там в Петербурге, и в этом дырявом городе, куда занесла его нелегкая.

Так проходило время в ожидании полицеймейстера.

От полицеймейстера зависело: сидеть ему тут на противном стуле взаперти или гулять по опротивевшим улицам на свободе.

В городе Слякин был всякому известен, имел репутацию хорошего репетитора и почти от каждой матери пользовался уважением, так как дети, которых он подучивал, переходили в следующий класс без всяких переэкзаменовок. О прошлом его мало кто не знал, и все относились к его неблагонадежности не то, чтоб одобрительно, а с некоторым сожалением, как если бы у него в самую скверную осень единственное пальто украли. И он ходил на глазах у всех один и не то кургузый, не то без пальто в промокшей прилипающей к телу одежде, и, если даже погода стояла ясная, казалось все, будто дождик его помачивает. Безобидный и никого не укусит.

И случись же этой проклятой опере, залетела она в город чуть ли не с самого неба. Не послушать оперы, когда нет под боком даже солдат-музыкантов, которые на трубе играют, это все равно, что водить пчелу, а меду никогда не отведать.

Подыскав себе компанию из страстных любителей музыки, которыми в таких городах хоть пруд пруди, Слякин заблаговременно взял ложу. И сделан был между ними уговор крепко, чтобы во время действия вести себя, как подобает: не подпевать и не разговаривать, а главное — и это пуще всего, — в театр не опаздывать. Когда-то еще выпадет такой счастливый час — послушать оперу!

Но видно уж кто-то вообще этими нехорошими делами

занимается, иначе и объяснить нельзя все те случайности, от которых не больно поздоровится.

Такая нехорошая случайность произошла с Слякиным, а от нее уж и все остальное и то, что сидит он в дворянском помещении, ждет полицеймейстера, от которого зависит, сидеть ему тут на противном стуле взаперти или гулять по опротивевшим улицам на свободе.

Слякин в театр опоздал.

Он явился в театр, когда занавес еще не подымался, но пока-то разделся, да пока отыскивал свою ложу, опера началась. И дверь в ложу оказалась запертой. Все-таки под дверью стоять невозможно, ведь он не виноват, его ученик задержал, Степанов третьеклассник — тупица, и часы у него на минуту отстали, он не виноват. Слякин попробовал постучать, но ответа не последовало. И не будет ответа, потому что сам же он и уговор этот сочинил: ложу запереть и на стук не отвечать.

Опера была в самом разгаре. Боже, как пели, так, кажется, нигде не поют, и ни в одном, даже заграничном театре так не поют. Какой-то тенор выводил такую ерунду и так ловко, ну и так хорошо, что, кажется, нет его выше во всем мире и ничего уж не хочется — вечно бы слушать его или уж быть самому этим тенором и вечно петь ерунду.

До Слякина долетали какие-то обрывки, дразнили его, а он, потеряв всякое терпение и наплевав на уговор, принялся из всей мочи дубасить в дверь, требуя открыть ему дверь немедленно.

Он не виноват, он пришел вовремя, он не виноват, что у него капельдинер пальто долго не снимал и что он близорук и сразу ложу свою не нашел, ведь он с четырнадцати лет очки носит, он не слыхал оперы вот уж пятый год, пять лет будет, как его сюда без его согласия в этот город впихнули, — из Петербурга выслали, он долго в тюрьме сидел, ему должны открыть, он требует, он имеет право требовать...

«Пустите меня, слышите, отворите же, наконец, ведь это подло, понимаете!» — и руками и ногами и всем своим голосом требовал Слякин и с таким упрямством и ожесточением, что на другом конце театра с другой сто-

роны лож слышны были эти все настойчивее и упорнее выражавшиеся требования.

Между тем, приехал в театр полицмейстер, и тотчас два пристава, придерживая шашки и нюхая воздух, направились прямо на беспорядок и, найдя беспорядок, оба одним голосом и одними и теми же словами принялись не без вежливости увещевать Слякина прекратить бесчинство.

Они говорили негромко, но внушительно.

Они говорили:

«Послушайте... начальник полиции... не безобразничайте...»

А Слякин, ничего уж не слыша и зажмурившись, колотил в дверь.

И вдруг затопали, закричали, — акт кончился, и что-то вдруг с размаху стукнуло его в грудь, и он почувствовал, что ткнулся куда-то и летит, а ногу его кто-то крепко сжимает и, кажется, он перестал уж лететь, конечно! — дверь закрыта, а его волокут.

«Завтра разберем, — стучит над ним тенор-пристав, — начальник полиции... беспорядок».

И та же рука под долетающие хлопки поддевает его, будто рыбу крючком, и, закинув высоко, высоко, шлепает о что-то твердое, и как сквозь сон, дребезжит пролетка.

Слякина отправили из театра в часть, где он и провел ночь в дворянском помещении.

Слякин, покачиваясь на дырявом стуле, не может подогнать время, а время так медленно идет и упирается, словно не хочет дойти до той роковой минуты, когда приедет полицеймейстер.

«Да он, может, и не приедет? А если не приедет?» — и Слякин, ухватясь за колени и крепко зажмурившись, делает страшное напряжение перенестись туда, в Петербург, в те дни, когда он ходил такой гордый, когда его слушали, и где он оперы слушал такие — с Шаляпиным. И у него был голос. Он тоже пел...

За дверью вдруг сразу все стихло и за окном тоже, и в церкви не звонят, и тучи не идут, только дребезжит одна-единственная полицмейстерская пролетка.

Слякин быстро поднялся и, вытирая вспотевшие от волнения руки, пробормотал осипшим голосом:

— Господин начальник полиции...

А выскобленный на стене Кусков фокусник — счастливый фокусник, казалось ему, скользнув по стене вместе с розовым лоскутком афиши, юркнул страха ради куда-то в окошко на улицу.

Растворили Слякину двери. Выпустили Слякина. Вот тебе и опера!

1900 г.

СВЯТОЙ ВЕЧЕР

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Нет, если уж где справлять канун Рождества — рождественский сочельник, то, само собою, не в Петербурге.

Первым делом как есть кутью садиться, отвори окно, да, бросая за окно, на волю, первую ложку, проси деда Корочуна кутью есть. Дед Корочун над зимою первый: Корочун и зиму строит и горы насыпает, чтобы на санках кататься, и рядит инеем деревья, чтобы покрасивее было, он же, по рассказам старых людей, и Христа-Младенца пустил о Рождестве к себе в хлев, когда Ирод-царь велел избивать младенцев по всей земле, он же и разные кудесы знает и такие сказки сказывает, от которых и страх берет, и еще хочется. Любит Корочун, если кто медведем ряженый пляшет, и сам, на старости лет, так пройтись может, что любого молодого за пояс заткнет, — седой ворчун и затейник, без него и кутья не в кутью!

Но об этом в Петербурге и думать не годится, если ты хоть сколько-нибудь благоразумен и дорога тебе не опостылела, твоя нищенская, до отупения однообразная, в постоянных заботах о куске хлеба, мелочная жизнь.

Как известно, по петербургским правилам, за окно бросать ничего не полагается, и всякое выбрасывание, хотя бы и такой всем приятной сладости, как вареный ячмень на меду с грецким орехом, может кончиться не совсем приятно: там разбирать некогда, подберут твою кутью до последнего зернышка и повезут ее, под охраной, куда полагается... А затем еще не известно, захочет ли

сам дед Корочун под такой большой праздник в Петербурге находиться? Ой, что-то очень сомнительно, чтобы приятно было старому деду по Невскому путешествовать или где на Островах сидеть. И скорее всего перекочевывает он об эту пору в самые дальние степи, в дикие и широкие, и уж там, на просторе, разгуливает, ест кутью, да зиму кует, коротая свои дни, последние и студеные.

Стало быть, как ни верти, а выходит, в конце концов, что если даже ты смельчак такой и не страшно тебе ложку кутьи за окно бросить, все равно, даром: Корочуну она попасть не попадет, а в лучшем случае собаке, а ведь собака, обнюхав ее, еще чего доброго, и съесть не откажется. Вот как!

Раздумывал Скороходов, раздумывал, как поступить: и кутьи хочется поесть по-настоящему, и боязно, и боязно, и досадно: что ж в самом деле, одному, без Корочуна кутьей наедаться?

И решил, наконец, Скороходов, уж тряхнет он по всем — в долги влезет, а уедет из Петербурга, чтобы хоть один раз — единственный в своей стесненной жизни отпраздновать по-людски Святой вечер.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В дальние степи, в дикие и широкие к Корочуну путь долгий и беспокойный. Остановки и пересадки — конца-краю не видно. В тесном вагоне холодно. С боку на бок — больно все. Скороходов кое-как примостился, хотел отдохнуть, и заснул на ключах. Проснулся, — ноет в боку. Переложил ключи в другой карман, — заснул на кошельке. И обомлел весь бок. Лег он на спину. И опять беда: свеча в фонаре догорает, — стеарин потек, и фонарь запылал. Гарь, копоть.

Растворили двери, прогнали угар. Стало еще холоднее: зуб на зуб не попадет. А пассажир ходит, дверей за собою не притворяет.

«Экий, ты, пассажир, глупый, ну что тебе стоит, рука не отвалится!» — пеняет Скороходов.

А поезд с каждою верстой опаздывает и все медленнее движется.

«Экий ты, поезд, скучный, ну что тебе стоит, паров что ли не хватит!» — пеняет Скороходов.

Только бы прошла поскорее ночь, а там, завтра, как зажжется звезда, настанет и Святой вечер.

Медленно ползет скучный поезд. И версты как-будто длиннее стали, и верст будто больше.

Скороходов перекладывался с ключей на кошелек, с кошелька на ключи, ложился и так и сяк: ничком, и навзничь, а уж заснуть не было сил, только дремалось.

По соседству переругивались муж с женою — мастеровые.

— Осип головою фонарь прошиб! — пилила мужа жена за какого-то Осипа, выскочившего по пьяному делу из вагона, когда уж тронулся поезд, и угодившего башкою прямо в фонарь.

— Компания! Ничего! Прямо теперь в участок! — смеялся муж, подлаживаясь к жене: тянуло его еще выпить, а водка у бабы была спрятана, и не было ходов уломать бабу.

Юнкер, примостившись на верхней лавочке, спрыгнул не без ловкости и, толкнув сундук, в котором, должно быть, эта самая бабья водка хранилась вежливо извинился перед мастеровым.

— Пожалуйста, пожалуйста! — закивал мастеровой.

— Пожалуйста! — передразнила баба.

— Знаем обращение, нам не впервой! — и вдруг обозлившись, мастеровой начинает ругаться, — экие вы, бабы, и чего прешь на этот вокзал? Давно б дома были, разорва, вот вы... Когда теперь приедем? На Пасху? Ведь, говорил же я, нет...

Баба видит, что проштрафилась, сдается:

— Винить невинного человека! Вы меня не вините, я не виновата этим делом.

И уж доносится жадное бульканье. Наливается бабья водка, и надо думать, из большой посуды в стаканчик, а пьется стаканчик с таким вкусом, непьющий запьет.

— Водка хлебная, а хлеб пшеничный, здорово!

— Здорово! — шипит баба, — прохвост ты, обормот, здорово!

Какой-то пассажир, белесый и такой постный, словно где-то из спины у него, из какого-то спинного позвонка

святое деревянное масло точится, совсем уж умаслившийся, потерял свое место и ходит по вагону и пристает без пропуска к каждому:

— Кто ты и куда едешь?

Кое-кто отвечает, но потом отвертываются, а потом уж посылают к черту.

Постный человек, наконец, остался один, он уселся на кончик лавки, и ему кажется, что едет он один во всем вагоне, из хребта у него сочится святое деревянное масло. Кто он? — сам уж не соображает и вспомнить не может.

— Кто ты и куда едешь? — бормочет постный.

А какой-то безбилетный, разместившись под лавкой, так уплетает на сон грядущий, будто не две, а целая четверка скул у него, а кушанье такое вкусное, и объешься и еще запросишь.

Потом все затихает, и затихшее несется, перебрасываясь из кулька в рогожку. И поспеть вовремя нет уж надежды. Стучат колеса. Поднявшаяся метель воет — стучит в колесах.

Огарок в закопченном фонаре чуть светит.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Нет, лучше уж было бы в Петербурге остаться, куда ни шло!» — ерзает после бессонной ночи Скороходов и укоряет себя и оправдывается.

Кончается долгий день, вечереет.

Скоро там, среди широкой дикой степи, в закутанном белым снегом, как белым вишневым цветом, старом родном доме, за кутью сядут. Скоро зажжется Рождественская звезда. Но станция, на которой Скороходов вылезет, так еще далеко, страшно ему подумать. Метель не дает хода, да проклятые пересадки.

«Постелят стол сеном, поставят миску с кутьей, засветят свечи, сядут вокруг стола... Святой вечер!» — поддразнивает себя Скороходов и тянется весь, не находя места.

Какая-то шляпа, с острым подвижным лицом — по вагону говорят, что это и есть агитатор — читает вслух газету. Шляпа выбирает в газете что почище и позабористее и, снабжая прочитанное собственными приложе-

ниями, предоставляет публике жестокие выводы из прочитанного и добавленного.

— «Приходите в трактир Парамонова, — отчеканивает шляпа-агитатор газетное сообщение, случайно подслушанный разговор по телефону, — спрашивайте дворника с рыжей бородою, по пятьдесят копеек на человека, чтобы бить жидов и интеллигентов...»

Скороходов дальше не слушает, кого еще бить надо за пятьдесят копеек, кроме жидов и интеллигентов, а может быть, за ту же цену и убить. Да и слушать нечего! Сам дворник лучше всяких газет знает, кого бить и когда бить, потому что он, рыжий, все знает. И от него, рыжего, все зависит, и судьба Скороходова, и судьба всей земли русской, и судьба всего света белого. Вот он, может быть, за одно уж с жидами и интеллигентами, и самого седого Корочуна укокошил и лежит себе где-нибудь под лавкой, лежит, как залег, ему и горя нет, спит. Да и как не спать ему счастливому, ведь ему нет дела ни до Скороходова, ни до русской земли, ни до света белого, ни до седого Корочуна — сыто брюхо и слава Богу. И уж ждать нечего, ни ждать, ни надеяться. Он убил это слово, — надеяться, вычеркнул его из русского словаря. И лежит счастливый, растрепанный и путаный, спит. И оттого все безнадежно треплется и путается.

Представилось Скороходову, будто он поднялся, чтобы посмотреть, отчего шум такой по вагону, а вагон, будто весь рыжего цвета, как борода дворника, и все пассажиры рыжие, и слушает Скороходов и ушам не верит.

— Ура, рыжий дворник от Парамонова! Ура! — надсаживается вагон и вдруг ухает в какую-то рыжую кашу.

— Ваш билет! Ваш билет! — тряс и пихал кондуктор задремавшего Скороходова.

Вваливаются в вагон стражники. Испитые, продрогшие, в рваных полушубках с винтовками в окоченевших руках, они садятся неудобно, кучкою.

— Вихри враждебные... — ладно затягивают песню на другом конце вагона: поет гимназист, кадет и какой-то солдат.

Стражник поплоше робко подходит к шляпе-агитатору:

— Дайте, барин, папироску по бедности! — просит стражник и не отходит: в один руке винтовка, а другая совочком сложена.

— На бой кровавый!.. — не унимаясь, несется песня, подхватываемая тесным вагоном.

Поезд остановился.

Скороходову опять пересадка.

— В свое время поспеем! — утешает привыкший к стоянкам кондуктор.

Рядом отправляют поезд с запасными, не попавшими на войну.

Шум, гам.

— Подавай поезд! — орет кишмя-кишащая платформа, и летит ругань, небу жарко, да и весело: загибаются винтиля, какие не загнет ни один язык, кроме русского.

«Экий ты, язык русский, нет тебя ругательнее, что же ты не выручишь!» — пеняет Скороходов и, поглазев на толпу, покорно садится в новый вагон, стараясь забыть, кто он и куда едет, как тот вчерашний маслоточивый пассажир.

В вагоне много солдат, едут солдаты в деревню, домой на побывку.

Какой-то курносый мужичонка с лицом, вдоль и поперек перетянутым, будто бичевкой, мелкими, глубокими морщинами, уплетает сало в соседстве с огромным петербургским кавалеристом. Они земляки. Разговор у земляков ладный.

— Ну, как, погром у нас был?

— Был, — мужичонка лукаво подмигивает.

— Что такое погром? — кавалерист проглотил вкусный кусок и принялся за другой, не менее вкусный.

— Погром... капиталистов били, потому как они имеют. Но откуда они имеют? Кто им дал? У всех спервоначала одно было. Откуда они взяли, а?

— Усердием.

— Усердием! Так вот за это самое усердие и погром.

— Разбоем-то ничего не возьмешь.

— Верно, совершенно верно, — мужичонка постукал о столик пальцем и, загнув палец, поднес его, прокопченный и замазанный, к засаленному рту земляка.

Кавалерист вкусно обтер себе рот, поправил усы и вдруг рассвирепел.

— А таких вот субъектов, которые так говорят, знаешь ли ты, что с такими субъектами в Петербурге делают?

— ?

— А вот так — в порошок.

— !

— Да ты сам-то откуда?

— На мыловаренном служил. Я — сердцелист.

— Сердцелист, а ты до которого места?

— До Глистницы, — плутовато подмигивает мужичонка и начинает вилять, — конечно, поляки все и жиды.

— Они все отобрать хотят, — закуривает кавалерист, видимо успокаиваясь.

— Да я и сам думаю, — хихикнул вдруг мужичонка, — приглашали меня, а я себе думаю: шиш! Сам я так думаю.

— Святый вечер... — донесло до Скороходова заунывным гулом древний колядский припев и, повторяя припев, покатило все дальше и дальше за поездом в широкую дикую степь, где зажглась уж Рождественская звезда, — Святый вечер!

— Боязно, — шепчет солдат с верхней лавочки, — вот едешь, а в тебя бомбой...

— Упаси Матерь Божия, Царица Небесная! — вздыхает женщина, соседка.

— Едем мы как-то в разъезд, — шепотом рассказывает солдат, голос у него какой-то оробелый и перехваченный чем-то, либо простудой, либо страхом, либо водкой, либо, Бог весть, еще чем крепким, — едем мы ночью, а навстречу нам шайка. Я как пальнул, один хлоп на землю, а потом другого, а потом третьего. Кричу околоточным, и те стреляют. Наутро командир спрашивает: «Ты, Замерчук, стрелял?» «Так точно, ваше высокоблагородие». «Спасибо тебе, братец». «Рад стараться». Д-да. А то едешь другой раз, думаешь: уж приведет ли Бог домой вернуться...

— Морда! Измучаешься! Домой вернуться?! Не найдешь себе места! — замечает хмурый сапер солдату.

А в другом конце вагона идет спор о войне.

— На иконы надеялись, хе, хе!

— А вы на что?

— Я с вами не разговариваю.

— В рот тебе кол! — огрызается задетый.

И опять подымается спор, перебираются имена и печатные и непечатные, не то грызутся, не то ладят.

— А я порченая, потому и спать не могу, — говорит с растяжкою, по-московскому, молодая баба, уступая место старухе, — а вложила в меня эту болезнь моя подружка. «На, говорит, милая, надень сорочку!» Как надела я, бабушка, эту сорочку, так и пошло...

— Что же это такое, Господи, на свете-то делается! — шамкает старуха, крестя свой утиный рот.

— И не в ней причина, а в нем, постылом, он ее и подослал ко мне с проклятой сорочкой. «На, говорит, милая, надень сорочку!» А работали мы с ним на одной фабрике за заставой и бастовали вместе. Вот за забастовку в тюрьму сажают, а за это, небось, не тронут...

— Руки коротки! — зевнул кто-то из-под лавки.

— У нас в деревне тоже, девушка, глазом портят, а был один старичок, волчьим лыком от зубного ноя лечил: помогает.

— Это тебе не забастовка! С этим средством и почище дело можно сделать! Да я-то чем виновата? — жаловалась порченая, и исступленно смотрела через сонные, спутанные головы в ночь, словно бы искала кого-то, кто придет заступится, снимет с нее порчу, сковавшую ее по рукам и ногам.

— Святый вечер...— опять донесло до Скороходова заунывным гулом древний колядский припев и гудело близко, будто на самое ухо, и далеко, кругом, из измученного сердца терпеливой перепутанной родной земли, — Святый вечер!

Скороходов посмотрел на часы: часы у него стояли. А узнать не у кого было. Вышел он на площадку, поискал звезду. Темно, снег идет. А уж должна бы гореть звезда! Он достал хлеба, раскрошил его, и, закликая Корочуна, взялся за хлеб, как за рождественскую кутью:

— Корочун, Корочун, иди к нам кутью есть!

1905 г.

КАЗЕННАЯ ДАЧА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Время приспело весеннее. Не хотелось дома сидеть, тянуло бросить все и идти. И уж как завидно было тем, кто мог бросить все и идти.

Василий Пташкин, человек с обязанностями, связанный по рукам и ногам жалованьем, мог, пожалуй, только помечтать о таком блаженном состоянии, да и то не без раздражения. Работы, как нарочно, с каждым теплым днем прибывало. И часто с утра до позднего вечера приходилось просиживать ему в полутемной, прокуренной конторе над премудрою книгою счетов и расчетов с повторяющимися изо дня в день постылыми цифрами и записями.

А смысл этих пташкинских постылых цифр и записей заключался в том, что без них не могло существовать дело, не могла ходить фабрика, а без фабрики не мог держаться город, а следовательно, и его жизнь, как одного из тысячи тысяч винтиков городской машины. Но какой был смысл всей этой городской машины и Пташкиной винтовой жизни? И неужели в борьбе за завтрашний строго размеренный несвободный день? Или за освобождение от каторги этого завтрашнего дня?

«А если все дело заключалось в борьбе за освобождение от каторги завтрашнего строго размеренного несвободного дня, то какой был смысл того свободного дня, который в конце концов гибелью целых поколений все-таки будет завоеван и должен прийти?»

Ни спрашивать дальше, ни отвечать не мог Пташкин, просто сил не было.

Дневная, наполненная от часа до часа обязательным трудом фабричная жизнь явственно сказывалась и в само собою закрывающихся усталых глазах его и в том охватывающем глухом сне, который без милосердия валил Пташкина на кровать и держал его до утра, когда каторжный день уж снова протягивал свои губастые лапы, чтобы, впившись в своих невольников, высасывать силы и мысли и затыкать беспокойную глотку, требующую ответов.

К счастью Пташкина у него еще удерживалось то, что

могло еще удержаться у невольника, душа которого под постоянным гнетом не отдалась последнему отчаянью: Пташкин еще видел смысл своей жизни в борьбе за освобождение от каторги назначенного ему судьбою дня.

Пташкин слыл за человека беспокойного и не подходящего к тому мирному жителю, скрипя и охая выносящему тяготы жизни и не знающему иной, кроме данной, маленькой и забитой, маленькой и скучной, которую если представишь невзначай, так скулы от зевоты треснут, и сердце сожмется от всей ужасающей ее бессмысленности.

«Нет, лучше быть болотной жабой, зимою засыпать, а летом квакать, чем человеком, из-за какой-то затхлой норы и пустых щей век свой вечный сгибающим спину».

Так будто бы выражался беспокойный Василий Пташкин.

Да и на самом деле, Пташкин был беспокойный. Ведь это его совсем еще недавно посадили в кутузку за то, что толпился. Но при всем своем беспокойстве Пташкин был и весьма чувствительный, а вся его испитая фигурка весьма деликатна. Ведь, это ему барышни в письмах писали: Васечка — цветочек!

Вот почему всякий раз по весне, как прилетать птицам в родные леса и открывать веселые дни Пташкина захватывало на мечтательный лад и неудержимо тянуло куда-то за город от фабричных труб, суеты улиц, от этих булыжников, от которых каменели сами чувства. Бросил бы все и пошел...

Да нет уж, куда там пойдешь, куда идти Пташкину! Нет уж, хоть бы так куда за черту города выбраться. И будь у Пташкина хоть какая-нибудь возможность, он по примеру других, более осчастливенных судьбою, и как это ни глупо, а переехал бы на дачу. Но так как и такой возможности не предвиделось, то оставалось Пташкину только мечтать и, мечтая, корпеть в городе.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Был конец марта — теплая пришедшая с весною ночь. И черный горизонт чернее ночного беззвездного неба сулил дружное таяние и первые цветы.

Пташкин возвращался домой хоть и усталый, но весь

уходящий, Бог знает, за какие черты возможностей и мысленно проходил по полям и лесам, через жаркие пустыни и топкие болота, куда-то к самому морю, которое, впрочем, знал больше по картинкам, да во сне как-то видел. И когда достиг он, мечтая, но не моря, а закопченного, переполненного жильцами дома, где снимал комнату, какие-то люди так окружили его, маленького и невзрачного, словно был он опаснейший из опасных зверей, вроде какого-то Дракона, пожиравшего некогда и простой и непростой народ, а после всяких никому не нужных формальностей и несообразностей обыска предупредительно усадили его на извозчика, и жандарм — спутник его добродушно сказал извозчику:

— За город, милый, на дачу, самая пора теперь на дачу... пошел!

Долго ожидаемый тюремный начальник наконец явился. Старик видимо давно уж улегся на боковую, и возбужденный, спросонья имел вид не то отчаянно-пьяного, не то угорелого человека, которому не только двигаться и делать что-нибудь, а просто тошно на свет взглянуть. И, выполняя предписанные ему законом правила приема арестантов — осматривая Пташкины вещи и голого Пташкина и ощупывая Пташкина до потери всякого стыда и гадливости, он сопел и тыкался, а когда принялся записывать в большущую книгу, тоже установленную законом, его морщинистая сонная рука сажала кляксу на кляксе и, не слушаясь здравого смысла, попадала как раз не туда, куда следовало, — и в графе поступления в острог стоял март месяц, а в графу месяца попал Василий Пашкин. Окончив с грехом пополам всю чепуху приема арестанта, старик надел форменный теплый картуз и старую затасканную шинель и, не глядя, вышел из приемной, чтобы идти досыпать свой старческий сон, беспрестанно прерываемый и острожным днем и острожною ночью.

«Эх, — думал старик, — и есть же такие счастливцы, как полицеймейстер, спи, сколько влезет!»

«Эх старик, старик, не в том дело!» — подзвякивали на его же собственных обузных сапогах его смешливые шпоры, нагоняя на старика бессонницу.

Появившийся, словно выросший из-под земли, бородатый надзиратель в валенках повел Пташкина по лестнице через путаные коридоры в верхнее помещение и, помешкав у дверей камеры, принял от другого надзирателя жестяную лампу привычно и легко, как привычно и легко брался когда-то за соху, отпер камеру и, как когда-то скотину в хлев, впустил Пташкина.

— Сегодня из вашей только что одного выпустили, гладкого из себя, пожалуйте-с! — поправился надзиратель, произнеся острожное пожалуйте-с.

— Клопов много? — спросил Пташкин, принимая лампу и зная уж по опыту, что о клопах спросить никогда не мешает.

— Попадают в щелях, известно, народу тут всякого пребывает много, напролом так и идут, спокойной ночи! — и, заперев камеру за Пташкиным, надзиратель пошел ходить по длинному коридору между спящих камер от окна к окну, загороженному лето и зиму крепкою решеткою.

«Эх, — думал бородатый, — и есть же такие счастливцы, как начальник, спи, сколько влезет!»

«Эх, бородатый, бородатый, не в том дело!» — подшлепывали его же собственные ворчливые расползающиеся валенки, нагоняя на бородатого какой-то знакомый ему, испытанный еще в детстве лесной страх.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Пташкин, оставшись один, внимательно осмотрел свое новое помещение — свою дачу.

По размерам камера оказалась просторнее всех комнат, какие приходилось ему занимать на воле. Видно было, что камера не одиночная, а общая — душ на десять и, должно быть, предназначавшаяся для тех, кого собирались подержать подольше. Два высоких окна, обеденный стол, и если бы не огромные нары вдоль всей стены, смежной с другой необитаемой камерой-умывальницей, просто танцуй и дело с концом. И нельзя сказать, чтобы было не чисто, — деревянный пол заботливо вымыт, а тюфяк в углу нар такой тугой, словно бы не соломою, а мочалом набит. Лечь можно, да и как еще выспаться, а выспаться самая пора.

Пташкин разделся и лег.

И, мысленно пройдя все прожитые дни, слившиеся в один вчерашний день, и все вечера, собравшиеся в один вчерашний вечер, Пташкин принял всю начавшуюся свою острожную жизнь, как нечто неизбежное и необходимое, что должно было рано или поздно наступить. Но в душе его вдруг поднялся поперечный голос и задавил все уживающиеся голоса.

«Эх, и счастливые же, счастливые эти все там, за дверью, на воде!»

А ламповый огонек, среди глубокой ночи такой нестерпимо яркий, пробившись сквозь веки в глубь глаза, запрыгал изводящей, убегающей огненной точкой.

И Пташкину казалось, будто идет он куда-то, а какая-то огненная точка все прыгает перед ним и поймать ее — не дается, а уйти от нее — не схоронишься. И не огненная точка, а живое огненное существо кривлялось перед ним: «А меня-таки можно поймать, ну-ка — ну-ка —!»

Проснулся Пташкин, уж день начинался. Проснулся Пташкин от страха: приснились ему красные раки, будто ползут на него такие красные раки, как вареные, и явственно живые, и загребают раки клешнями, хотят его съесть и больше никаких.

Сон оказался в руку: вся подушка и простыня пестрели кровяными пятнами, но это были не рачьи загребающие клешни, а раздавленные клопы, и кругом тюфяка целая стая клопов, недовольно уползающая в свои темные и тайные, одному Богу ведомые норы и гнезда.

«Вот тебе и дача!» — подумал, одеваясь, Пташкин, и начиная свой первый острожный день.

Грязь и скорбь старой просиженной камеры при скудном свете, проникавшем через полузабытые пыльные окна, выступала во всей своей неприкрашенности, сиротливости и тоске подневольного приюта.

— Да, конечно, дача! — уже громко сказал Пташкин, вспомнив, как один хозяин-дачник клялся жалующемуся дачнику-жильцу на всякие дачные беспокойства и уверял всеми святыми, что дача без клопа, что птица без крыла, ничего не стоит.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Там на воле уж так хорошо — все распустилось, землю пахали, река пошла, — так было хорошо, что лучше и не могло быть.

Одна беда, ведь, там на воле всегда было некогда, не было времени ни пройтись, ни книгу прочесть, а тут, на этой даче, когда книга была пропущена, читай да читай, сколько влезет.

И Пташкин по целым дням читал, и незаметно проходило его дачное время.

— Ну, что клопы? — осведомлялся бородатый надзиратель, сам незаметно, как клоп, вползавший в камеру, и книга откладывалась, начинались дачные разговоры.

— Ничего, понемногу покусывают, вот тоже блохи.

— Это оно, жилище-то ихнее, его надо заделать, тогда они сгинут. У меня на кухне завелись клопы, я их жилище-то и замазал, и хоть бы один, все пропали. Против шкурки их... от шкурки уж житья нет, ничем ты ее не выведешь. Вот прусак, тот кусает больнее, зато редко.

И бородатый надзиратель вдруг, как прусак, пропадал.

Камера заперта. Пташкин снова один с книгою.

Под дверью Пташкиной камеры излюбленное место собеседования каторжан.

— И идет нас целая партия и все на восток прямо до Ядовитого океана до города Ихняго, к которому нет приступа, а на север Кавказские горы станут, — повествует какой-то каторжник из своей каторжной географии.

— А Урал? — перебивает неуживчивый голос.

— Зачем Урал?! Урал, вон где, а Кавказ тут станет, а вон Ядовитый океан, всю землю омывает.

— А Херсон?

— Дура! Херсон под Киевом, Херсон на другом конце света. И идем мы, и сами уж не знаем, куда идем, лес за лесом, реку за рекою, море за морем, конца-краю не видно.

Каторжная география путаная. Каторжная повесть долгая. И никогда бы не кончалась, и никогда бы не распуталась, если бы за мирною беседою не следовала непременная ссора. И долго перекатывается под звон кандалов отборная русская ругань, и кажется вовсе и не руганью,

а какою-то полевою свирелью, свиреющей наперекор всем птичьим ладам и свистам, где-то в широких лугах у Ядовитого океана, омывающего всю землю у города Их-няго, к которому нет приступа.

— Кусают? — осведомлялся другой уж безбородый надзиратель, сам незаметно, как клоп, вползавший в камеру.

— Кусают, — вздрагивал Пташкин, и книга откладывалась, начинались дачные разговоры.

— Сковырнуть надо это их жилище... Ты его лови, не лови, клоп жить будет, раз его жилище цело. Вот прусак, этот редко, а клоп... жить будет.

И безбородый надзиратель вдруг, как прусак, пропадал.

Камера заперта. Пташкин снова один с книгою.

И оканчивался день.

Долго гремела молитва. И не молитвенно-разухарской песнею, разухабистою погудкою катились по тюрьме последние слова крестом твоим жительство.

Наступал вечер. Запирались все камеры. Тишина входила в тюрьму. И только часовые ходили по длинному коридору между затихших камер от окна к окну, загороженному лето и зиму крепкою решеткою.

— Вот это, скажем, яйцо курица снесет в апреле, а другая в мае, ну так вот разные бывают яйца...

— А у вас давно куры несутся?

— Слава Богу, с Пасхи несутся.

Пташкин прислушивался, и ему казалось, не часовые под дверями его камеры разговор вели, а что-то в щелях нар разговаривало.

В восемь велено было ложиться спать. Пташкин ложился, но спать не спал, все ворочался, слушал, все прислушивался.

А там на воле уж так хорошо — поспевали красные ягоды, дозревал хлеб, — так было хорошо, что лучше и не могло быть.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Всякий день Пташкина водили на прогулку. С прибауткою выводили Пташкина на прогулку.

— Без пяти минут пять, пожалуйте гулять! — сказал

бородатый надзиратель и добавил, — пожалуйте в баню.

«Дача дачей, а все-таки не мешает и в город съездить, поразвлечься!» — вспомнился Пташкину разговор двух приезжих в город дачников, входящих на бульваре в отделение для прохожих.

Предстояло развлечение.

— Нынче в новую, — тряс бородатый бородою, — потому, как старую сломали, а находится она за стеною.

Пройдя через двор, Пташкин с бородатым вышли за ворота и свернули на огород, расположенный у острожной стены. Среди гряд стоял шалаш. Это и была новая баня.

— Вы сюда, под рогожку, нагнитесь, сюда, вот так. Походная, лагерная, проход небольшой, вот так.

Пташкин, не рассчитав, сделал слишком большой шаг и попал в яму для стока воды.

И началось развлечение. Извлеченный из ямы, Пташкин покорно разлегся на лавку, и работал березовый веник по его раскрасневшейся от пара спине.

— Пригнитесь, вытяни ноги! — кричал, впадая в раж, бородатый, напаривая насмерть до смерти перепуганного Пташкина.

— Хлеб наш насущный дашь нам есть! — разухабисто неслась по коридору вечерняя молитва, когда, выпарившись, возвращался Пташкин к себе в камеру, и в глазах у него мелькали и капустные гряды, и синее вечернее небо, и пчелы, опевавшие заходящий день.

И запертый снова, оставшись один в камере, где даже стенам опостылело стоять, Пташкин почувствовал вдруг, что читать он больше не в состоянии, не может он читать книгу, не понимает ничего, и пускай книга сама по себе вещь очень хорошая, но тут она противна ему, невыносима, совсем не нужна, и также почувствовал он, что больше он уж не может спать и не отоспаться ему в этом проклятом логовище, в плену у какого-то всемогущего великого клопа, от которого все зависит, и его жизнь, и жизнь всей земли, омываемой Ядовитым океаном, с неприступным городом Ихнием. Все, что угодно, только ни минуты здесь, ни одной минуты он не хочет оставаться. И пускай лучше пристрелят его, но он уйдет отсюда, — он бросит все и пойдет.

— Эй, караул! — закричал Пташкин, ударив кулаком в дверь, и вся его жалкая фигурка заколыхалась от поднявшейся в нем богатырской силы, готовой разнести не только дверь, но и побольше.

— Чего вы кричите? — клопом вполз бородатый надзиратель и невозмутимо смотрел на возмущенного, не унимавшегося Пташкина.

— Прокурор! Караул! — кричал Пташкин.

— Прокурор был и только что уехал на дачу.

— На дачу? — переспросил недоверчиво Пташкин.

— Известно, летнее время, куда ж больше ехать. Все господа ездят на дачу, а прокурору казенная полагается, — бородатый ухмыльнулся и, желая, должно быть, объяснить разницу казенных дач, добавил с расстановкою: — это вот на вашей даче, ваш брат все в одном положении и лето и зиму, а господа только летнее время ездят на дачу. Спокойной ночи!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Прошло лето, и осень прошла. Осенью, как и весною, тяжко было за стенами. Началась зима. А Пташкин и вправду оставался все в одном положении на своей даче.

И дачная жизнь его была похожа на ту отупляющую, недачную жизнь его на воле, только вместо работы, под тяжестью которой мутились все его мысли, тут расседался он весь от праздности и тоски. Каторжный день сменялся ночью, ночь приносила убогий сон и, уходя с рассветом, передавала убогую жизнь каторжному дню.

— Если все дело заключалось в борьбе за освобождение от каторги завтрашнего строго размеренного несвободного дня, то какой был смысл того свободного дня, который в конце концов гибелью целых поколений будет завоеван и должен прийти?

Ни спрашивать дальше, ни отвечать не мог уже Пташкин, — просто сил не было.

Одно желание, единственное наполняло все его существо: выйти на волю!

И эта желанная воля везде одна стояла перед Пташкиным.

Она гляделась из глаз старика начальника, полицей-

мейстера, прокурора, она таяла в улыбках бородатого и безбородого, она разливалась лазурью по небу, она говорила в лесном шуме, она чирикала в воробушке, она сверкала и гремела в грозе, она цвела в цветке, она колосилась в травах, она подымалась паром с земли и, звездами вспыхивая в ночи, неслась над землею, везде она — одна она, единственная вольная воля.

— По местам! — закричал бородатый надзиратель.

А безбородый с другого конца ему ответил:

— По местам, черти!

И вся тюрьма замерла.

Прокурор приехал, привез Рождественские инструкции. Обошел прокурор камеры, напугал тюрьму. И, напугав тюрьму, уехал.

— Пожалуйте, одевайтесь, в контору пожалуйте, господин Пташкин!

— Зачем в контору? — Пташкин туго соображал, посматривая равнодушными сонными глазами на подтянувшегося надзирателя.

— Да уж видно с дачи уезжать пора, — бородатый надзиратель играл ключами, — загостились долгонько, уезжать пора.

Пташкин, не торопясь, собирал свои книги, и ему было как-то все равно, тут ли оставаться в неволе, или там на воле, гулять в каторжном дне.

А неумолимый каторжный день поджидал его у острожных ворот, чтобы, захватив своими губастыми лапами, высасывать силы и мысли, а потом искалеченного бросить в могилу, как бросал он труп за трупом и загнанных и гордых, и богатых и бедных, — всех обреченных, не имеющих силы бросить все и идти...

1908 г.

ЭМАЛИОЛЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Хлебников не политик. В политике Хлебников аза в глаза не смыслит. И если его фотографическая карточка попала в альбом политических преступников и хранится в жан-

дармских и полицейских управлениях по городам России, то ничего тут нет странного и все это в порядке вещей.

Освобожденный до приговора, Хлебников год прогулял на свободе. Когда же пришел приговор, по которому назначалась ему ссылка в одну из северных губерний, его снова арестовали.

Идти по этапу манило его: тут он разберется во всем и скажет себе, как ему дальше жить. И он никого не просил, не подавал никаких прошений, а как сказали, так и сделал: собрал кое-что из необходимого и с городовым отправился в тюрьму.

Начальник тюрьмы распорядился оставить Хлебникова в конторе, а не запирать в камеру: каких-нибудь пять-шесть часов оставалось до отправки этапа. Начальник был очень внимателен, сам пересмотрел узелок Хлебникова: зубную щетку позволил, а зубной порошок запретил.

— Теперь пошел такой народ, живо под суд угодишь, — сказал начальник, — один ферт в прошлый этап ухитрился целый транспорт оружия провезти.

Хлебников заглядывал в окно. Перед окном ходил часовой, и тут же, кудахча, ходили куры. Часовой — старый знакомый и, как коза в сказке, поздоровался глазами.

Когда же начальник, пошуршав бумагами, вышел, часовой тихонько окликнул и, не глядя на Хлебникова, заговорил, будто рапортуя, что попутчиков из политических нет — всех с прошлым этапом прогнали, а с уголовными идет князь.

— Какой князь?

— Князь, — часовой закосился, голос его дрогнул, — никому не сказывайте: настоящий.

Старший надзиратель Илья Иванович спугнул часового.

— Пожаловали к нам неожиданно, — старший подал руку по-бабьи деревяшкой и плюхнулся на кожаный диван.

Старший был в хорошем расположении и, обыкновенно такой строгий и молчаливый, разговорился охотно. Ему повезло: бросает тюрьму и переходит на другую службу — старшим городовым находиться в прихожей у губернатора. Должность хорошая.

Трудно простому человеку в люди пробиться: всякий норовит тебе ногу подставить. Один Бог видит! Да, — Илья Иванович ударился в воспоминания, — пошел я на

ярмарку, на Успенье у нас ярмарка бывает, думаю себе: покатаюсь на каруселях, солдату и это в развлечение. Вот хожу я так около палаток и слышу, разговор такой идет подозрительный о политике. Прислушиваюсь: так и есть о политике. Туда-сюда, заглянул в палатку, а там наши — офицеры из нашего же полка сидят и промеж собою это обсуждают, нехорошо. Я в часть: так и так, говорю, пойдемте. Тут мы их, голубчиков, и накрыли. Ну, а потом всех — под расстрел. Хуже последней собаки такой человек, и все женатые, дети маленькие остались — как дети-то помянут такого отца — ведь по миру дети пошли!

Илья Иванович даже сплюнул не то от удовольствия, не то от негодования, а из-под белой, кругом подстриженной бороды так и заблестела, так и полезла в глаза большая золотая медаль — за усердие.

— Подлецы народ, — продолжал Илья Иванович, — только в уважение к чину расстреляли, а повесить бы таких! Пусть бы себе поболтался. Хе! на повешенного-то и смотреть неприлично: так человек тот, с позволения сказать, и уж мертвый, а, как кобель самый рассучий, все в таком виде, неприлично.

И, полагая, должно быть, что слушатель не раскусил весь позор виселицы — не ясна Хлебникову разница повешения от расстрела, старший попросту непечатным крепким словцом выразил этот позор и неприличие у повешенных и, рассолодев, понес всякую белиберду о каких-то правилах, выгодах и разницах — ни два, ни полтора. И даже запел или так показалось, что запел, как когда-то певал молодым тонкоголосым солдатом сложенную в казармах, слащавую песню: Пахнет казенкой, пахнет любовью...

Хлебников дремал. И заснул, как всегда в тягостные минуты, когда что-нибудь крепко наседало на его душу, и он терялся, не подбирая ни слова, ни действия на ответ.

Ему приснилось, сидит он будто в подвальной комнате, а с ним Мазуров провокатор, и оба они, голодные, уписывают жареные сосиски, густо посыпанные красным перцем, инда на зубах хрустит. Вот заглянул он в окно: тучи страсть, гроза. И они поехали на вокзал. Ехали-тряслись, как бочки. А когда у подъезда вынул он кошелек, чтобы расплатиться, извозчик обругал слезавшего Мазурова:

будто Мазуров, едучи, стянул у него из-под сиденья пирог. А на самом деле стянул у извозчика пирог Хлебников, и это взорвало Хлебникова: выхватил он кнут, нарочно закусил перед извозчичьим носом извозчичьим пирогом, да как жиганет извозчика кнутом, только искры посыпались. Ай, ай, — что он делает? Ведь это же не извозчик, это мальчик офицерский — расстрелянного офицера сын! Но кнут не соглашается, кнуту все равно, сын или дочь, отец или мать, и хлещет и хлещет.

— Пожалуйте в общую! — разбудил Хлебникова, будто из-за тридевяти земель дошедший до него знакомый суровый голос.

Хлебников открыл глаза: Илья Иванович тряс его за плечи без милосердия, — час отправки этапа наступил.

По коридорам зажигали лампы, и входил в тюрьму уют жилья, сглаживая суровость стен и решеток. Что-то семейное, простое и тихое выступало из-за крепко запертых дверей, и не верилось, что за железными дверями, скованные по рукам и ногам, оканчивали убийцы свой постылый день.

В общей, куда в сопровождении двух конвойных отправился Хлебников, уж считали и проверяли пересыльных: каждый арестант подходил к начальнику, а конвойный стаскивал шапку с арестанта, переспрашивая, как звать и по фамилии.

В толчее Хлебников сразу узнал того самого князя, о котором таинственно сообщил часовой, князь стоял поодаль один и особенный, в длинном черном сюртуке и высоких воротничках. Хлебникову показался он необыкновенно красивым и фигурою и лицом, лет двадцать можно ему было дать, не больше.

Около князя кричали, но он не обращал никакого внимания. И только когда конвойный взял его за руку, чтобы надеть наручники, он тревожно вскинул глаза — и тревога и нетерпение засветились в глазах.

Спор о порционном хлебе и дорожных деньгах, начавшийся после поверки, перешел в ожесточенную схватку, грызню и ругань. Крик команды оборвал спор. Арестантов выстроили попарно и, как солдат в баню, погнали из тюрьмы на вокзал.

Впереди шли в кандалах бритые каторжане, звенели цепями, за каторжанами просто уголовные в наручниках,

потом пересыльные — рвань всякая. Хлебников попал в самый конец, шел в хвосте с детьми и бабами.

Медленно подвигалось шествие нестрашное — любой пожарный в каске куда пострашнее — и все казались и жалкими и ничтожными — несчастными, и в голову не приходило, что среди этих смирных и покорных шли и такие, у кого руки в крови, грех на душе, те, кто резал, душил, насиловал.

— Как тебя звать? — спросил Хлебников девочку-подростка, с которой поставили его.

— Вольга, — ответила девочка, и слезинка, как звезда в вечере, покорно переходящем в ночь, мелькнула в ее вспугнутых затихавших глазах.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Июльское красное утро.

Хлебников стоял у открытого решетчатого окна. Было ветрено, и хлеб по полям падал, словно кланялся. И кому он кланялся? Не ему же, собравшемуся, как еж в свой игольный панцирь, и не битком набитому арестантскому вагону, зашевелившемуся после скрипучей, душной до тошноты ночи?

Вольга с взъерошенными волосами — девочка только что умылась — любопытная, цепляясь за решетку, засматривала в поле.

— А ты доктор? — спросила она Хлебникова.

— Нет, — ответил Хлебников.

— А я думала, доктор: в тюрьме ты все с книжкой ходил, мама и говорит: доктор с нами поедет.

— Я настройщик, музыку настраиваю.

— Настройщик? — переспросила удивленная Вольга и так вдруг захохотала, словно бы чуднее имени отродясь не слыхивала и уже стала разговорчивая не по-вчерашнему, болтая и про то и про се, что ни попадет на глаза и ни долетит до ее, как у зверька, острого и чуткого розового уха.

Девочка шла в каторгу с матерью. Мать осудили за убийство: родного брата убила.

— Мама, как венчалась, — рассказывала Вольга, — дядя был против, не хотелось ему. И как сели за стол, мама

вдруг почернела вся и обмерла. Стали искать и нашли под веником три огарка, и все с концов зажжены были. Пустил дядя огарки на воду, мама и ожила. Мама мне сама рассказывала, как ее испортить хотел дядя. А потом лошадь у нас была хорошая и вдруг слезами плачет — захворала, чем-чем ни лечили, не помогло, — пала. И корова и теленок и все свиньи подохли. Стали искать, и нашли: на столбе в конюшне лежат в тряпочке обвязаны женским волосом лапки по локоток — три крысьи и три белочьи. А дядя все к маме пристает. Мама и согласилась. Пошла с ним за амбар да там и задавила его. Так ему и надо.

— Так ему и надо, — повторялись Вольгины слова да где-то там, под вагоном. Но кому бы там быть под вагоном?

— На-строй-щик! А ты... кого ты убил? Настройщик!

Смеялась Вольга. Хлебников тоже смеялся. Как странно: ему и в мысли никогда не приходило убивать. И почему его спрашивают?

Поля волновало ветром, — падал хлеб, словно кланялся. Вот крикнула Вольга что-то по-птичьи, и скрылась. Где Вольга? Под лавкой? — Нет. Да не в окно же улетела? — Нет.

— Вольга!

У Хлебникова была открытка и огрызок карандаша. Прилаживаясь, он стал писать — выходили вместо букв каракули и какие-то блошьи ноги. Но это было неважно, только бы написалось. А хотелось ему написать на волю, какая жалкая та жизнь, которая идет на воле по-прежнему, как вчера и третьего дня, и все-таки такая завидная, такая дорогая, дороже всего.

Хлебников передал письмо конвойному. Конвойный по складам принялся за чтение. Выходило очень смешно. Конвойный подсмеивался. И другие солдаты подхохатывали: уж очень смешно.

Молча отошел Хлебников от солдат, бледный, губы тряслись. Едва протолкался к окну. Окно облепили арестанты: всем хотелось посмотреть на город, к которому подходил поезд. Вольга тоже карабкалась. Какой-то рваный, безносый бродяга держал ее под мышки, — девочка визжала.

— Арестанты, эй, арестанты! — подбрасывая шапки, кричали на откосе пузатые ребятишки, как в царские дни кричат у плошек ура.

Поезд остановился.

И в вагоне поднялась давка. Достать кипятку и как можно больше, — вот что занимало всякого. Гремели посудой, кричали, столько рук протягивалось за кипятком, шпарились. Дело дошло до драки.

Часовые, охранявшие дверь — шашки наголо — унимали и уламывали и так и сяк: кулаком и шашкой.

— Ты мне голову проломишь, морда, одна голова-то! — оборонялся какой-то облезлый.

Старушонка-пересыльная тыкалась с чашкой — воды в чашке капля, все расплескалось.

— Как кот наплакал, — жаловалась старуха, вся засиверелая, клюквенная.

— Всем хватит, — утешал часовой, передавая чайник, — обопьешься, паскуда.

— В горле пересмякло, — хныкала старуха, расплескивая и последнюю каплю.

Снова тронулся поезд. Поехали. Вагон размещался. Словно за самоваром, так мирно и тихо. В чем-в чем, а в чаю да в хлебе вагон дружен. Уж не задирали и не ругались.

Странник в рыжей скуфейке, сам тощий, с козьей бородкой и в синих большущих очках, примостился в бабьем углу около баб. Вел странник с бабами душеспасительную беседу, за словом в карман не лазил.

Странствуя, о. Михаил все святые места обошел: был и на святом острове Соловце, и в Иерусалиме и на Афоне. На Афоне о. Михаил питался осьминогами.

— Вроде копченой колбасы, один фимиам эти осьминоги, — о. Михаил сухо покашливал, — а еще был я и в Царьграде, а живет там русь, литва, ляхи, грецы, жиды; русь одесную, прочие же народы ошую.

— А турки, батюшка?

— Турки в изобилии по той местности не водятся, попадается какой и то больше из негодящих: сарацин. И бесчисленное множество в земле той всех благ и благорастворений видимых и невидимых: всякое деревцо цвет свой выпускает, и ель и сосна розаном цветут, на дубе же маврийском тюльпаны.

А Москва-река там шире Волги...

Охали бабы. Вот бы туда попасть, хоть на денек один!

А на другом конце вагона шел другой разговор. Чай располагал, такой уж напиток словесный.

— Эмалиоль. Что такое эмалиоль?

— Да ты толком рассказывай.

— Эмалиоль, — вступился конвойный, — это неприятель, как японец, в желтых морях живет.

— Нет, не неприятель, — взъерошенный арестант перестал улыбаться, он готов сызнова рассказывать: авось найдется такой, кто скажет ему, к добру его сан или к худу, — эмалиоль, да, эмалиоль вот снится, будто почесалось мне в боку, стал я бок чесать и вырвал бородавку. Смотрю, а на бородавке насекомое — вроде собачьей блохи — белое, шея длинная, туловище кольцами свернуто, с ногами, а на голове семь зубов, — ест бородавку. Я и говорю: «Бородавка мертвая». А сама блоха будто подняла голову: «Теперь, говорит, я умру». И стала вянуть. И говорит мне чей-то голос: «Имя насекомому Эмалиоль». Тут я и проснулся.

Слушатели прихлебывали чай, дули на блюдечко. Никто ничего сказать не мог.

— Надо спросить князя, князь все знает, — отыскался, наконец, выход.

— Князю виднее, — подхватил вагон.

Князь тоже пил чай. Кругом него стояло много народу. Не подступишься. Всякий со своим. Жаловались, просили защиты.

Древняя старушонка повеселевшая — на ее долю пришлось целых три чашки, да с верхом — приставала к князю жалостно:

— Заступись, кормилец, ваше сиятельство... спаси, родной, кровь нашу крестьянскую пьют, Шарыгин староста от Покрова по миру пустил...

Хлебников едва протолкался.

— Что я для них сделаю, я такой же, как все! — князь подвинулся, чтобы дать Хлебникову место.

Но и Хлебников почему-то почувствовал, что князь не такой, как все, и если захочет, все сделает.

— На вечере я был в гостях, там меня и арестовали, не дали переодеться, — князь запахнул сюртук и улыбнулся.

И вот в улыбке его и сказалось все: почему так тянет к нему и все ждут от него чуда.

Кто он, за что арестован? — спрашивать не решались и передавались по вагону невероятные истории и задавались вопросы какие-то вокруг да около.

Между тем в бабьем углу душеспасительная беседа все более и более оживлялась. Речь о. Михаила проникновенна, голос умиленный.

— Встав Макарий зело рано, и иде сквозь пустыню и срете на пути беса, на камне сидяща... аки цепом некиим пшеницу молотящи. Искушеше, бес, преподобного, вопроси его: имаше ли сицевый? И изъем преподобный... бе бо велий зело, яко же досязати ему до пят. И возвратиться бес в место свое посрамленный, в себе дивяся бывшему.

— Так ему и надо!

— И сокрушени бяху врата адовы.

— Эмалиоль! Что такое эмалиоль?

— Э-ма-ли-оль, ваше сиятельство, эмалиоль, — арестанты притиснулись к князю.

— А вот если приснится тебе: увидишь ты ноги у змеи, это к смерти, — зашамкала старушонка.

— Эмалиоль, я ничего не знаю, — князь опять улыбнулся.

— Ваше сиятельство, одолжите папироску? — какой-то ледящий, ощериваясь, семенил как трактирный половой около кутящего столика.

Князь пошарил по карманам, но портсигара нигде не было: портсигар украли.

Жулик народ пошел, — заметил старик с позеленевшей бородой, — против американского замка силу взял.

— Без табаку скверно, — ледящий хихикал.

— Был у нас начальник — зверь, неладно кончил: окунули его с головой в парашку, — старик подсел к князю, — ты хоть руки на себя накладывай: табак воспрещал. А без табаку, не куривши известно, хоть помирай. Что делать? И пристрастился я веник курить, такой веник был, всякий день парашу им чистили. И ничего, попривык, папироски не надо. С год веником пользовался.

На воле полдень. Морило. Кто дремал, кто слоняется. Кажется, лень рта раскрыть.

Странник что-то напутал в бабьем углу, бабы его от себя прогнали. И, обиженный, отошел он к окну.

— Всякое дыхание да хвалит Господа, — бормотал о. Михаил и такую строил скорбную рожицу, не выдержит ни одна баба, упадет на колени и будет просить у батюшки прощения.

Нет, и бабы умаялись, не глядят бабы на скорбную рожицу. Все надоело. Нет ни до чего дела. Князя оставили в покое. Князь один ходил по вагону. В этот час и князю можно.

— А ты ложись, егоза, я тебе сказку скажу, — безносый бродяга клещом прилипал к Вольге.

Вольга капризничала.

— Ты не умеешь.

— Испытай! Не умеешь!

— Ну, рассказывай.

И безносый шипел, рассказывал сказку. Но девочке скучно. Сказка нескладная.

— Ты не умеешь, я слушать не буду.

— А про слепую невесту, хочешь?

— Ну, про слепую невесту, да хорошенько.

А безносый — мастер, сам знает. Его учить нечего, он еще и не то сладит, дай ему волю.

Шипел безносый.

— Жила-была мать и дочь, дочь была слепая. Тычется туда-сюда, ничего рукой поймать не может. Крот тоже слеп да кроту в земле, что днем. Кротова доля куда завидней! Что поделать — не обернешься. Приехал жених слепую сватать, а уже соседи тут как тут, шепчут жениху в уши: «Эй, мол, слепая она, глазом глядит, а ничего не видит». Приехал жених, сели за стол, угощаются, невеста и говорит: «Матушка, матушка, подбери иглу под порогом!» А иглу-то раньше мать под порог положила, так уж было у них сговорено для отвода. «Вот, думает жених, сказали, слепая, а она под порогом иглу увидала!» А как остались одни, жених, желая проверить, так ли хорошо видит невеста, снял с себя все да и говорит: «Ну, давай-ка, милая, поцелуемся!» «Давай!» — протянулась слепая, чмок, тут уж жених — не надуешь! — скорее прощаться. А она к матери: «Матушка, матушка, как все из избы-то вышли, я с женихом целовалась, ой как целовалась, только нос у него длинный, да горячий, а губы толстые...»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Вечерело. Переволновал ветер поле, улегся. Стало прохладней. Как было хорошо на воле! И лениво склонился вечер, зрела нива. Такие вечера не забываешь. Как было хорошо на воле!

Вагон осветили. И опять все по-старому. Затеяли спор: где жить лучше — в России или в Сибири? И оказалось, нигде: только там, где нас нет.

— У англичан лучше всего, — сказал кто-то, позевывая, когда спор уж затих.

Стали укладываться. Долго укладывались. Перебирали тряпье. Ссорились из-за места. Упрекали друг друга. Вспоминали обиды.

Духота была смертельная.

К Хлебникову, занимавшему с князем одну лавочку, присоседился беглый.

Беглый по привычке настороже и спать будто не спит — убежал с Сахалина, а гонят его по чужому имени куда-то под Тулу. Беглый завел длинный рассказ о своих похождениях и о разбойниках, каких разбойников видел он на Сахалине, и вообще о всяких порядках. Рассказчик, что охотник — привирает, но уж без этого и рассказа нет.

— Как ехали мы на Сахалин, везли нас по Индейскому океану, жарища, — рассказывал беглый, — голыми везли. Едем, дорога дальняя, по-индейскому разговариваем, а в голове все об одном крутит: как бы бежать. Все об одном только и думали. И куда бежать, неизвестно: только и есть Китай, да море. А подъехали к Сахалину, холодно стало. Поддали пару — не помогает: зябко. Ну, устроился я на Сахалине, работа легкая, одно только название работа, у хозяина тяжельше. Три года так прожил, всего насмотрелся, полевой суд видел. Водили. Сидит этот человек, приговоренный, только что лицо видно да шею, и знает, смерть ему предстоит. И все знают, всем плакать хочется. Сердце дрожит. Выйдет защитник, просит. Да это только так... эмалиоль!

— Эмалиоль! — храпят, стонут, скрипят зубами.

И кажется, снится всем один и тот же сон безнадежный — эмалиоль ест вагон.

Вольга угомонилась: свернувшись калачиком, спала она

на коленях у бродяги, — безносый бродяга ей как старая нянька.

— Так ему и надо, — бредила Вольга.

Часовой приоткрыл дверь. А то дышать стало нечем. Пусть воздухом с воли прохладит!..

Из вагона от каторжан, а может быть с поля, не разберешь в ночи, долетала песня:

А палач в рубахе красной
Высоко занес топор...

— Так ему и надо.

— Эмалиоль.

И барахтались распластанные тела, не могли одолеть неволи. Без конца тянулась ночь.

Еще ни свет, ни заря арестантов подняли на ноги. Перекликали, пересчитывали. К ранней обедне зазвонили, поезд пришел.

Долго высаживали арестантов, собирали рухлядь на подводы, возились, пристегивая наручники. Потом выстроили и погнали с вокзала в тюрьму.

На одной из людных улиц арестантам навстречу несли покойника. Неприглядные похороны. Голова покойника болталась во все стороны и на каждой выбоине ударялась то в один, то в другой край ничем не обитого с огромными щелями гроба.

Один из кандальников, такой тихий и незаметный, вдруг вырвался из строя и, рванув цепи, вскрикнул исступленно:

— Воскреснет! Он воскреснет! В третий день по писанию! — и в страшных корчах упал на мостовую.

Поднялась сумятица. Чуть гроб не опрокинули. В суматохе кто-то из арестантов дал тягу. Свистки, гам, погоня. Все перепуталось.

И путалось. Не скоро улеглось. Мешкали — не торопились, торопиться некуда: покойника успеют зарыть — земля примет, а в тюрьму в любой час впустят — дверь в тюрьму настежь.

Сумасшедшего скрутили веревкой, посадили на подводу, и серая стена бритых голов, позвякивая цепями, тронулась в путь.

Трудно было идти. Припекало. И хоть бы дождик пошел! Ни облачка.

— Эмалиоль! — сказал князь Хлебникову, показывая на свои загрязнившиеся воротнички и на пыльные пятна, всплывшие на сюртуке.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Князя поместили с Хлебниковым в одной камере.

Было суетливо и людно. Только вечерами свободно. И как ни отгоняли часовые, камера их была полна народа. Все к князю: кто за советом, кто с жалобой, кто просто так — душу отвести.

Вот в сумерки прокрался какой-то сектант. Второй уж год сидит и пойдет в Сибирь.

— За истину иду,— говорил сектант, — все мои братья осуждены, жду, когда и меня отправят, — а глаза его так и горели: такому ничего не страшно, резать будут — не пикнет, все вынесет, все вытерпит, странный этот сектант.

А вот чумазый арестант с огромными черными маслянистыми глазами, прислуживающий в камерах, он не раз уж заглядывал в дверное окно, а теперь принес лампу и не уходит.

— Всемилостивейшие господа, — говорил нараспев чумазый и при этом приседал не без кокетства, — из духовного звания я, из Санкт-Петербурга, имел сан священнический. Арестовали меня в городе Одессе, всемилостивейшие господа, на заграничном пароходе и с жандармами привезли сюда. Пять лет в таком положении нахожусь. Лишен был священнического сана, всемилостивейшие господа. Священнодиаконом я был в Ярославском монастыре и с высокопоставленными лицами в сношении находился, как с вами, беседовал. И как почетный гражданин усердием их оставлен здесь, а не изгнан в роты. А папа мой протоиерей. Романы читал я и проповедовал...

Но чумазому не везло: надзиратели его не взлюбили, всегда гнали из камеры. Приседая, не без кокетства, проповедник повиновался.

— Шпион, — как-то сказал надзиратель, — гоните его в три шеи, живо что стянет, шпион проклятый.

А вот кузнец Тимофей — высокий здоровенный арестант; морщина, разрезающая его лоб, делала лицо его таким грозным, что все его побаивались: и арестанты и

надзиратели. Он серьезный, все думает, слова не проронит.

Вечером накануне Ильина дня трудно, должно быть, пришлось кузнецу, и его прорвало.

— Господи, — вздохнул Тимофей, — полтора года еще! — и без просьбы начал свою повесть рассказывать.

Он — кузнец, имел под Тулой хорошее заведение, держал работников. Сын его, Николай, сошелся с одной девушкой, и родился у них ребенок. Узнал об этом какой-то граф и взял ее в кормилицы. А потом граф вызывает Тимофея к себе.

— Прихожу. Выходит граф с графинею и уговаривают меня женить сына на этой девке. Я отказываюсь. Пуще прежнего уговаривают, кузницу обещают в приданое дать, землю тоже. «Да у меня, говорю, один ведь он, нешто можно, чтобы он ушел от меня, а такую девку гулящую не возьму я в дом и полагаю так, что никто из порядочных людей не взял бы такую». Графиня так и заерзала — граф-то ее взял у одного мужика, такая она была до замужества, как гулящая, и с работниками связывалась и буквально все делала, — вот она все на свой счет и приняла. С тех пор все и началось. Прихожу я как-то домой, жена брагу ставила. «Сходи, говорит, за мукой». Вышел я, подхожу к колодцу, общий был колодец — все оттуда воду брали, и вижу, стоит мужик из деревни. «Что это у тебя, говорит, кузница отперта?» Бросил я ковш, побежал, смотрю, так и есть: дверь отперта. Сначала подумал на Николая: пошел, думаю, Николай за гармоньей и забыл запереть, а потом вижу, замок сломан. Ну, думаю, гости были. Вернулся я домой, сказал жене, и решили мы к старосте сходить, чтобы обыск произвести. А сын-то мой, надо вам сказать, опять спутался с одной девкой, и та тоже родила. Узнал про это граф, вызвали меня в суд и заставили этой девке по три рубля в месяц платить. И думаю я тогда: никто, как брат этой девки Иван сломал у меня замок. Обшарили Ивана — ничего нет, и уже хотели покончить, да урядник полез на чердак и вытаскивает оттуда кое-какие инструменты. Началось следствие. И вот как-то вечером приходит этот Иван и прощения просит. Я ничего, поругал его да и говорю: «Сумел своровать, сумей и подкинуть». А сидел у меня в кузнице мужик один, слышал разговор и за день до суда приходит

опять и просит свезти его к члену, как свидетеля. Ездил я с ним, засвидетельствовали. А как стали судить, мужик-то и говорит, будто я его подкупил. Ивана оправдали, а меня-то вот в тюрьму. После уж приходил этот мужик, каялся мне, говорит, подговорили: пять рублей дали да колбасу, вот и оклеветал. Господи, когда-то я выйду отсюда!

Много еще разного народа порассказало много разных повестей и историй, и из всего рассказанного одно выступало ясно, что никто виновным себя не считал, а винил другого, винил какого-то Ивана, а этот Иван какого-то Якова, а этот Яков какого-то Петра, и так один на другого, пока не замыкался круг: никто не виноват, и каждый виноват перед другим.

Все терпели жизнь, как какое-то наказание, но зачем надо было терпеть и за что наказаны, — ответа не было, кроме одного: такова судьба — воля Божья, не постижимая уму человека. И, терпя жизнь, каждый верил, что есть одно средство облегчить свою участь — переделать жизнь, и таким средством представлялась воля, а уж с волей как-то само собою должны были явиться все блага и счастье. Да вправду ли воля поправит жизнь? Но такого вопроса в неволе не было и быть не могло.

Вечерами Хлебников вел рассуждения с князем. Князь как-то безучастно слушал, точно все у него решено было и не было никаких загадок, а если что и было, то об этом думать не стоило. Так выходило из ответов князя.

Хлебников рассказал князю свою историю. История Хлебникова была несложная. С тех пор, как начал он сознательно относиться к жизни, к тому укладу жизни, какой ведется изо дня в день, его мучило что-то неладное в этом укладе: какая-то неправда и неправильность жизни. Пробовал он отгонять от себя эти мысли, и иногда это удавалось, но потом снова беспокойнее и мучительнее напоминал ему голос, что нельзя так жить, нельзя жить, поддерживая то, что неправда и неправильно. Надо поправить, изменить жизнь. Но как изменить жизнь? Тут-то и подсунулись простые средства, очень простые и очень доступные. И он все бросил, стал политикой заниматься. И так побежала жизнь, вовсю закипела, дела не оберешься и думать некогда. Лучшего времени не припомнить. Ну,

конечно, — за делом-то не разберешься, — попались друзья, выдали. И готово дело.

— Ну, а теперь вы как думаете? — спросил князь.

— Я думаю, не все так просто, как тогда мне казалось.

— Как же вы жить будете?

— Вот в этом все и дело. Уж очень все разное.

В самом деле: как же ему жить? Одни могут не спрашивая, так жить просто, а другим непременно подавай ответ, иначе и жизнь не в жизнь. И есть же такие люди, которые ответили себе и живут спокойно. Где они отыскали ответ?

— Вещи вы любите?

— Люблю. А вы знаете, князь, как жить?

Но князь только улыбнулся: будто и знал, будто и не знал.

Хлебников несколько раз подходил к этому вопросу, но всякий раз вместо ответа встречал улыбку, и светилась в ней не то чистота младенца, не то последнее проклятие.

— А вы, князь, за что попали?

Князь по-прежнему улыбался.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Из тюрьмы в тюрьму, от этапа до этапа, — вот жизнь не жизнь, а эмалиоль.

Грязные и оборванные еле ноги передвигали арестанты — эти несчастные, попавшие в этот ад грешники. Случалось, мерли: и как спокойны были лица покойников — являлась им смерть не врагом, а избавительницею доброй, и совсем не страшным скелетом, с косою, как приходит она в разгар жизни, туда, где веселье и смех и жить хочется. Один оставался знак — память о минувшем неугасимом огне: там, где скованы были руки, лежали, словно браслеты, лиловые геенские подтеки.

Из тех, кто вышел с Хлебниковым, осталось немного. Затерялась где-то Вольга и безносый рассказчик, и пропал куда-то старик-курильщик с позеленевшей бородой, и сам Эмалиоль, и многострадальный стра́нник о. Михаил.

В Москве строго. В Москве сейчас же всех рассортировали: князь — уголовный, пустили князя к уголовным, Хлебников — политический, засадили его в башню.

Не успел Хлебников осмотреться в башне, как впустили к нему такого же новичка, как и сам он. Это был еще не старый щеголеватый господин, которого почему-то в конторе один из надзирателей назвал жуликом из Самарканда. Жулик из Самарканда оказался важным чиновником одного министерства, действительным статским советником Василием Васильевичем Петровым из Петербурга. Обвинялся действительный статский советник за выдачу секретного документа. На самом же деле, как выяснилось, он и не думал выдавать, а просто кто-то из приятелей его, любопытства ради, взял у него эту секретную бумагу и списал, а после и совсем неожиданно появилась она, где не следует, в каком-то заграничном листке. Так ни за что, ни про что попал весельчак действительный статский советник, и вовсе не жулик из Самарканда, в списки политических.

Жизнь с Петровым пошла легкая. Разговор — препровождение времени.

Петров читал Библию, но чтение его не развлекало и, отрываясь от книги, он без умолку рассказывал анекдоты, анекдоты переходили в воспоминания, а, вспоминая, он начинал дурить: то представлял из балета, то из оперетки, то цыганские песни в лицах, то цирковых лошадей.

Днем полагалась прогулка. Около башни маленький дворик, там и гуляли. Со двора был виден кирпичный корпус для уголовных. В верхнем окне корпуса появлялись два негра. Эти негры стали вроде представления.

— Арап Иваныч, — обращался Петров к неграм, — спой нам что-нибудь, Арап Иваныч!

И негры, гремя кандалами, выли, прищелкивали белыми, как снег, зубами. Что-то печальное и жуткое, пустынное пелось в их песне, и не было ничего смешного, но Петров и надзиратели, поджав животы, гоготали.

— Ну, теперь довольно, Арап Иваныч, сейчас старший придет, будет, Арап Иваныч! — махал ключами надзиратель, до слез нахохотавшись.

Вечерами — под замком в башне. Тишина была в башне, только мыши скреблись да вели тонко свою мышиную песенку.

Вечерами Петров караулил мышей.

Как-то в неурочное время вошел в башню старший —

бородатый седой старик с масленым лицом. Накануне у Петрова пропала тряпка, Петров заявил старшему, старший обещал отыскать, и вот явился.

— Вы, господин, насчет тряпки давеча спрашивали, пропала она куда-то, нигде не отыскал.

— Не мышь ли уж взяла? — подмигнул Петров, вскидывая на нос пенсне.

— Мышь не мышь, а вот рассказывал мне один, тут же сидел, будто по ночам черт ходит, говорит, своими глазами видел: белый весь, а борода черная, черт настоящий.

— Какой черт?

— Уж не знаю, правда ли, а страшно: один ни за что бы здесь не остался. Завтра я еще поищу тряпку.

Старший ушел и стало страшно. Стало казаться, что по ночам кто-то ходит, эмалиоль какой-то, весь белый с черной бородою — черт настоящий. И вся легкость пропала. Петров не балагурил. И когда надзиратель — хохотун по прозвищу Ну-с перед тем, как отправиться погулять в Петровский парк, щуря сладенькие глазки, попросил помады усы помазать, Петров подал ему баночку с кольдкремом и хоть бы слово. И под негритянское пение Арапа Иваныча Петров уже не смеялся, а понуро вздыхал.

— Политику разрабатываете? — заводил разговор другой надзиратель Плотва.

Петров, такой охотник языком чесать, теперь и Плотве не отзывался.

Так смутил башенный покой непрошенный эмалиоль башенник-черт, который ходил ночью по башне и воровал у Петрова тряпки. И уж нескладно пошла жизнь.

После вечернего чаю под Успеньев день, когда Хлебников с Петровым расхаживали молча из угла в угол, а в окно проникал дальний гул кремлевских колоколов, в башню привели новенького.

Это был маленький изможденный арестант Котов, по ошибке посаженный в общую к уголовным, где провел он всего несколько дней, перевернувших в нем все вверх дном и сделавшим его совсем другим на всю жизнь.

Весь вечер Котов рассказывал о порядках в общей и о всяких насилиях, постоянных среди замкнутой арестантской жизни.

— Попал к нам один молодой арестант, красивый такой. Привели его днем, и целый день арестанты присматривались к нему, берегли его, а как пришла ночь и камеру заперли, тут-то и началось: словно по знаку набросились на него и что-то с ним только ни делали, а какие-то два негра... вспомнить страшно! Так наутро и снесли его в мертвецкую. Говорят, какой-то князь из аферистов.

— Князь?! — Хлебников описал наружность своего спутника.

— Он самый, — подтвердил Котов, — князь из аферистов.

И много всяких невероятных историй порассказал Котов и не только из тюремных подновленных скитаний, но и из самой обыкновенной серенькой жизни, проходящей незаметно и с виду скромно и даже примерно. И из всего рассказанного одно выступало ясно, что человеческую природу аршином, пожалуй, не измеришь и не разложишь ее по клеткам и судом одним не осудишь.

— Я уж и не знаю, как я теперь... — такой был припев рассказчика, человека испытанного и бывалого, для которого, по его словам, вчера еще все было ясно и понятно, и всякое дело спорилось, как едва ли у кого.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

От Москвы дорога ходчее пошла. Долго по тюрьмам не задерживали, не мучили проволочками. Важных преступников не было: всех задержали в Москве, чтобы в Сибирь гнать.

Шел всякий сброд.

Проститутка Амурчик — девица петровского роста, поверх шляпки повязанная платком, необыкновенно веселая и совсем не падшая, по своей воле пала и, пока хватит сил, гулять будет.

Проживала она в каком-то дорогом притоне, звался притон Золотые львы, жила-была, веселилась.

— Сто чашек в день кофею выпивала, сам вор Козырев, экспроприатор, мне письма писал, эх вы, жулики, не вашего ума дело! — приплясывала Амурчик.

От ее россказней все приободрялись, так были жизнерадостны повести ее публичной жизни.

Кроме Амурчика, попутчиками Хлебникова оказались два предателя. Один тихонький и угнетенный, другой задирчивый и озлобленный, но и тот и другой очень мучались. За предательство свое они не получили никакой награды, никакого послабления, а предали они, потому что испугались — есть такие робкие, хорохорящиеся люди.

— Да зачем же вы совались в дело? Знали же вы, чем это кончится? — допытывали предателей.

— Сами не знаем, поддались. Мы не выдавали. Мы только подтвердили. Нас обманули. Полетаев всех выдал, — оправдывались предатели, и тихонький и задирчивый, валя вину на какого-то Полетаева.

— Бес попутал, — ввертывался старик, мелкий воришка.

— Каждому обязательно предстоит проявиться, — замечал философ, исколесивший этапный путь с севера на юг и с юга на север не раз и не два по всей России, — вот ты живешь тихо-смирно, и есть ты на белом свете или вовсе нет тебя, сам хорошенько не знаешь, а как уворуешь или поймают тебя или еще что, так ты уж другое дело, ты — есть и существуешь на земле, как следует во человечестве.

— Тоже и по глупости бывает, по неразумию, — поправлял мудрец философа, совсем на мудреца не похожий, а на какой-то финик.

Полетаев всех выдал. Мы не выдавали! — тянули свое предатели.

— Жулики, не мудрите, все вы пропащие, — приплясывала Амурчик.

В последней тюрьме, до которой дотащил поезд Хлебникова, началось очень по-глупому. Начальник человек солидный и совсем не глупый, распорядился отобрать у Хлебникова книгу и очки, объясняя свое распоряжение, как меру пресечения могущего возникнуть побега.

— Ну что вам стоит: каких-нибудь три-четыре дня посидеть так.

— Да я близорук, ничего не вижу.

— Тут в тюрьме и видеть нечего.

Первый злополучный день Хлебников провел в общей с другими политическими. В этот первый день почему-то их держали впроголодь. И разговор вертелся около съедобного.

— Щей бы горячих тарелку, вот бы хорошо теперь.

— А мне бы рыбной селянки, я селянку люблю!

— Телячьи ножки вкуснее.

— Ну вот еще ножки... поросенок под хреном лучше всего.

— Чаю горячего хоть бы с булкой!

— Хорошо еще стерлядку разварную с соусом!

— А я и вареной говядины съел бы.

Вечером без вечернего чаю рассадили по одиночкам, И было холодно, и есть хотелось, и пить хотелось. И только утром принес надзиратель кипятку.

— А чаю такого, какой у вас Цоги-Лук написано, такого нет больше, Высоцкого есть. Пожалуйте выписку на завтра.

Но Бог с ними, и с чаем и с едою! Первый раз за весь этап Хлебников остался один. И было как-то хорошо думать в одиночке.

Где-то за тюрьмой играла музыка — сиплая труба, как голос старого кузнеца Тимофея, проданного за пять рублей и колбасу.

Хлебников болтал сам с собою.

Да, он любит вещи. А как он любит лес, поле, реку! Весною оживает с последнею козявкою. Вот его выпустят на волю — он волю страшно любит.

«Ну а дальше-то что? Что дальше»?

Перед глазами проходили всевозможные события, а в ушах повторялись всевозможные истории. И все представлялось таким, что, кажется, и имело право быть на свете и вместе чем-то совсем недопустимым, самозваным, бесправным.

«А как нужно-то? И нужно ли, чтобы было по-другому? Может быть, так и надо всему быть, как оно есть. А вся беда в его глазе. Ведь он близорук, и сидит без очков, ведь он во всех смыслах близорук и потому не может видеть всех пружин и не понять ему, что именно так и надо быть всему, как оно есть».

После двух бессонных ночей, проведенных одиноко со своими мыслями, в беспощадных допрашиваниях самого себя, на третью ночь Хлебников почувствовал то знакомое ему утомление, какое охватывало его в тягостные минуты растерянности, и он заснул.

И приснился ему на загладку сон, будто лежит на поле

великан Цоги-Лук, и не связан, и не убит, живой лежит великан, и ест великана насекомое вроде собачьей блохи — белое, шея длинная, туловище кольцами свернуто, на голове семь зубов — эмалиоль.

Когда Хлебников очнулся, в городе звонили к обедне: разбитый колокол вяло брякал. Раннее ненастное утро смотрело в запотевшее окно.

— Собирай вещи! — кричал надзиратель, обходя камеры.

И началось новое путешествие и уже не по железной дороге, а по способу пешего хождения.

Тысячу и больше верст прошел Хлебников. Осень кончилась. Белым снегом легла зима.

Хлебников не ждал, как ждали его спутники, того завидного дня, когда окончится путь и странно ему было даже подумать, что наконец, все-таки скажут ему: вот выбирай себе любую избу и живи! Да как же он жить будет? Он не может жить, как прежде жил, и не послушает он. Уйдет он, чтобы где-нибудь в лесах, где-нибудь на берегу широкой реки или в самой толкотне самого большого города найти себе такое, если только не обречен он на одни поиски, что откроет глаза ему.

«Ведь не может быть, чтобы все так и было, как видится ему, не может быть, чтобы была в мире неправда и неправильность. Иначе что же? Издевательство какое-то, ерунда на постном масле»!

В Михайлов день дорога кончилась. Дальше этап не шел, дальше не гоняли, дальше только птица летала да плыли льды.

1909 г.

ПЕТУШОК

Посвящаю С. П. Ремизовой-Довгелло

Петька, мальчонка дотошный, шаландать куда гораздый, увязался за бабушкой на богомолье.

То-то дорога была.

Для Петьки вольготно: где скоком, где взапуски, а бабушка старая, ноги больные, едва дух переводит.

И страху же натерпелась бабушка с Петькой и опаски, —

пострел, того и гляди, шею свернет, либо куда в нехорошее место ткнется, мало ли!

Ну, и смеху было: в жизнь не смеялась так старая, тряханула на старости лет старыми костями. Умора давай разные разности выкидывать: то медведя, то козла начнет представлять, то кукует по-кукушечьи, то лягушкой заквакает.

И озорничал немало: напугал бабушку до смерти.

— Нет, — говорит, — сухарей больше, я все съел, а червяков, хочешь, я тебе собрал, вот!

«Вот тебе и богомолье, — полпути еще не пройдено, Господи!»

А Петька поморочил-поморочил бабушку, да вдруг и подносит ей полную горсть не червяков, а земляники, да такой земляники, все пальчики оближешь. И сухари все целы-целехоньки.

Скоро песня другая пошла. Уморились странники. Бабушка все молитву творила, а Петька «Господи помилуй» пел.

Так и добрались шажком да тишком до самого монастыря. И прямо к заутрене попали. Выстояли они заутреню, выстояли обедню, пошли к мощам да к иконам прикладываться.

Петьке все хотелось мощи посмотреть, что там внутри находится, приставал к бабушке, а бабушка говорит:

— Нельзя, грех!

Закапризничал Петька. Бабушка уж и так и сяк, крестик ему на красной ленточке купила, ну, помаленьку и успокоился.

А как успокоился, опять за свое принялся. Потащил бабушку на колокольню колокол посмотреть. Уж лезли-лезли, а конца не видно, ноги подкашиваются. Насилу вскарабкались.

Петька, как колокольчик, заливается, гудит, — колокол представляет. Да что — ухватился за веревку, чтобы позвонить. Еще, слава Богу, монах оттащил, а то долго ли до греха.

Кое-как спустились с колокольни, уселись в холодке закусить. Тут старичок один, странник, житие пустился рассказывать. Петька ни одного слова мимо ушей не проронил, век бы ему слушать.

А как свалила жара, снова в путь тронулись.

Всю дорогу помалкивал Петька, крепкую думу думал: поступить бы ему в разбойники, как тот святой, о котором странник-старичок рассказывал, грех принять на душу, а потом к Богу обратиться — в монастырь уйти.

«В монастыре хорошо, — мечтал Петька, — ризы-то какие золотые, и всякий Божий день лазай на колокольню, никто тебе уши не надерет, и мощи смотрел бы. Монаху все можно, монах долгогривый».

Бабушка охала, творила молитву.

Петьку хлебом не корми, дай только волю по двору побегать. Тепло, ровно лето. И уж закатится непоседа, день-деньской не видать, а к вечеру, глядишь, и тащится. Поел, помолился Богу, да и спать, — свернется сурком, только посапывает.

Помогал Петька бабушке капусту рубить.

— Я тебе, бабушка капустную муку сделаю, будет нам зимой пироги печь, — твердит таратора и рубит, что твой заправский: так вот себе и бабушке по пальцу отрубит.

А кочерыжки, как ни любил лакома, хряпал не очень много, а все прибирал: сложит в кучку, выждет время и куда-то снесет. Бабушке и невдомек: знай похваливает, думает себе, — корове носит.

Какой там корове!

Стоял у бабушки под кроватью старый-престарый сундучок, железом кованный, хранила в нем бабушка смертную рубашку, туфли без пяток, саван, рукописание да венчик — собственными руками старая из Киева от мощей принесла, батюшки пещерника благословение. И в этот-то самый сундучок Петька и складывал кочерыжки.

«На том свете бабушке пригодятся, сковородку-то лизать не больно вкусно...»

Случилось на Воздвиженье, понадобилось бабушке в сундучок зачем-то, открыла бабушка крышку, да так тут же на месте от страха и села.

А как опомнилась, наложила на себя крестное знамение, кочерыжки все до одной из сундучка повыбрасывала,

окропилась святою водой, да силен, верно, окаянный — змей треклятый.

Стали они, нечистые, эти Петькины кочерыжки, представляться бабушке в сонном видении: встанет перед ней такая вот дубастая и торчит целую ночь, не отплюешься. Притом же и дух нехороший завелся в комнатах, какой-то капустный, и ничем его не выведешь, — ни «монашкой», ни скипидаром.

А Петька диву дается, куда из сундука кочерыжки деваются и нет-нет да и подложит.

«Пускай себе ест, корове и сена по горло».

Думал пострел, съедает их бабушка тайком на сон грядущий.

Бабушка на нечистого все валила.

И не проходило дня, чтобы Петька чего-нибудь не напроказил. Пристрастился гулена змеев пускать, понасажал их тьму-тьмущую по всему саду, и много хвостов застряло за дом.

Запускал Петька как-то раз змея с трещоткой, и пришла ему в голову одна хитрая хватка:

«Ворона летает, потому что у вороны крылья, ангелы летают, потому что у ангелов крылья, и всякая стрекоза и муха — все от крыла, а почему змей летает?»

И отбился от рук мальчонка, ходит как тень, не ест, не пьет ничего.

Уж бабушка и то и другое, — ничего не помогает, двенадцать трав не помогают!

«А летает змей потому, что у него дранки и хвост!» — решает, наконец, Петька и, не долго думая, прямо за дело: давно у Петьки в голове вертело полетать под облаками.

Варила бабушка к празднику калиновое тесто — удалась калина, что твой виноград, сок так и прыщет, и тесто вышло такое разваристое, халва да и только. Вот Петька этим самым тестом-халвой и вымазался, приклеил себе дранки, как к змею, приделал сзади хвост из мочалок, обмотался ниткой, да и к бабушке:

— Я, — говорить, — бабушка, змей, на тебе, бери клубок да пойдем, подсади меня, а то он так без подсадки летать не любит.

А старая трясется вся, понять ничего не может, одно

чувствует, нарушение тут бесовское, да так, как стояла простоволосая, не выдержала и предалась в руки нечистому, — взяла она обеими руками клубок Петькин, пошла за Змием подсаживать его, окаянного.

Хочет бабушка молитву сотворить, а из-под дранок на нее ровно кочерыжка, хоть и малюсенькая, так крантиком, а все же она, нечистая, — и запекаются от страха губы, отшибает всю память.

Влез Петька на бузину.

— Разматывай! — кричит бабушке, а сам как сиганет и — полетел, только хвост зачиклечился.

Бабушка клубок разматывать разматывала, но что было дальше, ничего уж не помнит.

— Пала я тогда замертво, — рассказывала после бабушка, — и потоптал меня Змий лютый о семи головах ужасных и так всю царапал кочерыжкой острой с когтем и опачкал всю, ровно тестом, липким чем-то, а вкус — мед липовый.

На Покров бабушка приобщалась святых тайн и Петьку с собой в церковь водила: прихрамывал мальчонка, коленку летавши отшиб, — хорошо еще, что на бабушку пришлось, а то бы всю шею свернул.

«Конечно, все дело в хвосте, отращу хвост, хвачу на седьмое небо уж прямо к Богу, либо птицей за море улечу, совью там гнездо, снесусь...»

Петька усердно кланялся в землю и, будто почесываясь, ощупывал у себя сзади под штанишками мочальный змеев хвостик.

Бабушка плакала, отгоняла искушения.

На Ильин день у Петьки корова пятиалтынный съела.

После всенощной, как спать ложиться, дала бабушка мальчонке денежку серебряную — пятнадцать копеек на гостинцы.

В Ильин день из Кремля крестный ход к Илии Пророку ходит на Воронцово поле, большой с корсунскими крестами, и жандармов на конях много едет, а за обедней на церковном дворе в садике, у церкви под хоругвями гулянье: квас клюквенный продают, игрушки, ягоды всякие, кру-

жовник, груши и мороженое. Петька до ягод охотник и мороженое страсть любит, — пятиалтынный ему на руку. Так с пятиалтынным и ночь спал.

Вернулась бабушка от ранней обедни от Николы Кобыльского, а Петька уж на ногах: и самовар приготовил и сапожонки себе ваксой начистил, принарядился, — в пору хоть со двора сейчас.

И сколько раз, ждавши бабушку, юла картуз себе примерял — картуз у Петьки с козырьком лаковым; раньше-то соломенную шляпу таскал, а как поступил в городское училище, картуз ему бабушка купила. И ремень подтянул до самой последней дырочки, тоже лаковый, оправил свою черную суконную курточку с двумя серебряными пуговками на вороте, только с штанишками плохо — штанишки парусинные, вымыты начисто, вымыла их бабушка сама и выгладила, да коротеньки: голенища пальца на два видны, — ну, и Петька растет, и штанишки в мойке сели.

— Я, бабушка, тебе самовар в одну минуту поставил! — встретил Петька бабушку, на одной ножке прискакивает.

— Умник ты у меня, Петушок! — заморилась за обедней бабушка и чаю попить ей хочется.

Бабушка сама самовар ставит долго, так Петьке всегда казалось, что долго: бабушка сперва золу вытряхнет, наложит немного углей, на уголья лучинки, а потом, как уголья зашипят, еще подложит, и так раза два подложит. А Петька прямо с золой, не вытряхивая, полон самовар напихает углями, зажжет лучинки-щепочки и на щепочки угольков еще подложит, и самовар будто бы сразу гудеть принимается.

— Умник ты! — повторяет бабушка: рада она, что самовар на столе шумит и не спеша попьет она чайку, отдохнет малость до крестного хода.

Бабушка богомольная, не пропустила она ни одной службы и, когда случался покойник у Николы Кобыльского, пойдет и за обедню и на панихиду со свечкой постоять, во все крестные ходы с Петькой ходила.

Села бабушка за стол чай пить, но и кусочка просвирки

не прожевала, Петька уж торопит, тормошит бабушку идти крестный ход встречать.

А куда рань такую! Крестный ход, поди, из Кремля не тронулся, крестный ход только-только что собирается, и у забора морозовского, поди, и дворники не стоят еще, сидят себе в теплой дворницкой, чай пьют.

Бабушка с Петькой обыкновенно встречали крестный ход в Введенском переулке на морозовском решетчатом заборе. Устраивались просто: сначала полезет Петька, а за Петькой и бабушка вскарабкается; лазала старуха на забор, и хоть трудно ей было, да зато виднее с забора, и не раздавят.

— А то я, бабушка, один пойду! — Петька надел свой картуз с козырьком лаковым и уж к двери.

Боится бабушка Петьку одного без себя пускать, боится, раздавят ее Петьку.

— Тебя, Петушок, еще раздавят!

— Не раздавят, бабушка, меня, мне, бабушка, в прошлом году жандарм конем на палец наступил, больно ка-к! А ничего. Я пойду, бабушка.

Страшно бабушке и ровно обидно: всякий год, ведь, вместе ходили — впереди Петька, за Петькой бабушка в своей старенькой тальме и с зонтиком, зонтик бабушка от солнца не раскрывала и носила его, держа не за ручку, а за кончик, так что ручка земли касалась. И отпустить ей без себя не хочется Петьку и передохнуть хочется, чаю не спеша напиться!

Что поделаешь, не удержать мальчонку!

Пошел один Петька.

Утро выдалось хорошее, свежее, будет нежаркий день. Петька ли намолил такой славный денек или сам праздник — Илия Пророк послал такую благодать: хорошо будет крестному ходу идти, заблестят все хоругви золотые, и батюшкам хорошо будет идти, сухо, и певчим петь.

Петька вышел на крылечко, пятиалтынный у него в кулачке, — много он купит кружовнику красного волосатого и мороженого съест на пятачок шоколадного.

Петька прислушивался: где-то далеко звонили, но очень далеко. Должно быть, вышел крестный ход из Кремля и в тех церквах, мимо которых шел крестный ход, звонили.

«На Ильинке или на Маросейке... у Николы — Крас-

ный звон!» — смекнул себе Петька и вдруг увидал корову.

По двору ходила дьяконова корова, постановная, сытая рыжая корова.

Петьке всегда было приятно, когда встречал он дьяконову корову, молочную, буренушку, как называла бабушка корову.

— Здравствуй, буренушка!

Петька вприпрыжку подскочил к корове, протянул руку, чтобы погладить... денежка заиграла на солнце, выскользнул пятиалтынный, а корова языком денежку и слизнула, слизнула, отрыгнула и проглотила.

Туда-сюда — проглотила.

Покопался Петька в траве, пошарил камушки, походил вокруг коровы, подождал, не выйдет ли денежка...

Нет серебряной, нет его денежки, съела буренушка, отняла она у Петьки его ильинский пятиалтынный.

С пустыми руками пошел Петька к Илии Пророку.

Вернуться ему, сказать бабушке? Бабушка скажет: «Вот не послушался, пошел один, корова и съела!» Да и не даст уж никогда серебряную денежку. «Куда, скажет, такому давать, — все одно, корова съест!» Нет, лучше не говорить бабушке. А как же кружовник и мороженое? Да так уж, придется обойтись без кружовника и мороженого... А заметит бабушка? Ну, не заметит. Он скажет бабушке, что целый пуд кружовника съел и мороженого сто стаканчиков... А не поверит бабушка? Поверит! Кружовник дешевый — дешевка, так сама бабушка говорит, и что ж тут такого: купил пуд и съел. И денег у него немало, серебряная ведь денежка, не пятачок, — пятиалтынный! Да нет у него никакого пятиалтынного, корова съела!

«Экая корова, — упрекал Петька свою любимую буренушку, — зачем ты у меня денежку съела! А какой кружовник красный, волосатый, мороженое шоколадное вкусное... сто стаканчиков!»

Шел Петька и все думал о своем пятиалтынном, который нельзя вернуть. И был один способ: признаться бабушке и чтобы бабушка новый дала. Но откуда взять бабушке?

Деньги не растут, говорит сама бабушка, серебряных у ней наперечет, копеек вот тех много...

Петька шел мимо Курского вокзала, мимо Рябовского дома дикого, в котором, думал Петька, никто никогда не живет, а стоят одни золотые комнаты, шел на Воронцово поле к Илии Пророку.

Весь Введенский переулок травой устлали, всю мостовую покрыли свежей накошенной травой, тут была и Хлудовская трава и от Найденовых и от Мыслина, все прихожан богатых. Ноги скользили по траве, и Петька ухитрился озеленить штанишки.

В траве попадались цветы, и от цветов пахло полем, напоминало о богомолье — Петька с бабушкой всякое лето ходил на богомолье.

Петька вдруг забыл о своем съеденном пятиалтынном, зажмурился: так чутко, так ясно почувствовал он землю-траву под ногами и перенесся под Звенигород на дорогу полем — там цветы-колокольчики, и лесом — там кукует кукушка, к Саввинскому монастырю, а от Звенигорода, от Саввы Преподобного к Николо-Угреше, а от Николо-Угреши к Троице-Сергию.

По переулку уж спешил народ в церковь, задерживались на тротуаре, выбирали поудобнее, повиднее местечко стать. Звонили ближе, кажется совсем близко: у Троицы на Грязях. Нет, Петька ошибся, еще далеко: это звонили у Косьмы и Демьяна.

На морозовском заборе еще никого не было, никто не сидел. Только дворники у ворот стояли, да кучер морозовский в плисовой безрукавке, черный, волосы коровьим маслом смазаны. Петька тоже когда-нибудь, когда будет большой, смажется коровьим маслом, и у него волосы такие же будут черные, как у кучера, а пока ему бабушка, после бани только, смачивает их квасом.

Петька взобрался на морозовский забор и стал глазеть, дожидаться и крестного хода, и бабушки.

«Где-нибудь на дворе, сыщу, — нет-нет да и вспоминалась Петьке его несчастная денежка, — не пропадет!»

От денежки к крестному ходу — где, в какой церкви звонят, все прислушивался Петька, от крестного хода к морозовскому кучеру, от кучера к траве и богомолью, так

переходили мысли маленького Петьки, Петушка, как звала мальчонку бабушка.

Пришла бабушка с своим зонтиком, вскарабкалась к Петьке на морозовский забор.

Ударили у Введения в Барашах — показался крестный ход: загорелись золотым огнем тяжелые хоругви, — зазвонили у Илии Пророка.

И утешился Петька.

«Даст ему бабушка новую денежку, а не даст и без кружовника и без мороженого сыт будет!»

У бабушки никого нет, кроме Петьки. Петька — сын племянника ее, внучонок. Племянник — пропащий, был в полотерах, в чем-то попался, долго ходил по Москве без места, нашел, наконец, должность в пивной у Николы-на-Ямах, прослужил зиму в пивной, отошел от места, поступил на завод к Гужону и от Гужона ушел и, должно быть, в золоторотцы попал на Хитровку, а там и пропал. Хоть изредка, заходил он к бабушке, заходил денег просить, хмельной. Бабушка племянника боялась и называла его р а з б о й н и к о м.

Петька с бабушкой жили на Земляном валу у Николы Кобыльского, комнату снимали в подвале. Прежде, когда силы были, бабушка без дела не сидела и не могла пожаловаться, без булки за стол не садилась, как говорили соседи, а теперь глаза ослабели, работать больше не может, да и годы большие — бабушке шесть лет было, когда Александра Первого через Москву провозили из Таганрога, вот уж ей сколько! Поддерживали бабушку добрые люди, из попечительства выдавали ее всякий месяц, и Петьку ее в городское определили. Бабушку Ильинишну Сундукову на Земляном валу все знали и на Воронцовом поле и в Сыромятниках. Кое-как перебивалась с Петькой.

Комнатенка их тесная. До Сундуковых жили в ней две старушки Сметанины, богомольные, как бабушка, померли Сметанины, на их место и перебралась бабушка с Петькой. А прежде занимала бабушка комнату попросторнее, теперь там маляры живут.

Комнатенка бабушкина вся заставлена. Стоит у бабушки

комод, от ветхости вроде секретного — середний ящик никак не отворить, только с правого бока и то на палец, а про это знает одна бабушка, спрятаны в ящике серебряный подстаканник с виноградами, две серебряные ложки — на ручках цветы выгравлены мелкие с чернью, все добро Петькино, будет ему после бабушки.

Есть у бабушки гардероб и тоже не без секрета: открыть дверцу отворишь, но тут и попался, дверца так и отвалится, — одна бабушка умеет как-то так в дырку какую-то шпынек вставить, и дверца на место станет и гардероб запрется.

Есть у бабушки сундучок дубовый, железом обитый, смертный, хранит в нем бабушка сорочку, саван, туфли без задников, холстинку, на смерть себе приготовила; в этот самый сундучок как-то осенью, когда на дворе капусту рубили, складывал Петька тайком капустные кочерыжки: думал, пострел, бабушке угодить — полакомить ее на том свете кочерыжкой.

Ну диванчик стоит, с виду совсем еще ничего, только если неосторожно сядешь, о деревяшку так и стукнешься.

В углу киот, три образа: верхний — маленькие иконки от святых мест и всякие медные крестики и образки, пониже образ Московские чудотворцы — Максим блаженный, Василий блаженный, Иоанн юродивый — стоят один за другим — Василий наг, Максим с опояскою, Иоанн в белом хитоне, руки так — перед Кремлем московским, над Кремлем Троица, а над блаженными дубрава — мать-пустыня — пещерные горы — горы языками, огненные, как думал Петька, икона древняя; и другая икона, по золоту писанная, Четыре праздника, четыре Богородицы — Покров, Всем Скорбящим Радости, Ахтырская, Знамение, еле держится, тоже древняя.

Под киотом три клубка веревок: клубок толстой веревки, тонкой и разноцветных шнурочков, — за многие годы собранные бабушкой. Наконец, индюшка, — вот и все добро.

Бабушка Петьку накормит и индюшку не забудет, Индюшка жила на дворе в сарае, сарай рядом с коровником, чахла индюшка и уж такая старая, как бабушка, и только за бабушкой повторять не может бабушкино «Господи

Иисусе!» — а так, кажется, все понимает, жизнью своей дошла, старостью.

Петька, когда был совсем маленький, индюшку боялся, но с годами привык и любил ее рассматривать: сядет в сарае на корточки перед индюшкой и смотрит — занимала Петьку голова индюшки, розовая в мелких розовых бородавках. А индюшка стоит-стоит, наежится и тоже присядет. И сидят так оба: Петька и индюшка.

«У кур дьяконовых цыплята, у Пушка котята, а у индюшки нет ничего, — почему?» — не раз задумывался Петька.

И не раз, сама с собою раздумывая, говорила бабушка:

— Хоть бы послал Бог яичко нашей индюшке, вышли бы петушки-индюшонки!

«Все от яичка, пошлет Бог индюшке яичко, выйдут петушки!» — смекнул себе Петька.

— Бабушка, а если Бог пошлет индюшке яичко?

— Дай Бог!

— А дальше что? — проверял бабушку мудреный Петька.

— Сядет.

— Как, бабушка, сядет?

— На яйцо, Петушок, сядет, вот так, — бабушка присела, ну точь в точь, как сама индюшка, — двадцать один день сидит, три недели, только поест встанет и то через день, а то и через два, потом куран-петушок выйдет.

— Бабушка, а куда же мы петушка деваем?

— С нами жить будет.

— Бабушка, мы его в клетку посадим, он петь будет? Как соловей, бабушка, да?

— Да, Петушок, маленький такой, желтенький с хохолком...

— Бабушка, мы воздушный шар сделаем, полетим, бабушка!

— Что ты, Петушок!

— Полетим, бабушка, там с петушком поселимся на шаре, мы в шаре будем жить. Хорошо?

Бабушка долго молчала. А Петька, тараща глаза, смотрел куда-то через бабушку, уж видя, должно быть, тот шар воздушный, на котором жить будут: он, петушок и бабушка.

— Не согласна, — сказала бабушка, — я уж тут помру, на шаре не согласна.

— Бабушка, — Петька о своем думал, не слыхал бабушку, — все от яичка?

— Пошли ей Господи! — бабушке страсть хотелось, чтобы снеслась индюшка, и о петушке она замечтала не меньше, чем сам Петька.

Забыл Петька о ильинской денежке, не пенял корове, что съела его денежку, не надо ему никакой денежки, надо ему петушка индейского. Но как достать яичко, как устроить, чтобы Бог послал индюшке яичко, из которого все выйдет, петушок выйдет?

«У дьякона взять, дьяконово, подложить его под индюшку, — ломал себе голову Петька, — у дьякона кур много, яиц куры кладут много... И всего-то, ведь, одно, только одно и надо! А ну как хватится дьякон, меченые они у него, — Петька уж и в ларь дьяконов лазал! — с меткою: число и день написаны, поймают, и сделаюсь вором. Придется вором на Хитровку идти. А бабушка? Как она одна жить будет? «Я только для тебя и живу, Петушок, а то помирать давно бы пора!» — вспоминались слова бабушки, — нет, у дьякона, не надо брать. Но где, же, где добыть яйцо? И всего-то ведь одно, только одно яичко!»

Случай вывел Петьку на путь. Задумала бабушка побаловать своего Петушка, угостить его яичницей-глазуньей, послала Петьку в лавочку за яйцами, три яйца купить. Петька два яйца бабушке принес, а третье утаил, сказал, что яйцо разбилось.

— Вот, Петушок, корова у тебя денежку съела, и яйцо ты разбил! — жалко было бабушке разбитого яйца.

А Петьке... да в другое время он к яичнице не притронулся бы от досады, но теперь, когда в кармане у него лежало яйцо, из которого все выйдет, петушок выйдет, ему горя мало: пускай бабушка, что хочет, то и говорит про него.

Наскоро съел он свою яичницу, губ не обтер, прямо в сарай к индюшке. Подложил ей яйцо под хвост, ждет, что будет, а индюшка и не смотрит, будто и яйца никакого нет, не садится.

«Что же это значит? А ну как не сядет?»

— Садись, индюшка, садись, пожалуйста! — Петька присел на корточки, уставился в индюшачьи розовые бородавки и так замер весь на корточках, не дыша, не шевелясь с одной упорной мыслью, с одним жарким желанием, с одной просьбою: «садись, индюшка, садись, пожалуйста!»

Индюшка наежилась и присела, прямо на яйцо, так на самое яйцо и села.

И Петька долго еще сидел, не сводил глаз с индюшки с одной упорною мыслью, с одним жарким желанием.

Индюшка сидела спокойно, крепко на яйце курином.

Тихонько поднялся Петька, тихонько вышел из сарая, забежал за сарай, прилип к щелке: индюшка сидела спокойно, крепко на яйце курином.

Бабушке сказать? Нет, пускай бабушка сама увидит. А как бабушка обрадуется, когда увидит на яйце индюшку!

Весь день Петька караулил за сараем у щелки: следил за индюшкой, поджидал бабушку. Пришла бабушка в сарай, принесла корму дать индюшке.

— Слава Тебе, Создателю! — шептала старуха, крестилась, тычась по сараю, не веря глазам, ничего не понимая: индюшка снесла яйцо, индюшка на яйце сидела!

Вечером после долгого дня, чудесного, лег спать Петька, легла и бабушка. Вертелся, не спал Петька, все ждал, когда начнет бабушка о индюшке. С бока на бок поворачивалась бабушка: и хотелось ей новость сказать и боялась, не сглазить бы.

Крепилась, крепилась старуха, не вытерпела:

— Петушок! — покликала.

— Бабушка! — догадался пострел, в чем дело, и будто со сна откликнулся.

— Ты не спишь, Петушок?

— Что тебе, бабушка?

— Бог милости послал! — бабушка даже засмеялась, задохнулась от радости, — яичко! индюшка села...

— Села, бабушка?

— Села, Петушок, сидит... — бабушка тоненько протянула и закашлялась.

— Что ж, бабушка, куран у нас будет, петушок?

— Куран-петушок, он самый индейский, — шептала

бабушка, словно в куране-петушке индейском заключалась вся тайна, все счастье жизни ее и Петьки.

— Он у нас жить будет?

— С нами, Петушок, где ж еще?

— А мы его, бабушка, не съедим?

Бабушка не подала голосу, заснула бабушка, обласканная, обрадованная милостию Божией — кураном-петушком индейским, который через двадцать и один день выйдет из яйца куриного.

Чуть потрескивал огонек лампадки перед образками и крестиками, перед Четырьмя праздниками — Покровом, Всем Скорбящим Радости, Ахтырской, Знамением, перед Московскими чудотворцами — Максимом блаженным, Василием блаженным, Иоанном юродивым. Горы матери-пустыни, огненные от огонька, пламенными языками врезались в Кремль московский.

— Я, бабушка, петушка любить буду! — и заснул Петька, Петушок бабушкин.

Всякий день, и надо и не надо, наведывалась бабушка в сарай к индюшке, всякий раз благодарила она Бога за милость, ей ниспосланную, считала дни. И Петька дни считал и беспокоился не меньше бабушки, забыл запускать змеев своих, забросил змейные трещотки, забыл он, что яйцо им самим подложено, и верил в яйцо куриное, как в настоящее, индюшкой самой кладенное.

А индюшка, вопреки всяким индюшиным обычаям, без поры как села, так и сидела на яйце курином спокойно и крепко, и не думала вставать с яйца, погулять по сараю. Оттого ли, что сроду никогда до старости своей глубокой не неслась она и понятия не имела ни о каких яйцах — ни о своих, ни о куриных, или Петька тут действовал желанием своим, или бабушкино терпение услышано, жар наседочный загорелся у ней, как у заправской наседки, и розовые бородавки на голове ее побледнели.

И прошло двадцать дней и один день.

Петька ночи не спал, — «а ну-как петушок не выйдет, болтун выйдет?» — куда там спать!

И чуть свет, прямо в сарай смотреть к индюшке.

— Петушок идет, красно солнышко несет!

Подскакивал Петька на одной ножке, грея, дыша на петушка, и там, в сарае, и там, в бабушкиной комнатке подвальной, словно в петушке хранилась вся тайна, все счастье жизни его и бабушки.

— Слава Тебе, Создателю! Слава долготерпению Твоему! — обезножила бабушка от радости.

Осень в тот год выдалась сухая и теплая. Солнце, хоть и короткое, оперило петушка индейского: рос, хрипло покрикивал петушок, хорохорился, наскакивал на вешних дьяконовых петухов, дрался, как петух заправский. Все сулило в нем пунцовый острый гребень, крепкие шпоры, — голосистый голос — куран-петушок индейский!

Не индюшка, куда ей? — индюшка чахла, околевала, — бабушка ходила за петушком, и, когда тепло повернуло на стужу, взяли петушка из сарая в комнату. Сбережет бабушка Петькино счастье — выходит петушка, как выходила Петьку — сберегла свое счастье на старости себе.

С холодом и октябрьской слякотью наступило тревожное время, памятные дни жертв народных и вольности.

То, что на больших улицах а городе погасло электричество, а под боком на Курском вокзале стояли и мерзли блестящие, начищенные паровозы, а за Покровской заставой у Гужона не дымили страшные красные трубы, не пыхало зарево за Андрониевым монастырем, все это, казалось бы, мимо шло бабушкиной подвальной комнаты: не нуждалась бабушка в электричестве, по ночам не выходила за ворота, и в дорогу ей некуда было собираться, и с Гужоном она никаких дел не водила.

Но бабушка не одна в подвале: соседи, такие же, как она, подвальные, простой рабочий народ, туго, крепкою цепью были связаны и с гужоновскими красными трубами и с блестящими курскими паровозами, и то, что трубы не дымили и паровозы стояли, вышибло их из рабочей их колеи, перевернуло уклад их трудовой жизни, зашатало землю, стало в их жизни светопреставлением.

И чувство обуявшее улицы, ворвавшись в будничные

дни и мысли светопреставлением, переносясь от заставы до заставы, с улицы на улицу, из переулка в переулок, из тупика в тупик, с фабрики на фабрику, из подвала в подвал смутным предчувствием беды какой-то напасти неминуемой, охватило старую душу бабушки у порога ее смерти.

Пропавший где-то на Хитровке, сгинувший было совсем племянник бабушкин, Разбойник, вдруг появился у Николы Кобыльского в бабушкиной подвальной комнатенке.

Сведенная ревматизмом рука, нос будто в три носа один на другом — слоновая болезнь, черный потрепанный плащ, а под плащем — ничего, одно, еле-еле поддерживающееся немытое, заскорузлое белье, рвань и тряпки, навели на бабушку страх и трепет. И не того стало страшно бабушке, что Разбойник будет денег просить, с ножом к горлу пристанет, даст ему бабушка последние, хоть и трудно ей, наголодаются они с Петькой после, стало ей страшно в предчувствии каком-то, будто племянник, отец Петьки, Разбойник, с Петькой что-то сделает.

А что такое сделает и что может Разбойник сделать с Петькою, бабушка не умела себе сказать, и только где-то, в ее старой душе, ясно сказалось, что Петьке грозит беда, уж вышла беда из своего бедового костяного царства, идет, близится, подкрадывается к маленькому немудреному петушиному сердцу, беспощадная, неумолимая, немилосердная.

Племянник не пивши, не евши, голодный, — самовар ему бабушка поставила. Вернулся из училища Петька, сели к столу чайничать.

Петька, наслушавшись от странников на богомолье о жизни подвижников, как дошли угодники до своей святости, мечтал когда-то поступить в разбойники, грех принять на душу, а потом и к Богу отойти, в монастыре — в пещере жить. И вот он сидел за одним столом с разбойником, из одного самовара чай пили, и этот разбойник, племянник бабушки, сам отец его.

Петька не отрывал глаз от отца, смотрел на его трехступенный нос и так, с тем пожирающим любопытством, с каким смотрел в сарае на розовые индюшачьи бородавки. И не зная, чем угодить отцу, перед разбойником удаль свою показать, соскочил он со стула, поймал за-

бившегося под диванчик петушка, поднес его за крылышки.

— Вот он какой, — сказал Петька, — индейский!

— Нам с Петькой только бы петушок цел был, нам с Петькой больше ничего не надо! — словно бы оправдывалась в чем-то бабушка, руки ее тряслись и голова потряхивалась.

Разбойник подмигнул петушку — славный петушок! — Разбойник утолял голод, торопился, заедал проглодь свою, — от рябчика-то как подведет! — ел, весь Петькин обед прикончил и бабушкин, принялся за чай. Горячий чай распарил его, разморил, развязал язык. И он принялся что-то путанно рассказывать, смотря через Петьку и бабушку, как смотрел Петька, рассказывая о своем воздушном шаре, на котором поселятся он, петушок и бабушка.

По словам Разбойника выходило, что уж чуть ли не все стало можно, не стало никаких законов, нет больше закона, и не сегодня, так завтра капиталы все перейдут в его руки, и тогда начнется расправа, бой кровавый...

— Интеллигенщина... революция... — повторял Разбойник непонятные, мудреные слова и пальцем крутил себе около шеи, — я на графине женюсь!

И чем больше Разбойник разогревался, тем мудренее становились рассказы его и неподобнее.

Петька с разинутым ртом, смотря в трехступенный разбойничий нос, слушал отца. Бабушка головой потряхивала.

— Нам с Петькой только бы петушок цел был, нам с Петькой больше ничего не надо! — шамкала бабушка, словно бы оправдывалась в чем-то и за себя и за Петьку.

Опрокинув последнюю чашку, ушел Разбойник с бабушкиной последней мелочью в кулаке. Осталась бабушка с Петькой и петушком индейским. Прибрались, — прибрали самовар, вымыли чашки, смели крылышком в мешочек крошки, выучил Петька урок, посидели, позевали, поиграли в молчанки и скоротали вечер. Потом, помолясь Богу, заглянули под диванчик к петушку: спит или не спит? — петушок уж давно спал, и сами легли спать.

Вертелся, не спал Петька. С боку на бок поворачивалась бабушка: беспокойство гнело ее и страх.

— Петушок! — покликала бабушка: стало ей не в мочь терпеть свой страх.

А Петька, ворочаясь с открытыми глазами, разбойником себя видел, и из слышанных мудреных отцовских разбойничьих слов городил себе разбойничьи дела, разбойную жизнь.

— Петушок, а Петушок! — еще тише, еще ласковее покликала бабушка.

— Что тебе, бабушка? — вскочил Петька, он услышал бабушку: показалось ему, бабушка окрикнула его голосом.

— Это я, Петушок, не бойся, — бабушка со страха едва голос переводила, — ты, Петушок, не уходи никуда...

— В разбойники, бабушка, — живо ответил Петька, — разбойником буду жить! И ты, бабушка, тоже... в разбойники!

— Не уходи, Петушок! — тоненько, чуть слышно пропищала бабушка, не слышно для Петьки, и лежала так пластом в страхе смертном. Всякий стук, всякий треск был ей теперь угрожающим, лай собачий грозным, словно уж подкрадывался кто-то к дому их, пробирался к крылечку подвальному, вор — недобрый человек, за Петькой, за Петушком ее.

С открытыми глазами лежал Петька, не Петька, разбойник настоящий, черный, голова смазана коровьим маслом, как у морозовского кучера, нос — три носа, один на другом, рука скрючена, он заберет с собою бабушку, петушка индейского, полетят они на Хитровку в воздушном шаре, будут там разбойничать, будет там — бой кровавый...

Чуть потрескивал огонек лампадки перед образами и крестиками, перед *Четырьмя праздниками* — Покровом, Всем Скорбящим Радости, Ахтырской, Знамением, перед *Московскими чудотворцами* — Максимом блаженным, Василием блаженным, Иоанном юродивым. Горы матери-пустыни, огненные от огонька ночного, пламенными языками врезались в Кремль московский.

— Я, бабушка, в разбойники поступил! — бормотал сквозь сон Петька.

Неспокойная кончилась осень, наступила зима. Не улеглась тревога у бабушки, а Петька просто от рук отбился: нападает на сорванца икота, и он, — что бы *Отче наш* читать, прежде всегда *Отче наш* читал, помогало, —

Калечину-Малечину считает! Не успокоилась бабушка, не утишились улицы, холодом, лютью не остудилась Москва, не вошла жизнь в свою полосу буден с их трудом день-деньским и заботами.

По неведомым путям, нечуемым, шла, наступала беда на русский народ, беспощадная, неумолимая, немилосердная, загнала его в чужие дальние земли к чужому народу и там разметала на позор и глумление, вывела в неродный Океан и там потопила грознее бури непроносной грозы, и темная, ненасытная из чужой желтой земли шла, подступила к самому сердцу, в облихованную горе-горькую землю, на Москву-реку.

По грехам ли нашим, как любила говорить бабушка, в вразумление ли неразумению, как говаривал братец босой из чайной с Зацепы от Фрола и Лавры, или за всего мира безумное молчание свое, русская земля, русский народ, онемевший, безгласный, некрепкий, еще и еще раз караемый, отбыв три беды, отдавался на новую напасть.

И вот ровно пещерные горы огненные Московских чудотворцев, и в яви огненные, огненными языками плануди на московский Кремль, и в ночи дымящее зарево разлилось над Москвою.

После Николина дня, в субботу села бабушка с Петькой за стол, время было обеденное, принялись за еду, что Бог послал — не до бабушки, видно, стало в такие дни, забывали старуху, и нередко уж по целым неделям сидела бабушка с Петькой впроголодь.

— Бабушка, — Петька вскочил из-за стола, — слышишь?

Бабушка положила ложку, пощипала корочку.

Бабушка... — Петька просунулся к форточке.

Бабушка не шевелилась, только голова тряслась, как тряслась при Разбойнике.

— Стреляют, бабушка! — и Петька выскочил за дверь.

Стреляли в городе далеко, стреляли на Тверской где-то, и ровно из-под земли доносило на Земляной вал глухой ахающий гул, — дрожали стекла.

Бабушка не слышала. Петька услыхал.

И теперь бабушка слышала и крестилась, как при громе.

Наступили мятежные дни. Каждый угол, каждый перекресток стал обедован: ненасытная, темная, карающая, поджидала лихая и ночью и днем, и на безлюдье и на людях.

Страшно бабушке Петьку от себя отпускать. Долго ли до греха: уж одни везде разбойники виделись бабушке и в съемщиках, снимающих с работы по фабрикам и заводам рабочих и в дружинниках, и в драгунах, и в казаках, проезжающих по Садовой к Курскому вокзалу.

И все палят, бабушка уж ясно слышит, на Тверской где-то, в Кудрине, на Пресне и тут, два шага, на Мещанской где-то, все палят и палят, и с каждым часом все громче доносился гул до подвала и словно хлопает бич, ломают сухие ветки.

С Николина дня бабушка ночи не спала, караулила Петьку, как караулила в первые недели петушковой жизни петушка индейского, как караулил однажды сам Петька за сараем у щелки индюшку на курином яйце.

Рвется на волю мальчонка, не сидится ему в комнате, непоседа.

Побежал Петька с мальчишками на Сухаревку и бабушка за ним.

То-то Петьке развлечение: в прежнее время так ребятишки горку на льду строили, а теперь улицу загораживали.

Петька схватился за телеграфный столб.

— Тащи! — кричит неугомон бабушке.

То-то горе бабушке: от страха руки трясутся, какие там столбы таскать! лучина в руках не держится, — подняла бабушка щепочек, так стружек всяких, понесла за ребятишками щепочки и положила их, дар свой, в мирскую заставу — в груду нагроможденного добра к ящикам, решеткам, телеграфным столбам, вывескам.

— Ай-да бабка! — подтрунивали над старухой, и какой-то «разбойник» из дворников зубоскалил, поколачивая сапог о сапог.

— По грехам нашим! — шептала бабушка, уморилась она с своими щепочками, а отстать не отставала от Петьки.

Экий, ведь, молодец он у ней, взобрался куда, на самую-то вышку под кумачный флаг, заломил картуз, как

лихой казак, козырек лаковый, а флаг над ним кумачный, как воздухи...

— Залезай, бабушка! — кричит Петька своей бабушке, петушок-певун.

Ну и как тут отстать, на самое Сухуреву на башню полезешь!

Вечером, когда зазвонили ко всенощной и жутко, наперебой со звоном, врываясь в колокола, разносилась пальба, бабушка стала собираться ко всенощной.

Петька вперед побежал и на дворе с ребятишками возился у дьяконова коровника: в казаков затеяли игру и забастовщиков.

Бабушка, уж одетая в свою ватошную стеганую кофту, повязанная углом, в своем черном шерстяном платке, заглянула под диванчик к голодному петушку: спит или не спит? — спал петушок. Поправила лампадку, — глядели на нее из сумерек праведные лики: Чудотворцы, Божия Матерь, — и смутно ей стало.

Потужила она, что бедно у них, очень уж бедно стало, праздники подходят, нечем праздник встретить!.. трудно ей и в могилу пора и Петьку жалко... маленький, детеныш, хоть бы на ноги стал! несмышленый детеныш.

— Пресвятая Богородица, Всепетая, Господи, Заступница... — бабушка сложила пальцы крест сделать —

— Кончайте! — сказал кто-то за стенкой не то у маляров, не то у шапочников, должно быть, съемщик какой.

Бабушка вздрогнула, обернулась а в дверях племянник-Разбойник стоит.

— Давай, старуха, денег! — наступает.

Бабушка затрясла головой: хоть голову режь, нет у ней ничего.

— Нет, говоришь?

— Истинный Бог... нет.

Разбойник бабушку за шиворот, носом ткнул в комод.

— Ищи, говорю!

Бабушка пошарила под киотом и молча, — язык от страха не слушался, — подала Разбойнику три клубка

веревок: клубок толстой веревки, тонкой и разноцветных шнурочков, скопленное добро за много лет...

Разбойник стукнул кулаком старуху, покатился клубок, присела бабушка, как индюшка пред Петькой, и так застыла на корточках.

Разбойник расправлялся: опрокинул он бабушкин дубовый, железом обитый, смертный сундучок, повыбрасывал смертное добро — сорочку, саван, туфли, холстинку, полез в гардероб, оторвал дверцу, и там нет ничего, схватился за комод, все ящики перерыл, все вывернул, нет ничего! Один середний ящик не отворялся, — возился, возился, не отворяется...

Подкатившийся клубок разбудил петушка, вышел петушок из-под диванчика и, захлопал крыльями, хрипло запел, — запел, как в полночь, на свою голову, маленький такой, желтенький, с хохолком...

Разбойник поймал петушка, свернул ему шею, шваркнул бабушке:

— Подавись! — и пошел.

А там, на дворе у коровника, содом стоял, разыгрались ребятишки.

С криком выскочил Петька со двора на улицу — одна ватага другую преследовала, — перебегал через улицу.

Проезжавший патруль от Сухаревки, миновав Хишинскую фабрику, расчищая путь, открыл огонь по улице.

Петька кувырнулся носом в снег, схватился за картуз. — И больше уж не встал.

С разорванной грудью, пробитым сердцем, окоченелого вернули Петьку в подвал к бабушке, и картуз Петькин с козырьком лаковым.

Вот как, вот где, вот откуда беда пришла, принимай беду!

Все приняла бабушка.

Какая она старая, а все в комнатенке своей подвальной живет, живет себе, не пропускает ни одной службы и, когда случится покойник у Николы Кобыльского, пойдет и за обедню и на панихиду со свечкой постоять.

Нет никого у бабушки. Отдала она племяннику подстаканник серебряный с виноградами и две ложки серебряные, для Петьки берегла, ну, теперь ему ничего не

надо! Пропал племянник с подстаканником и ложками, не заходил уж к бабушке, околела индюшка.

Петушок идет, красно солнышко несет! — вспоминается бабушке, как Петька пел, часто-часто вспоминает она Петьку. Петушка своего.

И тихо рассказывает, так тихо, будто спят в комнате или болен кто и боится она разбудить, потревожить голосом, все рассказывает и о индюшке, и о яйце чудесном, о петушке индейском, о Разбойнике, и как строила она с Петькой заставу на Сухаревке, и как вернули ей Петьку с разорванной грудью, пробитым сердцем, окоченелого, и картуз Петькин с козырьком лаковым...

— Пошла я, батюшка, — тихо, еще тише, рассказывала бабушка, — пошла я свечечку поставить Ивану Осляничеку обидяющему, хочу поставить, а рука не подымается...

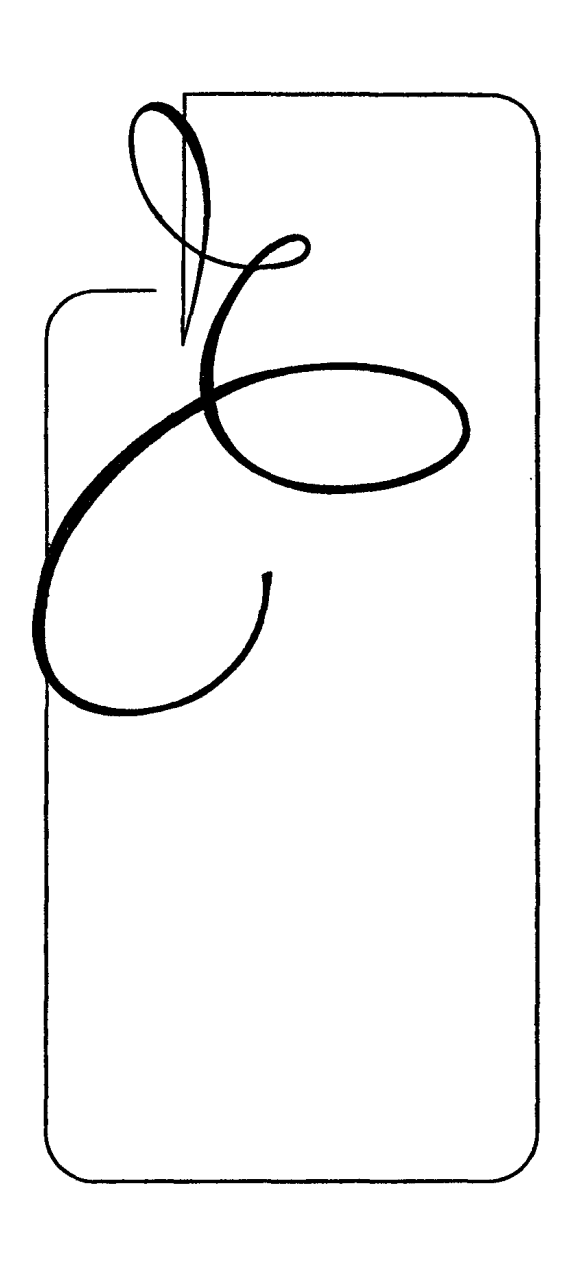
И подымала бабушка свою трясущуюся руку, и опустилась рука: это обида безвиненная, горькая, смертельная опускала ей руку, горечью темнила глаза ей, и рука тряслась, все подняться хотела и не давалась; а синие пустые жилы крепко напружились, крепко сжимались сухие пальцы: это сжимала она свечечку Ивану Осляничеку обидяющему, угоднику Божию, который обиды принимает безвинные, горькие, смертельные, все...

— И поставила!

Бабушка кивала головой и уж легко подымала руку так — так у Чудотворцев московских, у Максима блаженного, Василия блаженного, Иоанна юродивого так руки подняты, и рука не тряслась: это свечку держала она, свой горящий, неугасимый огонек, сжигающий в сердце последнюю, безвинную, горькую, стремительную обиду; и глаза ее тихо теплились: это вера светилась в глазах ее крепкая, нерушимая, доносящая до последних дней свечечку, огонек святой через все беды, через всякую напасть, через все лишения, когда уж все отнято — петушок индейский — Петька — Петушок.

1905—1911
1922

ПРИЛОЖЕНИЯ



ТОСКА НЕКЛЮЧИМАЯ

После Михаила Аверьяныча осталась мне бумажная память — его старый дневник. Давно я его получил, а вспомнил только теперь — не скрою, распродаю я сокровищницу мою татарам, вот и схватился.

Вынул, взглянул я на тетрадь и позабытое поплыло передо мной и с чего-то невеселое, и сам я не знаю, с чего?

Расставаться ли не хочется или оттого, что вспомнилась моя пора недумная или старец младенный на такое навел?

*

Михаил Аверьяныч от красного носу до козлиной бороды и длинных верховских волос являл собой облик духовный.

И точно, происходил он от благочестивого кореня.

Отец Аверьян — родитель был сельский священник и, хоть на службе не произошел, а все-таки запашку держал в сто шестьдесят десятин, да до тридцати лошадей стояло у него на конюшне, а по лесу так прямо цензовик, и лисий лик его часто украшал наши земские собрания.

А рядом с маленьким батюшкой можно было видеть на этих собраниях долговязого верзилу в очках — протодьякона, наряженного в судейский сюртук! — нашего достопочтенного Михаила Аверьяныча.

Всю судебную премудрость превзошел Михаил Аверьяныч.

Был он следователем в нашем уезде и, отличаясь отменной ретивостью, — такого мнения держалось начальство, — радовал прокурорское сердце непременным желанием во что бы то ни стало заточить.

И когда, случалось, прошибался, так уж прокуроры во всю большую дорогу вплоть до Палаты вызволяли служаку — — до следующего ошибочного заточения.

Но одно скажу, нет, не от слепой ретивости и не от исступленности сердца шла такая жестокая линия его и, если хотите, даже совсем наоборот, — ведь, сами судите, раз обви-

новатить никого нельзя, то само собой всякого и обвинить можно, а обвинив, заточить.

А эти вечные заточения сулили одни неприятности.

Особенно был неприятный случай, когда посадил он в острог свидетеля I-ой гильдии купца Ивана Гусева вместо Еремея Гусева, потому что записав на бумажке имя обвиняемого Иеремия, впопыхах не разобрал и прочел — Иоанн.

Прокормив двое суток осторожного клопа, выпущенный первогильдеец нанял адвоката Капустникова, а этот Капустников постарался и немало в Палате испортил крови Аверьянычу.

А случилось это в то время, когда жена Михаила Аверьяныча Марья Васильевна, рожденная Параклитова, лежала уж третий год без ног, наблюдая с одра своего за мужем во всех его действиях и служебных и домашних — чего уж греха таить: Михаил Аверьяныч, кроме всего прочего, очень уважал по старой память коньяк.

*

Марья Васильевна от недуга ли своего кандального или уж по природе душевной отличалась такой подозрительностью, что даже и вообразить себе невозможно: она ревновала мужа не только к свидетельницам, на что еще бывал повод, но и без всякого повода, — ко всякому существу одушевленному.

Стоило Михаилу Аверьянычу засидеться у того же кандидата Виноградова, безобиднейшего и скромнейшего, за беспорочие свое, как говорилось, доступного даже в общие женские бани, все равно участь ждала его та же, как если бы вернулся он из кабака или еще откуда.

Марья Васильевна, трогая двумя холодными пальцами нос мужа, требовала, чтобы дохнул. И пусть водки и намека нет, один табак и чай, зато нос горяч.

И начиналось медленное пиление по способу великомученскому, описанному в Четьях-Минеях.

Мужественно переносил Михаил Аверьяныч, всегда и во всем винясь и ничему не переча. Но зато потом, оставшись глаз-на-глаз с одной тоскующей ночью, отплачивал он со всем зверством, свойственным лишь человеку с добродушием звериным.

— Вот я тебя, мерзавец, потушу! — опрокидывал он свой неиссякаемый коньячный шкалик, укромно хранимый в шкафчике письменного стола.

*

Михаил Аверьяныч совмещал в себе все качества, какими наградил Творец свою тварь от звероподобного человека до скота очеловеченного, и среди всего, что живет, дышит и растет, был он сам по себе и в мыслях, и в делах, и в решениях.

И в допросах были у Михаила Аверьяныча собственные приемы, только его. И он говорил, что эти приемы перейдут в практику под именем михайловских.

Он с поднятыми кулаками бросался на старух свидетельниц, которые, на все соглашаясь, разбегались, куда попало от грозы несносной. Других изводил он убеждениями — и невиновный, разбередив в себе застарелые вины, отыскивал вину и во всем признавался, лишь бы отвязаться. Третьих донимал он напускною скорбью и так ныл и клянчил, что уж из простой жалости, что угодно возьмешь на себя, и подпишешься.

В довершение всех дел своих самоуправных смешивал он категории свидетелей и выходили такие казусы, от которых только хохот стоял, как в самом смешном театре.

Кандидаты, изнывавшие от однообразия судейской жизни, оживали не на час и не на день, а на целые месяцы.

А Михаил Аверьяныч, окончательно теряя с годами всякую общую меру и утверждаясь в своем михайловском, зарывался не на какую стать, и все чаще случались неприятности и куда почище, чем с его огульным заточением.

Предостеречь, вовремя остановить или боялись или просто не хотели: всякому хотелось чем-нибудь поразвлечься и как-нибудь скрасить уездный судейский пропад.

А мне чего-то бывало жалко и при всей своей неопытности, но с недумной уверенностью я вступал со стариком в самые резкие споры, доказывая прямо противоположное, и нередко брал верх, и тем самым отводил беду неминучую.

И старик искренно привязался ко мне и пошла у нас закадычная дружба.

*

За два года до смерти Михаила Аверьяныча померла Марья Васильевна, уязвив его в последний раз, будто ждет он ее смерти затем только, чтобы жениться на Полашке, неряшливой соседской кухарке.

На это Михаил Аверьяныч, во всем другом признававшийся, тут в первый раз не выдержал.

— Видит Бог! — сказал он и, похолодев, трясущийся вышел.

Чернющая тоска, как волчком, завертела им.

— Держу папироску и спичку в руках и вижу лампадка. И словно кто шепчет: прикури! И так толкнуло. Я и прикурил, — рассказывал мне Михаил Аверьяныч час спустя, когда я заглянул к нему проведать, — как вы думаете, что это значит?

А я тогда по недумности моей уверенной —

— Несомненно, — говорю, — знамение: не иначе, как смерть близкого человека.

— Значит — — и он не окончил, не то от страха, не то словно обрадовался чему-то, что и досказать стало страшно.

Мне не раз в разговорах с Михаилом Аверьянычем приходилось выдумывать самые разнообразные толкования и снам и приметам, и говорил я та́к, не очень веря, а потому не очень, что кто ж это знает?

— Так бы уж поскорее! — договорил он вслух свою мысль и полез к шкафчику.

Признаюсь, я ничего не понял.

Я понял наутро, когда услышал торжественный рассказ, как ночью действительно скончалась Марья Васильевна.

— Успокоил Господь ее пролежни! — закончил Михаил Аверьяныч и истово перекрестился.

Успокоил Господь и самого Михаила Аверьяныча, но уж без всяких знамений, впрочем, и являть-то некому было, ведь, кроме меня, ни души.

А помер старик за рюмкой коньяку над раскрытой книгой Добротолюбия.

*

Незадолго до смерти подарил мне Михаил Аверьяныч четыре тетради своих дневников, но с зароком: ничего не опубликовывать до смерти.

По его словам в этих дневниках немало заключалось вещей достопримечательных.

«Одних сбывшихся снов семьсот семьдесят семь, водных чудес тридцать и три, спиртных десять, а казусных больше тысячи».

Увы! Всего одна-единственная тетрадь сохранилась, другие же все забрал Иван Михайлович, сын Михаила Аверьянычa, учитель, приехавший внезапно из Петербурга на похороны отца.

Да и эту единственную тетрадь, обезвредив, оставил у меня только потому, что в ней нет ничего занимательного — ни снов, ни чудес, ни курбетов. От последних и самых зарочных — их особенно выискивал учитель, — каким-то чудом уцелело в моей тетради всего несколько строчек. Но и по этим курбетным строчкам живо встает в памяти младенный старец.

«27 мая в 37-ой раз был в Столбах, посещая рыжую (стерто), и опять благополучно. Но испугался: на губе прыщик. Сей день пришло успокоение и возблагодарил Всевышнего. Здрав и невридим».

«В тот же раз забыл штаны свои в оных Столбах и в 11-ть часов дня при светлом солнце возвратился для отыскания портков, будучи осмеян всеми блудницами. Причем от волнения хмель испарился из безумной главы моей».

«МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ» АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА

«Я рассказчик на новеллу», — сказал как-то о себе А. М. Ремизов — автор больших мемуарных книг, запечатлевших значительные события истории целого поколения русской интеллигенции первой половины XX столетия. Это важное признание писателя достаточно точно отражает прием, положенный в основу его крупных произведений. Все они принципиально мозаичны и составлены из множества отдельных, композиционно выстроенных рассказов, которые первоначально публиковались самостоятельно, затем постепенно перегруппировывались в циклы, циклы организовывались в главы, а главы — в романы и повести. Собранные воедино, ремизовские новеллы представляют собой одну большую литературную автобиографию, в которой отразились хроника русской жизни и сейсмология народных умонастроений 1896—1921 годов.

Первый рассказ Ремизова (он не сохранился) был написан в тюремном заключении, и это обстоятельство предопределило тематику и интонацию его ранних произведений. Дело даже не в том, что начинающий писатель избрал объектом литературных упражнений тему тюрьмы и ссылки. Существеннее всего было то, что их основным героем стал сам автор. Независимо от материала, будь то реально проживаемый жизненный эпизод или легенда, осознаваемая как часть собственной биографии, ремизовская проза имела единственную точку отсчета — личное «я» писателя. Его творчество всегда являлось исключительно субъективным: иного взгляда, кроме как из глубин собственного сердца, для Ремизова не существовало. «Я никогда не думал ни о пользе, ни о вреде моих книг, — значительно позже откровенно признавался писатель, — и не задавался целью пользовать кого или вредить. Передо мной никогда не было "читателя" — для меня удивительно слышать, как настоящие писатели говорят: "мой читатель" или благоразумный совет редактора: "надо считаться с нашим читателем"»[1]. Однако по сути дела именно с таким предписанием

---

[1] Ремизов А. Иверень. Загогулины моей памяти / Ред., посл., комм. О. Раевской-Хьюз. Berkeley, 1986. С. 14.

Ремизов столкнулся уже в самом начале своего творческого пути — в одном из многочисленных редакционных отказов:

«Милостивый Государь!

Полученная через г. Бердяева рукопись "В плену" не будет напечатана. Это вид литературы не удобен для нашего журнала вообще — не то стихи, не то метрическая проза. Что же касается содержания, то, не разбирая его по существу, что завело бы нас слишком далеко, редакция находит его вымученным, претенциозным и неестественным. Слишком приподнятый тон в связи с неясным содержанием делает все произведение нехудожественным»[1].

Ремизов никогда не подражал «настоящим писателям», и потому игнорировал общепринятые литературные правила или неизвестно кем установленные художественные ограничения. Неслучайно ему так запомнился один из первых рассказов Вяч. Шишкова («Помолились»), герои которого — тунгусы в поисках товарища пришли из тайги в поселок, и, не приученные к разлинованной улицами местности, где каждый дом был отграничен своим забором, принялись шагать прямо через заборы: поверх границ. Так и Ремизов — шагая поверх границ — нарушал каноны современной ему литературы.

Если читатель захочет найти в его рассказах последовательную цепь событий, то, пожалуй, придется перелистать десяток-другой текстов, пока не встретятся, скажем, «Суд Божий» или «Петушок», которые действительно отличаются от большинства новелл своей подчеркнуто повествовательной манерой. Почти полное отсутствие нарративной динамики нередко вызывало упреки критиков: «Статические способности Ремизова и почти полное его бессилие создать движение в рассказе, давать психологию "действия", сказывается и в лучших его вещах»[2]. С этим автору приходилось соглашаться: «Правда, не умею я писать, не умею описывать, как люди движутся, и думаю (и Вы это уразумели), в этом все мое существо бедное»[3].

Впрочем, такая безропотность была не без лукавства. Вовсе не в статике скрывалось «существо» ремизовской прозы, а в полноте описываемого бытия. «Какая-то жадность у Ремизова; не пропустить ни одного штриха, ни одной подробности; каждую фразу дополнить до краев — пусть даже через край; пусть иногда целое отяжеляет частности, всегда изумительные по яркости причудливой выдумки и острой наблюдательности. Зато

---

[1] РНБ. Ф. 634. № 249. Л. 2-2 об. (На бланке редакции журнала «Мир Божий»).

[2] Измайлов А. А. Пестрые знамена. Литературные портреты безвременья. М., 1913. С. 99.

[3] ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. № 276. Л. 12 (письмо Измайлову от 25 мая 1913).

во всей полноте встает каждое лицо, каждая картина», — отмечал другой критик[1]. Казалось, писатель воспринимал мир как собрание редких чудес, которые растворены повсюду. Нужно только уметь их разглядеть, для чего требуется не увеличительное стекло, а особенное зрение, которое святые старцы называли «сердечными очами». Выхватывая своими «подстриженными глазами» удивительные, на первый взгляд неприметные явления обыденной жизни, преображая тягостное, беспросветное однообразие повседневности, Ремизов создавал, тем самым, совершенно новый тип реалистической прозы.

Почвой, питающей столь оригинальное творчество, являлась русская литература: устное народное слово, древнерусские памятники письменности, вершины отечественной классики XIX столетия. Современники, анализируя генезис прозы Ремизова, неизменно отмечали ее преемственность по отношению к литературному наследию Гоголя, Достоевского и Лескова. Писатель сам признавал, что тяга к чудесному была воспринята им от Гоголя, душевный отклик на чужую боль — от Достоевского, поиск праведности — от Лескова. Эти знаковые фигуры русской классики не просто угадываются в парафразах хрестоматийных цитат («Русь белокрылая, куда ты летишь, исплакана, измученная и тоскою сердце рвешь?»), но зачастую прямо присутствуют в рассказах как объекты повествования. Новелла «Днесь весна», герой которой обращается к памятнику «огненной скорби» на могиле Достоевского, заканчивается словами: «— Федор Михайлович, Христос воскрес!»

В истории русской литературы ремизовская малая проза — явление узнаваемое и новаторское одновременно. Писатель определенно продолжал традицию, обязательным атрибутом которой было описание многочисленных язв большого города и нелегкой жизни «маленького человека». Пожалуй, с той лишь разницей, что он никогда не идеализировал жизнь сельскую, а редкие противопоставления этих двух топосов призваны были указать на то, что человек, где бы он ни был, всегда остается самим собой, и от перемены мест действия практически ничего не меняется («Чайничек»). Новеллы Ремизова — это достоверные зарисовки, фиксирующие вполне типичные явления жизни, знакомые каждому горожанину. Они сделаны с натуры, но при этом всегда предельно субъективны: описанию непременно сопутствует глубоко личное переживание. Как золотодобытчик, по крупицам собирал писатель примеры добра и великодушия, бесценные граны человечности, столь неочевидные в обычной

---

[1] Ауслендер С. Алексей Ремизов. Сочинения. Том первый. Издательство «Шиповник» // Речь. 1911. № 2. С. 5.

жизни. В кажущейся банальной истории одинокого человека, похожей на сотни других, он заставляет увидеть измученную душу, страдающую и взыскующую сочувствия («Шумы города»). Внутреннее драматическое напряжение рассказов из циклов «Свет незаходимый» и «Среди мурья и неурядицы» отражает столкновение в житейской повседневновсти Добра и Зла.

Чтение Ремизова требует соответствующего настроя. Еще современники отмечали необычные тенденции организации его художественных текстов, разрушавшие стилистические каноны и отвергавшие установленные синтаксические правила. Ремизовский нарратив, подчиненный живой, устной речи, в печатной записи отдаленно напоминает нотную партитуру. Так, двойное тире (— —), в поэме «Иуда» отмечавшее необходимую интонационную паузу, в прозе 1920-х годов становится устойчивым авторским знаком, несущим значительно большую смысловую нагрузку. Проза писателя — непринужденная вязь запечатленной на письме «изустной» речи — требует, конечно, соответствующего «музыкального слуха». Однако, чтобы уловить ритм и интонацию озвученного повествования, воспроизведенного новаторскими изобразительными средствами, необходимо и особое читательское зрение.

Начиная с первых своих рассказов, Ремизов рассчитывал на диалог не только с теми, кто распознал бы в описываемых событиях или героях приметы окружающей действительности, но, в первую очередь, с теми — кого мог объединить некий общий культурный и мировоззренческий контекст. Нетрудно заметить присутствие практически во всех произведениях кодовых сигнатур: имен, малоупотребительных слов, понятий и символов, настраивающих на нужный регистр литературных, мифологических, исторических ассоциаций — специально выделенных разрядкой. Разрядка выполняет функцию «смысловой ловушки», которая так или иначе заставляет любознательного читателя задержать взгляд, приостановить быстротечное чтение, чтобы оживить память литературным сопоставлением, постараться понять внутреннюю причину адресованного ему сигнала.

В рассказе «Эмалиоль» (само название которого наделено множеством интерпретаций) автор подчеркивает разрядкой слово *князь*, называя так безымянного героя-арестанта. В культурном сознании читателя-современника это указание могло вызвать ассоциацию с толстовским Нехлюдовым, который в поисках нравственного оправдания отправился по этапу на каторгу вслед за Катюшей Масловой. В то же время ремизовский герой — человек мягкий, тихий и светлый, сохранивший внутреннее достоинство, несмотря на жестокие обстоятельства судьбы, определенно соотносим с другим *князем* — героем романа До-

стоевского «Идиот» Мышкиным. Именно эта аллюзия оказывается наиболее продуктивной в контексте всего рассказа, сопрягаясь и с мотивом сновидения о гнусном насекомом, и с настойчиво повторяющейся темой тюремных мышей, которые вызывают вполне очевидную лексическую ассоциацию, и, наконец, с трагическим финалом.

Раскрывая секреты сюжетосложения своих первых автобиографических произведений — романа «Пруд» и повести «Крестовые сестры», Ремизов называл построение каждой их новеллы «симфоническим»: «Я начинаю с лирического запева и перехожу к повествованию (это музыкальное начало песенное). Главы начинаются песенным мотивом, отсюда я называю запев (как бы поется) к каждой главе»[1]. Схожим образом начинался и литературный путь в целом: лирические интерлюдии, написанные ритмизованной прозой, предшествовали созданию самого первого цикла рассказов («На этапе») и сыграли роль своеобразного «запева» в его творческой биографии.

Эти этюды позволяют определить круг литературных влияний начинающего писателя. Ранняя ремизовская проза с ее экспрессивным переживанием окружающей действительности как насилия над человеческой природой во многом вдохновлена французской поэзией рубежа веков (Бодлер, Верлен, Малларме, Верхарн). Когда у Ремизова возник замысел сборника стихотворений и поэм, в основном воспроизводивших реалии тюремного заключения и зырянские мифологические мотивы (все, что впоследствии вошло в циклы «Полунощное солнце» и «В плену»), он решил прибегнуть к соответствующему эпиграфу из Бодлера, перевод которого привел в письме к своему другу и советнику в литературных вопросах П. Щеголеву:

Скажи, волшебница, отверженцев ты любишь?
Виновной совести страшат тебя черты?
Неизгладимое простить способна ль ты?
Скажи, волшебница, отверженцев ты любишь?[2]

Уже первые пробы пера свидетельствовали о яркой и самобытной натуре, стремящейся зафиксировать живое движение напряженной мысли, что могло быть предопределено чтением и самостоятельными переводами произведений С. Пшибышевского и В. Стефаника. Как своеобразная рефлексия древнекитайской литературы (о своем знакомстве с ней еще с университетских времен Ремизов писал в своих воспоминаниях), про-

[1] Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, [1959]. С. 110.
[2] ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. № 1479—1610. Л. 72 (письмо от 8 ноября 1903).

читываются отдельные фрагменты его метризованной прозы. Начало стихотворения «Лепесток» вызывает вполне определенные ассоциации с китайской пейзажной лирикой:

На мой стол упал лепесток
Бежали тучи, ворочали последние темные молнии.
Поблекший бледный лепесток...

Значительно позже, будучи признанным писателем, Ремизов так высказывался на тему жанровых границ своих ранних произведений: «У нас еще нет культуры, нет Буало, и до сих пор, "стихи", значит, написанное "размером" по "стихосложению", а имя "поэт" — тем, кто стихотворствует в этом смысле»[1]. Новаторская проза молодого писателя свидетельствовала о самобытном эксперименте и оригинальном переосмыслении общепринятых литературных форм. Видимо поэтому своеобразие нового таланта не осталось без внимания одного из признанных идеологов и теоретиков символистской поэзии. «Мои "стихи", — делился Ремизов с женой, — Вяч. Иванов определяет по Горацию: "versus lege soluti" (стихи, освобожденные от закона)»[2]. И что особенно примечательно, по прошествии лет сам автор отнюдь не воспринимал свои первые литературные эксперименты как неизбежную болезнь роста, которую обычно художник переносит, словно корь, забывая навсегда. Ремизов не только не отказался от результатов раннего творчества, но, осознавая их как неотъемлемую часть собственной биографии, включил частично переработанные тексты в повествовательную ткань зрелой мемуарной прозы.

Плоды литературного труда начинающего писателя, окруженные модной аурой модернизма, вызывали весьма сдержанное отношение в редакциях журналов т. н. «реалистической школы». «Старшее поколение писателей: Короленко, Горький, Леонид Андреев, Бунин, Куприн, Серафимович и другие прославленные относились к моему отрицательно», — констатировал Ремизов в своих воспоминаниях[3]. Манеру письма, казавшуюся «неврастенической», припечатали ругательным словом «декадентщина». Однако именно ранними произведениями писатель открыто заявил о своем таланте, начавшем развиваться в русле совершенно

---

[1] На вечерней заре. Переписка А. Ремизова с С. Ремизовой-Довгелло / Подг. текста и комм. А. д'Амелия // Europa Orientalis. 1990. IX. S. 455.

[2] Там же. S. 459 (письмо от 25—26 апреля 1905 г.)

[3] Ремизов А. Встречи. Петербургский буерак. Париж, 1981. С. 121.

новых тенденций, принципиально отличных от прозы предшествовавшего литературного поколения.

Тексты с неустойчивой (пограничной) жанровой природой объединило мироощущение изгоя — человека, отверженного людьми. Действительно, потребность в литературном творчестве возникла у Алексея Ремизова при обстоятельствах, мало располагавших к художественному самовыражению. Этот реальный контекст, собственно, и стал тем исходным толчком, который помог раскрыться его художественному таланту. По Л. Шестову, «всякая глубокая мысль должна начинаться с отчаянья»: «думать, настоящим образом думать, человек начинает только тогда, когда убеждается, что ему нечего делать, что у него руки связаны»[1]. После того, как за молодым Ремизовым захлопнулись ворота тюрьмы, его сознание прожгло чувство глубокой безысходности, и только post factum писатель оценил тюремное заключение как исключительную возможность всецело посвятить себя литературному творчеству: «По природе я тюремный сиделец, а по судьбе Синдбад. Тюремный обиход самый подходящий для литературных упражнений: одиночка, молчание и без помехи, никто не прерывает»[2].

Уже первые публикации прочно утвердили за Ремизовым репутацию писателя с трагическим и даже надрывно-истерическим мироощущением. С исключительной силой зазвучала здесь тема глубоко переживаемой собственной вины: «...слушая Баха "Страсти от Матфея", я остро различал в звенящем рассказе евангелиста пробуждение Петра, когда запел петух, с неменьшей остротой я почувствовал отчаяние Иуды. Какой грех, какое преступление вызвало у меня это чувство? И думаю не вовремя мое появление на свет. Я как бы втерся непрошеный и в мире нежелательный. Вся моя жизнь прошла не по-людски. Под знаком "гони и не пущай"»[3]. Один из первых читателей поэмы «Иуда» делился с автором своим впечатлениями: «"Иуда" меня поразил опять тем же: на которой-то строчке (не определишь) блеснула молния, и в ее бледном блеске стало понятно, что все люди, и первый я, чем-то страшно виноваты перед Богом. Но чем и почему перед Богом-то всепрощения? Не знаю. Молния уже потухла»[4]; «если я по-настоящему сойду с ума, то от Ваших произведений: слишком они открывают тот мир, близкого соприкосновения с которым не выдержишь: упадешь, опаленный»[5].

---

[1] Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления. Собр. соч. Т. IV. Paris, 1971. С. 130.

[2] Ремизов А. Иверень. С. 30.

[3] Кодрянская Н. Алексей Ремизов. С. 89—90.

[4] РНБ. Ф. 634. № 42. Л. 1 (письмо Н. А. Андреева от 28 октября 1906).

[5] Там же. Л. 2 (письмо от 21 ноября 1906).

В общем хоре отечественной литературы серебряного века голос писателя действительно воспринимался одним из самых сильных и пронзительных. Совесть писателя была незаживающей раной, и это бесконечное сострадание ко всему в мире особенно походило на боль Достоевского. «Для Ремизова — каждая былинка, каждая человеческая мразь — "Гекуба"; только бы ему оправдать человека и бога в нем, он спотыкается от злости и бессилия. Все в душе у него беспокойно, отрывисто: достоевщина в кубе»[1]. Революционное прошлое с тюрьмами и ссылкой благоприятствовало появлению многочисленных критических интерпретаций его творчества как продуктов «подпольного» сознания. Впрочем, Ремизов и сам неоднократно примерял на себя экзистенциальный опыт знаменитого героя Достоевского: «Психология "подполья". Человек видит где-то над собой жизнь, слышит крики и возгласы, но вся эта "живущая" кричащая жизнь кажется ему фальшиво-настроенным инструментом»[2]. Выброшенный судьбой в «пограничье» — сначала из революционного подполья, затем многократно из т. н. «литературной общественности», в конце концов из России — в своем отрицании несправедливости мира писатель тем не менее никогда не отказывался от признания абсолютной, первичной ценности жизни: «Для чего я все собираю, подклеиваю, раскладываю по именам, по памяти и берегу? Пожар — и все сгорит. И на пожарище я буду собирать. Я вытолкнутый на земле жить»[3].

Выход из «подполья» виделся писателю не в вынужденном отказе от индивидуальных принципов в пользу общепризнанных законов и правил бытия, а в рождении иной жизни внутри самого «подполья». Эту мысль он впервые высказал в рецензии на «Апофеоз беспочвенности» Л. Шестова, где назвал конгениальную себе по духу книгу — «прелюдией подпольной симфонии»: «...в подполье, во мраке и сырости, вдруг загорается чудо, и вереницами бродят привидения, и снятся безумные сны, и ломаются, как прутики, все категории... И еще есть в подполье странные окна через землю в иной мир. Найдешь — вырвешь разгадку тем тайнам, от которых на стену лезут, не знают, не догадываются, пребывая в лоне природы и шаркая в черных кафтанах по глянцам паркета»[4]. Неслучайно, когда позже автор книги и ее рецензент станут близкими друзьями, Ремизов вспомнит о своем первом прочтении Шестова так: «рыбак рыбака видит издалека».

---

[1] Блок А. Собр. соч. В 8 т. Т. 5. М.-Л., 1962. С. 410.

[2] На вечерней заре // Europa Orientalis. 1984. IV. S. 161 (письмо от 26 мая 1903).

[3] На вечерней заре // Europa Orientalis. 1990. IX. S. 469.

[4] Ремизов А. По поводу книги Л. Шестова «Апофеоз беспочвенности» // Вопросы жизни. 1905. № 7. С. 204.

Быть может, именно это желание увидеть из окон подполья «иной мир» вызвало к жизни «магический реализм» Алексея Ремизова. Абсолютное «да» миру, открытый взгляд навстречу лучшему предопределили неподражаемую манеру ремизовского письма, его знаменитое «мифотворчество», привели писателя к созданию в своих произведениях глубоко интимного, свободного мира без лжи и фальши. Главным в творчестве оказался не безукоризненно точно снятый с действительности слепок, но ее тайное содержание — преображение, внутренний свет надежды и добра, которому писатель всегда был готов следовать в жизни. На вопрос, было ли творчество Ремизова уходом от реальности, критик Б. Филиппов ответил предельно точно: «Скорее — это некое постижение внутренней сути действительности, самой *идеи* ее; путь, каким шли к ее постижению и отвоплощению Гоголь и Иероним Босх, Гофман и Брейгель. <...> И мифотворчество Ремизова, если в грубо-биографическом, в психобиологическом плане и было *отчасти* защитной реакцией, уходом от убийственной действительности, то в плане духовном, творческом — было скорее постижением идеи, сути происходящего»[1].

Более десятилетия писатель словно накапливал силы и только к середине 1910-х гг. — в книге «Весеннее порошье» полностью утвердился в своем собственном, одному ему подвластном литературном пространстве. В отличие от ее предшественников — сборников «Подорожье» и «Докука и балагурье», преимущественно однородных по жанру и тематике, в основу «Весеннего порошья» был положен монтажный принцип организации художественного материала. Объединив рассказы из городской жизни и художественную обработку народных легенд и апокрифов, автор наглядно продемонстрировал естественное сближение индивидуального и народного творчества. Названия первых четырех циклов («Свет немерцающий», «Свет незаходимый», «Свет неприкосновенный», «Свет невечерний» — метафорические имена Иисуса Христа в церковном богослужении) были призваны раскрыть сквозную тему книги — присутствие божественной благодати во всем: в трогательной искренности маленьких людей («Птичка», «Звезды», «Павочка»), в самых, на первый взгляд, несущественных событиях жизни («Жук»), в подвижнических подвигах святых старцев («Авва Агиодул»), в легендах о ветхозаветных героях (цикл «Цепь златая»), в святочных фарсах («Матки-Святки»), в интимных, иррациональных областях подсознательной жизни человека («Кузовок»). В каждой новелле пронзительно звучал сострадательный, сочувствующий,

---

[1] Филиппов Б. Заметки об Алексее Ремизове (Читая «Взвихренную Русь») // Русский альманах. Париж, 1981. С. 224—225.

неравнодушный голос рассказчика. Само заглавие сборника утверждало ценность всех уровней бытия, пронизанных «разрешающим светом».

«Весеннее порошье» было воспринято рецензентами как окончательное преодоление автором комплексов «подпольного человека». «"Весеннее порошье", — писала поэтесса С. Парнок, — книга истинного глубочайшего просветления и безмерной любви, книга чудесно расточительного сердца»[1]. В произведениях Ремизова неожиданно открылись их пророческая глубина и удивительное проникновение в самое существо реального исторического момента: «Прекрасный рассказ "Спасов огонек", помеченный мирным 1913 годом, поистине пророческий рассказ. <...> Литература во всякое время, особливо же в роковые годы истории, должна быть распространительницею этого "Спасова Страстного огонька". Со смерти Льва Толстого первым страстным огоньком, принесенным нам современной литературой, является "Весеннее порошье" Ремизова»[2].

Авторский голос Ремизова обладает целым спектром интонаций, кроме одного — он никогда не осуждает своих героев. Жизнь многогранна и переменчива, и даже в самом мраке может блеснуть чудо человеческой природы, исполненной внутреннего обаяния. Казалось бы, после испытаний тюрьмой в молодости образ следователя, судьи, тюремщика должен был навсегда исчезнуть из художественного мира писателя или же восприниматься исключительно в черных красках. Тем не менее именно этот социальный тип описан в прозе писателя в самых различных вариациях, наделенных, как всегда, своим особым смыслом и известной человечностью. Его эволюцию можно проследить по целому ряду произведений: это следователь из рассказа «Опера» и чиновник канцелярии уголовного отделения Иван Семенович Стратилов из повести «Неуемный бубен», следователь Бобров из «Пятой язвы» и Иона из «Жизни несмертельной», служащие Крестов из «Шумов города» и, наконец, следователь Михаил Аверьянович — герой рассказа «Тоска неключимая».

Если проанализировать обстоятельства первых публикаций рассказов, то окажется, что некоторые из них впервые появились на страницах пасхальных или рождественских номеров периодических изданий (в основном газет). Сохранившаяся переписка писателя с редакциями запечатлела нередкие просьбы издателей предоставить для праздничных номеров новые произведения.

---

[1] Полянин А. [Парнок С.] Алексей Ремизов. Весеннее порошье. Изд. «Сирин». П. MCMXV // Северные записки. 1915. № 7—8. С. 261.

[2] Там же. С. 262.

Ремизов позже иронично вспоминал, что он числился «гастролером», то есть печатался по большим праздникам: на Рождество и Пасху. Действительно, существовала традиция, в рамках которой сформировался жанр рождественского и пасхального рассказов. Новеллы, тематически связанные с двумя главными праздниками христианского календаря, были призваны художественно, в непритязательной и сентиментально-нравоучительной форме описать проявления Божественной благодати в обыденной человеческой жизни.

Конечно, Ремизов был не единственным представителем модернистской литературы, кто писал праздничные произведения для периодической печати. Тем не менее можно уверенно сказать, что именно ему принадлежит определенная трансформация этой почти узаконенной литературной формы. Хотя писатель предлагал в газеты преимущественно сказки и легенды, переработки апокрифических сказаний, почерпнутые из неиссякаемого кладезя народной мудрости, среди публикаций встречаются и вполне реалистические рассказы, которые, вопреки читательским ожиданиям, совершенно лишены сусального блеска и умилительной патоки. Среди рождественских рассказов обращает на себя внимание «Святой вечер», впервые опубликованный под названием, созвучным народной украинской колядке: «Святой вечор», где автор отказывается от устойчивых стереотипов. Повествование строится на диссонансном столкновении обыденной городской жизни и желания героя всем своим существом проникнуться священным событием Рождества: встретить праздник согласно народным обычаям. Его благостному душевному настрою противостоят люди, утратившие сакральную связь с таинствами бытия. Несмотря на то, что в целом рассказ не оставляет сомнений в исчезновении той наивной веры, которая всегда поддерживала традицию (главному персонажу приходится довольствоваться случайными эрзацами и собственным упорством), новелла заканчивается на высокой ноте обретения героем чувства сопричастности народному мистериальному действу, совершаемому в навечерие Рождества Христова.

Особенность рождественских (или святочных) рассказов заключалась в органичном включении в них фантастических элементов. По своему содержанию такие произведения соответствовали народным обычаям в период между Рождеством и Богоявлением (Крещением) колядовать, рядиться в маски, изображавшие все разновидности нечистой силы, всячески кощунствовать, делиться друг с другом страшными и даже непристойными историями. Превосходными примерами святочного повествования являются новеллы «Оказион» и «Глаголица», которые, собственно, и написаны, как цепь историй, рассказанных на святочных сборищах у главного героя — Александра Александ-

ровича Корнетова. Однако «праздничные» сюжеты Ремизова — не всегда развлекательное чтение; они могут быть и тревожным сигналом о том, что в окружающем мире становится все меньше радости, добра, взаимопонимания и участия людей друг к другу.

Главный герой рассказа «На птичьих правах» — тот же самый Корнетов — вновь собирает у себя друзей на святках. Впрочем, и дом другой, и времена сменились: началась война, которая принесла с собой не только всеобщее смятение, но и ожесточение сердец. Не складывается, как прежде, веселая беседа, а тревожный случай, рассказанный одним из приятелей, заставляет от разговоров о частных эксцессах бытовой жизни перейти к мыслям об исторических судьбах России. Казалось бы, автор полностью отказывается от традиционного сюжетосложения рождественской истории: страшные святочные байки сменяет бытовой реалистический рассказ. Но, думается, писатель сознательно использует сложившуюся форму для демонстрации нового содержания (что подтверждается и комической концовкой, соответствующей святочной «чертовщине»): страшные фантастические истории сменяются не менее страшными и не менее фантастичными сюжетами, из которых создается привычная повседневность.

Реалистический характер даже самых удивительных, волшебных историй обусловлен автобиографичностью большинства произведений Ремизова. О своем творчестве писатель высказывался вполне парадоксально: «Автобиографических произведений у меня нет. Все и во всем автобиография...»[1] Действительно, его рассказы вмещают в себя не только проявления конкретных событий, но тот широкий контекст реальной жизни, который так или иначе становится предметом экзистенциальных переживаний и объектом необыкновенного воображения. Писатель словно специально подчеркивает эти прорывы вымысла в реальную жизнь, с каждым годом сокращая дистанцию между ней и литературой. И если в цикле рассказов о ссылке и тюрьмах автобиографическое еще во многом скрыто вымышленным, то уже в «Весеннем порошье» канва реальной бытовой жизни писателя (прототипы многочисленных персонажей, поездки, знакомства) легко прочитывается, а в книгах «Среди мурья» и «Шумы города» конкретные имена и связанные с ними эпизоды, обстоятельства, случаи, которые остались на памяти у многих современников, вполне органично вписаны в повествование.

---

[1] Цит по: Грачева А. М. Революционер Алексей Ремизов: миф и реальность. Приложение // Лица. Биографический альманах. 3. М.; СПб., 1993. С. 442.

Организуя циклы как продуманные композиции, Ремизов создавал единый автобиографический текст. В рассказах первой половины 1910-х гг. наиболее последовательным литературным воплощением персоны автора является Корнетов. Произведения, объединенные этим постоянным героем в некое тематическое целое, можно условно определить как «цикл о Корнетове». Именно этот уникальный, десятилетиями складывавшийся текст лег в основание автобиографической книги «Учитель музыки», где авторский прообраз воплотился сразу в нескольких ипостасях и под разными именами. Описание «сборищ» у Корнетова в ироническом тоне воспроизводит обстановку, царившую в доме писателя в 1905—1910-х годах (сначала на 5-й Рождественской и Кавалергардской, затем — в Малом Казачьем переулке и на Песочной), где собиралось примечательное общество его знакомых и друзей. Здесь бывали и завсегдатаи вечеров у Вяч. Иванова, Мережковских, Сологуба и Розанова, и новые люди, близкое знакомство с которыми явилось результатом дружеских и творческих контактов. Особой популярностью пользовались встречи на святках. Приглашение на один из таких вечеров находим в письме Ремизова к А. Бенуа:

«Глубокоуважаемый и дорогой Александр Николаевич!

5 генваря по обычаю прошлых лет празднуем Голодную Кутью и гадаем, вручая судьбу свою Козлу, который зримо присутствует и руководит гостями.

И вот просим Анну Карловну и Вас навестить нас в этот вечер (Крещенский сочельник), когда в полночь чудо из чудес бывает — звезды заговаривают по-человечьи. Привезем из Черниговск<ой> губ>ернии> колбас и маковников и будет очень весело»[1].

На святочных встречах царила дружеская атмосфера раскованного, непринужденного игрового общения, всячески поощряемая хозяином. Позже эти «сборища», как, собственно, и дом писателя получат другое знаменитое мифологическое название — Обезьянья Великая и Вольная Палата[2]. Стиль дружеских встреч будет узаконен общим правилом поведения для посетителей: «Все приходящие в Обезьянью Великую и Вольную Палату как к себе домой — сидят на диване и на креслах, курят и везде сорят, разговаривают громко по телефону, прямо над самым ухом»[3].

---

[1] ГРМ. Ф. 137. № 1465 (письмо от 1 января 1908).

[2] Подр. см.: Обатнина Е. Р. Обезьянья Великая и Вольная Палата А. Ремизова: игра и ее парадигмы // Новое литературное обозрение. 1996. № 17. С. 185—217.

[3] ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. № 13. Л. 38.

Вокруг Ремизова объединялись исключительно незаурядные личности, пусть и вовсе незаметные или даже подозрительные для обывательского сознания: «И кого только ни набиралось на Кавалергардскую провести на высотах у Корнетова веселый вечерок, кого тебе надо, изволь: и старики-моховики, и молодежь желторотые, и тихие, и крикуны, и ссорщики, и наустители, и философы». Корнетов-Ремизов стремился собрать вокруг себя общество ярких индивидуальностей и, судя по всему, ему удавалось раскрыть в каждом из них редкие способности, подчас незаметные в повседневности.

С этого времени в обычае у Ремизова стало наделять гостей прозвищами, как позже участников Обезьяньей Палаты обезьяньими званиями и титулами: «Почти у всех знакомых А. М. <Ремизова> были прозвища: Утенок, Мэнада, Нерпа, дядя Комаров, Копытчик, Нонн (бывшая стрекоза обезьянья), Листин, Каракатица, Верховая, Эмир обезьяний, Муфтий (И.-А. Бунин), Игемон-Деспот, протопоп обезьяний (профессор Паскаль), Куафер обезьяний, Странник и т. д.»[1]. Характерно, что прозвища, которые хозяин присваивал своим гостям, больше походили на клички, чем на указание их профессиональной принадлежности. Аналогичное представление героев «Глаголицы» и «Оказиона» перемещает повествовательный строй на уровень игры смыслами: «Бывал правовед, которого Александр Александрович для почету и ради большей важности величал кавалергардом, бывал военный смотритель — полковник с колючими шпорами, ума несравненного, а с ним придворный музыкант в малиновом кафтане с медалями, бывали адвокаты и бритые и с бородкою, товарищ прокурора — муж изрядный и наученный, инженер — розмысл, искусный в разорении домов, моряк с кортиком, старичок учитель — ума гордостного и помысла лукавого, он же и профессор, заслуженный шутливый актер, знаменитый певец без слуха и голоса, и все-таки певавший, не жалея горла, по упорному настоянию Корнетова <...> скороспешный журналист <...> и, наконец, бывший член Государственной Думы, он же и зоолог, получивший название свое за необыкновенное пристрастие к аквариуму, больше не за что».

Впечатление двойной игры усиливается от того, что в каждой характеристике закодированы подлинные имена действительных гостей дома Ремизова, многие из которых в скором времени станут членами Обезьяньей Палаты. Среди них И. Рязановский, В. Розанов, М. Кузмин, А. Зонов, И. Соколов-Микитов, А. Котылев, И. Жилкин и другие. Иногда выявить точные прототипы

---

[1] Резникова Н. В. Огненная память. Воспоминания об Алексее Ремизове. Berkeley, 1980. С. 132.

персонажей не представляется возможным из-за их принципиальной полисемантичности. И все же в «Глаголице» под именем «колыванского немца» Пауля Рюкерта, очевидно, подразумевался немецкий поэт Ганс (Иоганнес) фон Гюнтер (1886—1973), который в конце 1900-х годов несколько раз приезжал в Петербург и близко сошелся с молодыми писателями-символистами. «Старичок учитель — ума гордостного и помысла лукавого, он же профессор», который в «Оказионе» рассказывает сказку о царе Додоне, является литературным двойником В. Розанова; «моряк с кортиком» — это И. Соколов-Микитов; «бывший член Государственной Думы» — И. Жилкин, а прибившийся к дому Корнетова Соломон, вероятнее всего, — «dr. Соломон Леонтьев»[1] и т. д. Преемственность «сборищ» на Кавалергардской и Обезвелволпала подтверждается, в частности, и тем, что М. Кузмин (анонсировавшийся как автор «обезьяньего марша» к «Трагедии о Иуде...») в рассказе — «придворный музыкант в малиновом кафтане с медалями», в Обезьяньем обществе получит титул кавалера и должность «музыканта Обезвелволпала»[2].

Настоящая сказочным дворцом предстает в рассказах скромное жилище Корнетова: «Что ни комната, то свое название. Кабинет — неподобная комната в семь углов — избушка ледяная, тут Александр Александрович проводил за делами дневные часы свои. Соседняя с кабинетом комната — избушка лубяная или хворостяная, служила она у Корнетова молельней. Затем большая комната — палаты пировые, брусяные, а из пировых брусяных палат ход в самую маленькую комнатенку — в луговище. <...> Гости располагались в палатах или толклись в ледяной избушке, где такая стояла жара, ну, как банная, и от тесноты — повернуться негде! — и от жаркого парового отопления». Таким же мифологическим пространством окажется потом и Обезьянья Палата, в реальности — одно из помещений любой квартиры, где жил Ремизов: в Петербурге, Берлине и Париже. Чаще всего это была комната, отведенная под кабинет и по-домашнему именуемая «Кукушкина»[3], или же кухня — «обезьяний притон» (по его собственному определению)[4].

Игнорируя границы между литературой и реальностью, писатель делает достоянием читателя не только собственную жизнь,

---

[1] Упомянутый в письме Ремизова к М. А. Волошину от 28 марта 1908 г. (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. № 1010. Л. 8). Можно также предположить, что под этим именем подразумевается Соломон Львович Поляков-Литовцев (1875—1945).

[2] ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. № 13. Л. 8.

[3] См.: Никитин В. П. «Кукушкина» (Памяти А. М. Ремизова). Воспоминания / Подг. и комм. Н. Грякаловой // Ремизов А. Павлиньим пером. СПб., 1994. С. 212—238.

[4] См.: Кодрянская Н. Ремизов в своих письмах. Париж, 1977. С. 48.

но и подробности быта своих ближайших знакомых. Все они становятся героями рассказов, а некоторые (например, И. Рязановский) и постоянными персонажами его творчества. Упоминанием многих имен автор приоткрывает целые сюжеты из петербургской литературной жизни, которые представлены здесь как необычные явления повседневной жизни города. Словно невзначай, Ремизов начинает рассказ «Исаич», посвященный известному издателю Гржебину: «Рассказать ли вам о страннике Евгении, ходившем по Петербургу под видом немого, и как заговорил он чудесным образом, или о Зиновии Исаевиче...». Такой зачин рассчитан на два круга читателей. Первые, лично не знакомые с писателем, могли принять упомянутого «странника» за обычный типаж столичных городских улиц (кстати, уже встречавшийся на страницах ремизовских произведений, например, в «Страннике Божием»). Другие же (чаще всего — писатели, то есть друзья и знакомые Ремизова) узнавали в этом контексте совсем иные реалии. Под «странником Евгением» иронически подразумевался писатель и литературный критик Е. Лундберг. Сохранилось письмо Лундберга к Ремизову, прямо относящееся к первым строкам рассказа: «Я отнюдь не "сожалею", что Вы не "подробно" написали о "страннике Евгении" — совершенно напротив, так что и отдельный рассказ о нем — вряд ли доставит жертве рассказа большое удовольствие»[1].

В литературном Петербурге Ремизов действительно прославился своими необычными шутками, мистификациями и розыгрышами, которые сам сочинитель идентифицировал как «безобразия», при этом подразумевая внутренний скрытый смысл: без-óбразие, то есть нечто, не имеющее образа и предшествующее воображению. Нередко малозначительные происшествия и эпизоды из жизни литературного мира становились подспудными толчками для ремизовских рассказов. Но только тогда, когда писатель наполнял их новыми художественными смыслами и образами, создавая из обычного особенное, неприметное событие превращалось в легендарное, а весь эпизод литературного быта преобразовывался в литературный факт.

Ряд рассказов Ремизова существенно дополняет то мифологическое сказание о литературном Петербурге, которое позже будет собрано в книге воспоминаний «Встречи. Петербургский буерак». Одним из главных героев феерических по яркости сюжетов и образов мемуаров станет В. Розанов. Ему же посвящена одна из первых книг, написанных Ремизовым в эмиграции, — «Кукха. Розановы письма». Однако, пожалуй, первый опыт набросков к литературному портрету философа восходит к рассказу

---

[1] ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. № 124. Л. 34.

«Пупочек» (1913). С одной стороны, этот рассказ-загадка ничем не выделяется в ряду других новелл о детях, с другой — открывающейся только сведущим или внимательным читателям — в нем тонко представлена добрая и, вместе с тем, ироничная интерпретация личности Розанова, в том числе и идей, которые так его увлекали. Розанов, как известно, был наделен огромным дарованием, реализовавшимся в самом широком спектре его трудов по истории культуры, церкви, общественности и литературе. Но, пожалуй, сквозной проблематикой его творчества всегда являлись вопросы пола и их значение в истории человечества.

Ремизов раскрывает эту серьезную тему с удивительным изяществом. Розанов — наивный и естественный ребенок (кстати, напоминающий писателю маленькую племянницу Ляляшку, благодаря играм с которой, собственно, и была придумана игра в Обезьянью Палату) нарочито узнаваем в герое «Пупочка» — мальчике Юре — чем-то удивительно похожем на некоего учителя Василия Васильевича: «юркий, быстрый, носик торчит, а главное, говорил скоро очень»; «был <...> уверен, что они очень богатые и в подтверждение, должно быть, этой уверенности показывал мне как-то копейки новенькие — богатство свое». Помимо указания на увлеченность нумизматикой, особую двусмысленность описанию придает иронический намек на «торчащий носик» Конгруэнтность образа ребенка и личности философа настолько намеренна, что далее по ходу рассказа мальчика так и именуют — «Василием Васильевичем». Безобидная шутка взрослого: «Знаешь, Василий Васильевич, я у тебя твой пупочек съем!» — непроизвольно связывает детское восприятие омфалоса (подсознательно ассоциирующегося с центром личного бытия и тела) с онтологическими представлениями взрослого человека о фаллосе. Пафос переживаний ребенка передается от лица рассказчика: «Ах, ты Господи, западет же такое в душу и уж все мыслишки, какие есть, все мысли у него к одному, к этому стянулись, а это одно, это все — пупочек, и важное такое, все, главное самое, лишиться, чего просто он и представить себе не мог, представить не может, чтобы такое было, если бы вдруг да лишился: вот я взял бы да и съел его!» Ребенок — это прообраз взрослого человека. В «Пупочке» маленький «Василий Васильевич» наделен вполне узнаваемыми чертами своего взрослого двойника и, более того, выражает punctum puncti розановского мировоззрения, переданный через призму детских представлений об интимной сакральности.

Нетрудно заметить, что герои многих рассказов Ремизова — это наивные и непосредственные дети (или же взрослые, напоминающие детей). Мир для них столь же привлекателен, сколь опасен, жесток и груб. Во время Всенощной проказливого

гимназиста Павлушку пронизывает трагическое чувство одиночества: «Почему только один он стоит маленький, ни в чем невиноватый и всем чужой? <...> Я не виноват ни в чем, — шептал Павлушка, и ему до боли стыдно, что он не виноват ни в чем...» («Слоненок»). Ребенок хранит в себе свойства, утрачиваемые взрослыми, и, прежде всего, — умение видеть мир глазами первооткрывателя, перед которым распахивается сказочная страна. Таков Атя из «Царевны Мымры», для которого Депутат, Проститутка, Китаец из новой для него городской жизни подобны сказочным чудищам Кузь-Пине или Искал-Пыдо (персонажам вотяцкого фольклора), которые еще недавно были живой реальностью его доверчивого сознания.

Целая портретная галерея маленьких детей выстраивается в циклах «Свет немерцающий», «Среди мурья и неурядицы», рассказах из сборника «Зга». Дети, требующие любви и постоянного внимания, для Ремизова — подлинная драгоценность жизни. Как животные и дикари, они представляют собой то прекрасное состояние человечества, которое не отягощено пороками, цинизмом и страхом. Преображение ремизовской манеры письма в рассказах о детях было отмечено критикой: «С А. Ремизовым случается иногда литературное чудо: обычно умышленный, замысловатый стиль его рассказов вдруг как-то выравнивается, становится проще и согревается легкой приятной теплотой. Это бывает у Ремизова в тех случаях, когда ему приходится рассказывать о детях, и дети являются основными лицами, направляющими события в рассказе»[1].

К началу 1920-х годов ремизовская малая проза вполне утвердилась в сознании современников как полноправное продолжение русской классической литературной традиции. Иванов-Разумник причислил ее к вершинным достижениям «нового реализма», который «может померяться главами с вершинами символизма русской литературы»[2]. З. Гиппиус, пристально наблюдавшая за развитием художественного таланта, делилась своими впечатлениями с женой писателя: «Книги Ал. Мих. читаю и перечитываю с громадным вниманием. В "Шумах города" он, по-моему, иногда возвышается до современного Достоевского»[3]. В то же время критика отмечала: «Ремизова мы считаем отцом <...> интереса ко всему пестрому, красочному в нашей действительности, к анекдоту, нелепости и сплетению

---

[1] Редько А. «Сашка Жегулев» Л. Андреева и «Петушок» А. Ремизова // Русское богатство. 1912. № 1. С. 147—148.

[2] Иванов-Разумник. Русская литература XX века (1890—1915 гг.) Пг., 1920. С. 36.

[3] Lampl H. Zinaida Hippius an S. P. Remizova-Dovgello // Wiener Slawistischer Almanach. 1978. Bd. 1. S. 174 (письмо от 28 июля 1922).

всяких трагикомических случайностей. Его «Жизнь несмертельная» <...> выдает опытную руку мастера, искусившегося в хитрой словесной вязи. Зарядом анекдотических, посыпанных крупной солью смехотворных приключений, умеет он разрисовать и нелепость, и муку»[1].

Большинство современных исследователей в определении общего строя ремизовской прозы прибегает к такой обширной дефиниции как «модернизм». В этой связи уместно вспомнить слова русского «дадаиста» Сергея Шаршуна, который еще в 1932 году, размышляя о тенденциях современной мировой литературы, назвал прозу Ремизова «магическим реализмом». Опираясь на высказывания французского литератора Э. Жалю, Шаршун определил роль этого направления «в отыскании в реальности того, что есть в ней странного, лирического и даже фантастического, — тех элементов, благодаря которым повседневная жизнь становится доступной: поэтическим, сюрреалистическим и даже символическим изображением»[2]. Сам Ремизов размышляя над творчеством современников, открывших новые художественные возможности прозаического жанра, уклончиво говорил: «Это, и не романтизм и не реализм, а вот... что-то теперешнее, новое»[3].

Как известно, в мировой литературе понятие «магический реализм» закрепилось за лучшими образцами латиноамериканской прозы. Тем очевиднее для нас, что ремизовское творчество всегда было созвучно самым широким, общекультурным тенденциям, и тем шире контекст историко-литературного изучения его творчества, в котором открываются подчас неожиданные соответствия, «рифмы» и аналогии различных литературных новаций. И действительно, скрытый нерв ремизовского повествования — это волшебство реальной жизни. Магия буквально пронизывает все рассказы, проявляясь то в загадочном названии, где непонятное, или забытое слово заставляет переосмыслить содержание повседневного бытия («Среди мурья», «Царевна Мымра», «Эмалиоль»), то в стремлении открыть «чудо» в самом обычном или неприметном, потому что на самом деле: «За чудом далеко не надо ходить, а за границу ездить и подавно. Оно тут всякую минуту перед глазами, только смотри и замечай» («Чудо»).

Е. Обатнина

---

[1] Локс К. «Петербургский альманах». Кн. 1-я. Изд. Гржебина. Петербург-Берлин, 1922. [Рецензия] // Печать и революция. 1922. Книга 2-я. Апрель—июнь. С. 359.

[2] Шаршун С. Магический реализм // Числа. 1932. № 6. С. 229.

[3] Там же.

КОММЕНТАРИИ

В настоящем томе представлены рассказы, созданные А. Ремизовым в России в 1896—1921 годах. Большинство из них были объединены автором в циклы — в соответствии с основным принципом, избранным для художественной организации собственного творчества. Этот принцип сохраняется в настоящем издании с целью максимально полно представить произведения писателя, написанные в жанре реалистического рассказа. Ввиду ограниченности объема издания из состава некоторых циклов изъяты тексты, основанные на фольклорных источниках: сказки, былички, притчи, легенды и т. п. (в комментариях их названия обозначены в квадратных скобках). За рамками издания остались новеллы, впоследствии вошедшие в роман-эпопею **«Взвихренная Русь»**, и циклы «снов», объединенные автором в книгу **«Мартын Задека. Сонник»** (Париж, 1954).

Поскольку рассказы Ремизова мигрируют из цикла в цикл и из сборника в сборник, каждый раз образуя новые композиции, в настоящем издании они публикуются по последнему циклу, соответственно, по последней редакции. Для отражения истинного содержания отдельных циклов названия текстов, извлеченных из них, помечаются в угловых скобках — с указанием сборников и новых циклов, куда они впоследствии были помещены автором.

За условный цикл мы принимаем рассказы сборника **«Зга»** (1925), хотя и не имеющие циклического деления, но объединенные подзаголовком **«Волшебные рассказы»**. В их состав включены и пять реалистических рассказов, которые развивают заданную тему «чудесного» применительно к обычной жизни. Именно эти тексты воспроизводятся в настоящем издании.

Учитывая тот факт, что каждая последующая публикация одного и того же рассказа являлась, как правило, новым вариантом текста, а зачастую и его новой редакцией (по отношению к автографу или же к первой публикации), в данном издании мы не стремились отразить лексические, синтаксические и прочие текстологические изменения. В то же время в отдельных случаях, описывая историю рассказов, мы фиксируем наиболее примечательные отличия разных редакций.

Ремизовские произведения малой формы характеризуются жанровой неустойчивостью. Сам автор называл их то сказками, то рассказами, то поэмами, то повестями. В настоящий том включены его метризованная проза, которая может быть идентифицирована как стихи и поэмы, а также рассказы, по своему объему более подходящие под определение «повесть»: **«Павочка»** и **«Петушок»**,

в своих последних редакциях опубликованные отдельными изданиями. Кроме того, здесь представлены тексты, не входившие ни в какие циклы. В «Приложениях» помещен рассказ **«Тоска неключимая»**, который относится к своего рода раритетам творческого наследия Ремизова, поскольку не печатался при его жизни.

Каждый цикл сопровождает краткая историко-литературная характеристика. Тексты снабжены информацией об их первой публикации и сведениями о местонахождении известных автографов. Датировки рассказов приводятся в соответствии с годом, обозначенным автором в конце своих произведений (если таковой имеется); по указателям («Временнику» и «Азбуковнику»), составленным писателем к восьмому тому его Сочинений (СПб.: Сирин, 1910—1912), а также по аналогичным указателям к другим сборникам. Если время создания текста устанавливается по косвенным источникам (например, переписке), то дата ставится в угловых скобках. В случае несовпадения авторской датировки и косвенных свидетельств мы ставим двойную дату, при этом выявленную по косвенным источникам также помещаем в угловых скобках. Здесь же приводится информация о других прижизненных публикациях текста. В случае переименований указываются иные названия текста.

Тексты воспроизводятся в соответствии с авторской пунктуацией и с сохранением некоторых особенностей старой орфографии.

ЧЕРТОВ ЛОГ

Печатается по: Чертов лог и Полунощное солнце. Рассказы и поэмы. СПб.: EOS, 1908.

Цикл является первой частью сборника. Составившие его рассказы первоначально публиковались в повременных изданиях как самостоятельные произведения, не связанные общим тематическим либо идейным замыслом. **«Чертов лог»** состоит из 12 новелл; пять из них (**«Чертик»**, **«Слоиенок»**, **«Барма»**, **«В секретной»**, **«Пожар»**) были включены Ремизовым в последующие сборники и, соответственно, в новые циклы.

[Чертик]

<СЛОНЕНОК>

Прижизненные издания: Шиповник, 1; 3га.

БЕБКА

Впервые опубликован: Курьер. 1902. 24 ноября. С. 3 (с подписью: *А. Ремизов* (Молдаванов).

Рукописные источники: РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 2. № 92.

Прижизненные издания: Шиповник 1.

Дата: 1901.

По воспоминаниям писателя, рассказ, написанный в 1901 г. в Усть-Сысольске, дорабатывался в Вологде при участии Б. Савинкова и П. Щеголева — товарищей по ссылке, оказывавших дружескую поддержку Ремизову в его начальных шагах на литературном поприще. Свой первый прозаический опыт автор адресовал в 1902 г. в издательство «Знание» — М. Горькому и в журнал «Русское богатство» — В. Г. Короленко. Оба они отказались принять рассказ для публикации. В письме от 4 сентября 1902 г. Короленко следующим образом мотивировал такое решение: «Очерк Ваш "Бебка", присланный Вашим товарищем Б. Савинковым, я прочел. Для журнала он не подходит уже по своей миниатюрности. Написан очерк литературно, но это как будто запись слов и движений одного ребенка, не переработанная в художественный типический образ» (РНБ. Ф. 634. № 249. Л. 3) Тем не менее рассказ был вновь переписан и вместе со стихотворением «Колыбельная песня» отправлен на суд заведующему литературным отделом московской газеты «Курьер» Л. Н. Андрееву. Уже 22 ноября Ремизов получил положительный ответ, подписанный секретарем редакции И. Д. Новиком: «Ваши "Колыбельная песня" и "Бебка" приняты и будут помещены в непродолжительном времени». (Там же. Л. 7). Историю публикации рассказа см.: Встречи. С. 125—126; Иверень. С. 205; 212—213; Грачева А. Алексей Ремизов и Леонид Андреев (Введение к теме) // Исследования. С. 41—45. Публикация в сборнике **«Чертов лог и Полунощное солнце»** существенно отличается от первой печатной редакции рассказа. К самым примечательным текстологическим расхождениям относится замена реплики Бебки, адресованной лирическому герою: «Ста-рый ка-зак Алек-сей!» — на более комичную, привнесенную в редакцию 1908 г.: «Козел бородатый». В редакции из сборника также отсутствует концовка, расположенная в первой редакции после отточия: «Черная с золотыми очами южная ночь покрывает меня. Ветер улетел, ветер не звенит замерзшими ключами от моих дверей. Завтра быть может.. Но где же Бебка, где ты?»

С. 5. *Дратва* — толстая смоленая нить для шитья кожи.

Бебка — маленький сын ссыльных, с которыми Ремизов жил в одном доме в Усть-Сысольске, находясь там в 1900—1901 гг. под гласным надзором полиции. В одном из альбомов Ремизова сохранилась фотография родителей мальчика, доктора Заливского и его жены Любови Семеновны, с припиской — «а у них мальчик Бебка» (РНБ. Ф. 92. № 340. Л. 22 об.). О реальном герое своего первого опубликованного произведения Ремизов вспоминал: «Я кончил «Эпиталаму» — плач девушки перед замужеством и рассказ о самом младшем нашем товарище — сын доктора Заливского, сослан в Усть-сысольск с отцом — мой чудесный «Бебка», его мать царская кормилица, здоровый мальчик, и совсем не похож на других моих приятелей косоглазых кикимор из белых ночей и крещенских вьюг» (Иверень. С. 205).

С 6. *Он идет в соседнюю комнату, где работают сапожники* — обстоятельства реальной жизни поднадзорного Ремизова, снимавшего угол в доме на берегу Усть-Сысолы вместе с ссыльными сапожниками из Вильно. (См.: Иверень. С. 158—159). В альбоме писателя сохранилась фотография этих ссыльных, подписанная значительно позже: «За работой. У меня в устьсысольской Обезвелволпалате» (РНБ. Ф. 92. Оп. 1. № 340. Л. 23).

<В СЕКРЕТНОЙ>

Прижизненные издания: Шиповник 2, под загл. «В плену».

МУЗЫКАНТ

Впервые опубликован: Наша жизнь. Иллюстрированная и литературная неделя. Приложение. (СПб.) 1905. № 10. С. 77—80 (под загл. «Музыка»).

Прижизненные издания: Шиповник 3.

Дата: 1900.

В феврале 1903 г. Ремизов отправил в Петербург Щеголеву небольшой цикл под общим заголовком «НЕ ТО», который состоял из трех рассказов: «Певец» (первоначальное заглавие рассказа «Музыкант»), «Вор» и «Опера». Рукопись предназначалась для журнала «Новый путь» (Щеголев. С. 168; п. от 22 февраля 1903). Однако задуманный план не удалось реализовать, и месяц спустя (29 марта) Ремизов просил товарища вернуть ему тексты для переработки (Там же. С. 173).

СЕРЕБРЯНЫЕ ЛОЖКИ

Впервые опубликован: Факелы. СПб., 1906. Кн. 1. С. 167—177.

Прижизненные издания: Шиповник 3.

Дата: 1903.

В основу сюжета положен реальный эпизод биографии писателя, относящийся к пензенской ссылке (1897—1898), куда Ремизова сослали из Москвы за участие в студенческих беспорядках. В феврале 1898-го он был снова арестован за пропаганду революционных идей среди местных рабочих, а после освобождения из тюрьмы ожидал решения суда (См.: Иверень. С. 138—148; а также: Грачева А. М. Революционер Алексей Ремизов: миф и реальность // Лица. Биографический альманах. 4. М.; СПб., 1993. С. 419—432). Рассказ, первоначально озаглавленный «Вор», был включен в цикл «НЕ ТО», так и не появившийся в печати. В 1906 г. Ремизов предпринял очередную попытку напечатать его, уже как самостоятельное произведение и с новым названием. 19 января 1906 г. он писал Щеголеву, явно имея виды на редактируемый товарищем журнал «Былое»: «Сим вручаю Вам «Серебряные ложки». С просьбой напечатать их, елико возможно скорее. <...> Размер «Ложек» не больше «Секретной». Есть и общественное и психология и не фокусно. Я бы напечатал» (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. № 1479—1610).

С. 16. *Кто-то говорит: ты — шпион...* — автобиографический мотив несправедливого обвинения, в разных вариациях повторяющийся и в других произведениях писателя.

НОВЫЙ ГОД

Впервые опубликован: Перевал. 1907. № 3. С. 3—11.

Прижизненные издания: Шиповник 3.

Дата: 1902.

В марте 1903 г. Ремизов послал рассказ «из Устьсысольской жизни» (первоначальное название «**В новый год**») в газету «Курьер» и получил от И. Д. Новика отказ, мотивированный «несезонным» содержанием произведения (См.: Щеголев. С. 170). Судьба его первой публикации тем не менее была решена в письме редактора журнала «Перевал» С. А. Соколова: «Новый год» беру охотно. Только по поводу этого рассказа адресую две маленьких просьбы: нельзя ли устранить звукоподражание: «шран-трибер-питаке» и фразу: «В кучке у полки с книгами, разместившись поудобнее, тишком кусали кому-то пупок». Исполнением этих просьб меня *чрезвычайно* обяжете"» (РНБ. Ф. 634. № 203. Л. 14; п. от 30 октября 1906). Несмотря на запланированную публикацию в январском номере журнала (См.: Там же. Л. 16; п. Соколова от 6 декабря), рассказ был напечатан в марте, с учетом только одной поправки, предложенной редактором: снято «звукоподражание». Новелла вызвала неодобрительный отклик З. Гиппиус, в целом симпатизировавшей начинающему писателю. В письме к С. Ремизовой-Довгелло, она не скрывала своей досады: «А <лексей> М<ихайлович> меня огорчает: смакует гадости, зачем? Ведь это примитивно "стыдно" <...> Нехорошо он в Перевале написал. На себя намазал» (Lampl H. Zinaida Hippius an S. P. Remizova-Dovgello // Wiener Slawistischer Almanach. 1978. Bd. 1. S. 166).

С. 22. *Васильев вечер* — восьмой день святок (1 января[1]) в народном представлении считался особенно благоприятным для исполнения желаний при гадании.

С. 25. *трыкнув* — щегольнув.

С. 29. *шорник* — человек, работающий с лошадиной упряжью.

С. 31. *латошил* — бестолково болтал, молол языком.

сулея — большая бутыль.

куёвдилась — бранилась.

С. 32. *300 рухи* — игра слов: три старухи.

перепелястый — рябой.

Накинув плащ, / С гитарой под полою... — первые строки песенного варианта стихотворения В. А. Соллогуба «Серенада» (1830-е), посвященного Н. М. Языкову: «Накинув плащ, с гитарой под рукою, / К ее окну пойдем в тиши ночной...»

С 33. *паглинки* — чулки, покрывающие только голень ноги.

КРЕПОСТЬ

Впервые опубликованы: Адская почта. 1906. № 2. С. [1], 6—7.

---

[1] Здесь и далее все даты народных и церковных праздников указываются по старому стилю.

Прижизненные издания: Шиповник 3.
Дата: 1906.

Рассказ вызвал восторженный отклик Андрея Белого: «Читал Вашу "*Тюрьму*" в "Адской почте" и очень ей восхищался» (РНБ. Ф. 634. № 57. Л. 6—6 об.; п. б/д).

БЕЗ ПЯТИ МИНУТ БАРИН

Впервые опубликован: Перевал. 1906. № 1. С. 34—35.
Прижизненные издания: Шиповник 3.
Дата: 1906.

Соглашаясь напечатать рассказ в первом номере журнала, С. Соколов в п. от 20 сентября 1906 г. деликатно высказал свои «стилистические» замечания: «Спасибо за память. "Без пяти минут барина" берем. Чуть смущает меня, признаюсь, "дерьмо на лопате"» (РНБ. Ф. 634. № 203. Л. 13). Текст, однако, был напечатан без учета редакторских пожеланий. В 1913 г. в связи с публикацией в журнале «Заветы» романа В. Ропшина (Б. Савинкова) «То, чего не было» (1912. № 1—8; 1913. № 1, 2, 4) возник конфликт, в ходе которого прояснился источник ремизовского рассказа. В статье заведующего литературным отделом Р. В. Иванова-Разумника «Литература и общественность. Было или не было? (О романе В. Ропшина)» (Заветы. 1913. № 4. Отд. II. С. 149) утверждалось, что в третьей главе первой части своего романа Савинков использует сюжет рассказа «Без пяти минут барин». Савинков решительно отверг фактическое обвинение в плагиате и в письме к редактору журнала заявил, упоминая имена членов редколлегии: «г. Иванов-Разумник, как член редакции, был обязан знать, что знали его товарищи и чего не знают читатели. В. С. Миролюбову и В. М. Чернову было известно, что о "заимствовании" в точном смысле этого слова не может быть и речи: рассказ "Без пяти минут барин" записан Ремизовым в бытность мою с ним в ссылке в Вологде в 1902 г. с моих слов. Уже одно это обстоятельство должно было удержать добросовестного критика от обвинения в "заимствовании"» (См.: Иванов-Разумник I. С. 79—80; п. Б. Савинкова от 13 июня 1913; публ. В. Г. Белоуса. Подробнее о конфликте см.: Городницкий Р. А. В. Ропшин versus Иванов-Разумник. Письма Р. В. Иванова-Разумника к Б. В. Савинкову // Там же. С. 72—78).

С. 42. *полбутылки казенки* — имеется в виду водка, изготовленная на государственном заводе.

дал встряхнину... — т. е. стрихнина.

ПРИДВОРНЫЙ ЮВЕЛИР

Впервые опубликован: Хризопраз. Худ.-лит. сб. изд-ва «Самоцвет», М.: Самоцвет, 1906—1907. С. 38—44.
Рукописные источники: РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 3. № 4.
Прижизненные издания: Шиповник 3.
Дата: 1906.

Рассказ, первоначально отправленный в «Перевал», был отвергнут С. Соколовым, который писал 20 ноября 1906 г. автору: «Возвращаю "Придворного

ювелира", ибо он мне не слишком нравится» (РНБ. Ф. 634. № 203. Л. 15). В текст включено стихотворение «Беспокойные тучи, куда вы?», выполняющее роль лирической вставки, впервые самостоятельно опубликованное в ярославской газете «Северный край» (1903. 30 марта. № 83. С. 2) и изъятое из последующей публикации (Шиповник 3). Впоследствии на слова этого стихотворения А. Архангельским была положена музыка. Ноты «Романса для контральто или баритона» на стихи Ремизова сохранились в альбоме писателя 1921 г. «Корова верхом на лошади. Цветник II» с авторской припиской «Стихи устьсысольские напис<аны> в 1901 г.» (РНБ. Ф. 634. № 18. Л. 17—18).

[Пожар]

ПОЛУНОЩНОЕ СОЛНЦЕ. ПОЭМЫ

Печатается по: Чертов лог и Полунощное солнце.

Цикл состоит из трех частей. Первая из них (**«Белая башня»**) является собранием коротких произведений метризованной прозы. Они объединены темой переживаний лирического героя, находящегося в тюремном застенке. В основу цикла был положен личный опыт политического арестанта и ссыльного Ремизова (1896—1903). **«Белая башня»** создана на основе поэмы **«В плену»**, которой не суждено было появиться в печати в полном объеме В результате последующих многократных переработок **«Белой башни»** появилась автобиографическая «повесть» **«В плену»**. Вторая часть **«Северные цветы»** начинается безымянной интерлюдией — стихом, который впоследствии получил название **«Северные цветы»** и вместе с четырьмя другими стихотворениями из цикла **«Полунощное солнце»**, объединенными автобиографической темой ссылки, был с небольшими изменениями включен писателем в третью часть поэмы **«В плену»** (Шиповник 3) — в цикл под названием **«В царстве полунощного солнца»**. Следующие десять текстов (из которых нами изъяты **«Разрешение пут»** и **«Плач девушки перед замужеством»**, впоследствии перенесенные Ремизовым в сборник сказок **«Посолонь»**) посвящены отдельным мифологическим образам зырян, населявшим места, где Ремизов провел в ссылке несколько лет. Эти стихи снабжены авторскими примечаниями, помещенными в конце сборника, которые мы приводим в кавычках непосредственно в комментарии к каждому из них. Семь остальных миниатюр цикла — импрессионистические зарисовки, живописующие чувства и настроения лирического героя на фоне северной природы. Завершает цикл поэма **«Иуда»**.

<I. БЕЛАЯ БАШНЯ>

Впервые опубликован: Шиповник 2, в составе **«В Плену»** (фрагмент под названием **«В секретной»**).

II. СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ

Стихи, посвященные северной мифологии, возникли как результат глубокого интереса Ремизова к фольклору и этнографии. Об увлечении Ремизова зырянским бестиарием свидетельствуют его письма к жене, написанные незадолго до окончания ссылки: «После обеда открыл еще новое существо, называется "пöлезница": живет в цветущей ржи, ее глаза, как васильки, видима с Покрова дня до Ильина, еще более яростна, чем "лесная женщина" (лесавка), та хоть мечтает и ищет взрослых, а эта подкарауливает ребятишек. <...> Материалы достал от того самого зырянина, про которого писал. Выспрашивал его. Да подошел час: ему в Устьсысольск, а мне в магазин» (На вечерней заре. I. S. 163; п. от 27 мая 1903). Освободившись из ссылки, 19 июня 1903 г. Ремизов прибыл в Херсон и остановился в гостинице «Лондонская» (до 4 августа). Здесь в короткий срок (с 22 июня по 24 июня) были созданы восемь стихотворений, тогда условно называемые **«Зырянский мир»**. Датировки почти всех стихотворений (1903 г.) устанавливаются нами по письму Ремизова жене от 24 июня 1903 г., в котором он сообщал о завершении работы над циклом: «Получилась раскладная картина: 1) Омель и Ен, 2) Пöлезница, 3) Быбуля, 4) Икета, 5) Кикимора, 6) Кутьи-войсы (исправлено), 7) Заклинание ветра, 8) Ошька-моска (исправлено)» (На вечерней заре. I. S. 174—175). Летом 1903 г. Ремизов безуспешно пытался пристроить цикл в столичные издания («Новый путь», «Курьер», «Ежемесячные сочинения»). Значительно результативнее были переговоры с московским издательством «Скорпион». Уже к 25 июня писатель подготовил рукопись для альманаха «Северные цветы», о чем сообщил жене: «Целый день переписывал "зырянский мир", ждет вас, чтобы поехать к Брюсову» (Там же. С. 175). Несмотря на то, что стихи были отосланы в «Северные цветы», практически одновременно с этим еще одна рукопись была отправлена в журнал «Новый путь» (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. № 1459—1610. Л. 56; п. Ремизова к Щеголеву от 27 июля 1903). Сохранились два недатированных беловых автографа (ГБЛ, ф. В. Я. Брюсова; ИРЛИ, ф. Р. В. Иванова-Разумника), содержащие цикл зырянских стихов. Один автограф (далее: Херсонская рукопись I — ГБЛ. Ф. 386, 100. 16. Л. 16—29), состоит из 6 стихотворений: **«Сотворение мира»** (первоначальное название стихотворения **«Омель и Ен»**), **«Ветер»**, **«Кикимора»**, **«Бубыля»**, **«Кутья-войса»**, **«Икёта»**. Другая рукопись содержит восемь текстов: I. **«Сотворение мира»**, II. **«Пöлезница»**, III. **«Кикимора»**, IV. **«Бубыля»**, V. **«Кутья-Войса»**, VI. **«Йкета»**, VII. **«Заклинание ветра»** (первый из одноименных стихов, опубликованных в **«Чертов лог и Полунощное солнце»**: «Что ты, глупый, гудишь, ветер»...); VIII. **«Öшка-Мöска»** (ИРЛИ. Ф. 79; необработанная часть архива Иванова-Разумника. Далее: Херсонская рукопись II). Тексты автографов являются вариантами по отношению к печатным редакциям. Пять из них впервые были опубликованы в четвертой книге альманаха «Северные цветы» (1905) под общим названием **«Полунощное солнце»**, где был напечатан отсутствовавший в обеих рукописях **«Плач девушки перед замужеством»**. Наибольшие трудности Ремизов встретил в публикации стихотворений **«Ошка-Мошка»** (**«Радуга»**) и **«Бубыля»**. Стих **«Ошка-Мошка»**, впервые опубликованный в ярославском «Северном крае», возможно из-за специфичности названия

достаточно долго не мог попасть на страницы столичных изданий, несмотря на предложения Ремизова в 1905 г. напечатать его в «Приложении» к газете «Наша жизнь» (ИРЛИ. Ф. 627. № 1479—1610. Л. 116; п. к Щеголеву от 14 августа 1905). Только в 1906 г. этот текст с более понятным названием (Радуга), а также стих **«Бубыля»**, удалось напечатать. Нелегко далась публикация и стихотворения **«Заклинание ветра»**, написанного еще в 1903 г. Вероятно, в 1904-м появилось второе одноименное стихотворение. Оба они не были приняты к печати в альманахе «Северные цветы» и впервые увидели свет в составе сборника **«Чертов лог и Полунощное солнце»**. В 1905 г., еще до выхода в свет «Северных цветов», Ремизов задумал создание отдельной книжечки стихов под названием **«Полунощное солнце»**, где предполагались и иллюстрации в исполнении художницы Т. Н. Гиппиус (См.: На вечерней заре. III. S. 453, 457). Замысел остался нереализованным. Подробнее об истории первых публикаций лирических стихотворений Ремизова см.: На вечерней заре. I. S. 168, 171, 173—177; Брюсов. С. 137—193; Щеголев. С. 168, 174—175).

<ЦЕПКИЙ ПЛАУН...>

Впервые опубликован: Шиповник 2, в цикле **«В царстве полунощного солнца»** (под названием **«Северные цветы»**).

ОМЕЛЬ И ЕН

Впервые опубликован: Северные цветы Ассирийские. Альманах IV издательства «Скорпион». М., 1905. С. 70—72 (под названием I. **«Омéль и Éн»**).

Рукописные источники: Херсонская рукопись I, II (под названием **«Сотворение мира»**).

Дата: <1903>.

«Омель и Ен — названия зырянские, а описываемые под этими названиями боги, их дела и личности, созданные этими богами, относятся к зырянской мифологии. Я не могу утверждать, что представленная мною космогония и образы существ, созданных Омелем — богом печального образа совпадают с представлениями древнего зырянина. Живя в Устьсысольске (Вологодской губернии), в этом центре зырянского населения, я глазами пленника смотрел на неведомое мне нерусское царство и слушал рассказы трех простых людей, с которыми коротал долгие зимние дни-полуночи. Книги и рассказы просвещенных зырян: книги К. Ф. Жакова и рассказы В. В. Налимова дали мне ту шапку-невидимку, в которой я сам на свой страх пошел по лесам, и полям странной зырянской земли, как странна медноликая белая зырянская ночь.

Омель и Ен — два главных и собезначальных божества, два творца мира зырянской мифологии. Зырянскому дуалистическому мифу о мироздании находятся параллели в мифологии соседних народностей: у чермисов творят Юма и Керемет, у мордвы Чам-пас и Шайтан, у вотяков Инмар и шайтан; та же двойственность сказывается у вогулов, у сибирских маньзов (древних югров), в самоедских, тюркских и монгольских сказаниях, восходивших к финско-угорским и урало-алтайским древним поверьям, к которым близко подходит рас-

пространенный среди славян богомильско-христианский миф о совокупном творчестве Бога и Дьявола (Сатанаила), возникший из учения манихеев и павликиан и напоминающий древнеиранские представления о совместном творчестве Ормузда и Аримана.

Необходимо отметить особенность в мотивах творчества зырянских богов. Насколько известно, таких мотивов не встречается. И тот и другой, отягченные мощью и не проявившие своих творческих возможностей, каждый про себя, решаются покончить с собой и, оставляя мир, в своем падении встречают друг друга. Через отчаянье в миг восторга встречи создает Ен видимый мир — весь белый свет и, успокоенный в сознании своего величия и совершенного дела, удаляется на вершины Брусяных (Уральских) гор, где и до сей поры восседает гордый и недоступный и так высоко, что никакая молитва, никакая жалоба не доходит и не беспокоит его божеского слуха. Все хорошо и лучше не может быть в белом царстве Ена. Через отчаянье в миг горькой мудрости, что бессмертным богам нет даже надежды на смерть, творит Омель свой странный мир, полный мечты и разочарования. И грусть покрывает счастливую землю Ена.

Все созданное Омелем тяготится своей жизнью, хочет быть обыкновенным, жить от весны до зимы, расти и клониться, как живет и поспевает Еново создание по каким-то его строгим законам непреложно и размеренно. Омелевы дети, очутившиеся в плену у Ена, — одиноки, как чужие, и все их надежды освободиться или смешаться тщетны. Лучше быть чем угодно, только не самим собой в этом белом суровом царстве Ена» (*Авт. комм.* С. 313—314).

ПОЛЕЗНИЦА

Впервые опубликован: Северные цветы Ассирийские. С. 72—73 (под названием «**Пӧлéзница**»).

Рукописные источники: Херсонская рукопись II (под названием «**Пóлезница**»).

Дата: <21.VI.1903>.

«**Полезница** — созданье Омеля, живет на полях, хоронясь в колосьях. "Не забирайтесь в колосья, там вас Полезница ухватит и все выкусит", — говорят старшие ребятишкам, когда те отправляются в поле.

Не от жестокости занимается Полезница таким истязанием малолетних и тяжким уродованием, она хочет превратиться в женщину-человека и надеется, что это превращение наступит, когда станет она есть живые человеческие органы нетронутые и чистые» (*Авт. комм.* С. 314).

Описание мифологического существа (в написании *Пӧлӧзнича*) содержит статья В. Кандинского «Из материалов по этнографии сысольских и вычегодских зырян. Национальные божества (по современным верованиям)» (Этнографическое обозрение. 1889. Кн. III). «Полезница» стерегла рожь до Ильина дня, и до этого времени крестьяне не смели подходить к полям. Хотя прежде всего ее боялись взрослые, однако, по мере преодоления суеверия страх перед «полезницей» переместился на детей; старики, помнящие прежние поверья, досадовали, что рожь прежде была лучше (См.: Там же. С. 110). Время создания стихотворения уточняется письмом Ремизова жене от 22 июня 1903 г., в котором он сообщал: «Вчера сумел овладеть собой: написал "Пӧлезницу"» (На вечерней заре. I. S. 173).

ИКЕТА

Впервые опубликован: Северные цветы Ассирийские. С. 74—75.

Рукописные источники: Херсонская рукопись I (под названием **«Икёта»**), Херсонская рукопись II (под названием **«Йкета»**).

Дата: <1903>.

«**Икета** — так называют ребенка-уродца, рожденного от Лесной женщины и человека охотника. Лесные женщины, отчаявшись в собственном превращении, живут надеждой: соединившись с человеком, родить человека, который выведет их из Енова плена — сделает их своими в Еновом царстве. И никогда не рождается человек, а всегда Икета с вывернутыми пятками» (*Авт. комм.* С. 314).

КУТЬЯ-ВОЙСЫ

Впервые опубликован: Северный край. 1903. 14 февраля. № 42. С. 2 (под названием **«Кутьи войсы»**).

Рукописные источники: Херсонская рукопись I, Херсонская рукопись II (под названием **«Кутья-Война»**.

Дата: <1903>.

Прижизненные публикации: Северные цветы Ассирийские (под названием **«Кутья-Война»**).

Дата: <1903>.

Первая публикация стихотворения сопровождалась авторским примечанием: «Язычеко-христианское верование зырян: под Рождество пробуждаются от проклятия «Кутьи войсы» — демонические существа и властвуют над землей до Крещения». В сборнике **«Чертов лог и Полунощное солнце»** это стихотворение также было снабжено авторским пояснением: «**Кутья-войсы** — метельные духи, которым дается власть над землей от Постной кутьи — Рождественского сочельника до Богоявления, — двенадцать дней в году. На Богоявление по освящении воды они угоняются в свое царство и метели не слышно. «Чтоб тебя кутья-войса взяла!" — говорится в сердцах на обидчика, а уж Кутья-войса спуска не даст, с ней не похорохоришься» (*Авт. комм.* С. 315).

С. 55 *мячкают месяц* — играют как в мяч.

БУБЫЛЯ

Впервые опубликован: Прометей. 1906. № 1. С. 10.

Рукописные источники: Херсонская рукопись I, II (под названием **«Бубыля»**).

Дата: <1903>.

«**Бубыля** — олицетворение Омелева отчаяния, а может быть, общего исконного богам отчаяния, которое заложено в твореиии мира. Бубыля — домовой, смущающий покой и счастье, которое, выпав на долю человека, не может длиться вечно во временном царстве Ена» (*Авт. комм.* С. 315).

В первоначальных записях Ремизова об этом мифологическом существе соблюдается написание *Бы́буля*. Ремизов отправил стихотворение в составе «Херсонской рукописи» в издательство «Скорпион» и был очень огорчен, когда

не нашел его на страницах «Северных цветов». В письме к жене от 25/26 апреля 1905 г. он писал: «Достал "Северные цветы" (Ассирийские) — 6 р<а>б<от>. <...> Моих 7 <6 — здесь ошибка Ремизова — *Е. О.*> из "Полуночного солнца": нет "Заклинания ветра" и "Быбули". "Быбуля" — тень, спутник "Полунощного солнца" и без него какое же северное солнце? Хотя Быбуля сумеречный, но ведь и солнце не закатное: белые ночи» (На вечерней заре. I. S. 456—457).

КИКИМОРА

Впервые опубликован: Северные цветы Ассирийские. С. 76.

Рукописные источники· Херсонская рукопись I, II (под названием **«Кикимора»**); РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 1. № 12.

Прижизненные издания: Шиповник 4; Посолонь. Париж, 1930.

Дата: 1903.

«Кикимора — близкая и родная нам русским Кикимора, — детище Омеля, нашедшая исход отчаянию в юморе и некотором озорстве» (*Авт. комм.* С. 315).

В рецензии на четвертую книгу альманаха «Северные цветы» именно «Кикимора» была приведена в качестве примера «декадентщины», укоренившейся в молодой прозе (Русское богатство. 1905. Кн. 8. С. 52. Отд. «Новые книги»). Еще в ссылке Ремизов соединил зырянский миф о кикиморе с рассказом О. Сомова «Кикимора» (Иверень. С. 168). В поздних редакциях 1910-х гг. фольклорный характер образа был усилен автором благодаря впечатлениям от музыки А. К. Лядова, написавшего в 1909 году опус «Кикимора. Народное сказание», и знакомству с материалами, собранными И. П. Сахаровым (См.: Сахаров И. П. Сказания русского народа. Т. 2 СПб., 1841. С. 16—17). Образ кикиморы был для Ремизова поводом для игровой самоидентификации. Ср.: «Он зябко кутается в вязаный дырявый платок. Голова, запавшая между высоко вздернутыми плечами, выглядывает из низ, как цыпленок из гнезда. Очень близорукие глаза распахнуты, будто в испуге. Но рот при этом улыбается насмешливо и добродушно. У него нос Сократа, а лоб такой, какой можно видеть на изображениях китайских философов. Волосы пучком торчат кверху. <...> Однажды я спросила Ремизова, как может выглядеть кикимора — женский стихийный дух, которым пугают детей. Он ответил поучительно: "Вот как раз, как я, и выглядит кикимора"» (Волошина М., (Сабашникова М. В). Зеленая Змея. История одной жизни / Пер. с нем. М. Н Жемчужниковой. М., 1993. С. 147). В начале 1920-х Ремизов вновь вернулся к любимому мифологическому образу, придав ему роль символического кода к такому загадочному явлению истории русской литературы, как Н. В. Гоголь. См. новеллу **«Кикимора»**, впервые опубликованную в берлинской газете «Руль (1922. 21 сентября. № 551. С. 2), которая затем в новой редакции была включена в книгу «Огонь вещей».

ЗАКЛИНАНИЕ ВЕТРА (1)

Впервые опубликован: Чертов лог и Полунощное солнце. С. 264.

Рукописные источники: Херсонская рукопись I (под названием **«Ветер»**); Херсонская рукопись II (под названием **«Заклинание ветра»**).

Дата: <1903>.

«Заклинание ветра. По зырянскому поверью Ветер прежде всего глуп и, когда он дует, его легко можно успокоить, сказав, что жива его Бабушка» (*Авт. комм.* С. 315).

ЗАКЛИНАНИЕ ВЕТРА (2)

Впервые опубликован: Чертов лог и Полунощное солнце. С. 265.

Дата: <Не ранее конца апреля 1904>.

С. 58. *Разбудишь Наташу!* — Упоминается маленькая дочь Ремизова, которая родилась 18 апреля 1904 г., в Одессе. С этого времени для писателя становится актуальным жанр детской сказки. Наташа стала первой слушательницей и героиней многих его сказочных произведений, напнсанных на основе народного фольклора. О своем отношении к маленькой дочке Ремизов писал давнему другу актеру А. П. Зонову: «Не можете представить меня отцом... а вот много во мне перемены внесла Наташа — пою для нее, пою и не стесняюсь своего голоса, прыгаю, будто пляшу, сочиняю разные разности о медведях и волках и лисицах, которые "тоже пришли" наше молочко есть, и топочу — убегаю с преглупым лицом, совмещая в себе и медведя и волка и лису...» (Цит. по: Брюсов. С. 186). Только упоминание имени дочери писателя позволяет определить время создания этого текста.

[Разрешение пут]; [Плач девушки перед замужеством]

ЛЕПЕСТОК

Впервые опубликован: Юг (Херсон). 1903. 14 августа. № 1560. С. 3 (с подзаголовком «Стихотворение в прозе»).

Прижизненные издания: Наша жизнь. Литературно-научное приложение. 1906. № 3—4.

Дата: <1903>.

В архиве Щеголева сохранилась газетная вырезка первой публикации стихотворения с авторской правкой, расходящейся с редакцией произведения в сборнике «Чертов лог и Полунощное солнце» (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 2. № 75. Л. 2).

<КЛАДБИЩЕ>

Впервые опубликован: Шиповник 2, в цикле «В царстве полунощного солнца».

ЧАЙКА

Впервые опубликован: Юг. 1903. 12 августа. № 1558. С. 3.

Дата: <1903>.

Наша жизнь. Иллюстрированная и литературная неделя. Приложение. 1905. 27 августа. № 17.

В архиве Щеголева сохранилась газетная вырезка первой публикации стихотворения с авторской правкой, расходящейся с печатной редакцией в сборнике **«Чертов лог и Полунощное солнце»** (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 2. № 75. Л. 3).

<РАДУГА>

Впервые опубликован: Шиповник 2, в цикле **«В царстве полунощного солнца»**.

<БЕЛАЯ НОЧЬ>

Впервые опубликован: Шиповник 2, в цикле **«В царстве полунощного солнца»**.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Впервые опубликован: Северный край (Ярославль). 1903. 17 сентября. № 244. С. 2—3 (в составе четырех стихотворений с общим заголовком **«По весне северной»**).

Прижизненные издания: Наша жизнь. 1906. № 1—2.

Дата: <1903>.

<ИВАН-КУПАЛ>

Впервые опубликован: Шиповник 2, в цикле **«В царстве полунощного солнца»**.

III. **ИУДА**

Впервые опубликован: Воздетые руки. Книга поэзии и философии. М.: Орифламма, 1908. С. 6—21.

Рукописные источники: Беловые автографы. ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 2. № 70; ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. № 1 (в конце рукописи указание адреса: Киев, Безаковская, 20, 17, на обороте последнего листа штамп: Лит. Музей. Всерос. Союза писателей и номер регистрации <?>: 1224).

Дата: 1903.

Прижизненные издания: Сирин 8, под загл. **«Иуда Предатель»**; Трагедия и Иуде Принце искариотском. М.: Нар. Комиссариат по просвещению. Театр. отдел, 1919 (под загл. **«Иуда Предатель»**).

Первое упоминание о поэме встречается в письме к жене от 26 июня 1903 г.: «Взялся за "Иуду" <...> Вчитываюсь в евангелие, чтобы изобразить "рамку"» (На вечерней заре. I. S. 175.). К 25 октября работа была завершена и рукопись отправлена Брюсову в издательство «Скорпион» для альманаха «Северные цветы» (Брюсов. С. 167). Однако вскоре между издательствами «Скорпион» и «Гриф» (издатель С. Соколов) развернулась острая конкурентная и идеологическая борьба, и автор оказался в сложной ситуации: «"Иуда" будет напечатан,

если я не участвую в "Грифе", а я в Гриф послал стихи и ответ уж получил о принятии» (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. № 1479—1610. Л. 80, п. к П. Щеголеву от 16 января 1904). Возможно, этим обстоятельством объясняется отказ Брюсова напечатать это произведение в «Северных цветах». Поэма была высоко оценена В. Ивановым, который был ознакомлен с ее текстом еще в рукописи (См.: <Брюсов В. Я.> Переписка с Вячеславом Ивановым. 1903—1923. / Предисл. и публ. С. С. Гречишкина, Н. В. Котрелева и А. В. Лаврова // Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 466). Подробнее о поэме см.: Lampl H. Aleksej Remizov's. Betrag zum Russischen Theater // Wiener Slawisches Jahrbuch. Bd. 17. 1972. S. 136—183. Фактически, Ремизов был первым среди писателей-модернистов, кто интерпретировал образ Иуды, отступив от канона православной церкви. Ср. с повестью Л. Андреева «Иуда Искариот» (1907) и ее анализом в статье М Волошина «Некто в сером» (1907), а также с незаконченным «Евангелие от Иуды» М. Волошина (1908), автограф которого сохранился в РО ИРЛИ (Ф. 562). Увлечение литературной обработкой евангельского сюжета о Иуде сказалось и в работе Ремизова над переводом поэмы «Иуда» («Judasz») польского поэта Яна Каспровича, который был подготовлен к печати в начале 1904 г., но так и остался неопубликованным (Там же. С. 174). Включение поэмы в цикл **«Полунощное солнце»** в качестве ее третьей части объясняется единой темой тюремного заточения и ссылки, которая объединяет все произведения, составившие эту композицию. В этом смысле поэма **«Иуда»** развивает автобиографический мотив, связанный с комплексом навязанной вины — несправедливых подозрений в предательстве, которые роковым образом преследовали Ремизова на его путях по тюрьмам: «Об Иуде, как пламеннике веры и венце всяких страданий, сколько раз думал, особенно в скитаниях по тюрьмам, когда рушились все эти трухлявые перегородки, что жизнь нашу разделяют, и сердце человеческое, такое горячее и сиротливое, странным своим голосом подавало голос» (Там же. С. 172—173; п. В. Брюсову от 13 января 1904). Подробнее этот автобиографический мотив был изложен в докладе С. Н. Доценко «"И к злодеям причтен". Тема предательства в поэме А. Ремизова "Иуда"» (См.: Обатнина Е. Р. Международная научная конференция «Алексей Ремизов и мировая культура» // Русская литература. 1998. № 1. С. 220). Интерпретируя предательство Иуды, как исполнение величайшего злодеяния во имя «победы горней», Ремизов шел вразрез с ортодоксальным толкованием, чем создавал предпосылки для цензурных преследований в соответствии с 75-й статьей Уголовного уложения о применении судебных санкций за преступные действия, препятствующие «отправлению общественного христианского богослужения». На актуальность возможных гонений указывает ремизовский инскрипт на сборнике «Воздетые руки»: «Максимилиану Александровичу Волошину эту книгу поэзии и философии (статья 75 Уголовного уложения 1903 г.) на Красную горку подношу. А. Ремизов» (Гречишкин С. С., Лавров А. В. М. Волошин и А. Ремизов // Волошинские чтения. Сборник научных трудов. М, 1981. С. 98) Два сохранившихся беловых автографа имеют значительные разночтения, отличаясь также и от последующих печатных редакций. В 1919 г. поэма под названием **«Иуда предатель»** была напечатана в одной книге вместе с пьесой **«Трагедия о Иуде принце Искариотском»** (1908). В последней печатной

редакции текст поэмы предварялся эпиграфом: «У Христа Иуда — / он первый был / Он верующий — —». Вероятно, эпиграф (как и название), восходит к исследованию проф. М. Д. Муретова «Иуда предатель» (Богословский вестник. 1905. Т. 2. С. 539—559; Т. 3. С. 39—68; 1906. Т. 1. С. 32—68; 246—262. Ср.: «...Иуда Искариот из числа Двенадцати апостолов, ближайший ученик. .» (1905. Т. 3. С. 47).

С. 62. *марная* — туманная, мглистая.

«И иже аще мене ради погубить свою душу обрящет ю» — Ср.: «Ибо, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее» (Лк. 9, 24).

С. 63. *Обезображенная голова Пророка...* — Иоанн Предтеча и Креститель Господен был обезглавлен по приказу царя Ирода. (Мф. 14, 6—12; Мар. 6, 21—29).

Крик проклятых свиней Геркесина... — свиное стадо, в которое вошли бесы, чудесно бросившееся с обрыва в море по слову Иисуса, излечившего двух бесноватых в Гергесинской стране (Мф. 8, 28—34).

Навзрыд рыдали в смятенье стены Иаира...— образное упоминание сюжета об исцелении Иисусом дочери Иаира — начальника синагоги (Мар. 5, 22)

С. 64. *молвь* — то же, что и молва.

С. 65. *Лазарь* — брат Марфы и Марии, которого Иисус воскресил из мертвых на четвертый день после смерти (Иоан. 11).

«Един, един от вас»... — Ср. со словами Иисуса, обращенными к ученикам: «...истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня» (Иоан. 13, 21).

...осудят Бога, — как Адама...— здесь: осудят Иисуса Христа как простого человека.

С. 66. *«Аще веру имате и не усумнитесь не токмо смоковничное сотворите»* — здесь «смоковничное» как преждевременное и бесплодное; ср. с запретом Иисуса собирать плоды смоквы раньше положенного срока (Мрк. 11, 13—14). Ср. также: «...если кто скажет горе сей: "поднимись и ввергнись в море", и не усумнится в сердце своем, но поверит, чтó сбудется по словам его, — будет ему что ни скажет» (Мрк. 11, 23).

С. 67. *«Еже твориши, скоро сотвориши»* — «чтó делаешь, делай скорее» (Иоан. 13, 27); слова Христа, обращенные к Иуде, указывающие на его скорое предательство.

С. 68. *Кедрон* — ручей, за которым располагался Гефсиманский сад — место, где Иуда передал Иисуса Христа под стражу слуг первосвященника (Иоан. 18, 1—2).

неотвратимая Чаша — здесь: судьба. Ср.: «Отче Мой! Если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя» (Мат. 26, 42).

равви — букв.: Господин мой, или учитель; почетный титул, который присваивался в Иудее известным учителям или законникам.

С. 69. *И Петр ушел от Каиафы, в тенях презренья...* — имеется в виду сцена второго отречения Петра от Учителя, когда Христос был схвачен и приведен к первосвященнику Каиафе (Иоан. 18, 14—17).

С. 70. *Песней Песнь* — подразумевается «Песнь Песней» — книга высокой библейской лирики, приписываемая Соломону.

Иегова — одно из имен Бога (Исх. 3, 14).

облака Синая — гора, на вершине которой Израильтянам был дан закон Божий; облако символизирует присутствие Бога среди своего народа.

С. 71. *Новая скрижаль* — здесь: Новый Завет; скрижали — две каменные доски, на которых Господом были начертаны 10 заповедей Закона Божьего.

старейшины — лица, обладавшие в Иудее различными должностными полномочиями в государственных и церковных делах.

В ПЛЕНУ

Печатается по: Шиповник 2.

Произведения, включенные в автобиографическую «повесть» **«В плену»**, создавались в 1896—1903 гг. В них отражены опыт тюремного заключения в Пензе и Усть-Сысольской ссылке. Сохранился беловой недатированный автограф, представляющий собой первую редакцию одноименной поэмы, которая никогда не была опубликована. Рукопись состоит из трех частей и полностью написана метризованной прозой. Текст предваряется эпиграфом: *It is not, nor it cannot come to good; — / But break my heart, for I must hold my tongue! / Hamlet*[1] и завершается адресом, написанным красным карандашом и замаранным черным карандашом: Вологда. Желвунцовская, 26 // Алексею Михайловичу Ремизову (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 2. № 68). Каждая часть поэмы имела стихотворение-«зачин», первая часть включала 12 стихов, вторая — 8, третья — 18. В течение 1902—1903 гг. Ремизов предлагал свой «тюремный свиток» (Иверень. С. 212) в различные журналы, но отзывы редакций были негативными. Автор получил критический отзыв от М. Горького (п. от 21 мая 1902), который осуждал «истерические вопли» и пессимизм всего произведения (См.: Горький М. Собр. соч. В 30 т. Т. 28. М., 1954. С. 249—350). Даже предложение автора переделать текст не изменило отрицательного решения. Помощник редактора журнала «Мир Божий» А. И. Богданович в п. от 8 июля 1903 г. вторично мотивировал отказ редакции: «Я хорошо помню Вашу повесть «В плену», и не думаю, чтобы ее можно было переделать. Для нас она не подходит. <...> Может быть, я ошибаюсь (РНБ. Ф. 634. № 70. Л. 2-2об.). В процессе переработки первой редакции более внятной стала жанровая определенность текстов, которые по существу утратили первоначальное деление на стихотворные строки и, тем самым, трансформировались в прозу, метризованную лишь фрагментами. Добавились и новые тексты, отсутствовавшие в первой рукописной редакции. Некоторые из них позже вошли во вторую часть поэмы **«По этапу»**, опубликованную в журнале «Новый путь» (См.: Брюсов. С. 151—153). В 1904 г. поэму **«В плену»** Ремизов включил в состав рукописи сборника с одноименным названием для издательства «Скорпион». Замысел остался неосуществленным. Несмотря на постоянные отказы редакций, Ремизов настойчиво перерабатывал текст. В январе 1904 г. он послал поэму на суд Д. В. Философову, в «Мир

---

[1] «Нет в этом доброго и впредь не будет... / Но, сердце, разорвись: уста должны молчать!» (Гамлет. Акт I, сцена 2. Перевод К. Р.).

искусства» (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. № 1479—1610. Л. 77; п. к Щеголеву от 5 января). Однако к весне 1904 г. появилась четвертая редакция, которая была отправлена в «Нашу жизнь» и вновь в «Мир Искусства», о чем Ремизов сообщал Щеголеву 2 апреля 1904 г. (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. № 1479—1610. Л. 94). Тем не менее, и эти предложения были отвергнуты. Философов мотивировал свой отказ иными планами журнала: «"В плену" Вам возвращаю, ибо номер стихов по разным причинам вряд ли появится в свет» (РНБ. Ф. 634. № 249. Л. 63; п. от 7 мая 1904). В 1905 г. Ремизов, надеясь на публикацию в журнале «Вопросы жизни», вновь значительно переработал **«В плену»**: «переписал половину I-й части» (На вечерней заре. III. S. 453). История драматической невостребованности поэмы продолжилась и в 1906 г. Об очередном отказе в публикации Ремизов почти привычно сообщал Щеголеву: «"В плену" пролетело в "Освобожденном Движении", вериули» (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. № 1479—1610. Л. 135, п. от 20 марта). Первая публикация фрагмента поэмы под названием **«В секретной»** состоялась в Приложении к газете «Наша жизнь» (1905). Затем в альманахе «Проталина» (1907) под названием **«Белая башня»** появилась еще одна, качественно новая редакция поэмы **«В плену»**: текст был существенно сокращен и подвергся внутренней композиционной перестройке. Многочисленные переработки этого произведения остались не оцененными критикой. Отзываясь на выход альманаха, анонимный рецензент язвительно замечал: «Молодые авторы напоминают о себе. На этот раз перетянули реалисты, хотя без декадентов дело не обошлось. А. Ремизов обмолвился шифрованной повестью — «Белая башня»; в ней нет ни одного придаточного предложения, что, по-видимому, с точки зрения автора, составляет большую оригинальность» (Слово. 1907. № 190. С. 3). Последняя редакция поэмы, напечатанная в составе Шиповник 2, восстановила не только первоначальное название (**«В плену»**), но и трехчастное деление текста, составляющие которого, тем не менее, получили здесь новые названия и новое композиционное расположение.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
В СЕКРЕТНОЙ

Впервые опубликован: Наша жизнь. 1905. 26 ноября. Приложение. № 26. С. 204—207.

Прижизненные издания: Проталина. Альманах 1-й. СПб., 1907 (под загл. **«Белая башня»**); Чертов лог и Полунощное солнце, в цикле **«Полунощное солнце»** (под загл. **«Белая башня»**).

Дата: 1900.

О работе над новым произведением упоминается в письме писателя к жене от 28 июня 1903 г. (На вечерней заре. I. S. 176). Готовую рукопись Ремизов отправил Щеголеву 14 августа 1905 г. вместе с письмом, в котором просил, предполагая публикацию в «Нашей жизни»: «...не оставьте без внимания посылаему<ю> рукопись «В секретной». посодействуйте к ее принятию <...> Рассказ по-моему ничего. Конечно того, что говорил, не получилось, но и что получилось, смахивает на правду. Такого рода Секретная камера подлинно существует и по сей день в г. Пензе. Я просидел 6 месяцев в клоповнике в

1898 г.» (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. № 1479—1610. Л. 115). В следующем письме (от 23 августа) он вновь подчеркнул значение своего произведения: «Очень прошу о помещении «В Секретной». Вещь, известно, не какая-нибудь, право. Нутренности <так! — *Е. О.*> человеческие» (Там же. Л. 117). Даже после первой публикации **«В секретной»** Ремизов, очевидно, предполагал дальнейшую переработку рассказа. В связи с этим он обращался к Щеголеву 3 января 1906 г.: «...достаньте № с «Секретной» <...> Я не знаю, целиком ли напечатан рассказ или с купюрами. Если с купюрами, хорошо бы получить рукопись или гранки. У меня нет черновика. Такая досада, всегда переписываю по 2 экз<емпляра>, а эту «Секретную» — и не переписал» (Там же. Л. 130).

С. 75. *...привезли Иверскую — икону...* — подразумевается праздник Иверской иконы Божьей матери (31 марта), предшествующий Пасхе.

С. 82. *«А если я был помазан на совершение?.. Я устранил от жизни насекомое...»* — аллюзия к размышлениям героя романа Достоевского «Преступление и наказание» Раскольникова о «предопределении» и «указании» свыше на убийство старухи-процентщицы: «Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не более как жизнь вши, таракана, да и того не стоит, потому что старушонка вредна» (Достоевский. Т. 6. С. 54).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ПО ЭТАПУ

Пять первых рассказов (**«В вагоне»**, **«Тараканий пастух»**, **«Черти»**, **«Кандальники»**, **«В больнице»**), написанных в 1896—1900 гг., были соединены в единое целое на страницах журнала «Новый путь» под заглавием **«На этапе»**. Пожалуй, это были первые тексты Ремизова, которые сразу заслужили редакторское одобрение. П. П. Перцов писал о трех из них (**«Распутинце»**, **«Чертях»** и **«Скандальниках»**), присланных в «Новый путь» 29 января 1903 г.: «Рассказы эти, обнаруживающие несомненный талант беллетриста, всем нам очень понравились и, если Вы ничего не имеете против, то они будут напечатаны в мартовской книжке. Весьма желательно было бы иметь и дополнительный *четвертый очерк*...» (РНБ. Ф. 634. № 249. Л. 13). Два рассказа возникли в процессе переработки поэмы **«В плену»**. Очевидно, что на преобразование фрагментов ритмической прозы в новеллы отразилось пожелание, высказанное Перцовым в том же письме: «П. А. <П. Е. Щеголев — *Е. О.* > передал нам там же Вашу поэму "В плену" <...> из поэмы можно бы напечатать <...> два места: *сцена в вагоне* и *заутреня*. Если Вы согласны на это (можно напечатать и пометить: "отрывки из поэмы такой-то"» (Там же. Л. 14) Ремизов не только согласился с предложением, но и включил фрагменты поэмы в состав сформировавшегося уже цикла **«На этапе»**. 6 марта 1903 г. Перцов сообщал о проведенной редакторской работе: «"На этапе" уже отпечатано и книжка выйдет дней через 10 (держит цензура). Я позволил себе воспользоваться Вашим разрешением, и поставить отрывок "В вагоне" первым в рассказ, "Заутреню" — последним. Таким образом общий порядок теперь такой: I. В вагоне II. Тараканий пастух (Я позволил себе изменить заглавие, дабы не смущать читателя) III. Черти. IV. Скандальники. V. Заутреня. Наше общее суждение, что таким образом впечатление стало определеннее и полнее. *Только три* рассказа давали бы

слишком оборванное и незаконченное впечатление. Все вместе заняло все же менее листа» (Там же. Л. 15 об.). В архиве П. Е. Щеголева сохранился оттиск публикации в «Новом пути» с инскриптом Щеголеву и авторской правкой на стр. 37 (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 2. № 71—73. Л. 150—162). Новелла **«Эпитафия» (Коробка с красной печатью)** изначально замышлялась Ремизовым как часть цикла **«На этапе»** (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. № 1479—1610. Л. 35; п. к Щеголеву от 9 января 1903), но по воле Перцова она была отделена от тематически близких ей новелл и в конечном итоге опубликована в альманахе «Северные цветы». Некоторые эпизоды рассказов (в частности, варианты рассказов **«Тараканий пастух»** и **«Эпитафия»**) вошли в повествовательную ткань романа **«Пруд»** (СПб.: Сириус, 1908).

1. В ВАГОНЕ

Впервые опубликован: Новый путь. 1903. № 3. Март. С. 27—28.

Прижизненные издания: Проталина. Альманах I. СПб., 1907 (под загл. **«Белая башня»**; вариант); Чертов лог и Полунощное солнце, в цикле **«Полунощное солнце»** (под загл. **«Белая башня»**; вариант).

Дата: 1900.

С. 84. *Проповедник был у нас англичанин, просвещал арестантов. Познание, говорит, усмирит чувство твое и освободит от него.* — Подразумеваются популярные в России конца XIX в. идеи утилитаризма английского философа Г. Спенсера (1820—1903).

2. ТАРАКАНИЙ ПАСТУХ

Впервые опубликован: Новый путь. 1903. № 3. март. С. 29—32.

Дата: 1900.

Рассказ, первоначально озаглавленный **«Распутница»**, был отправлен в Петербург вместе с письмом к П. Щеголеву, осуществлявшему связь Ремизова с редакцией «Нового пути». Здесь же Ремизов размышлял по поводу модификации стилистики своего текста: «Следует, пожалуй, изменить в "Распутнице" ([пойду] *Домой,* думаю пора. — словом *убираться*)» (Щеголев. С. 160; п. от 9 января 1903). Рассказ появился на страницах журнала без предполагаемой корректировки и с новым названием, поставленным редактором.

С. 86. *Тараканий пастух обыкновенно по целым дням молчаливо выслеживал тюремных насекомых и давил их, размазывая по полу и нарам. На прогулке, сгорбившись, ходил он одиноко, избегая других арестантов, и только, когда мелькал женский платок или высовывалась из ворот юбка, он выпрямлялся, ощеривался и долго, порывисто крутил носом.* — Одно из первых сближений у Ремизова таких концептов, как «насекомое» — образ, соотносящийся с темной, сладострастной природой человека (ср. со словами из исповеди «подпольного человека»: «Скажу вам торжественно, что я много раз хотел сделаться насекомым» и далее), и «нос», воспринимаемый эротически: «...если бы носы, как платки, прятали в карманы, можно было бы сказать: трудно вынимается. В. В. Розанов по каким-то египетским розысканиям о человеческой трехмерности, — в длину, в ширину и... "в бок", — взглянув только на нос Пселдонимова [герой повести "Скверный анекдот" Достоевского — *Е. О.*], сказал бы, не задумавшись,

своим розановским, по-гречески: "да ведь это фалл!.."» (Огонь вещей. С. 191). Подр. см.: Обатнина Е. Р. «Эротический символизм» Алексея Ремизова // Новое литературное обозрение. 2000. № 43. С. 199—234.

С. 87. *...завсегдатай холодной, стал он, наконец, подзорным...* — т. е. из тюремного заключения перешел в положение поднадзорного ссыльного.

«Петр, ты? — говорит, — пришел, не забыл, а я то как стосковалась по тебе!» — Скрытое указание на темы России и Петра I, особенно актуализированные в романе «Пруд».

3. ЧЕРТИ

Впервые опубликован: Новый путь. 1903. № 3. Март. С. 32—35.

Дата: 1900.

С. 90. *Бог Саваоф* — одно из имен Бога, означающее беспредельное величие Божие, Его всемогущество и славу; Саваоф (евр.) — силы воинства.

4. КАНДАЛЬНИКИ

Впервые опубликован: Новый путь. 1903. № 3. Март. С. 35—39 (под загл. «**Скандальники**»).

Дата: 1900.

С. 94. *беглый с Соколина* — остров Сахалин с 60-х гг. XIX в. и до первой русской революции (1905—1907) являлся местом каторги и ссылки.

5. В БОЛЬНИЦЕ

Впервые опубликован: Новый путь. 1903. № 3. Март. С. 39—40 (под загл. «**Заутреня**»).

Дата: 1896.

С. 96. *Высший подвиг в терпенье...* — Согласно христианскому вероучению, терпение — одна из высших добродетелей, заключающаяся в смиренном перенесении всех бед, скорбей и несчастий, неизбежных в жизни каждого человека.

6. КОРОБКА С КРАСНОЙ ПЕЧАТЬЮ

Впервые опубликован: Северные цветы. 1903. № 3. С. 115—116 (под названием «**Эпитафия**»).

Дата: 1900 (в «Азбуковнике» указан «1910»: явная опечатка).

Посвящение «коробке кондитера» восходит к сюжету из личного «тюремного» опыта писателя. В рукописном альбоме Ремизова («**Хождение мое по этапным мукам 1901 г.**») сохранен на память разворот картонной коробки с сургучной печатью, в центре которой имеется текст, являющийся вариантом по отношению к рассказу. Этот автограф раскрывает реалии, побудившие писателя к созданию произведения в жанре иронического надгробного посвящения. В левом верхнем углу: «А<лексей> Р<емизов> / Я<росл>авский Т<юремный> З<амок (Ярославль) / В<ологодский> Т<юремный> З<амок> (Вологда) М. Ц. П. Т. (Бутырки) / Часовая башня / № 3 / с. 6—12. VII. 1900». В правом верхнем углу: «от Н<иколая> Ремизова / самые лучшие конфеты) получена 11. VII в 8 часов ясным вечером после второго свидания». В центре: «† / Мир

тебе, неустрашимая с красной бумажной печатью коробка, до последнего дня этапа ты сохранила гордость и неприступность! В Я<рославском> Т<юремном> З<амке>, при тщательном обыске, когда меня потрошили и мои переполненные папиросами и карандашами карманы пустели, ни один тюремный палец не дотронулся до тебя, и с благоговением опускались перед твоей красной печатью начальственные, циркулярные головы. / Одних ты испугала и они притихли, меня же ты обрадовала, и когда щелкнул замок моей камеры, ты распечаталась и я закурил... / В В<ологодском> Т<юремном> З<амке> с меня стащили брюки, чулки, даже прикоснулись к очкам, но к тебе... достаточно было одного моего напоминания "Коробка с печатью". И тебя бережно поставили на стол, тогда как меня оставили стоять босого на каменном сыром полу: В мою камеру тебя одну понесли обеими руками сам "старший" и когда я остался один, тотчас ты развернулась и положила на стол бумагу и карандаш. / Но потом, [когда мы очутились] на свободе, ты тряслась всеми своими нитями и бумагой от хохота над всем миром, где красная печать ценится выше человека и горько тебе стало за душу человеческую! Устьсысольск. 21. I. 1901» (Волшебный мир Алексея Ремизова. С. 12). В творческом сознании писателя эпизод с кондитерской коробкой ассоциировался с «открытием» подлинной человеческой природы: «Точно зверь, просидевший долгое время в засаде.., — писал он жене, покидая Вологду, — увожу с собой познания о человеке, о котором хочется крикнуть на всю землю. Пусть же хоронятся эти комедианты, настанет для них час. А человеческая душа? "Коробка кондитера?"» (На вечерней заре. I. S. 168). Тема **«Эпитафии»** восходит к одному из эпизодов романа «Идиот». Ср.: «И видите, как все интересуются, все подошли, все на мою печать смотрят, и ведь не запечатай я статью в пакет, не было бы никакого эффекта! Ха-ха! Вот что она значит, таинственность» (Достоевский. Т. 8. С. 318—319). В феврале 1903 г. Ремизов сообщал Щеголеву о посылке некой «смягченной» редакции **«Эпитафии»** в редакцию журнала «Новый путь», где от него ожидали нового произведения. Тем не менее, в публикации рассказа было отказано. Впрочем, такое решение редакционной коллегии не огорчило писателя, который по поводу печатания столь миниатюрного произведения рассуждал с нехарактерной для него легкостью: «Примут, не примут — беда не великая!» (Щеголев. С. 168). С небольшими изменениями текст **«Эпитафии»** был использован в романе **«Пруд»**. Та же значимая для Ремизова тема мнимых запретов и символов власти появляется в сказке **«Заячий указ»** (1919) в обличье «обертки с красным ярлычком».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
В ЦАРСТВЕ ПОЛУНОЩНОГО СОЛНЦА

Первые шесть безымянных этюдов имеют лишь незначительные разночтения с третьей частью рукописи поэмы **«В плену»** (ИРЛИ, Ф. 627. Оп. 2. № 68). Исключение составляет лишь первое стихотворение (**«Стою на трапе»**), вариант которого в автографе является последним (восьмым) стихотворением второй части рукописи. В состав цикла **«В царстве полунощного солнца»** включены также стихотворения, ранее объединенные в цикле **«Полунощное солнце»**.

Очевидно, что в первых публикациях порядок образования циклов, как и их состав, носили весьма условный характер. Авторская стратегия объединения стихотворений в некое композиционное целое была в первую очередь обусловлена спросом и требованиями редакций. Верлибры, посвященные северной природе, Ремизов уже в процессе их создания стремился связать в единое композиционное целое. Еще в Вологде он написал цикл стихотворений в прозе под общим названием **«По весне северной»**, которые в 1903 были напечатаны в провинциальных газетах (См.: Щеголев, С. 175). Три текста из этого цикла вошли в состав сборника **«Чертов лог и «Полунощное солнце»: «Кладбище», «Чайка» и «Воскресенье»**. Осенью 1904 в письме к Щеголеву Ремизов предложил для «Нашей жизни» пять стихотворений (**«Кладбище», «Радуга», «Воскресенье», «Лепесток», «Чайка»**), объясняя несчастливую судьбу этих стихов: «Если забракуете, передайте мне рукопись, а то я с этой Радугой и Кладбищем, переписываясь [так! — *Е. О.*], измучался. Раз 10 переписывал и для С<еверных> Ц<ветов> и для Грифа. И все бестолку (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. № 1459—1610. Л. 107).

1—6.

Впервые опубликован: Чертов лог и Полунощное солнце, в цикле **«Полунощное солнце»** (варианты **«Белой башни»**).

Дата: <1903>.

Возможно, композиция из шести безымянных этюдов, ранее входивших в третью часть ранней редакции **«В плену»**, была подготовлена под новым названием (**«Неизгладимое»**) для второй книги «Грифа», где так и не была напечатана. В письмах редактора-издателя альманаха «Гриф» С. Соколова Ремизову, относящихся к сентябрю—ноябрю 1903 г., упоминаются «стихотворения в прозе» под названием **«Неизгладимое»**, которые предполагалось напечатать во второй книге альманаха (ГПБ. Ф. 634. № 249. Л. 28; 30).

С. 98. *взапуски* — наперегонки.

чалка — канат, при помощи которого судно причаливается к берегу или другому судну.

7. КЛАДБИЩЕ

Впервые опубликован: Северный край. 1903. 17 сентября. № 244. С. 2—3 (под загл. **«Кыруль»**; в цикле **«По весне северной»**).

Прижизненные издания: Наша жизнь. 1905. 23 июля. № 12. Приложение; Чертов лог и Полунощное солнце, в цикле **«Полунощное солнце»**.

Дата: 1903.

21 мая 1903 г. Ремизов сообщал Щеголеву об отправке пяти своих текстов, в том числе и стихотворения **«Кыруль»**, в редакцию ярославской газеты «Северный край» (Щеголев, С. 175).

8. РАДУГА

Впервые опубликован: Северный край. 1903. 17 сентября. № 244. С. 2—3 (под загл. **«Ошка-Мошка»**, в цикле **«По весне северной»**).

Прижизненные издания: Наша жизнь. 1906. № 9. 11 марта. Приложение; Чертов лог и Полунощное солнце, в цикле **«Полунощное солнце»**.

Дата: 1903.

С. 103. *толкачики* — рой мошки, который стоит в воздухе в теплые вечера или после дождя.

С. 104. *Бык-Корова* — один из т. н. «близнечных мифов», символизирующий разноцветие божественной силы — радуги.

9. БЕЛАЯ ГОСТЬЯ

Впервые опубликован: Северный край. 1903. № 244. 17 сентября. С. 2—3 (под загл. «Ку-ку...», в цикле «По весне северной»).

Дата: 1903.

10. БЕЛАЯ НОЧЬ

Впервые опубликован: В мире искусств (Киев). 1907. № 7—8. 15 мая. С. 5.

Рукописные источники: Беловой автограф — РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 3. № 8.

Прижизненные издания: Чертов лог и Полунощное солнце, в цикле «Полунощное солнце»; Наши дни. Литературный ежемесячник. Кн. 1. СПб., 1911.

Дата: 1903.

Стихотворение «Белая ночь» было выслано Щеголеву 20 июня 1906 г. для «Нашей жизни», с оговоркой: «если она Вам не подойдет, пришлите ее мне. Тогда я приложу ее к "Красочкам" и "Монашку" и пошлю в "Золотое Руно"» (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4 № 1479—1610. Л. 131). Последние рассказы представляют собой новеллы т. н. «посолонного» цикла, созданные на основе фольклорных источников и позже составившие книгу «Посолонь».

С. 106. *иммортели* — слово французского происхождения, означающее «бессмертник», т. е. высохшее растение, сохраняющее форму и цвет после высыхания.

11. ИВАН-КУПАЛ

Впервые опубликован: Альманах «Гриф». М., 1904. [№ 2]. С. 43—46.

Прижизненные издания: Чертов лог и Полунощное солнце, в цикле «Полунощное солнце».

Дата: 1903.

С. 108. *Иванов день* — день Ивана Купалы (народное прозвище Иоанна Крестителя): праздник, имеющий языческие корни и приходящийся на день летнего солнцестояния — 24 июня. Само обрядовое веселье совершалось в ночь с 24-го на 25-е и обязательно включало игры и песни, прыжки через костры, омовение в воде и различные обряды, связанные с поверьем, будто растения в эту ночь обладают особой колдовской силой, сохраняемой на весь последующий год.

12. СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ

Впервые опубликован: Северные цветы. № 3. 1903. С. 116.

Рукописные источники: Беловой автограф, датирован — 1903. — РГБ. Ф. 386. № 129. Л. 18.

Прижизненные издания: Чертов лог и Полунощное солнце, в цикле «Полунощное солнце».

Дата: 1903.

Весной 1903 г. в альманах «Северные цветы» от Ремизова друг за другом поступили две незначительно отличающиеся друг от друга рукописи стихотворения **«Северные цветы»**. О состоявшейся публикации Ремизову сообщил В. Брюсов, при этом он приносил извинения за использование первого варианта текста, переданного в редакцию альманаха П. Щеголевым, и за вкравшуюся «мучительную ошибку»: вместо «лишаи к елям бегут» было напечатано: «лишаи к елеям бегут» (Брюсов. С. 155; 159; п. от 9 апреля 1903).

С. 111. *плаун* — мох, растущий на воде.

зеленица — кустарное дерево.

...змеей выползает линнея... — род растений из семейства жимолостных (Linneaea Gr.), растущий по мшистым, хвойным, преимущественно еловым лесам.

СВЕТ НЕМЕРЦАЮЩИЙ

Печатается по: Весеннее порошье. СПб.: Сирин, 1915.

Обсуждая с В. С. Миролюбовым редакционный портфель журнала «Заветы» на 1913 г., Иванов-Разумник писал: «...у Ремизова есть еще одна вещь — «Свет немерцающий», рассказы из детской жизни. Удивительные. Эту вещь также не упустить бы, — но дать ее только в 1913 году. (Размер — 1-1 1/2 лл.)» (ИРЛИ. Ф. 185. Оп. 1. № 563. Л. 2 об.). Цикл, состоявший из семи рассказов (**«Аленушка»**, **«Мурка»**, **«Чудо»**, **«Бочонок»**, **«Звезды»**, **«Белый заяц»**, **«Бабушка»**, **«Пупочек»**) был опубликован целиком в мартовском номере журнала; каждый рассказ, помимо собственного названия, был снабжен порядковым номером. В составе сборника содержание цикла изменилось за счет подключения двух текстов из цикла **«Свет незаходимый»** (**«Птичка»**, **«Яблонька»**), опубликованного в октябре того же года в журнале «Русская мысль». Очевидно, что такое перераспределение текстов было обусловлено стремлением создать композицию, объединенную общей «детской» темой. Кроме того, цикл также пополнился двумя рассказами, впервые появившимися в первом номере «Ежемесячного журнала» за 1914 г. под названием, которое впоследствии даст имя всему сборнику, — **«Весеннее порошье»**. Характерно, что рассказ **«Пупочек»** — первый из текстов цикла **«Свет незаходимый»**, опубликованный в «Заветах», так и не был включен в состав **«Весеннего порошья»** и позднее вошел в сборник **«Среди мурья»** (1917). Первая публикация **«Света немерцающего»** вызвала весьма одобрительные отзывы. 12 апреля 1913 г. З. И. Гржебин спешил выразить свое отношение к новым рассказам: «С любовью и радостью слежу за Вами, как сильно Вы растете. Последние Ваши писания в «Заветах» удивительны» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. № 51. Л. 1).

ПТИЧКА

Впервые опубликован: Русская мысль. 1913. № 10. С. 45—51 (под общим загл. **«Свет незаходимый»**; с порядковым номером **1**).

Дата: 1913.

С. 115. *Лапочки остались да перышко... там же и цветы у меня, такая книжка есть* — Ремизов, уделяя особое внимание символике своей жизни, коллекционировал бытовые мелочи, связанные с памятными событиями. Об этой особенности характера писателя вспоминал М. В. Добужинский: «Ремизов собирал и берег <...> всякие пустячки, которые ему что-нибудь напоминали: пуговицу, которую потерял у него Василий Васильевич <Розанов — *Е. О.*>, коночный билет, по которому он ехал к Константину Андреевичу <Сомову — *Е. О.*> и т. д.» (Добужинский М. В. Воспоминания. М., 1987. С. 277). Под «особой книжкой» подразумевается домашний альбом писателя, в котором обычно хранились подобные символы.

С. 116. *Местность, куда завлекал меня приятель мой, приморская, с немецким названием...* — В 1907 г. около месяца (с конца июня по 25 июля) Ремизов с женой провели в Латвии по приглашению латышского поэта Виктора Эглитса (1877—1945), в местечке Цесвайне Мадонского уезда, в доме его родственников. Ср. с воспоминаниями поэта В. Дамбергса: «Помню короткую беседу с Ремизовым, которая коснулась окрестностей Цесвайне. Вспоминая российские заезженные дороги, не огражденные канавами, пастбища, заросшие кустами, леса с большими неубранными лесоповалами, поля с редким посевом, а в Латвии — и в окрестностях Цесвайне — осушенные и утрамбованные камнями дороги, мелиорированные поля, четкие границы лесов и полей, — я сказал, что эта местность культивирована, на что Ремизов удивлено заметил: мол, ему здесь все кажется диким. По-видимому, Ремизовым руководило не внешнее созерцание, а внутреннее чувство (по-русски «нутро») и представление об изысканности русского общества и нашей «первозданности». Беседа наша прервалась...» (Цит. по: Спроге Л. А. М. Ремизов в Латвии: В. Дамбергс, В. Эглитс, В. Гусев, И. Павлов, В. Гадалин // Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике. Т. II. Таллин, [б. г.]. С. 163).

С. 119. *...это было на другой год после нашего свободного года...* — Поездка Ремизова и его жены в Лифляндию состоялась летом 1907 г. Под «свободным годом» подразумевается 1905—1906 г., когда после окончания срока ссылки Ремизовы получили разрешение на жительство в Петербурге.

«во лузьях, во зеленых во лузьях!» — припев русской хороводной песни; лузья или лузи — луга.

ЯБЛОНЬКА

Впервые опубликован: Русская мысль. 1913. № 10. С. 51—54 (под общим загл. «**Свет незаходимый**»; с порядковым номером 2).

Прижизненные издания: Новая простая газета. 1917. 26 ноября. № 1. С. 2; Сполохи (Берлин). 1922. № 12; Последние новости (Париж). 1929. 29 марта. — № 2928 (под названием «**Голодная пятница**»; с небольшими разночтениями).

Дата: 1913.

С. 122. *инда* — даже.

С. 123. *обедня* — церковная служба после утрени, литургия.

С. 124. *от Скорбящей ехала...* — речь идет о т. н. Скорбященской церкви, или церкви иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радости» (1786)

над вратами Александро-Невской Лавры при входе в нее с площади Александра Невского.

АЛЕНУШКА

Впервые опубликован: Заветы. 1913. № 3. С. 112—115 (под общим загл. **«Свет немерцающий»**; с порядковым номером 5).

Прижизненные издания: Дни. 1923. 6 мая. № 156 (вместе с рассказом **«Звезды»** под общим загл. **«Человек человеку свет»**).

Дата: 1912.

Прототипом маленькой героини рассказа, вероятно, стала племянница Иванова-Разумника Аленушка (Елена Николаевна Оттенберг, 1906—1965), которая в одном из писем критика к Ремизову, относящихся к лету 1913 г., упоминается, как давняя знакомая писателя (См.: Иванов-Разумник II. С. 81).

С. 125. *Вся стена моя в игрушках.* — Примечательной деталью интерьера рабочего кабинета писателя (независимо от многочисленных переездов) была коллекция игрушек, которой отводилось специальное место. О первых экземплярах, положивших начало собранию, Ремизов вспоминал: «Игрушки появились у меня с "Посолони". Московский психиатр доктор Певзнер затеял "Посолонью" вернуть душевный покой одной здравомыслящей, впавшей в "изумление ума": на нее нападала тоска, перед ней копошились и мучили ее чудища. По предписанию доктора она должна была сделать куклы упоминаемых в "Посолони" сверхъестественных существ. За несколько месяцев увлекательной работы образы "Посолони" обернулись в чудища-куклы. Видения, мучившие больную, ушли, и тоска рассеялась. С игрушек сделана была копия, и со стены перед моим столом глянул — весь мир "Посолони" (Кодрянская. С. 119). Описание ремизовской коллекции игрушек см.: Кожевников. С. 2; Измайлов. С. 10—11.

С. 126. *Я подал ей лягушку, слона, медведя, белку, куринаса ... скакуна, стракуга, змею-скоропею да белого зайца* — здесь перечислены игрушки из коллекции писателя, историю которых он охотно раскрывал в беседах со знакомыми и друзьями. «Медведь (папье-маше) с овсяным колосом и веретеном, если об него уколешься, то заснешь навеки» (Кожевников. С. 2). «На желтых кожаных переплетах старопечатных книг сидят две белки-мохнатки "и орешки щелкают"» (Волошин М. Алексей Ремизов. «Посолонь». Изд. «Золотого Руна». 1907 г. // Русь. 1907. 5 апреля. № 95; цит. по: Волошин. С. 510). «Три "Мудрых зверя" (картонные игрушки), — "мои советчики в делах": "Заяц-одноух", "Лютый зверь" и "Певун-лйса"» (Кожевников. С. 2). «...длинная, несуразная, сухая, точно вяленая, черная фигурка, с мягкой, доброй мордочкой, вроде лошадиной. Это — "Доремидошка [так! — *Е. О.*], прости Господи"». «Живет он в старых усадьбах. Ходит там по дорожкам, когда подойдет желтая осень. Все молодое уедет из усадьбы, останутся одни старики, да вспоминают про покойников. Раз при мне зашуршал за печкой. Спрашиваю старую няньку: "Кто это там?" — "А это, говорит, Доромидошка — прости Господи!" Вы не думайте, он совсем добрый, никому ничего злого не учинит. Называют его нечистью, а какая он нечисть, — что он сделает? Его увидевши, и креститься не стоит» (Измайлов. С. 10). Леший Доремидошка экспонировался на выставке

старинных игрушек, устроенной художником Бартрамом. Змея-скоропея — скорпион, «кустарная игрушка, с красной разинутой пастью, из которой капает "яд"» (Кожевников. С. 2).

МУРКА

Впервые опубликован: Заветы. 1913. № 3. С. 109—112 (под названием **«Котенок»**, под общим загл. **«Свет немерцающий»**; с порядковым номером 4).

Дата: 1912.

С. 128. *У меня есть два маленьких приятеля: Иринушка и Кира, брат с сестрою.* — Имеются в виду дети художника Б. М. Кустодиева, с которым Ремизова связывали дружеские отношения и общий круг знакомых — участников художественного объединения «Мир искусства». Кустодиев был автором нескольких живописных, графических и скульптурных портретов Ремизова, которые хранятся в Государственном Русском музее (СПб.) и Государственном литературном музее (Москва). Позднее им был сделан скульптурный портрет писателя (1910; ГРМ) и набросок сангиной (1910-е гг.; ГЛМ). В письме к Кустодиеву от 1 декабря 1912 г. Ремизов сообщал о рассказе «Мурка»: «О Иринушке написал рассказ. Пришлю оттиск из жур<нала> "Заветы". Рассказ этот пойдет в январ<ской> книжке <...> Иринушке и Кире по поклону» (ГРМ. Ф. 26. № 34. Л. 16).

Из косторомского их Теремка пришло это печальное известие. — «Теремок» — дача, построенная Кустодиевым в 1905 в Костромской губернии. Дочь художника упоминает действительное происшествие; в контексте данного рассказа оно воспринимается как сказочный мотив: «В 1907 году в "теремке" написан и мой портрет с собакой Шумкой <...>. Шумка жил там постоянно, сопровождал папу на охоту. <...> (Шумку потом зимой съели волки; мы долго о нем вспоминали и горевали о его печальном конце)» (Борис Михайлович Кустодиев: Письма. Статьи. Заметки. Интервью. Встречи и беседы с Кустодиевым. Воспоминания. Л., 1967. С. 316). Мотив «Шумку волки съели» впервые встречается в сказке **«Коловертыш»** (1910; Шиповник 4, в цикле «К Морю-Океану»).

С. 129. *курнопятка* — здесь: веснушчатая.

от Покрова до Мясной улицы три шага... — подразумеваются несохранившаяся церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Большой Коломне (1812), стоявшая на Покровской площади (ныне пл. Тургенева), и адрес Б. М. Кустодиева (Мясная, 19, кв. 29).

ЧУДО

Впервые опубликован: Заветы. 1913. № 13. С. 105—107 (под общим загл. **«Свет немерцающий»**; с порядковым номером 2).

Прижизненные издания: Дни (Берлин). 1923. 29 апреля. № 151.

Дата: 1912.

С. 132. *Около Николаевского вокзала у Знаменья...* — т. н. Знаменская церковь, или церковь во имя Входа Господня в Иерусалим (1804); находилась

на углу Невского и Лиговского проспектов, напротив Николаевского (Московского) вокзала.

БОЧОНОЧЕК

Впервые опубликован. Ежемесячный журнал литературы, науки и общественной жизни. 1914. № 1. С. 41—42 (под общим загл. **«Весеннее порошье. Рассказы»**).

Прижизненные издания: В поле блакитном. Берлин: Огоньки, 1922; Оля. Париж, 1927 (в составе первой части книги **«В поле блакитном»**).

Дата: 1913.

Первый рассказ, посвященный детству С. П. Ремизовой-Довгелло.

С. 134. *на голову визжали от боли...* — т. е. до изнеможения.

ЗВЕЗДЫ

Впервые опубликован: Заветы. 1913. № 3. С. 107—109 (под общим загл. **«Свет немерцающий»**; с порядковым номером **3**).

Прижизненные издания: Дни. 1923. 6 мая. № 156 (вместе с рассказом **«Аленушка»** под общим названием **«Человек человеку свет»**); Новое русское слово (Нью-Йорк). 1957. 23 июня (в юбилейном номере, посвященном 80-летию писателя; с незначительными изменениями).

Дата: 1912.

С. 136. *...а глаза минутами прямо как у большого, и большие такие, ну, звезды.* — Ср. с дневниковой записью Ремизова от 20 октября 1912 г.: «В трамвае встретил мальчика: глаза, как звезды» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. № 3. Л. 17 об.).

БЕЛЫЙ ЗАЯЦ

Впервые опубликован: Заветы. 1913. № 3. С. 115—118 (под общим загл. **«Свет немерцающий»**; с порядковым номером **6**).

Дата: 1912.

С. 139. *...заезжал помолиться к Ефросинии Полоцкой в Полоцк...* — Преподобная Ефросиния (в миру княжна Предислава), игуменья Полоцкого монастыря, умерла в Иерусалиме в 1173. В 1187 ее мощи были перенесены в Киево-Печерский, а в 1911 — в Спасский Полоцкий монастырь. День памяти отмечался 25 мая.

С. 140. *...его непременно изобразили бы с зайцем, как в житиях затворников пишут...* — в русских житиях духовных отцов церкви часто встречается мотив приучения ими диких животных.

ЗАВЕТНЫЕ СКАЗКИ

Впервые опубликован: Ежемесячный журнал литературы, науки и общественной жизни. 1914. № 1. С. 41 (под общим загл. **«Весеннее порошье. Рассказы»**).

Прижизненные издания: Сполохи (Берлин). 1922. Октябрь. № 12 (под загл. **«Заветное»**).

Дата: 1913.

Использованное в названии рассказа слово «заветный» имеет несколько значений; здесь употреблено как синоним слова «тайный». В русском языке существует и утраченный глагол «заветать» («завечать»), обозначающий наложение запрета. В отечественной фольклористике именно такое значение слова «заветный» (введенное В. И. Далем) используется для определения группы фольклорных сказок непристойного, эротического содержания, затруднительного для помещения в печати. Ср. с эротическими сказками Ремизова, собранными под названием **«Заветные сказы»** (Пг., 1920).

С. 140. *...лет шесть мне было, не больше, и был у меня приятель кот...* — Имеется в виду кот Наумка, образ которого был для писателя воплощением домашнего уюта (Подстриженными глазами. С. 29—30; 51).

БАБУШКА

Впервые опубликован: Заветы. 1913. № 3. С. 118—120 (под загл. **«Свет немерцающий»**; с порядковым номером 7).

Прижизненные издания: Взвихренная Русь.

Дата: 1912.

СВЕТ НЕЗАХОДИМЫЙ

Печатается по: «Весеннее порошье».

18 июня 1913 г. Ремизов отправил в редакцию журнала «Русская мысль» рукопись под названием **«Свет незаходимый»**, состоявшую из семи рассказов: **«Птичка»**, **«Яблонька»**, **«Беда»**, **«Дикие»**, **«Белое Знамя»**, **«Спасов огонек»**, **«Странник Божий»** (ИРЛИ. № 20.063. Л. 1). Вскоре был получен ответ от заведующей беллетристическим отделом Л. Я. Гуревич: «Впечатление мое от Ваших маленьких рассказов таково, что если б я никогда не знала раньше Вас, как человека и писателя, одной этой серии было бы достаточно, чтобы я навсегда почувствовала и горячо полюбила Вас. Эта серия — по-моему принадлежит к самому прекрасному, что Вы сделали. Я не могу сказать, до чего волнуют меня, до чего льнут к сердцу некоторые из этих рассказов». (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. № 65. Л. 3—3 об.). Предложенные в журнал рассказы были восприняты Гуревич как целостная композиция («нечто художественно целое»), в связи с чем она прилагала всяческие усилия к публикации их в одном номере. Тем не менее, по решению главного редактора П. Б. Струве, цикл был распределен на две журнальные книги (ИРЛИ. № 20.097. Л. 71; п. П. Струве к Л. Гуревич от 20 июля 1913). Киевский критик А. К. Закржевский, пристально следивший за творчеством писателя, в связи с появлением цикла в печати просил Ремизова: «Будьте добры — пришлите мне оттиски "Света незаходимого" из "Русской мысли". Эти рассказы привели меня в восторг» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. № 77. Л. 1; п. от 26 ноября 1913). Состав цикла в сборнике **«Весеннее порошье»** отличается от первой публикации, в виду перенесения двух текстов (**«Птичка»**,

«Яблонька») в **«Свет немерцающий»** и пополнения его двумя новыми рассказами: **«Жук», «Бабинька».**

БАБИНЬКА

Впервые опубликован: Ежемесячный журнал литературы, науки и общественной жизни. 1914. № 1. С. 42—44 (под общим загл. **«Весеннее порошье. Рассказы»**).

Прижизненные издания: Студенческие годы (Прага). 1923. № 4 (8) (под загл. **«Цветник»**); Перезвоны (Рига). 1927. № 28 (под загл. **«Цветник»**); Новое русское слово (Нью-Йорк). 1957. 21 апреля. № 16003 (под загл. **«Райский яблочек»**).

Дата: 1913.

С. 147. *...на серебряной ризе у Троицы...* — оклад иконы Святой Троицы.

ЖУК

Впервые опубликован: Речь. 1913. № 174. 29 июня. С. 2.

Прижизненные издания: Наш огонек (Рига). 1925. 12 декабря. № 50.

Дата: 1913.

ДИКИЕ

Впервые опубликован: Русская мысль. 1913. № 10. С. 57—60 (под общим загл. **«Свет незаходимый»**; с порядковым номером 4).

Прижизненные издания: Сполохи (Берлин). 1922. № 12. Октябрь (под названием **«Людоеды»**).

Дата: 1913.

С. 157. *...показывался живой дикий страус... и яйцо страусово — шестьдесят пудов весит!* — Рассказ воспроизводит реальное событие. 21 мая 1902 г. Ремизов сообщал Щеголеву: «Привезли в Вологду страуса и до сих пор еще висит афиша; содержания точно не помню, говорится что-то об яйце в 40 пуд и о том, что съедает этот страус ежедневно по 15 ф<унтов> камней; особенно приглашаются вологодские дамы, чтобы, глядя на страуса, расширить свои знания, ибо на шляпы идут страусовые перья» (Щеголев. С. 131).

...Фиандра́ какой-то... — Герой назван именем реального лица — Эдуарда Фиандра, владельца пансиона в местечке Фунэ (Швейцария), в котором Ремизовы прожили три недели в июне 1913 г.

С. 158. *...в Петербурге я наткнулся на объявление... показывали диких людей, папуасов, которые людей едят...* — В мае 1912 г. на Офицерской улице, на месте бывшего Демидовского сада открылся «Луна-парк», гвоздем программы которого было специально привезенное племя сомалийцев. Здесь была выстроена деревня, где для увеселения горожан демонстрировались особенности быта и обрядов т. н. «папуасов». Газеты писали об этом «аттракционе», растянувшемся на несколько месяцев, как об издевательстве над несчастными людьми, которые содержались в невыносимых условиях. См., напр.: Петербургская газета. 1912. 23 мая. № 139. С. 5; 5 июля. № 182. С. 3.

С. 159. *И когда все было показано и рассказано, старший людоед кротко так приподнял свой пояс.* — Аналогичный сюжет использован Ремизовым в романе **«Пруд»**. Ср.: «...дикие стали показывать <...> свои украшения и какие-то подозрительные кабаньи хвосты, которыми увешаны были их руки, а потом подняли свои кокосовые пояса, и название при этом сказали, и так серьезно, так наивно, что никому стыдно не было и никто не хихикнул...» (Ремизов А. М. Собр. соч. Т. 1. Пруд. Роман. М., 2000. С. 98).

БЕДА

Впервые опубликован: Русская мысль. 1913. № 10. С. 54—57 (под общим загл. **«Свет незаходимый»**; с порядковым номером 3).

Прижизненные издания: Студенческие годы (Прага). 1923. № 4 (8) (под загл. **«Покров»**; под общим заголовком Из книги **«Человек человеку свет»**).

Дата: 1913.

С. 162. *полыснул* — сказал резко.

БЕЛОЕ ЗНАМЯ

Впервые опубликован: Русская мысль. 1913. № 11. С. 3—7 (под общим загл. **«Свет незаходимый»**; с порядковым номером 5).

Прижизненные издания: Париж накануне войны в монотипиях Е. С. Кругликовой. Пг., 1916.

Дата: 1913.

В рукописи рассказа названия парижских достопримечательностей были приведены на двух языках (по-русски и по-французски). На существенные изменения стилистики всего повествования повлияло мнение Л. Гуревич: «отнюдь не в качестве "заведующего отделением", а в качестве читателя, горячо полюбившего эти Ваши рассказы, решаюсь высказать одно маленькое впечатление: в рассказе "Белое знамя" поставленные в скобках в трех местах французские выражения (Fete-Dieu, le Tabernacle, Sacre Coeur)[1], думается мне, нарушают "стиль" вещи и читательское настроение; и м<ожет> б<ыть>, эти выражения и не нужны по-французски, может — совсем легко обойтись без них, без этих скобок, без пленительной точности. Ведь весь дух этой вещи такой, что в ней даже все истинно-французское претворено в русское, родное: оттого ведь и "Таганка" вместо французской улицы, оттого и "Биржевка" вместо какого-нибудь "Soir"[2]. Думается даже, рядом с этой "Биржевкой" — не нужно бы и французского названия другой газеты: "La Presse! La Presse..."[3] Необычайная художественная прелесть этой вещи в том и состоит, что Париж — и Парижем остался, так что читая, видишь его и дышишь его воздухом, — и вместе с тем все это чувствуется по-русски, в русских тонах. Везде это достигнуто удивительно и только эти три выражения в скобках, да названия газет — одно применительно

---

[1] Праздник тела Господня, Дарохранительница, Святое Сердце (фр.).

[2] «Вечер» (фр.).

[3] Пресса! (фр.).

к русскому, другое прямо по местному и на франц<узском> языке — как-то задевают и расстраивают. Мож<ет> б<ыть>, не нужно и "Биржевки", а в обоих случаях что-то *однородное* — французское, но почувствованное на родной лад» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. № 65. Л. 4—4 об.).

С. 164. *...до Парижа доехал. А помню, как впервые попал я в Париж...* — Впервые Ремизовы посетили Париж весной 1911 г.; вторая поездка состоялась два года спустя.

...лазил и не раз на собор к колоколам, чудищ смотрел... — Подразумевается знаменитый Собор Парижской Богоматери (Notre Dame de Paris) и установленные на нем скульптуры химер.

С. 165. *...все слышится: «Раки живые! Раки живые!» — будто наш разносчик кричит...* — Рассказ непосредственно связан с воспоминаниями о поездке 1911 г. О переменах своего впечатления от Парижа во второй приезд Ремизов писал А. Блоку: «На старом месте живем, по-старому часы бьют, по-старому — по-прежнему к С<вятому> Сюльпису на вечернюю службу и на утреннюю ходим. И так ходил по улицам, словно в Москве, где так все знакомо, ногами убито, расслежено. А не то, все не то (кроме St. Sulpic'а). Бульвары крикливы, кафе пошлы. <...> И совсем другое в глаза лезет — людей вижу, тесноту вижу. Тяжело как живется, ой, как тяжело — и это вижу. Ну, вот, не тот Париж, не о том я вспоминал Париж. В этом наберешься много, только не покою» (Блок. Кн. 2. С. 116). Характерно, что если в 1910-е гг. Париж в сознании Ремизова соотносился с Москвой, то в годы парижской эмиграции на первый план выступили петербургские ассоциации.

С. 166. *...за всенощной выносили Дарохранительницу* — предмет церковной утвари, содержащийся на Престоле Господнем в Алтаре, предназначенный для хранения преждеосвещенных Божественных даров. Дарохранительница символически означает место, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос; стражу, которая приставлена ко Гробу Спасителя, а также ковчег Ветхозаветной церкви. Ср. описание пасхального католического богослужения в церкви St. Sulpice с впечатлениями, которыми писатель делился с Блоком: «Сумеречно. Не зажигаю лампы. Звонят, в St. Sulpice. Боже мой, как хорошо ждать, готовиться! С каким чувством слушают этот звон католики, только, конечно, не эти мертвые, — эти подкрашенные старики покойники и не эти злющие старухи и ие эти в белых венках и белых саванах кокетничающие vierge'ы, а такие... такие настоящие» (Блок. Кн. 2. С. 95; п. от 18 июня 1911). На этой же пасхальной службе вместе с Ремизовыми присутствовала Л. Д. Блок, которая в письме к мужу также описывала свои впечатления (РГАЛИ. Ф. 246. № 117; п. к А. Блоку от 18 июня).

С. 167. *...взобрался на холм к Святому Сердцу...* — имеется в виду расположенная знаменитая базилика Сакре-Кер (Le Sacré-Coeur-Basiliquel), сооруженная на вершине холма Montmartre в память о жертвах франко-прусской войны 1870—1871 гг.

СТРАННИК БОЖИЙ

Впервые опубликован: Русская мысль. 1913. № 11. С. 11—16 (под общим загл. **«Свет незаходимый»**; с порядковым номером 7).

Прижизненные издания: Перезвоны (Рига). 1927. № 39 (под загл. **«Странник»**).

Дата: 1913.

С. 169. *...чай с нерабелью...* — имеется в виду варенье из мирабели, плодов сливового дерева особой породы.

С. 171. *семитка* — монета достоинством в две копейки.

С. 173 *...перешел разговор к тем лицам, шумевшим за последние годы по России за свою святость...* — вероятно, речь идет о лидерах сектанства, собиравших вокруг себя большое число последователей в 1900—1910-х гг. См., напр., газетные заметки о проповедях о. Иллиодора (С. М. Труфанова), который даже стал одним из персонажей «снов» Ремизова (Утро России. 1910. № 124. 16 апреля. С. 1, Взвихренная Русь. С. 121).

СПАСОВ ОГОНЕК

Впервые опубликован: Русская мысль. 1913. № 11. С. 7—10 (под общим загл. **«Свет незаходимый»**; с порядковым номером **6**).

Дата: 1913.

В свете событий первой мировой войны рассказ был воспринят критикой как провиденциальное произведение, поднимающееся до высот классической литературы. «Написано это в 1913 г. — словно в пророческом предчувствии именно о теперешних наших днях, когда России пришлось выйти на свои Страсти» (Джонсон И. [Иванов И. В.] Теперешний Ремизов // Утро России. 1915. № 154. 6 июня. С. 3).

С. 175. *...а у нас в Зимнем дворце, в церкви мощи — Ивана Предтечи рука, государю Павлу Петровичу рыцари в дар прислали...* — Десница Иоанна Предтечи была привезена в дар Павлу I рыцарями Мальтийского ордена в 1799 г.; сохранилась в церкви Гатчинского дворца. В день памяти Иоанна Крестителя (12 октября) мощи переносились крестным ходом из дворцовой церкви в собор Св. Апостола Павла (в Гатчине), где выставлялись в течение недели для поклонения, вместе с другими мальтийскими святынями — крестом из древа Животворящего Креста Господня и чудотворным образом Божьей Матери, писанным Св. евангелистом Лукой. День Иоанна Предтечи отмечается как храмовый праздник собора Св. Апостола Павла и поныне; вместо исчезнувших во время революции святынь в храме выставляются их фотографические снимки. Вероятно, упоминаемое в рассказе местонахождение десницы Иоанна Предтечи в Эрмитажной церкви относится к народным легендам, которыми всегда были окружены подобные святыни. Об использовании Ремизовым одной из таких легенд говорит и факт повторения мотива «украденной десницы» в рассказе **«Рука Крестителева»** из цикла **«Современные легенды»** (сборник **«Шумы города»**), который впоследствии был включен в книгу **«Взвихренная Русь»**.

Стал я прислушиваться и среди народа нашего, того слоя его, и может быть, самого глубинного, голубиного... — от «Голубиной книги» — одного из самых известных памятников русской словесности, созданного народом в жанре духовных стихов, или народной песни. «Голубиная книга», будучи собранием стихов на космогоническую тему, существовала во множестве вариантов и не

имела себе равных по охвату времени (от сотворения мира до его конца), пространства (все вселенная) и сюжетов, связанных с бытием человека. Обычно эти песни исполнялись бродячими певцами (преимущественно слепцами) на ярмарках и базарных площадях или у ворот монастырских церквей. См.: Федотов Г. Стихи духовные. (Русская народная вера по духовным стихам). Paris, 1935. Вероятно, первоначально бытовало название «Глубинная книга», часто ее именовали просто «Глубина». В XIII в. запрещена церковью. Записи духовных стихов велись с XVIII по 70-е гг. XX в.

С. 176. *На Страсти пошел я в Казанский собор... и понемногу до колонн добрался...* — В Великую пятницу Страстной недели во время заутрени в храме читаются Двенадцать Евангелий о страстях Иисуса Христа. Эта служба называется «Страсти Христовы». Сохранилось описание места «у колонн» в Казанском соборе (с приложением плана), где Ремизов и его жена старались встать на многолюдных праздничных церковных службах: «Мы всегда стоим у колонн (подходим понемногу к колоннам)» (РНБ. Ф. 774. № 33. Л. 40; п. А. И. Тинякову от 26 декабря 1914).

...бабушка, а под образом, на приступочке, Петька... — речь идет о повторяющихся образах прозы Ремизова, впервые представленных в новелле **«Богомолье»** (книга **«Посолонь»**), а затем в рассказе **«Петушок»**.

МАТКИ-СВЯТКИ

Печатается по: Весеннее порошье.

Все три текста, составившие цикл, впоследствии переиздавались в новых редакциях. Формально он делится на две неравные части. Особняком, на первый взгляд, стоит рассказ **«Павочка»**, по своему содержанию и объему явно стремящийся к жанру повести: в 1922 он подвергся значительной переработке и был издан отдельной книгой под названием **«Корявка»**. Одним из принципиальных изменений стало переименование главного героя из Ивана Александровича в Петра Ивановича, что безусловно, усиливало тему петербургского локуса и символического образа основателя города — Петра Первого. Тексту **«Корявки»** предшествовало факсимильное воспроизведение фрагмента ремизовской каллиграфии (**«Автограф»**), содержание которого ориентировало весь рассказ на мотивы личной жизни писателя, в том числе и его ближайшего окружения. **«Глаголица»** и **«Оказион»**, опубликованные в канун Рождества, относятся к особому жанру «святочных рассказов» (ср. с общим заголовком к **«Оказиону»** — **«Святочное»**), поддерживающих народную традицию рассказывать истории (святочные былички), в которых реальная жизнь соседствует с мистической, колдовской или сказочной. Время создания рассказов определяется достаточно длительным периодом: 1907—1913. Наиболее ранним текстом, вошедшим в **«Оказион»** в качестве вставной новеллы, была сказка **«Царь Додон»**, написанная на святках 1907. Собственно, в рассказ включен лишь ее фрагмент, который и стал первой публикацией «цензурного» начала сказки, полностью опубликованной только в 1920-м в книге **«Заветные сказы»** и изданной отдельной книжкой в 1921 г. Подобная частичная «легализация» эротической сказки соотносится с примечательным эпизодом из истории издания «Русских заветных

сказою» (Женева, 1872; 1878), когда А. Н. Афанасьев включил «печатные» начала некоторых сказок в составленный им сборник «Народные русские сказки» (Вып. 1—8, 1855—1863), а «непечатные» их продолжения — в состав рукописного сборника (См.: Народные русские сказки не для печати, заветные пословицы и поговорки, собранные и обработанные А. Н. Афанасьевым. 1857—1862 / Подг. текста О. Б. Алексеевой, В. И. Еремина, Е. А. Костюхина, Л. Б. Бессмертных. М., 1997). Неполная публикация эротической сказки, написанной на 7 лет раньше основного текста рассказа, несомненно, стала проявлением игровой природы ремизовского творчества, не чуждого мистификаций. Вместе с тем впервые была зафиксирована оригинальная тенденция к интертекстуальности — осознанному повтору текста не только в новой стилистической правке, но и во взаимодействии с другими текстами. В дальнейшем Ремизов узаконит перемещение одних и тех же текстов по разным повестям и романам, их постоянную трансформацию, создание новых комбинаций повествования, углубление и наполнение новым содержанием. После публикации **«Глаголицы»** и **«Оказнона»** в составе цикла **«Матки-Святки»** их варианты неоднократно воспроизводились в эмигрантской печати как самостоятельные произведения. Более того, вставные новеллы этих рассказов также получили своего рода независимость от сюжетообразующей канвы, связанной с главным героем Корнетовым. Например, сказка про лапландских колдунов (часть 2) была оторвана от корнетовской линии повествования и опубликована в берлинской газете «Дни» под названием **«Нойда»**. Третья и четвертая вставные новеллы неоднократно помещалась в эмигрантской периодике как отдельные тексты. Когда в 1931 г. на страницах журнала «Воля России». Ремизов стал последовательно публиковать главы автобиографической повести **«Учитель музыки»**, в ее состав в переработанном виде были включены рассказы **«Глаголица»** и **«Оказион»**, разделенные на небольшие новеллы с собственными названиями (См.: Учитель музыки. С. 555—567). Сборник **«Весеннее порошье»** завершается авторскими примечаниями. К рассказу **«Павочка»** Ремизов дал комментарий для выражений *ослá бритве* и трем словам *щечилы, нитунис, оскорд* (С. 321). Эти объяснения приводятся далее в кавычках.

ПАВОЧКА

Впервые опубликован: Нива. 1914. № 9. 1 марта. С. 162—169; № 10. 8 марта. С. 182—189 (под загл. **«Несекомая пуповина»**).

Машинопись (начало и конец повести, под названием **«Корявка»**) — ГЛМ. Ф. 156.

Прижизненные издания: Корявка. Повесть. Берлин: Изд. Е. А. Гутнова. Библиотека Сполохи. 1922.

Дата: 1914.

С. 181. *...объяснять такую связанность человеческую перевоплощением нашим, как это вздумал один верующий в перевоплощение знаток — значит ни больше ни меньше как пальцем попасть в небо.* — Очевидный намек на основоположника антропософии Р. Штейнера, одним из важнейших элементов учения которого является принцип перевоплощения душ, или реинкарнации. В 1910-х гг. Ремизов резко отрицательно относился к религиозным исканиям

интеллигенции, в том числе и к антропософии. Ср. с поздней дневниковой записью: «З. Н. Гиппиус, "новая церковь", антропософы Штейнера хотели отделить меня от Серафимы Павловны. Духовно мелкие и нам чужое. В мире духовном им понять С. П. нельзя... С. П. была высокого духа...» (Кодрянская. С. 319; запись от 9 апреля 1957).

С. 181. *вся эта осла́ бритве и соль земли...* — «оселок бритве», или брусок точильного камня, на котором правят острие бритвы; соль земли — здесь подразумевается интеллигенция и ее преувеличенные представления о собственной роли в историческом и культурном процессе.

С. 182 *...по большим праздникам..., по двунадесятым...* — так в церковном уставе называются 12 особо чтимых великих праздников: одни из них посвящены воспоминанию важнейших событий земной жизни Ииуса Христа, другие — событий из жизни Матери Божьей.

Лихо одноглазое — традиционный персонаж русской народной сказки, воплощения горя, демон злой судьбы и несчастий, имевший образ одноглазой старухи, чудовища или странника, ходящего от дома к дому.

знамечко тут на шейке... — родимое пятно.

С. 183. *ротонда* — верхняя женская одежда в виде длинной накидки без рукавов.

...и думаю я, что в виду важности открытия, любой и самый крысиный из крысиного подполья лишил бы себя удовольствия чаю попить с баранками... — Тема «крысиного подполья» восходит к «Запискам из подполья». Ср.: «Там, в своем мерзком, вонючем подполье, наша обиженная мышь немедленно погружается в холодную, ядовитую и, главное, вековечную злость» (Достоевский. Т. 5. С. 104) и знаменитому риторическому вопросу их героя: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить» (Там же. С. 174).

С. 186. *астральное тело* — пространство вокруг физического тела человека, в границах которого находится сознание во время сна; термин теософии и антропософии, восходящий к Парацельсу; по Р. Штейнеру — «душевное тело», или «душа ощущающая».

С. 189. *щечи́лы* — «тараторы, вергасы»; от щечить — говорить скоро́говоркой.

С. 194. *...не менее чудесная повесть о Петре, как наш царь-градарь, высиживал в огненной шпруделевой ванне ни много, ни мало круглые сутки...* — Обращенные в легенду реальные подробности биографии Петра I. Речь идет о ваннах с минеральной водой на бальнеологическом курорте в Карлсбаде. Впервые Петр I посетил Карлсбад в сентябре 1711 г. и испробовал на себе местный способ лечения водами от преследовавших его приступов «перемежающейся лихорадки», «скорбута» и болезни мочевого пузыря. Тогда методы водолечения сильно отличались от современных: «Прежде всего воду пили не у источников, как это принято теперь, и не во время прогулки, а на дому, сидя и даже лежа в кровати, нередко в жарко натопленной комнате. Весьма вероятно, что Петр лечился именно так, тем более, что, как известно, Царь очень любил тепло. Лечение начиналось с того, что пациент пил воду (Шпрудель) в продолжение 7—10 дней, начиная с 15—18 кружек в день и прибавляя затем по кружке,

пока число их не достигало 30—40 в день. Затем пациент принимал ванны в течение 2—3 дней» (Военский К. Петр I в Карлсбаде в 1711 и 1712 годах. СПб., 1908. С. 13—14). Ремизов проходил курс такого водолечения летом 1914 г.: «Наконец выбрались мы из Карлбада <...> шпруделевые ванны помогли, но от воды отощал» (РНБ. Ф. 124. № 3621. Л. 16; п. к Э. П. Юргенсону от 8 июля).

С. 194. *пуповская музыка* — возможно, от puppe (нем.), т. е. кукла.

С. 197. *нитунис* — «ни то ни сё».

С. 198. *оскорд* — «секира».

Вербное воскресенье — последнее воскресенье перед Пасхой, праздник в память о въезде Господнем в Иерусалим. В русской традиции верба заменяет пальмовые ветви (вайи), которыми приветствовали Иисуса Христа.

...при Александре Македонском Сенека находился — абсурдное утверждение, которое восходит к реальному зпизоду: «"Аполлон"» не "Журнал для всех" с редактором В. С. Миролюбовым, прозванным Сенекой: поправил в статье Лундберга Аристотеля на Сенеку (учитель Александра Македонского)...» (Мышкина дудочка. С. 43). Ср. также с надписью Ремизова на личном экземпляре книги «Корявка»: «Сколько таврических воспоминаний связано с этим Корявкой / Петр Иванович — это Нерадовский / Балда Балдович и Сенека <Гераклит — зчркн. — *Е. О.*>, учитель Александра Македонского / это от В. С. Миролюбова / Доктор — конечно, Нюренберг / а приведение лунатическое от Терещенок и от Акопенки тут перепало что-то про фельдшера...» (Каталог. С. 23).

С. 199. *Ты меня, Алексей Тимофеевич, называй Балда Балдович, а я тебя Сенекой* — в Обезьяньей Великой и Вольной Палате прозвище «Балда Балдович» закрепилось за Розановым. Под этим же именем он упоминается и в «Разрядной росписи людям Обезьяньей Великой и Вольной палаты», составленной со слов Ремизова С. Я. Осиповым (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. № 13. Л. 46). Ср. также: «В игре и в откровенные минуты В. В. <Розанов> говорил "ты", а себя называл Василием <...> — Не Василий Васильевич, а Балда Балдович. Так я должен был называть В. В.» (Кукха. С. 73).

...и был глагольлив, что́ вергаса́...— т. е. болтлив, как тараторка.

С. 200. *мироносицы* — святые жены, принесшие миро (благовонное масло) для помазанья Иисуса Христа во гробе.

С. 201. *«Нива»* — популярный еженедельный иллюстрированный журнал литературы, политики и современной жизни, издававшийся в Петербурге «Товариществом Д. Ф. Маркс» с 1870 по 1918.

С. 202. *отклика* — отзвук.

Воздвиженье — церковный праздник Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (14 сентября).

С. 206. насметный — от сметать, смести.

порука — поручение.

С. 210. *завечен* — здесь: обрчен.

ГЛАГОЛИЦА

Впервые опубликован: Речь. 1911. № 354. 25 декабря. С. 2—3.

Рукописные источники: Беловой автограф с правкой (новая редакция под названием **«Тысяча съеденных котлет»**) под общим названием **«Учитель музыки. Повесть»** в тетради вместе с главами **«Оказион»** и **«На птичьих правах»** (датирован 1930) — РГАЛИ Ф. 420. Оп. 4. № 8.

Прижизненные издания: Дни (Берлин) 1922. № 48. 24 декабря. С. 1 (часть третья, под загл. **«Нойда»**, объединенная с сказкой **«Суженый»** под общим заголовком **«Святочные рассказы»**); Воля России. 1931. № 1/2 (в составе повести **«Учитель музыки»**; новая редакция).

Дата: 1911.

Возможно, рассказ еще в рукописи обсуждался с А. Блоком, который явно ошибочно приводит его название в числе произведений, вошедших в пятый том собрания сочинений писателя (См.: Блок. Кн. 2. С. 99; п. Блока от 14 ноября 1911). Реакция на выход «Глаголицы» в печати была неоднозначной. Иванов-Разумник, почти всегда высоко оценивавший литературное мастерство Ремизова, писал автору 27 декабря 1911 г.: «**"Глаголица"** в "Речи" меня огорчила: — неудачно. Тяжело очень написано, пот виден. Каждая глава в отдельности хороша, а все вместе не склеились. По началу такой размах, точно «Крестовые сестры» дальше будут, а потому и впечатление такое: с большим усилием размахнулся великан, обрушил удар и — сломал кулаком пустую картонную коробку. Тема трудная, задумано хорошо, сделано плохо — тяжело» (Иванов-Разумник II. С. 67).

С. 211. *писал письма и всякие дружеские послания глаголицей.* — Ремизов, изучая памятники славянской письменности, освоил древнюю азбуку — «глаголицу» и нередко в личной переписке использовал глаголический алфавит, представляя самые обычные фразы (например, имя и отчество адресата) как шифрограмму. Глаголица стала тайным языком, на котором оформлялись документы и наградные грамоты Обезьяньей Палаты.

С. 213. *был этот Рюкерт самым обыкновенным колыванским немцем...* — очевидно, что одним из реальных прототипов этого героя был немецкий поэт Ганс (Иоганнес) фон Гюнтер (1886—1973), уроженец Митавы Курляндской губернии (ныне Елгава, Латвия). О Г. Гюнтере, часто гостившем у Ремизова на 5-й Рождественской, см.: Встречи. С. 194—199; а также: Иоганес фон Гюнтер и его «Воспоминания» / Ст., публ., прим. и перевод К. М. Азадовского // Блок. Кн. 5. С. 330—361. Имя персонажа несет в себе явно двусмысленный подтекст, так как, с одной стороны, восходит к немецкому поэту-романтику Фридриху Рюккерту (1788—1866), с другой, ассоциативно связано с дальним родственником писателя — Федором Ивановичем Рюккертом, который был тестем брата Ремизова. Подробнее о Ф. И. Рюккерте см.: Кодрянская. С. 76.

...занимал квартиру на Кавалергардской — Ремизов жил на Кавалергардской ул., д. 8 в 1906—1907 гг. Описание жилища Корнетова соотносится с другой ремизовской квартирой — на Таврической улице (д. 3-в), где, собственно, и был написан этот рассказ.

С. 214. *...тороват и вожеватый — любил водить гостей...* — т. е. щедрый и обходительный.

...на плечах вишневый теплый платок... — Ремизов, вечно кутающийся в шаль, запечатлен в статье Волошина 1907 г.: «Сам Ремизов напоминает своей наружностью какого-то стихийного духа, сказочное существо, выползшее на свет из темной щели. <...> Нос, брови, волосы — все одним взмахом поднялось вверх и стало дыбом. Он по самые уши закутан в дырявом вязаном платке» (Волошин. С. 509).

С. 215. *...от самого Шапшала...* — знаменитый фабрикант, табачная фабрика которого находилась в Петербурге на углу Перекупочного переулка и Херсонской улицы.

...собирались в день Симеона-Летопроводца... — 1 сентября; в старину этот день считался началом нового календарного года. В народной традиции церковный праздник (день памяти преподобного Симеона Столпника), как многие другие, сопровождался языческими по своему происхождению обрядами, связанными с проводами лета. В частности, было принято «хоронить» мух и тараканов, чтобы они более не заводились в домах.

Бывал правовед... которого величал кавалергардом... — возможно, на прозвище героя оказала влияние топонимика рассказа, действие которого происходит на Кавалергардской улице. В то же время Ремизов именовал «кавалергардами» трех своих знакомых. Ср.: «...появляются у нас на Кавалергардской, я помню, удивительно мне, три блестящих "кавалергарда", сенаторские сынки, под стать первым петербургским лошадникам, на скачках непобедимые призовые: Трубников, Тройницкий, Бурнашов. <...> Они основали типографию "Сириус" и первой книгой выпустили мой "Пруд"...» (Мышкина дудочка. С. 198). Тройницкий С. Н. (1882—1948) — известен прежде всего как первый директор Эрмитажа, проработавший в этой должности с 1917 по 1927 гг. Его друзья юности, товарищи по училищу Правоведения: А. А. Трубников (1883—1966) — искусствовед, сотрудник Эрмитажа, автор книги «Моя Италия» (1908); и М. Н. Бурнашов, о котором Ремизов вспоминал: «М. Н. Бурнашов, после Правоведения, учился в Археологическом институте, учился с Серафимой Павловной <Ремизовой-Довгелло>, не мог кончить, опаздывал на экзамен — это родовое Бурнашовых, его отец трижды опаздывал в церковь на свою свадьбу; Бурнашов эмигрировал, жил в Риге, сделался священником и помер до войны. Он был кроткий и тихий» (Встречи. С. 74).

С. 217. *стрепетный* — шумный.

С. 219. *Индиан псоглавый* — имеется в виду кинокефал — мифологический образ псоглавого человека. Древние предания связывают его происхождение с Индией, описание их встречается в русских переводах греческих романов об Александре Македонском, а также в «Сказании об Индийском царстве» (XIII в.). В христианской традиции также существует образ св. Христофора, изображавшегося псоглавым.

С. 221. *Нойды* — северные лапландские колдуны. Первая публикация рассказа в газете «Речь» была снабжена небольшим примечанием, поясняющим источник сказки о нойдах — «См.: Харузин Н. Н. Русские лопари. М., 1890 и "Этнограф<ическое> Обозр<ение>, М; 1889. Кн. I». В журнальной статье

«О нойдах у древних и современных лопарей» Н. Харузин приводит две фольклорных записи о «барышнях» с ключами и о нойде-покойнике. (Этнографическое обозрение. 1889. Кн. 1. С. 69—70; 73—75), используемые Ремизовым. Первый сюжет описан в статье как рассказ некой Егоровны, имя которой автор заменил на Ивановну. К концу 1900-х гг. интерес к северному фольклору у Ремизова усилился, отчасти благодаря М. Пришвину, который выпустил книгу о своем путешествии в Карелию, Лапландию и Норвегию — «За волшебным колобком» (1908). Весной 1910 г. оба писателя даже планировали предпринять совместную экспедицию в Лапландию. О том, что подготовка к ней велась вполне серьезно, свидетельствует рисованная карта Лапландии, скопированиая самим писателем и сохраненная в одном из его домашних альбомов (РНБ. Ф. 634. № 18. Л. 9). Своими познаниями о таинственных лопарях-нойдах Ремизов делился и в письмах к М. Волошину: «...знаю, что колдуны они, знаю, что Ивану Грозному привозили лопаря — нойда, знаю о некоторых нойдах — что делали при жизни и по смерти, знаю, что русских лопарей 2000, так считают, но их больше — есть такие умерли, а ходят по Лапландии, ищут, кому бы ключи передать» (См.: Пришвин. С. 173—175). В ответном письме Волошин указал известные ему библиографические источники: «Об Лапландии ничего не знаю, Алексей Михайлович. Но знаю, что все, что известно об Лапландии — все собрано в трудах Угрско-Финского Общества, издающихся в Гельсингфорсе. Около 12 том<ов>, кажется. Очень хорошо, что Вы туда поедете да еще с Пришвиным» (РНБ. Ф. 634. № 81. Л. 11; п. от 4 июня 1910).

С. 224. *галить* — смеяться.

ОКАЗИОН

Впервые опубликован: Заветы. 1913. № 12. С. 13—34 (под общим названием «Святочное»).

Рукописные источники: 1. Наборная рукопись для журнала «Заветы» с многочисленной правкой автора и корректорскими пометами; отсутствуют три последних абзаца; на первом листе рукой неизвестного: *Первая статья. № 12. Первый отдел;* слева карандашом адрес Ремизова: *Таврическая ул., д. 7, кв. 23;* ИРЛИ. Ф. 79 (необработанная часть архива Иванова-Разумника). 2. Новая редакция — глава **«Оказион»**. Автограф (под названием **«Учитель музыки. Повесть»** в тетради с авторской правкой, вместе с главами **«Тысяча съеденных котлет»** и **«На птичьих правах»** (датирован 1930). РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. № 8. 3. Часть третья: список двух сказок **«Что есть табак»** (Л. 1—23) и **«Царь Додон»** (Л. 24—39); под общим названием **«Святочные рассказы»**, сделанный, предположительно, рукой А. И. Замятиной, с правкой Е. И. Замятина. Текст **«Царя Додона»** имеет посвящение Льву Баксту и датировку в конце «1907 г. Святки» — РРБ. Ф. 292. № 23. 4. Авторизованная машинопись, на первом листе зачеркнутый заголовок, написанный рукой неизвестного, карандашом *Алексей Ремизов / Не-весть-что / Сказка про Додона / К<остром>а / 1912.* На обороте первого листа сверху также карандашом: *Отпечатано в количестве 25 экземпляров на правах рукописи № 0.* Внизу листа: *Экземпляр исправленный собственноручно автором* — ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. № 5.

Прижизненные издания: Заветные сказы. Пг.: Алконост, 1920 (часть вторая, как фрагмент сказки «Царь Додон»); Царь Додон. Пг.: Алконост, 1921 (часть вторая); Звено. 1923. 19 марта (часть третья; под названием **«Покаянный рассказ. С покойника (доисторическое)»**; Новая нива (Рига). 1926. № 39 (часть третья; под названием **«Покаянный рассказ. С покойника. Донсторическое»)**; Последние новости (Париж). 1934. № 5024. 25 декабря (часть третья; под названием **«Эмпермеабль»**); Воля России (Прага). 1931. № 1/2 (в новой редакции, как глава книги **«Учитель музыки»**).

Дата: 1907—1913.

С. 226. *Семенин день* — день памяти преподобного Симеона Столпника (1 сентября), называемого в народе также Летопроводцем.

С. 229. *Не-весть-что, про Додона!..* — «Не-весть-что. Сказка о царе Додоне» — вариант заголовка для сказки, появившейся в печати под названием **«Царь Додон»**, впоследствии опубликованной в книге **«Заветные сказы»** (Пб.: Алконост, 1920), а также отдельным изданием (Пг.: Обезьянья великая вольная палата [Алконост], 1921).

С. 230. *...ворон, лягушка-царевна, золотое яблоко, живая и мертвая вода, чудесный перстень, златогривый конь, свинка-золотая щетинка, олень-золотые рога, птица-колпалица, гусли-самогуды* — с одной стороны, «диковинки» царя Додона — это собранные воедино «чудесные помощники» и предметы, с которыми связаны устойчивые мотивы волшебной сказки (См.: Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. Т. I—III. М., 1984—1985); с другой, сама тема сказочного царя, обладающего множеством невиданных чудес, восходит к «Сказанию об Индийском царстве» — памятнику древнерусской письменности XIII в., который представляет собой послание мифического индийского царя-христианина Иоанна императору Мануилу, где описываются владения и необыкновенные богатства Иоанна как средоточие сказочных и фантастических чудес. Например, сказочный образ свинки-золотой щетинки, которая была источником света в темноте, соотносится с особенным камнем «кармакаул» в золотой царской палате: «ночью же светит тот драгоценный камень, как день, а днем — как золото». Немало было у царя Иоанна чудес, поддерживающих его здоровье и молодость: два золотых яблока с сапфирами, «дабы хоробрость наша не оскудела», особое масло (миро), спасающее от старости и болезни глаз и др. (См.: Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М., 1981. С. 466—473).

С. 231. *перловый трон* — жемчужный (от перл — жемчуг).

С. 232. *поруха* — помеха.

С. 233. *Лука Водыльник* — образ, восходящий к герою поэмы «Лука Мудищев», приписываемой И. С. Баркову.

С. 234. *Дракан царь* — возможно, подразумевается легендарный афинский законодатель Дракон; при нем в 621 г. до н. э. были утверждены правовые обычаи, нарицательное имя которых («драконовские меры») сохранилось до наших дней.

Богоявленская вода — вода, освященная в день Богоявления, или Крещения Господня (6 января).

С. 235. *топтать мышей* — в переносном значении: совокупляться.

С. 237. *замоторел* — затерялся, запропастился.

С. 237. *оказион* — имеется в виду расродажа подержанных вещей продажа — Occasi'on *(фр.)*, букв.: по случаю.

С. 239. *Прямо на ваш рост, автомобиль!* — Игровое переосмысление звучания иностранной реки как русской. Принимая во внимание, что сюжет публиковался Ремизовым под самостоятельным названием «Эмпермеабль» (Последние новости. 1934. № 5024. 25 декабря), которое является собственно французским словом *empermeable*, означающим непромокаемый плащ, — очевидно, что именно этому слову герой нашел звуковой русский эквивалент — *автомобиль*. Однако, вполне вероятно, продавщица могла сказать «un manteaux habillé» (элегантное пальто), также отдаленно совпадающее с звучанием слова «автомобиль».

С. 242. *Свет неизреченный фаворский* — свет, который заблистал в мгновения преображения Господа; по названию священной горы на восток от Назарета.

ЗА СВЯТУЮ РУСЬ

Печатается по: За святую Русь. Думы о родной земле. [Пг.]: Изд. журнала «Отечество», [1915].

Сборник состоит из двух частей и в основном представлен произведениями, написанными в жанре сказки или легенды. Только два текста из первой части, не имеющей специального заголовка, являются реалистическими рассказами в строгом определении этого жанра.

[За святую Русь]; [Николин Завет]; [Никола милостивый — угодник Божий]

ПОЛОННОЕ ТЕРПЕНИЕ

Впервые опубликован: Огонек. 1914. № 33. С. 3—6.

Дата: 1914.

Первые дни войны Ремизов и его жена волею судьбы провели в дороге, спешно возвращаясь в Россию из длительного заграничного путешествия. Посещение Европы безмятежно началось в мае 1914 г. с Италии, а в июле Ремизовы остановились в Берлине. Узнав о начале войны, они попытались покинуть пределы Германии, но граница была уже закрыта (удалось добраться только до Алленштайна). Чтобы вернуться в Петербург, супругам пришлось проделать тяжелый путь через Швецию и Финляндию. Только 31 июля, через 12 дней скитаний, сопряженных с риском оказаться интернированными, они вернулись домой. В дороге пропал багаж, в котором находились рисунки писателя, сделанные в Риме. Еще некоторое время по приезде в Петербург Ремизов сравнивал перенесенные тяготы с пленением и писал о себе: «вернувшийся из немецкого плена». В его заметках, фиксировавших адреса и маршруты поездок, подробно (по дням и даже часам) расписан весь трудный путь домой. Так, из Берлина до Алленштайна Ремизовы добирались 15 часов и были вынуждены в течение 11 часов пути простоять в спальном вагоне. После чего они ожидали «под открытым небом» пересадки в «телячий вагон», идущий в

Штетинг (Щецин), а затем посадку на пароход до Рюгена и т. д. (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. № 6. Л. 2). Ср. с письмом Я. Шрейбера, который стал свидетелем того трудного положения, в котором Ремизовы оказались в Берлине. В письме, нашедшем писателя почти полтора года спустя, Шрейбер, сам пройдя через унизительные испытания от немецких властей, обрисовал реальную опасность, которую по счастью избежали Ремизовы: «Промаялись мы в Берлине после В<ашего> отъезда 3 месяца, не выпускали меня немцы до тех пор, пока их врачи не признали меня совершенно негодным для военной службы. За три месяца в Германии пережили мы немало и при каждой новой неприятности или гадости немецкой с радостью вспоминали: "Какое счастье, что мы Ремизовых успели выправить <т. е. выпроводить. — *Е. О*>!" Все, что мы с Вами пережили на вокзале были цветочки, ягодки потом пришли. Меня, как давно жившего в Берлине в тюрьму не упрятали, а что было бы с Вами, если бы Вы не успели выбраться — не ручаюсь, почти все новоприбывшие мужчины были рассажены по тюрьмам! Два раза в день мы всем семейством должны были являться в участок, из нашего околодка не имели права отлучаться и т. д. и т. д., словом жили под постоянной угрозой. А помните, как наши дамы на меня рассердились, когда я Вам сказал, что пахнет войной и советовал немедленно собираться в дорогу?! О Ваших приключениях слышал только мельком, в газетах не читал; в каком страхе мы были за Вас, когда ушли с вокзала и потом, когда узнали, как с русскими путешественниками обращаются» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. № 235). Короткое описание своего возвращения в Россию Ремизов оставил в письме к И. Рязановскому: «...12 дней ехали, едва ноги принесли. Нас арестовали за час до границы и начались наши мытарства. Все вещи наша погибли. Нас не били (а на о. Рюгеие я встретил таких), но под ружейной угрозой держали не мало» (РНБ. Ф. 634. № 32. Л. 31; п. от 8 августа 1914). Столкновение с войной спровоцировало у Ремизова устойчивые антинемецкие настроения. Обострившийся патриотический пафос ремизовского творчества отвечал идеологии шовинистически настроенных журналов «Отечество» и «Лукоморье». Так в одноименных издательствах появились сборники **«За святую Русь»** и **«Укрепа»**. В то же время, существует свидетельство Ф. Фидлера, записавшего 23 апреля 1915 г. в своем дневнике слова Ремизова, сказанные ему при личной встрече: «Многие из наших писателей будут после войны стыдиться своих выпадов против немцев!» (Fiedler F. Aus Der Literatenwelt. Charakterzüge und Urteile. Tagebuch / Herausgegeben von K. Asadowski. Gottingen, 1996. S. 468; пер. Л. Ильницкой). Заинтересованность рассказом Ремизова в августе 1914 проявлял и *журнал* «Отдых Христианина». Сохранился письменный запрос редакции о возможности и условиях перепечатки текста (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. № 23. Л. 45). С осени 1921 Берлин станет первым эмигрантским прибежищем Ремизовых. В статусе русского эмигранта писатель по-новому взглянул на содержание сборника **«За святую Русь»**, написав 6 июня 1923 г. иа шмуцтитуле книги: «Страшно глядеть теперь на эту книгу в особенности тут в Германии. Но все написанное вышло без "подладу", по искреннему чувству тревоги и такой взбити чувств, как в первый год войны. Чувство конца, вот это что» (Каталог. С. 19).

С. 268 *...священный Рюген, где когда-то в Арконе стоял Световид...* — Рюген — остров в Балтийском море, входивший в состав прусской провинции

Померании. В X в. его первоначально германское население было вытеснено славянами-вендами. На самом северном мысе острова Аркона (название которого, возможно, происходит от славянского «уркан», т. е. «на конце») был построен одноименный город — религиозный центр прибалтийских славян, примечательный храмом вендского бога Святовида. В 1168 г. остров был завоеван Датским Королем Вальдемаром и разорен.

С. 268. *...наш Перун златоусый...* — в славянской мифологии бог грозы (грома), покровитель военной дружины и ее предводителя (князя).

...славянская Руя — или Руяна: славянское наименование о. Рюген.

КУБИКИ

Впервые опубликован: Последние известия. 1914. № 77. 19 октября. С. 3.

Рукописные источники: Беловой автограф, под загл. **«Судная повесть»;** на л. 1 рукой Ремизова написано красными чернилами *Алексей Ремизов / Судная повесть;* черными чернилами внизу листа *Алексей Михайлович Ремизов, / Таврическая, 7, кв. 23)* — ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 2. № 74.

Дата: 1914.

Вскоре после вступления России в войну писатель подготовил наборную рукопись рассказа, первоначально названного **«Судная повесть»**, которую 11 августа 1914 г. адресовал П. Щеголеву (в то время заведующему литературным отделом бесплатного приложения к газете «День», выходившего под названием «Отклики»), и через несколько дней получил из редакции официальный отказ. В связи с чем 17 августа он вновь написал Щеголеву: «Неделю назад <...> послал Вам с куриный носок "судную повесть". В "День" эту повесть не напечатали, и я покорно прошу Вас послать ее мне, <к словам дана сноска: "черновик у меня очень растрепан">, куда-нибудь отдам в другое место» (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. № 1479—1610. Л. 113). Характерно, что в беловом автографе, отличном от печатной редакции, маленький герой именуется Петушком. Возможно, рассказ замышлял как продолжение корпуса текстов о мальчике Петьке, впервые появившегося в составе **«Посолони»**.

[Свет необоримый]

СРЕДИ МУРЬЯ И НЕУРЯДИЦЫ

Печатается по: Среди мурья. Рассказы. М.: Северные дни, 1917.

Наборная рукопись, с авторской правкой — ГЛМ. Ф. 156. РО 3687.

Название цикла впервые прозвучало на страницах «Биржевых ведомостей» (1916. 10 апреля), где под этим общим названием были напечатаны три рассказа: **«I. Перчатки»; «II. Свет нерукотворенный»; «III. Звезды»**. Среди рассказов, в основном написанных на реалистическом материале, выделяется притча **«Камушек»**, которая в настоящем издании не приводится. Некоторые тексты снабжены авторскими примечаниями. Цикл создавался в квартире по ул. Песочной (д. 8, кв. 3), куда Ремизовы переехали в сентябре 1915 г. Реалии нового петроградского адреса рассеяны по всем рассказам цикла. На шмуцтитуле личного экземпляра сборника **«Среди мурья»** Ремизов оставил инскрипт, об-

ращенный к С. П. Ремизовой-Довгелло, который заканчивается словами: «Рассказы написаны за войну 1915—1916. В тягчайшие военные годы это память, деточка, душевная, удушья войны. 1. 3. <19>23» (Каталог. С. 19). Сборник завершается авторскими примечаниями, которые далее приводятся в кавычках.

«В ДНИ НАРОДНОЙ СТРАДЫ...»

Впервые опубликован: Биржевые ведомости. 1916. № 15493. 10 апреля. С. 2 (под названием «Звезды», с порядковым номером III, под общим заголовком **«Среди мурья и неурядицы»**).

Прижизненные издания: Мара.

Дата: 1916.

СЕСТРА УСЕРДНАЯ

Впервые опубликован: Биржевые ведомости. 1915. № 15099. 20 сентября. С. 2.

Дата: 1915.

Прижизненные издания: Мара; Пряник осиротевшим детям. Сборник в пользу убежища общества Детская помощь. Пг., 1916.

Дата: 1915.

Рукопись рассказа была отправлена в редакцию газеты «Биржевые ведомости» А. Измайлову 2 сентября 1915 г. (ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. № 276. Л. 31).

С. 277. *Сарты, что ли, там в чалмах...* — по-видимому, искаженное от сардары или седары, т. е. индийские предводители племен или влиятельные сановники.

С. 281. *Вы помните, как в начале войны все наши городские барышни записались в сестры милосердия...* — жена писателя С. П. Ремизова-Довгелло после обучения на курсах сестер милосердия в «Общине св. Евгении» в 1915 г. работала в военном лазарете под Варшавой.

ЧАЙНИЧЕК

Впервые опубликован: Русская мысль. 1915. № 10. С. 143—163.

Прижизненные издания: Мара.

Дата: 1915.

Рукопись рассказа 27 июля 1915 г. была направлена в газету «Биржевые ведомости» вместе с письмом к А. Измайлову, в котором Ремизов, принимая во внимание достаточно большой объем текста, предлагал разделить его на два номера: «сначала гл<ава> 1 и 2, затем 3, 4 и 5-ая» (ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. № 276. Л. 28). Эта публикация не состоялась. Почти одновременно (5 августа 1915 г.) автор получил отказ из газеты «Русское слово» — «вследствие обилия срочного военного материала» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. № 25. Л. 10). Некоторые петербургские писатели имели возможность ознакомиться с новым произведением Ремизова в авторском исполнении, о чем упомянул в своем дневиике Б. А. Лазаревский: «Сегодня в редакции "Ежемесячного" миролюбовского журнала я

слушал чтение автором А. М. Ремизовым своего рассказа "Чайничек" — удивительный рассказ! Как высоко поднимается русская литература — что значит душа у нее огромная. Сильно чувствуется. Пришли: В. Муйжель, Е. Чириков, А. Ремизов, Чапыгин, С. Городецкий, снбиряк Шишков и другие» (ИРЛИ. Ф. 145. № 10. Л. 17; запись 14 октября 1915).

С. 286—287. *«Вот уже месяц, как мы здесь, и так хорошо, что и в войну перестали верить...» — выговаривалось письмо щелинское, заманивая в Качаны...* — Ср. с п. Иванова-Разумника от 9 июня 1915 г. из деревни Песочки: «Дорогой Алексей Михайлович, вот уже месяц, как мы здесь, — и так здесь хорошо, что и в войну перестаешь верить, и в погромы московские, и в сутолоку петербургскую. Приезжайте с Серафимой Павловной хоть на две недели, посмотреть, что здесь за красота, какая река, какой лес, какой народ новгородский. Места у нас много — ждем Вас» (Иванов-Разумник. II. С. 85). Спустя год, снова находясь в «благословенных» Песочках, критик использует фразу из рассказа «Чайничек», как устойчивое определение тому душевному покою, с которым связаны эти места: «Лето провели так интересно и хорошо, что хоть бы и не по нынешним временам; как в «Чайничке», из прошлогоднего моего письма: «почти забыли, что война» (Там же. С. 91).

НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ

Впервые опубликован: Биржевые ведомости. 1915. № 15290. 25 декабря. С. 2—3.

Рукописные издания: Новая редакция: глава «На птичьих правах». Автограф (под названием «Учитель музыки. Повесть») в тетради с авторской правкой вместе с главами «Тысяча съеденных котлет» и «Оказион» (датирован 1930) — РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. № 8.

Прижизненные издания: Воля России. 1931. № 1/2 (под общим названием «Учитель музыки»); в составе книги «Учитель музыки».

Дата: 1915.

В авторском комментарии к рассказу дано пояснение: «О жизни и подвигах Александра Александровича Корнетова, если заинтересует кого, пускай почитает мою «Глаголицу» и «Оказион», — рассказы, вошедшие в книгу: «Весеннее порошье». Изд. Сирин, Пгр. 1915 г.».

С. 305. *...на избиение младенцев...* — день памяти младенцев, убиенных царем Иродом в Вифлееме (29 декабря).

С. 306. *...начальник собачьей команды* — подразумевается один из самых мрачных периодов автобиографии (1906—1909), когда, оказавшись практически без средств к существованию, писатель брался за любую работу, вплоть до переписи собак. Ср.: «В то время, когда мы с ним познакомились, он <Ремизов> зарабатывал на жизнь подсчетом собак в Петербурге. Он ходил по дворам и собирал статистический материал» (Волошина М. Зеленая Змея. С. 148).

С. 309. *ералаш* — смесь разнородного засахарившегося варенья.

...знаменитый старец Иоанн Электрический... — прозвище Ивана Александровича Рязановского (1869—1927) — архивиста, археолога, собирателя до-

кументов по истории России, прототипа некоторых произведений Ремизова 1910-х гг. О происхождении прозвища см.: Кукха. С. 108—115.

С. 310. *...литератор Зерефер* — подразумевается Владимир Николаевич Княжнин (наст. фам. Ивойлов; 1883—1942) — поэт, литературный критик, библиограф. В п. к П. Щеголеву от 11 сентября 1913 г. Ремизов представлял своего приятеля: «Пишу Вам об Ивойлове Владимире Николаевиче <...> Человек он толковый, только вид такой свирепый, я его бесом зову Зерефером (есть такой Зерефер — бес-демон)» (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. № 2094. Л. 1). Происхождение этого прозвища очевидно связано с изучением Ремизовым византийского патерикового сказания о бесовском искушении, которое в русском переводе известно как «Повесть о бесе Зерефере». В 1913 Ремизов создал собственный пересказ повести, озаглавив его **«Древняя злоба»** (сборник **«Весеннее порошье»**).

С. 311. *...быть Александру Александровичу за Карповкой.* — Автобиографическая деталь по названию реки, указывающая на новый петербургский адрес писателя.

С. 313. *...нечто вроде русского Декамерона под названием Нил Мироточивый «О некотором отроке, путешествующем на Святую гору»...* — Идея собрания апокрифических сказаний, легенд и сказок эротического содержания — т. н. «русского Декамерона» была одним из нереализованных замыслов писателя. Однако в ряду своих произведений писатель выделял книгу эротических сказок **«Заветные сказы»** (1920): «...это первый камень для создания большой книги Русского Декамерона». (Каталог. С. 21). Афонский монах Нил Мироточивый (день памяти 12 ноября) Его житие см.: Афонский патерик или жизнеописание святых на святой афонской горе просиявших. М., 1897. Ч. 1. С. 351.

ИСАИЧ

Впервые опубликован: Речь. 1915. № 355. 25 декабря. С. 6—7.

Дата: 1915.

С. 315. *Рассказать ли вам о страннике Евгении, ходившем по Петербургу под видом немого, и как заговорил он чудесным образом...* — Подразумевается писатель и литературный критик Евгений Германович Лундберг (1887—1965), который был окрещен Ремизовым «странником» и с этим прозвищем вошел в историю Обезьяньей Великой и Вольной палаты: «странник, ходит как птица; птицей прошел весь юг России от Каспийского моря до Черного и все Балканские Государства, вдоль и поперек. Приключения его самые невероятные. Только присутствие духа и находчивость спасают его от верной гибели; смиренный иеромонах (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. № 13. Л. 46). Как *смиренный иеромонах*, Лундберг упомянут в книге **«Россия в письменах»** (С. 17). Фрагмент из неопубликованных «Примечаний мемуарного характера к собранию писем из архива Конст. Эрберга (К. А. Сюннерберга)» раскрывает ремизовскую иронию по отношению к реальному факту биографии Лундберга: «С писателем Евгением Германовичем Лундбергом я познакомился, кажется, в 1913 г. у Сологуба. Говорили, что Лундберг в то время сам наложил на себя зарок молчания. Тогда это был действительно молчаливый человек, ко всему присматривавшийся и прислушивавшийся, но мнения своего ни о чем не высказывающий» (ИРЛИ. Ф. 474. № 53. Л. 73).

С. 315. *Зиновий Исаевич* — подразумевается Зиновий Исаевич Гржебин (1877—1929) — художник, совладелец (с С. Ю. Копельманом) издательства «Шиповник». Ср.: «Издатель. Сосед и кум. В Петербурге на Таврической в доме Хренова жили по одной лестнице и деньги занимали друг у друга на перехватку» (Встречи. С. 133). Ремизову привелось дважды быть соседом Гржебина: в доме Хренова на Таврической (1910—1915) и на Песочной (с сентября 1915 по июнь 1916-го), о чем, в частности, свидетельствует план расположения этого дома с указанием квартиры Гржебина (№ 15), нарисованный Ремизовым для И. Рязановского (РНБ. Ф. 634. № 3. Л. 50; п. от 29 октября 1915). Все члены семьи Гржебина были кавалерами Обезьяньей Великой и Вольной Палаты. В документах Обезвелволпала зафиксировано наследственное право Гржебиных на звание кавалеров ремизовского Ордена (ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 2. № 13. Л. 55). Сам З. И. Гржебин носил титул «зауряд-князя». Подобного высокого статуса в Обезвелволпале удостаивались лишь избранные, проверенные временем друзья и люди исключительного творческого дарования.

Ляля, Буба и Капочка! — Лия Зиновьевна Гржебина (Ляля; 1906—1991); Ирина Зиновьевна Гржебина (Буба; 1907—1994); Елена Зиновьевна Гржебина (Капа; 1909—1990). Все дети Гржебиных были крестными Ремизова.

С. 317. *Мария Константиновна* — Мария Константиновна Гржебина (урожд. Дореомедова; 1880—1968) — жена З. И. Гржебина. Ср.: «Марья Константиновна Гржебина не оставляла нас и была первым откликом и в болезни и в печали и в празднике» (Русская книга. Берлин. 1921. Сентябрь. № 9. С. 22).

С. 318. *встренуть в игру* — ввязаться.

ПУПОЧЕК

Впервые опубликован: Заветы. 1913. № 3. С. 102—105 (с порядковым номером I; под общим загл. **«Свет немерцающий»**).

Прижизненные издания: Дни (Берлин). 1923. 29 апреля. № 151 (под общим заголовком **«Человек человеку свет»**).

Дата: 1912.

Образ маленького героя рассказа спроецирован на личность В. В. Розанова и его «фаллологию», главный объект которой заменен пупочком (омфалосом) и переведен в регистр детских представлений о сакральном значении интимных частей человеческого тела.

С. 325. *учитель Василий Васильевич* — прямое указание на Василия Васильевича Розанова (1856—1919) — писателя, критика, философа.

С. 326. *...показывал мне как-то копейки новенькие — богатство свое...* — намек на увлечение Розанова нумизматнкой.

ПЕРЧАТКИ

Впервые опубликован: Биржевые ведомости. 1916. № 15493. 10 апреля. С. 2 (с порядковым номером I, под общим заголовком **«Среди мурья и неурядицы»**).

Прижизненные издания: Мара.

Дата: 1916.

СВЕТ НЕРУКОТВОРЕННЫЙ

Впервые опубликован: Биржевые ведомости. 1916. № 15493. 10 апреля. С. 2 (с порядковым номером **II**, под общим заголовком **«Среди мурья и неурядицы»**).

Прижизненные издания: Мара.

Дата: 1916.

В своей первой публикации вторая часть рассказа была снабжена собственным названием **«Тать и паутина!»**

С. 330. *Шел я от Спаса Колтовского с тесных Колтовских...* — имеется в виду церковь во имя Спаса Нерукотворного Образа на Петроградской стороне (Гатчинская ул., 5). Спас Колтовский — по названию слободы Колтовского полка (XVIII в.), где располагалась церковь, которую образовывали три Колтовские улицы (Большая, Средняя, Малая), выходившие к Малой Невке.

Силин мост — мост через реку Карповку по Каменноостровскому проспекту, названный по имени владельца земельного участка.

Новая Деревня — дачный район у Черной речки, со временем преобразовавшийся в городскую часть Петербурга.

С. 331. *о. Иоанн* — Святой праведный Иоанн Кронштадтский (Сергиев И. И., 1829—1908), настоятель Андреевского собора в Кронштадте; его мощи упокоены в нижнем храме-усыпальнице святых пророка Илии и царицы Феодоры в Иоанновском Сурском женском монастыре на набережной реки Карповки.

С. 332. *...громыхающего от Лопухинских воздушных мачт завывающей...* — «О свете, просвещающем тьму жизни нашей, о свете, светящемся среди жестоковейных человеков, рассказываю я в моей книге: "Весеннее порошье". Там есть Свет немерцающий, Свет незаходимый, Свет неприкосновенный, Свет невечерний. «Искровка» — народное название радио-телеграфа» (*Авт. комм.* С. 229). С последним названием связана правка уже принятой к печати рукописи. 25 марта 1916 г. Ремизов просил А. Измайлова внести необходимые изменения в текст: «Хочу попросить Вас, если только это не затруднит Вас, исправьте в расск<азе> моем *«Свет нерукотворенный»* во 2-ой главе строч<ка> 10-ая — или 11-ая (по рукописи). У меня написано: *...Лопухинских воздушных мачт / радиотелеграфа / до...* А надо: *...от Лопухинских воздушных мачт /* ***завывающей Искровки*** */ до...* вчера случайно узнал народное название радио-телеграфа Искровкой, очень меткое название и живописующее» (ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. № 276. Л. 33).

...до голубых минаретов и Троицкого пожарища... — имеются в виду Соборная мечеть, возведенная в 1910—1914 на Петроградской стороне, и Троицкий собор, расположенный неподалеку на Троицкой площади, в 1913 поврежденный пожаром, который уничтожил купол, крышу и колокольню.

отлика — отликий, т. е. отличный, несхожий, иной.

...не в лоно же Авраамово, покоище душ, пойдет душа... — подразумевается Господь Бог. Ср.: «И сказал Господь Аврааму <...> Я произведу от тебя великий народ...» (Быт. 12, 2). Согласно христианскому вероучению, после смерти человеческая душа возвращается к Богу.

С. 333. *Василий Блаженный* — Святой Праведный Василий Блаженный,

Христа ради юродивый, московский чудотворец (ок. 1464—1552), почитавшийся народом и царем Иоанном IV за прозрения, спасшие Москву и Новгород от татаро-монгольских нашествий и пожаров, а также за необыкновенную кротость.

ДНЕСЬ ВЕСНА

Впервые опубликован: Речь. 1916. № 99. 10 апреля. С. 4 (под названием **«Днесь весна благоухает»**).

Прижизненные издания: Мара.

Дата: 1916.

С. 334. *...гришки, черногуз* — «"Гришки" — скворцы. "Черногуз" — аист» (*Авт. комм.* С. 229).

С. 335. *Днесь весна благоухает / И радуется земля...* — Светильничное песнопение, исполняемое на пасхальной неделе. «Светилен: "Днесь весна благоухает и радуется земля. Днесь взимаются ключеве дверем неверию Фоме, другу вопиющу, Господь и Бог мой!" — поется вместо "Плотию уснув" и на тот же распев. Из спасения моего в словеса грехопадений моих. Ты же, Боже, не удали помощь твою от мене!"» (*Авт. комм.* С. 229).

В Невскую Лавру шел он на большую русскую могилу. — Имеются в виду Лазаревское, Тихвинское и Никольское кладбища, расположенные на территории Александро-Невского монастыря На Тихвинском кладбище погребены Н. М. Карамзин, Н И. Гнедич, М. И Глинка и многие другие выдающиеся представители русской культуры.

С. 337. *черничка* — уменьшительное от черницы, т. е. монахини.

лестовка — четки староверов с кистью кожаных лепестков.

Веренея — или Виринея, женское имя.

...цветной светилен — молитва или специальное песнопение, поющееся после канона на утрени; содержит в себе моление о просветлении свыше.

Римские катакомбы Севастьяна-мученика. — Имеется в виду расположенное на Аппиевой дороге кладбище («ad catacumba») христианского великомученика св. Себастьяна, или Севастьяна (ок. 250—287). Катакомбы — места погребения у христиан в виде грандиозных сооружений, устраивавшиеся под землей и состоявшие из многочисленных коридоров и галерей.

С. 338. *Моленная* — специальная комната для молитвы.

Третья слава третьей кафизмы — молитва, читаемая на утреннем церковном богослужении о заступничестве; начинается словами: «Боже, боже мой, вонми ми, вскую оставил мя еси?»

С. 341. *...памятник огненной скорби — Достоевского.* — 1 февраля 1881 г. на Тихвинском кладбище Александро-Невской Лавры (ныне — Некрополь мастеров искусств) вблизи могил Карамзина и Жуковского был похоронен Ф. М. Достоевский. Спустя год по проекту архитектора X. К. Васильева и скульптора Н. А. Лаверецкого на могиле был установлен памятник. Авторский троп («Одинокий заветный памятник огненной скорби — Достоевского» повторен Ремизовым в стихотворении **«Красный звон»** (1917), включенном впоследствии в книгу **«Взвихренная Русь»**. На вечере памяти Достоевского в Петроградском

Доме литераторов 11 февраля 1921 г. Ремизов вновь обратился к образу писателя как воплощению «огненной России». По своему пафосу его выступление восходило к знаменитой «пушкинской речи» Достоевского, где гармонический дар Пушкина был назван воплощением духовной красоты и всемирной отзывчивости русского человека. В эпоху пожара, раздора и брани Россия востребовала трагический дар самого Достоевского, для которого жизнь человеческая преисполнена страданиями, а удел человека — «смятение и несчастие» (См.: Ремизов А. Огненная Россия. Ревель, 1921).

КИТАЕЦ

Впервые опубликован: Биржевые ведомости. 1916. 29 мая № 15587. С. 2—3.

Прижизненные издания: Мара (под загл. «Китай»).

Дата: 1916.

С. 342. *Ки-та-ай, синий, грязный...* — Ср. с воспоминаниями писателя о своем детстве: «В наш дом приходил китаец — в Москве всегда ходили по домам разносчики китайцы — он был весь в синем <...> Может быть, образ этого китайца — "синий, страшный Китай", канув с чудовищами моего чудовищного мира, когда через очки мне представился общечеловеческий нормальный мир, вызвал во мне без всяких "зачем" и "почему" интерес к истории Китая, и я принялся за чтение мудреных книг" (Подстриженными глазами. С. 81).

млявый — хилый.

С. 343. *...гравюры... Пиранези* — Пиранези Джованни Баттиста (1720—1778) — гравер, известность которому принесли гравюры с изображением римских развалин; работал в Риме, Венеции и Неаполе.

Я стою под высокой, ничем не защищенной аркой, я вижу холод- ное серое небо, серую каменную, скользко накатанную площадь, а издалека, как на картинке, ползут и прямо на нас... — Возможно, одним из источников сновидения стало описание драматического колорита гравюр Пиранези в книге П. Муратова «Образы Италии» (М. 1911—1912). На гравюрах художника хрупкие человеческие фигурки нередко изображались у подножия мощных строений триумфальных арок и храмов. Ср.: «на античной мостовой <люди — *Е. О.*> кажутся рядом с ними пигмеями. Перед этими горами мраморных изваяний и архитектурных форм чувствуешь себя раздавленным Надо было быть Пиранези, чтобы не почувствовать этого!» (Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994. С. 276).

С. 344. *плащаница* — полотнище, в которое было завернуто тело Иисуса Христа после того, как Его сняли с Креста. Плащаницу с изображением Иисуса Христа в гробу выносят на середину храма для общего поклонения в «страстную пятницу».

Прощеное воскресенье... — последнее воскресенье перед Великим постом, когда принято просить прощение друг у друга.

...кому же, как не Москве... пожаловаться на Петроград! — Ремизов резко негативно относился к переименованию Санкт-Петербурга в начале войны, считая, что утрата сакрального имени повлияла на весь уклад городской жизни.

Та же мысль отчетливо выражена и в очерке «Красное поле»: «Обездолили, отреклись от своего имени — чья это лесть? кто покривил? или с дури? или безумье? — обездолили, отреклись от апостола, имя святое твое променяли на человеческое: из града Святого Петра — петухом — Петрогра- дом сделали. Вот почему отступили силы небесные, и загнездилась на вышках твоих черная сила» (Аргус. 1917. № 7. С. 75). Эта же тема раскрыта в очерке **«Нарва. Запечатленное»** (Россия в письменах. С. 61—63). О противопоставлении Москвы и Петербурга в творчестве Ремизова, а также об эволюции отношения писателя к граду Петра см.: Доценко С. «Город мечты» или «мерзость запустения»? (А. Ремизов в полемике с Д. Мережковским) // Acta Universitatis Scienitarum Socialium et Artis Educandi Tallinennsis. Tallinn, 1998. 13. S. 26—40).

С. 344. *...батюшки-то по приходу стреляли* — стрелять — здесь бегать; подразумевается, что архиереи перед пасхальной службой в соборе «разбежались» по своим малым приходам.

знаменный распев — основной вид древнерусского церковного пения, названный по способу записи музыки «знаменами» или «крюками»; характеризуется определенным построением мелодий.

«В чермнем мори браконеискусныя невесты образ написася...» — слова из воскресного кондака (Глас 5-й. Догматик), прославляющего Богоро- дицу.

столповой распев — самое древнее пение в православной церкви (схожее с знаменным распевом), основанное на восьмигласии.

«Преобразивыйся на горе, Христе Боже...» — слова из тропаря (Глас 7-й), исполняемого на церковной службе во время праздника Преображения Господа (6 августа).

С. 345. *...на углу Литейного около Соловьева...* — имеется в виду один из самых богатых в Петербурге гастрономических магазинов Соловьева.

...уставщик Валаамский, Иоанн Колтовский, основатель Саровской пустыни, замучен Бироном, и цепи его в церкви хранятся в притворе. — Саровская мужская пустынь была основана иеросхимонахом Иоанном в 1705 г. на месте татарского города Сараклыч. В 1734 г. распоряжением тайной канцелярии, во главе которой стоял граф Бирон (1690—1772), о. Иоанн был арестован по ложному доносу, отправлен в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость. Как повествуется в его житии, «смиренного пустынножителя и первоначальника Саровской пустыни и ревностного обличителя раскола, иеросхимонаха Иоанна обвинили в государственном преступлении и в сообществе с немирными раскольниками. <...> Почти четыре года продолжались его страдания <...> О. Иоанн почил о Господе 4 июля 1737 г., его погребли при церкви Преображения Господня, что в Колтовской, по близости этой церкви к тайной канцелярин» (Летопись Серафимо-Диевского монастыря Нижегородской губ. Ардатовского уезда / Сост. Архимандрит Серафим (Чичагов). СПб., 1903. С. 19).

С. 350. *Богородица Богодатная, твово жена...* — подразумевается молитва Пресвятой Богородице: «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою: благословенна Ты в женах...»

С. 352. *монастырская пустынная песня — «Грядет чернец» — / Грядет чернец из монастыря, / встречу ему вторый чернец...* — «Подобны на восемь

гласов: / Грядет чернец из монастыря, — / Встречу ему второй чернец. / Откуда ты, брате, грядеши? / Из Константина града гряду. / Сядем мы, брате, да побеседуем. / Жива ли тамо, брате, мати моя? / Мати твоя давно умерла. / Увы, увы, мне мати моя! / Мне привелось слышать эту песню в бесподобном исполнении хора Петроградской Громовской Общины под управлением протодиакона Х. И. Маркова. Напевал мне ее, вспоминая родную свою костромскую Гальчиху, Федор Иванович Щеколдин, автор проникновенного рассказа «Солнце играет». Сборник «Пряник». Изд. А. Д. Барановской, Пгр., 1916 г.» (*Авт. комм.* С. 229). Подобны — напев, стихи, которые служат образцом для исполнения. Федор Иванович Щеколдин (1870—1919) — революционер, литератор (См.: Дворникова Л. Я. Из истории прототипов книги А. Ремизова «Иверень» (Ф. И. Щеколдин) // Исследования. С. 231—242).

БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК

Впервые опубликован: Среди мурья. С. 115—120.

Прижизненные издания: Мара.

Дата: 1915.

С. 353. *Бог благословил побывать последней мирной весной во славном городе Риме.* — Ремизов с женой приехали в Рим в мае 1914 г.

Спутники нам попались добрые... — «Спутники наши: Екатерина Васильевна и Иван Николаевич Пантелеевы. Нынче в феврале дал Бог им дочку Галину» (*Авт. комм.* С. 229).

У Шишкова, сибирского писателя, есть такой рассказ... — «Шишков Вячеслав Яковлевич, выдающийся сибирский писатель, уроженец города Бежецка Тверской губ., рассказ его "Помолились" напечатан в "Заветах", 1913 г. № 5» (*Авт. комм.* С. 229). Здесь ошибка автора: «Помолились. Рассказ из тунгусской жизни» был напечатан в журнале «Заветы» (1912. № 2. С. 91—101). Имеется в виду следующий фрагмент: «Шли они прямиком, перелезали огороды и заходили в чужие дворы <...> по улице идти — долго ль заблудиться. Тут не тайга, борони Бог...» (С. 95). С Шишковым Ремизова связывали многолетние приятельские отношения. Как автор рассказов о тунгусах, в Обезьяньей Палате он получил звание «князя сибирского и бежецкого». Вяч. Шишков, отчасти считая себя учеником Ремизова, посвятил ему рассказ «Соловьиная ночь» (Шишков В. Подножие башни. Очерки и рассказы. Пг, 1920).

С. 354. *лепетура* — лепнина.

Forum Romanum — Римский форум (*лат.*) — площадь между Капитолийским и Палантийским холмами в Риме.

С. 355 *...со священной дороги, по которой в Колизей мучеников водили...* — имеется в виду Аппиева дорога (via Appia), важнейшая магистраль, шедшая с юга до Капенских ворот Рима, по которой первохристиан-мучеников водили в Колизей для гладиаторских боев.

...место на Форуме., где Симон Волхв... поднялся с помощью бесов на воздух... — Согласно «Деяниям Апостолов» (8, 9—24), самарийский чародей Симон Волхв, приняв крещение, попытался купить за деньги апостольское достоинство и был изобличен Петром. Симон профанировал христианскую веру

посредством различных псевдочудес, соперничая с апостолом Петром. Стремясь доказать свое равенство и даже превосходство над Христом, Симон решился имитировать вознесение. По этому случаю на форуме была выстроена деревянная башня, бросившись с которой Симон не упал бы, поддерживаемый бесами, если бы не молитва Петра, который приказал нечистой силе расступиться. Место, где разбился Симон, считается по преданию «нечистым».

С. 355. *разседеся* — распался.

Да, эти самые горы Албанские... впервые в выговоре одного простеца римского нам прозвучали не то какие-то мунтер-бани, не то амбары, а когда после расспросов, догадок всяких на ум навождений мы сообразили, наконец, что это такое за мунтер-бани, — и так нам стало весело, и сроду еще не смеялись так.. — Имеется в виду Monte Albani — гора к юго-востоку от Рима. Комизм, очевидно, заключен в звуковой ассоциации сочетания немецкого слова munter (бодрый) и русского бани

С. 356. *Зашли по пути к Севастьяну-мученику... в церкви прохладно...* — имеется в виду храм, построенный на могиле св. Себастьяна (V в.).

...к царю Каракалле в Красные термы — Каракалла — прозвище Марка Аврелия Севера Антония (186—217), римского императора (с 211 г.); знаменит воздвигнутыми им и названными его именем колоссальными банями (термами), строительство которых началось в 206 г.

В Греческую кофейню, где Гоголь любил сиживать.. — Ср. с описанием досуга русских в Риме из письма Гоголя к А. С Данилевскому: «К 12 и 2 часам в Лепре, потом в кафе Грек, потом на Монте-Пинчио. <...> Иногда бывает дико и странно, когда очнешься и вглядишься, кто тебя окружает» (Переписка Н. В. Гоголя. В 2 т. Т. 1. М, 1988. С. 56).

Алексей Божий человек — сын знатного римлянина Евремиана (V в.), ставший христианским подвижником. «Стих о Алексее Божием человеке» — любимая каличья песня. Не иноческая дума его пропела — есть об этом свой стих о царевиче Иосафе — другая дума, страдная, весенняя ("Алексей с гор потоки бегут!") из сердца народного последней Руси величает вольное терпение, страд Господен. Житие Олексеево в книгах, стих — в житии Стих пошел от жития, напечатанного в Анфологионе 1669 г., перевод из Метафраста, перевел Арсен грек (Н. С. Тихонравов, Сочинения, М. 1898 г. Т. 1, стр. 350). Разные записи см. П. А. Бессонов, Калики прехожие, М., 1861, вып. I. В. Г. Варенцов, Сборник духовных стихов, СПб., 1860 г. М. Н. Сперанский, Духовные стихи Курской губернии. Этногр<афическое> Обоз<рение>. Кн 1, 1901 г. № 3. А. Малинка, Заметка о двух лирниках Черниговской губ. Этногр<афическое> Обоз<рение>. Кн. LIII, 1902 г. № 2. У меня хранится стих вологодский, переданный мне М. Н. Картыковым, а есть и другой вологодский, записанный П. Д. Дилакторским от Василия силепца. Этногр<афическое> Обоз<рение>. Кн. XXXVIII, 1898 г. № 3» (*Авт. комм.* С. 229—230).

С. 357. *царь Онорий* — имеется в виду император Западной Римской империи (с. 395) Гонорий Флавий (384—423).

Про папу Иннокентия, ...во времена которого папы жил на земле Алексей Божий человек... — Иннокентий VIII (Джованни Баттиста Чибо, 1432—1492), римский папа с 1484.

[Камушек]; [Мошник]

СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕГЕНДЫ

Печатается по: Шумы города. Ревель: Библиофил, 1921.

Все рассказы цикла, кроме одного («Рождество»), включены в книгу «**Взвихренная Русь**».

[Искры]; [Рука Крестителева]; [Святой ковчежец]; [Белое сердце]; [Звезды]; [Четвертый круг]

РОЖДЕСТВО

Впервые опубликован: Красный милиционер. 1921. № 1 (15). С. 13—14 (под общим загл. «**Шум города**»; под порядковым номером 5).

Рукописные источники: Фрагмент черновой рукописи и наборная рукопись. На л. 1 рукой Ремизова: *Алексей Ремизов / Комаровка*<зчркн.> / *Под серебряным яблоком. I. Рождество.* Сверху рукой неизвестного: *журнал «Отечество» / «О» № 1234 — 12/VIII <19>16* — РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 1. № 18. Л. 1—6.

Дата: <1916>—1919.

Сохранившаяся наборная рукопись раскрывает один из творческих замыслов Ремизова, по-видимому, предполагавшего написать цикл рассказов под общим названием «**Под серебряным яблоком**» (или «**Комаровка**»), построенных на истории жителей одного петроградского дома. Рассказ «**Рождество**», вошедший в «**Шумы города**», является вариантом рукописной редакции и соответствует первым шести листам рукописи, имеющей продолжение и повествующей о других героях и их судьбах. Продолжение истории впоследствии оформилось в рассказ, получивший название «**Майский барин**», о котором, вместе с «**Рождеством**», упоминает в своем дневнике В. Миролюбов (ИРЛИ. Ф. 185. Оп. 1. № 6. Л. 16; запись от 5 апреля 1919; см. также прим. к рассказу «**Крестики**»). Судя по помете рукой неизвестного, вариант рассказа был написан в 1916 г. и предназначался для харьковского журнала «Отечество». Тем не менее эта публикация не состоялась. В сборнике «**Шумы города**» дана авторская датировка *1919 г.*

С. 361. ...*в Петербурге Комарова дом это единственный — Комаровка.* — Речь идет о реальном доме (дом арендатора В. В. Комарова) неподалеку от Александро-Невской Лавры, где проживал друг Ремизова — Иван Александрович Рязановский, уроженец Костромы, изображенный в рассказе под собственным именем и в реальном статусе архивариуса. Ср.: «И. А. Рязановский — кореня кондового из города Костромы <...> Одни его знали, как великого законника, другие, как некоего дебренского старца Иоанна-блудоборца, а третьи, как страстного археолога, ревнителя старины нашей русской. <...> И вот поле полувекового труда и пустынного жития в дебери костромской, как некогда огненный старец Епифаний, благословившись у Воскресеня Христова, что на Нижней Дебре, снялся Иван Александрович с родимого гнезда. И уж не ищите его нынче на Царевской, не спрашивайте, — тут он с нами на углу Золотоношской

и Тележной у Комарова в доме: на котором доме шпиль, на шпиле серебряное яблоко и слышно, как куры поют» (Ремизов А. Крашеные рылá. Театр и книга. Берлин, 1922. С. 128—129).

С. 361. *Костромской Буй* — уездный город Костромской губернии; был построен в 1536 г. как крепость от татаро-монгольских нашествий.

С. 362. *...архивариус, который теперь под самим Щеголевым в Сенате сидит...* — В 1918 г. П. Е. Щеголев возглавил петроградский Историко-революционный архив, который располагался в здании Сената. Ср. с п. Ремизова к П. Щеголеву от 27 декабря / 9 января 1919: «...о Ив. А. Рязановском; прошу за него устройте его в Революционный Музей и положите ему жалование побольше. Пускай себе за работой трудится и Бога благодарит» (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. № 1479—1610. Л. 222).

ионитка — последовательница православно-монархического течения «Ионнитов», которые объединились вокруг протоиерея Андреевского собора в Кронштадте Иоанна Кронштадского и, противопоставив ортодоксальной церкви свою обрядность, активно проповедовали приближение конца света и отказ от брака.

С. 364. *Михайлов день* — церковный праздник Архангела Михаила (8 ноября); по народному календарю связывается с оттепелью.

Заговенье — последний день перед Великим постом, когда разрешалось употреблять скоромную пищу.

[Находка]; [Панельная сворь]; [Свет слова]; [Заборы]

СЕМИДНЕВЕЦ

Печатается по: Шумы города. Ревель: Библиофил, 1921.

Первые пять рассказов, не включенные в настоящее издание, созданы на основе фольклорных источников. О том, что название цикла возникло до издания книги **«Шумы города»**, свидетельствует афиша петроградского Дома Искусств от 26 июля 1920, написанная рукой Ремизова, с программой авторского вечера. В первом отделении писатель предполагал прочесть **«Жизнь несмертельную»**, которая была обозначена в афише как «повесть». Во втором отделении, озаглавленном «Рассказы из Семидневца», анонсировалось 6 новелл, среди которых был и рассказ **«Изошел»** (РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 1. № 47. Л. 2).

[Вступление]; [Два старца]; [Змея]; [Панна Мария]; [Добрый приставник]; [Лис преподобный]

ИЗОШЕЛ

Впервые опубликован: Красный балтиец. 1920. № 14. С. 23—26 (под названием **«Шум города»**).

Рукописные источники: Беловые автографы — РНБ. Ф. 634. № 8; РГБ. Ф. 1.3.26 (с авторской правкой и правкой рукой неизвестного лица).

Дата: 1919.

Первоначально рассказ был отдан в редакцию «Ежемесячного журнала», но 11 октября 1919 г. Ремизов сообщил В. Миролюбову об изменении планов: «У

вас лежит мой рассказ «Изошел». Когда-то в незапамятные времена Вы его приняли. Когда у Вас будет журнал, я его заменю другим. А этот рассказ отдаю в Петербургский сборник. Сборник выйдет скоро» (ИРЛИ. Ф. 185. Оп. 1. № 998. Л. 16). Однако, и этот план писателя не был осуществлен.

С. 367. *...на Аграфену* — праздник, отмечаемый церковью как день памяти святой мученицы Агриппины, которая в народе именовалась Аграфеной-Купальницей (23 июня). В народном календаре этот день непосредственно связан своими обрядами с праздником Ивана Купалы (24 июня).

КРЕСТИКИ

Впервые опубликован: Книга. Сб. 2. Пг.—М.—Киев, 1920. С. 30—50.

Рукописные источники: Беловые автографы — РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 1. № 13; Ф. 420. Оп. 3. № 3.

Прижизненные издания: Сполохи (Берлин). 1921. № 1; Московский альманах. 1923. Кн. 3.

Дата: 1917.

С этим рассказом, первоначально названным **«Кресты»**, связан скандальный эпизод, описанный в дневнике редактора «Журнала для всех» В. Миролюбова: «Ремизов, когда я был у него 3-го, дал мне прочесть 4 рассказа. 3 из них маленькие, хорошо написанные, но с малым содержанием: Рождество, Друшлак и Майский барин, а затем Мальвина и Кресты побольше в 1/3 л<иста>. Я ему позвонил и сказал, что возьму «Кресты», что этот рассказ побольше, а что другие «газетны», т<о> е<сть> подходят больше в фел<ьетонную> сер<ию> газ<еты> или в еженед<ельный> журн<ал>. Он мне на это сказал: «Мне лучше знать газетны ли рассказы, Вы никогда ничего не писали...» Я ответил: «Что же мы с Вами будем говорить в этом тоне». Он: «Вы привыкли иметь дело с сапожниками, а не с настоящими писателями». Я: «Да действ<ительно> 20 с лишк<ом> лет я имел дело только с сапожниками... Впрочем, извините меня пожалуйста, извините!» и повесил трубку. Я пропустил, что он сказал, чтобы я их ему вернул. Я очень пожалел, что долго просидел у этого человека в четверг и откровенно и просто с ним говорил» (ИРЛИ. Ф. 185. Оп. 1. № 6; запись от 5 апреля 1919).

С. 374. *...я родился не оглодком.* — Оглодок — огрызок, объедок, оглоданная кость.

С. 377. *шептола* — шептала́, сушеные персики, привозимые из Азии.

ЖИЗНЬ НЕСМЕРТЕЛЬНАЯ

Впервые опубликован: Шумы города. С. 121—147.

Прижизненные издания: Петербургский альманах (Пб. — Берлин: изд. З. И. Гржебина). Кн. 1. 1922.

Дата: 1917.

Образ главного героя вобрал в себя узнаваемые черты сразу нескольких прототипов. Среди них сам автор, а также костромичи И. А. Рязановский, И. Д. Преображенский и С. В. Рукавишников. Имя героя восходит к ученому-

археологу, знатоку древнерусской книжности, музейному работнику и коллеге Рязановского по Романовскому музею в Костроме — Ионе Дмитриевичу Преображенскому, который, как и Рязановский, за свою любовь к старине заслужил прозвище «старец». Ср.: «Есть такой археолог *Иона Дмитриевич Преображенский,* жительствующий в *Костроме,* Нижняя Дебра, д<ом> Алексеевой, замечательный человек, преданный нашей русской старине. <...> Этот старец Иона много потрудился для создания Романовского музея в Костроме» (РНБ. Ф. 124. № 3621. Л. 7; п. Ремизова к Э. П. Юргенсону от 14 марта 1914). По наблюдениям А. А. Данилевского, образ Ионы является своеобразной контроверзой героям Достоевского, Лескова и Толстого, а рассказ в целом обнаруживает полемический спор Ремизова об истинном содержании русского национального характера с этими корифеями отечественной литературы XIX в. (См.: Данилевский А. Полемический аспект «Жизни несмертельной» А. М. Ремизова // «Великая французская революция и пути русского освободительного движения». Тезисы докладов научной конференции. 15—17 декабря 1989 г. Тарту, 1989. С. 100—102).

С. 389. *ошалоумить* — ошелоуметь, т. е. одуреть, ошалеть с пьянства или с испугу.

столбцы — древнерусские рукописи — свитки, состоявшие из листов бумаги, подклеенных снизу лист к листу.

С. 390. *исполать* — хвала, слава.

...место, где великого князя Василия II Васильевича задавил мед- ведь. — Вероятно, одна из народных легенд. Василий II Васильевич Темный (1415—1462), великий князь московский с 1425 г., скончался в Москве от т. н. «сухотной болезни».

С. 391. *...о самом деберьном...* — дебрь, т. е. лесистая, густо заросшая долина или овраг, в переносном значении — неведомо откуда. Это слово связано с костромской топонимикой; ср.: Нижняя Дебра, церковь Воскресения на Дебре и др.

С. 392. *res nullius* — букв.: вещь, никому не принадлежащая *(лат.),* применяется как определение для неизученных рукописей.

С. 394. *.. с знаменитым в России археологом Рязановским* — Авторитет И. А. Рязановского, библиофила, медиевиста, блестящего специалиста по палеографии был оценен исключительно в узких кругах литераторов и коллекционеров, художников, увлеченных древнерусской историей. По меткому наблюдению Ремизова, Рязановский представлял собой распространенный в России тип «знатока», который «в жизнь не написал ни одной строчки — явление едва ли не наше только, русское[1] — но изустному слову которого обязаны в своем чисто "русском", что останется навсегда, и Чехонин, и Кустодиев, а через Кустодиева Замятин в его лучшем "Русь"; знаю, что и Пришвин добрым словом вспоминает "костромского старца", и для Г. К. Лукомского имя "Рязановский" не безразлично. Значение изустного слова Рязановского в возрождении "русской прозы" можно сравнить только с "наукой" самого из всех "знающего" громкокипящего В. И. Иванова в возрождении "поэзии" у стихотворцев» (Подстриженными глазами. С. 153—154).

...музей устраивается... — этот мотив рассказа напрямую соотнесен с личностью и деятельностью Ивана Сергеевича Рукавишникова — поэта, прозаика

и главы московского Дома Искусств в 1919—1920 гг., который вместе со своим младшим братом, художником Митрофаном Сергеевичем Рукавишниковым, в Нижнем Новгороде, в доме, полученном по наследству, устроил музей и передал его в «народное пользование». И. С. Рукавишников, по словам одного из современников, был «самым сумбурным человеком в мире» (См.: Евстигнеева А. Л. Особняк на Поварской (Из истории Московского Дворца Искусств) // Встречи с прошлым. М., 1996. Вып. 8. С. 120—122; 133—134). С организацией музея были связаны и личные планы Ремизова, которые раскрываются в письменном обращении Ремизова к П. Щеголеву, возглавлявшему Петроградский историко-революционный Архив. Послание было оформлено в стилистике игровых «прошений», принятых в Обезьяньей Великой и Вольной Палате: «Пишет мне Иван Серге<е>в Рукавишников, что в Новгороде Нижнем хлопочут по устройству нового большого музея. Составляют систематический каталог отдела Русской Старины. И хотел бы, чтобы мы приняли участие. Посылает от Ниж<егородских> Сов<етов> Раб<очих и Крест<янских> Деп<утатов> разрешение о въезде и проживании в Н<ижнем> Новгороде. Приехать на летние теплые месяцы в Нижний, позаняться музейным делом нам это очень с руки. Павел Елисеевич, причислите меня к Архиву и командировку дайте в Нижний для устройства музея да жалование положите, какое, а то пропадешь. Серафима Павловна, действ<ительный> член С<анкт>Петербургского Археологического института, а я член общ<ества> возрождения художественной Руси и нижегородской ученой архивной комиссии» (См.: Князева Г. Каждый день и всю жизнь // Литературное наследие. 1990. № 1. С. 32; приводится по фотографии).

С. 396. *...удивительный доклад о куричьих богах...* — «Куричьи (или куриные) боги» — народное название природного курьеза — морского или речного камешка-галечника с дыркой посередине, образовавшейся естественным путем за счет вымывания более мягкой породы. Согласно поверьям, «куриный бог» — амулет, приносящий удачу нашедшему его человеку.

С. 397. *...забыдущее горькой пойло...* — забытущее зелье (упоминается в сказках), т. е. напиток, отнимающий память о прошлом.

С. 401. *Русь белокрылая, куда ты летишь, исплакана, измученная и тоскою сердце рвешь?* — вариация на тему заключительных строк первого тома «Мертвых душ» Н. Гоголя.

салоп — женская верхняя одежда.

С. 402. *профит* — прибыль.

стакнулись — тайно сговорились, условились.

С. 404. *провенчаю* — проучу.

С. 405. *...кощунство Дублянских сказок* — имеются в виду эротические сказки о мнимом святом — Николе Дуплянском. См. их варианты: Народные русские сказки не для печати, заветные пословицы и поговорки, собранные и обработанные А. Н. Афанасьевым. 1875—1862 / Подг. текста О. Б. Алексеевой, В. И. Еремина, Е. А. Костюхина, Л. В. Бессмертных. М., 1997. С. 193—196. № 67а-б.

Прово горе — Ремизов приводит в измененном виде две первые строфы анонимной поэмы начала XX века. Ср.: Под именем Баркова. Эротическая поэзия XVIII — начала XX века. М., 1994. С. 100—108; здесь поэма опубл. под назв. «Пров Фомич».

С. 406. *...как тезоименитый Иона во чреве китове.* — Ветхозаветный пророк, персонаж библейской книги Ионы, который за неповиновение Богу был подвергнут смертельно опасным испытаниям: выброшен в море, проглочен огромной рыбой (в славянском переводе Библии — китом) и провел там три дня и три ночи, взывая к Божьей милости.

Солнцу воссиявшу пришедши на запад! — Измененные слова молитвы «Свете тихий».

С. 408. *...вывел он купцову родословную от Каина, сына Сатанаилова, через Ивана Осипова* — Каин — библейский герой, старший сын Адама и Евы, который из зависти убив брата Авеля, стал первым убийцей на земле. Сатанаил — сатана. Очевидно, имеется в виду одно из многочисленных преданий о Каине, по которому этот злодей мог быть порождением только демонической силы. Иван Осипов — знаменитый московский разбойник (XVIII в.), известный под именем Ванька Каин, позже полицейский сыщик, в конце концов сосланный в Сибирь. Этому легендарному герою народных рассказов приписывается авторство песни «Не шуми, мати, зеленая дубравушка». Очевидно, пассаж о родословной купца имел для Ремизова автобиографический подтекст. В книге **«Иверень»**, рассуждая о духовных и идеологических ориентирах своих родственников Найденовых, представлявших генерацию московского образованного купечества, писатель сделал неожиданное признание: «...осьмнадцатый век, царство московского сыщика, Ваньки Каина, с его размахом и удалью, был ближе моему пробуждающемуся к жизни русскому сердцу, чем николаевское обмундирование и филаретовское церковно-славянское златоустие» (С. 43).

...Спасов день, пчела именинница! — церковный праздник (1 августа), посвященный памяти Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы Марии, т. е. победы одновременно дарованной Греческому императору и Русскому князю; в народе этот день назывался «медовым Спасом», так как к этому времени пчеловоды подрезали соты.

МАЛЬВИНА

Впервые опубликован: Творчество (Харьков). 1919. № 4. Май. С. 10—12.

Рукописные источники: Беловые автографы — РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 16. № 523. Л. 164 об. — 165; РГБ. Ф. 1. 2. 37 (вместе с автографами рассказов **«Звезды»** и **«Кресты»**, под общим названием **«Петербургские рассказы»**.

Дата: 1918.

С. 409. *Преображенье* — один из двунадесятых церковных праздников — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа; народное название праздника — яблочный Спас.

С. 410. *...превращалась в Беатрису, Лауру, Фиаметту.* — Три знаменитые женщины итальянского Возрождения: Беатриче — возлюбленная Данте Алигьери; Лаура — Прекрасная Дама Франческо Петрарки; Фиамметта (ее прототип — Мария д'Аквино) — героиня многих произведений Джованни Боккаччо.

выя — шея.

КРЕСТОВАЯ БАРЫШНЯ

Впервые опубликован: Сирена (Воронеж). 1918. № 1. С. 38—42.
Прижизненные издания: Жар-Птица (Берлин). 1921. № 3.
Дата: 1917.

С. 413. *...свернет Надежда Дмитриевна с Симбирской и к Происхождению Честных Древ зайдет...* — имеется в виду церковь во имя Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, располагавшаяся (до 1932) на Симбирский ул. (ныне — Комсомола) на Выборгской стороне.

Кресты — знаменитая петербургская тюрьма (1892) на Выборгской стороне, состоящая из двух корпусов, пересекающнхся в виде огромного креста.

ОДУШЕВЛЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Печатается по: Шумы города.

ДВЕРНАЯ РУЧКА

Впервые опубликован: Москва. 1920. № 5. С. 7 (под общим заголовком **«Одушевленные предметы. Рассказы»**, под порядковым номером **1**).
Рукописные источники: Беловой автограф. — РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 1. № 9.
Дата: 1918.

ТРАМВАЙ

Впервые опубликован: Москва. 1920. № 5. С. 7 (под общим заголовком **«Одушевленные предметы. Рассказы»**, под порядковым номером **2**).
Рукописные источники: Беловой автограф — РГБ. Ф. 1.3.30.
Дата: 1918.

ЗГА. ВОЛШЕБНЫЕ РАССКАЗЫ

Печатается по: Зга. Волшебные рассказы. Прага: Пламя, 1925.

Сборник в основном состоит из «пасхальных» и «святочных рассказов, позже вошедших в **«Чертов лог и Полунощное солнце. Рассказы»** (1910), а также в отдельные тома Сочинений Ремизова. Создание в 1925-м «тематического» сборника из разноплановых произведений 1900—1910 гг. является примером образования новой композиции из старых текстов. В настоящем издании представлены рассказы, написанные на реалистической основе.

[Жертва]; [Чертик]; [Чертыхаиец]

СУД БОЖИЙ

Впервые опубликован: Русская мысль. 1908. № 9. С. 1—13.
Прижизиенные издания: Рассказы (1910); Шиповник 1.
Дата: 1908.

С. 427. *зель* — молодая озимь, по осени или по весне, до колошения.

Преподобный Коряжемский Логгин — Преподобный Лонгин Коряжемский (†1540) — отшельник, основавший на реке Коряжемке Николаевский монастырь. Существует ряд преданий об исцелении и помощи, полученной от святого после его смерти.

С. 428. *подонки* — то, что остается в осадке.

...троекуровский старец... сказал: Хорошо, очень хорошо, пожалуй захочешь и еще! — известный монах XIX в., живший в затворничестве в имении Троекурово (Орловская губ.). К старцу Илариону съезжались за советом со всей России миряне и монахи; здесь цитируется эпизод из его Жития.

[Занофа]

ПОКРОВЕННАЯ

Впервые опубликован: Подорожие. СПб.: Сирин, 1913. С. 159—181.

Дата: 1912.

По свидетельству Ремизова, еще летом 1904 г., в один из своих приездов в Москву, к родственникам он взял дневник своей матери — Марии Александровны Найденовой, которая к этому времени была очень больной, немощной и совершенно отрешенной от жизни (См.: На вечерней заре. II. S. 261). Дневник Марии Александровны, запечатлевший поворотные события в ее судьбе, лег в основу рассказа. Молодость матери, выпускницы, как и героиня рассказа, немецкой школы, была связана с московским Богородским кружком нигилистически настроенной молодежи (подобно «Сокольническому» кружку в романе Лескова «Некуда»). Среди других членов кружка оказался художник, с которым молодая девушка готова была навсегда связать свою жизнь. Но взаимная любовь была разрушена невозможностью для избранника оставить семью. Глубокое разочарование круто изменило отношение Марии Александровны к жизни, которую с этого времени она проживала, словно «назло». Так, вопреки истинному чувству, она вышла замуж за известного московского галантерейщика Михаила Алексеевича Ремизова. Преданность мужа не смогла удержать Марию Александровну, и однажды, без видимых на то причин, она забирает своих троих сыновей и возвращается в отчий дом, где всем им приходится примиряться с унизительным положением «бедных родственников», находящихся под опекунством преуспевающих старших братьев Найденовых. Подр. о судьбе М. А. Найденовой см.: Кодрянская. С. 67—68; 77—78 Скрытые аллюзии, относящиеся к творчеству Лескова, задали необычный для творчества Ремизова 1910 гг. московский топос рассказа (Ср. с многочисленным упоминанием московских святынь и колоколов в романе «Некуда»).

С. 440. *Иван Великий* — архитектурный ансамбль московского Кремля (1505—1600), объединяющий церковь, колокольни и дозорную башню Звон Ивановской колокольни имел особую мелодию и назывался «красным звоном».

...ударят в Успенском — Успенский собор в Кремле, построен при Иване III в. (1475—1479) Аристотелем Фиораванти.

С. 440. *..звон у Симонова...* — имеются в виду колокола Симонова монастыря (конец XIV — конец XVII) — некогда мощной крепости, служившей для защиты Москвы с юго-востока от набегов татар.

...у Семена Столпника... — церковь Симеона Столпника за Яузой, по преданию построенная Борисом Годуновым в память о дне своего венчания на царство (1 сентября 1598 г.).

...у Сергия в Рогожской... — имеется в виду церковь преподобного Сергия Радонежского (1796—1818) в Рогожской заставе.

..у Мартына Исповедника.. — церковь Мартина Исповедника в Таганке, в Алексеевской новой слободе (1791—1801).

...у Воскресения в Гончарах — подразумевается церковь Воскресения Христа в Гончарной слободе, находившаяся на левом берегу Яузы, на Таганском холме.

С. 441. *...на Хиве в переулок...* — Хива — московская улица, известная с XVIII в. (ныне Добровольческая), происхождение названия которой имеет две версии: по стоявшему там двору, где останавливались купцы и послы из ханства Хива (древний Хорезм); или по расположенному там же кабаку «Хива».

С. 443. *Красная горка* — народный праздник, приходящийся на первую неделю после Пасхи (Фомину неделю), который связан, с одной стороны, с поминовением родителей, с другой — с свадебными обрядами.

С. 446. *...подал весть есак ...все колокола звонят.... немчин, годунов, широкий, глухой, карнаухий, переспор, сокол, медведь — московский звон.* — Перечисляются народные названия московских колоколов, каждый из которых имел свой звук и мелодию.

С. 447. *Покров* — здесь: икона Покрова Божьей Матери.

С. 452. *...читает по утрам Московский Листок* — ежедневная политико-литературная, общественная газета, издававшаяся в Москве с 1901 по 1916.

С. 453. *«Искони бе Слово, И Слово бе от Бога, и Бог бе Слово. Се бе искони от Бога...»* — начало Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».

ЦАРЕВНА МЫМРА

Впервые опубликован. Русская мысль. 1908. № 12. С 1—15.

Прижизненные издания: Рассказы (1910); Шиповник 1.

Дата: 1908.

Название рассказа несет в себе двойной смысл· сакрализацию детским сознанием образа героини и недоступное ребенку эротическое содержание имени «мымра», встречающееся в русских народных эротических загадках про «птицу Мымру». См.: Народные русские сказки не для печати, заветные пословицы и поговорки, собранные и обработанные А. Н. Афанасьевым. 1857—1862. С. 513. Для этнографического описания вотяцкого быта и мифологии Ремизов, вероятно, использовал исследование гр. Верещагина «Вотяки Сосновского края» СПб., 1886. (Записки Императорского Русского географического общества по отделению Этнографии. Т. XIV. Вып. 2).

С. 455. *плетушка* — ручная корзина.

С. 455. *луды — вещие рощи Кереметя* — «Луд», по-вотяцки, — поле и имя бога поля. Языческий вотяцкий бог Керемет — злой дух, способный навредить днем, в отличие от другого представителя нечистой силы (Акташа), который напускается на человека после захода солнца. При каждой вотяцкой деревне Керемету строились специальные молельни, непременно располагавшиеся среди деревьев, в рощицах и лесах.

Инмар, творец неба, земли и солнца — будучи христианами, вотяки сохраняли устойчивые языческие верования; Бога, сотворившего мир, они называли Инмар Кылдысинь.

С. 456. *Девятая пятница* — праздник св. Параскевы, на девятой неделе после Пасхи.

С. 457. *подволока* — свод или настилка сводом, подпечье, куда кладут ухваты, кочерги и прочую домашнюю утварь.

пряженики — печенье, приготовленное в постном или скоромном масле.

Не за горами Петровки: подавай пескаря! — пост перед праздником святых апостолов Петра и Павла (29 июня); поскольку апостол Петр в народе считался покровителем рыбного промысла, этот праздник также называли днем Петра-рыболова.

С. 458. *Дошла озимь в наливах, подрос овес. На дворе — Казанская.* — Церковный праздник Явления иконы Пресвятой Богородицы в городе Казани (8 июля), в память о чудесном обретении иконы в 1579 г.; в этот же день церковь отмечает день памяти мученика Прокопия, в народе называемый Жатвенником, поскольку с ним связывалось начало уборки зерновых.

С. 459. *Лесун* — леший.

С. 460. *Кузь-Пине* — Кузь пинё-мурт — дьявол-людоед с длинными зубами, по вотяцкому поверью, живет в лесах.

Искал-Пыдо — Искал-пыдо мурт — людоед с коровьими ногами.

С. 464. *О, когда б эта ночь / Не была хороша, / Не болела бы грудь, / Не страдала б душа* — вариант городского романса на слова Н. А. Риттера (перераб. текста А. М. Давыдова), муз. Н. Бакалейникова.

С. 467. *Вставай — подымайся* — «Новая песня» (1875) на слова П. Л. Лаврова — идеолога народнического движения.

...взяли билет до Териок... прощай Россия! — Териоки (наст. Зеленогорск) — до 1940 года территория Финляндии.

СЛОНЕНОК

Впервые опубликован: Перевал. 1907. Кн. 7. С. 8—17.

Прижизненные издания: Чертов лог и Полунощное солнце, в цикле **Чертов лог**; Шиповник 1.

Дата: 1905.

О попытках пристроить рассказ в символистских журналах свидетельствуют письма Андрея Белого к Ремизову: «*"Слоненка"* еще не получил, как получу, сейчас же отнесу в *"Весы"*, а если в "Весах" не пойдет, за "Золотое Руно" почти ручаюсь»; «"Слоненка" передам Брюсову» (РНБ. 634. № 57. Л. 1 об.—2;

8; п. от 10 января 1906 г. и б/д). Сюжет рассказа в измененном виде воспроизведен в автобиографическом романе **«Подстриженными глазами»** (главы **«Крот»** и **«Магнит»**. С. 173—180; 194—203).

С. 476. *бондарь* — работник, имеющий дело с деревянной или плетеной домашней утварью.

чуйка — длинный суконный кафтан халатного покроя.

С. 477. *глазетовый* — от слова глазет *(фр.)* — парча с шелковой основой и вытканным гладью серебряным или золотым узором.

ГАЛСТУК

Впервые опубликован: Речь. 1911. № 98. 10 апреля. С. 3—4.

Прижизненные издания: Шиповник 5.

Дата: 1911.

В п. к И. Рязановскому от 6 марта 1911 г. Ремизов делился своей первой неудачей с публикацией рассказа в Альманахе издательства «Шиповник»: «Написал еще небольшой рассказ "Галстук", взяли у меня Шиповники. Но потом мне его вернули: говорят, рассказ не сделан» (РНБ. Ф. 634. № 31. Л. 18).

С. 490. *...в приготовительном классе гимназии он уж был отцом семейства...* — В образе главного героя отразились черты старинного приятеля Ремизова — Ильи Ароновича Тотеша, с которым писатель познакомился в 1903 г., в Херсоне. По-видимому, их дружбе способствовало общее ироническое, игровое отношение к жизни. Осенью 1903-го, зазывая П. Щеголева в Херсон, Ремизов писал: «А тут заготавливается встреча, ревностное участие принимает Тотеш, Ваш знакомый по Пет<ербургскому> университету, высланный в один и тот же год с вами. У его дяди винный погреб, есть отменно выдержанные вина. Тотеш стоит во главе одной из самых важных торговых фирм. Затевается ряд мистификаций» (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. № 1479—1610. Л. 43—43 об.). «Турецкий поэт» Тотеш упоминается в автобиографических книгах Ремизова **«Взвихренная Русь»** (С. 78—84; глава **«Турка»**) и **«Встречи»** (С. 199—202). Как старый друг, в Обезьяньей Великой и Вольной Палате Тотеш был возведен в кавалеры обезьяньего знака и назначен «обезьяньим турецким послом». Его портрет, написанный Ремизовым на стене последней петербургской квартиры на Васильевском острове, занимал почетное место, среди других старейших членов Обезвелволпала в так называемом «Углу обезьяньих вельмож». В альбоме писателя, сохранившем фотографии этого «обезьяньего» синклита, имеется позднейшая надпись, поясняющая портрет «Турки»: «...Илья Ааронович <так! — *Е. О.*> Тотеш будучи в приготовит<ельном> классе херсонской гимназии был уже отцом о нем рас<сказ> Галстук и в "Взвихр<енной> Руси"» (ИРЛИ. Ф. 256 Оп. 1. № 54. Л. 14)

...Турка не может допустить, чтобы хорошенькую барышню, да еще его знакомую, бил солдат шашкой. — Возможно, в этом мотиве соединились реальная судьба прототипа героя рассказа И. Тотеша, который студентом был арестован по политическому делу, и обстоятельства ареста Ремизова на студенческой демонстрации в память о событиях на Ходынском поле. В одной из своих автобиографий писатель достаточно лапидарно объяснял причину ареста:

«за мордобой» (См.: Грачева А. М. Революционер Алексей Ремизов: миф и реальность. С. 447).

С. 494 *По случаю царского дня...* — имеется в виду 25 мая, день рождения Николая II.

С. 496. *хедер* — еврейская религиозная школа.

Меламед — учитель закона иудейской веры.

[Пожар]

РАССКАЗЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ЦИКЛЫ

ОПЕРА

Печатается по: Шиповник 3. С. 77—82.

Впервые опубликован: Всемирный вестник. 1908. № 5. С. 10—14.

Прижизненные издания: Рассказы (1910).

Дата: 1900.

С. 501. *дворянское помещение* — полицейский участок.

С. 503. *...ведь он с четырнадцати лет очки носит...* — автобиографический мотив. Вспоминая свое видение мира «подстриженными глазами», Ремизов писал: «Тринадцать лет я прожил в фантастическом мире какой-то немирной мятежной стихии» (Подстриженными глазами. С. 72).

СВЯТОЙ ВЕЧЕР

Печатается по: Шиповник 3. С. 25—35.

Впервые опубликован: Слово. 1908. № 532. 25 декабря. С. 2 (под загл. **«Святый вечор»**).

Прижизненные издания: Рассказы (1910) (под загл. **«По воле»**).

Дата: 1905.

Один из рождественских рассказов Ремизова. Его первая публикация сопровождалась авторскими комментариями, которые приводятся ниже:

«Святой вечор — колядский припев. Колядка — рождественская величальная песня. Колядки поются под Рождество. Кое-где по деревням они и до сих пор поются тайком, так как искони преследуются православным духовенством, увидевшим в них только суеверие. И древние мотивы — отголоски седой языческой старины — замолкают. О колядках см. исследование А. А. Потебни. "Объяснения малорусских и сродных народных песен". Варшава, 1887.

Корочун. — Олицетворение навечерия Рождества. Древнерусское название Солоноворота — 12 декабря, а также Филипповок — время от 15 ноября по 24 декабря. Читателю, заинтересовавшемуся образом Корочуна, могу указать на мою книгу "Посолонь", изд. Золотое Руно. М. 1907, в которой мною сделана попытка по старорусским поверьям представить миф о Корочуне, как царе зим и зимних вихрей. Апокрифическое сказание о Корочуне — его участие при Рождестве Христове представлено мною в повествовании об Иродиаде в моей

книге "Лимонарь", изд Оры СПб. 1907, на основании румынских колядок, разработанных акад. А. Н. Веселовским в "Разысканиях в области русского духовного стиха". СПб. 1883».

С. 505. *кутья* — поминальная еда, состоящая из зерен и изюма, обычно подаваемая на поминках; в южных областях готовилась и в рождественский сочельник.

кудесы — чудеса посредством нечистой силы; чары, волхования.

С. 508. *«Постелят стол сеном, поставят миску с кутьей...»* — Обычай, исполняемый вечером 24 декабря, в канун праздника Рождества Христова. Обрядовые элементы навечерия призваны воссоздать обстановку рождения Христа и символизировать жизнь, смерть и воскресение Спасителя. Главным угощением праздничного стола является кутья, которая варится из зерен пшеницы, ячменя и риса. Зерна, воплощающие идею возрождения и умирания, всегда были компонентами поминальной еды. Одновременно стол выстилался сеном и соломой и, таким образом, отождествлялся с яслями (стойлом для скота), куда был положен новорожденный младенец-Христос.

С. 512. *волчье лыко* — растение Daphne Mezereum, или пухляк.

КАЗЕННАЯ ДАЧА

Печатается по: Шиповник 3. С. 85—98.

Впервые опубликовано: Рассказы (1910). С. 77—88.

Дата: 1908.

В п. от 24 марта 1908 С. Соколов сообщал Ремизову о получении высланного рассказа для нового периодического издания «Бюро провинциальной прогрессивной прессы» (которое так и не увидело свет): «"Казенную дачу" получил. Спасибо. Правда, она — несколько велика (500 строк), но зато хороша» (РНБ. Ф. 634. № 203. Л. 26).

С. 503. *«А если все дело заключалось в борьбе за освобождение от каторги завтрашнего строго-размеренного несвободного дня...»* — В основу размышлений героя положена авторская рефлексия, апеллирующая к вопросу о смысле жизни и его решениям, представленным, с одной стороны, — в творчестве Достоевского («Братья Карамазовы»), с другой — в экзистенциальной философии Л. Шестова и «имманентом субъективизме» Иванова-Разумника (См.: Иванов-Разумник. О смысле жизни. Федор Сологуб. Леонид Андреев. Лев Шестов. СПб., 1908).

С. 519 *...крестом твоим жительство.* — Последние слова из Тропаря Кресту и молитвы за отечество: «Спаси, господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на супротивныя даруя, и Твоя сохраняя Крестом Твоим жительство».

С. 520. *Хлеб наш насущный дашь нам есть!* — Слова, искажающие смысл молитвы «Отче наш»: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь», т. е. все необходимое для нашей жизни дай нам сегодня.

...в плену у какого-то всемогущего великого клопа, от которого все зависит, и его жизнь, и жизнь всей земли... — тема насекомого как тема неизбывной судьбы — один из постоянных мотивов в творчестве Ремизова.

ЭМАЛИОЛЬ

Печатается по: Шиповник 3. С. 101—129.

Впервые опубликовано: Новый журнал для всех. 1999. № 9. Июль. С. 27—47 (под загл. **«По этапу»**).

Прижизненные издания: Рассказы (1910).

Дата: 1909.

Отдельные мотивы рассказа адресуют читателя к роману Ф. М. Достоевского «Идиот». А. Блок в статье «Противоречие» (1910) причислил рассказ к произведениям отточенной формы, «которые выдерживают долгое трение времени» (Блок. Собр. соч. Т. 5. М.-Л., 1962. С. 407).

С. 522. *...аза в глаза не смыслит.* — Аз — название первой буквы алфавита; здесь: ничего не понимает.

С. 523. *ферт* — букв.: название буквы «ф»; в переносном знач.: франт, щеголь.

...с уголовными идет князь. — Первая авторская сигнатура, указывающая на связь одного из героев рассказа с образом князя Мышкина.

С. 524. *Успенье* — Успение Божьей Матери (день кончины Богородицы) — двунадесятый богородичный праздник (с 14 по 23 августа).

рассолодев — захмелев.

С. 527. *...в царские дни кричат у плошек ура.* — Имеются в виду празднования дней рождения членов императорской семьи.

засиверелая — замороженная.

С. 528. *скуфейка* — тюбетейка, комнатная шапочка.

фимиам — благовонное курение, употребляемое в ежедневном иудейском богослужении и при всех жертвоприношениях; здесь: удовольствие.

ляхи — поляки.

..русь одесную, прочие же народы ошую — т. е. справа и слева.

С. 529. *...эмалиоль, да эмалиоль вот снится...* — «эмалиоль» здесь: судьба; аллюзия к сновидению Ипполита Терентьева («Идиот»; глава « Мое необходимое объяснение»). Ср.: «Может ли мерещиться в образе то, что не имеет образа? Но мне как будто казалось временами, что я вижу, в какой-то странной и невозможной форме, эту бесконечную силу, это глухое, темное и немое существо. Я помню, что кто-то будто бы повел меня за руку, со свечкой в руках, показал мне какого-то огромного и отвратительного тарантула и стал уверять меня, что это то самое темное, глухое и всесильное существо, и смеялся над моим негодованием» (Достоевский. Т. 8. С. 340). Воспринятый от Достоевского, мотив отвратительного насекомого раскрывает тему амбивалентности бытия, одновременно заключающего в себе жизнь и смерть. Эта тема получает развитие в последующих произведениях писателя. Ср.: «А ведь жизнь — ее природа, ее глубочайшая скрытая завязь — "это всесильное глухое, темное и немое существо странной и невозможной формы" — этот огромный и отвратительный тарантул Достоевского, <...> для живого нормального трезвого глаза, не напуганного и не замученного, никогда не "тарантул", <...> а все, что можно себе представить чарующего из чар, вот оно-то и есть душа жизни» (Ремизов А. В розовом блеске. Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1952. С. 201).

С. 530. *Встав Макарий зело рано и иде сквозь пустыню...* — Вольное переложение патерикового рассказа о преподобном Макарии Египетском (301—391), основателе одного из первых египетских монастырей (Скитская пустыня). Этот же сюжет в сокращенном виде упоминается в книге «Кукха» (С. 112).

С. 531. *Жила была мать и дочь...* — вариант эротической сказки «Слепая невеста» (См.: Заветные сказки. Из собрания Н. Е. Ончукова / Подг. изд. В. Ереминой и В. Жекулиной. М., 1996. С. 68. Сказка № 9).

С. 533. *А палач в рубахе красной / Высоко занес топор* — строки из песни «Казнь Стеньки Разина» на слова И. З. Сурикова. См.: Русские песни XIX века / Сост. И. Н. Розанов. М., 1944. С. 283—286. Эта песня в исполнении П. Щеголева сохранилась в памяти Ремизова еще со времен вологодской ссылки (См.: Иверень. С. 254, а также: А. М. Ремизов «Некролог» П. Е. Щеголеву / Публ. Е. Р. Обатниной // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1995 год. СПб., 1999. С. 189).

С. 538. *...только мыши скреблись да вели тонко свою мышиную песенку.* — Многократное упоминание мышей, предваряющее рассказ об убийстве князя, намекает на героя романа «Идиот» князя Мышкина.

С. 542. *на загладку* — здесь: в конце концов.

ПЕТУШОК

Печатается по: Петушок. Берлин: Мысль, 1922.

Впервые опубликован: Альманах издательства "Шиповник". 1911. Кн. 16. С. 205—221.

Прижизненные издания: Посолонь (М., 1907), Шиповник 6 (фрагмент, соответствующий новелле **«Богомолье»**; Подорожие (СПб.: Сирин, 1913).

Дата: 1905—1911; 1922.

Один из первых отзывов на публикацию рассказа прозвучал в письме Иванова-Разумника от 23 декабря 1911 г.: «Только что прочел "Петушка". Так хорошо, что мочи нет. И хоть бы кто-нибудь это понял, хоть бы кто-нибудь из газетных остолопов обратил внимание на этот рассказ внимание. Да что уж!» (Иванов-Разумник II. С. 66). Нельзя сказать, что новое произведение Ремизова осталось без внимания критики. Сразу после появления его в печати последовали рецензии и статьи. См.: Редько А. «Сашка Жигулев» Л. Андреева и «Петушок» А. Ремизова (Альманах изд. «Шиповник», кн. 16) // Русское богатство. 1912. № 1. Отд. II. С. 139—149, Бурнакин А. Литературные заметки. Сомнения и надежды // Новое время. 1912. № 12928. 9 марта. С. 6. В книге В. В. Брусянина «Дети и писатели. Литературно-общественные параллели» (М., 1915) **«Петушок»** был назван «одним из замечательных произведений русской литературы за последнее время» (С. 150—151). Наряду с высокими оценками прозвучало и противоположное суждение об этом рассказе, как «не принадлежащем к... лучшим вещам» писателя. «То, что есть в Ремизове детского и милого, здесь переходит в какую-то неубедительную слащавость» (Кузьмин М., Заметки о русской беллетристике. 13 // Аполлон. 1912. № 1. С. 68). Впрочем, **«Петушок»** вызвал негативную реакцию не только у отдельных представителей модернизма, но и у таких столпов реалистической школы, как В. Г. Короленко. Ср. с высказыванием Иванова-Разумника из его письма к Ремизову от 26 января

1912: «Был я прошлый четверг вечером в "Русск<ом> Богатстве", с Короленко знакомился. Рад был пожать его руку и поговорить с ним. Говорили много, между прочим и о Вас, о "Петушке". Если интересно — расскажу, впрочем, Вы заранее знаете, что ничего хорошего о Вас Короленко сказать не мог. Не нравится ему очень» (Иванов-Разумник II. С. 68). Вероятно, в 1916 г. Ремизов предполагал переиздать рассказ отдельной книгой в издательстве «Лукоморье». В архиве писателя сохранилось недатированное письмо, в котором сотрудник издательства М. Белковский сообщал: «Петушка запретила цензура» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. № 24. Л. 29). На берлинском издании рассказа (1922) Ремизов оставил дарственную надпись С. П. Ремизовой-Довгелло: «А этот Петушок — память о революции 1905 года первая моя проба — Тернавцеву носил для букваря о Петьке, но в букварь не попал Петушок, тут, деточка, много из нашего записано житья-бытья: и икона, и клубки веревок, и комод, к<оторый> надо умеючи отворять — это жизнь наша на Рождественской и Кавалергардской. Алексей Ремизов 12. VII. 1922. Scharlottenburg» (Каталог. С. 23).

С. 543. *шаландать* — болтаться без дела.

С. 545. *Воздвиженье* — один из двунадесятых праздников православной церкви Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня (14 сентября).

С. 546. *дранки* — колотые сосновые дощечки для кровли; здесь: как змеиная чешуя.

С. 547. *крантик* — хвостик.

зачиклечился — зацепился; в авторском комментарии к новелле «Богомолье» (Шиповник 6. С. 63) поясняется: «если нитка или хвост бумажного змея за что-нибудь заденет и застрянет» (Шиповник 6. С. 255).

Покров — церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы (10 октября).

Ильин день — день памяти святого пророка Ильи (20 июля), который в народном представлении был могучим и грозным распорядителем грозных сил природы (молний и грома).

С. 549. *тальма* — старинное название длинной женской накидки.

С. 551. *Найденовы* — Ремизов называет фамилию своих прямых родственников по материнской линии; купцы Найденовы имели значительное влияние как в торгово-промышленных делах Москвы, так и в общественной ее жизни: «...своей жертвенностью или созданием культурно-просветительских учреждений <они> обессмертили свое имя» (Бурышкин П. А. Москва купеческая. М, 1990. С. 111).

С. 552. *золоторотцы* — бродяги, босяки.

...бабушке шесть лет было, когда Александра Первого через Москву провозили из Таганрога... — император Александр I внезапно скончался в Таганроге 19 ноября 1825 г.

С. 553. *киот* — настенная подставка для икон.

..Московские чудотворцы — Максим блаженный, Василий блаженный, Иоанн юродивый... — почитаемые в Москве святые (Максим Юродивый умер 13 августа 1433; Василий Блаженный — 2 августа 1552; Иоанн Юродивый — 3 июля 1589), избравшие юродство во Христе как особый путь «самоизвольного мученичества».

С. 554. *куран* — индюк.

С. 558. *С холодом и октябрьской слякотью наступило тревожное время, памятные дни жертв народных и вольности.* — Речь идет о событиях первой русской революции. 17 октября 1905 г. во время всероссийской политической стачки Николай II подписал манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», где декларировались «незыблемые основы гражданской свободы». После опубликования манифеста образовались Советы рабочих депутатов и первые либеральные партии, с другой стороны, начались черносотенные погромы и восстания солдат и матросов, которые в конце концов привели к декабрьскому вооруженному восстанию в Москве, жестоко подавленному правительством.

С. 562. *...Калечину-Малечину считает!* — детская народная игра, описанная Ремизовым в его примечаниях к стихотворению **«Калечина-Малечина»** (Шиповник 6. С. 39): «Играют так: берут палочку, ставят торчком на указательный палец и, стараясь удержать ее, приговаривают: "Калечина-Малечина, сколько часов до вечера?" И сам же держащий палочку отвечает: "Один, два, три, четыре..." На каком часе палочка с пальца свалится, столько часов, выходит, и остается до вечера» (Шиповник 6. С. 248).

планули — запылали.

После Николина дня... — имеется в виду Никола зимний (6 декабря).

С. 564. *...как воздухи...* — в церкви *воздухами* называются специальные покровы на сосуды со Святыми Дарами.

С. 566. *Иван Осляничек обидяющий* — название неканонической иконы «Осляничек обидяющий». Петушок претерпел три печатных редакции. Интересно, что во второй (в составе сборника **«Подорожие»**) название иконы было снято и заменено на икону «Божьей Матери обидяющий». Такое авторское исправление было связано с возникшими притязаниями М. Пришвина на использование названия иконы и связанного с ней апокрифического мотива в повести «Иван-Осляничек. (Из сказаний Семибратского кургана)» (Заветы. 1912. № 2, 3). О своих творческих планах в декабре 1911 г. Пришвин сообщал в письме Ремизову и, судя по следующему письму, продолжившему тему, его намерения не вызвали у Ремизова одобрения (Пришвин. С. 188, 190). В примечаниях к повести Пришвин намеренно указывал источник своих знаний о иконе, предотвращая возможные соотнесения с недавно появившимся в печати рассказом Ремизова: «Об иконе "Иван Осляничек" записано мною в с. Брыни, Калужск<ой> Губ<ернии> со слов Татьяны-Одинокой: "Иван Ослянник обидяющий снимает обиды человеческие". После я узнал, что существует икона св. Христофора с ослиным лицом и сказание о нем: св. Христофор, прекрасный лицом, смиряя себя перед Господом, выпросил себе звериную голову. По моему предположению, Иван-Осляничек и св. Христофор — одно и то же: св. Христофор у русского народа превратился в Ивана» (Заветы. 1912. № 2. С. 5).

ТОСКА НЕКЛЮЧИМАЯ

Печатается по: Беловой автограф. ИРЛИ.

Рукописные источники: 1. Беловой автограф с заголовком «Тоска неключимая. Рассказ», <1919—1921>. В левом верхнем углу рукой неизвестного: *Альманах «Юпитер» «Гранит».* На обороте последнего листа регистрационная помета: *В данной рукописи шесть листов. Заведующий кабинетом К. Шимкевич;* а также

печать Кабинета Современной литературы Государственного института истории искусств. В тексте имеются незначительные исправления и корректорская разметка рукой автора — ИРЛИ. Ф. 172. № 542; 2. Беловой автограф, вторая редакция текста под названием «Неключимый»; в правом верхнем углу помета рукой неизвестного «150 р.». Без даты — РГБ. Ф. I. Карт. 1. № 34. Л. 5—12. (Опубл.: Русская мысль (Париж). 2000. 3—9 февраля. № 4303; 10—16 февраля. № 4304. Публ. И. Попова).

Пометы на автографе и рукописной редакции свидетельствуют о попытках публикации рассказа в несостоявшихся изданиях. Костромской топос и профессия героя (следователь) позволяет считать его своеобразной иронической версией следователя Боброва — главного героя повести «Крестовые сестры». Характер Михаила Аверьяныча раскрывается, благодаря слову, вынесениому в заглавие: неключимый — значит непотребный, распутный, неисправимый.

С. 569. *...длинных верховских волос...* — Соотнесение с образом поэта Ю. Н. Верховского.

С. 569—570. *...обвиноватить никого нельзя...* — автоцитата, адресующая читателя к повести «Крестовые сестры» (обычное присловье «божественной Акумовны»); в данном контексте слова приобретают новый, иронический смысл.

С. 570. *...трогая двумя холодными пальцами нос мужа, требовала, чтобы дохнул. И пусть водки и намека нет, один табак и чай, зато нос горяч.* — Соединенне таких знакомых для Ремизова эротических тем, как *нос* и *табак* (см. повесть «Что есть Табак» и рассказ **«О пронсхождении Табака»**, неявно подготавливает читателя к раскрытию тайной жизни героя, обиаруживающейся только в финале рассказа.

...медленное пиление по способу великомученскому, описанному в Четьях-Минеях. — Имеется в виду невыносимые мучения от пыток (в частности, перепиливание конечностей и т. п. истязания), которые святые мученики героически претерпевали, противостоя гонителям христианства. Примеры таких христианских подвигов описаны в житиях святых, собранных в 12 томах агиографических сборников русской православной церкви «Четьи-Минеи», где на каждый день года приводится жизнеописание святого.

С. 571. *Держу папироску и спичку в руках и вижу лампадка. И словно кто шепчет: прикури! И так толкнуло. Я и прикурил.* — начинающий поэт В. Смиренский, вероятно, знакомый с текстом рассказа, впоследствии приписал этот богохульный сюжет самому Ремизову. Ср.: «Без конца Ремизов быстро и ловко крутил тоненькие папироски и курил, задыхаясь от табачного дыма. В комнате было тихо, полутемио, только в углу горела лампадка, от нее Алексей Михайлович и прикуривал» (Смиреиский В. Воспоминания об Алексее Ремизове / Пред., публ. и комм. Е. Р. Обатниной // Лица. Биографический альманах. 7. 1996. М. — СПб., 1996. С. 170). Отмеченная Смиренским бытовая подробность из личной жизни Ремизова противоречит воспоминаниям Н. В. Резниковой, утверждающей, что в доме Ремизовых не только прикуривать от лампад, но и вообще курить при иконах строго воспрещалось (См.: Резиикова Н. Огненная память. Berkeley, 1986. С. 104).

С. 572. *Добротолюбие* — собрание сочинений монахов-аскетов о монашеских добродетелях.

курбеты — подъем лошади на дыбы или опускание обеих передних ног; здесь: неожиданые положения.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ТОМЕ

Архивохранилища

ГЛМ — Государственный литературный музей. Отдел рукописей (Москва)

ГРМ — Государственный Русский музей. Сектор рукописей (Санкт-Петербург)

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Рукописный отдел.

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва)

РГБ — Российская государственная библиотека. Отдел рукописей (Москва)

РНБ — Российская национальная библиотека. Отдел рукописей и редких книг (Санкт-Петербург)

Печатные источники

Блок — Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 1—5. М.: Наука, 1981—1993 (с указанием номеров книг).

Брюсов — Брюсов В. Я. Переписка с А. М. Ремизовым. (1902—1912) / Вступ. статья и комм. А. В. Лаврова, публ. С. С. Гречишкина, А. В. Лаврова и И. П. Якир // Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 2. М., Наука, 1994. С. 137—163.

Взвихренная Русь — Ремизов А. Взвихренная Русь. Париж: ТАИР, 1927.

Встречи — Ремизов А. Встречи. Петербургский буерак. Париж: LEV, 1981.

Волошин — Волошин М. Лики творчества. Л.: Наука, 1988.

Достоевский — Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30 тт. Л.: «Наука», 1972—1990 (с указанием томов).

Зга — Ремизов А. Зга. Волшебные рассказы. Прага. 1925.

Иванов-Разумник I — Иванов-Разумник. Личность. Творчество. Роль в культуре. Сб. статей по материалам конференции... СПб.: Глаголъ, 1996.

Иванов-Разумник II — Письма Р. В. Иванова-Разумника к А. М. Ремизову (1908—1944) / Публ. Е. Обатниной, В. Г. Белоуса и Ж. Шерона. Вступ. зам. и комм. Е. Обатниной и В. Г. Белоуса // Иванов-Разумник. Личность. Творчество. Роль в культуре. Публикации и исследования. Вып. II. СПб., 1998.

Иверень — Ремизов А. Иверень. Загогулины моей памяти / Ред., посл., комм. О. Раевской-Хьюз. Berkeley, 1986.

Измайлов А. <Измайлов А.> В волшебном царстве. А. М. Ремизов и его коллекция // Огонек. 1911. № 44. С. 10—11.

Исследования — Алексей Ремизов. исследования и материалы: Сб. научных статей и публикаций. СПб.: Дмитрий Буланин, 1994.

Каталог — Волшебный мир Алексея Ремизова. Каталог выставки. СПб.: Хронограф, 1992.

Кодрянская — Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, [1959].

Кожевников — Кожевников П. Коллекция А. М. Ремизова. (Творимый апокриф // Утро России. 1910 № 243. 7 сент. С. 2.

Кукха — Ремизов А. Кукха. Розановы письма. Берлин: Изд. З. И. Гржебина, 1923.

Мара — Ремизов А. Мара. Книга рассказов. Берлин: Изд. Эпоха, 1922.

Мышкина дудочка — Ремизов А. Мышкина дудочка. Париж: Оплешник, 1953.

На вечерней заре — I—III — На вечерней заре. Переписка А. Ремизова с С. Ремизовой-Довгелло / Подг. текста и комм. А. д'Амелия // Europa Orientalis. 1985. IV (I); 1987. VI (II); 1990. IX (III).

Огонь вещей — Ремизов А. Огонь вещей. Сны и предсонье. Париж: Оплешник, 1954.

Подстриженными глазами — Ремизов А. Подстриженными глазами. Книга узлов и закрут памяти. Париж: YMCA-PRESS, 1951.

Пришвин — Письма М. М. Пришвина к А. М. Ремизову / Вступ. ст., подг. текста и прим. Е. Р. Обатниной // Русская литература. 1995. № 3. С. 157—208.

Рассказы (1910) — Ремизов А. Рассказы. СПб.: Прогресс, 1910.

Россия в письменах — Ремизов А. Россия в письменах. Т. 1 / Предисл. О. Раевской-Хьюз. New York, 1982.

Сирин 1—8 — Ремизов А. Сочинения. В 8 т. СПб.: Сирин, 1910—1912.

Учитель музыки — Ремизов А. Учитель музыки. Подготовка к печати, вступ. статья и примеч. Антонеллы д'Амелия. Paris: LA PRESSE LIBRE, [1983].

Шиповник 1—8 — Ремизов А. Сочинения. В 8 т. СПб.: «Шиповник», [1910—1912].

Шумы города — Ремизов А. Шумы города. Ревель: Библиофил, 1921.

Щеголев — Письма А. М. Ремизова к П. Е. Щеголеву. Часть 1. Вологда. (1902—1903) / вст. ст., подг. текстов и комм. А. М. Грачевой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1995. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999.

Авт. комм. — авторский комментарий.

п. — письмо.

СОДЕРЖАНИЕ

СВЕТ НЕМЕРЦАЮЩИЙ

СВЕТ НЕЗАХОДИМЫЙ

МАТКИ-СВЯТКИ

ЗА СВЯТУЮ РУСЬ

СРЕДИ МУРЬЯ И НЕУРЯДИЦЫ

СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕГЕНДЫ

СЕМИДНЕВЕЦ

ОДУШЕВЛЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ

ЗГА. ВОЛШЕБНЫЕ РАССКАЗЫ

РАССКАЗЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ЦИКЛЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Федеральная программа книгоиздания России

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РЕМИЗОВ

Собрание сочинений

Том 3

ОКАЗИОН

Редактор **В. П. Шагалова**
Художественный редактор **Г. Л. Шацкий**
Технический редактор **И. И. Павлова**
Корректоры **В. В. Драчкова, В. С. Бабаева, Н. Д. Бучарова**

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 010058 от 23.10.96.
Сдано в набор 2.06.2000. Подписано в печать 14.08.2000. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$.
Бумага офсетная. На вкл. — мелов. Гарнитура Таймс. Печать высокая.
Усл. печ. л. 35,39 (в т. ч. вкл. 0,11). Уч.-изд. л. 36,43 (в т. ч. вкл. 0,04).
Тираж 5000 экз. С. — 21. Заказ № 1434. Изд. инд. ЛХ-197.

Издательство «Русская книга» Министерства Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38

Набрано и отпечатано на издательско-полиграфическом предприятии
«Правда Севера».
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32